ФЕДОР СОЛОГУБ

Федоръ Сологубъ.

1

Федоръ Сологубъ.

# ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ

ИВ



*Собрание сочинений в шести томах*

*том первый*

# ФЕДОР СОЛОГУБ

Собрание сочинений

# ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ

1

Роман
Рассказы

Москва
НПК «Интелвак»
2000

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*
Автор вступительной статьи *С.Л. Соложенкина*

Художник *В.М. Мельников*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-023-5 (т. 1)

## ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
*Вехи судьбы Федора Сологуба*

Жестокое время сотрет многих
Сологуб — в русской литературе останется
*Евгений Замятин*

Федор Сологуб — писатель столь же привлекательный, сколь и отталкивающий. Произведениями его зачитывалась вся Россия, но сам он вызывал у многих современников почтительную нелюбовь. Иные так его просто побаивались. Уж очень барственно-надменен был мэтр, на окружающих и не глядел. Одиноким утесом высился среди мелководья литературных салонов, целиком уйдя в себя. А если и открывал глаза, то взглядывал на собеседника, по воспоминаниям Владислава Ходасевича, с неподражаемо-уничижительным выражением: «А, вы еще существуете?» Помилуйте, кому же это приятно? Пускай какой-нибудь там щелкоперишко гоняется за славой, ловит на лету льстивые слова одобрения, словно голодная собака — кусок отравленной колбасы. Ему, Федору Сологубу, такое не пристало. Он стремился стать незаметным не из скромности, а из отвращения к суете. Цену себе знал, сидел да помалкивал. Однажды кто-то, обманутый его незаметностью в темном уголке гостиной, попытался даже... сесть на него, как на пустое место: не разглядел по рассеянности и сослепу. Что тут было! Протестующий взвизг заставил неловкого отскочить, а может, и провалиться сквозь землю — без всяких метафор. И действительно, не безумная ли дерзость — попытка, вольная или невольная, — занять место с а м о г о Сологуба? Надо признать: его место, не только в гостиной, но и в русской литературе, не займет никогда и никто. Потому что это действительно только е г о место. И чтобы занять это место, писателю пришлось, при всей значительности его таланта, затратить немало труда и душевных сил, поскольку принадлежал он не к баловням, а к пасынкам судьбы.

Начнем с детства. Хотя тут же нам и придется вспомнить строку Анны Ахматовой: «И никакого розового детства». Тем более — золотого. Сын порт-

ного и кухарки, он принадлежал к социальным низам, и оттуда ему предстояло выбираться долго и мучительно... Порой так мучительно, что хотелось забыть сам факт и день своего злосчастного появления на свет. А вот нам эту дату забывать негоже, поскольку речь идет о рождении будущего крупного писателя. Итак, запомним: 17 февраля 1863 года в Петербурге, в бедной семье, родился мальчик Федя. По паспорту он — Федор Кузьмич Тетерников. Фамилия, прямо скажем, достаточно прозаическая, даже с каким-то обидным «подтекстом»: тетеря — так говорят о тех, кому ничего не стоит все растерять, собственное счастье проворонить. Неудачник, в общем. Применительно к отцу Феди, Кузьме Тетерникову, так оно, пожалуй что, и было. Незаконный сын помещика Полтавской губернии, он, собственно, должен бы носить фамилию Ивницкий, а не Тетерников, но отец такой чести его, понятно, не удостоил. Примесь голубой крови не спасла Кузьму от рабской доли крепостного, и все его «титулы»: портной, лакей... Пустился было в бега, два года бедствовал в Причерноморье, да куда от судьбы уйдешь! Вернулся, был порот, затем, после отмены крепостного права, перебрался в столицу. Занялся портновским ремеслом, да самому себе счастья так и не выкроил: умер от чахотки, оставив сиротами четырехлетнего сына Федю и двухлетнюю дочь Олю. Не стало незадачливого и доброго человека — и горше всех рыдал, ничком лежа в сразу опустевшем доме на стульях, его маленький сынишка. Федя любил отца до самозабвения...

И началась сиротская жизнь. Мать Федора и Ольги, крестьянка Петербургской губернии, надо отдать ей должное, рук не опустила. Овдовев, она посвятила себя единой задаче: поставить детей на ноги, дать им не только кусок хлеба, но и образование. От природы была она одарена умом замечательным, характером независимым. Но житейские неурядицы, изнурительный труд сделали ее раздражительной, суровой, даже жестокой. Детей держала в ежовых рукавицах, особенно доставалось, конечно, старшему, Феде... Сестра Ольга жила в приюте, дома бывала лишь по выходным.

Поначалу Татьяна Семеновна попыталась было открыть прачечную, но надежда на «собственное дело» лопнула, как мыльный пузырь. Пришлось занять место «одной прислуги» в доме Агаповых. Семья Агаповых — сама хозяйка, вдова коллежского асессора, ее дочь, зять — сын известного архитектора А.Л. Витберга, — была не чужда просвещения. В доме имелась приличная библиотека, здесь интересовались музыкой, театром — и кухаркиного сына Федю тоже нередко прихватывали с господами в драматический и в оперу, разрешали читать книги, конечно, в свободное время, которого у него, мальчика на побегушках, было с воробьиный носок.

И все же, все же! Казалось, вот оно, «розовое детство», мальчик удостоен господских милостей, чего же боле, при том учится, и успешно, в приходской школе... Одет всегда чистенько, очень опрятен, бархатная курточка, серьезен, удивительно изящен — прямо маленький лорд Фаунтлерой, а не кухаркин сын. Как-никак, и в нем есть «голубая кровь» — незаконный внук Ивницкого — ему бы барчуком расти, в холе, да куда? А вот не хотите ли: жить в чадной кухне за перегородкой, спать на сундуке, босиком бегать в лавку за лимонными сухариками «господам к чаю» и за прочими мелочами, получать подзатыльники и чуть что — розги? И не только от матери: «бабушка Агапова» — настоящая Яга — нисколько не отставала при всей своей «просвещенности», и так доставалось от нее мальчику, что и в старости Сологуб не мог спокойно произнести ее ненавистное имя!

Позднее, в стихах и рассказах (например, в явно автобиографическом рассказе «Мечта на камнях») Сологуб со всей убедительностью воссоздаст нестерпимую атмосферу агаповского дома, чадную кухню, где, как в настоящем аду, скворчат раскаленные сковородки, кипит гневом раздраженная мать, где маленького мальчика подстерегает на дню множество неприятностей... Одна радость — убежать в Летний сад с «Дон Кихотом» в руках и там сидеть в зеленой тени, читать, мечтать, переносясь в совсем иной мир, загадочный, светлый и прекрасный... Природу и книги Федя любил до страсти. «По́рок ад, мечтаний рай» составляли его двойное бытие.

Интересно отметить, что любимыми книгами Сологуба до конца дней так и остались три: уже упомянутый «Дон Кихот», а также «Робинзон Крузо» и «Король Лир». Почему именно эти три? Может быть, здесь — ключ к его судьбе и характеру. Сколь ни различны герои этих книг, они замкнуты в хрустальную сферу своего одиночества. Робинзон Крузо вообще до появления Пятницы целую вечность прожил на острове один, король Лир все имел — и все потерял, кроме своей, истинно королевской, гордыни; Дон Кихот, поклоняясь прекрасной Дульсинее, слыл «безумцем», жил в им самим творимой легенде, обреченный на непонимание и насмешки...

Гордыня одиночества жила в душе Сологуба — скрытного мальчика, подростка, юноши, наконец — зрелого мужа и старика. Это было его мукой и его отрадой. Сколько раз, закрыв глаза, грезил он о Лигойских блаженных полях, о прекрасной и недостижимой земле Ойле, где царит вечная Красота. В романе «Навьи чары» он сам так отчетливо выразил свое кредо: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром над тобою, жизнь, я, поэт,

воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном». Но разве не то же делает любимый Сологубом Дон Кихот? Все тот же миф об Альдонсе и Дульсинее. Многократно будет обыгрывать и варьировать его в своем творчестве писатель...

Но есть и разница между испанским гидальго и российским поэтом, творящим свою легенду из грубой действительности. Как мы помним, Дон Кихот сам неколебимо верил в свою мечту. Сологуб, равно как и его герои, в эту мечту не верит Он твердо знает: «невозможно чудо преображения», и тут же добавляет. «но оно необходимо»... Не напоминает ли это горькие строки Георгия Иванова: «Я верю не в непобедимость зла, но только в неизбежность пораженья»?

Не я воздвиг ограду,
не мне ее разбить, —

скажет в одном из стихотворений Сологуб. Но это — много позже...

А пока — Федя Тетерников заканчивает сначала приходскую школу, затем — уездное училище, и наконец венец всех усилий — Учительский институт. Кусок хлеба теперь ему обеспечен — и, забрав мать и сестру, он уезжает по направлению в городок Крестцы Новгородской губернии.

Крестцы, однако, вскоре оборачиваются настоящим крестом и Голгофой. Молодой учитель буквально распят на этом кресте — все его порывы внести что-то новое, свежее в давящую и затхлую систему образования кончаются ничем. Идиотизм российского захолустья непреодолим! Какой-то бесконечный город Глупов. Учителя сами невежественны и погрязли в мелочных и нелепых интригах, в круговом доносительстве, родители по большей части алкоголики, среди детей есть, конечно, еще неиспорченные души, но немало и тупиц, ленивых и зараженных взрослой всеобщей развращенностью. Бог ты мой, какая тут земля Ойле, какое царство вечной красоты?!

Не ужившись с начальством, Федор Тетерников меняет Крестцы на Великие Луки, на Вытегру... Десять лет скитаний и каторжного труда — и все одно и то же! Просвета нет и не предвидится.

Домашняя его жизнь по-прежнему — сплошной ужас и издевательства. В это трудно поверить, но его суровая родительница секла своего сына не только в детстве и в отрочестве, но и когда ему было уже под тридцать, заставляя благодарить за науку! Волосы поневоле встают дыбом, когда читаешь письмо Сологуба от 20 сентября 1891 года к сестре Ольге (сестру Федор очень любил

и был с нею всегда откровенен): случилось так, что он не хотел идти к ученику в кромешной тьме и по столь же кромешной грязи босиком, так как накануне довольно сильно расцарапал ногу, и тут «маменька очень рассердилась и пребольно высекла меня розгами, после чего я уже не смел упрямиться и пошел босой. Пришел я к Сабурову в плохом настроении, припомнил все его неисправности и наказал розгами очень крепко, а тетке, у которой он живет, дал две пощечины за потворство и строго приказал сечь почаще». Вот она, цепная реакция зла российского свирепого захолустья! Неудивительно, что молодой учитель начинает делать отчаянные попытки вырваться из этого «болота», чтобы окончательно самому не потерять человеческий образ...

Босой учитель с поцарапанными ногами, бредущий по грязи... Что тут скажешь?! Христос, претерпевший смертные муки за всех нас, хотя бы носил сандалии...

Однако еще Оскар Уайльд сказал: «Я могу стоять по колено в грязи, но глаза мои устремлены на звезды». Провинциальный учитель прямо-таки одержим тягой к самообразованию. При всей ограниченности средств, он выписывает кучу столичных газет и журналов, переводит Верлена... В 1883 году им начат роман «Тяжелые сны», почти одновременно с этим он пишет «рассказ в стихах» «Кремлев» и, само собой, лирические стихи. Кое-что посылает в столичные журналы, те изредка печатают его, но гомеопатическими дозами: за десять лет жизни в «глубинке» удалось опубликовать едва ли десяток стихотворений. Вот если бы переселиться в Петербург! Там — кипит живая мысль, да и издаваться есть где, были бы знакомства. Их, думалось, нетрудно будет завести...

Вскоре подходящий случай для осуществления задуманного представился. Сестра Ольга едет в столицу поступать на курсы. Федор ее сопровождает.

И вот — пасынок судьбы вытащил наконец счастливый билет поэт Н. Минский, признанный лидер «нового искусства», заинтересовался личностью и стихами еще никому не ведомого учителя и пообещал устроить ему заметный дебют в журнале «Северный вестник». Обещание свое сдержал. Воодушевленный удачей, вскоре, в 1892 году, Федор Тетерников окончательно перебрался в Петербург. Отныне он — учитель математики Рождественского городского училища, а позже — инспектор Андреевского училища и член Петербургского уездного училищного совета Обязанности свои выполняет сурово и въедливо, его побаиваются, но не чиновничья карьера составляет главное содержание жизни строгого инспектора. Он уже вошел в круг сотрудников журнала «Северный вестник», сблизился — насколько мог с кем-либо сблизиться этот отшельник по призванию[1] — со «старшими символистами». Среди них кроме

уже упоминавшегося Н. Минского — Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт. Возглавляли журнал Л.Я. Гуревич и А.Л. Волынский. Между прочим, именно Волынский предложил на одном из редакционных заседаний псевдоним для Тетерникова: «Федор Сологуб», и, таким образом, явился как бы его литературным крестным отцом. С этой минуты Федор Тетерников окончательно уходит в закулисную тень, а на авансцену русской литературы выходит Федор Сологуб...

* * *

Надо отдать должное прозорливости сотрудников «Северного вестника»: они сразу угадали в пришедшем к ним нелюдимом учителе крупный талант и сделали все, чтобы этот талант явить миру. С 1893 по 1897 год Сологуб, можно сказать, непрерывно печатается почти исключительно в «Северном вестнике»: здесь вышли семнадцать его стихотворений, включая переводы из Верлена, три рассказа из лучших («Червяк», «Тени», «К звездам»), немало статей, рецензий... Особенное впечатление на читающую публику произвел рассказ «Тени» (впоследствии названный «Свет и тени») — можно сказать, именно он принес признание Сологубу. Отнюдь не склонная к расточению похвал З. Гиппиус прислала после опубликования «Теней» автору прямо-таки восторженное письмо: «Позвольте мне смиренно принести вам благодарность и высказать мое благоволение перед человеком, который сумел написать истинно прекрасную вещь... В религию теней я обратила и мужа».

Вслед за «Тенями» в «Северном вестнике» был напечатан и наконец-то завершенный роман «Тяжелые сны», и даже то, что одновременно с ним вышел роман «самого» Д. Мережковского «Отверженный», нисколько не оттеснило эту крупную и своеобразную вещь на периферию читательского внимания. «Тяжелые сны» — это, можно сказать, и тяжелый опыт Сологуба, мучительная оглядка на крестный путь учителя Федора Тетерникова. Избегая буквалистского сходства, Сологуб тем не менее наделяет главного героя романа, учителя Логина, рассеянным взглядом серых глаз, ироничностью, изяществом всего облика и одновременно вялостью жестов, — можно подумать, он поглядывал на себя в зеркало, когда давал портретную характеристику своего героя. А главное — у Логина сходный с ним склад души, и душа эта «колебалась, как на качелях», между добром и злом. Логин наделен изнурительным талантом «двойного зренья», он видит «две истины сразу» — как, опять-таки, не вспомнить горькие строки Георгия Иванова: «Мне искалечил

жизнь талант двойного зренья, но даже черви им пренебрегли»! А разве это — не примечательные черты психологического облика самого Сологуба?

Самого писателя, правда, такие прямые сопоставления «Логин — Сологуб», от которых, конечно, не удержалась критика, очень раздражали. «Я не списывал Логина с себя и не взвалил на него своих пороков», — категорически заявлял он. Возможно, и так, а возможно — он только хотел, чтобы было так. Процесс художественного творчества сложен, ведь и пчелы собирают свой мед не в готовом виде, а, облетев кто знает сколько цветов, перерабатывают собранную дань. Если развернуть эту аналогию и уподобить в данном случае писателя — пчеле, а жизненные факты — цветам, то нельзя не уточнить и того, что ему пришлось иметь дело в основном с «цветами зла».

Нет сомнений, что Сологуб прекрасно знал воссоздаваемый в романе уездный городок со всеми его обитателями, но со стороны реалистов было бы опрометчиво на этом основании полагать, что их полку прибыло. Реализм Сологуба — да это скорее сюрреализм какой-то! А уж символизм — это точно.

Что-то инфернальное, адское проступает в этом грязном, диком, скучном уездном городишке со всеми его обитателями, где гораздо больше «мертвых душ», чем подлинно живых людей. И что страшнее всего — даже живые несут в себе часть мертвого. Логин напоминает гоголевского Хому Брута: помните, как тот, несчастный, очертил себя в церкви магическим кругом, но в конечном счете нечисть ворвалась-таки в этот круг? А Логин замкнут в этом кругу с нечистью изначально. Зло — не по ту сторону от него, оно вокруг и даже в нем самом. И дело не в том, что Логин — «человек 80-х годов» и в силу этого-де лишен возможности влиять на ход событий. Сологуб не укладывается в подобные фактически-социологические рамки. Годы, в которые живет человек, по Сологубу, — в конце концов, условность, а вот то, что зло изначально коренится в природе человека — непреложный факт. В мире существут некая слепая злая сила, управляющая ходом вещей, различны только формы ее проявления, а сущность все та же — вселенское зло. Не случаен в творчестве Сологуба образ свирепого дракона — солнца; нещадно палит и палит оно, заставляя людей мучиться в перенаселенной пустыне их страстей и пороков...

Присутствие злой надличностной силы ощущалось уже и в рассказе «Тени» — не она ли заставляет мальчика и его мать сойти с ума, предаваясь вроде бы невинной забаве — игре в теневой театр? Это становится тягостной манией, и нет от нее спасенья — ведь везде есть стены, даже в тюрьме, даже в больнице, а значит, всюду, всюду возникает он — зловещий театр теней на этих стенах... Клинический случай? Или, постойте... что-то это напо-

минает... уж не пещеру ли Платона, где мы и сами — только тени мира, неведомого нам?

Разумеется, Сологуб знал Платона. И не только Платона. Не зря же его называли «подвальным Шопенгауэром». Философичность — та основа холста, тот грунт, на котором он рисует свои узоры. Именно это придает его вещам некую зловещую притягательность, вернее было бы сказать — они одновременно и притягивают, и отталкивают, доставляя какое-то мучительное наслаждение. Пожалуй, нечто подобное испытываешь, читая Достоевского, мощное воздействие которого Сологуб, конечно, испытал, но сумел противопоставить его ядам... нет, не противоядие, но — свои, иные яды.

В романе Сологуба есть все: и демоническая красавица, и добродетельная героиня-спасительница, бессильная, однако, спасти, и отцы-садисты, и матери, подталкивающие своих дочерей на край пропасти, есть воинствующие мракобесы и просто бесы, и попытка героя воскреснуть к живой жизни через очищающее убийство... Нет лишь одного, да и, пожалуй, не может быть: действительного воскрешения героя. «Жало смерти — грех; а сила греха — закон», — этим мрачным аккордом обрывается сложная полифония романа...

Можно рассматривать «Тяжелые сны» Сологуба не только как первое большое и значительное по философской постановке проблемы произведение. Это — еще и своеобразный «черновик» его последующих романов, прежде всего — «Мелкого беса», а затем и «Навьих чар». Тут, безусловно, существуют определенная преемственность и разветвленная цепь лейтмотивов.

«Мелкий бес» сделал Сологуба всероссийски знаменитым писателем. Сегодня можно с уверенностью сказать: даже если бы это было его единственное произведение, — имя автора по праву осталось бы в истории литературы.

Писался роман с 1892 года, опубликован был в 1905 году, теперь уже — не в «Северном вестнике», а в журнале «Вопросы жизни». Название журнала, кстати, как нельзя более подходит к проблемному содержанию романа — в нем именно ставятся «вопросы жизни», мучительные и едва ли разрешимые.

Внешний антураж — все тот же: уездный городок с его патологической нормальностью... Главный герой — или, точнее, антигерой романа — учитель Передонов. Опять учитель... Что же представляет собой он, призванный как будто бы «сеять разумное, доброе, вечное»? Это — жестокий «наслажденец», недочеловек, возомнивший себя сверхчеловеком. Подобно тому древнему философу, который ни дня не мог прожить без строчки, Передонов ни дня не может прожить без высеченного мальчика. Ему просто необходимо кого-ни-

будь мучить — если уж мальчика нет под рукою, то хотя бы — кота, гладя его против шерсти и кидаясь в него репьями (репьи он заранее заботливо собирает в карман). Несчастного кота он, впрочем, немного побаивается, подозревая, что на самом-то деле — это приставленный к нему соглядатай. Из одного этого можно заключить, что Передонов — безумен, и чем дальше, тем безумие его становится все очевиднее. Чего стоит одно подозрение Передонова, что приятель Володин замышляет «подменить» его собою, и потому Передонов «метит» себя, рисуя на груди, животе, локтях и т.д. чернилами букву «П». «Враги» мерещатся ему всюду, особенно злоумышляет против него таинственная и зловещая недотыкомка, прикидывающаяся то серым столбом пыли, а то и просто — зеленым банным веником («Позеленела!» — в ужасе думает Передонов). За обоями «кто-то прячется — может, та же недотыкомка? — или подосланный злодей?» — и безумный учитель, специально купив для этой цели шило, кидается на «невидимого злодея», пронзая обои насквозь... Ликуя, пляшет он, свершив «подвиг», а на вопрос жены Варвары, в чем причина такого ликования, отвечает: «Клопа убил!» Позвольте, но что же смутно и карикатурно напоминает эта сцена? Не так ли Гамлет ударом шпаги пронзает Полония, прячущегося за ширмой, объясняя сбежавшимся на шум, что убил крысу? И возникает сомнение: полно, «уж не пародия ли он?» Пушкинский вопрос тем более уместен, что в сценах карточной игры Передонова с гостями откровенно пародируется и «Пиковая дама», правда, Герман сходит с ума после фатального проигрыша, а Передонов — уже безумен: приступая к игре, гости с изумлением видят, что у всех фигур в колоде выколоты глаза. «Это чтоб они не подглядывали!» — объясняет Передонов... Впрочем, такой меры кажется недостаточно — и тогда, одержимый манией преследования, он сам начинает... писать доносы на карточные фигуры, пока те не начали доносить на него. И что интересно, жандармский офицер хранит его доносы «на всякий случай», хотя, казалось бы, ясно, что сочинитель доносов нуждается в услугах психиатра.

Тем не менее окружающие безумия Передонова не желают замечать. Женщины ведут за него борьбу, как за весьма завидного жениха, в этой войне мышей и лягушек побеждает Варвара, правда, обманом, обещая Передонову, что ее тетка, петербургская влиятельная княгиня, после венца непременно даст ему хорошее место. При помощи подложных писем «от княгини» она достигает своей цели и становится-таки законной супругой помешанного учителя. Пиррова победа!

А недотыкомка все не унимается, а враги все злоумышляют, клевещут, а кот все бегает ябедничать к жандармскому офицеру, а приятель Володин прикидывается бараном и блеет; а может, он и есть баран, заодно с котом приставленный следить за Передоновым и в конечном счете «подменить»-таки его?

Еще одна пародийная перекличка, на этот раз — с Гоголем: безумный Передонов объезжает отцов города, доказывая свою благонадежность и ища покровительства. Невольно вспоминаются сцены, когда то же в «Мертвых душах» проделывает Чичиков. Можно узнать и Ноздрева, и Собакевича, и Манилова, но показанных как бы в кривом зеркале.

А сам Передонов? Полно, да не мертвая ли душа он, отравляющая все вокруг трупным ядом? Недаром имя его становится нарицательным, и после появления романа критика заговорила о таком явлении российской тогдашней действительности, как «передоновщина»...

Слава романа оказалась несомненной, но скандальной. Чего только не наслушался Сологуб от критики: его обвиняли и в «эротомании», и в «садизме»... Кривое зеркало бесило — но нельзя было не признать, что ведь — и рожа крива? Сологуб, при всей игре своей изящно-мрачной художественной фантазии, не выдумал эту действительность. Диагноз был поставлен точно: «передоновщина» — идейная гангрена.

Но не будем пересказывать роман Сологуба. Как всякое истинно художественное произведение, его надо внимательнейшим образом прочитать — прежде чем поставить на полку — ну хоть бы рядом с «Бесами» Достоевского. Роман такого соседства заслуживает. Но вот именно прочитать-то нам их и не удавалось — и «Бесы», и «Мелкий бес» — вся эта драгоценная «нечисть» нашей литературы долгие годы была под запретом. «Бесов» мы, по сути, получили возможность прочесть только на волнах «перестройки». А «Мелкий бес», многократно переиздававшийся до революции, после нее был издан только в 1933 году («Academia»), причем его обработали, как мухомор, — выварили в крепчайшем кипятке социологизированного предисловия, в котором Сологуб предстал как социальный разоблачитель, а отнюдь не как «подвальный Шопенгауэр», имеющий пагубную привычку мыслить. После этого наступило глухое продолжительное молчание, и лишь в 1958 году Кемеровское издательство выпустило «Мелкого беса» из колбы длительного заточения.

* * *

Итак, Сологуб — на вершине славы. «Мелкий бес» дает довольно крупные доходы, он без конца переиздается, в театрах идут его бесчисленные

инсценировки; пользуются успехом и другие пьесы Сологуба. Премьера «Победы смерти» в театре Комиссаржевской завершилась тем, что автора увенчали лавровым венком. Большим успехом пользуются также сатирические стихи и «политические сказочки» Сологуба. Оказывается, этот «отшельник», демонстративно прикрывающий глаза в салонах, может-таки, внезапно их приоткрыв, во мгновение ока разглядеть такое в лице и повадках глупой и жестокой бабищи-современности, что другому и не снилось! Яда у автора «политических сказочек» хватит на десятерых, убийственной меткости — также... Но это, понятно, все мелочи. Главное же — задуман новый и, как он считал, самый значительный в его творчестве роман «Навьи чары», разраставшийся по мере выхода его частей: «Творимая легенда» (1907), «Капли крови» (1908), «Королева Ортруда» (1909), «Дым и пепел» (1912). В двадцатитомное собрание сочинений, осуществленное в 1913—1914 гг. издательством «Сирин», это романтико-фантастическое произведение, наполненное глубоким философским смыслом, Сологуб включил в переработанном виде: внес существенные изменения в текст, слил первые две части в одну и дал своему детищу новое название — «Творимая легенда».

В его напряженную творческую работу то и дело вмешиваются горестные события личной жизни. В 1907 году мучительно погибает от наследственной чахотки любимая сестра Ольга — «милая спутница», памяти которой он посвятит третье издание «Тяжелых снов». «Вы не можете знать, — пишет он, ища утешения у друзей, — как велика моя потеря, как мне тяжело, и пустынно... с сестрой связана вся моя жизнь, и теперь я словно рассыпался и взвеялся в воздухе». К этой беде добавилась новая: незадолго до печального дня Сологубу нежданно было предложено подать в отставку. Это после двадцати пяти лет добросовестной службы! Вот уж поистине, как написал он Г.И. Чулкову, «мелкий бес стережет черные дни и приходит пакостить».

Что ж, отставка так отставка. В конце концов, теперь писатель может целиком сосредоточиться на своем творчестве. Мало кому удавалось в России жить только литературным трудом, но Сологуб такую возможность обрел благодаря популярности «Мелкого беса» и других своих прозаических, поэтических и драматургических прозведений.

Однако судьбе было угодно счастливо нарушить его тягостное и печальное одиночество, скрашиваемое только творческим горением. В 1908 году Сологуб женится на Анастасии Николаевне Чеботаревской, только что вернувшейся из Парижа, где она окончила Высшую школу общественных наук. Анастасия Николаевна много переводила с французского, писала статьи по

искусству, в том числе о творчестве Сологуба. Она стала деятельной помощницей мужа, разделила его труды и дни и даже внешне круто изменила его жизнь, окружив писателя несколько громоздким уютом.

В большой новой квартире, куда чета переехала, все было роскошно: настоящий «салон» с вызывающе-импозантной мебелью, где проводились балы-маскарады, приемы, где бывал «цвет общества»... Может быть, это было несколько обременительно для нелюдима Сологуба? Пожалуй, но он любил жену и неплохо играл роль гостеприимного хозяина, хотя порой незаметно выскальзывал из гостиной и скрывался в своем кабинете — просто чтобы побыть одному. Зато — этого нельзя отрицать — впервые в жизни он был окружен уютом, все делалось для него и в его вкусе. Так, ему нравилось обилие позолоты («Кажется, даже лысину бы себе вызолотил...» — признавался Сологуб), и жена «вызолотила» весь дом, не обращая внимания на то, что некоторые знакомые, тонкие эстеты, морщились, приходя, и заглазно упрекали хозяйку дома «в плохом вкусе». Зато Сологуб, свирепо нищенствовавший в прошлом и не знавший такого внимания к своим желаниям и вкусам, был удовлетворен.

До трагического финала, до холодных вод реки Ждановки-Леты, впрочем, еще довольно времени... Пока же — позолота сияет и Федор Сологуб усердно «чары деет, тихо ворожит», дописывая свои «Навьи чары».

Меньше всего Сологуб собирался в своем новом романе посягать на «священное имя социал-демократии», «предавать идеалы революции» и т.п. — вовсе не о том роман! — но именно в этом обвинила его политизированная критика по выходе «Навьих чар». В. Воровский в своей предельно резкой статье «Ночь после битвы» обвинил писателя в «идейном мародерстве», в «клевете на революцию».

Что и говорить, «товарищам» от рабочего движения Сологуб в романе не польстил. Партийные агитаторы в его изображении выглядят примитивными, прямолинейными (а может, они во все времена — и были такими?) Странно было бы предполагать, однако, что писатель с глубоко философским и символистским складом ума видел свою главную цель в изображении этих «товарищей» — ни карикатур, ни тем более ликов святых он создавать и не собирался. Разве не заявил он в первых же строках романа: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду»?

Сологуб стремится заглянуть в глубины подсознания («хочу, чтобы интимное — стало всемирным»), — его влечет не очевидное, но — потаенное, не преходящее, а — вечное. Точнее сказать, его интересует мистика повседневности — за преходящими «я» с маленькой буквы ему видится одно большое

«Я», играющее роль невидимого режиссера-демиурга в видимом театре людей-марионеток. Иногда сцены, поставленные им, зловещи (разгон маевки), иногда — гротескно-нелепы (приезд вице-губернатора в городское училище), порою же — мистически-загадочны...

Все мистически-загадочное связано в романе с учителем Триродовым. Он-то и есть — главный герой, казалось бы, уже привычный для Сологуба, но на сей раз — это не просто мучитель, а еще и маг, визионер, и впрямь способный творить легенду. Сама фамилия его символична: Триродов — это значит, что он живет на земле уже в третьем своем воплощении, отсюда — его загадочные познания и выходящие за пределы обычных таинственные способности. Он — химик, если угодно — алхимик, обыватели в городе с ужасом шепчут о производимых им в строгой тайне и уединении опытах. И есть чему дивиться, если, к примеру, у него на столе лежит некий куб, в котором заключено многократно уменьшенное тело провокатора Дмитрия Матова — предатель как бы убит и не убит, при желании Триродов может вызволить его телесную «матрицу» из куба и при определенных условиях вновь «укрупнить» и воскресить... Фантазия, достойная Уэллса? А может, Хичкока?

Пока же «матрица» Матова замкнута в кубе, а Триродов, приобретя дом и часть имения, принадлежавшие прежде Матову, устроил там будоражащую воображение городских обывателей колонию для детей. Его воспитанники живут здесь в предельной близости к природе, в простых и легких одеждах, вместе с воспитательницами они танцуют на зеленой поляне, под яркою, чистою синевой неба (сцена эта невольно вызывает в памяти картину «Танец» Матисса — та же прекрасная опьяненность радостью жизни, ритмом движения)... Ничего похожего на отупляющую муштру обычных городских училищ! Дети свободны, раскованны, они учатся не зубрить, а думать, душа их раскрывается навстречу Красоте... Утопия? Не о такой ли системе образования и воспитания мечтал сам Сологуб, он же — учитель Тетерников?

Кроме обычных учеников есть в колонии и живущие особняком «тихие дети». Впрочем, слово «живущие» может здесь быть употреблено с некоторой натяжкой... Дело в том, что эти дети — некие посредники между миром мертвых и живых, они не принадлежат всецело ни жизни, ни смерти, не зря целыми днями качаются они на качелях: они как бы между небом и землей, не здесь и не там... Это, по сути, — видимые души невинных.

Особенно смущает обывателей то обстоятельство, что усадьба Триродова примыкает к кладбищу, туда ведет от калитки тропинка, названная «навьей тропой» — и престранные процессии проходят порой по этой тропе... Триро-

дов обладает магической силой — вызывать из земли обитателей могил, оживлять взглядом тех, что еще не вполне умерли; так возвращает к жизни он заживо погребенного отрока Егорушку, забитого матерью. О, много, много чудес творится в странной усадьбе, отгороженной от мира несколькими дворами, с таинственным и длинным подземным ходом, с запертыми калитками, которые открывает вдруг невидимая рука, и слышится смех «тихих детей»!

Да, многое может отставной приват-доцент и маг Георгий Сергеевич Триродов, лет сорока (плюс две предыдущие жизни). Но все же его попытки сотворить «сладостную легенду» наталкиваются на жестокую и тупую обывательскую силу: все те же гоголевские «свиные рыла» в образе чиновников от просвещения (мракобесы — и вдруг просвещать призваны? Парадокс, да и только!) врываются-таки в окна и двери чудесной колонии, учиняя, под видом инспекции, настоящий шабаш...

К чему же приходит Триродов? К выводам, более чем неутешительным: «Нет чуда. Не было воскресения. Никто не победил смерти. Над косным, безобразным миром восставить единую волю — подвиг, еще не свершенный».

Одно успокаивает Триродова: «Она — моя», — думает он о своей невесте Елисавете. Но... впрямь ли его? В это самое время, «мечтая и горя», томилась Елисавета от серой повседневности тусклой жизни: «и казалось, что не иная, что это она сама переживает параллельную жизнь, проходит высокий, яркий радостный и скорбный путь королевы Ортруды».

* * *

Примененные как литературный прием художественно перевоплощенные идеи так называемой реинкарнации (проще говоря, вера в то, что человек рождается не однажды и проживает не одну, а множество жизней) в соединении со скептическим отношением к социальным преобразованиям снова вызвали у демагогической, политизованной критики немалое раздражение. А суть романа была проста: она близка к толстовскому пониманию того, что все великие преобразования надо начинать с усовершенствования человеческой души — и никак иначе. Стремиться переустроить сначала общество, а потом — душу столь же нелепо, как прилаживать телегу впереди лошади.

Именно это со всей откровенностью высказал писатель в 1917 году в статье «Что делать?», которая, конечно же, осталась неопубликованной, так как подобные идеи после свершившегося переворота показались опять-таки более чем неуместными: «Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы измени-

лась не только форма правления, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком». Увы! Писатель не знал еще, что недалеко то время, когда инакомыслящих будут просто лишать души, а заодно и тела, не дожидаясь никаких преобразований в этой самой душе. Нет человека — нет проблемы!

Но если стареющий писатель и не мог еще знать этого, то, во всяком случае, все возрастающую зависимость искусства от государства он почувствовал всем своим существом. И пытался, как мог, противостоять этому, возглавив некую «литературную курию» в Союзе деятелей искусств. Добивались независимости — а добились лишь того, что в 1918 году «курию» вообще прикрыли. В том же году Сологуб попытался создать Совет Союза деятелей художественной литературы и был избран его председателем — надо было как-то сообща выживать в условиях разрухи. Союз пытался делать это, привлекая частные средства и не идя на сотрудничество с власть имущими. Разумеется, и этот Союз вскоре оказался очередной неосуществленной «сладостной легендой».

Да, позади остались те времена, когда Сологубом зачитывалась вся Россия, когда крупнейшие издательства — «Шиповник», «Сирин» — наперебой стремились осуществить выпуск многотомных (двенадцать, двадцать томов!) его сочинений... Теперь Сологуба печатают все меньше, и он уходит в основном в переводы. Но творческий авторитет его еще велик, особенно благоговеют перед ним талантливые молодые поэты. Ахматова, Мандельштам относились к нему с пиететом; Городецкий считал себя его учеником. Раньше многих разглядел Сологуб талант Сергея Есенина, очень поддержал Игоря Северянина, представив читателям его самую знаменитую книгу «Громокипящий кубок» (1913). Благодарный автор впоследствии посвятил ему сонет:

Неумолимо солнце, как дракон
Животворящие лучи смертельны.
Что ж, что поля ржаны и коростельны? —
Снег выпадет. Вот солнечный закон.

Поэт постиг его и знает он,
Что наши дни до ужаса предельны,
Что нежностью мучительною хмельны
Земная радость краткая и стон.

Как дряхлый триолет им омоложен!
Как мягко вынут из глубоких ножен
Узором яда затканный клинок!

И не трагично ль утомленным векам
Смежаться перед хамствующим веком,
Что мелким бесом вертится у ног?

Под сонетом дата — 1926. Как раз в этом году Федор Сологуб был избран председателем Союза ленинградских писателей — слово мэтра еще весомо... Но — век и впрямь становится все более «хамствующим». Сологуб понимает это и пытается покинуть страну. В 1921 году он обращается к Ленину с просьбой разрешить ему с женой выехать за границу. За Сологуба и Чеботаревскую, а также за Блока ходатайствовали и Горький, и Луначарский. Соответствующие инстанции поступили странно: Сологубу разрешение дали, Блоку — нет. Луначарский в порыве негодования стал доказывать, что Блок, если на то пошло, куда больше сделал для революции, чем Сологуб и Чеботаревская! В итоге Блоку выехать разрешили, а Сологубу — нет. Блок не успел воспользоваться этим разрешением: он был уже смертельно болен. Потом эти «чертовы качели» с разрешением-неразрешением взлетали то кверху, то книзу еще не один раз — в итоге психика Анастасии Николаевны не выдержала, и она бросилась в Ждановку. Труп только через несколько месяцев — весной — прибило к берегу. А до тех пор — Сологуб все надеялся, что, может быть, жена жива, что вот-вот вернется домой... Во всяком случае, прибор Анастасии Николаевны неизменно ставился на обеденный стол. Жутковатая мистика самой жизни!

Убедившись,что жена погибла и что он опять остался одинок на всех земных путях, Сологуб, однако, ни на минуту не потерял надежду, что свидание их все же состоится, — но уже в иных мирах. А раз так — перемещения по земле бессмысленны. Не все ли равно, где дожидаться внеземной встречи — в Париже ли, в Петрограде? О выезде за границу Сологуб больше не хлопотал...

В одном из стихотворений 1913 года Федор Сологуб написал:

Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.

Строчки оказались пророческими (это часто случается с поэтами). Так и произошло: в декабре 1927 года писатель скончался после мучительной болезни — то ли впрямь от таинственного «декабрита», то ли — от наступающего удушья тоталитарного режима. Не хватило же воздуха «тайной свободы» Александру Блоку? Рядом с его могилой и похоронили Сологуба на Смоленском кладбище...

* * *

Скольких героев Сологуба — особенно детей — манила, соблазняла, уводила от горестей жизни смерть! Это с ней, утешительницей, пировал герой его стихов, как Рембрандт с Саскией, твердя, как заклинание, удивительно красивые, обворожительно-музыкальные строки:

Лила, лила, лила, качала
Два тельно-алые стекла,
Белей лилей, алее лала
Бела была ты и ала.

А сам Сологуб умирал тяжело, мучительно. «Хоть бы еще походить по этой земле», — сорвалось с его губ. Вера в грядущие перерождения, сладость загробных свиданий — все отодвинулось перед этим, таким понятным и простым, несбыточным желанием...

Так что же — Сологуб обманывался сам и обманывал других? Где истина — в жизни, в смерти?

Но вы забыли, что он «видел две истины сразу». Говоря словами Блока, он знал «и отвращение от жизни, и к ней безумную любовь». Два солнца светили в его небесах, и одно было — все иссушающий Дракон, жестокий Змей, а другое — великий Гелиос, Вседержитель Света, дарующий жизнь... В том-то и своеобразие творчества Сологуба, его мировосприятия, что у него не просто свет борется с тьмой, а свет, несущий добро, непрерывно сражается со светом, несущим зло. И победа здесь едва ли возможна. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой?» — как скажет другой поэт...

Его называли певцом смерти, но разве не он написал хотя бы вот эти строки: «Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими, радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по ко-

торой он шел, вилась над высоким берегом неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам русла реки; неглубокая вода в реке была прозрачна и казалась отрадно-свежею и прохладною. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими».

Нет, это — не Лета, река слез и вечного, темного забвения! Это — не мертвая, запредельная, а живая, земная вода, река счастья...

Но вспомните: в сказках, для того чтобы оживить убитого богатыря, мало было одной живой воды. Сначала непременно надо было омыть его смертельные раны мертвой водой, а уж потом — живой. За этим — великая диалектика самой природы.

Вот и в творчестве Сологуба есть живая и мертвая вода. И очень ошибется тот, кто, не поняв этой нерасторжимой связи, попытается просто отставить в сторону кувшинчик с мертвой водой, а кувшинчик с живой поставит на музейную полку... Чуда воскрешения не произойдет. Загадка творчества и души Сологуба останется непонятой.

Хватит того, что при жизни он страдал от прямолинейной ригоричности критиков. Ослепленные сиюминутным, они того же требовали и от писателя, наделенного открытым третьим глазом. Суть их требований: закрой его! Третий глаз казался уродливым излишеством тем, у которых такового не было...

Творческое наследие Сологуба поистине огромно. Далеко не все стихи вместил в себя синий том, изданный в Большой серии «Библиотека поэта» в 1975 году. Проза его не переиздавалась более полувека, за исключением «Мелкого беса» и десятка рассказов. Пьесы, статьи вообще забыты. Настоящий айсберг, основная часть которого — под водой! Кто из издателей явит Сологуба в целостном единстве, в полном объеме, во весь его духовный и человеческий рост?

А стоит ли?.. — засомневается кто-то. Известно ведь, что вышедшее из-под пера Сологуба не равноценно. Он и сам знал это, и когда у него просили дать стихи для какого-нибудь альманаха, с каменно-непроницаемым лицом осведомлялся: «В какую цену давать стихи? По рублю за строчку или по полтора?» Но бесспорно и то, что среди его стихов были «почти совершенные» (по оценке сверхпридирчивой З. Гиппиус), да и просто — бесценные, за которые и полтора рубля — смешная символическая плата... То же отно-

сится и к прозе. Без труда можно обнаружить здесь и повторы, и провалы вкуса, и ложные обольщения, и ядовитые примеси... Но разложить все по полочкам, как в аптеке, невозможно. Тот, кого интересует живая и сложная диалектика творчества, не согласится на искусственное спрямление пути писателя. Читать указующие ярлыки? Не лучший вид чтения! Разумнее почитать самого Сологуба...

Будут — уверена! — читать и восхищенно перечитывать вновь возвращаемого Федора Сологуба. Само собой разумеется, не все нам, а тем более читателям будущего, окажется при этом одинаково близко. Что-то отдалится, станет едва заметной точкой в пространстве, что-то, наоборот, приблизится. Одно ясно: Сологуб — не из тех писателей, которые, хотя бы и посмертно, позволят исчерпать себя до конца. При видимой стилистической простоте, он многослоен и многозначащ.

Вот «Ёлкич» — январский рассказ, сюжетно связанный с событиями кровавого воскресенья — 9 января 1905 года. Мальчик Сима (уменьшительное от Серафим, что значит «пламенеющий») — необыкновенный ребенок, наделенный даром видеть и слышать то, что не видят и не слышат другие. Другие дети смотрят на елку и радуются игрушкам, подаркам... Сима же всей душой жалеет никому не видимого бедного ёлкича — маленького зелененького человечка, который ходит и все ворчит: «Разве моя елка для вас выросла? Она сама для себя выросла!» Сима задумывается, в самом деле, для чего елку срубили? «Ведь она, в самом деле, для себя? И каждый для себя. А то ведь этак каждого придут и возьмут, и сделают, что хотят». Разгневанный «ёлкич» предрекает, что прольется кровь — и в самом деле, Сима, затесавшийся в толпу 9 января, погибает от шальной пули...

Характерное для Сологуба смешение мистики и конкретности, сиюминутности (таинственный «ёлкич» и события «кровавого воскресенья»), так раздражавшее многих критиков, однако же, оправдало себя: конкретный повод отодвинулся, а мистическое, оно же — вечное, не только осталось, но даже приобрело в наши дни некий новый, пугающе близкий уже именно для нас смысл. Не буду напоминать о том, что и так никто не в силах забыть — о тех кровавых и смутных десятилетиях репрессий, когда и впрямь, как опасался чуткий мальчик Сима, приходили, и брали, и делали что хотели. Но разве сейчас, когда все природные связи так вопиюще порушены и никак не могут уместиться в коротеньком слове «экология», — не грозит ли каждому из нас явление некоего «ёлкича»? Тень отца Гамлета, посылаемая к своим детям самой природой, требует отмщенья! Но... кому

же мстить? Самим себе? Ведь мы — неотъемлемая часть нами же поруганной природы!..

Да, такой «январский рассказ» не спишешь в архив, от проблем, проступающих сквозь его художественную ткань, как кровь из-под марлевой повязки, не отмахнешься...

Таков он, Федор Сологуб, с его живой и мертвой водой, не верящий в чудо воскресения, но знающий, что оно необходимо душе человеческой. Во все времена.

*Светлана Соложенкина*

# ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ

*Роман*

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Роман «Тяжелые сны» начат в 1883 г., окончен в 1894 г. Напечатан в журнале «Северный вестник» в 1895 г., с изменениями и искажениями, сделанными по разным соображениям, к искусству не относящимся. Отдельно напечатан первым изданием в 1896 г., но и тогда первоначальный текст романа не вполне был восстановлен по тем же внешним соображениям. Для третьего издания в 1908 г. роман вновь просмотрен автором и сличен с рукописями; редакция многих мест изменена.

Много лет работать над романом, — а всякий роман не более как книга для легкого чтения, — можно только тогда, когда есть надменная и твердая уверенность в значительности труда. Проходят долгие, тягостные дни и годы, и все медлишь, и не торопишься заканчивать творение, возникающее «lentement, lentement, comme le soleil» *.

Создаем, потому что стремимся к познанию истины; истиною обладаем так же, в той же мере и с тою же силою, как любим.

Сгорает жизнь, пламенея, истончаясь легким дымом, — сжигаем жизнь, чтобы создать книгу.

Милая спутница, изнемогая в томлениях суровой жизни, погибнет, и кто оценит ее тихую жертву? Посвящаю книгу ей, но имени ее не назову.

*Сентябрь 1908 г.*

---

* Медленно, медленно, как солнце *(фр.)*

## ОТ АВТОРА
## К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Предисловия рождают споры. Может быть, потому, что легче говорить об одной страничке или о двух, чем о целой книге.

Мое предисловие к третьему изданию «Тяжелых снов» также не осталось без опровержения со стороны критиков. Один из них даже написал очень большую статью, в которой, на основании тщательного сравнения первого и третьего изданий этого романа, доказывает, что я в своем предисловии сказал неправду. Аргументация старательного и трудолюбивого критика кажется довольно убедительною, но все-таки приводит его к неверным заключениям; например, о некоторых страницах, написанных до первого появления романа в «Северном вестнике», он говорит, что они написаны нарочно для третьего издания. Это произошло, мне кажется, оттого, что критик счел излишним обратиться к первоисточнику, т.е. к рукописям.

Читать по писанному, конечно, труднее, чем читать по печатному, но я слыхал, что люди, желающие произвести точное исследование и установить истину, предпочитают почему-то именно вот этот, более трудный способ работы.

*Декабрь 1909 г.*

## Глава первая

Начало весны. Тихий вечер... Большой тенистый сад в конце города, над обрывистым берегом реки, у дома Зинаиды Романовны Кульчицкой, вдовы и здешней богатой помещицы...

Там, в доме, в кабинете Палтусова, двоюродного брата хозяйки (впрочем, никто в городе не верит в их родство), играют в винт сам Палтусов и трое солидных по возрасту и положению в нашем уездном свете господ. Их жены с хозяйкою сидят в саду, в беседке, и говорят, говорят...

Хозяйкина дочь, Клавдия Александровна, молодая девушка с зеленоватыми глазами, отделилась от их общества. Она сидит на террасе у забора, что выходит на узкую песчаную дорогу над берегом реки Мглы. С Клавдиею один из гостей: он в карты не играет.

Это — Василий Маркович Логин, учитель гимназии. Ему немного более тридцати лет. Его серые близорукие глаза глядят рассеянно; он не всматривается пристально ни в людей, ни в предметы. Лицо его кажется утомленным, а губы часто складываются в слабую улыбку, не то лениво-равнодушную, не то насмешливую. Движения его вялы, голос не звонок. Он порою производит впечатление человека, который думает о чем-то, чего никому не скажет.

— Скучно... Жить скучно, — сказал он, и разговор, казалось, интересовал больше Клавдию, чем его.

— Кто же заставляет вас жить? — быстро спросила Клавдия.

Логин подметил в ее голосе раздражение и усмехнулся.

— Как видите, пока еще не сумел избавиться от жизни, — лениным голосом ответил он.

— А это так просто! — воскликнула Клавдия.

Зеленоватые глаза ее сверкнули. Она засмеялась недобрым смехом.

— Просто? А именно? — спросил Логин.

Клавдия сделала угловатый, резкий жест правою рукою около виска:

— Крак! — и готово.

Ее узко разрезанные глаза широко раскрылись, губы судорожно дрогнули, и по худощавому лицу пробежало быстрое выражение ужаса, словно она вдруг ясно представила себе простреленную голову и мгновенную боль в виске.

— А! — протянул Логин. — Это, видите ли, для меня уж слишком просто. Да ведь этим и не избавишься ни от чего.

— Будто бы? — с угрюмою усмешкою спросила Клавдия.

— Есть запросы, жажда томит, не унять всего этого огнестрельным озорством... А может быть, просто ребяческий страх... глупое, неистребимое желание жить... впотьмах, в пустыне, только бы жить.

Клавдия взглянула на него пытливо, вздохнула и опустила глаза.

— Скажите, — заговорил опять Логин после короткого молчания, — вам жизнь какого цвета кажется и какого вкуса?

— Вкус и цвет? У жизни? — с удивлением спросила Клавдия.

— Ну да... Это же в моде — слияние ощущений...

— Ах, это... Пожалуй, вкус — приторный.

— Я думал, вы скажете: горький.

Клавдия усмехнулась.

— Нет, почему же! — сказала она.

Старые вязы наклоняли ветви, словно прислушиваясь к странному для них разговору. Но не слушали и не слышали. У них было свое. Стояли, безучастные к людям, бесстрастные, бездумные, со своею жизнью и тайною, а с темных ветвей их падала, как роса, отрясаемая ветром, прозрачная грусть.

— А цвет жизни? — спросил Логин.

— Зеленый и желтый, — быстро, не задумываясь, с какою-то даже злостью в голосе, ответила Клавдия.

— Надежды и презрения?

— Нет, просто незрелости и увядания... Ах! — воскликнула она внезапно, как бы перебивая себя самое, — есть же где-то широкие горизонты!

— Нам-то с вами что до них? — угрюмо спросил Логин.

— Что?.. Душно мне — и страшно... Я заметила у себя в последнее время дурную повадку оглядываться на прошлое...

— И что же вам вспоминается?

— Картинки... милые! Детство — без любви, озлобленное. Юность — муки зависти, невозможных желаний... крушение надежд... идеалов! Да, идеалов, — не смейтесь, — были все-таки идеалы, — как ни странно... Вперед стараешься заглянуть — мрак.

— А над всем этим — кипение страсти, — сказал Логин неопределенным тоном, не то насмешливо, не то равнодушно.

Клавдия задрожала. Ее глаза и потемнели, и зажглись бешенством.

— Страсти? — воскликнула она сдавленным голосом.

— Конечно! Вас томит не жажда истины, а просто, выражаясь грубо и прямо, страсть.

— Что вы говорите! Какая страсть? К чему?

— Неопределенные порывы, чувственное кипение... возраст такой, — да и пленено юное сердце демоническою красотою очаровательного скептика.

— Вы про Палтусова?.. Если б вы знали, чем он был в моей жизни! Если бы вы могли это себе представить.

— Развивателем?

— Оставьте этот тон, — раздражительно сказала Клавдия.

— Простите, я не нарочно, — ответил Логин искренним голосом.

— Когда еще я была девочкою, — страстно и торопливо заговорила Клавдия, — когда он еще обращал на меня внимание не больше, чем на любую вещь в доме, я уже была захвачена чем-то в нем... мучительно захвачена. Что-то неотразимое, хищное, — как коршун захватывает цыпленка. Мне иногда хотелось... не знаю, чего хотелось... Дикие мечты зажигались... Впрочем, я всегда ненавидела его.

— За что?

— Разве можно это знать! Может быть, за пренебрежительную усмешку, за дерзость речи, за то, что мать... вы знаете, он имеет на нее влияние.

Клавдия улыбнулась странною, не то злою, не то смущенною улыбкою.

— За это особенно, — тихо сказал Логин, — ревность, не правда ли?

— Да, да, — порывисто и волнуясь отвечала Клавдия. — Потом, не знаю как, мы начали сходиться. Не помню, с чего это началось, — помню только мою злую радость. Долгие беседы, жуткие, жгучие, — поток новых мыслей, смелых, злых... Открылись заманчивые бездны... Но я ненавижу их… Я бы хотела бежать от всего этого!

— Куда?

— Почем же я знаю? Я вижу сны, я боюсь, — чего, сама не знаю... Точно боишься взять что-то чужое... А что мне она, эта жена его далекая, которая не живет с ним, которой я и не видела никогда!.. Может быть, она несчастна... или утешилась?.. Стоишь точно перед рогаткою, за которую не велено входить... Он издевается над этим... суеверием...

— А вы знаете, — внезапно сказал Логин, переходя к другому, — и я был влюблен в вас.

— Да?

Клавдия принужденно засмеялась и покраснела.

— Благодарю за честь, — досадливо сказала она.

— Нет, в самом деле.

— Не сомневаюсь.

Логин слегка наклонился к ней и заговорил задушевным голосом:

— Не сердитесь на мои слова, — мне тяжело было терять и эти надежды. Я думал тогда: отчего для меня должно оставаться запрещенным счастье, широкое, вольное? Отчего не идти рука об руку со смелою подругою туда, где мечтались мне новые, широкие просторы? Отчего? — тихо спросил он и взял ее тонкую руку с длинными пальцами.

Клавдия не отымала руки. Плечи ее тихонько вздрагивали. Ее зеленоватые глаза горели.

— Да, — продолжал Логин, — мечтались мне широкие пути... И вдруг увидел я, что это было чувство, искусственно согретое...

Встал, прошелся по террасе. Клавдия молчала и следила за ним странно горящими глазами. Легкое веяние доносилось с реки. Ветви вязов слегка колыхались. Логин остановился перед Клавдиею.

— А впрочем, — сказал он, — мне кажется, для каждого из нас есть свой путь... трудный и неведомый.

— Покажите мне его! — с порывом несколько диким воскликнула Клавдия и протянула к нему руки широким и быстрым движением.

— Да я сам хотел бы, чтобы мне его открыли, — угрюмо сказал Логин. — Было время, мне казалось... В чьих-то руках мерещился светоч...

— У вас есть свои светочи.

— В том-то и горе, что их нет. Мираж — все эти мои планы, — жажда обмануть свою душу...

— Какой светоч мерещился вам? — печально спросила Клавдия.

— Что-то неожиданное... Неизъяснимое очарование веяло... Что-то не русское, чуждое всему, что здесь... Я все ждал, что вот-вот случится необычайное, невозможное... Но ничего не случалось, — дни умирали однообразно и скучно, как всегда... Посмотрел я пристально в себя самого — и нашел в себе все ту же всечеловеческую дерзость, задорную и бессильную, и тот же тоскливый вопрос о родине... Идите к нему, — небо и землю создаст он вам.

Клавдия хотела ответить. Но раздались шаги и голоса приближающихся дам, и Клавдия промолчала.

Логин возвращался домой поздно ночью, по безлюдным и темным улицам. Думал о Клавдии. Щемящая жалость к ней наполняла его душу.

Отец Клавдии умер, когда ей было лет пять. Ее мать сошлась с инженером Палтусовым. Он был женат и не жил с женою. Кульчицкая выдавала его за двоюродного брата. Так прожили они несколько лет, то в нашем городе, то странствуя по чужим землям. В последнее время Палтусов охладел к увядающей красоте Кульчицкой. Его потянуло к Клавдии. Они начали сближаться как-то странно, словно враждуя друг с другом. Мать заметила их сближение. Начала рев-

новать. Клавдия не любила матери. Но ее тяготила мысль о бесправной связи, которую люди осудят.

Логин и сам наверное не знал, за что он жалеет эту девушку: за то ли, что мать ее никогда не любила и холодное детство обезобразило ее страстную душу? За то ли, что она полюбила чужого мужа, любовника ее матери, — и не могла разобраться в тех отношениях, которые порождены были этою любовью? За то ли, что Палтусов разбил в ней первоначальные верования и ничем не могла она заменить их?

Логин вспомнил, что нежная жалость к Клавдии давно томила его, — томила тем сильнее, что он чувствовал, как родственны их натуры. Эту жалость принял он когда-то за любовь к Клавдии. И так напряженно было это его чувство, что оно нашло себе отклик и в самой Клавдии. Между ними установилась странная полуоткровенность, взаимное испытывание друг друга, взаимная смута. Установилось и взаимное понимание с полуслова. Но ничего не вышло из этих напряженных отношений: назвать свое сближение любовью они не могли, а лгать себе самим не хотели.

Теперь Логин думал, что и не могла зажечься любовь в его преждевременно одряхлелом сердце. Давно уже привык он топить всякий порыв своего сердца в бесплодных и бессильных размышлениях, в ленивых и сладостных мечтах, в страданиях и утехах одиноких и странных, о которых он никому не мог рассказать. Он теперь ясно вспоминал, как быстро эта удивительная жалость к Клавдии претворилась в чувственное влечение, — и мечты окрасили это влечение жестокостью.

Угасло ли это низменное влечение теперь, он еще не знал, но уже уверен был в его незаконной природе. Заманчиво было бы бросить Клавдии год, два жгучих наслаждений, под которыми кипела бы иная, разбитая... ее любовь. А потом — угар, отчаяние, смерть... Так представлялось ему будущее, если бы он сошелся с Клавдиею... Чувствовалось ему, что невозможна была бы мирная жизнь его с нею, — слишком одинаковым злобным раздражением отравлены были бы оба,— и, может быть, оба одинаково трудно любили тех, от кого их отделяло так многое...

Но отчего же все-таки он, усталый от жизни, не взял этого короткого и жгучего полусчастья, полубреда? Что из того, что за ним смерть? Ведь и раньше знал он, что идет к мучительным безднам, где должен погибнуть! Что отвращало его от этой бездны? Бессилие? Надежда?

Перед ним раскрывались иногда в его мечтаниях иные, доверчиво-чистые глаза, светилась ласковая улыбка. Может быть, это зажигалась чистая, спасительная любовь, но не верил в нее Логин. Чужой, далекий свет является ему в тех доверчивых глазах, и бездна казалась ему непереходимою...

Логин жил на краю города, в маленьком домике. В мезонине устроил кабинет, там и спал; в подвальном этаже была кухня и помещение для служанки; середину дома занимали комнаты, где Логин обедал и принимал гостей. Наверх к себе приглашал немногих. Здесь он жил: мечтал, читал.

Книжные шкапы и полки для книг занимали много места в кабинете. На этажерке лежало десятка полтора новых книг. Еще немногие из них были разрезаны. Письменный стол наполовину загромождали тетради, справочные книги, учебники. На кучке тетрадок в синих обложках лежал томик стихотворений, заложенный деревянным белым ножом с выжженным рисунком.

Логин подошел к широкому окну кабинета. Перед ним лежал темными грудами деревянных домов мирный, сонный город. От огородов и заборов подымались к Логину, как доверчиво простертые руки, наивные и скучные впечатления. Влажною казалась мгла пустых улиц; тишина их была чужда Логину и непонятна ему. Чем-то утраченным и уже ненужным веяло на него.

Опустил штору и зажег лампу. Красное одеяло на кушетке неприятным, надоедливым пятном бросилось в глаза.

Еще не хотелось спать. Любил по вечерам, лежа в постели, подолгу читать. Но сегодня и читать не хотелось. Спустился в столовую и принес оттуда мадеру и бисквиты.

Мысли о Клавдии томили его. Налил вино в стакан и медленно пил. Больные и нелепые мечты роились — и вдруг сменялись мечта-

ми наивными, как детские сказки в далеких и мирных долинах. Душа колебалась, как на качелях, от близкого и влекущего, но запрещенного, к невозможному, но желанному и святому.

Пил стакан за стаканом. Наивные грезы жалобно умирали, — все жарче и нелепее пылали безумные мечты...

Пьяный угар, томительно-сладкое кружение... Отяжелелая голова клонится. В глазах багряно и туманно.

Тихий шелест у дверей. Не хочется обернуться. Или это только шумит в ушах?

Шелест около косяка повторяется. Словно кто вошел, задевая юбкою за дверь, и стоит теперь, тихонько двигаясь, у двери... Но Логин знает, что там некому быть. Он один — угрюмая служанка спит внизу, никого больше нет в доме, и двери все заперты. А шелест, настойчивый, тихий, все повторяется, как будто нетерпеливый стоит там, у косяка.

Логин облокотился на письменный стол правою рукою и обернулся. Кто-то стоял у дверей. В тумане колебались стены комнаты. Логин поднялся было с места, шатаясь, но сейчас же опять сел и тупо глядел на дверь.

У двери стояла красивая, румяная молодая баба. Широкая улыбка ее была бесстыдна и безоглядно весела. Ее лицо было знакомо Логину, — но не сразу припомнил, кто это.

Пристально рассматривал ее, — а она стояла и перебирала руками кончики надетого на голове пестрого платочка. Лицо ее рдело, и зубы, ровные и красивые, сверкали из-под алых губ, широких, вздрагивающих от улыбки.

Наконец припомнил. Молодую красавицу звали Ульяною. Она была женою безземельного крестьянина ближней деревни; служила ключницею у Мотовилова, почетного попечителя гимназии. Вспомнил и мужа Ульяны: пропойца Спирька часто шлялся по городским улицам; кормился он случайными работишками да подачками жены. Городская сплетня давно разнесла, что Ульяна в близких отношениях с Мотовиловым. И Спиридон начинал этому верить. Встречая на улице Мотовилова, он мрачно на него поглядывал и дерзко выпра-

шивал подачки. Мотовилов давал иногда по пятаку, на что Спирька говаривал:

— Благодетель, — пропью за твое здоровье, а ты владай.

Все это вспомнилось теперь Логину.

— Да это вы, Ульяна? — спросил он.

— Я, — тихонько ответила красотка и стыдливо потупилась.

Но бесстыжие глаза ее тотчас же бойко глянули из-под густых ресниц, румянец еще ярче зарделся на щеках, и в пьяном воздухе душной комнаты пронесся тихий, задорный смешок.

— Вы от Алексея Степановича?

— Нет, я от себя, — отвечала Ульяна, играя веселыми глазами.

— Как вы попали? кто вас впустил? разве не заперто?

— В то самое окошечко.

— В какое окошечко? — в недоумении спрашивал Логин.

— А как сказали тогда: второе от угла; так и оставили открытое, — то самое окошечко, да.

— Да какое такое окошечко? Кто сказал вам об окошечке?

— Ну вот, уж и забыли. Сами же велели прийти.

— Когда? — угрюмо спросил Логин.

— Да в прошлое воскресенье, — объясняла Ульяна, словно досадовала на его забывчивость, — когда вы у наших господ в гостях были.

— Что за вздор!

— В коридоре меня встретили, да и говорите: приходи, мол, в среду вечерком, ждать буду, — вот я и пришла. Раньше никак не способно было, — в силу вырвалась.

— Тебе послышалось, — лениво сказал Логин. — На что ты мне?

Ульяна звонко засмеялась. Назойливый смех дразнил и обольщал Логина. Он смотрел на Ульяну с недоумением и досадою. Она была такая розовая и пышная, от нее точно веяло жаром. Темные косы выбивались из-под платочка. А кончики платочка торчали в разные стороны, и узел расползался...

Розовый туман опять начал расстилаться перед глазами Логина. Голова сладко и томно закружилась. Фигура Ульяны расплывалась в тумане.

«Да это сон, бред!» — подумал он.

Ульяна сделала шага два вперед. Она неслышно ступала и странно колебалась. Складки длинной юбки колыхались и едва приоткрывали кончики белых ног.

— Что ж, садись, красавица, коли пришла, — сказал Логин.

— Ничего, постою, — отвечала Ульяна.

Ее плутоватые глаза забегали по комнате. Вдруг она пригорюнилась, подперла рукою щеку и заговорила что-то жалостное: о муже-пьянице, о горьком сиротстве и одиночестве своем, о даром увядающей красоте. Она выговаривала слова тихо, но отчетливо, словно быстро и умело отбирала крупные пшеничные зерна. Все быстрее и слаще журчала ее заунывная речь. Все ближе подвигалась она к Логину. И уже ощутил он ее теплую и томную близость.

— Приласкайте меня! — шепнула она, и вся зарделась, и задрожала, и закрылась руками.

А сквозь раздвинутые слегка пальцы глянули задорные, веселые глаза.

Логин вылил в стакан остатки вина и жадно выпил его...

Багровый туман застилает комнату. Лампа светит скупо и равнодушно. Назойливая румяная улыбка...

Падают широкие одежды... Алые, трепещущие пятна сквозь багровый туман... Так близко знойное тело...

Кто-то погасил лампу...

## Глава вторая

По утрам в будни Логин всегда бывал в мрачном настроении. Знал: придет в гимназию и встретит холодных, мертвых людей. Они равнодушно отбывают свою повинность, механически выполняют предписанное, словно куклы усовершенствованного устройства. Но не любят этого предписанного, стараются затратить на него поменьше сил, мечтают о картах. Знает Логин, что и от него ждут такого же бездушного отношения к делу. Он должен быть как все, чтобы не раздражать сослуживцев.

Когда-то он влагал в учительское дело живую душу, — но ему сказали, что он поступает нехорошо: задел неосторожно чьи-то самолюбия, больные от застоя и безделья, столкнулся с чьими-то окостенелыми мыслями — и оказался, или показался, человеком беспокойным, неуживчивым. Не понимали, из-за чего он хлопочет: не все ли ему равно, так или иначе поступят с тем или другим мальчиком? Его перевели, чтобы прекратить ссоры, в другую гимназию, в наш город, и объявили на язвительно-равнодушном канцелярском наречии, что он переводится «для пользы службы». И вот он целый год томится здесь тоскою и скукою.

Он встал рано. После выпитого вечером вина ему часто не спалось по утрам, и он пробуждался раньше обычного.

Голова тупо болит: выпил слишком много. Во всем теле чувствуется томность. Ясное утро кажется тоскливым, одиноко и грустно в его холостецкой квартире. Угрюмое лицо служанки, изрытое оспою, усиливает его тоску.

Безумные воспоминания смутно и беспорядочно толпятся в отяжелелой голове. Вспоминается ночь и странное посещение... В глаза так и мечется Ульяна, румяная, смеющаяся.

В кабинете никого уже не было, когда он проснулся. Не может решить, приходила ли Ульяна или это был ночной бред. Томится тоскою более ранних, полузабытых, грубых воспоминаний. Разверстые уста двух мрачных бездн зияют за ним, и не понять ему, из которой бездны подняло его грустное, светлое вешнее утро невозможно-наивною зарею.

Спустился вниз и ходит в гостиной и столовой. Боязливо смотрит на окна. Никто еще не отворял их с ночи. Их медные задвижки отчищенным блеском удручают глаза. Всматривается в эти задвижки и никак не может решиться подойти к окну.

Злобная досада на себя наконец охватила его. Порывисто подошел к окну, второму от угла, и схватился за задвижку — она с легким взвизгиванием вышла из медного влагалища.

«Бред, бред! — тоскливо думал Логин. — Да нет, не может быть! От какого угла второе окно? Может быть, второе от двора».

Торопливо перешел из столовой в гостиную и бросился ко второму окну — оно было только притворено и не заперто на задвижки... Хриплый, короткий смех вырвался из его груди. Он широко распахнул окно и, перегнувшись через подоконник, жадно всматривался во что-то...

Пыльная травка внизу, повыше — узкий выступ фундамента и сероватые доски, которыми обшит дом. Этот ли ветер, который теперь упруго и влажно бьется о лицо Логина, уничтожил следы? Или длинная Ульянина юбка смела пыль с выступа над фундаментом? Или и не было никаких следов?

Логин внимательно всматривался в скупую, сорную землю дороги, но и там ничего не находил.

После томительно проведенного в гимназии утра Логин вернулся домой и принялся за работу. Недавно задумал он основать в нашем городе союз взаимопомощи, с довольно широкими целями. Теперь хотел набросать на бумаге проект устава, чтобы показать тем, кто первые отозвались на его мысль.

Может быть, не столько в мыслях, сколько в смятенных чувствах Логина находил себе пищу этот замысел. Он навеян был давнею тоскою, холодом жизни эгоистичной и полной случайностей... Много видел Логин отвратительных и презренных дел, видел гибель многих и каменное равнодушие остающихся, — негодование, отчаяние, злоба мучили его. Жизнь являлась грозною, томили предчувствия, подстерегали несчастия. Личное счастье и довольство сурово отвергались сердцем, да и разуму казались ненадежными, — казалось, что в личной жизни нет устоев, которых не могла бы сокрушить нелепая случайность. Жизнь колебалась, как непрочный мост на шатких устоях. И вот явилась мысль, спасительная... но химеричная.

В глубине сознания Логина с самого начала таилось неверие в осуществимость этой мысли. Иногда он даже сознавался перед собою в том, что не верит. Но слишком был необходим выход из душевной смуты, чтобы Логин мог решиться бросить свой замысел, не испытав его на деле.

В последние дни Логин внимательно всматривался в горожан и много знакомился с теми, кого раньше или вовсе не знал, или знал мало. Все, что замечал теперь, примеривал к своему замыслу — и людей, и дела их. Оказывалось большое несоответствие. Иногда затея провести живую мысль в этом обществе представлялась до забавного нелепою, и Логин улыбался холодною и рассеянною улыбкою.

Он пообедал одиноко, оделся с некоторою тщательностью и отправился за город. Там, куда он шел, ему легче дышалось, там были ясные настроения, хотя часто казались они ему странно чуждыми.

Он шел к Ермолиным, которые жили в своей усадьбе, верстах в двух от города. Семья Ермолиных состояла из отца, дочери и сына. Максим Иванович Ермолин лет десять тому назад оставил земскую службу — был он председателем уездной земской управы. Теперь только со стороны интересовался он земскими делами. Эти дела шли не так, как при нем — по иному направлению.

Логину чудилось что-то родное в печальной задумчивости, которая ложилась иногда на лицо Ермолина. Но оно дышало здоровьем и было полно той красоты, простой и дикой, которая напоминает простор полей, деревню и лес, где пахнет «смолой и земляникой».

Ермолин занимался хозяйством, — считался он по уезду в числе не только уцелевших от разорения, но и богатых помещиков. Он дивил горожан простотою жизни, любовью к труду и ворохами журналов и книг, которые ему высылались. Детей воспитал просто и сурово. Они привыкли к труду, не боятся холода и боли. Напрасный стыд не имеет над ними власти, они целыми днями остаются необутыми и так уходят далеко из дому. В нашем мещанском городе, конечно, это осуждали.

Логин шел по шоссейной дороге. Только что миновал он последнюю городскую лачугу и последнюю харчевню, — а уже было пусто и тихо. Только слабо и гулко доносились удары молота из убогой, почернелой кузницы, что торчала боком на выезде из города, да впереди Логина, далеко, трусил в сером облачке пыли на тряской тележонке пьяный мужик, подхлестывал пегую лошаденку и горланил песню, слов которой не было слышно. Скоро и он скрылся из виду, и затихли понемногу дикие звуки его нестройного пения.

Около дороги, в стоячей воде рва, увидел Логин бледные и грустные цветы водяного лютика. Плотные, блестящие листья с выемчатыми краями равнодушно и сонно лежали на тусклой воде и не чуяли теплой ласки вешнего воздуха, а больные цветы тосковали и задыхались в своем влажном и душном жилище. Светлый май был им нерадостен, и нерадостно глядели на них глаза тоскующего человека...

Наконец оголтелые и тусклые просторы дороги и полей наскучили Логину. Торопливо покинул он проезжую дорогу и свернул в сторону, по тропе, которая вела в кусты и через них к реке. Запахло сыростью. Еле различимый, кисловатый аромат ландышей опьянял воздух веселыми, безмятежными настроениями. В тени кустов изредка забелели радостные цветы и напоминали Логину беззаботную улыбку Анны Ермолиной. Ему стало вдруг весело и забавно. Он принялся срывать ландыши и сам подсмеивался в душе над собою за такое свое детское занятие. Но чувствовал он, что родственны его душе и эти невинные и безоблачные настроения, — правда, скучноватые, правда, преследуемые каиновою улыбкою злого человека.

Берег подымался. Под ногами Логина были красные глинистые обрывы.

Ландыши в его руках медленно увядали...

Река делала луку около обрывистого берега. Противоположный берег был низменный. Там виднелись поля. Видна была отсюда и часть города, и зеленые кровли его белых церквей с позолоченными крестами.

Логин поднялся на самую высокую точку берега. Невдалеке увидел он усадьбу Ермолина: деревянный двухэтажный дом с красною железною крышею, весело зеленеющий сад и густо разросшийся парк; дальше, за домом, службы и огород. Он перевел глаза к реке. У края парка, на берегу реки, увидел он женскую фигуру в синем сарафане. Недалеко от нее, по колени в воде, копошился мальчик с удочкою в руках. Логин не различал лиц — он плохо видел вдаль. Но он был уверен, что это Анна Ермолина и ее брат Анатолий. Логин вооружился своим пенсне. Оказалось, что он не ошибся.

Анна сидела на земле; она прислонилась спиною к стволу ивы. Логину видно было только ее ухо и часть спины, но он узнал ее по

манере держаться, по медленным и свободным движениям рук, по круглым очертаниям плеч, по всем тем еле уловимым приметам, которые с трудом передаются словами, но так хорошо улавливаются и запоминаются глазом.

Логин перевел вооруженные стеклышками глаза на Анатолия. Мальчик говорил с Анною и улыбался. Лихо поднятый кверху блестящий козырек серовато-белой фуражки открывал смуглое лицо. Освещенный солнцем, уменьшенный расстоянием, ясно видный Логину сквозь стекла, словно обведенный тоненькими, отчетливыми линиями, он казался ярким, как на картинке, на ярком фоне голубой реки и светлой зелени. Его белая блуза была перетянута лакированным темным ремнем с узкою медною пряжкою. Иногда Анатолий выходил из воды и взбирался на который-нибудь из камней у берега. Рядом с темными складками высоко подобранной одежды ноги казались розовыми.

Рыба плохо ловилась. Мальчик даром бродил в холодной еще воде. Но, казалось, он не чувствовал холода. Он привык.

Логин припомнил свое детство, вдали от природы, среди кирпичных стен столицы. Вялы и нерадостны были дни, городскою пылью дышала грудь, суетные желания томили, раздражительна была ложная стыдливость, порочные мечты рано стали волновать воображение. «Вот она, жизнь мирная и ясная, — думал он, — а я, с моим нечистым прошлым, дерзаю приближаться к ним, непорочным».

Злобно взглянул он на ландыши, смял цветы, изорвал их и бросил вниз, к реке. Тихо полетели измятые ландыши, и колыхались в воздухе, и рассыпались по неровностям обрыва. Логин долго смотрел на их погубленную красоту. Он думал: «Не любит современный человек красоты в ее обнаженном аспекте, не понимает ее и не выносит. У нас нервы слишком тонки для такого простого и грубого наслаждения, как созерцание красоты».

Потом он спустился с холма и пошел к парку Ермолина. Внизу, в сыром и темном месте, увидел крупные, желтые цветы курослепа. Усмехнулся недоброю улыбкою, сорвал цветок и всунул его в петлицу пальто; но тотчас же лицо его стало печально, он бросил цветок в траву и облегченно вздохнул.

Анна развилась пышно для своих двадцати лет: плечи у нее «опарные», грудь высокая. Ее нельзя назвать красивою за ее лицо; для строгих типов красоты оно, хоть и миловидное, неправильно, а быть красавицею в русском вкусе ей мешают глаза, большие и красивые, но слишком внимательные, и золотистая смугловатость кожи. Зато под складками ее сарафана угадывается прекрасное, сильное тело. Короткие рукава обнажают стройные руки. Ее ноги слегка тронуты загаром.

Анатолий, мальчик лет пятнадцати, сильный и ловкий, похож на сестру. Его глаза смотрят не по возрасту рассудительно, но и наивно, пожалуй, тоже не по возрасту: мы привыкли видеть в глазах мальчиков тех же лет слишком «понимающее», преждевременное и нехорошее выражение.

Анатолий взобрался на прибрежный камень. Говорил печально:

— Нет, не ловится; ведь вот какая незадача!

— Видно, вчера всю выловил, — сказала Анна.

Анатолий потер руками похолодевшие колени и сказал:

— А ведь это дурное дело... жестокое.

— А ловишь, однако, — тихо молвила Анна.

Анатолий покраснел слегка, помолчал немного и ответил:

— Да уж заодно, им там в воде тоже несладко: жрут друг друга. Кто сильнее... Знаешь, что мне теперь представляется?

— Ну что? — спросила Анна.

— Видишь — дерево?

Анна взглянула на иву, которая склоняла над нею свою косматую вершину.

— Вот будто я взлез туда, — рассказывал Анатолий. — А внизу дети крестьянские с белыми волосами глазеют на меня, ртишки разинули. И стало мне грустно...

— Когда же это было? — спросила Анна.

Улыбалась и поддразнивала брата притворным непониманием.

— Не было, — я так говорю... Мне это представляется.

Анна засмеялась. Анатолий посмотрел на нее упрекающими глазами и сказал:

— Ты — веселая, вся смеешься.

Совсем вышел на берег, бросил свои рыболовные снаряды и лег на траве, у сестриных ног. Солнце клонилось к закату, освещало и грело мальчика.

— А тебе разве не грустно? — спросил он и поглядел снизу в лицо Анны.

Перестала улыбаться. Наклонилась к мальчику и ласкала его. Спросила:

— Отчего грустно?

— Отчего? — переспросил Анатолий. — А вот — там у них вещие сны, колокола, свечи, домовые, дурной глаз, — а мы одни, мы чужие всему этому.

— Не так, чтоб уж очень чужие.

— Чужие, чужие! — воскликнул Анатолий. — Ну, наденем мы посконные рубахи, а все-таки не станем ближе к народу. Все только маскарад один.

— Ты, Толька, по внешности судишь.

— Нет, не только по внешности, — весело сказал Анатолий и засмеялся.

— Вот ты и сам рад смеху, как воробей — зернам.

— Нет, ты мне скажи, Нюточка, почему по внешности?

— Конечно... Мы тоже хотим жить по душе, по-Божьи, как они выражаются. Мы всегда будем с народом, хоть и по-разному с ним думаем.

Анатолий повернулся на спину и полежал немного молча.

— Да, с народом, — заговорил он вдумчиво и вдруг быстро переменил тон и сказал с лукавою усмешкою: — Однако с народом-то мы не умеем так заговариваться, как...

Замолчал и засмеялся. Анна пощекотала его пальцами под горлом и спросила:

— Как с кем?

Анатолий со смехом барахтался в траве.

— С кем-нибудь другим, — кончил он звонким от смеха голосом.

— Так ведь с кем о чем можно говорить, — ласково сказала Анна, — у всякой птички свой голосок.

Прислонилась спиною к дереву и мечтательно всматривалась в далекие очертания убегающего берега, словно разнежили ее воспоминания.

— А вот с кем интересно говорить, так это с Логиным, — вдруг сказал Анатолий искренним голосом.

Анна зарделась. Живо спросила:

— Почему?

— Да так, — он о разных предметах умеет. Другие все больше об одном: у каждого свой любимый разговор, — заведет свою шарманку, да музыкант... Впрочем, нынче и у него шарманка завелась.

— Что за слово — шарманка!

— А чем не слово?

— А тем, что каждый говорит о том, что ему интересно. Что тут удивительного? Видишь — ива, — вдруг бы на ней огурцы выросли!

Анатолий звонко рассмеялся. И, вдруг возвращаясь к какому-то прежнему разговору, спросил:

— А что, если уже и мы дождемся?

— Чуда? — спросила Анна. — Огурцов с ивы?

— Нет, того, что неизбежно. Какая радостная будет жизнь!.. А вот и Василий Маркович! — весело крикнул Анатолий.

Анна подняла голову и улыбнулась. С берега по узкой тропинке спускался Логин. Спуск был крутой, — Логину приходилось придерживаться за кусты.

Чем ближе подходил он, тем беззаботнее становилось у него на душе. Он чувствовал себя опять, как в самом раннем детстве, простым и свободным.

Анна поднялась ему навстречу. Анатолий побежал к нему с радостною улыбкою.

Логин опустился на траву рядом с Анною. Анатолий опять улегся на свое прежнее место и рассказал Логину, что они сегодня делали и где они сегодня были. Логин чувствовал на себе обаяние Анниных девственно-нежных глаз. Когда Анатолий окончил свои рассказы, Анна сказала Логину:

— Мы с отцом вчера долго говорили о ваших планах.

— Боюсь только, — грустно отвечал Логин, — что вы приписываете им не то происхождение.

— Почему же? Кажется, ясно: трудно жить среди людей несчастных и не пытаться помочь.

— Нет, не то! Один только страх меня двигает... Служба учительская мне опротивела, капиталов у меня нет, никаких путей перед собою я не вижу — и ищу для себя опоры в жизни... просто личного довольства. Ведь не в носильщики же мне идти!

Анна недоверчиво покачала головою.

— Довольства... — начала было она. — Впрочем, я не понимаю, почему ваша теперешняя деятельность противна вам? Чего же вы от нее ждали?

— Мне вас, видно, не убедить.

— Я помню, что вы говорили. Но видите, уж у березы ли кора не белая, — а пальцы марает, если ее ломать. Везде есть темные стороны, — но ведь фонарь не гаснет оттого, что ночь темная.

— На мне отяготела жизнь, и умею я только ненавидеть в ней все злое... хоть и сам я не беспорочен.

Логин взглянул в ту сторону, где лежал сейчас Анатолий. Но его там уже не было. Мальчику показалось, что он может помешать разговору. Он незаметно отошел и опять занялся удочками.

— Они знают, что надо делать, — продолжал Логин. — Если бы я знал! А то я как-то запутался в своих отношениях к людям и себе. Светоча у меня нет... И желания мои странны.

Логин говорил это почти небрежным тоном, с легкою усмешкою, которая странно противоречила смыслу его слов.

— Так вот и видно, — весело сказала Анна, — что не одно личное довольство манит вас.

— Нет, отчего же? Мне порою кажется, что я рад бы обратиться в сытого обрезывателя купонов. Но беда в том, что и денег теперь мне не надо... Мне жизнь страшна. Я чувствую, что так нельзя жить дальше.

— А чем страшна жизнь?

— Мертва она слишком! Не столько живем, сколько играем. Живые люди гибнут, а мертвецы хоронят своих мертвецов... Я жажду не

любви, не богатства, не славы, не счастья, — живой жизни жажду, без клейма и догмата, такой жизни, чтоб можно было отбросить все эти завтрашние цели, чтоб ярко сияла цель недостижимая.

— Невозможное желание! — грустно сказала Анна.

— Да, да! — страстно воскликнул Логин. — В жизни должно быть невозможное, и только оно одно имеет цену... Ну, а возможное... Я ходил по всем путям возможного в жизни, и везде жизнь ставила мне ловушки. Красота приводила к пороку, стремление к добру заставляло делать глупости и вносить к людям зло, стремление к истине заводило в такие дебри противоречий, что не знал, как и выйти. Безверие, порок мелкий, трусливый, потаенный, разочарование в чем-то — и бессилие... Есть запрещенное, — к нему и тянешься... Манят услады сверхъестественные... пусть даже противоестественные. Мы слишком рано узнали тайну и несчастны... Мы обнимали призрак, целовали мечту. Мы в пустоту тратили пыл сердца... сеяли жизнь в бездну, и жатва наша — отчаяние. Мы живем не так, как надо, мы растеряли старые рецепты жизни и не нашли новых. Нас и воспитывали диковинно: дерзновение отрока умерщвляли в нас, чтобы не вышло из среды нашей мужа.

Анна внимательно слушала, опустив глаза к зеленеющим травкам, ласкающим ее ноги.

— Я не все здесь точно понимаю, — тихо сказала она. — Так много недосказанного. Слишком много страсти и злости. Да и не на всех путях вы были.

«Однако, я исповедываюсь ей», — думал Логин.

И дивился он на себя и на откровенность свою. Почему ей, непорочной, говорит он о пороках и доверчиво открывает ей свою душу... нищету своей души? Как все непорочные, она — жестокая...

— И отчего не исполняются надежды? — тоскливо выговорил он.

Анна подняла на него ясные глаза и тихо сказала:

— У нас в лесах цветет теперь много ландышей, белые в прозелень цветы, милые такие. А вам случалось видеть их ягоды?

— Нет, не доводилось.

— Да и мало кто их видел.

— А вы видели?

— Я видела. Ярко-красные ягоды. И никто-то, почти никто их не видит: ребятишки жадные обрывают цветы — и продают.

— Здесь лучше цвет, чем плод, — сказал Логин. — Красота цветка — достигнутая цель жизни ландыша.

Он вспомнил, как за полчаса перед этим мял и рвал ландыши. Он улыбнулся так горько, что Анна почувствовала смутную боязнь. Логин не объяснил, чему улыбается, хоть Анна вопросительно смотрела на него.

## Глава третья

Ермолины провожали Логина. Был поздний вечер. Воздух был влажен и прохладен. Поля затуманивались. Неподвижны и грустны стояли придорожные липы. Зеленоватые цветы бузины пахли странно и резко. Травы дремали, кропя росою босые ноги Анны и Анатолия.

От столбовой дороги, в полуверсте от городской черты, отделялась неширокая, мощенная щебнем дорога. По ней до усадьбы Ермолина было около версты. Саженей за сто до усадьбы дорога обращалась в аллею — старые липы росли по обеим сторонам. За ними по одну сторону были пашни, виднелась деревенька Подберезье. По другую сторону, к городу, ряд лип был границею парка, раскинувшегося широко от дороги. В парке были пруды в виде озерок и речек, через которые переброшены мостики, были густые рощицы и веселые лужайки. За парком начинался сад. Между парком и садом, за рядом придорожных лип и небольшою площадкою, стоял дом с широкой террасою в сад. Высокий частокол охватывал двор, службы и сад, так что с дороги виден был только фасад дома с двумя балконами на концах второго этажа и с подъездом посредине. Парк огораживали только кусты акаций, — вход в него был свободен, и горожане иногда приходили сюда гулять. Впрочем, очень не часто, — далеко от города.

— Вы бываете у Дубицкого? — спросил Ермолин.

— Редко, да и то с неохотою, — ответил Логин.

Ермолин засмеялся. Смех его был всегда заразительно веселый, звонкий. Да и весь он был крепкий. Плотный стан, сильные руки, борода лопатою, — и подвижное лицо, богатое разнообразием выражений, вдумчивые, проницательные глаза, и характерные складки хорошо развитого лба, — все обличало человека, который одинаково работает и мускулами, и нервами. Дети оба на него похожи.

— А ведь он вас хвалит! — сказал он Логину.

— Дубицкий? Удивительно!

— Как же! Он говорит, что вы один из всех здесь его понимаете. Ему кто-то передал, — пояснил Ермолин, — будто вы говорили: все здесь слабняки да лицемеры, один только, мол, Дубицкий хорош.

— Вы иногда говорите то, чего не думаете, — сказала Анна с трудно скрываемым волнением, и глаза ее зажглись.

Логин смотрел на ее ярко запылавшие щеки, — и гордая радость шевельнулась в нем, Бог весть о чем.

— Что ж, — сказал он, — Дубицкий все же выделяется.

— Еще бы! — воскликнула Анна, — да и как выделяется.

— Хоть он и гнетет своих детей, — продолжал Логин, — да и сам железный. А то нынче у всех нервы...

— А раньше их не было?

— Люди, как и прежде, — сожрать друг друга готовы, а сами все гибкие, как вербовые хлыстики. Этот, по крайней мере, смеет быть жестоким откровенно.

— Так вот, — заговорил Ермолин опять, — у меня к вам просьба: авось вам и удастся то, о чем я вас попрошу.

— С удовольствием, если сумею, — ответил Логин.

— Дело вот в чем: есть в нашем уезде учитель Почуев. Он недавно кончил в здешней семинарии. Юноша скромный и добросовестный, хоть пороху не выдумает. Вот теперь его увольняют от службы за то, что он подал руку Вкусову.

Логин удивился. Спросил:

— Исправнику? За это?

— Вас удивляет? Видите, какие случаи возможны в глуши. Учитель неопытный. Приехал к нему в школу исправник. Почуев первый

протянул руку. Исправник раскричался — как смел забыться такой молокосос: должен был дожидаться, когда начальство протянет руку. Почуев возразил что-то. Это приняли за дерзость. А какая там дерзость, — просто переконфузился юноша, что кричат на него перед учениками. Теперь решено его уволить.

— Как это глупо! — воскликнул Логин.

— От Дубицкого тут много зависит, — продолжал Ермолин, — он как предводитель дворянства председательствует в училищном совете. Он может отстоять учителя, — если захочет.

— Да его ведь уже уволили?

— Ну, могут опять назначить... хоть в другую школу, если в ту же нельзя. Вот мы с Нютою подумали, да и решили попросить вас зайти к Дубицкому и попытаться как-нибудь это устроить.

— Я с удовольствием, — отчего не попытаться. Да стоит ли?

— Ну, как не стоит, — где и когда он пристроится? А Дубицкого можно уговорить — он не благоволит к Вкусову... Съездил бы и я к нему, да он меня не любит: испорчу только своим вмешательством.

Ермолин усмехнулся добродушно и грустно.

— Хорошо, я схожу, если вы находите...

— Уж вы, пожалуйста, постарайтесь, — ласково сказала Анна, сжимая руку Логина.

Ее лучистые глаза доверчиво и нежно глянули на него, — и показалось Логину, что они смотрят прямо в заветную и недоступную глубину его души. И ответная, чистая радость поднялась в нем и блеснула на миг в загоревшемся внезапно огне его мечтательно-утомленного взора.

Ермолины простились с Логиным... Он остался один. Влажная вечерняя тишина наполняла его светлою печалью. Отрывками вспоминались сегодняшние разговоры, — и воспоминания проносились медленно, как клочья облаков на небе, слегка озвездившемся, светло-синем с зеленоватыми краями. Один образ стоял перед ним неотступно, как небо, которое многократно просвечивало сквозь клочья облаков, — образ Анны. Очарование веяло от него... Но чем дальше уходил Логин, тем больнее разгоралась в его душе отрава старых сомнений. Мечта о счастии мучительно умирала, мимолетная, радостная и ненужная...

Логин думал о счастии того, кто полюбит Анну и кого она полюбит. Был теперь уверен в том, что для него это счастие недоступно. Да и не нужно оно ему. Сердце его холодно, — и никакой обман жизни не имеет над ним власти. Не может он полюбить — и нечем ему возбудить любви! Одиноко догорит его жизнь. Порочно и холодно его сердце. Мысль отвергает плотскую любовь и всякое вожделение. Все желания имеют одинаково незаконную природу — и узаконенные обычаем, и тайные. Все они возникают из суетного стремления к расширению своей личности, призрачной, вечно текущей и обреченной на уничтожение. Горе вожделеющим, горе тем, кто надеется! Всякая надежда обманет, и всякое вожделение оставит по себе тягостный угар. Но и счастливы только желающие, — потому что всякое счастие — обман и мечта. Кто понял жизнь, тот ей рад и не рад, и отвергает счастие.

Но все же сладко было мечтать об Анне. Не было зависти к чужому счастию, к наивному счастию того, кто возьмет ее в жены.

Анна вошла в отцов кабинет. Она вся была простая и чистая, как вода нагорного ключа. Густая коса ее была распущена и опускалась до пояса.

Было поздно. Ермолин сидел и просматривал газеты: почта пришла утром, но Ермолин весь день был занят.

На тяжелом письменном столе с потертым зеленым сукном светло горела под зеленым колпаком стеклянная на бронзе лампа. Все здесь было просто и скромно. Широкие окна давали днем много света. По стенам теснились открытые шкапы с книгами, расставленными тесно, по форматам, на передвижных полках, так что над книгами не оставалось пустых мест. Диван, обитый сафьяном, несколько кресел и стульев, по стенам несколько фотографий в ореховых резных рамках, — и нигде ничего лишнего, никаких украшений и безделушек.

Анна придвинула стул и села рядом с отцом. У нее, как и у Анатолия, была привычка каждый вечер приходить к отцу. Их беседы наедине, то краткие, то продолжительные, бывали похожи на исповеди. Беспощадная откровенность, строгий суд. Анна рассказывала впе-

чатления дня. Это почти заменяло дневник. Ее дневники были кратки. Это были только памятные заметки, беглые намеки: одно слово обозначало целое событие, сжатые формулы вмещали ряд мыслей. Только для нее самой были понятны краткие записи в тоненьких синих тетрадках.

— Я почему-то все думаю о Логине, — сказала Анна.

— Я люблю его, — отвечал Ермолин, — но мало я в него верю.

— В нем большая борьба. Гроза, которая еще не надвинулась: не то зарницы, не то молнии...

— Не то гром, не то стучит телега, — докончил Ермолин с улыбкою.

— Да, вот ты шутишь, — а ведь ему в самом деле тяжело. Он тянется в разные стороны и видит две истины разом. У него всё противоречия, — и не хочет скрывать их.

— Или не умеет. Умственная леность.

— Скорее смелость. Он как коршун, который захватил в каждую лапу по цыпленку, и не может подняться с обоими, и не хочет бросить ни одного, и бьется крыльями в пыли. Он не овладел целою истиною.

— И не овладеет, — сухо сказал Ермолин.

— Почему? — спросила Анна и быстро покраснела.

— Да потому, что в нем нет настоящей силы.

— А мне кажется...

— Он рассуждает иногда верно, и дело его будет сделано, может быть, но другими. Сам он — лишний.

— Ах, нет! в нем-то и есть сила, только скованная.

— Чем?

— Сама на себя разделилась. Но это настоящая сила.

Ермолин улыбнулся.

— Посмотрим, в чем она скажется.

— В нем много злого... порочного, — тихонько сказала Анна, точно это слово обжигало ей губы. — Ему нужен порыв, подъем духа, — может быть, нужно, чтоб кто-нибудь зажег его душу.

— Не ты ли?

Анна покраснела и засмеялась.

Аннина спальня во втором этаже. В ней окна оставались открытыми во всю ночь.

Утром над постелью пронеслись влажные и мягкие веяния. Анна проснулась. Окна розовели. Солнце еще не взошло, но уже играла заря. Было свежо и тихо. Чирикали ранние птицы. Анна быстро встала и подошла к окну. Томность разливалась в ее теле. Холодок пробегал под ее тонкою одеждою.

Под окном стояла березка. Ее сочные и тонкие ветки гнулись. Сад еще слегка туманился. На светлом небе алели и тлели тонкие тучки.

Анна вышла в сад. Никто не встретился. Шла босая по сыроватому песку дорожек. Охватил утренний радостный холод. Кутала плечи в платок. Хотелось идти куда-то далеко, — а глаза еще порою смыкались от недоспанного сна. Вышла через калитку из сада и шла парком, по росистой тропе между кустами бузины. Запах цветов бузины щекотал обоняние...

Солнце всходило: золотой край горел из-за синей мглы горизонта. Анна взошла на вершину обрыва, туда, где вчера Логин измял собранные им ландыши. Дали открывались из-за прозрачного, розовато-млечного тумана, который быстро сбегал. Сырость и холод охватили Анну. Было весело. И грусть примешивалась к веселости. Все было вместе: и радость жизни, и грусть жизни. В теле разливалась холодная, бодрая радость; на душе горела грусть. Мечты и думы сменялись...

Река с розовато-синими волнами, и белесоватые дали, и алое небо с золотистыми тучками — все было красиво, но казалось ненастоящим. За этою декорациею чувствовалось колыхание незримой силы. Эта сила таилась, наряжалась, — лицемерно обманывала и влекла к погибели. Волны реки струились, тихие, но неумолимые.

«Какая сила! — думала Анна, — бесполезная, равнодушная к человеку... И все к нам безучастно и не для нас: и ветер, бесплодно веющий, и звери, и птицы, которые для чего-то развивают всю эту дикую и страшную энергию. Ненужные струи, покорные вечным законам, стремятся бесцельно, — и на берегах вечнодвижущейся силы бессильные, как дети, тоскуют люди...»

Дома Анну встретила тоненькая, смуглая девушка с резкими, угловатыми движениями и неприятно-громким смехом. У нее черные брови; густые черные волосы заплетены в косу, которую она обвила вокруг головы. На ее худощавых щеках играет густой румянец. Это — дочь бывшего здешнего чиновника Дылина; он был исключен из службы за запойное пьянство, служил потом волостным писарем, но и оттуда его удалили за неумеренные поборы с крестьян; пристроился наконец писцом у «непременного члена». Недавно умер от перепоя. Осталась жена и девять человек детей. Вся эта ватага жила в маленьком домике, на одном дворе с квартирою Логина.

Девица, которая явилась теперь, ранним утром, к Анне, — старшая из детей. Зовут ее Валентиною Валентиновною или, сокращенно, Валею, что к ней больше идет: очень еще она юна и шаловлива. Она после смерти отца получила место учительницы в сельской школе, близ усадьбы Ермолина. Теперь она шла в свою школу из города, где была с вечера у матери.

Смерть отца была для Валиной семьи счастием: он не пропьет теперь жениной одежды и не переколотит дома всего, что ни попадет под пьяную руку. А чувствительные городские дамы пришли на помощь сиротам, пристроили Валю, определили двух ее подростков-братьев на инженерные работы, которые производились близ нашего города, и наделяли семью и одеждою, и пищею, и деньгами. Ермолиных Дылины считали в числе своих покровителей и потому забегали к ним в чаянии получить какую-нибудь подачку или работу. И теперь на Вале надеты подаренные Анною красная кофточка и синяя юбка. Башмаки, купленные для нее Анною, Валя оставила в городе; здесь она ходит босая, из подражания Анне и по привычке из детства.

— Вот, Валя, — сказала Анна, — вы целый год живете рядом с Логиным — то-то вы его, должно быть, хорошо знаете.

— Ну да, — ответила Валя с резким смехом, от которого Анна слегка поморщилась, — где там его узнаешь!

— А что ж? — спросила Анна. — Однако как ты смеешься, Валя!

Валя покраснела и перестала смеяться. Она относилась к Анне с некоторою робостью и почитанием и старалась подражать ей во всем.

— Да Василий Маркович такой неразговорчивый, — объясняла она. — И гордый очень. И смотрит как-то так...

— Как же?

— Да как-то уныло, и точно он презирает.

— Ошибаешься, Валя: он не гордый и никого не презирает.

— Только я его боюсь.

— Что ж в нем страшного?

— Да у него глаз дурной.

— Что ты, Валя, — что это значит?

— Ну вот, посмотрит и сглазит.

— Ах, Валя, а еще учительница!

— Да правда же, Анна Максимовна, есть такие глаза. Уж это у человека кровь такая. Он и сам не рад, да что ж делать, коли кровь...

— Перестань, пожалуйста.

— Вот, вы ни в чох, ни в сон не верите.

— Какая ты еще неразумная девочка, Валя!

— Какая я девочка! Мне уж скоро двадцатый пойдет.

— То есть недавно восемнадцать исполнилось, и ты еще лазаешь по заборам. Где это ты приобрела?

Анна взяла Валину руку, на которой через всю ладонь проходила красная, узенькая, совсем еще свежая царапинка.

— А это я об мотовиловский забор, — без всякого стеснения объяснила Валя.

— Как же это так?

— А мы за сиренью ходили.

— В чужой сад, через забор, воровать цветы! Валя, как вам не стыдно!

Валя краснела и хохотала.

— Ну так что ж такое! — оправдывалась она. — Цветы все крадут, даже комнатные, примета есть — лучше растут. Да и куда им сирень, у них много, даром отцветет.

— А если поймают?

— Не поймают, — убежим.

— И вы опять и нынче, как в прошлом году, будете бегать с братьями и сестрами воровать чужой горох? Право, Валя, я совсем на вас рассержусь.

— Да ведь какой же кому убыток, если возьмем по горсточке гороху?

— По горсточке! Полные подолы!

— Ведь это же только для забавы: мы у них, они у нас могут. На репище да на гороховище все ходят.

— Иди, — я совсем сердита.

— Ну я больше не буду, право, не буду, — говорила Валя, смеялась и ластилась к Анне.

— То-то же, а то лучше и на глаза мне не показывайся. А теперь похлопочи-ка о самоваре.

Валя послушно побежала. Она была рада услужить и никогда не отказывалась, какую бы работу ни задавала ей Анна. Сегодня ей хотелось еще рассказать скандальную городскую историю, но она еще не знала, как подступить к рассказу: Анна не любила сплетен.

## Глава четвертая

Логин сидел у Анатолия Петровича Андозерского, в кабинете, убранство которого обличало тщетные претензии на вкус и оригинальность.

Сквозь закрытые окна, за низенькими, сероватыми домишками, виднелось багровое зарево заката.

Андозерский, плотный, упитанный, лет тридцати трех-четырех, с румяными пухлыми щеками и глазами немного навыкате, неопределенного цвета, был одет в серую тужурку, которая плотно охватывала его жирное тело. Он и Логин были товарищами по гимназии и университету. Юноша Андозерский, наклонный к самохвальству, был неприятен Логину, который всегда бывал неловок и застенчив. Но в учебные годы все-таки им приходилось встречаться часто,

даже горячо спорить. Через несколько лет судьба опять свела их. Андозерский уже года три занимал место уездного члена окружного суда.

— Дивлюсь я на тебя, дружище, — говорил Андозерский. — Прожил ты здесь без малого год, жил затворником — и вдруг принимаешься, ни с того ни с сего, туманными проектами горы двигать. Ну скажи, пожалуйста, что из этого может выйти?

Логин лениво усмехнулся и сказал:

— Да я тебя и не приглашаю, — вижу, что это не в твоем вкусе.

— Знаю, что не приглашаешь, да сам-то ты... Говоря откровенно, дружище, наше общество еще, слава Богу, не готово к этим штукам. У нас коммунизм и анархизм не ко двору.

— Помилуй, Анатолий Петрович, что ты говоришь! Какой там коммунизм! Эк тебя, куда ты вывез!

— Полно, дружище, нечего притворяться, — знаю ведь я, куда ты гнешь. Только вот увидишь, — попомни мое слово, твои же тебя выдадут.

— Право, ты ошибаешься, — выдавать нечего: у нас нет секретов.

Андозерский недоверчиво хмыкнул.

— Ну, ваше дело. Только не надейся. Тебе ведь общество для отвода глаз нужно, — только бы позволили вам собираться. А там вы и заварите кашу.

— Анатолий Петрович, да не смеши ты, сделай милость, — досадливо возражал Логин. — Ничего такого ни у кого из нас и в мыслях нет, уверяю тебя. Что я за бунтарь? Да кто тебе говорил такие вещи?

— Сорока на хвосте принесла. Ну, да что тут... Что терять золотое время, — выпьем-ка, дружище, закусим, чем Бог послал, — за стаканчиком доброго винца веселее говорится.

Андозерский встал, сладко потянулся и сощурил глазки, как разбуженный жирный кот: так и казалось, что вот он сейчас замурлычет.

— Пойдем-ка, брат, в столовую, — пригласил он Логина.

Логина коробило и от ухваток, и от слов Андозерского. Он удивлялся себе: зачем он ходит к этому неумному и неинтересному челове-

ку? Однако после нескольких стаканов, — а вино на самом деле было хорошо, в этом Андозерский знал толк, — Логину мало-помалу перестала казаться неприятно-пошлою рослая фигура хозяина. Даже отпечаток недалекого «себе на уме» в самодовольных чертах Андозерского теперь как будто изгладился: сидел перед Логиным только добродушный, жизнерадостный человек. Конечно, — Логин это ясно помнил, — этому добродушному и недалекому малому пальца в рот не клади, но это не мешает ему быть милейшим человеком.

— Ведь я, дружище, женюсь скоро, — откровенничал Андозерский.

— На ком? — полюбопытствовал Логин.

— На ком именно, сказать теперь, видишь ли, пока еще трудно.

Логин засмеялся:

— Это, значит, еще долгая песня.

— Да вовсе нет, чудак ты этакий: дело на мази.

— Сколько же у тебя невест?

— Стой, подожди, расскажу все по порядку. Их, видишь ли, три, то есть настоящих, стоящих внимания, три, — а вообще-то невест здесь непочатый угол. Женим, дружище, ужо и тебя. А теперь выпьем-ка за моих невест!

Он налил опустелые стаканы. Чокнулись.

— Да здравствуют твои три невесты! — пожелал Логин. — И пусть тебя повенчают разом со всеми.

Андозерский захохотал.

— Уж чего бы лучше: выбирать не надо, и выгоды вместе. Да, брат, жаль, что у нас не магометов закон: три жены, да каждая с приданым, славненький вышел бы гаремчик. Да нельзя, — гаремчик только из картинок завести можно. Кстати, покажу-ка я тебе штучку, — кажется, ты ее у меня еще не видел.

Андозерский порывисто поднялся, ушел с веселым ржаньем в кабинет и минуты через две вернулся с пачкою фотографических карточек. Логин просмотрел их с равнодушною усмешкою.

— А? что? — спрашивал Андозерский, — ведь пикантно, не правда ли?

— Да, но только все это наивно, элементарно.

— Ну, чего ж тебе еще! — обидчиво сказал Андозерский и собрал карточки.

— Однако что ж твои невесты? — спросил Логин.

— Невесты? А вот, во-первых, Нюта Ермолина, славная девочка. Жаль только, воспитана странно. А прилагательное изрядное. А, что скажешь?

— Милая девушка, — неохотно сказал Логин.

— Уж ты, брат, сам не втюрился ли?

Андозерский подмигнул Логину и изобразил на своем лице лукавство, что мало шло к его пухлым щекам и невыразительным глазам.

— Смотри, не вздумай отбивать: ты туда что-то повадился.

— Ну, где повадился.

— Она ведь и не в твоем вкусе.

— А ты как мой вкус знаешь?

— Да уж знаю. Она не по тебе, — с придурью девчонка, и шустрая: ей нужен муж с характером, практический, — а то, дружище, как два мечтателя поженятся, так проку мало.

— Помилуй, с чего я буду отбивать у тебя невест: похож ли я на Дон Жуана!

— Кто вас знает, мечтателей: в тихом омуте черти водятся. Ты, впрочем, и не думай: ничего тебе не очистится, — девочка, я тебе доложу, в меня по уши врезалась, — как встретимся где, так у нее глазенки и засверкают.

— Вот как! ну, поздравляю, — сказал Логин с усмешкою.

«Глазенки засверкают, — думал он, — да только отчего?»

Андозерский развалился на спинку стула и самодовольно поглаживал пестрый жилет, прикрывающий брюшко умеренно-солидных размеров.

— Да, брат, это уж доподлинно исследовано мною, — продолжал он. — Приходи хоть завтра, — выскочит с руками и ногами. Ну да я еще посмотрю и посравню. Другие две, пожалуй, попрелестнее будут, хоть и победнее.

Логин торопливо и маленькими глотками прихлебывал из стакана.

«Всякая муха, — думал он, — может карабкаться своими нечистыми лапками всюду, куда ей вздумается!»

— Номер второй, — продолжал Андозерский, — Неточка Мотовилова, — премиленькая барышня, не правда ли?

— Да, мила и Неточка, — лениво ответил Логин. — У нее и призвание есть.

— К чему? — спросил Андозерский с некоторым даже испугом.

— Выйти замуж.

— То-то... Ее папенька, сказать тебе по правде, изрядный плут, — конечно, это между нами.

— Да уж не пойду сплетничать.

— Кстати, они тобою огорчаются.

— Кто?

— Да Мотовиловы. Зачем ты их Петьке двойки лепишь.

— Ну, уж это...

— У других-то ведь он тянется. Да это, конечно, твое дело. А все бы лучше... Вот, кабы ты за Неточкой приударил, так, небось, и к братцу был бы помилостивее. Славная девочка, черт возьми... У папеньки состояньице кругленькое, хотя и нечисто нажито.

— Жаль только, что на много частей делить придется.

— Ну, это ничего, всем хватит. А ведь помнят старожилы, как лет двадцать пять назад он проявился сюда в рваной шинелишке, в истасканных сапожишках, — прохвост прохвостом. Был управляющим одной питерской дуры — та ему вверилась: ведь он и теперь мастер о добродетелях говорить. На словах блажен муж, а на деле всуе шаташася, как говорят семинаристы.

Андозерский захохотал.

— Славный был у нее лесок, — извел начисто, а денежки прикарманил. Потом женился на богатой вдовушке. Что-то уж очень скоро она окочурилась, а капиталы ему завещала. Женился на другой. Много о нем еще скверного толкуют. Говорят, что и завещание-то было подложное. Даже совсем невероятные вещи рассказывают.

— И такого-то человека ты хочешь иметь тестем! И за таким приданым погнался!

Логин встал со своего места и прошелся по комнате. Уже давно чувствовал он к Мотовилову странное отвращение. Лицемерною ка-

залась Логину вся его повадка. И в гимназии, и в городе он намозолил глаза Логину: был он человек заметный и довольно неугомонный, и везде воскуряли ему горожане фимиам почтения. Наконец, самого имени Мотовилова не мог слышать Логин без раздражения.

— Мало ли что! — досадливо говорил Андозерский. — Ведь и ты, небось, не отказался бы от хорошенького кушика? Дочка его ни при чем. Она премиленькая. Вот мы возьмем, да за нее и выпьем.

Андозерский принялся перебирать бутылки и глубокомысленно рассматривал каждую на свет. Он приостановил свой рассказ и принял такой вид, будто слова Логина ему не понравились: румяные щеки его вытянулись настолько строго и солидно, насколько позволяла их сытая припухлость; выпуклые глаза сердито поглядывали в ту сторону, где остановился у окна Логин. Он выбрал вино подешевле, маркою пониже, и пробормотал сквозь зубы:

— Вот мы этого попробуем, это — тоже доброе винцо.

Логин усмехнулся.

— Ну, так как же, однако, твои дела в этом пункте?

— Известно, дружище, девочка на меня уже давно засматривается.

— Ого, да ты победитель!

Андозерский опять оживился и весело заговорил:

— Тут, брат, из-за меня барышни чуть не дерутся, маменьки тоже так и думают, как бы в женихи изловить. Другой давно бы испекся, да я, брат, сноровку знаю, — меня не обманешь... Ну, а что до Неточки, — так здесь и папенька очень бы рад со мною породниться, — ему это пригодилось бы.

— Да?

— Есть дела... Ну, да что тут... Наконец, есть и третий номер. Тоже невеста хоть куда, — Клавдия Кульчицкая. Энергичная девушка и неглупая.

— Да, поумнее нас с тобою.

— Ну, где там, — важно ответил Андозерский, — но очень неглупая. Она мне на днях сказала: с вами можно жить, вы не злой. Очень страстная барышня, — боюсь, как бы не сбежала.

— От тебя?

— От меня не убежит! Боюсь, как бы ко мне не сбежала с бухты-барахты. Уж слишком фантастическая девица! Того гляди, явится, скажет: твоя навеки. А я еще не решил, кто лучше.

— Вот оно что! Но, однако, с чего же бы ей бежать? Ведь она совершеннолетняя?

— Да так, взбалмошная такая: вздумает, да и весь сказ. Свой капиталец имеет, — от отца осталось. Маменька опекуншей была и порастрясла дочкины денежки. С Палтусовым спуталась. Он ей такой же брат, какая ты мне жена.

Андозерский радостно засмеялся своему сравнению.

— Он, — продолжал Андозерский, — из нигилистов. И хвост у него замаран. Говорят, ему скоропалительно пришлось оставить службу: не то проврался, не то проворовался. Впрочем, успел сколотить копеечку. Сперва широконько пожили, по заграницам околачивались. Теперь сократились. Он за аферы принялся, — в большом секрете, — и очень практично ведет дела, хоть и не совсем чисто. Ума — палата.

— А «умный человек не может быть не плутом»?

— Само собой! Нос у него собакой натерт... И по амурной части малый не промах. Врезался в Клавдию, — маменька-то ему уж понадоела. Мать ревнует, а дочка их обоих злит напропалую. Вот ты мне что, дружище, скажи — чем это Клавдия прельщает? Ведь не красавица: зеленоглазая, бледная, волоса какие-то даже не черные, а синие, — что в ней?

— Что в ней? — задумчиво переспросил Логин. — Прелесть неизъяснимая, манящая, что-то загадочное и гибкое.

— Именно, гибкая, как кошка. И презлая.

Просидели далеко за полночь, беседуя то о настоящем, то о прошлом, — больше о настоящем: общих воспоминаний было немного. Логин больше слушал, Андозерский рассказывал, больше о себе, а если и о других, то всегда так, что он сам стоял на первом месте. Он принадлежал к числу людей, которые скучают, когда речь идет не об них, и которые сердятся, когда их не хвалят или когда хвалят не их.

Была теплая и светлая ночь, когда Андозерский вышел на крыльцо за Логиным. Их шаги и голоса звучно раздались в чуткой тишине улицы. Андозерский доволен был своим внимательным слушателем и интересным для него самого разговором, а маленькие шероховатости забылись под влиянием того особого прилива приязни, который всегда ощущают хозяева, когда провожают засидевшихся гостей.

— Проводил бы тебя, — говорил он, — погода славная, и покалякать с тобой приятно, — да налимонился уж я очень. Поскорей спать завалиться.

От излишне выпитого вина Логин чувствовал легкое головокружение. Неясные очертания домов, заборов, деревьев колебались, как бы зыблемые ветром. Но прохлада ночи ласково обнимала его и успокаивала горячую голову; ласково смотрел склонившийся на запад месяц, над крушением диких мыслей возникший сладким веянием восторга. Логину становилось необычайно легко и весело: новые силы закипали, в сердце тихо звенели неведомые, таинственные струны, словно прозрачная песня рождалась в нем, наполняя его очарованием голубой мелодии.

Логин прошел длинный и шаткий мост. Тонкие устои жалобно роптали на что-то речным струям. Логин повернул по высокому берегу, где тянулись заборы садов и огородов. Задумавшись, миновал он поворот на ту улицу, по которой следовало ему выйти к своему дому, — и шел дальше.

Здесь было совсем пустынно. Огороды и сады еще продолжались на этом берегу, а за рекою начинались нивы и леса. В воздухе были разлиты теплые и влажные благоухания. Река журчала по кремнистому руслу, мелкому и широкому. Издали доносился шум и плеск струй у мельничной запруды, где жили, таясь на дне, зеленоволосые и зеленоглазые русалки. В безоблачно-светлом, синем море небес сверкали архипелаги звезд. Ночной полумрак сгущался вдали и ложился мечтательными очертаниями, а туман за рекою окутывал нижнюю часть рощи, из которой выступали вперед и темнели отдельные кусты.

Логин заметил, что зашел далеко. Осмотрелся и сообразил, что стоит у сада Кульчицкой. Высокие деревья из-за забора смотрели внимательно, и ветви их не шевелились.

Логин прислонился спиною к забору и глядел на зыбкий туман. Что-то жуткое происходило в сознании. Казалось, что тишина имеет голос, и этот голос звучит и вне его, и в нем самом, понятный, но непереложимый на слова. Душа внимала этому голосу, и растворялась, и утопала в бесконечности...

Это ощущение овладело уже не первый раз Логиным. Были в жизни проникновенные минуты, когда казались легко разрешимыми вопросы бытия, такие грозные, так мучительно-непонятные в другое время. Он сознавал себя воистину слившимся с миром, который переставал быть внешним, — и минута была полна, как вечность. И все в этом мире, теснясь в его душу, сливалось и примирялось в единстве, которое показалось бы нелепым в другое время; звуки принимали окраску, запахи — телесные очертания, и образы звучали и благоухали; розовый пряный шепот реки, голубое сладкое вздрагивание веток березы, и зеленые горькие вздохи ветра, и темно-фиолетовые солоноватые отзвуки спящего города обнимали и целовали его, как шаловливые эльфы. Это было безумие, радужное, острое и звонкое, — и душе сладко было растворяться и разрушаться в его необузданном потоке.

А в саду слышались шаги, шорох платья, тихий говор: шли и говорили двое. Вот шаги затихли, заскрипела доска скамейки, говор смолк на минуту... Опять послышались звуки слов, но слова были неуловимы для слуха. Только иногда то или другое слово различалось. Мечта влагала в эти звуки свой смысл, сладкий и томный. Логину не хотелось уходить.

Страстный женский голос, мечталось Логину, говорил:

— Влечет меня к тебе любовь, и сердце полно радостью, сладкою, как печаль. Злоба жизни страшит меня, но мне любовь наша радостна и мучительна. Смелые желания зажигаются во мне, — отчего же так бессильна воля?

— Дорогая, — отвечал другой голос, — от ужасов жизни одно спасение — наша любовь. Слышишь — смеются звезды. Видишь —

бьются голубые волны о серебряные звезды. Волны — моя душа, звезды — твои очи.

Клавдия говорила в это время Палтусову неровным и торопливым голосом, и ее сверкающие глаза глядели прямо перед собою:

— Вы все еще думаете, что я для вас пришла сюда? Злость меня к вам толкает, поймите, одна только злость, — и больше ничего, решительно ничего, — и нечего вам радоваться! Нечему радоваться! И зачем вы меня мучите? Я посмела бы, знайте это, я все посмела бы, но не хочу, потому что мне противно, все противно, и вы, и все в вас.

Палтусов наклонился к Клавдии и тревожно заглядывал в ее глаза.

— Дорогая моя, — сказал он слегка сиповатым, но довольно приятным голосом, — послушайте...

Клавдия быстро отодвинулась от Палтусова и перебила его:

— Послушайте, — в голосе ее зазвучала насмешливая нотка, — словечки вроде «дорогая моя» и другие паточные словечки, которыми вы позаимствовались у Ирины Авдеевны, кажется, — вы можете оставить при себе или приберечь их... ну, хоть для вашей двоюродной сестрицы.

— Гм, да, то есть для вашей маменьки, — обидчиво и саркастически возразил он, — для обожаемой вами маменьки.

— Да, да, для моей маменьки, — тихо отвечала она.

И злоба, и слезы послышались в ее голосе.

Голоса на минуту замолкли; потом Палтусов снова заговорил, — и снова прислушивался Логин к лживому шепоту мечты.

— Прочь сомнения! — звучал в мечтах Логина голос любимого ею, — пусть другим горе, возьмем наше счастье, будем жестоки и счастливы.

— Я проклинаю счастье, злое, беспощадное, — отвечала она.

— Не бойся его: оно кротко уводит нас от злой жизни. Любовь наша — как смерть. Когда счастием полна душа, и рвется в мучительном восторге, жизнь блекнет, и сладко отдать ее за миг блаженства, умереть.

— Сладостно умереть! Не надо счастия! Любовь, смерть — это одно и то же. Тихо и блаженно растаять, забыть призраки жизни, — в восторге сердца умереть!

— Для того, кто любит, нет ни жизни, ни смерти.

— Отчего мне страшно и безнадежно и любовь моя мучит меня, как ненависть? Но связь наша неразрывна.

— Горьки эти плоды, но вкусив их, мы будем как боги.

А в саду говорили свое.

— Поверьте, Клавдия, вас терзают ненужные сомнения. Вам страшно взять счастье там, где вы нашли его. Ах, дитя, дитя, неужели вы еще так суеверны!

— Да, счастие мести, проклятое счастие, и родилось оно в проклятую минуту, — со сдержанною страстностью отвечала Клавдия.

— Поверьте, Клавдия, если бы вы решились отказаться от этого счастия, которое вы проклинаете, — однако вы его не отталкиваете, — а если б... о, я нашел бы в себе достаточно мужества, чтоб устранить себя от жизни, — жить без вас я не могу.

— Умереть! вот чего я больше всего хочу! Умереть, умереть! — тихо и как бы со страхом сказала Клавдия, и замолчала, и низко наклонила голову.

На губах Палтусова мелькнула жесткая усмешка. Он незаметным движением закутал горло и заговорил настойчиво:

— Перед нами еще много жизни. Хоть несколько минут, да будут нашими. А потом пойдем каждый своею дорогою, — вы в монастырь, грехи замаливать, а я... куда-нибудь подальше!

— Ах, что вы сделали со мною! Противно даже думать о себе. Я и не была счастлива никогда, — но была хоть надежда, — пусть глупая, все же надежда, — я веровала так искренно. И все это умерло во мне. Пусто в душе — и страшно. И так быстро, почти без борьбы, вырвана из сердца вера, как дерево без корней. Без борьбы, но с какою страшною болью! Любить вас? Да я вас всегда ненавидела, еще в то время, когда вы не обращали на меня внимания. Теперь еще больше... Но все-таки я, должно быть, пойду за вами, если захочу выместить вам всю мою ненависть. Пойду, а зачем? Наслаждаться? Умирать? Тащить каторжную тачку жизни? Я читала, что один каторжник, прикованный к тачке, изукрасил ее пестрыми узорами. Как вы думаете, зачем?

— Какие странные у вас мысли, Клавдия! К чему эта риторика?

— К чему, — рассеянно и грустно повторила она, — к чему он это сделал? Ведь это ему не помогло, — с участливою печалью продолжала она, — тачка ему все же опротивела. Он умолял со слезами, чтобы его отковали. Мало ли кто чего просит!..

— Поверьте, Клавдия, настанет время, когда вы будете смотреть на эти ваши муки, как на нелепый сон, — хоть все это, не спорю, искренно, молодо... Что делать! плоды древа познания вовсе не сладки, — они горькие, противные, как плохая водка. Зато вкусившие их станут как боги.

— Все это слова, — сказала Клавдия. — Они ничего не изменят в том, что с нами случится. Довольно об этом, — пора домой.

В мечтах звучало:

— Мимолетно наслаждение, радость увянет и остынет, как стынут твои руки от ветра с реки. Но мы оборвем счастливые минуты, как розы, — жадными руками оборвем их, и сквозь звонкое умирание их распахнется призрачное покрывало, мелькнет пред нами святыня любви, недостижимого мэона... А потом пусть снова тяжело падают складки призрачного покрова, пусть торжествует мертвая сила, — мы уйдем от нее к блаженному покою...

— В душе моей трепещет неизъяснимое. Что счастие и радости, и земные утехи, бледные, слабые! Наивная надежда так далека, так превысил ее избыток моей страсти! Детская вера упраздняется совершеннейшим экстазом недостижимой любви. Память минувшего, исчезни! Рушатся, умирают тени и призраки, душа расширяется, яснеет, — без борьбы свергаются былые кумиры перед зарею любви, без борьбы, но переполняя меня сладкою болью.

— Любить — воплощать в невозможной жизни невозможное жизни, расширять свое существование таинственным союзом, сладким обманом задерживая стремительную смену мимолетных состояний!

— Так жажду жизни, что поработить себя готова другому, только бы жить в нем и через него. Возьми мою душу, ты, который освободил ее от мелькания утомительных призраков жизни, — свободную, как дыхание ветра, возьми ее, чтобы чувствовала она в своей пустыне вла-

стное веяние жизни. Всюду пойду за тобою, наслаждаться ли, умирать ли, влечь ли за собою минуты и годы ненужного бытия, — всюду пойду за тобою, навеки твоя...

— Старые заветы исполнятся, мы будем как боги, мудры и счастливы, — счастливы, как боги.

Прохладный ветер настойчиво бился о лицо Логина. Он очнулся. Грезы рассеялись. В саду было совсем тихо. Логин медленно пошел домой. Кто-то другой шел с ним рядом, невидимый, близкий, страшный.

Когда он всходил на крыльцо своего дома, перед запертою дверью он почувствовал, — как это бывает иногда после тревожного дня, — что кто-то беззвучным голосом позвал его. Он обернулся. Чарующая ночь стала перед ним, безмолвная, неизъяснимая, куда-то зовущая, — на борьбу, на подвиг, на счастие, — как разгадать? Блаженство бытия охватило его. Черные думы побледнели, умерли, — что-то новое и значительное вливалось в грудь с широким потоком опьяняющего воздуха... Радость вспыхнула в сердце, как заря на небе, — и вдруг погасла...

Ночь была все так же грустно тиха и безнадежно прозрачна. От реки все такою же веяло сырою прохладою. Скучно и холодно было в пустых улицах. Угрюмо дремали в печальной темноте убогие домишки.

Логин чувствовал, как кружилась его отяжелелая голова. В ушах звенело. Тоска сжимала сердце, так сжимала, что трудно становилось дышать. Не сразу вложил он ключ в замочную скважину, открыл дверь, добрался кое-как до своей постели и уже не помнил, как разделся и улегся.

Он заснул беспокойным, прерывистым сном. Тоскливые сновидения всю ночь мучили его. Один сон остался в его памяти.

Он видел себя на берегу моря. Белоголовые, косматые волны наступают на берег, прямо на Логина, но он должен идти вперед, туда, за море. В его руке — прочный щит, стальной, тяжелый. Он отодвигает волны щитом. Он идет по открывшимся камням дна, влажным камням, в промежутках между которыми копошатся безобразные слизняки. За щитом злятся и бурлят волны, — но Логин горд своим тор-

жеством. Вдруг чувствует он, что руки его ослабели. Напрасно он напрягает все свои силы, напрасно передает щит то на одну, то на другую руку, то упирается в него сразу обеими руками, — щит колеблется... быстро наклоняется... падает... Волны с победным смехом мчатся на него и поглощают его. Ему кажется, что он задыхается.

Он проснулся. Гудели колокола церквей...

## Глава пятая

Клавдия и Палтусов вошли через террасу в дом. В комнатах было тихо и темно. Прилив отвращения внезапно шевельнул упрямо стиснутые губы Клавдии. Ее рука дрогнула в руке Палтусова. В то же время она поняла, что уж давно не слушает и не слышит того, что он говорит. Она приостановилась и наклонила голову в его сторону, но все еще не глядела на него. Слова его звучали страстью и мольбою:

— Ангел мой, Клавдия, забудьте детские страхи! Жизнью пользуйся, живущий... Хорошо любить, душа моя!

Она порывисто повернулась к нему — и очутилась в его объятиях. Его поцелуй обжег ее губы. Она оттолкнула его и крикнула:

— Оставьте меня! Вы с ума сошли.

Где-то стукнула дверь, на стене одной из дальних комнат зазыблился красноватый свет, — они ничего не заметили.

— Теми же губами вы целовали мою мать... Какая низость! Вы обманули меня, вы сумели уверить меня, что я вас люблю, но это — ложь! Я любила не вас, а ненависть мою к матери, — теперь я это поняла. Но вы, вы, — как вы унизили меня!

Поспешно, точно от погони, она пошла от Палтусова. Он мрачно смотрел вслед ей и насмешливо улыбался.

Палтусову было лет сорок пять. Он хорошо сохранился. Длинные волосы, волнистые, темно-каштановые, делали его похожим на артиста. На висках виднелось несколько седых волосков. На бледном лице лежал отпечаток постоянной и как бы потускнелой от частого упражнения ироничности. Это было лицо человека несомненно умного, но

который привык любоваться тем, что он умнее окружающих и знает нечто, до чего они еще не доросли: он смотрел на людей, как шестнадцатилетний подросток смотрит на двенадцатилетних мальчишек, которых презирает за их возраст и за их игры. Казалось иногда даже, что он успел несколько отупеть в этом постоянном и простодушном самообожании.

Клавдия быстро шла по темным комнатам. Свет свечи остановил ее. Она подняла голову. Перед нею стояла мать в некрасивом белом платье со множеством оборочек. В приподнятой руке Зинаиды Романовны колебался подсвечник.

— Иди ко мне, — сказала она торжественным тоном, — я хочу с тобой говорить.

«Что нужно ей? — подумала Клавдия. — Ночное объяснение, — нельзя на завтра отложить!»

С гневно сдвинутыми бровями вошла она за матерью в ее будуар, где светился розовый висячий фонарик.

Зинаида Романовна лет на пять моложе Палтусова. В свое время она была недурна, даже, пожалуй, красива. Но это была непрочная, цыганская красота, которая скоро отцветает. Теперь осталось беспокойное желание нравиться, — приходится прибегать к косметикам. Впрочем, при выгодном освещении, это еще очень эффектная женщина. Низкий, словно точеный, лоб красиво увенчивает небольшую голову. Нижняя челюсть слегка выдается вперед. Глаза зеленоватые, как у дочери, и тело такое же стройное и гибкое.

Клавдия похожа на мать, как это часто бывает с дочерьми, которых матери недолюбливают: тот же невысокий лоб, только чуточку повыше и не такой прямолинейный, как у матери, та же слегка выдающаяся нижняя челюсть.

— Вам угодно со мной говорить, теперь? — полувопросом сказала Клавдия.

Зинаида Романовна стояла перед нею со скрещенными на груди руками и смотрела на нее с боязливою ненавистью. Тонкие губы ее пересохли от волнения; они дрожали и беззвучно шевелились. Пальцы правой руки постукивали по локтю левой. Клавдия сдвинула тонкие брови и всматривалась неподвижными глазами в беспокойные руки матери.

— Что ты делаешь, Клавдия? — заговорила Зинаида Романовна. — Я терпела долго, но мое терпение истощается. Объясни мне, что все это значит.

Она резким движением руки показала куда-то в сторону.

— Я вас не понимаю, — ответила Клавдия, по-видимому, равнодушно.

— Не понимаешь! Через минуту после того, как ты объясняла, что из ненависти ко мне влюбила в себя чужого мужа!

— Вы подслушали! — пренебрежительно сказала Клавдия.

— Какая наивность! Не запираться ли мне во время ваших объяснений? Ненависть к матери, — какое дикое чувство!

— За что мне вас любить?

— За что!.. Да хоть за то, что я родила тебя и мучилась тобою. Чтоб ты увидела свет, я несколько месяцев ходила безобразная и не могла быть там, где мне бывало весело. Когда пришло твое время, я кричала от боли, как замученная прачка. Уверяю тебя, все это было очень грубо и неизящно. Когда ты сама будешь матерью, ты на себе это испытаешь. Ведь к этому и ведет любовь.

Клавдия вспыхнула, зеленоватые глаза ее загорелись гневом. Она повернулась, чтобы уйти. Мать удержала ее.

— Нет, подожди, — мои слова не грубее твоих поступков. Знаешь ли ты, что мужчинам нужно в нас? Сочувствующая им душа? Красота? Ум? Все это вздор, моя милая, — это так только, приправы, — мы ими только разжигаем их аппетит, чтобы потом узнать, как сладок запретный плод. Что ж, ты насладишься, если хочешь, до излишества, до того, что начнешь ненавидеть своего милого. Противны эти поцелуи, бешеные, гадкие. А потом расплата за этот «рай на земле»: милый в сторонке, а ты... если ты не повенчана, так замирай от стыда или беги в секретные приюты, бросай ребенка чужим людям. Или можешь погубить его до рождения, рискуя здоровьем, жизнью. Вот казни за любовь!

Клавдия вырывалась из рук матери и отворачивала от нее раскрасневшееся лицо, — но мать цепко ухватилась за ее руки и не выпускала их. Голос ее понизился почти до шепота, и его шипящие звуки

резали слух Клавдии, как удары кнута, грубо падающие на больное тело. Клавдия бросилась к двери, — дверь отворялась внутрь, и потому напрасно Клавдия схватилась за ручку двери своею рукою, которую она освободила с большими усилиями: мать надвигалась на нее всем телом, прижимала ее к двери и смотрела в ее лицо дикими глазами, которые горели, как у рассвирепевшей кошки. Обе они трудно дышали.

Мать наконец замолчала. Клавдия опустила руки и устало оперлась спиною на дверь.

— И за что ненависть ко мне? — заговорила опять Зинаида Романовна после недолгого молчания. — Ты получила от меня все, что надо, — и воспитание, и твой капитал сбережен, и все... Чего же тебе еще не хватало?

— Вашей любви!

— Какие нежности! Это мало к тебе идет.

— Может быть. В детстве я привыкла к вашей суровости и боялась вас. Я думала тогда, что вам приятно делать мне больно. Едва ли я ошиблась. Только при гостях ласкали.

— Ах, Клавдия, наказал меня Бог тобою! Если бы кто другой столько вынес в жизни! Перед тобой я ничем не виновата. Я — мать, а мать не может не любить свое дитя, несмотря на все оскорбления.

— Какая там любовь! Вы бы меня и теперь с удовольствием избили. Но вы знаете, что это бесполезно. Боитесь вы просто, вот что...

— Полно, Клавдия, — чего мне бояться! Я привыкла к твоим угрозам. Ты еще девчонкой грозилась, что утопишься, — детские угрозы, ими теперь всякий школьник бросает. Когда будешь постарше, ты поймешь, что материнская любовь может обойтись и без нежностей. За все, что в тебе есть хорошего, ты должна быть благодарна мне.

— Странно: в том, что я зла, я сама виновата, — а что во мне хорошего, тем я вам обязана?

— Конечно, мне! — воскликнула Зинаида Романовна, — вся ты моя. Мы обе упрямы, мы обе ни перед чем не остановимся. Это себя самое я в тебе ненавидела и боялась!

— А, ненавидели-таки! — сказала Клавдия с недоброю усмешкою.

— Вот мы столкнулись с тобою. Обеим нам больно, и ни одна не хочет уступить. Но ты должна уступить! Да, это правда, я готова была бы избить тебя, — но ты сегодня же пойдешь к нему. А он, — разве они ценят любовь, самопожертвования! Его жена — святая женщина, а он ее бросил. На мне этот грех. Но он уже и ко мне охладел, — а я не могу жить без него. Ах, Клавдия, говорю тебе, оставь его, или обеим нам худо будет. Умоляю тебя, оставь его.

Она неожиданно бросилась на колени перед Клавдиею и охватила ее колени дрожащими руками. Клавдия наклонилась к ней.

— Встаньте! Боже мой, — что вы делаете! — растерянно говорила она.

Зинаида Романовна быстро поднялась.

— Помни же, Клавдия, что я тебя прошу, — оставь его, или берегись. Я на все готова!

По ее разгоревшемуся лицу видно было, что ее порыв был неожиданным для нее самой: гордость, стыд и недоумение изображались на нем в странном смешении. Руки ее стремительно легли на плечи Клавдии и судорожно вздрагивали. Ее горящий взгляд упорно приковался к глазам дочери.

Клавдия слегка отстранилась. Руки Зинаиды Романовны упали.

— Я устала, — сказала она. — Оставь меня, я не могу больше.

Зинаида Романовна опустилась в изнеможении на длинное кресло. Клавдия подождала немного.

«Наверное, вернет сейчас же, — досадливо думала она, — финал еще недостаточно эффектен».

Наконец она подошла к двери и положила свою тонкую руку с длинными пальцами на желтую медь дверной тяги. Зинаида Романовна поднялась и с жадным любопытством посмотрела на дочь, словно увидела ее в новом освещении. Вдруг она встала и скорыми шагами подошла к Клавдии. Она обняла Клавдию и заглянула в ее лицо.

— Клавдия, ангел мой, — умоляющим голосом заговорила она, — скажи мне правду: ты любишь его?

— Вы знаете, — ответила Клавдия, упрямо глядя вниз, мимо наклонявшегося к ней лица матери.

— Нет, ты сама скажи мне прямо, любишь ли ты его? Да, любишь? или нет, не любишь?

Клавдия молчала. Глаза ее упрямо смотрели на желтую медную тягу, которая блестела из-под ее бледной руки. Мать снизу заглядывала ей в глаза.

— Клавдия, да скажи же что-нибудь! Любишь?

— Нет, не люблю, — наконец сказала Клавдия.

Зеленоватые глаза ее с загадочным выражением обратились к матери. Зинаида Романовна смотрела на нее тоскливо и недоверчиво.

— Нет, не любишь, — тихонько повторила она. — Клавдия, мне очень больно. Но ведь этого больше не будет, не так ли? Это была вспышка горячего сердечка, злая шутка, — да?

Клавдия приложила ладони к горячим щекам.

— Да, конечно, — сказала она, — он только шутил и забавлялся со мною. Вы напрасно придали этим шуткам такое значение.

— Клавдия, будь доверчивее со мною. Забудь свои темные мысли. Ты всегда найдешь во мне искреннего друга.

— Что ж, я, пожалуй, в самом деле, вся ваша, — сказала Клавдия после короткой нерешительности. — Я хочу верить вам — и боюсь: не привыкла. Но все же отрадно верить хоть чему-нибудь.

Клавдия слабо протянула руки к матери.

Зинаида Романовна порывисто обнимала Клавдию и думала: «Какие у нее горячие щеки! Девчонка, правда, соблазнительна, хотя далеко не красива. Я была гораздо лучше в ее годы, но молодость — великое дело, особенно такая пылкая молодость».

И она целовала щеки и губы дочери. Губы Клавдии дрогнули. Неловкое, стыдное чувство шевелилось в ней, как будто кто-то уличал ее в обмане. Она наклонилась и поцеловала руку матери. Зинаида Романовна придержала ее подбородок тонкими розовыми пальцами, которые все еще легонько вздрагивали, и поцеловала ее в лоб. Близость матери обдавала Клавдию пахучими, неприятными ей духами.

Клавдия долго не могла заснуть. Ей было душно и почему-то жутко, и щеки все еще рдели. Порою нестерпимое чувство стыда заставляло ее прятаться в подушки от ночных теней, которые заглядывали ей в лицо пытливо и насмешливо. Одеяло давило ей грудь, но она стыдливо прятала под ним руки и натягивала его на голову, все выше и выше, пока не обнажились кончики ног; тогда она быстро подбирала ноги и окутывала их одеялом.

Потом мысли и чувства налетали на нее целым роем. Она не могла разобраться в их странных противоречиях. Она откидывала одеяло, приподнималась на постели и чутко прислушивалась к неугомонному спору непримиримых голосов. Бессвязные отрывки противоречивых мыслей овладевали порою встревоженным сознанием, вытесняли друг друга и без толку повторялись, настойчивые, суетливые — и бессильные в своем задорном споре.

«Но что же? или я боюсь сказать правду даже себе самой?» — подумала она и тотчас же решила, что не боится. Если бы правда представилась ей сейчас, она приняла бы ее без колебаний, какова бы она ни была. Но ответа на настойчивые искания не было ни в области мысли, ни в области чувства.

Когда она вызывала воображением образ Палтусова, сердце ее томилось неуловимыми и неизъяснимыми чувствами. Что это — любовь? ненависть? То казалось, что она пламенно любит, то чувствовала приливы темной злобы. Сердце то жаждало его смерти, то замирало от жалости к нему.

Она спрашивала себя: то, что казалось ей любовью, была, может быть, жалость к его страсти или гордость его любовью? Или то, что казалось ненавистью к нему, не было ли страстным гневом на невозможность запрещенного и отвергаемого счастия? Или эта смена мучительных чувств — это и есть любовь? Или это — только мстительное, мелко-злобное чувство, и попытка привить к сердцу любовь разрешилась взрывом бешеной ненависти к человеку, который легкомысленно открыл ей путь легкого и сладкого мщения за былые детские обиды? И, быть может, эти жутко-приятные волны, которые пробегают порою в смятенной душе, — только пленительная

музыка удовлетворяемой мести и самовнушенной страстности? Или все это ложные объяснения? Быть может, истина где-нибудь гораздо глубже и гораздо сложнее она? Или есть из этих сомнений выход простой и ясный и стоит лишь открыть глаза, чтобы увидеть его?

И что должна она теперь делать? Ждать ли, что принесет ей время? Медлительны его зыбкие волны, но с предательскою быстротою мчат к последнему, несомненному разрешению загадок бытия.

Ждать! Каждый день бесплодного ожидания должен увеличивать безысходные муки, усиливать неразрешимую путаницу и в ней самой, и в ее отношениях к тем людям, с судьбою которых так мучительно-нелепо сплелась ее судьба. Нет, ни одного дня ожидания! Действовать как бы то ни было!

Решимость действовать, идти вперед, быстро зрела в ней. Слагались планы, смелые, несбыточные, — разум посмеется над ними, но что до того! Все-таки действовать...

Было уже светло, когда она заснула. Щебетанье ранних птиц носилось над ее тревожным сном, в котором мелькали розовые отблески утреннего солнца...

## Глава шестая

Утро у Логина, по случаю праздника, было свободно. Лежал на кушетке, мечтал. Мечты складывались знойные, заманчивые, мучительно-порочные. Иногда вдруг делалось радостно. Аннин образ вплетался в мечты, — и они становились чище, спокойнее. Не мог сочетать этого образа ни с каким нечистым представлением.

Досадно стало, когда услышал звонок. Поспешно спустился вниз, чтоб не успел ранний гость подняться к нему. В гостиной увидел Юрия Александровича Баглаева, который в кругу собутыльников обыкновенно именовался Юшкою, хотя и занимал должность городского головы. Он был немного постарше Логина. Румяный, русый, невысокий, да широкий, со светлою бородою очень почтенного вида, казался весь каким-то мягким и сырым. Трезвым бывал редко, но и бесчув-

ственно-пьяным редко можно было его увидеть; крепкая была натура — много мог выпить водки. Средства к жизни были сомнительные, но жил открыто и весело. Жена его славилась в нашем городе гостеприимством, обеды у нее бывали отличные, хоть и не роскошные, — и в доме Баглаева не переводились гости. Особенно много толклось молодежи.

Теперь от Баглаева уже пахло водкою, и он не совсем твердо держался на ногах. Облапил Логина и закричал:

— Друг, выручай! Жена водки не дает, припрятала. А мы ночь прокутили, здорово дрызнули, Лешку Молина поминали.

Логин, уклоняясь кое-как от его поцелуев, спросил:

— А что с ним случилось?

— С Лешкой Молиным что случилось? Аль ты с луны слетел? Да разве ж ты ничего не слышал?

— Ничего не слышал.

— Эх ты, злоумышленник! Сидишь, комплоты сочиняешь, — а делов здешних не знаешь. Да об этом уж целую неделю собаки лают, а вчера его и сцапали.

— Куда сцапали? Расскажи толком, и я знать буду.

— Друг сердечный, опохмелиться треба, ставь графинчик очищенной, всю подноготную выложу.

— Пей лучше вино, нет у меня водки.

— Как нет! Что ты, братец, — а кабаки на что?

— Знаешь, что заперты, — до двенадцати часов не откроют, а теперь всего десять.

— Ах, мать честная! Как же быть! Не могу я быть без опохмелки, поколею без горелки!

У Баглаева было испуганное и растерянное лицо. Логин засмеялся.

— Что, Юрий Александрович, стишки Оглоблина припомнил? Зарядишь ты с утра — что к вечеру будет?

— Что ты, что ты! Видишь, я чист как стеклышко, — а только пропустить необходимо.

— Вот, закусить не хочешь ли? — предложил Логин.

— Перекрестись, андроны едут, буду я без водки закусывать! Я не с голодного острова.

Водка, однако, нашлась, и Баглаев расцвел.

— То-то, — радостно говорил он, — уж я тебя знаю, недаром я прямо к тебе. Как в порядочном доме не быть водки!.. Да, да, жаль нашего маримонду.

— Это еще что за маримонда?

— И того не знаешь? Все он же, Лешка Молин.

— Кто ж его так прозвал?

— Сам себя назвал. Он, брат, всякого догадался облаять. Ты думаешь, тебя он не обозвал никак? Шалишь, брат, ошибаешься.

— А как он меня назвал?

— Сказать? Не рассердишься?

— Чего сердиться!

— Ну, смотри. Слепой черт, вот как.

Логин засмеялся.

— Ну, это незамысловато, — сказал он. — Ну а что же это значит, маримонда?

Баглаев меж тем наливал уже третью рюмку водки.

— А вот что значит, — принялся он объяснять, — он говорит: я некрасивый, в такую, говорит, маримонду ни одна девица не влюбится, не моим, говорит, ртом мух ловить. Но только он по женской части большой был охотник, — ко всем невестам сватался. И за нашей Евлашей приударил. Он учитель, она учительница, — он и вздумал, что они пара. Но он к ней всей душой, а она к нему всей спиной. А он не отстает. Ну, известно, она у нас живет, я обязан был за нее заступиться. Но только по женской части ему и капут пришел. Ау, брат, сгинул наш Лешка, а теплый был парень!

— Да что с ним случилось, скажи ты наконец толком, а не то я водку уберу.

Баглаев проворно ухватился за графин.

— Стой, стой! — закричал он испуганным голосом, — отчаянный человек! Разве такими вещами можно шутить? Я тебе честью скажу: в тюрьму посадили! Ну что, доволен?

И Баглаев принялся наливать рюмку.

— В тюрьму? за что? — с удивлением спросил Логин.

Ему приходилось встречать Алексея Ивановича Молина, учителя городского училища. Это был кутила и картежник. Но все-таки казалось странным, что он попал в тюрьму.

— Постой, расскажу по порядку, — сказал Баглаев. — Знаешь, что он жил у Шестова, у молоденького учителя?

— Знаю.

— А знаешь, почему он к Шестову переехал?

— Ну, почему?

— Видишь ты, его уж нигде не хотели на квартире держать: буянит, это раз.

— Ну, в этом-то и ты, Юрий Александрович, ему помогал.

— А то как же? Он, брат, мастак был по этой части, — такой кутеж устроим, что небу жарко. А другое, такой бабник, что просто страх: хозяйка молодая — хозяйку задевает; дочка хозяйкина подвернется — ее облапит. Ну и гоняли его с квартиры на квартиру. Пришло наконец так, что уж никто не хотел сдавать ему комнату. Ну, он и уцепился за Шестова: у тебя, мол, есть место, твоя, мол, тетка с сыном потеснятся. Ну, а Шестов уж очень его почитал, — он, брат, скромный такой, все с Молиным вместе ходили да водку пили.

— Это ты, городская голова, и называешь скромностью?

— Чудак, пойми, от скромности и водку пил: другие пьют, а ему как отстать? Ну, вот он и не мог отказать, — пустили его, хоть старухе и не хотелось. Ну и что же вышло, — прожил он у них месяца четыре, и ведь какой анекдот приключился, так что даже очень удивительно!

— А ты, Юшка, в этом анекдоте участвовал?

— Стой, расскажу все по порядку. Я в худые дела не мешаюсь. Были мы на днях у Лешки в гостях. Собралась нас солидная компания: я был, закладчик с женой, Бынька, Гомзин, еще кто-то, в карты играли, потом закладчик с женой как выиграли, так и ушли, а мы остались, и сидели мы, братец ты мой, недолго, часов этак до трех.

— Недолго!

— Главная причина, что хозяева так нахлестались, что и под стол свалились, ну, а мы, известно, дали им покой, выпили поскорее остаточки, да и ушли себе. А тут-то и вышел анекдот. Под самое под

утро слышит старуха, что Лешка в сени вышел, а оттуда в кухню. И долго что-то там остается. А там у них в кухне прислужница спала, девочка лет пятнадцати... Чуешь, чем пахнет?

— Ну, дальше.

— Ну, старуха и начала сомневаться, чего он прохлаждается? Вот она оделась, да и марш в кухню. Только она в сени, а Лешка из кухни идет, известное дело, пьянее вина. Саданул плечом старуху и не посмотрел, прошамал к себе. Ну, а та в кухню. Видит, сидит Наталья на своей постели, дрожит, глаза дикие. Чуешь? понимаешь?

Баглаев подмигнул Логину и захохотал рыхлым смехом.

— Этакая гадость! — брезгливо промолвил Логин.

— Нет, ты слушай, что дальше. Утром Наталья к своей бабке побежала, — бабка тут у нее на Воробьинке живет.

Воробьинкою называется в нашем городе небольшой островок на реке Мгле, который застроен бедными домишками.

— Отправились они с бабкой к надзирателю. Тот их спровадил, а сам к Молину. Ну, известное дело, тому бы сразу заплатить, — тем бы и кончилось. А он заартачился.

— Стойкий человек! — насмешливо сказал Логин.

— Прямая дубина, — возразил Баглаев, — он думал, они не посмеют. Но не на таких напал. Вчера следователь к Лешке нагрянул, обыск сделали, да и сцапали. И ведь какие теперь слухи пошли, удивительно: будто это Наталью Шестов с теткою подговорили.

— Какой же им расчет?

— А будто бы из зависти, что Лешку хотели сделать инспектором, — Мотовилов хлопотал. И на следователя сердятся, — говорят, что и он по злобе, из-за Кудиновой: он с нею амурился, а Лешка ее обругал когда-то, — так вот будто за это.

## Глава седьмая

День выдался жаркий, какие редко бывают у нас в это время. Небо без облаков, воздух без движения, земля без влаги. Солнце крутыми

лучами беспощадно обливает беззащитную перед ним землю. На открытом месте видно, как небо по краям дымно туманится. В воздухе пахнет гарью: там, вдали, тлеет лесное пожарище. Жаль смотреть на молоденькую травку, которая пробилась кое-где на улицах, немощеных и пыльных, и теперь изнывает от зноя, никнет, желтеет, пылится.

Люди двигаются лениво и сонно. Всяк, кто может, прячется в тень и лень спальни. На улицах изредка барышни под белыми зонтиками пройдут купаться. Служанки в пестрых платочках тащат за ними простыни. Вот Машенька Оглоблина, молодая купеческая девица: она держит зонтик высоко, — пусть видят ее золотой браслет. Она и купаясь не снимет браслета.

Плеск воды в купальнях убаюкивает гладкоструйную реку. Медлительные воды нежат и баюкают разлегшийся над рекою мост. И на нем пусто, как и на улицах. Только иногда протащится по его шаткой настилке гремучий тарантас неистового путешественника или чьи-нибудь собственные дрожки уныло продребезжат, — и жалобно заскрипит обеспокоенный в полдневной дреме мост.

Во втором часу Клавдия вышла на улицу из калитки своего сада. Утром задумала нечто, что должно было иметь для нее важное значение. Наскоро написала записку Логину без обращения и без подписи: «Быть может, вас удивит, что я пишу к вам. Но вы говорили недавно, что мною владеют неожиданные, фантастические побуждения. Вот такое побуждение, — скорее, необходимость, — заставляет меня сделать что-нибудь решительное. Мне надо видеть вас: мне кажется, что вы скажете мне магическое, освобождающее слово. Сейчас я подымусь на вал к беседке. Если я встречу вас там, вы услышите нечто интересное».

Запечатывая записку, подумала, что поступает неосторожно. Но уже не хотела и не могла изменить своего намерения, — что-то подталкивало ее.

И вот всходила на вал, и казалось, что там будет что-то решено и закончено.

Вал насыпан встарь, когда наш город подвергался нападениям иноземцев. Он замыкает площадь, которая имеет вид продолговатого четырехугольника и называется крепостью. Вал тянется без малого версту в длину. Вышина сажень восемь. Прежде был, говорят, выше, да устал стоять и осыпался. Только очертания напоминают о былом назначении: у него тупые выступы на длинных сторонах и мало выдающиеся бастионы на этих двух выступах и по всем четырем углам. Весь вид его мирный и даже веселый, — недаром горожане любят гулять здесь по вечерам. С наружной и внутренней его стороны, посередине высоты, тянутся две террасы, сажени по две в ширину каждая. И эти террасы, и склоны вала заросли травою. Наверху вала протоптана неширокая дорожка. Для проезда в крепость проделаны в восточной и северной стороне вала двое ворот. Под их кирпичными сводами сыро, мрачно и гулко.

Посередине крепости собор старинной постройки, с белыми стенами и зеленою шатровою кровлею, что придает ему бодрый и молодящийся вид. Островерхий купол с заржавленным крестом подымается над алтарною частью храма. К западу от него, на скатах кровли, торчат две маленькие главки, аршина в два вышиною. Эти главки — как яблоки на тонкой ножке, с острыми придатками вверху. Они такие несоразмерно маленькие, что кажутся посторонними залетками; так и представляется, что вот-вот они спрыгнут на землю и поскачут прочь на своих тонких ножках.

К югу от собора каменный острог, стены его ярко белеют. К подошве вала лепятся огороды тюремного смотрителя. Бледный арестант смотрит из-за решетки на красные и синие тряпки, которые сушатся на изгороди, смотрит на зелень вала, на лазурь неба, на бледно-желтые одежды Клавдии, — она идет быстрою походкою по верхней дорожке, — и на птиц, которые проносятся еще гораздо быстрее и кажутся черными точками или пестрыми полосками.

На север от собора раскинулись здания местного войска: кирпичная двухэтажная казарма, деревянный манеж и каменный домик — канцелярия воинского начальника. Здесь тоже огороды, мелькают фигуры солдатиков в красных рубахах, и они кажутся

мирными людьми. А у казарменной стены упрямо стоит себе в бурьяне картонный супостат с намалеванным ружьем — мишень для стрельбы.

Между казармою и восточными воротами крепости четырехугольный пруд тускнеет свинцовою, неподвижною поверхностью. Он смотрит на все, что проносится над ним, и сердито молчит. Зеленая ряска затягивает его по краям.

Южная подошва вала желтою полосою дороги отделяется от реки, мелкой в этом месте. Здесь она делится на два протока и охватывает Воробьинку. С остальных трех сторон подошву вала обнимают огороды и зеленые пустыри.

На южной, короткой, стороне вала красуется на верхней площадке беседка, она пестро раскрашена и украшена резьбою в русском стиле. Герб губернии намалеван на всех шести наличниках беседки. Беседка — память недавнего посещения: из нее высокий гость любовался городом. Решено было ее сохранить за красоту и как памятник.

Логин и Клавдия встретились на дорожке вала, обменялись несколькими словами, прошли в беседку и молча сели. Клавдия сжимала костяную ручку зонтика и постукивала им по деревянному полу. Логин рассеянно глядел на город.

Отсюда город был красив. Березки у подножия вала не заслонили вида. Тополи с обрубленными вершинами, верхние ветви которых все-таки немного закрывали город, росли только на восточной террасе. Здесь их не было.

Центральная часть города у большого моста видна была как на ладони. Зеленые сады у каждого дома, — лиловая пыльная даль полускрытых домами улиц, — сероватые груды деревянных домишек с красными, синими, серыми кровлями, то яркими после недавней окраски, то тусклыми и смытыми дождем, — бурые изгороди и заборы, которые изогнулись во все стороны, — все это красиво смешивалось и производило впечатление жизни мирной и успокоенной. Случайные резкие звуки оттуда наверх не долетали. Изредка проходящие крошечные фигуры людей казались безмолвными и бесшумными; копы-

та лошадей точно и не стучали по камням отвратительной мостовой, и колеса медленно двигавшегося по базарной площади тарантаса, казалось, не грохотали; жесты встречавшихся походили на игру марионеток.

Река изгибалась красивыми плесами. На ней были раскиданы маленькие купальни. Около иных вода плескалась — там купались. Кое-где мальчики удили рыбу и входили для этого в самую реку. Вдали, за последними городскими лачугами, белела пена, искрились на солнце водяные брызги, сверкали тела купающихся детей. Но и детские звонкие крики сюда не долетали.

Здесь было совсем тихо. Иногда только важно жужжала пчела, медленно пролетая, да ветер шуршал в густой траве, колючей и перепутанной, и лепетал с ветками березок, которые ползли по внутреннему склону вала и никак не могли добраться до верху. Но и ветер сегодня набегал изредка, да и то слабый, не так, как в другие дни.

— Я люблю бывать здесь не вечером, когда гуляют, — сказал Логин, — а днем, когда никого нет.

Клавдия подняла на него глаза, — мрачно было их мерцание, — как бы с усилием вслушалась в его замечание и спросила:

— Вы не любите толпы?

— Не люблю быть в толпе... составлять часть толпы.

— А без толпы пусто... и скучно.

— А что и в толпе? Созерцать калмыцкие обличия?

— Почему калмыцкие?

— Наша толпа всегда имеет вид азатчины: фигуры топорные, лица не европейские... Право, Европа кончается там, на рубеже.

— А у нас что ж, Азия?

— Нет, так, просто шестая часть света... А все-таки хорошо, что взгромоздили этот вал. Можно позволить себе невинное удовольствие подниматься от земли все выше и выше. Это окрыляет душу. Город, с его пылью и грязью, внизу, под ногами, — дышится гордо и весело. После житейской мелочи и пустяковины только вот здесь и даешь себе утешение.

— Есть другие утешения в жизни! — воскликнула Клавдия.

— Какие?

— Любить, испытывать страсти, гореть с обоих концов, наполнить пылом и борьбой каждую минуту.

Логин вяло улыбнулся.

— Где уж нам! нервный век, силенок не хватает. Нам ли, с нашим темпераментом разочарованной лягушки, в приключения пускаться!

Лицо Клавдии бледнело. Она порывисто спросила:

— Чем же вы жили до этого времени? Теперь у вас есть замысел, и он дает смысл жизни. А раньше?

— Я искал правды, — тихо ответил Логин.

Напряженное состояние Клавдии сообщалось и ему. Лицо его приняло грустно-строгое выражение.

— Правды? — с удивлением переспросила Клавдия. — И что же?

— Не нашел — и только напрасно запутался в ссоры.

— Не нашли!

— Да, нигде не нашел: ни на большой дороге, ни на проселке. И искать не надо было.

— Почему?

— Умные люди говорят: была и правда на земле, да не за нашу память.

— Прибаутка! — пренебрежительно сказала Клавдия.

Логин поглядел на нее печально и задумчиво. Сказал:

— А может быть, и правда нашлась бы, да не хватило терпенья, любви... сил не достало.

— Правда! В чем она? Все это книжно! — досадливо сказала Клавдия. — Надо жить, просто жить, торопиться жить.

— Почему так непременно это надо?

— Послушайте, я хотела вас видеть. Это неосторожно с моей стороны. Но я не могу ждать! Я жить хочу, по-новому жить, хоть бы с горем, лишь бы иначе. И зачем книжные взгляды на жизнь? Берите ее так, как она есть, и с нею то, что плывет вам в руки.

— Простите, но я думаю, что вы ошибаетесь во мне... а более всего в себе.

— Да? Ошибаюсь? — спросила Клавдия вдруг упавшим голосом. — Может быть.

— Я хочу сказать, что и в вашей настоящей жизни много ценного.

— Не знаю, право. В детстве и у меня было все, как у всех, и весь обиход, и удобные мысли. С такими радужными надеждами ждала я, когда буду большая... Ну, вот я и большая. А жить-то оказалось трудно. И надежды испарились незаметно, как вода на блюдце. Остались только большие запросы от жизни. А люди везде одни и те же, тусклые, ненужные мне. И все везде неинтересно, вся эта рутина жизни и эти скучные привычки. А жажда все растет.

— Что ж, это у всех бывает. Мы утоляем эту жажду работою, стремлением к самостоятельности, к господству над людьми.

— Работа! Самостоятельность! К чему? Это все очень легко, но это вовсе не то. Я жить хочу, жить жизнью, а не выдумками.

— Работа — закон жизни.

— Ах, эти слова! Может быть, это умные слова, но забудьте их. Ведь я не в переплете живу, — у меня кожа и тело, и кровь, молодая, горячая, скорая. Меня душит злоба, отчаяние. Мне страшно оставаться. Все это, я чувствую, бессвязно и бестолково, — я говорю не то, что надо, слова не слушаются... Мне надо уйти и сжечь... сжечь все старое.

— Я вас понимаю. Жизнь имеет свои права, неодолимые. Она бросает людей друг к другу, и незачем сопротивляться ей.

— Да? И вы так думаете? Это очень нелепо, что я вас пригласила. И знаете ли, зачем? Чтобы сказать: возьмите меня.

Бледное лицо ее все дрожало волнением и страстью, и глаза не отрываясь смотрели на Логина. Их жуткое, испуганное выражение притягивало его странным обаянием. Сладостное и страстное чувство закипало в нем, — но было в сознании что-то холодное, что печально и строго унимало волнение и подсказывало сдержанные ответы. Произнося их, он чувствовал, что они глупы и бледны и что каждый из них что-то обрывает, совершает что-то непоправимое. Сказал:

— Загляните в себя поглубже, испытайте себя.

Клавдия не слушала. Продолжала:

— Хоть на время. Разбейте мне сердце, — потом бросьте меня. Будет горе, но будет жизнь, — а теперь нет выхода, я точно перед сте-

нею. Пусть вы меня не любите, — все равно, спасите меня! Пожалейте меня, приласкайте меня!

— Вы безумны, Клавдия Александровна. И что вам из того, если и я заражусь вашим безумством?

Клавдия вдруг вся зарделась. Сказала:

— Я знаю, вы говорите это потому, что уже любите... Нюточку.

— Я? Анну Максимовну? О нет… едва ли... Но почему...

— Да, вы этого и сами, может быть, не знаете, а она вас пленила быстрыми глазками, умными речами из книжек и деланною простотою — кокетством простоты.

Логин слегка засмеялся.

— Вот уж, кажется, в ком нет кокетства!

— Не спорьте. Это дразнит ваше нечистое воображение, — босые ножки богатой барышни на пыльных дорогах. Эта перехватившая через край простота, то, чего никто и нигде не делает, — как же, это заманчиво, любопытно!

— Вы несправедливы.

— Я думала, вы оригинальнее. Увлечься девочкой, пустою, как моя ладонь, и сладкою, как миндальный пряник, за то только, что ее полупомешанный отец начинил ее идеями, — вряд ли она хорошо их понимает, — и за то, что он приучил ее не бояться росистой травы!

— Максим Иванович — умный человек.

— Ах, пусть он чудо по уму! Но послушайте, — я красивее Анютки и смелее ее. И что в ней хорошего! Все в ней обыкновенно, — здоровая деревенская девица.

— В ней есть настоящая спасающая смелость, — горячо сказал Логин, — а не та раздраженная и бессильная дерзость, которая крикливо говорит в вас.

— Что вы говорите! Я смелее ее и не побоюсь того, что испугает Нюту. Вот, хотите? Я приду к вам, я...

— Вы красавица, и вы смелая, — перебил ее Логин. — Вы, может быть, правы, — я, может быть, люблю ее, — да и вы, — вы тоже любите кого-то.

— Да?

— Вам пора любить. Идите к нему с этою жгучею страстью.

— Вы разве не знаете, что женщины не прощают того, что вы сделали теперь?

— Я дал вам добрый совет, но... Если бы вам понадобилась грубая подделка под любовь...

Клавдия стояла у выхода из беседки и надевала перчатки. Глаза ее и Логина встретились. На лице Клавдии отразилась безумная ненависть. Она быстро вышла из беседки.

## Глава восьмая

Около четырех часов дня Логин сидел в гостиной предводителя дворянства Дубицкого. Хозяин, тучный, высокий старик в военном сюртуке, — отставной генерал-майор, — благосклонно и важно посматривал на гостя и грузно придавливал пружины широкого дивана.

Здесь все строго и чинно. Тяжелая мебель расставлена у стен в безукоризненном порядке. Все блещет чистотою совершенно военною: паркетный пол гладок, как зеркало, и на нем ни одной пылинки; лак на мебели и позолота на карнизах стен как только что наведенные; медь и бронза словно сейчас только отчищены. В квартире торжественная тишина. Двери повсюду настежь. У Дубицкого много детей, но ни малейшего шороха сюда не доносится, разве только изредка прошелестят где-то недалеко осторожные шаги.

Логину тяжело говорить о деле, для которого он пришел. Знает, что надо сказать приятное генералу, чтобы достигнуть успеха, но противно лицемерить. Становится уже досадно, что взял на себя неудобное поручение. Но говорить надо: Дубицкий все чаще вопросительно посматривает и хриплым голосом произносит все более отрывочные фразы.

— Прошу извинить меня, Сергей Иванович, за докуку, — сказал наконец Логин, — я к вам в качестве просителя.

Дубицкий не выразил на своем угрюмом лице с низким лбом и узкими глазами ни малейшего удивления и немедленно ответил:

— Вижу!

Логин хмуро усмехнулся. Подумал: «Чем это я так похож на просителя?»

— Хотите знать, почему? — спросил Дубицкий, но не дождался ответа и объяснил сам: — Если бы вы не с просьбою пришли, то положили бы ногу на ногу, а теперь вы их рядом держите.

Дубицкий захохотал хриплым, удушливым смехом, от которого заколыхалось все его тучное туловище.

— Однако, — сказал Логин, — наблюдательность вашего превосходительства изощрена.

— Да-с, любезнейший Василий Маркович, повидал я людей на веку. Вот вы с мое поживите, так у вас ни зуба, ни волоса не останется; а я, как видите, еще не совсем развалина.

— Вы замечательно сохранились, Сергей Иванович, вам еще далеко до старости.

— Да-с, я старого лесу кочерга. В мое время не такие люди были, как теперь. Теперь, вы меня извините, слякоть народ пошел; а в мое время, батюшка, дубовые были. Ну-с, так чем могу служить?

Логин начал объяснять цель своего прихода.

Дубицкий прервал с первых слов, даже руками замахал.

— Да, да, знаю! — Почуев, бывший учитель, как не знать, сокол ясный! Уволен, уволен. Пусть себе отправляется на все четыре ветра, мы к нему никаких претензий не имеем.

— Но, Сергей Иванович, я бы просил вас на первый раз быть снисходительным к молодому человеку.

— Что вы мне про первый раз толкуете! Кто человека первый раз укокошит, тоже снисходительно отнестись прикажете? Или по-вашему, по-новому, не вор виноват, а обокраденный, ась?

— Вина молодого человека, ваше превосходительство, зависела только от его неопытности, если можно назвать ее виною.

— Можно ли назвать виною! — воскликнул Дубицкий. — Вы изволите в этом сомневаться? Это — неуважение к старшим, это дурной пример для мальчишек. Их надо приучать к субординации.

Дубицкий сердито пристукнул кулаком по ручке кресла.

— Он хотел приветствовать исправника, — с некоторою вялостью заговорил опять Логин, — оказать ему почтение, да только не знал, как это делается. Да и, право, не большая вина; ну, первый руку подал, — кому от этого вред или обида?

— Нет-с, большая вина! Сегодня он с начальником запанибрата обошелся, — завтра он предписанием начальства пренебрежет, а там, глядишь, и пропагандою займется. Нет, на таких местах нужны люди благонадежные.

— Конечно, — продолжал Логин, — наш исправник весьма почтенный человек...

Дубицкий хмыкнул не то утвердительно, не то отрицательно.

— Нам всем известно, что Петр Васильевич вполне заслуженно пользуется общим уважением.

— Насколько могут быть уважаемы исправники, — угрюмо сказал Дубицкий.

— Но, Сергей Иванович, лучше бы ему великодушно оставить это и не так уж сердиться на молодого человека. И так ведь могло случиться, что Петр Васильевич сам подал повод.

— Чем это, позвольте спросить? — грозно воскликнул Дубицкий.

— Я, ваше превосходительство, позволяю себе только сделать предположение. Могло случиться, что Петр Васильевич вошел в класс немножко, как у нас говорится, вросхмель, с этакой своей добродушной физиономией, и отпустил приветствие на своем французском диалекте, что-нибудь вроде: мерси с бонжуром, мез-анфанты, енондер-шиш! Учитель, понятное дело, и расхрабрился.

Дубицкий хрипло и зычно захохотал.

— Могло быть, могло быть, — повторял он в промежутках смеха и кашля. — Изрядный шут, сказать по правде, наш исправник. В школы, по-моему, он некстати суется, у нас там недоимок нет. Но во всяком разе я ничего тут не могу: уволили.

— Вы, ваше превосходительство, это можете переменить, если только пожелаете.

— Я не один там.

— Но кто же, Сергей Иванович, пойдет против вас? Вам стоит только слово сказать.

— Ничего, поделом ему. Нельзя ему в этом училище оставаться: соблазн для учеников.

— А в другое нельзя ли? — с осторожною почтительностью осведомился Логин.

— В другое? Ну, об этом мы, пожалуй, подумаем. Но не обещаю. Да-с, любезнейший Василий Маркович, дисциплина — первое дело в жизни. С нашим народом иначе нельзя. Нам надо к старинке вернуться. Где, позвольте вас спросить, строгость нравов? На востоке, вот где. Почтение к старшим, послушание... Вот я вам моих поросят покажу, — вы увидите, какое бывает послушание.

Сердце Логина сжалось от предчувствия неприятной сцены. Дубицкий позвонил. Неслышно, как тень, в дверях появилась молоденькая горничная в белоснежном, аккуратно пригнанном переднике и пугливыми глазами смотрела на Дубицкого.

— Детей! — командным голосом приказал он.

Горничная беззвучно исчезла. Не прошло и минуты, как из тех же дверей показались дети: два гимназиста, один лет четырнадцати, другой двенадцати, мальчик лет девяти, в матросской курточке, три девочки разных возрастов, от пятнадцати до десяти лет. Девочки сделали реверансы, мальчики шаркнули Логину, — и все шестеро остановились рядом посреди комнаты, подобравшись под рост. Они были рослые и упитанные, но на их лицах лежало не то робкое, не то тупое выражение. Глаза у них были тупые, но беспокойные, — лица румяные, но с трепетными губами.

— Дети, смирно! — скомандовал Дубицкий.

Дети замерли: руки неподвижно опущены, ноги составлены пятки вместе, носки врозь, глаза уставлены на отца.

— Умирай! — последовала другая команда.

Все шестеро разом упали на пол, — так прямо и опрокинулись на спины, как подшибленные, не жалея затылков, — и принялись заводить глаза и вытягиваться. Руки и ноги их судорожно трепетали.

— Умри! — крикнул отец.

Дети угомонились и лежали неподвижно, вытянутые, как трупы. Дубицкий с торжеством взглянул на Логина. Логин взял пенсне и внимательно рассматривал лица лежащих детей; эти лица с плотно закрытыми глазами были так невозмутимо покойны, что жутко было смотреть на них.

— Чхни! — опять скомандовал Дубицкий.

Шесть трупов враз чихнули и опять успокоились на безукоризненно чистом паркете.

— Смирно!

Дети вскочили, словно их подбросило с пола пружинами, и стали навытяжку.

— Смейся!

— Плачь!

— Пляши!

— Вертись!

Командовал отец — и дети послушно смеялись, — и даже очень звонко, — плакали, хотя и без слез; усердно плясали и неутомимо вертелись; и все это проделывали они все вместе, один как другой. В заключение спектакля они, по команде отца, улеглись на животы и по одному выползли из гостиной, — маленькие впереди. Логин сидел безмолвно и с удивлением смотрел на хозяина.

— Ну что, каково? — с торжеством спросил Дубицкий, когда дети выползли из гостиной.

В соседней комнате слышалось короткое время легкое шуршанье: там дети вставали с пола и тихо удалялись в свои норы. Было что-то страшное в их бесшумном исчезновении.

— Да, послушание необыкновенное, — сказал Логин. — Этак они по вашей команде съедят друг друга.

Дрожь отвращения пробежала по его спине.

— Да и съедят! — крикнул Дубицкий радостным голосом. — И косточек не оставят. И будет что есть, — я их не морю: упитаны, кажись, достаточно, по-русски, — и гречневой и березовой кашей, и не бабятся, на воздухе много.

Логин поднялся, чтобы уходить. Ему было грустно.

— Так вот какова должна быть дисциплина, — говорил Дубицкий. — Лучше одного забить, да сотню выучить, чем две сотни болванов и негодяев вырастить. А вы уж уходите? Пообедайте с нами, ась? Нет, не хотите? Ну, как желаете; вольному — воля, спасенному — рай.

Когда уже Логин в передней, при помощи той же бесшумной девушки в передничке, надел пальто, Дубицкий появился в раскрытых дверях прихожей, причем заполнил своею широкою фигурою почти все пространство между косяками, и сказал:

— Так и быть, только для вас, получит ваш Почуев место. Молокосос он, выдрать бы его надо хорошенько, — ну да уж так и быть.

Логин начал было благодарить.

— Не надо, не надо, — остановил его Дубицкий, — я не купец-благотворитель. Что захотел, то и сделал. Да скажите ему, чтоб ухо востро держал вперед. А то уж окончательно! И тогда никаких ходатайств, ни Боже ни.

## Глава девятая

Прямо от Дубицкого Логин отправился к Ермолину. Там собралось несколько человек поговорить о том обществе, которое, по мысли Логина, предполагали они здесь учредить. Логин взялся написать проект устава. Сегодня надо было его прочесть и обсудить.

Когда Логин пришел, на террасе сидели кроме Ермолина и Анны еще трое: Шестов, Коноплев и Хотин. В саду раздавались голоса Анатолия и Мити, двоюродного брата Шестова; на траве мелькали весело голые ноги мальчиков. Логину показалось, что опять ясные глаза Анны приветливо поднялись на него. Складки ее сарафана падали прямо. В них было удивительное спокойствие.

Егор Платонович Шестов — молодой учитель, сослуживец арестованного Молина, невысокого роста худенький юноша, белокурый и голубоглазый. По молодости своей, — ему двадцать один год, — еще наивен и не утратил отроческой способности краснеть от всякого душевного движения. Непомерно застенчив и нерешителен, — как

будто никогда не знает, что надо делать, не знает иногда, может быть, чего сам хочет и чего не хочет. Поэтому наклонен подчиняться всякому. В гостях ли он, ему трудно решиться уйти: все ждет, когда поднимутся остальные. Если кроме него никого нет, готов сидеть без конца; когда же заметит наконец, что надоел хозяевам, то смущенно берется за шапку, словно намеревается украсть ее. При этом, обыкновенно, приглашают посидеть еще (хоть и рады были бы, чтобы ушел); отнекнется раз, пробормочет «пора» или «уж я давно» и кончит тем, что останется. Хозяева зевают и уже не удерживают; тогда уходит и терзается мыслью, что пересидел и наговорил глупостей. Последнее озабочивает его не без причины: в разговорах он весьма ненаходчив, вымучивает из себя слова, когда уж непременно надо говорить, и бывает иной раз способен, в припадке застенчивого отупения, сказать что-нибудь неуместное: то при священнике упомянет о поповских карманах, то заговорит о старых девах при девицах, которые могут на это обидеться, то примется рассматривать альбом, да и спросит вдруг хозяина дома о портрете его матери:

— Кто эта старуха? на зайца похожа.

На что хозяин досадливо ответит:

— Это — так, знакомая одна...

И заговорит о другом. Каждый раз после такой выходки Шестов мгновенно соображает в чем дело и мучительно краснеет: намеренно он никому не сказал бы ничего неприятного.

Так как при всем том он целомудренно-честен, увлекается чтением книг и при всей своей застенчивости страстно любит говорить и спорить об интересующих его вопросах со всяким, причем готов открыть случайному собеседнику заветнейшие убеждения и пламеннейшие надежды, — то понятно, что бывает неприятен в обществе людей положительных и солидных.

Савва Иванович Коноплев служит учителем здешней учительской семинарии. Он худощав и высок, как жердь, по народному сравнению. Его лицо обложено рыжею, клочковатою бородкою того фасона, который делает человека похожим на обезьяну. На нем черный сюртук, который заношен и лоснится на локтях, а под сюртуком синяя кумач-

ная рубашка; ее ворот вышит красным гарусом. Блестящие, бегающие глаза; движения быстрые и угловатые; речь неразборчивая, торопливая, — иногда даже брызгает слюною, такая толкотня слов происходит во рту, — все это дает впечатление человека исступленного, который выскочил из колеи. Щеки у него слишком впалые, грудь чрезмерно узка, руки необычайно сухи, жилисты, длинны. Сразу видно, что он и суетлив и бестолков.

Иван Сергеевич Хотин — мелкий здешний купец. Пишет стихи и приводит ими в восторг всех наших мещан и маленьких чиновников. У него в городе только один соперник, и тоже из купцов, — молодой Оглоблин. Но тот образованнее, кончил гимназию, а Хотин не доучился в уездном училище. Стихи Оглоблина печатаются в губернском листке и даже иногда в каком-нибудь столичном еженедельнике. Попытки Хотина печататься были неудачны. Хотин огорчился и пришел к убеждению, что без протекции и в печать не попасть. Человек восторженный, хотя и малограмотный, и любит помечтать. Торговля идет плохо: за прилавком чувствует себя не в своей тарелке. Ему около сорока лет. Длинная черная борода. На голове изрядная лысина.

С ним Логин познакомился из-за стихов. Хотин принес стихи; Логин сказал свое мнение. Хотин показался ему интересным: неугомонная жажда справедливости закипала в его речах. О городских делишках говорил, горя и волнуясь. Но Логин понимал, что Хотин — один из «шлемилей», которым суждено проваливать всякое дело, за какое бы они ни взялись.

Вообще, несмотря на рассеянность, которая овладевала Логиным в последнее время, он сохранил значительную степень психологической прозорливости, давнишнее, как бы прирожденное качество, — по крайней мере, оно развилось без заметных усилий. В оценке людей ошибался редко. Даже новый замысел, хотя и побуждал искать людей, но не ослеплял Логина. Эти люди, что собрались у Ермолина, были единственные, которые заинтересовались делом, каждый по своему, так что с ними можно было «начать».

«Только бы начать!» — думал Логин.

А там, впереди, — борьба за возможность работать в иных условиях.

— Что нового слышно? — спросил Коноплев у Логина, когда тот поздоровался со всеми.

— Горожане, вы знаете, теперь только одним интересуются: рады скандалу.

По лицу Анны пробежало презрительное выражение; глаза ее показались Логину померкшими. Сожаление, что начал об этом, быстро сменилось в Логине странным ему самому злорадством.

— Да, это дело Молина, — сказал Хотин, — скверное дело. Очень уж наши мещане все злобятся.

— Подлец этот ваш Молин! — крикнул Коноплев Шестову. — Я всегда это говорил. Тоже и девчонка, сказать по правде, стерва.

— Нет, вы ошибаетесь, — заговорил Шестов, краснея, — Алексей Иваныч очень честный человек.

— Ну еще бы, честные люди всегда так делают!

— Он в этом деле даже и не виноват нисколько.

— Ну, для него же лучше. Вы откуда же это знаете?

— Да он меня так уверял.

— И только-то? Вот так доказательство!

Коноплев хлопнул себя до коленям длинными руками и захохотал.

— Молин не стал бы лгать, — горячо спорил Шестов, — он человек честный и умный и свое дело знает, и ученики его уважают.

— Подите вы, — отъявленный прохвост! — решительно и даже с раздражением сказал Коноплев. — Охота вам была с ним якшаться! Я рад, что хоть с одного лицемера маску сдернули.

Шестов был весьма огорчен этими резкими отзывами о сослуживце и собирался еще что-то возражать. Но вмешался в разговор Ермолин; он до тех пор молчал и задумчивыми голубыми глазами ласково и грустно смотрел на Шестова.

— Не будем из-за него спорить, — сказал Ермолин примирительным голосом, — виноват он или нет, это обнаружится.

Анна не то застенчиво, не то задумчиво потупилась и тихо молвила:

— Да и говорить о нем невесело. Мне всегда стыдно было на него смотреть: он такой наглый и цепляется, как репейник.

— И всем дает ругательные клички, — сказал Хотин.

Видно было, что он вспомнил какую-нибудь из этих кличек, — может быть, она относилась к кому-нибудь из присутствующих, — и едва удержался от смеха: по его лицу пробежало отражение того нехорошего чувства, которое овладевает многими из нас при воспоминании о том, как обругали или осмеяли кого-нибудь из наших приятелей.

Шестов покраснел. Логин подумал, что грубая кличка могла относиться и к Анне, и почувствовал злобу. Быстро глянул на Анну. Брезгливое движение слегка тронуло ее губы. Она протянула руки вперед, словно запрещала говорить об этом дальше. Ее движение было повелительно.

— Вот более важная новость, — сказал Ермолин, — в нашей губернии уже были, говорят, случаи холеры.

Хотин вздохнул, погладил бороду и сказал:

— Недаром, видно, у нас барак построили.

— Типун вам на язык! — сердито крикнул Коноплев. — Чего каркаете!

— Уж тут каркай не каркай... Слышали вы, что в народе болтают?

— А что? — спросил Логин.

— Известно что: барак построили, чтоб людей морить, будут здоровых таскать баграми, живых в гроб класть да известкой засыпать.

— А все-таки холера к лучшему, — заявил Коноплев.

— Это чем же? — спросил Хотин несколько даже обидчивым голосом.

— А тем, что все-таки город почистили немножко.

Все замолчали. Никому не хотелось больше говорить о холере. Она была еще далеко, и ясный весенний день с радостною зеленью, с нежными и веселыми шорохами и беззаботными чириканиями не верил холере и торопился жить своим, настоящим. Но этот разговор напомнил Анне другое неприятное, но более близкое этим цветам и звукам.

— Василий Маркович, вы были у Дубицкого? — спросила она у Логина и с тревожным ожиданием склонилась в его сторону стройным станом, опираясь на край стула обнаженною рукою.

— Да, как же, был. Почуеву дадут место, но в другой какой-нибудь школе.

— Ну вот, большое вам спасибо, — сказал Ермолин и крепко пожал руку Логина. — Как это вам удалось?

Анна посмотрела на Логина благодарными глазами, и ее рука нежным движением легла на его руку. Логин почувствовал, что ему не хочется рассказывать ей, потому что она смотрит так ясно, но он преодолел себя и подробно передал все, что было.

— Молодец генерал! — воскликнул Коноплев с искренним восторгом.

Хотин неодобрительно потряс черною бородою, Шестов покраснел от негодования, Анна спросила холодно и строго:

— Что же вам так нравится?

Коноплев слегка смутился.

— Как же, дисциплина-то какая? Разве худо?

— Неумно. Какие жалкие дети!

— Обо всем не перенегодуешь, так не лучше ли поберечь сердце для лучших чувств, — сказал Логин с усмешкою.

Анна вспыхнула ярким румянцем, так что даже ее шея и плечи покраснели и глаза сделались влажными.

— Какие чувства могут быть лучше негодования? — тихо промолвила она.

— Любовь лучше, — сказал Шестов.

Все на него посмотрели, и он закраснелся от смущения.

— Что любовь! — говорила Анна. — Во всякой любви есть эгоизм, одна ненависть бывает иногда бескорыстна.

В ее голосе звучали резкие, металлические ноты; голубые глаза ее стали холодными, и румянец быстро сбегал с ее смуглых щек. Ее обнаженные руки спокойно легли на коленях одна на другую. Шестов смотрел на нее, и ему стало немного даже страшно, что он возражал ей: такою строгою казалась ему эта босая девушка в сарафане, точно она привыкла проявлять свою волю.

— Да вот, — сказал Логин, — вы, конечно, давно негодуете, а много вы сделали?

Анна подняла на Логина спокойные глаза и встала. Ее рука легла на деревянные перила террасы.

— А вы знаете, что надо делать? — спросила она.

— Не знаю, — решительно ответил Логин. — Порою мне кажется, что негодующие на мучителей просто завидуют: обидно, что другие мучат, а не они. Приятно мучить.

Анна смотрела на Логина внимательно. Темное чувство подымалось в ней. Ее щеки рдяно горели.

— А что, — сказал Ермолин, — не приступить ли к делу? Василий Маркович прочтет нам...

— Постойте, — сказал Коноплев, — писать-то все можно, бумага стерпит.

Все засмеялись. Коноплева удивил внезапный смех. Он спросил:

— Что такое? Да нет, господа, постойте, я не то, что... я хочу вот что сказать: важно знать сразу самую суть дела, главную идею, так сказать. Вот я, например, я уж после других примкнул, мне рассказали, но, может быть, не всё.

— Савва Иванович любит обстоятельность, — сказал Хотин, посмеиваясь.

— Ну а то как же? Все-таки интересно знать, что и как.

— В таком случае, — сказал Ермолин, — мы попросим Василия Марковича предварительно словесно изложить нам свои мысли, если это не затруднит.

— Нисколько, я с удовольствием, — отозвался Логин.

Он мечтательно глядел перед собою, куда-то мимо кленов радостно зеленеющего сада, и медлительно говорил:

— Все нынче жалуются, что тяжело жить.

— Еще и как тяжело, — со вздохом сказал Хотин.

— Мы все не капиталисты, — продолжала Логин, — живем обыкновенно изо дня в день.

Если бы посмотрел на Анну, заметил бы, что она вдруг смущена чем-то, но ничего не видел и говорил:

— Болезнь, потеря работы, смерть главы семейства — все это быстро поглощает сбережения. Да и как сберегать? Часто не из чего, да и самый процесс скапливания денег непривлекателен.

— Ну, чем же? — недоверчиво спросил Коноплев.

— В нем есть что-то презренное, скряжническое.

— Ну, не скажите, — прибережешь копейку, так сам себе барин, ни от кого не зависишь.

— Это верно, — подтвердил Хотин, задумчиво поглаживая длинную бороду.

— Может быть, и так, — сказал Логин, — но одни сбережения не могут быть достаточны. Возьмем хоть сберегательные кассы. У них громадные капиталы, но что ж? Вы делаете сбережения в кассе, но это не ставит вас ни в какие отношения с другими вкладчиками. Исчерпали вы ваш вклад и беспомощны: касса ни в каком случае не даст вам в долг.

— Для того ссудо-сберегательные кассы, — сказал Коноплев.

— Да, это хорошо, но и это узко, — деньги не всегда достаточная помощь. Бывает иногда нужно живое содействие, совет врача, юриста, достать работу или еще что-нибудь. Надо установить тесные связи между членами общества, как в семье, где все друг другу помогают.

— Тоже, какая семья! — сказал Хотин.

— Мы хорошую устроим, — отвечала Анна с ласковою улыбкою.

— Множество людей, — продолжал Логин, — терпят недостаток в необходимом, и они же часто не могут найти работы. А лишних людей нет.

— Да, кабы лишних ртов не было, — спорил Коноплев.

— Не бывает их, — говорил Логин. — Если новый работник увеличивает собою предложение труда, так зато он увеличивает и спрос на чужую работу. Человек не может прожить без помощи других, это понятно: естественное состояние человека — нищета. Но зато естественное состояние общества — богатство, и потому общество не должно оставлять своих сочленов без работы, без хлеба, без всего такого, чего на всех хватит при дружной жизни. В нашем городе, например, найдется немало людей и образованных, и простых, у которых есть досуг, и почти каждый из них во многом нуждается. Они могут соединиться. Можно вперед рассчитать, сколько работы потребуется в год, работы друг на друга. Каждый делает, что умеет: сапожник сапоги тачает...

— И пьянствует, — вставил свое словечко Коноплев.

— Пусть себе пьет, лишь бы свою долю работы сделал, — сказал Ермолин.

— А работы у него будет много, — продолжал Логин, — зато и на него будут работать многие: и врач, и плотник, и слесарь, и учитель, и булочник. Образуется союз взаимной помощи, где каждый нужен другим и каждый братски расположен помочь другим, — зато и ему окажут всегда помощь и поддержку, все будут свои люди, соседи и друзья. Всякому, кто хочет работать, найдется работа. И всякий будет пользоваться большими удобствами жизни, возможностью жить не в тех конурах, в которых теперь живет большинство. А еще выгода, — при таком устройстве добрососедских союзов нет надобности в дорогом посредничестве купцов, хозяев, предпринимателей.

«Он холоден и не верит, — вдруг подумала Анна, и вся наклонилась на стуле и с удивлением посмотрела на Логина. — Нет, — опять подумала она, — я ошибаюсь, конечно!»

— А если члены перессорятся? — спросил Коноплев.

— Весьма вероятно, — отвечал Логин. — Но это не беда: неуживчивые выйдут, другие спорщики подчинятся общему мнению, увидят, что это выгодно.

— Нужен капитал, — сказал Хотин, — без денег самых пустых вещей не устроишь.

Деловая озабоченность не шла к нему, — такое у него всегда было рассеянно-мечтательное лицо.

— Каждый человек сам по себе капитал, — сказал Логин. — Инструменты у многих, конечно, найдутся.

— И деньги найдутся, — сказала Анна и опять покраснела.

Странное чувство неловкости владело ею; стала смотреть в сад и положила руки на деревянную изгородь террасы. Цветы, которые пахли безмятежно, по-весеннему, возвратили ей спокойствие.

— С миру по нитке, — начал было Шестов.

Но уже он так давно молчал, что у него на этот раз не вышло, — горло пересохло, звук оказался хриплым. Шестов сконфузился, закраснелся и не кончил пословицы.

— Самое главное, — сказал Ермолин, — надо для начала людей убежденных, чтоб они верили в дело и повлияли на других своею уверенностью.

— Люди найдутся, — сказал Хотин с уверенным видом и погладил бороду, как будто бы эти люди были у него в бороде.

— Было бы корыто... — начал опять Шестов и опять в смущении замолчал: он видел, что Анна улыбается.

— Заведем в складчину машины, — заговорил Логин, — работа будет производительнее, меньше будет утомлять. Приспособим электричество. Много есть под руками живых сил, которыми не пользуются люди. Заведем общие библиотеки. Будем обмениваться нашими знаниями, будем устраивать путешествия...

— На луну, — тихо сказал кто-то, Логин не расслышал кто.

Логин вздрогнул слегка и заметил, что мечтает вслух.

— Зачем на луну? — досадливо сказал он, — хоть бы по родине, а то мы и ее не знаем как следует.

— Еще один вопрос, — торопливо сказал Коноплев, — типография будет?

При этом его лицо приняло такое выражение, точно это было самое важное и интересное для него дело, и черные глаза с ожиданием уставились на Логина.

— Что ж, если понадобится, отчего же, — ответил Логин, — в других городах есть, так отчего бы и у нас ей не быть!

— В нашем городе? Что у нас печатать? — спросила, улыбаясь, Анна, — листок городских известий и сплетен?

— Непременно надо, — оживленно заговорил Коноплев, — мало ли здесь учреждений разных: и частных, и казенных, — нужны бланки, книги торговые, объявления, мало ли что. Наконец, книги печатать.

— Какие? приходно-расходные?

— Ну, да вот я напечатаю свое сочинение, — почти готово.

— Для книги-то стоит, — согласился Ермолин с едва заметною усмешкою.

— Эта типография, — сказала Анна, — будет как теплица, чтобы взращивать провинциальные книги.

Решили прочесть вслух и обсудить устав. Мальчики вернулись на террасу, и Анатолий выпросил, чтобы читать позволили ему.

После чтения каждого параграфа подымались споры, довольно-таки нелепые. Горячее всех спорили, причем часто не понимали друг друга, Коноплев и Хотин: Коноплев любил спорить, Хотин хотел показать свою практичность, и оба оказывались бестолковыми одинаково. Ермолин и Анна помогали им разобраться и с трудом успевали в этом. Шестов говорил мало, зато много волновался и краснел. Мальчики не ушли и слушали внимательно; Митя горел восторгом и сердился на непонимающих. Логин молчал и смотрел все так же, мечтательными, не замечающими предметов глазами. Но он видел, что ласковые глаза Анны иногда останавливались на нем, — и ему приятно было чувствовать на себе ее взгляд. Казалось ему иногда, что ее чистые глаза, доверчивые, были насмешливы. Да, от насмешливого отношения к себе, зачинателю, и к своему замыслу он никогда не мог совсем освободиться.

Когда чтение окончилось, спорили еще долго о названии общества: Коноплев предлагал назвать его дружиною, Хотин — компаниею, Шестов — братством, — и не пришли ни к чему.

— С этим обществом мы таких делов наделаем, что страсть! — воскликнул Хотин, внезапно воодушевляясь. — Мы им покажем, как жить по совести. Только бы удалось нам осуществить, а уж мы им нос утрем.

И он яростно погрозил кому-то кулаками.

Логин вдруг нахмурился; язвительная улыбка промелькнула на его губах.

«Ничего не выйдет», — подумал он, и тоскливо стало ему. Но вслух он сказал:

— Да, конечно, если приняться с толком, то должно осуществиться.

«Отец — такой же мечтатель, как и дочь, — думал он об Ермолиных. — Он верит в мой замысел больше, чем я сам, — поверил сразу, с двух слов. А я, после стольких дум, все-таки почти не верую в себя! А какой бодрый и славный Ермолин! Глаза горят совсем по-молодому, — позавидуешь невольно».

— Однако, — суетливо заговорил Коноплев, — я не стану тратить времени даром: сейчас же буду готовить книгу для типографии. Мне типография больше всего нужна. Это хорошо будет устроено. Вот я книгу написал. Напечатать — надо деньги. А своя типография, то даром, — выгода очевидная.

— Ну, не совсем даром, — сказал Логин, хмурясь и в то же время улыбаясь.

— Да, да, понимаю: бумага, краска типографская. Ну да это подробности, потом.

— У вас и так много работы, — сказал Шестов, — а вы еще находите время писать.

Он с большим уважением относился к тому, что Коноплев пишет.

— Что делать, надо писать, — с самодовольною скромностью отвечал Коноплев. — Никто другой не говорит в печати о том, что нужно, — приходится выступать нам.

— А не будет нескромностью полюбопытствовать, о чем ваша книга? — спросил Логин.

— Против Льва Толстого и атеизма вообще. Полнейшее опровержение, в пух и прах. Были и раньше, но не такие основательные. У меня все собрано. Сокрушу вдребезги, как Данилевский Дарвина. И против науки.

— Против науки! — с ужасом воскликнул Шестов.

— Наука — ерунда, не надо ее в школах, — говорил Коноплев в азарте. — Все в ней ложь, даже арифметика врет. Сказано: отдай все, — и возвратится тебе сторицею. А арифметика чему учит? Отнять, так меньше останется! Чепуха! против Евангелия. К черту ее!

— Со школами вместе? — спросил Ермолин.

— Школы не для арифметики!

— А для чего?

— Для добрых нравов.

— В воззрениях на науку, — сказал Логин, — вы идете гораздо дальше Толстого.

— Вашего Толстого послушать, так выходит, что до него все дураки были, ничего не понимали, а он всех научил, открыл истину. Он соблазняет слабых! Его повесить надо!

— Однако, вы его недолюбливаете.

— Книги его сжечь! На площади, — через палача!

— А с читателями его что делать? — спросила Анна с веселою улыбкою.

— Кто его читает, всех кнутом, на торговой площади!

Анна взглянула на Логина, словно перебросила ему Коноплева.

— Виноват, — сказал Логин, — а вы читали?

— Я? Я читал с целью, для опровержения. Я зрелый человек. Я сам все это прошел, атеистом был, нигилистом был, бунтовать собирался. А все-таки прозрел, — Бог просветил; послал тяжкую болезнь, — она заставила меня подумать и раскаяться.

— Просто вы это потому, что теперь мода такая, — сказал Шестов; он от слов Коноплева пришел в сильнейшее негодование.

Коноплев презрительно посмотрел на него.

— Мода? Скажите пожалуйста! — сердито сказал он.

Широкие губы его нервно подергивались.

— Ну да, — продолжал Шестов, волнуясь и краснея, — было прежде поветрие такое вольное, и вы тянулись за всеми, а теперь другой ветер подул, так и вы...

— Нет, извините, я не тянулся, я искренно все это пережил.

— И Толстой — искренно.

— Толстой? На старости лет честной народ мутит.

— Ваша книга его и обличит окончательно, — сказала Анна примирительным тоном.

— Мало того! На кол его, и кнутом!

— Меры, вами предлагаемые, не современны, к сожалению, — сказал Шестов.

Он старался придать своим словам насмешливое выражение, но это ему не удалось: он весь раскраснелся, и голос его звенел и дрожал, — очень уж обидно ему было за Толстого, и он теперь от всей души ненавидел Коноплева.

— Не современны! — насмешливо протянул Коноплев. — То-то нынче все и ползет во все стороны, и семья, и все. Разврат один: разводы, амурные шашни! А по Домострою, так крепче было бы.

— Так, по Домострою, — сказал Ермолин, — то есть непокорную жену...

— Камшить плетью!

— Хорошо, кто с плетью, худо, кто под плетью, — сказал Логин, — всяк ищет хорошего для себя, а худое оставляет другим. Так и жена.

— Нет, совсем не так. Жена — сосуд скудельный, она слабее, и поэтому ей обязанность — повиноваться мужу.

— Вот вы говорите, что жена слабее, — сказала Анна. — А если случится так, что жена сильнее мужа?

— Не бывает! — решительно сказал Коноплев.

— Однако!

— Если телом и сильнее, так умом или характером уступит. Муж — глава семьи. Вот Дубицкий — примерный семьянин, он в повиновении держит...

— Изверг! — воскликнул Шестов.

— А взять хоть нашего городского голову, — да он прямой колпак. Я б его жену в бараний рог согнул.

— Это вам не удалось бы, — возразил Хотин, посмеиваясь.

— Не беспокойтесь! Или еще исправничиха, — разве хорошо? Муж долги делает, а она наряжается. Не молоденькая, пора бы остепениться!

## Глава десятая

Логин и Шестов с Митею втроем возвращались от Ермолиных. Они отказались от экипажа, который им предлагали, а Коноплев и Хотин предпочли ехать.

Митя устал за день. Ему хотелось спать. Иногда он встрепенется, пробежит по дороге и опять шагает лениво, понурив голову.

Тихо было на большой дороге. Уже солнце касалось мглистой полосы у горизонта. Откуда-то из-за дали доносились заунывные звуки песни, тягучие и манящие. По окраинам дороги, на высоких и пустых стеблях покачивались большие желтые цветы одуванчика. На лугу

кой-где ярко желтели крупные калужницы. В перелеске коротко и скучно загоготал одинокий леший и смолк.

Шестов так бодро шагал по дороге, словно уже совершал некоторый подвиг. Логин с усмешкою слушал его восторженные восклицания. Вспомнилось, как при прощанье Анатолий крепко сжал его руку. Он смотрел тогда на Логина разгоревшимися глазами, и щеки его раскраснелись. Восторг мальчика понравился Логину и позабавил его.

«Игрушка, заманчивая для детей, незнакомых с жизнью, и для стариков, которые молоды до могилы», — так определил он теперь свой замысел.

— Какая превосходная идея! — восклицал Шестов. — Да, вот это именно и хорошо, что без всяких потрясений можно устроить разумную жизнь, — и так скоро!

— Разумную жизнь в Глупове! — тихо сказал Логин.

— Помните, — продолжал Шестов, — «Через сто лет» Беллами. Когда я читал, я все думал, что это что-то далекое, почти несбыточное. Ведь он через сто с лишком лет рассчитывает. А через сто лет что еще будет нравиться людям? У них свои идеалы, может быть, будут, получше наших. А это наше дело теперь же можно сделать! Сейчас же можно начать!

— Сейчас, конечно, — угрюмо сказал Логин, — вот придем домой, и переменим свою жизнь.

— Ну, не буквально сейчас... Да нет, именно сейчас, теперь же можно говорить, собирать сотрудников, разрабатывать устав. Ведь начальство разрешит!

— Было бы для кого разрешать.

Шестов посмотрел на Логина внимательно, словно обдумывал — разрешат или нет, — и опять быстро и уверенно зашагал.

— Ведь тут нет ничего предосудительного или незаконного. Впрочем, как посмотрят. Вот мне один из товарищей писал, что в их городе клуба не разрешили: мало членов, и никого из местных заправил. Но мы-то навербуем толпу участников.

— Едва ли десяток найдется.

— Почему же вы так думаете?

— Равнодушие — злейший враг всякого движения.

Шестов примолк ненадолго.

«Ах, если бы я сам был поменьше недоверчив к себе, — думал Логин. — Этот мальчик своим энтузиазмом разогрел бы кого-нибудь... если бы не обстоятельства».

Настолько Логин был уже знаком с историею, которая занимала город, и с настроением некоторых влиятельных в городе лиц, чтобы предвидеть, что участие Шестова не принесет пользы для проведения замысла в жизнь. Скорее напротив: будут мешать за то, что он участвует.

— А все-таки поборемся, — решительно сказал Шестов.

Горделивое чувство поднялось в душе Логина, как перед битвою в душе воина, который не уверен в победе, но дорожит честью.

— Поборемся, — весело повторил он.

И вера в замысел, такая же сильная, как и неверие, встала в его душе, — и все же не могла затмить угрюмой недоверчивости.

«Восторг его хорош сам по себе, помимо возможных результатов, — думал он о Шестове, — эстетичен этот восторг!»

Было, в самом деле, что-то прекрасное и трогательное в молодом энтузиасте. Дорога, где шли они, с серым избитым полотном и узкими канавами по краям, пыльно протянулась среди унылого ландшафта, утомительно-однообразного; она своим пустынным и жестким простором под блекло-зеленым небом, всем своим скучающим видом странно и печально оттеняла незрелый восторг молодого учителя. Чахлые придорожные березки не слушали его восклицаний, вздрагивали поникшими и порозовелыми на заре ветками и не пробуждались от вечного сна. Грубая дорожная пыль взлетала по ветру нежными клубами, сизыми, обманчивыми. Когда она подымалась у ног Логина, за нею мерещился ему кто-то злой и туманный.

— Какая светлая личность — Ермолин! — продолжал восторгаться Шестов. — Какая удивительная девушка — Анна Максимовна! Их Толя — замечательно умный мальчик, не то что ты, Митька!

— Ну уж, ты, — сердито пробормотал Митя, — все-то у тебя замечательные!

— Коноплев тоже очень умный человек, но только он ужасно заблуждается.

— Что вы говорите! — досадливо сказал Логин, — какой он умный! У него в голове не мозг, а окрошка с луком.

— Ах нет, вы его еще очень мало знаете!

— Говорит, был нигилистом. Да он и теперь нигилист.

Логин не пошел прямо домой. Сообразил, что горожане глазеют на острог, где сидит арестованный учитель Молин, — и захотелось поглядеть на это.

Не ошибся. На валу нашел вереницы гуляющих по той дорожке над рекою, откуда видны окна острога. Некоторые останавливались перед острогом и смотрели на него сверху вниз; старались угадать окно, за которым сидит Молин. Надеялись, что он покажется; кто-то уверял, что днем Молин разговаривал из окна с учениками. Но теперь он не появлялся. Любопытствующие горожане спорили о том, какое окно принадлежит его камере.

Логин встречал знакомых, слышал отрывки разговоров, веселый смех, шутки, довольно плоские, по обыкновению, — все о заключенном. Кто попроще, не стесняясь, бранили Молина и издевались над тем, что он угодил в тюрьму: прельщала мысль, что вот, хоть и барин, а все-таки посажен. Но в речах людей, которые стараются в обхождении и одежде подражать «господам и барышням», не мог Логин уловить ни сочувствия к заключенному, ни пылкого осуждения: в сонную толпу брошен забавный анекдот, занимаются им, — и только.

Здесь была сегодня все больше публика, одетая странно, в подражание господам; шляпки, не идущие к лицу, стриженые челки над румяными лупётками, пестрые галстухи под корявыми рожами, тесные башмаки на громадных ножищах и усилия подражать господам не только в разговорах, но и в самых мыслях.

Какие-то вертлявые, но как бы испуганные чем-то барышни хихикали; молоденькие, развязные и неловкие чиновники вертелись вокруг них — иной поместится против барышень, да так и марширует спиною вперед. Смуглый, рябой поручик Гомзин, со сверкающими

белыми зубами, молодцевато прошел с Машенькою Оглоблиною, которая фасонисто потряхивала хорошенькою глупенькою головкою, чтобы пощеголять золотыми сережками, и помахивала пухленькими короткопалыми ручонками, чтобы увидели ее золотые браслеты. Ее брат, жирный молодой купчик, суетливо пробежал в толпе бестолково-шумливых молодых людей; они покрывали каждую его фразу восторженным ржаньем. Валя Дылина и ее младшая сестра Варя прошмыгнули тут же; их преследовали двое невзрачных юношей, воспитанники учительской семинарии; в воздухе, мягком и влажном, резко взвизгнули скрипучие и трескучие нотки громкого смеха веселых девушек.

Внизу, на площадке между собором и острогом, тоже был народ. Но они не прикрывали своего любопытства тем, что будто бы пришли на прогулку, — это был рабочий народ, который гуляет только в кабаке да в трактире. Прохаживались угрюмо, застаивались перед железными воротами острога, — мрачные, унылые фигуры в испачканных, заплатанных одеждах: мальчишки грязные, растрепанные и изумленные, — мастеровые: сапожник, опорки измызганные и дырявые, почерневшие от вара пальцы, — красноликий мясник, одежда пахла кровью убитых быков, — столяр, высокий, тощий, бледный, цепкие и костлявые руки бесприютно болтались по воздуху, тосковали об оставленном дома рубанке. Говорили тихо, но злобно, — обрывками зловещих угроз и таинственных афоризмов.

— А вы что здесь один делаете, Кудинов? — спросил Логин румяного, длинноносого гимназиста, который с любопытным и суетливым видом шнырял в толпе, на дорожке вала.

— А меня мама послала посмотреть, что здесь делается, — откровенно объяснил Кудинов.

Трое почтовых чиновников остановились на валу против окон острога. Пьяные. Один из них, хромой, с выражением совестливости на румяном лице, круглом, безусом, уговаривал товарищей идти дальше и сконфуженно улыбался. Бормотал:

— Братцы, бросьте! Довольно безобразно и даже нехорошо. Ну, что там! Наплевать! Невидаль какая! Пойдемте, ей-Богу, пойдемте!

Двое других, тощие, бледные, обалделые и нахальные лица, удерживали его, хватали за руки и вскрикивали, обращаясь к острогу:

— Друг, Лешка, ясное солнышко, покажись! Скотина ты этакая, выставь свою мордашку, друг распроединственный!

Наконец-таки благоразумный товарищ (они пили по большей части на его счет и потому несколько слушались его) убедил их. Пошли, неистово хохотали, шатались, ругались. Были не настолько пьяны, как представлялись, и могли бы держаться прямее, но хотелось покуражиться.

Молодой щеголеватый портной Окоемов, у которого кривые ноги двигались, как ножницы, подскочил к Логину и с форсом протянул ему руку. Разило помадою и духами резедою; галстучек на тонкой, жилистой шее торчал зеленый, с розовыми крапинками; рыженький котелок, аккуратненький пиджачок бирюзового цвета, узкие клетчатые брючки. Шил на Логина и потому на улицах подходил беседовать. Логин знал, что Окоемов глуп, и беседы с ним уже не забавляли.

— Вот извольте полюбоваться, — презрительно сказал Окоемов, — совершенно непросвещенный народ: дивятся, а чему? Что тут глаза таращить! Все одно, — много ли увидят? И что такого особенного? Ну, будем так говорить, за нарушение целомудренности засадили интеллигентного человека. Но, я вас спрошу, разве же это редкость?

— Будто бы не редкость?

— Помилуйте, скажите, да они не читают газет, а взять хоть бы «Сын отечества», — да там в каждом номере самых разнообразных преступлений хоть отбавляй: читай не хочу, так что под конец и внимания не обращаешь, ну убил, зарезал, отравил, — тьфу!

— А тут наш попался, — объяснил Логин, — всем и интересно.

— Конечно, — согласился Окоемов, — так как в нашем богоспасаемом граде не имеется, можно сказать, никаких высших интересов и увеселений, то им и это обстоятельство лестно. В столицах же и в больших городах теперь в моде психопатия. Я ведь и сам, как вы, может быть, изволите знать, жил в Санкт-Петербурге, обучался своему художеству.

— И насмотрелись на психопатию?

— Да-с, оно точно, психопатия — вещь, будем так говорить, очень тонкая и деликатная. Значит, как хочу, так и верчу, и ты моему нраву не препятствуй. Ну а чуть ты что не потрафил, так уж тут держись, берегись да улепетывай, а не то живым манером пистолетная запальчивость. Так что остальные прочие уж лучше терпи, кто ежели попроще и без нервов. Ловко! Господа очень одобряют.

— Ну а вы как?

— Чего-с?

— Одобряете, кажется, психопатию?

— Я-то?

— Ну да, вы.

— Да как вам сказать; оно, конечно... Но только, будем так говорить, если кого, например, через свою психопатию умертвить, то все-таки большие треволнения для себя самого произойдут, а я этого не уважаю. Я больше обожаю, чтобы все было тихо, мирно, благородно.

— Значит, людей умерщвлять не будете?

— Зачем же? пусть живут!

— А вот рыбку умерщвляете, видел я вас сегодня поутру.

Окоемов покраснел: утром сегодня он был одет уж очень враспояску.

В это время встретился им Толпугин, молодой полицейский чиновник из самых незначительных, зато известный в городе за искусного переплетчика. Маленький человечек, тощенький, курчавенький, шепелявенький, весь запыленный и слегка проклеенный. Видно было, что он радостно озабочен и занят чем-то своим. Слегка задыхался от волнения, когда говорил Логину:

— Поздравьте, меня произвели.

— А, так вы теперь?..

— Коллежский регистратор! — с гордостью сказал Толпугин, и его рябенькое лицо засияло.

Логин поздравил нового коллежского регистратора.

— Что, нет ли у вас работки для меня? — спросил Толпугин.

— А вот зайдите ко мне на днях, — кажется, найдется.

Так обделал Толпугин свои делишки и заговорил тоже о Молине. Он кивнул головою на острог.

— Жирует там теперь, — сказал он и захлебнулся от восторга. — Ведь поставили же острог на самом тору!

Кондитер с семьею — женою, сыном — сельским учителем, и дочерью, тоже учительницею, — прошли мимо Логина, черные и торжественные, как неторопливые вороны. Если бы Логин был один, то они заговорили бы с ним. Но они презирали Толпугина и Окоемова, считали их ниже себя.

Логина утомила сутолока лиц и безлепица разговоров. Он призакрыл глаза. Перед ним поднялось из тьмы смуглое лицо Анны с ее смущенно опущенными глазами, с презрительною усмешкою на негодующих губах. И потянуло его прочь от этих людей, — от этих добрых людей. Сошел с вала и нанял извозчика. Чувствовал себя усталым. Голова начинала болеть.

Энтузиазм Шестова вспомнился и разогрел Логина. Начал, незаметно для себя самого, мечтать о том, как задуманное осуществится. Мечта за мечтою роились. Предметы действительности пропали. И вдруг в то время, когда он, в собрании членов общества, при единодушных рукоплесканиях, кончал речь об открытии в нашем городе классического общедоступного театра, — дрожки сильно тряхнуло, Логин подпрыгнул, как на пружине, и чуть не упал. Въезжали на мост. Из плохо налаженной настилки торчала доска, — она-то чуть и не свалила дрожек. Казалось, что весь мост скрипит и шатается под копытами облезлой клячи. Логин побледнел.

«Провалится, все провалится», — подумал он с внезапным бешенством.

Ощутил в правом виске тупую боль: что-то холодное и крепкое прижалось к виску. Дуло револьвера произвело бы такое ощущение. Он поднял руку, бессмысленным жестом отмахнул невидимое дуло и потерянно улыбнулся.

— Василий Маркович, домой? — послышался голос Баглаева.

Баглаев подходил к дрожкам. Был, по обычаю своему, заметно нетрезв. Извозчик, привычный к частым остановкам седоков при

встречах, — в нашем городе некуда торопиться, — сам остановил лошадь. Логин пожал пухлую руку Баглаева. Сказал:

— Да, сейчас вот чуть не вывалился на вашем городском мосту.

Баглаев засмеялся и показал свои попорченные зубы.

— Ну что, каков мостик?

— Хорош, нечего сказать!

— Провалится, брат, провалится. Весной только дочинили, да ледоход опять снесет.

— Неужели?

— Уж в этом я тебе ручаюсь. На живую нитку заштопали. Уж теперь не устоит, — совсем будет капут-кранкен.

— Эх ты, городская голова! Тебе-то какая радость?

Юшка захихикал и принялся звать Логина к себе на вечер. Логин отказался.

Извозчик проехал по мосту шагом, как установлено, и повез Логина по мучительно-громадным булыжникам улиц. Дрожки гремели и сотрясали Логина. Он мрачно смотрел по сторонам.

Дома, с высоко поднятыми, под самую кровлю, окнами, имели глупый вид, — бессмысленные хари, у которых волосы начинают расти почти сразу от бровей. Грязные лавчонки, шумные кабаки, глупые вывески, — «шапочных дел ремесленник», прочел на одной из них Логин.

Дикие мысли вспыхивали, отрывочные, мучительные. Нелепою казалась жизнь. Странно было думать, что это он переживает зачем-то все это. Томила тоска воспоминаний.

«Почему на мою долю эта смута и этот сумбур? И почему я? Какое блаженство было бы по воле покинуть постылую оболочку и переселиться, — ну, хоть вот в этого оборванного и чумазого мальчишку или вот в этого толстого купца, угрюмо-задумчивого. Зачем эта скупость одиночной жизни?»

Внезапный шум и гам привлекли внимание Логина. Проезжал мимо трактира Обряднина. Это место было излюблено нашими мещанами. Теперь там разгорелась драка. Вдруг распахнулись с треском и звоном выходные двери трактира. Пьяная ватага вывалилась оттуда и свире-

по горланила. Растрепанный мужик с багровым лицом и налитыми кровью глазами бросился за дрожками. Извозчик отмахнул его кнутом. Пьяница зарычал от боли, но трусливо отстал.

Логин быстро удалялся от толпы, которая гудела сзади него.

## Глава одиннадцатая

Утро веселилось и радовалось. Шестов сидел у окна. В нем сменялись смутные, неопределенные настроения. День выдался свободный — занятий в училище не было. Он то брал в руки, то опять бросал на стул рядом с собою книгу, — не читалось. Рассеянно посматривал на немощеную улицу, где торчали серые заборы, бродили куры, росла буро-зеленая трава и жались к заборам желтые зонтики чистотела. «Задавал» себе думать о проекте Логина. Но невольно мысли направлялись в другую сторону.

Своего арестованного теперь товарища он очень уважал за «ум», за презрительные отзывы обо всех и за то, что Молин был старше его лет на пять. Теперь Шестову жаль было, что Молин «взят под стражу». Но он с неприязненным чувством вспоминал, как бесился Молин, когда увидел, что дело плохо. В комнате, которую он занимал, со стен висели лохмотья порванных и запятнанных обой, валялись поломанные гнутые стулья; это были следы буйства: накануне ареста Молин вернулся поздно ночью откуда-то, где его предупредили о предстоящем, и долго метался по комнате, энергично ругал кого-то, швырял с грохотом стулья и кидал в стены что ни попало. Шестов сказал ему:

— Алексей Иванович, ведь уж поздно, тетушка спит.

— О, черт вас возьми с вашей тетушкой! — закричал Молин и сильным ударом об пол раздробил легкий буковый стул.

Шестов скромно скрылся в свою комнату и уж и больше не препятствовал порывам шумного гнева. Это бешенство даже подняло Молина в глазах наивного юноши, — «значит, невиновен, если так негодует». А все ж ему было досадно, — «стулья-то зачем ломать?»

Вспомнил, что Молин был очень невыгодный квартирант: слишком много на него было расходов, а платил он мало, так что в последнее время накопился долг в лавках, а Молин еще не каждый день был доволен пищею. Его чрезмерная разборчивость выводила из себя Александру Гавриловну, тетку Шестова, и она говаривала:

— Не в коня корм.

Шестов упрекал себя за эти мелочные мысли и старался гнать их.

Так привык уважать ум и честность Молина, что считал себя обязанным и теперь верить ему, а Молин уверял, что он невиновен. Но как только пробовал Шестов взглянуть на дело беспристрастно, так немедленно и несомненно убеждался, что Молин сделал то, в чем его обвиняют. И не только сделал, — мало ли что случайно может сделать человек, — но и способен был сделать: такой уж у него был темперамент, и такие наклонности, и такие взгляды. Это убеждение мучило Шестова как измена дружбе.

А и друзьями-то не были, — пьянствовали только вместе, причем Молин не упускал случая выставить свое превосходство. Против этого Шестов и не спорил, но начинал догадываться, что это — плохая дружба. И с тех пор, как научился пить водку почти так же хорошо, как Молин, он начал замечать, что никакого превосходства нет. Уже слушал недоверчиво, когда Молин горделиво говорил:

— Меня здесь каким-то уездным Мефистофелем считают!

Но Шестов старался не давать воли слишком свободным мыслям о своем товарище: уж очень поразил и пленил его с самого начала, года два тому назад, Молин.

Если в таком сбивчивом настроении Шестов хватался за постороннюю идею, чтобы ею развлечься, то это была попытка отчаянная. Идея не могла прогнать прежних мыслей, хоть и велик был его восторг перед нею и перед ее автором.

Вдруг Шестов досадливо нахмурился: увидел на улице Галактиона Васильевича Крикунова, учителя-инспектора училища, в котором Шестов служил. Очевидно было, что Крикунов направляется сюда; он уж начал даже пальто расстегивать, когда приметил Шестова у окна.

Шестов считал Крикунова человеком злым и лицемерным, ненавидел его вкрадчивые манеры, ханжество, низкопоклонство перед значительными людьми, его взяточничество, несправедливое отношение к ученикам и мелочные прикарманивания казенных денег. В последнее время, по некоторым мелким, но несомненно верным признакам, Шестов стал догадываться, что и Крикунов его возненавидел. Причиною могли быть только разве неосторожные слова Шестова в «своей компании», то есть в кругу выпивавших с Молиным молодых людей. Но так как наиболее резкие из этих выражений были сказаны в разговоре с Молиным с глазу на глаз, да и в таком месте, где подслушать было некому, за городом, на шоссе, и так как Крикунов злился очень сильно, то Шестов подозревал, что все это передал Молин жене Крикунова и что, может быть, и свои собственные резкости взвалил заодно на Шестова. По своей повадке давать всем пренебрежительные клички, Молин иначе и не называл Крикунова в своем пьянствующем кружке, как сосулькою или леденчиком. Откровенно объясниться по этому поводу с Молиным Шестов не решался, отчасти по своей застенчивости, отчасти и потому, что боялся оскорбить Молина, если заговорит с ним о таких своих подозрениях.

Шестов с тяжелым сердцем вышел в переднюю встречать Крикунова.

— Здравствуйте, здравствуйте, с добрым утречком, — заговорил Крикунов, — вот и я к вам, Егор Платонович, рады не рады, — принимайте.

Носовые звуки его жидкого тенорка казались Шестову гнусными. Он покраснел, когда пожимал руку Крикунова, и неловко ответил:

— Очень рад, здравствуйте.

— Матушка, Александра Гавриловна! сколько лет сколько зим не видались!

Александра Гавриловна, худощавая и бодрая старуха высокого роста, лет пятидесяти с лишком, неприязненно оглядела сверху вниз маленькую, тощую и сутуловатую фигурку гостя и сказала:

— Редко у нас бываете.

— Некогда, голубушка, нисколиньки времечка нет, — отвечал Крикунов и придал своему лицу с острыми глазенками озабоченное выражение. — Вот забежал по делу, на минуточку. Я еще вчера хотел поговорить с вами, Егор Платонович, после обеденки, да вы, кажется, у обедни вчера не были?

Шестов вошел за Крикуновым в гостиную, Александра Гавриловна не пошла за ними. Крикунов подобрал фалды аккуратно сшитого сюртучка, уселся в кресло, медленно вынул из кармана серебряную табакерку, с видимым удовольствием повертел ее, похлопал по крышке, открыл ее и с наслаждением втянул понюшку. Приучился нюхать, чтоб отстать от курения: дешевле. Звучно и сладко чихнул. Серые, бойкие глазки шмыгали по углам большой, пустовато обставленной комнаты. Заговорил протяжно:

— Вот уж я вам похвастаюсь, — подарочек получил от бывшего ученика. Володя Дубицкий прислал, я его в корпус готовил: отлично сдал все экзамены, отец очень мне был благодарен. Да-с, Егор Платоныч, мы хоть и лыком шиты, а тоже...

— Хорошенькая табакерка, — сказал Шестов.

— То ведь мне дорого, что сам вспомнил; отец говорит, что никовушко-то ему не советывал.

Крикунов показал Шестову выгравированную на нижней стороне серебряной крышки надпись и прочел ее вслух, раздельно и с чувством:

— Многоуважаемому Галактиону Васильевичу от благодарного ученика Володи Дубицкого.

— Молодец Володя! — сказал Шестов.

— Да, вспомнил старика, утешил.

Крикунов не был стар, ему было лет сорок, стариком он назвал себя, очевидно, для большей чувствительности.

— И вот, — продолжал он, — хоть вам, молодым людям, это и смешно, хоть вы и улыбаетесь...

— Помилуйте, Галактион Васильевич, вовсе не смешно, — совсем даже напротив, то есть я хочу сказать, что вполне сочувствую, что это очень трогательно.

— Да, утешил, утешил. И карточку мне свою прислал.

— Тоже с надписью?

— Да-с, с надписью, — раздражительно сказал Крикунов.

Маленькие глазки его засверкали. Но сладость воспоминаний утешила, — повторил вкусно, с кошачьею ухваткою:

— С надписью! Сам Сергей Иваныч принес вчера вечером. Пришел ко мне, так, запросто. Посидели мы с ним, потолковали кое о чем. Вдруг подает мне. Очень меня тронуло. Грешный человек, чуть я не заплакал. Ведь что дорого? Что сам вспомнил, самушко вспомнил, мальчик милый!

Шестов натянуто улыбался.

— Уж такой, говорю, ваше превосходительство, вы мне праздник сделали, такой праздник! Теперь, говорю, уж я никогдашеньки с этой табакерочкой не расстанусь, всегда с собой буду носить, когда пойду куда-нибудь. Дома-то из старой берестяной тавлиночки понюхаю, а пойду куда, серебряную захвачу, пусть видят добрые люди. Похвастаюсь всем, говорю, ваше превосходительство: вот, мол, как мы нынче. Умирать стану, говорю, с собою в гроб прикажу положить эту табакерочку, ваше превосходительство.

Крикунов с умилением понюхал табачку, вздохнул и поднял к потолку плутоватые глаза.

— Вместе с записочкой? — спросил Шестов.

Крикунов мгновенно окрысился.

— С какой записочкой?

— Да от Калокшина.

— Да-с, и ту записочку, и эту табакерку, вот как!

Записка, о которой напоминал Шестов, имела вот какое происхождение: прошлою зимою приезжали в город для ревизии учебных заведений два чиновника: помощник попечителя учебного округа и при нем, чтобы вникать в подробности, окружной инспектор. Первый из них держал себя величественно, удостаивал более или менее распространенных обращений только лиц заслуженных, младших же служащих ошеломлял лаконизмом вопросов, внушительностью замечаний и молниями взглядов. Младший из ревизоров, более доступный, дол-

жен был однажды вечером передать Крикунову некоторое внезапное приказание помощника попечителя. Чтобы не призывать к себе Крикунова лично, — некогда было: предстояла интересная партия винта, — окружной инспектор написал Крикунову коротенькую записку на лоскутке бумаги, чуть ли не оберточной. Эту записку Крикунов принял с волнением, как знак высокой милости: собственноручная записка, и в ней Крикунов назван по имени и отчеству! Положим, ревизор перепутал и назвал Галактиона Васильевича Василием Галактионовичем, но это, конечно, произошло по множеству забот. Что всего умилительнее, записка начиналась словом «уважаемый!». Растроганный до глубины души, показал Крикунов записку всем сослуживцам и объявил, что умирая прикажет положить ее себе в гроб; потом долго ходил по всем знакомым, показывал записку и повторял то же завещание, потом записку спрятал и рассказывал уже повторительно. Наконец дошли до него грубоватые насмешки Молина над его гробом, который обратится в корзину для сорных бумаг, так как служебная карьера его еще не кончена, — а в эти бумажки бросят и обсосанный леденчик. Крикунов обиделся и перестал рассказывать о записке.

В последнее время Шестов заметил, что Крикунов считает его автором непристойного уподобления. Теперь Шестов спохватился, что дал Крикунову повод еще более убедиться в том.

«Ну к чему это я? Эх, всегда-то я так наглуплю!» — терзался Шестов.

— Да-с, Егор Платоныч, — брюзжал Крикунов, — ничего, что гроб на мусорную корзину будет похож, ничего. Дай Бог всякому в такую корзину лечь!

— Да уж, конечно, где ж всякому! — говорил Шестов и сам не знал, зачем это говорит: с языка сорвалось, — да и вам дай Бог еще не скоро в гроб ложиться.

— Эх, Егор Платоныч! — вздохнул Крикунов, — неприятности везде. Сколько раз уж просил, чтобы взяли от меня училище, сделали простым учителем. Да нет, начальство просит остаться, да и родители... Видно, еще нужен я. Ну, что ж делать, буду трудиться, пока Господь силы дает.

— Конечно, зачем уходить, коли вас так любят.

— Так-то, Егор Платоныч, голубчик вы мой. Вы еще молоды, а вы у меня спросите... Ну да засиделся я. Пора к домам пробираться. Я ведь по делу.

— Что ж вы торопитесь, посидели бы.

— Некогда. Завтрашняя мне почта — ох! Вы ведь за меня не сделаете? Так вот дело-то какое: был я у Алексея Степаныча.

Глазенки Крикунова опять зашныряли по углам комнаты. Сладкое и нетерпеливо-злое выражение мелькало в них, как в глазах кошки, когда она издали почует добычу. Шестов смотрел на него и сидел неподвижно.

— Так вот. Алексей Степаныч просит вас пожаловать к нему.

— Когда же? — тоскливо, срывающимся голосом спросил Шестов.

— Да уж вот сейчас же, если вам возможно.

— Он вам говорил зачем?

Крикунов забеспокоился, поерзал в кресле и встал.

— Наверно не знаю. А думаю, что по этому делу...

— О Молине?

— Да, по этому самому делу.

— Ну хорошо, я схожу.

— Ну вот и хорошо, вот и отлично. Уж вы, Егор Платоныч, послушайтесь меня, — не спорьте вы с ним.

— Как это? Я и не собираюсь спорить.

— Нет, видите ли, если он предложит вам сделать что-нибудь, понимаете, так уж вы не отказывайте.

— Что ж он мне предложит?

— Да это я так, больше по соображениям. Я ничего верного не знаю, — а только я вам же добра желаю, и вообще, чтоб все это получше как-нибудь обделать. Уж я вас прошу, уж пожалуйста, сделайте милость, Егорушка Платонович!

Крикунов поглаживал Шестова по плечу, чувствительно пожимал ему руки и глядел на него замаслившимися лукавыми глазами; для пущей ласковости он хотел было и отчество Шестова сказать в ласкательной форме, да только это у него не вышло. Шестову стало очень совестно и очень смешно.

Мотовилов и в городском училище состоял почетным попечителем. Шестов ему не понравился, из-за мелочей и сплетен.

Шестов надел новенький сюртучок, спрыснутый духами иланж-илан, по четвертаку за бутылочку, и отправился к Мотовилову с храбростью подпоручика, который первый раз идет на сражение и уверен, что его убьют, потому что он дурной сон видел. По дороге старался думать о предметах посторонних и преимущественно приятных.

Идти было недалеко, — в нашем городе и нет больших расстояний. Через десять минут Шестов стоял у дома Мотовилова. Это был деревянный двухэтажный дом, широкий, некрасивый; цветные стекла на крытом балконе; в первом этаже — магазин и кладовая, во втором — жилые покои.

Шестов сообразил, что приличнее пройти дальше, как будто бы гуляет, и уж только от следующего угла повернуть обратно и зайти. Так и сделал. Но не дошел еще до намеченного угла, как вдруг решил, что достаточно показал свою независимость, — и стремительно повернул назад. Шага за три до крыльца подумал, что не лучше ли будет не идти. Ведь не ему нужно, а его хотят видеть, а ведь ему-то что ж за дело? Однако он остановился у крыльца. А раз остановился, то как не зайти? Еще, может быть, кто-нибудь видел, как он стоит у крыльца. Не войти, подумают, побоялся. Внезапно покраснел от этой мысли, взбежал на ступеньки крыльца, дернул медную ручку звонка и поспешно скрылся от предполагаемых наблюдателей за незапертой нижнею дверью.

В первой комнате, куда вошел он из прихожей вслед за отворившею двери горничною, попалась ему навстречу старшая дочь хозяина, Анна Алексеевна, молоденькая и миловидная девушка, предмет его тайных мечтаний. Он никогда не пользовался ее вниманием: застенчивый с барышнями, Неты он даже побаивался, считал ее насмешливою, хотя она была только смешлива. Но такой суровости, как сегодня, раньше никогда не бывало: Нета едва глянула на него, едва кивнула головою на его почтительный, неловкий поклон, презрительно отвернулась и молча прошла мимо. Горничная насмешливо улыбалась. Шестов упал духом и тихонько побрел в одну из гостиных, где

горничная предложила ему подождать барина. Ждать пришлось минут двадцать, и это время показалось очень длинным.

Солнце стояло еще не высоко. В гостиной, небольшой, в два окна, с цветами у окон и по углам, с темною мебелью, было светло и грустно. Сквозь закрытые двери из внутренних комнат не слышно было движения и голосов. Шестов несколько раз порывался уйти, несколько раз подходил к дверям — и оставался. Наконец совсем уже собрался уходить и пошел из комнат. Но через две или три комнаты встретил Мотовилова.

— А, это вы, — сказал Мотовилов, на ходу подал руку и пошел впереди.

Мотовилов высок и тучен. Привычка на ходу слегка раскачиваться. Небольшая голова, — низкий покатый лоб, — седеющие, кудрявые, густые волосы; борода клином, полуседая. Затылок широкий, скулы хорошо обозначены. В разговоре слегка наклоняется одним ухом к собеседнику, — глуховат.

Указал Шестову кресло у преддиванного стола и сам сел на кресле по другую сторону. Пеструю скатерть озаряли косые лучи солнца; на ней стояла глиняная красная пепельница в виде рака и невысокая тяжелая лампа. Мотовилов постукивал пухлыми пальцами по скатерти. Шестов молчал и жался.

— Я хотел с вами поговорить о деле Алексея Иваныча, — начал Мотовилов, — вы вместе жили, вам это лучше известно. Вы как думаете, виновен он или нет?

— Я не знаю, — нерешительно отвечал Шестов. — Он сам говорит, что невиновен.

Мотовилов строго посмотрел на Шестова и заговорил с растяжкою:

— Так-с. Признаться, мы все больше расположены верить Алексею Иванычу, чем этой девице. Алексей Иваныч, как говорится, ни мухам ворог. Но очень нехорошо, что ваша тетушка позволила себе дать такое показание. Очень жаль это.

— Да, но я-то при чем же? — сказал Шестов и весь зарделся.

— Мне кажется, — внушительно сказал Мотовилов, — что вы как товарищ должны были позаботиться о том, чтобы не вредить Алексею Иванычу. Для вас это особенно важно ввиду неблаговид-

ных слухов, которые ходят в городе, о том, что вы принимали участие в возникновении этого дела.

— Вздорные слухи!

— Тем лучше. Но не скрою от вас, что эти слухи держатся упорно. Конечно, показание вашей тетушки уже дано, но его можно изменить.

— Что ж, следователь может еще допрос сделать, — смущенно говорил Шестов.

— Но может и не сделать. Я вам советую убедить вашу тетушку, чтоб она сама явилась к следователю и заявила ему, что ее первое показание, так сказать, не точно, что она не слышала, там, этой двери, ну и так далее, вообще, чтоб видно было, что нельзя сказать, входил он в кухню или нет.

— Я, Алексей Степаныч, говорил со своей тетушкой об этом деле, — сказал Шестов дрожащим голосом.

— Так-с, ну и что же? — строго спросил Мотовилов.

— Она, конечно, не согласится на это. Все именно так и было, как она показывала.

— Ну, вы должны убедить ее, наконец, даже заставить.

— Как заставить?

— Да, именно заставить. Вы содержите ее и ее сына на свой счет, ее сын освобожден от платы в нашей гимназии, — и это надо очень ценить, — она должна вас послушаться.

В лучах солнца глиняный рак на столе краснел, как Шестов, и стыдливо прятался под его вздрагивающими пальцами.

— Выходит, как будто я должен припугнуть ее, что прогоню ее от себя, если она не послушается?

— Да, в крайнем случае намекнуть, дать понять, даже прямо объявить. Это для вас самих очень важно, вся эта грязная история может отразиться даже на вашей службе.

Мотовилов придал голосу и лицу внушительное выражение, что любил делать.

— Нет, Алексей Степаныч, я не могу так поступить.

— Напрасно. Потом сами пожалеете. Кто заварил кашу, тому и расхлебывать.

— Это, по-моему, даже нечестно, — давать ложные показания.

Шестов встал. Дрожал от негодования, искреннего и наивного.

— Нет, вы меня не поняли, — с достоинством сказал Мотовилов, — я вам недолжного не могу посоветовать, — посмотрите, у меня борода сивая. Я вас просил только, во имя чести и правды, повлиять на вашу тетушку, чтобы она вместо неверного показания дала верное.

— Вот как! — воскликнул Шестов.

— Да-с, вот как. У вашей тетушки свои виды, а по нашему общему мнению, тут только один шантаж, и это обнаружится, могу вас уверить. А если ваш товарищ, к нашему общему сожалению, и пострадает из-за вашего коварства, то вы, поверьте мне, ничего не выиграете по службе.

— Зачем вы мне грозите службой?

— Не грожу, а предостерегаю.

— Ну хорошо, нам с вами больше не о чем говорить, — с внезапною решительностью сказал Шестов, неловко поклонился и бросился вон.

## Глава двенадцатая

Вечерело. Солнце близилось к закату. Усталое небо разнежилось, смягчилось и прикрывало свою грозно зияющую пустыню тканью ласковых оттенков. Но обманчива была эта ласковость: легкие облака, сквозные, как паутина, тлели и вспыхивали, как тонкая пряжа.

По узким дорожкам вала кружилась, все прибывая, пестрая и болтливая толпа. Босые крестьянские ребятишки суетливо продавали ландыши. Внизу, перед острогом, уже не толпились: любопытство толпы притупилось.

В беседке сидел Логин, один. Голова болела, томила грусть. Мысли проносились отрывочные, несвязные. Досадно мережили в глазах проходившие мимо. Наконец увидел недалеко от себя светло-желтую соломенную шляпу с белыми и желтыми перьями. Эту шляпу он видел недавно на Анне. Встал и пошел в ту сторону; казалось, что по-

вернул туда случайно, — и присоединился к обществу, где находилась Анна.

Тут были, — он заметил остальных, кроме Анны, только когда здоровался с ними: Нета Мотовилова, нарядная и веселая; — около нее увивался молодой человек деликатного сложения, одетый старательно и узко, причесанный волосок к волоску, напомаженный, надушенный, с коротко подстриженною черною бородкою, с предупредительною улыбкою и маслеными глазками, Иван Константинович Бинншток; он служит в суде, занимается приискиванием невесты и тратит все, что остается от жалованья после уплаты за квартиру, на одежду, духи и вообще на поддержание приличного вида: на пищу издерживает мало, так как предпочитает каждый день быть в гостях; — с Анною поручик Гомзин, человек из тех, что пороху не выдумают, с рябым лицом темно-бурого цвета и белыми зубами, которыми он, по-видимому, гордится, потому что часто испускает звуки, похожие на ржанье, и старательно показывает свои зубы; — дальше Мотовилов в легкой серенькой крылатке и с тяжелою тростью в руке — и с ним под руку другая дочь, пятнадцатилетняя Ната. Так изменено, для благозвучия и краткости, имя Анастасия.

Ната еще девочка нескладная и неловкая. Еще носит короткие платья, но старается держать себя степенно и стыдится тех угловатых, почти мальчишеских движений, которые выдают порою ее возраст. Уже ей не нравится, если на нее смотрят как на девочку, но еще она краснеет, как вишня, когда ее называют Анастасиею Алексеевною. Теперь она сердито поглядывает на Бинштока и на сестру; ее бледное лицо часто покрывается румянцем досады. Ее мордовский костюм вдруг перестал ей нравиться, — она думает, что он слишком пестрый.

Биншток иногда занимался и Натою, — он приберегал ее «на всякий случай», «в запас» и говорил приятелям:

— Погодите, она будет пикантненькая.

Бывало, он обижался, когда Молин уверял, что за него отдадут разве только «чахоточную» Нату, да и то потому только, что она «глухая». Молин любил грубовато подразнить своих собутыльников. На

этот раз он был не совсем прав: Ната не была глухая, не была и в чахотке, — но случались дни, когда у нее шла кровь из горла или из носа, и она начинала плохо слышать.

Вместе со всеми Логин вернулся в беседку. Расселись по скамейкам. Логину казалось, что всем скучно и что все притворяются, что им хорошо.

Бинншток вполголоса рассказывал что-то Нете, должно быть, смешное: он улыбался очень убедительно и даже иногда похихикивал и пофыркивал. Нета смеялась и, когда на нее не глядели, подносила руки к щекам: Логину удалось подметить, что она пощипывает щеки, чтоб не быть бледною. На ней и шляпа с широкими полями на розовой подкладке, чтобы лицо было в розовой тени.

Гомзин развлекал Анну рассказами на общеармейский лад. Он повернулся к ней всем корпусом с необычайною любезностью. Прекрасные гарнизонные зубы его отлично блестели.

Мотовилов опирался сложенными ладонями на серебряный набалдашник трости, которую он поставил между раздвинутыми ногами, и медлительно рассказывал Логину случаи, которые должны были доказать, что он — всеми уважаемый местный деятель и что его труды уж так полезны обществу, что и сказать нельзя. Логин в соответствующих местах делал приличные случаю замечания, почти машинально. Он спрашивал себя: неужели Анне интересны россказни Гомзина? Она разговаривает с ним так, как будто это доставляет ей удовольствие.

«Гарнизонный воин, — думал Логин, — просто глуп и очень доволен собою. Он воображает, что его мундир и его любезность неотразимо-очаровательны. Ей следовало бы дать ему понять, что он — фофан, да и то резервный».

Ему было досадно. Аннино платье из легкой ткани блеклого зеленовато-желтого цвета, с поясом светлой кожи, не нравилось ему. Белые отвороты корсажа казались ему слишком большими, перья на шляпе слишком желтыми и широкими и бант палевых лент на молочно-белой ручке красного легкого зонтика слишком пышным, в несоответствии с тонкими ремнями ее сандалий, надетых на голые ноги.

Мотовилов догадывался, что Логин слушает недостаточно внимательно. Это Мотовилов относил к легкомыслию и вольнодумству Логина и удваивал обычную внушительность интонаций и лица.

— Василий Маркович, — сказала Нета, когда Мотовилов приостановился в своих рассказах, — я слышала, что вы устраиваете здесь общество, благотворительное, — правда это?

— А от кого, позвольте узнать, вы это слышали?

— Вот Иван Константиныч говорит.

— Да-с, — с любезнейшею улыбкою подтвердил Биншток, — сейчас у меня был Шестов и просвещал меня на этот счет.

— Это ужасно, ужасно хорошо, благотворительное общество! — залепетала Нета. — У нас так много бедных, а мы будем им помогать, — восхитительно!

Взмахивала красивыми ручками. Биншток глядел на нее с восхищением. Логин начал было:

— Не то чтобы благотворительное...

— Да, да, я все прекрасно поняла, — перебила Нета, — им не даром будут помогать, а чтоб они работали. Они могут плести благотворительные корзинки.

— Или собирать благотворительные грибы, — прибавила Анна, улыбаясь.

— Да, да, грибы или тоже ягоды можно.

Мотовилов постучал золотым перстнем по набалдашнику трости и внушительно заговорил:

— Благотворительность, конечно, святое дело. Все мы обязаны помогать неимущему, — по мере средств. Истинные христиане так и делают, я уверен в этом. Кто решится отказать в куске хлеба человеку честному, но по несчастию или по слабости обедневшему и протягивающему руку со слезами на глазах? Надо иметь слишком жестокое сердце, чтобы думать только о себе. Но самое лучшее — благотворить так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Общественная же благотворительность, — дело очень трудное и даже, позволю себе так выразиться, деликатное, — требует, во-первых, большой опытности, во-вторых, знания местных условий, вообще, очень многого.

— Совершенно верно изволили сказать, — угодливо подтвердил Гомзин и повернул к Мотовилову свои восхитительно-оскаленные зубы и почтительно склоненный стан, — и опытность, и знание местных условий, и, главным образом, влиятельное положение в обществе.

Мотовилов важно наклонил голову.

— Да, именно, влияние на общество. Именно это я и хотел сказать.

— Влияние на общество, — подхватил Гомзин и взвизгнул от подобострастия.

— Вот возьмем, например, нашу общедоступную столовую, — продолжал Мотовилов, — мы ее устроили на практических началах, и она оказалась настоящим благодеянием.

Логин знал эту столовую, которую устроили при городской богадельне скучающие дамы нашего города и в которой ежедневно кормили десятка полтора нищенок по протекции тех же дам. Он сказал, улыбаясь:

— Тут недоразумение маленькое. Я и не мечтал посягать на благотворительность и на другие добродетели: где уж мне, конечно! — человек я грешный, да мне и не по средствам. Дело проще.

Принялся объяснять замысел. Мотовилов слушал со строгим вниманием. Говорил Логин вяло и кратко, словно нехотя. Неприятно было распространяться о своих планах перед Мотовиловым.

Анна внимательно смотрела на Логина. Ее брови слегка сдвинулись, словно она старалась понять какую-то свою думу. Нета была разочарована и досадливо покусывала тонкие губы. Упрекнула Бинштока:

— Что ж вы мне вовсе не так рассказали?

— Я и сам сначала так понял. Да признаться, я не очень внимательно слушал Шестова: работал днем, голова разболелась, хотелось погулять, а тут он пришел, — скандал!

Анна обняла Нету и со смехом сказала:

— Ах ты, благотворительница! Вот подожди, мы зимой опять устроим живые картины в пользу бедных, а пока подежурь в неделю разок в благотворительной столовой, — старушки тебе ручки целуют, королевишной тебя называют.

Логину было досадно, что Анна забавлялась и тем, как понял Биншток слова Шестова, и тем, как отнеслись к этому Нета и Мотовилов. Он чувствовал в ее настроении еще что-то, что было вызвано вялостью его слов: это выдавало тихое постукивание ее сандалии по полу беседки.

— Не берусь судить об удобоисполнимости вашего проекта, — сказал Мотовилов с удвоенною внушительностью, — конечно, в теории все это хорошо, но на практике — другое дело. Осмелюсь только заметить, что вы рискуете встретиться вот с какою неприятностью: чем вы гарантированы от вторжения в ваше общество растлевающего элемента, лентяев и тунеядцев, которые только о том и думают, чтобы поменьше работать и побольше получать? Такие трутни, если и будут работать, так плохо.

— Если бы меня, например, — беззаботно заметил Биништок, — кормили и одевали, и вообще содержали так, без денег, за здорово живешь, разве я стал бы работать? Скажите, пожалуйста, с какой стати?

— А вы обо всех по себе не судите, — стремительно вмешалась в разговор Ната.

Это вышло неожиданно и резко. Ната густо покраснела, когда все на нее посмотрели. Все засмеялись, Логин сдержанно улыбнулся. Анна ласково глядела на Нату и думала: «Бедная птичка, у тебя не будет крыльев».

— Вы, конечно, правы, Ната, — сказал Логин, — городские жители не должны об этом судить по себе: мы привыкли к рассеянной жизни и превосходно обходимся без работы. А рабочему человеку без дела — смерть.

— Нет, — возразил Мотовилов, — без дела он, так в кабак пойдет последние гроши пропивать.

Анна спокойно взглянула на него. Ее губы презрительно дрогнули. Перевела ясные глаза на Логина, — и вдруг не захотелось ему спорить с Мотовиловым. Он сообразил, что и невыгодно иметь Мотовилова против себя в замышляемом деле; проныра, — забежит, повредит. Сказал:

— Но я, впрочем, согласен с вашим мнением, Алексей Степаныч. Это, конечно, следует предвидеть.

— Да-с, непременно, — самодовольно заговорил Мотовилов. — Дело надо держать в руках. Без хозяина нельзя. Мы, русские, не можем жить без руководства. И, — вы меня извините, — я вам позволю еще посоветовать как человек опытный, поживший на свете не мало — если, конечно, вам угодно будет выслушать.

— С глубочайшей признательностью выслушаю ваш совет, — сказал Логин с любезною улыбкою.

Но чувствовал — накипает досада.

— Вы, конечно, помните изречение баснописца: «с разбором выбирай друзей»? — спросил Мотовилов с выражением глубокой мудрости на хитром лице.

Логин заметил, что при этом предисловии к обещанному совету все постарались придать своим лицам серьезное и понимающее выражение. Одна только Анна улыбнулась насмешливо, а впрочем, может быть, так только показалось: через полминуты ее лицо уже было спокойно; ее руки неподвижно лежали на коленях.

Гомзин показал зубы Логину и с глубокомысленным видом сказал:

— Золотое правило. Крылов весьма остроумно сочинял свои басни.

— Свои, а не чужие? — задорно крикнула расходившаяся Ната.

— Ната! — строго, вполголоса, остановил ее отец.

Ната присмирела и сверкнула глазами на Гомзина. Мотовилов продолжал:

— Так вот я и скажу, что следовало бы вам осторожнее выбирать сотрудников. Нечего греха таить, не все способны быть хорошими товарищами. С иным не трудно и впросак попасть, поверьте моей опытности. Вы не думайте, что я говорю что-нибудь такое, что бы я не мог повторить при ком угодно. Да-с. Я — человек прямой. Смею думать, что недаром пользуюсь некоторым уважением. Личностей касаться я не буду, но считаю своим долгом предостеречь вас.

Логин нетерпеливо дергал черную тесьму пенсне. Неприязненное чувство к Мотовилову разгоралось, и внушительно-важная фигура старого лицемера становилась несносною. Сказал решительно:

— Шестов не способен ни на какое коварство, — он молод, наивен и честен.

— Не только те хороши, кто молоды, — обидчиво заговорил Мотовилов, — но, как я уже имел честь вам объяснить, личностей я не трогаю и не навязываю никому своего мнения, — не смею: вы, может быть, изволите обладать большим знанием света и большим умом, — вам и книги в руки; а я говорю, как по моему, может быть, несовершенному разуму выходит, — и я говорю вообще.

Он раздраженно постукивал в такт словам тростью.

— А, вообще... Я думал... Впрочем, благодарен вам за ваши советы, — сухо сказал Логин.

«На сегодня будет!» — решил он, раскланялся и отправился домой.

Солнце зашло. Запад пылал, как лицо запыхавшегося от беготни ребенка. Восточная половина неба была залита нежно-алыми, лиловыми и палевыми оттенками. Воздух был тих и звучен. Грустная задумчивость разлита была в его светлом колыхании. Прозрачно мерцал вечер, и незаметно набегали сумерки. Влажная и сонная тишина стояла над рекою. Гладкие струи плескались о сырой песок берега с легким шепотом, словно нежные детские губы целовали мамины руки. Вдали, на берегу, радостно зажглась красная звездочка костра; там виднелась рыбачья лодка.

Логин спускался с вала и чувствовал, что его осеняет мирное, благостное настроение.

«Отчего?» — подумал с удивлением, и — ответ — улыбка Анны затеплилась перед ним.

«Как мог я досадовать на ее улыбку? Вот теперь она меня греет, и я несу в себе завет мира».

В мягком, прозрачном воздухе раздавалась песня. На Воробьинке, у самой воды, сидела компания оборванцев. Это они пели, и пели прекрасно.

Логин направился через остров: так ближе. Когда он перешел мост, от артели певцов отделился высокий детина в отрепьях, в опорках на босую ногу и приблизился к Логину. Заговорил, обдал запахом сивухи. Старался придать хриплому голосу просительное выражение.

— Милостивый государь, осмелюсь вас обеспокоить. По лицу и по изяществу телодвижений ваших усматриваю, что вы — человек интеллигентный. Не откажите помочь людям тоже интеллигентным, людям из общества, но впавшим в несчастие и принужденным снискивать пропитание тяжелою землекопною работою.

Логин остановился и с удивлением рассматривал его. Сказал:

— Вы слишком красноречиво изъясняетесь.

— Проникаю в сокровенный смысл вашего замечания. Изволите намекать, что я того... заложил за галстух.

Детина щелкнул себя по тому месту, где некогда имел обыкновение носить галстух.

— С горя, милостивый государь, и от климата для предупреждения и пресечения простуды. Видел, как и эти птенцы, со мною путешествующие и воспевающие, видел лучшие дни. Но «миновали красные дни Аранжуеца!» Был некогда судебным следователем. Но сердечные огорчения и несправедливость начальства вторгнули меня в пучину несчастия, где и пребываю безвыездно. А эти, со мною странствующие, тоже из сильных мира сего: один — бывший полицейский надзиратель, другой — бывший столоначальник, а третий — бывший дворянин, лишенный столиц приблизительно безвинно. Благороднейшая, чиновная компания!

— Куда же вы путешествуете? — спросил Логин.

— Работаем совместно над улучшением путей сообщения, а инженеры здешние, с позволения сказать, жулики! Но, впрочем, благороднейшие люди!

— А от меня-то вам что же угодно?

— Испрашиваю некоторое количество денег заимообразно, — отнюдь не в виде милостыни.

— Хорошо, я дам вам что-нибудь заимообразно, как вы выражаетесь. А вы всегда в таком состоянии?

— Чистосердечно каюсь: почти беспрерывно! Как благородный человек! «Чужды нравственности узкой, не решаемся мы скрыть этот знак натуры русской, — да, веселье Руси пить!» Цитата из Некрасова!

— Однако, потрезвее бываете же вы когда-нибудь?

— По утрам-с, а также и во дни невольного поста.

— Так вот в такое время не придете ли вы когда-нибудь ко мне на квартиру?

— Изволите быть писателем? — спросил оборванец, хитро подмигивая.

— Нет, не писатель. Другой у меня расчет.

— Слушаю-с.

Логин объяснил, как найти его. Детина выслушал, видимо, постарался запомнить и потом сказал с широкою улыбкою:

— Да вы не извольте утруждать себя объяснениями, так найду. Почему, угодно знать? Вот почему: есть благодетели, что юродивых да кошек собирают, особенно благодетельницы есть такие сердобольные; ну а которые бы нашего брата желали увидеть, таких не более как по одному на миллиард граждан. Когда сами придем, так и то смотрят, как бы мы не уперли чего, вытурить торопятся, потому что мы народ, с позволения сказать, отпетый. Так я так смекаю, что вашу милость и без адреса найду.

Логин молча выслушал, нахмурился и пошел прочь.

— Ваше высокоблагородие! — окликнул оборванец, — а обещанное-то вами заимообразное вспомоществование?

Логин остановился, достал деньги и сказал:

— Все равно пропьете.

— Немедленно же, но за ваше драгоценное здоровье. Щедры, щедры и милостивы, награди вас Господь! Возвращу при первой же возможности. Серпеницын! — назвал он себя, приподнял рваный, серый от пыли и грязи картуз и шаркнул опорками. — Простите, что не ношу с собой вексельной бумаги!

Детина возвратился к товарищам, — и снова понеслись звуки песни. Задушевные были они и ласкали слух. Публика на валу слушала певцов. Эти звуки мучили и дразнили Логина.

«Поэтический замысел, артистическое исполнение... и певцы — пропойцы. Дико и прекрасно!»

Вернулся домой. Из открытых в соседнем флигеле окон доносились громкие голоса: то Валя бранилась с семинаристом, который ухаживал за нею.

— Ах ты домовладелец! — долетал на улицу Валин голос, — толкну ногой — и твой домишка развалится.

— А ты думаешь, Андозерский на тебе женится? — отвечал сердитый юношеский тенорок. — Что забавляется с тобой, так ты и рада.

— А ты дурак; педагогом себя называешь, а сам мальчишка, еще тебя в угол ставят.

— Меня никто не смеет в угол ставить. Ты — наставница, а тебя твои ученики поколотили.

— Врешь, он не нарочно снежком залепил!

## Глава тринадцатая

Логин сидел в своем кабинете. Темно-зеленые обои, раздвижные, сурового полотна с розовыми каймами занавески, на медных кольцах по медным прутьям, у трех узких окон на улицу, низкий потолок, оклеенный желтоватою бумагою, темно-зеленый лионский ковер — все делало комнату мрачною. Мимолетным был кроткий свет, которым осенила сегодня Аннина улыбка, и увял цвет, расцветший у ее белых ног.

На столике возле кушетки, на мельхиоровом подносе, стояла бутылка мадеры, белый хлеб, рокфор и маленький тонкий стакан. Логин выпил стоя стакан вина, налил другой стакан и перенес его к письменному столу. Несколько минут просидел в тяжелой задумчивости. Голова горела и кружилась. Чувствовал, что не скоро уснет. Тоскливая жажда тянула к вину.

В последнее время часто случалось проводить ночи вовсе без сна, — ночи томительных грез, отрывочных воспоминаний. В нем творилось что-то неладное. Сознательная жизнь мутилась, — не было прежнего цельного отношения к миру и людям. Достаточно стало малейшего повода, чтобы внезапно начинал думать и чувствовать по-иному, и тогда казался диким только что оставленный строй мысли и чувства.

В бессонные ночи пробегали картины прошлого. Иногда внимание останавливалось на одной из них, — ее очертания становились яркими, назойливо-выпуклыми.

Казалось странно отождествлять себя с мальчиком, на которого смотрел с горы опыта и усталости. Вспоминая, видел себя немного со стороны. Не то чтоб ясно наблюдал того другого, о котором думает, когда по взаимной неточности языка и мысли говорит: я был, я делал. Похоже было на то, когда высунешься из окна и стараешься заглянуть в соседние окна, или под карниз дома, где лепятся серые гнезда, или в окна других этажей; дом виден не совсем со стороны, но и чувствуешь, что не в самом доме находишься. Так и он видел приливы и отливы румянца на щеках, строгие, слегка волнистые линии лица, всю тонкую и хрупкую фигуру, всегда немного понурую, — видел это как что-то чужое, но не так ярко, как вспоминались предметы совершенно посторонние. Даже сильные душевные движения, пережитые когда-то, припоминались смутно. Зато иногда что-нибудь внешнее и мелкое, что связано с испытанным сильно чувством, выпукло вставало в памяти.

Были некоторые обстоятельства, которые казались совершенно утраченными для памяти. Чувствовалось, что многие звенья той цепи впечатлений, которые некогда стройными волнами перелились через порог сознания, теперь затерялись, упали в общую темную массу пережитого — и, сходные, соединились, как сливающиеся ручьи. Сознание, блуждающий огонек, мается по этой нестройной массе и своим мельканием делает то, что называют сознательною жизнью.

Казалось Логину, что не было единства в содержании души, не было целости, что распадение души началось давно и вот теперь близится к завершению. Были дни, когда мысли и чувства шли жизнерадостным путем, — все темное в жизни забывалось. Бывали и жестокие полосы жизни: невыносимая тоска сжимала сердце, и все могилы душевного кладбища высылали своих мертвецов, — тогда изглаживалась в душе память об ее другом, лучшем мире.

Но чаще огонь сознания горел на мосту, между двумя половинами души, и чувствовалось томление нерешительности. Устои моста шатались и трещали под напором волн жизни, и брезжущий огонь сознания озарял иногда их белопенные верхи и страшное шатание устоев. Иногда этот огонь освещал радостные и полные надежд мысли, но

сила жить принадлежала ветхому человеку, который делал дикие дела, метался, как бешеный зверь, перед удивленным сознанием и жаждал мук и самоистязания. Чем больше скоплялось в жизни угнетающего, тем бывало сильнее и дольше продолжалось торжество освобожденного низшего сознания.

«Не очевидно ли, — думал иногда Логин со странным злорадством, — что мое «я» — довольно жалкая претензия существа, текущего и обновляющегося, как вода реки в берегах, которые и сами неизменны только по внешности?»

Логин открыл один из ящиков стола и достал письмо, которое получил недавно. На это письмо еще не отвечал. Оно было от лучшего из приятелей, с которым беседовал почти откровенно. Перечитал теперь внимательно все четыре страницы письма. Потом отыскал почтовую бумагу, придвинул кресло поближе к столу и начал писать, — о своем замысле. Долго просидел за этим, то быстро водя пером по бумаге, то откидываясь на спинку кресла и задумываясь. Иногда брал стакан, пил понемногу.

Холодный воздух вливался с улицы в открытое окно. В городе было тихо. Издали доносились болтливые звуки реки у мельничной запруды — там звучно лепетала, и смеялась, и плакала беспокойная русалка, и зеленые над белым телом разметались косы.

Окончил письмо. Допил вино из стакана. Ощущение холодноватого стекла и вкус вина доставляли наслаждение, в котором на минуту весь сосредоточивался. Потом опять становилось тоскливо.

Прошелся несколько раз по комнате, перелил из бутылки в стакан остатки вина и опять сел к столу перечитывать письмо.

Прочтя то место, где говорится о завещании, на случай неудачи замысла, грустно улыбнулся. Думал: «Завещание самоубийцы — клочок бумаги с традиционною просьбою в смерти никого не винить. Очень это нужно, подумаешь! Люди привыкли любопытствовать, даже забавляться всяким происшествием, в том числе и самоубийством. Ищут причин, тщательно отмечают их — для статистики. А самоубийцы покорно подчиняются ненужному им порядку и оставляют объяснения смерти. Иной целое письмо сочинит — к другу, к невес-

те — с тайною целью порисоваться трагизмом кончины. Глупо! Впрочем, в таких случаях люди, должно быть, ужасно теряются и плохо соображают.

Если бы до меня дошла очередь убить себя, я постарался бы сделать это словно нечаянно: мало ли бывает несчастных случаев!

А всего бы лучше исчезнуть совсем незаметно, бесследно: потонуть в океане, отравиться в непосещаемой пещере. Нашли бы потом кости, череп и поместили бы этот хлам в археологическую коллекцию».

Неприятное ощущение тупой боли в виске повторялось все чаще. Откинулся на спинку стула. Побледневшее лицо казалось спокойным. Слышал тихий смех, который звенел за спиною. Смех Анны вспомнился. Сырой холод пробежал по телу. Оглянулся на открытое окно. Подумал: «Закрыть бы его».

Но лень было встать.

«Нет, лучше после, — решил он, — а то будет душно».

Выпил мадеры, опять принялся за письмо. Некоторые места напоминали ему почему-то Мотовилова, — и каждый раз ненависть и презрение к этому человеку вспыхивали в нем. Удивился окончанию письма. Подумал: «С чего это я вздумал уверять, что верую в свою идею? Ведь и так понятно, что без веры в нее я не стал бы думать об ее выполнении. Дурной признак! Или и в самом деле я живу слишком рано, еще в утренних сумерках, и только тени далекого будущего ложатся на меня?»

Когда запечатывал письмо, надписывал адрес, все продолжал слышать странный, несмолкающий смех. Тупая боль в голове расползалась все дальше. Казалось, что постороннее что-то стоит за спиною. Вдруг заметил, что страшно. С напряженною улыбкою преодолел жуткое чувство, обернулся назад.

«Это — река», — сообразил он, встал и затворил окно. В комнате стало тише, — за стеклом окон шум воды раздавался глуше и слабее.

Допил вино, — стало теплее и веселее. Зажег свечку, потушил лампу, собрался лечь спать. Со свечкою в руках подошел к постели.

Одеяло тяжелыми складками лежало на кушетке и закрывало подушку. На красном цвете резко выделялись тени складок. Странно расположилось оно на кушетке: посередине коробилось, с боков лежало плотнее. С нижней стороны кушетки, в ногах, образовалась продольная складка, — доходила до середины одеяла. На подушке оно тоже возвышалось и круглилось. Похоже было, как будто забрался кто-нибудь под одеяло и лежит там тихонько, не шевелясь. Логин стоял неподвижно перед постелью и подымал перед собою правую руку со свечкою, точно хотелось осветить что-то сверху, поудобнее. На побледневшем лице сумрачные глаза горели тягостным недоумением.

Тихий, назойливый смех шелестел за спиною. Мысли складывались медленно и трудно, как будто хотелось что-то припомнить или понять, и это усилие было мучительно. Но казалось, что начинает понимать.

Там, под одеялом, лежит кто-то, страшный и неподвижный. Холодом веет от него. Логин чувствует на лице и на теле этот холод. Это — холод трупа. Там, под одеялом, еще не началось тление. Но посинелые губы тяжелы, неподвижные глаза впалы.

Странное оцепенение сковывает Логина, и не может он приподнять одеяло. Красный свет свечки зыблется на красном одеяле. Белесоватый туман надвигается, наползает со всех сторон, — и только красное одеяло зияет темными складками. Туман вздрагивает и смеется беззвучно, но внятно. Лицо мертвеца мерещится Логину; это — его собственное лицо, страшно бледное, с тускло-свинцовыми тенями на впалых щеках, еще не тронутых тлением.

Мертвец, еще не погребенный и блуждающий по свету, оживленный на время солнечным сиянием, лег здесь и покоится сном без видений. И знает Логин, что это он сам лежит, неподвижный и мертвый.

«Нелепая мечта! Надо взять себя в руки!» — шепчут бледные губы Логина.

Рука тянется к одеялу. А туман разрастается, клубится уже над одеялом и смеется злобно и жалобно. Свеча колеблется в отяжелелой и затекшей руке. Логин чувствует, что томительно и страшно ле-

жать неподвижным, непогребенным трупом и ждать. Сквозь одеяло просвечивает багровый огонь. Тяжелые складки давят бессильное тело. Кто-то стоит над ним и всматривается дико горящими глазами в его покрытое красным одеялом тело. Чья-то рука ложится на его грудь, нащупывает ее сквозь одеяло, дрожит, — и грудь его ощущает быстрые и слабые толчки... Томительно и жутко ждать, когда не можешь пошевелиться.

Одеяло приподымается, — холодный воздух струится по лицу мертвеца, орошенному холодным потом. Страшное, нечеловеческое напряжение насквозь пронизывает его, — он подымается с подушек...

Страшным усилием воли смиряя расходившиеся нервы, Логин поставил свечку на круглый столик и прошелся по комнате из угла в угол. Туман, который застилал глаза, стал рассеиваться. Логин подошел к кушетке и быстро опустил руку на одеяло. Мягкая подушка под одеялом — и только... Подумал: «Однако, надо лечиться, — целый день голова болит нестерпимо».

Разделся и откинул одеяло: «Отчего впадина на подушке? Ах да, это я рукою... А точно голова лежала».

Потушил свечку и лег. Красный цвет одеяла погас. Было темно. Только окна мутно белели, — внимательно-неподвижные глаза чудовища подстерегали добычу. Вдали смеялась русалка.

Логину захотелось лечь так, как тогда лежал под одеялом «он». Мелкая дрожь пробежала по телу.

«Так-то будет теплее», — подумал он и закрыл лицо одеялом.

Лежал лицом кверху. Одеяло тяжело падало на грудь и на лицо. Опять представилось Логину, что он — холодный и неподвижный мертвец. Страшная тоска сжала сердце. Воздуха, света страстно захотелось ему... Откинуть одеяло... Но оцепенение сковало его, и неподвижно лежал он. Страх и тоска умерли. Лежал, холодный и спокойный, и глядел мертвыми, закрытыми глазами сквозь тяжелую ткань.

Спиною к нему, у письменного стола, сидел человек и отдавался грустным думам. И странно было Логину, и не понимал он, зачем

томится этот человек, когда его мечты и надежды, убитые до срока, холодеют здесь, в мертвом теле. Все решено и кончено, не о чем думать, — и тяжелым взором звал он к себе того другого; мертвец звал и ждал человека.

Мерещилось Логину, как стоял над ним этот человек и дикими глазами глядел на красное одеяло. И знал Логин, что это он сам стоит над своим трупом. И слышит он свои странные речи.

«Лежи, разрушайся скорее, не мешай мне жить. Я не боюсь того, что ты умер. Не смейся надо мною своею мертвою улыбкою, не говори мне, что это я умер. Я знаю это — и не боюсь. Я буду жить один, без тебя. Если бы ты не умер сам, я убил бы тебя. Я приберег для тебя (для себя, поправляешь ты, — пусть будет так, все равно) хорошую пулю, в алюминиевой оболочке. Освободи мне место, исчезни, дай мне жить.

Я хочу жить, и не жил, и не живу, потому что влачу тебя с собою. О, если бы ты знал, как тяжело влачить за собою свой тяжелый и ужасный труп! Ты холоден и спокоен. Ты страшно отрицаешь меня. Неотразимо твое молчание. Твоя мертвая улыбка говорит мне, что я — только иллюзия моего трупа, что я — как слабо мигающий огонек восковой свечи в желтых и неподвижных руках покойника.

Но это не может быть правдою, не должно быть правдою. Я — сам, постоянный и цельный, я — отдельно от тебя.

Я ненавижу тебя и хочу жить отдельно от тебя, по-новому. Зачем тебе быть всегда со мною? Ты не пользуешься жизнью. Ты уже отжил. Ты — мое отяжелелое прошлое.

Отчего не исчезаешь ты, как тает снег весною, как тают в полдень облака? Зачем ты вливаешь трупный яд ненавистного былого в божественный нектар несбыточных надежд?

Исчезни, мучитель, исчезни, пока я не раздробил твоего мертвого черепа!»

Лежал неподвижно. И жутко, и радостно было терзать обезумевшего от тоски человека. Тихий смех звенел в комнате и напоминал, что мучит он самого себя.

Мерещилось опять, что стоит он в темной комнате, над постелью, проклинает мертвеца, — и томительный ужас леденит его. Мрак душит цепкими объятиями, подымает и бросает в бездну. Голоса бездны глухо смеются. Он падает глубже и глубже... Сердце замирает. Смех затихает где-то вдали. Тишина, мрак, бездумье, — тяжелый и безгрезный сон.

Логин откинул одеяло. Побледневшее лицо плотно приникло к подушке. Дыхание быстрое и тихое. Ночь смотрит мутными глазами сквозь стекла окон на усталое лицо, на улыбку безнадежного недоумения, которая застыла на губах.

## Глава четырнадцатая

У Кульчицкой званый вечер. Было еще не поздно, когда пришел Логин, но уже почти все собрались. Виднелись нарядные платья дам и девиц; были знакомые и незнакомые Логину молодые и старые люди в сюртуках и фраках.

Еще в его душе не отзвучали тихие уличные шумы, грустные, как и заунывный шелест воды на камнях, за мельничною запрудою. Призраки серых домов в лучах заката умирали в дремлющей памяти, как обломки старого сна. Светлые обои комнат, в которых вечерний свет из окон печально перемешивался с мертвыми улыбками ламп, создавали близоруким глазам иллюзию томительно-неподвижного сновидения.

Переходил из комнаты в комнату, здоровался. Чувствовал, что каждое встречное лицо отражается определенным образом в настроении. Черты пошлости и тупости преобладали мучительно. Самое неприятное впечатление произвела семья Мотовилова: жена маленькая, толстенькая, вульгарные манеры, злые глаза, грубый голос, зеленое платье, пышные наплечники, — сестра, желтая, сухая, тоже в зеленом, — Нета, глуповато-кокетливый вид, розовое, открытое платье, — Ната, беспокойно-задорные улыбки, белое платьице, громадный тройной бант у пояса, — сын-гимназист, гнилые зубы,

зеленое лицо, слюнявая улыбка, впалая грудь, развязные любезности с барышнями помоложе.

Встречались и милые лица. Были Ермолины, отец и дочь. Логин почувствовал вдруг, что скука рассеялась от чьей-то улыбки. Осталось чувство мечтательное, тихое. Хотелось уединиться среди толпы, сесть в углу, прислушиваться к шуму голосов, отдаваться думам. С неохотою вошел в кабинет хозяина, где раздавался спор, толпилась курящая публика.

— А, святая душа на костылях! — закричал казначей Свежунов, толстый, красный и лысый мужчина.

— Мы все о Молине толкуем, — объяснил Палтусов Логину.

— Да-с, я готов с крыши кричать, что поступки следователя возмутительны: запереть невинного человека в тюрьму из личных расчетов! — говорил Мотовилов.

— Неужели только из личных расчетов? — осторожным тоном спросил инженер Саноцкий.

— Да-с, я утверждаю, что из-за личных столкновений и больше ни из-за чего. Прямо это говорю, я на правду — черт. И вы увидите, это обнаружится: правда всегда откроется, как бы ни старались втоптать ее в грязь. Мы все ручаемся за Молина, я предлагал какой угодно залог, — он продолжает держать его в тюрьме. Но это ужасно, — невинного человка третировать вместе со злодеями! И только по навету подкупленной волочаги!

— Всего лучше бы, — сказал исправник Вкусов, старик с бодрою осанкою и дряхлым лицом, — эту девицу по-старинному высечь хорошенько, енондер-шиш.

— Я надеюсь, — продолжал Мотовилов, — что нам удастся обратить внимание судебного начальства на это возмутительное дело и внимание учебного начальства на настоящих виновников гнусного шантажа.

— А не лучше ли подождать суда? — спросил Логин.

— На присяжных надеетесь? — насмешливо и грубо спросил казначей Свежунов. — Плоха надежда, батенька: наши мещанишки его засудят из злобы и дела слушать не станут как следует.

— Чем он их так озлобил? — улыбаясь, спросил Логин.

— Не он лично, — пробормотал смущенный казначей.

— Позвольте, — перебил Мотовилов, — что ж, вы считаете справедливым тюремное заключение невинного?

— Во всяком случае, — сказал Логин, — агитация в пользу арестанта бесполезна.

— Выходит, по-вашему, что мы занимаемся недобросовестной агитацией?

— Помилуйте, зачем же так! Я не говорю, — что ж, прекрасные намерения. Но одних добрых намерений, я думаю, мало. Впрочем, правда обнаружится, вы в этом уверены, чего же больше?

— Правда для нас и теперь ясна, — сказал отец Андрей, старый протоиерей, который имел уроки и в гимназии, и в городском училище, — потому нам и обидно за нашего сослуживца: напрасно терпит человек. Не чужой нам, да и всячески по человечеству жалко. Надо только дивиться тому поистине злодейскому расчету, который проделан из-за товарищеской зависти. Дело ясное, тут и сомнений быть не может.

— Поступок, недостойный дворянина, — сказал Малыганов, наставник учительской семинарии, который, слушая, то лукаво подмигивал Логину, то почтительно склонялся к Мотовилову.

— Нехороший человек ваш Шестов, — говорил отец Андрей Логину. — Помилуйте, он мою рясу однажды пальтом назвать вздумал. На что же это похоже, я вас спрошу?

— А слышали вы, — спросил Логина Палтусов, — как он назвал нашего почтенного Алексея Степаныча?

— Нет, не слышал.

— Это, изволите видеть, у нас в училище, говорит, почетная мебель.

— А своего почтенного начальника, — сказал Мотовилов, — уважаемого нами всеми Крикунова он изволил назвать сосулькой!

— Не без меткости, — сказал со смехом Палтусов.

— Конечно, — внушительно продолжал Мотовилов, — у Крикунова фигура жидковатая, но к чему глумиться над почтенными людьми? Непочтительность чрезмерная! на улице встречается с женой, с дочками, не всегда кланяться удостоит.

— Он близорук, — сказал Логин.

— Он атеист, — возразил отец Андрей сурово, — сам признался мне, и со всеми последствиями, то есть, стало быть, и в политическом отношении. И тетка его — бестия преехидная и чуть ли не староверка.

— Мове! * — сказал Вкусов. — Вся публика на него обижается. Вот Крикунов — так учитель. Такому не страшно сына отдать.

— А если ухо оборвет? — спросил Палтусов.

— Ну, кому как, — возразил исправник. — В их училище иначе нельзя, такие мальчишки, все анфан терибли **.

«Рабы и деспоты в одно время», — думал Логин.

Опять мстительное чувство подымалось в нем ярыми порывами и опять сосредоточивалось на Мотовилове.

— Что ни говорите, — заговорил вдруг Палтусов, — славный парень Молин: и выпить не дурак, да и относительно девочек малый не промах.

— Ну, уж это вы, Яков Андреевич, напрасно, — укоризненно сказал Мотовилов.

— А что же? Ах да... Ну да ведь я, господа, от мира не прочь.

— Однако, — сказал Логин, — ваше мнение, кажется, не сходится с тем, что решил мир.

— Глас народа — Божий глас, — оправдывался Палтусов, посмеиваясь. — Однако не выпить ли пока, стомаха ради? ***

В столовой был приготовлен столик с водками и закусками. Выпили и закусили. Исправник Вкусов увеселял публику «французским» диалектом:

— Дробызнем — ну! — шамкал он беззубым ртом, потом выпивал водку, закусывал и говорил: — Енондер-шиш! Это по-студенчески, так студенты в Петербурге говорят.

— А что это значит? — спрашивал с зычным хохотом отец Андрей.

---

* Скверно, дурно (от *фр* mauvais).

** Ужасные дети (от *фр* enfants terribles).

*** Здесь. для аппетита (от *фр.* estomac — желудок)

— Же не се па *, благочинный бесчинный, — отвечал исправник. — А ну-тка, же манжера се пти пуасончик **. Эге, се жоли, се тре жоли ***, — одобрял он съеденную сардинку.

А его жена сидела в гостиной, куда долетали раскаты хохота, и говорила:

— Уж я так и знаю, что это мой забавник всех развлекает. У нас вся семья ужасно веселая: и у меня темперамент сангвинический, и дочки мои — хохотушки! О, им на язычок не попадайся!

— В вас так много жизни, Александра Петровна, — томно говорила Зинаида Романовна, — что вам хоть сейчас опять на сцену.

— Нет, будет с меня, выслужила пенсию, и слава Богу.

— Выходной была, а туда же, — шепнула сестра Мотовилова, Юлия Степановна, на ухо своей невестке.

Та смотрела строго и надменно на бывшую актрису, и даже не на нее самое, а на тяжелую отделку ее красного платья; но это, впрочем, нисколько не смущало исправничихи.

— Вы какие роли играли? — с видом наивности спрашивала актриса Тарантина, красивая, слегка подкрашенная полудевица.

Наши барыни ласкали ее за талант, а в особенности за то, что она была из «хорошей семьи» и «получила воспитание».

Гомзин сидел против нее и готовил на ее голову любезные слова, а пока тихонько ляскал зубами. Его смуглое лицо наклонялось над молодцеватым, но сутуловатым станом, а глаза смотрели на актрису плотоядно, — издали казалось, что он облизывается, томясь восточною негою.

— Когда я была в барышнях, — рассказывала в другом углу гостиной молоденькая дама, — лицо вербного херувима, приподнятые брови, — поехали мы раз в маскарад...

— Со своим веником, — крикнул выскочивший из столовой казначей.

— Ах, что вы! — воскликнула дама, краснея.

---

* Я не знаю (от *фр.* je ne sais pas)

** Съем-ка я эту рыбку (*искаж. фр.* je mangerai ce petit poisson).

*** Это прелестно, это очень прелестно (от *фр.* c'est joli, c'est très joli).

Рядом с дамою, которая недавно была в барышнях, сидела Анна. Пышные плечи в широких воланах шелковой кисеи. Цвет платья как нежная кожица персика. Все оно легко золотилось, и золотистые отсветы ложились на смуглое лицо и шею. Крупные желтые тюльпаны, которыми с правой стороны была заткана юбка, казалось, падали из-под бархатного темно-красного кушака. Перчатки и веер цвета crême. Белые бальные легкие башмачки. Медленная улыбка алых губ. В широких глазах ожидание.

Звуки интимного разговора долетали до нее из укромного уголка.

— Давно мы с вами не видались, Михаил Иваныч, — притворно-сладким голосом говорила Юлия Петровна, дочь Вкусова от первой жены, девица с мужественною физиономиею, красным носом, маленькими черненькими усами, высокая, ширококостая, но сухощавая.

Ее собеседник — учитель Доворецкий, толстенький коротыш, лицо приказчика из модного магазина. Разговор ему не нравился; он досадливо краснел, пыхтел и оглядывался по сторонам, но Юлия Петровна преграждала путь огромными ногами и тяжелыми складками голубого платья.

— Да, это давно было, — сухо ответил он.

— Ведь мы с вами были почти как невеста и жених.

— Мало ли что!

— Почему бы не быть этому снова? Ведь вы уже делали мне предложение.

— Нет, я не делал.

— Не вы, так Ирина Авдеевна от вас, все равно.

— Нет, не все равно.

— Папаша вам даст, сколько вы просили.

— Я ничего не просил, я не алтынник.

— Он даже прибавит двести рублей.

Грубоватый голос Юлии Петровны звучал при этих словах почти музыкально. Доворецкий оставался непреклонным. Досадливо отвечал:

— Нет уж, Юлия Петровна, вы мне и не заикайтесь о деньгах. У вас есть жених: вы за Бинштоком ухаживаете, вы его и прельщайте вашими деньгами, а меня оставьте в покое.

— Что вы, Михаил Иваныч, что за жених Бинншток! Это вот вы за Машенькой Оглоблиной ухаживаете.

— Оглоблина мне не пара.

— А я?

— Нет, то было два года тому назад. И вы за это время изменились, да и я себе цену знаю. И вы меня оставьте, пожалуйста. Не на такого наскочили!

Доворецкий решительно встал. Лицо его было красно и злобно.

— Раскаетесь, да поздно будет, — зловещим голосом сказала Юлия Петровна, отодвигая ноги и подбирая платье.

— Шкура барабанная, — проворчал Доворецкий, отходя.

Логин вошел в гостиную. Улыбка Анны опять показалась ему не то досадною, не то милою. Захотелось пройти к Анне. Клавдия остановила. Повеяло запахом «Сердца Жаннеты». Спросила:

— Вы не сели играть в карты?

— Какой я игрок!

Стояли у дверей, одни. Клавдия нервно подергивала и оправляла драпировку корсажа, которая лежала поперечными складками и была прикреплена у левого плеча, под веткою чайных роз.

— Мы будем танцевать, а вы... Послушайте, — быстро шепнула, — вы меня презираете?

— За что? — так же тихо сказал он и прибавил вслух: — Я не танцую.

— Что ж вы будете делать? Скучать?.. Вы меня очень презираете? Вы считаете меня нимфоманкой?

— Буду смотреть... Полноте, с какой стати! Презирать — глупое занятие, на мой взгляд, — я этим давно не занимаюсь.

Вкусова вслушалась в его слова со своего места и вмешалась в разговор.

— Это танцы-то — глупое занятие? Эх вы, молодой человек!

— Какой я молодой человек! Мы с вами — старики.

— Благодарю за комплимент, только я на свой счет не принимаю.

— Василий Маркович мастер говорить такие любезности, что не обрадуешься, — с кислою улыбочкой сказала Марья Антоновна Мотовилова.

Кто-то заиграл на рояле кадриль. Произошло общее движение. Откуда-то вынырнули и засуетились кавалеры с развязными жестами. Два-три военных сюртука чрезвычайно ловко извивались рядом со своими дамами. Статские кавалеры потащили дам; двигали в стороны плечами, словно расталкивали толпу. Барышни и дамы, которые отправлялись танцевать, имели обрадованный вид.

Логин рассеянно смотрел на нелепые фигуры кадрили. Молодой человек, который дирижировал, кричал глухим голосом.

«Дышать как следует, каналья, не умеет, а туда же, кричит!» — думал Логин.

Кадриль кончилась. Логин пробрался к Анне, сел рядом с нею и заговорил:

— Утомляют меня эти добрые люди!

— Почему вы называете их добрыми? — спросила Анна, ласково улыбаясь ему.

— Спросить бы их, каждый о себе что думает? Все оказались бы добрыми и хорошими. А если б им сказать, что хороших людей по нынешним временам не так много, чтоб всякая трущоба кипела ими, — как бы озлились эти добрые люди!

— Может быть, каждый только себя считает хорошим?

— Хорошо, кабы так...

— Мало хорошего!

Анна засмеялась. Логин сказал, улыбаясь:

— Ведь тут что утешительно? что если все мои знакомые — хорошие люди, так в хорошие люди не трудно попасть, — я ведь знаю их, мерзавцев, — так рассуждает всякий и охотно наделяет каждого дипломом хорошего. А представить себе только, что хороших людей мало! Значит, это трудно! Ну я, положим, один хорош, остальные — подлецы. Но как же трудно удержаться в такой позиции! Потому их и злит всякая критика.

— Их только? А нас с вами? — оживленно спросила Анна.

— Что ж, было время; и я считал себя и многих моих друзей альтруистами, а за что? На поверку взять, так за то только, что мы на

высокие темы умели красно говорить. Теперь мне и самое это словечко долговязое, «альтруизм», нелепым кажется.

— Вы считаете себя эгоистом?

— Все — эгоисты. Люди только обманывают себя на свою же беду, когда уверяют, что возможна бескорыстная любовь.

— Вот уж это несправедливо так рассуждать: как только я перестал быть альтруистом, так и все должны быть эгоистами.

— Впрочем, я готов на уступку. Пусть будут и альтруисты, — не пропадать же слову. Но, право, это не больше как избыток питания.

— Чем же отличается добро от зла?

— А чем отличается тепло от холода или жара? Должно быть, всякое добро произошло от того, что нам кажется злом, при помощи какого-нибудь приспособления.

— Да это нравственная алхимия.

А рояль опять бренчал, по зале носились пара за парою. Гомзин подскочил к Анне с преувеличенною ловкостью. Анна улыбаясь положила руку на его плечо.

Логин рассеянно следил за танцующими. Щеки дам горели, глаза блестели, женские голые плечи были красивы, но кавалеры, на взгляд Логина, были неприличны: красные, потные, скуластые лица, черные клоки волос, которые мотались над плоскими и наморщенными лбами, и выражение любезности и усердия в вытаращенных глазах. Гомзин смотрел сверху, за охрово-желтую кружевную Аннину берту, туда, где она прикреплялась к корсажу темно-красным шу; Анна весело улыбалась. Все это казалось Логину глупым.

Анна вернулась и сейчас же ушла танцевать с молодым человеком в мешковато сидевшем фраке. Фамилии молодого человека Логин не знал, не знал и его общественного положения, но они считали себя знакомыми и при встречах разговаривали.

Логин хотел было уж уйти из этой пыльной залы, где музыка и свечи надоедливо веселились, — но Анна опять села рядом и сказала:

— Если б умели делать из свинца золото, чего стоило бы золото?.. Нет, благодарю вас, я устала, — ответила она приглашавшему ее танцору, который от усталости имел жалкий и мокрый вид.

Закрывая вышитым веером улыбку, Анна смеющимися глазами следила за ним, пока он искал дамы. Потом вопросительно взглянула на Логина. Он улыбнулся и сказал:

— Золото подешевело бы, но не стало бы для всех доступно.

— Да? — недоверчиво спросила Анна.

Опустила на колени раскрытый веер. Имя «Анна» было вышито на нем, между веток ландышей, желтыми шелками. Логин смотрел на это имя и говорил:

— Того же достигнет и психологическая алхимия. «Искру Божию» находили в падших, а другою рукою развенчивали идеалы. И вот, резкое различие между добрыми и злыми стерлось, мы стали жалостливы и в то же время равнодушны к тому, что прежде казалось возвышенным. Наивность утрачена, и с нею счастье!

— Точно счастье непременно глупо!

— Избранные натуры не ищут счастья и не имеют его.

— Почему? — спросила Анна, подымая на Логина удивленные глаза.

— Счастье не для них. Блаженство — для них гнусное чувство. Как пользоваться тем, что нам представил случай, когда везде так много печали, страданий!

— В страданиях есть восторг, — задумчиво сказала Анна.

— Вы-то это откуда знаете?

— Из опыта. И счастье всегда надо завоевать.

— Да ведь побеждают только сильные?

— Конечно, — сказала Анна.

Решительный склад ее губ показался Логину жестоким.

— А слабые? Топтать слабых, чтоб добиться счастья! Уж лучше быть побежденным. Да и наивное счастье, которым удовлетворяется людское стадо, как трудно оно достигается! Или пробирайся к экватору степью под вьюгой, или грейся у камина. Но в степи замерзают, а у камина...

— Сердце черствеет, — тихо докончила Анна.

— Да, сердце черствеет!

— Вот как я удачно подаю реплики! — сказала Анна, смеясь.

Минутная задумчивость быстро сбежала с ее лица.

— Отвлеченный разговор в неподходящей рамке, — ответил Логин, стараясь попасть в ее тон для окончания разговора. — А знаете, кто мне из всего этого общества всех симпатичнее?

— Кто? — спросила Анна, слегка нахмуривая брови.

— Баглаев.

— Неужели! Что в нем хорошего? Болтает, врет.

— Да. Он нравится мне тем, что он самый непосредственный из мерзавцев. У него нет ничего в душе, кроме того, что ползает на языке.

Барышня с бледными глазами подошла к Анне и заговорила с нею. Логин отошел и встретил Андозерского.

— Ищу визави. Танцуешь? — озабоченно спросил его Андозерский.

— Нет, где мне!

— Так, дружище, нельзя, — что ты кисляем таким? Бери с меня пример. А я тут около Неточки занялся.

— Ну, и что ж?

— А вот надо этого актеришку проучить, Пожарского, — ухаживать вздумал. И какой он Пожарский, — просто буйский мещанин Фролов, и пьяница вдобавок, мразь этакая!

— Не все ли равно! Фролов так Фролов.

— Ну да! Да, впрочем, и все здешние актеры — те же золоторотцы, босяки. Надоедят публике, перестанут сборы делать и поплетутся в другой город по образу пешего хождения, на своих подошвах, вздев сапоги на палочку. Ну, пойду искать.

Логин подошел к Нете; она разговаривала с незнакомою Логину барышнею. Сел рядом с Нетою, нагнулся к ее уху и тихо спросил:

— Кто лучше: Пожарский или Андозерский?

Нета вскинула на него глаза и постаралась придать им строгое выражение. Логин спокойно улыбался и настойчиво глядел прямо в ее глаза. Спрашивал:

— Для вас-то кто лучше кажется?

— Послушайте, так нельзя спрашивать, — отвечала Нета с легонькою растяжкою, стараясь выдержать строгий тон.

— Полноте, отчего же нельзя?

— Отчего? Да только вы способны так спрашивать.

— Но, однако, кто же лучше?

Нета засмеялась. Сказала с жеманною ужимкою:

— Андозерский — ваш друг.

— О, я не передам.

— Да, в самом деле? Ах, как вы меня утешили! А я этого-то и боялась.

— Так кто же лучше?

— Знаете, ваш друг чванен и скучен не по возрасту, — сказала Нета.

Сделала капризную гримасу.

— Да. А не правда ли, как мил и остроумен Пожарский?

— Прелесть! — искренним голосом воскликнула Нета.

— А вы не знаете его фамилии?

— Вот странный вопрос!

— Пожарский — по сцене. Настоящая фамилия — Фролов.

— А я не знала.

— Буйский мещанин. В Костромской губернии есть город Буй.

— Что ж из этого? — краснея и досадуя, спросила Нета.

В замешательстве она так сильно, по привычке, щипнула свою щеку, что на ней осталось явственное пятнышко.

— Так, к слову пришлось, — равнодушно усмехаясь, сказал Логин.

Нета замолчала. Логин отошел.

«Я сегодня веду странные разговоры», — подумал он.

Пожарский был первый актер нашего театра. Он нес на своих плечах весь репертуар, играл Хлестакова в «Ревизоре», а иногда и городничего, и Гамлета, и все, что придется, кувыркался в водевилях, умирал в трагедиях, пел куплеты, читал стихи и сцены из еврейского, армянского, народного и всякого иного быта в дивертисментах. Вне сцены он был разбитной малый, мог выпить водки сколько угодно, мало хмелел при этом и бывал душою общества в компании пьяных купчиков, которых мастерски обыгрывал в стуколку. Состязаться с ним в этом искусстве мог один только Молин.

Публика любила Пожарского, — театр в его бенефисы бывал полон, и ему подносили ценные подарки: иногда серебряный портсигар, иногда роскошный халат с кистями и с ермолкою. Но денег у него не водилось, — все добытое от искусства или от карт немедленно пропивалось. На его счастье, всегда находилась сердобольная вдовушка, которая заботилась об его удобствах. Теперь Нета уязвила его сердце не на шутку — он пил меньше обыкновенного и уже месяца два порвал с своею последнею подругою.

## *Глава пятнадцатая*

Кончилась вторая кадриль. Воздух сделался мглистым. Неприятно пахло духами, потом и ароматною смолкою. Середина залы опустела. Туманными казались неяркие цвета платьев на барышнях. Кавалеры успели проглотить по несколько рюмок водки, но многие из них в антрактах между танцами все еще держались подальше от дам, только глаза их приобретали алчное выражение. Несколько безусых юношей робко вертелись около барышень; они старались быть развязнее и беспрестанно густо краснели. Глаза их блестели, улыбки были пошлые.

Пожарский страстно шептал Нете:

— Видеть вас хоть изредка, хоть издали, чтобы потом унести в памяти ваш милый образ как святыню и молиться ему, — и это одно было бы для меня блаженством, для которого стоит жить. Вы одна отнеслись ко мне как к человеку, а не гаеру.

Нета делала актеру нежные глазки. Сказала:

— Но вас здесь так почитают!

— Почитают! Да, пожалуй, даже любят, как шута, как забавника. Никому нет дела до того, что и в груди актера бьется человеческое сердце. Когда мы на сцене, мы заставляем плакать и смеяться, и нам рукоплещут. А в обществе — нас презирают.

— О, неправда!

— Доброе, доброе дитя! Вы еще не знаете людей, — они злы и неблагодарны. Актер, по их мнению, всегда ломается, и его чувства не настоящие, и все его поступки — дурацкие выходки. Поскользнись актер на этом паркете — весь зал задрожит от хохота: комедиант коленце выкинул!

— Не все же на свете злые люди, Виталий Федорович.

— Да, да, это верно. Вот, например, господин Логин, — Гамлет, принц датский; он не засмеется, потому что не только актеров, — он и весь мир презирает. А вот благородный отец, добродетельный Ермолин, — он слишком высоко парит, чтоб на какого-нибудь фигляра любоваться... Но прочь черные мысли! Пусть толпа командует: смейся, паяц! — передо мною вы, белая голубка в стае черных грачей!

Нета смотрела на актера с восхищением и жалостью; розовые тонкие губы улыбались растроганно; белокурые локоны трепетали над нащипанными украдкой щеками.

Логин сказал Андозерскому:

— Кажется, Неточка находит Пожарского пленительным.

— Ну, это дудки! — самоуверенно отвечал Андозерский.

— Однако взгляни, как они мило беседуют.

— А вот я его спугну.

Андозерский подошел к Пожарскому, бесцеремонно хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну, что тут лясы точить, — пойдем, брат, выпьем.

Пожарский быстро глянул на Нету и повел плечом. Его быстрая усмешка и торжествующий взгляд сказали ей: «Вот видите, я прав!»

Нета вспыхнула и посмотрела на Андозерского гневно засверкавшими глазами. Пожарский встал, принял вид из «Ревизора» и сказал беззаботно, как Хлестаков:

— Пойдем, душа моя, выпьем.

Потом он галантно раскланялся с Нетою и пошел за Андозерским. Нета провожала их опечаленными глазами. Белый веер дрожал и судорожно двигался в ее маленьких руках.

— Пока справки, пока что, — толковал исправник Логину, — меньше года не пройдет.

— Неутешительно, — сказал Логин. — Кто из нас, людей служащих, наверное знает, где он будет через год?

— Что делать, атанде-ву * немножко. Нельзя тяп-ляп, да и клетка. Мье тар ке жаме **, говорят французы.

— Что, брат, все о своем обществе толкуешь? — спросил, хихикая, подошедший Баглаев. — Власть предержащую в свою ересь прельщаешь?

— Да вот беседуем о дальнейшем течении этого дела, — ответил за Логина исправник.

— Брось, брат, всю эту канитель: ничего не выйдет. Пойдем-ка лучше хватим бодряги за здоровье отца-исправника.

— Хватить — хватим, только отчего же ничего не выйдет?

— А вот, я тебе скажу, я тебе в один миг секрет открою. Ну, держи рюмку, — говорил Баглаев, когда они вошли в столовую и протолкались к столику с водкою. — Вот я тебе сначала рябиновой налью, — против холеры лучше не надо, — а потом скажи: кто я таков, а?

— Шут гороховый, — с досадою сказал Логин и выпил рюмку водки.

— Ну, это ты напрасно так при благородных свидетелях. Нет, пусть лучше исправник скажет, кто я.

— Ты, Юшка, — городская голова, енондер-шиш; шеф де ля виль ***, как говорят французы.

— Нет, не так, а прево де маршан ****, — поправил казначей, ткнул Юшку кулаком в живот и захохотал с визгом и криком.

— Ну ты, — огрызнулся Юшка, — полегче толкайся, я человек сырой, долго ли до греха. Ну так вот, брат, я — здешняя голова, излюбленный, значит, человек, мозговка всего города, — мне ли не знать

---

* Подождите (от *фр.* attendez-vous)

** Лучше поздно, чем никогда (от *фр* mieux tard que jamais).

*** Глава города (от *фр.* chef de la ville)

**** Городской голова (от *фр* prévôt des marchands).

нашего общества! Мы, брат, люди солидные, старые воробьи, нас на мякине не проведешь, мы за твоей фанаберией не пойдем, у нас никогда этого не бывало. Вот если я, к примеру, объявлю, что завтра рожать буду, ко мне, брат, весь город соберется на спектакль, в лоск надрызгаемся, а наутро опять чисты как стеклышки, опять готовы «на подвиг доблестный, друзья». Так, что ли, казначей?

— Верно, Юшка, умная ты голова с мозгами!

— Вот то-то. Ну, братцы, наше дело небольшое: выпьем, да ешшо, — чтоб холера не приставала.

— Все это верно, Юрий Александрович, а ты скажи, зачем ты водки так много пьешь? — спросил Логин.

— Ну, сморозил! Где там много, сущую малость, да и то из одной только любви к искусству: уж очень, братцы, люблю, чтоб около посуды чисто было.

— Нельзя, знаете ли, не пить, — вмешался Оглоблин, суетливый и жирный молодой человек, краснощекий, в золотых очках, — такое время — руки опускаются, забыться хочется.

Между тем у другого угла столика Андозерский пил с Пожарским.

— Повторим, что ли, — угрюмо сказал Андозерский.

Злобно смотрел на розовый галстух актера, повязанный небрежно, сидевший немного вбок на манишке небезукоризненной свежести.

— Повторим, душа моя, куда ни шло, — беспечно откликнулся Пожарский.

Потянулся за бутылкою и запел фальцетом:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих,
Но счастливей и вольней
Всех вельмож могучих.

— Что, брат, не собрался ли жениться? — спросил Андозерский.

Покосился на потертые локти актерского сюртука.

— Справедливое наблюдение изволили сделать, сеньор: публика мало поощряет сценические таланты, — для избежания карманной чахотки женитьба — преотличное средство.

— Гм, а где невеста?

— Невесту найдем, почтеннейший: были бы женихи, а невестой Бог всякого накажет, — такая наша жениховская линия.

— Что ж, присмотрели купеческую дочку?

— Зачем непременно купеческую?

— Ну, мещанскую, что ли?

— Зачем же мещанскую? При наших приятных талантах да при наших усиках мы и настоящую барышню завсегда прельстить можем, — пройдем козырем, сделаем злодейские глазки, — и клюнет.

— Ну, брат, гни дерево по себе, — со злым смешком сказал Андозерский.

Актер сделал лицо приказчика из бытовой комедии:

— Помилуйте, господин, напрасно обижать изволите. И мы не лыком шиты. Чем мы не взяли? И ростом, и дородством, и обращением галантерейным, да и в темя не колочены. Нет уж, сделайте милость, дозвольте иметь надежду.

— По чужой дорожке ходишь, чужую травку топчешь, — смотри, как бы шеи не сломать.

Актер сделал глупое лицо из народной пьесы, расставил ноги, тупоумно ухмыльнулся и заговорил:

— Ась? Это, тоись, к чему же? Тоись, к примеру, невдомек манненечко. Вот, дяденька, — обратился он к Гуторовичу, старику актеру на комические роли, — барин серчает, ни с того ни с сего, ажно испужал. Чем его я огорчил? Ей-ей, невдомек.

Морщинистое, дряхлое лицо Гуторовича сложилось в гримасу, которая должна была изобразить смиренную покорность подвыпившего мужичка, и он залопотал, помахивая головою и руками по-пьяному и показывая черные остатки зубов:

— А мы, Виташенька, друг распроединственный, песенку споем, распотешим его высокое благородие, судию неумытного.

— А и то, споем, старче.

Андозерский пробормотал что-то неласковое и отошел от стола. Пожарский и Гуторович обнялись и запели притворно-пьяненькими голосами, пошатываясь перед столом:

Эх ты, тпруська, ты, тпруська-бычок,
Молодая телятинка!
Отчего же ты не телишься,
Да на что же ты надеешься?
Эх ты, Толя, ты, Толя-дружок,
Молодая кислятинка!
Отчего же ты не женишься,
Да на что же ты надеешься?

Актеров окружила компания подвыпивших мужчин. В середину толпы замешалась развеселая жена воинского начальника; она выпила две рюмки водки с юным подпоручиком, за которым ухаживала. Всем было весело. Гуторович для увеселения зрителей изображал некоторых лиц здешнего общества в интересные моменты их жизни: врача Матафтина, как он осматривает холерных больных на почтительном расстоянии и трепещет от страха; — спесивого директора учительской семинарии Моховикова, как он с неприступно-важным видом и со шляпою в руке расхаживает по классам; — Мотовилова, как он говорит о добродетели и проговаривается об украденных барках; — Крикунова, как он молится и потом как дерет за уши мальчишек.

— Вот черт-то! — восклицал Баглаев, — животики надорвешь.

Все это наконец до невыносимости опротивело Логину. Ушел. Гуторович мигнул на него веселой публике, изогнул спину и зашептал:

— Экая беда, — прямо по земле ходить человеку приходится. Пьедестальчик, хоть махонький, а то ведь так же нельзя, господа.

«Господа» радостно захохотали.

Логин вошел в одну из гостиных, где слышался звонкий смех барышень.

«И здесь, наверно, встретится что-нибудь пошлое», — пришло ему в голову.

Увидел Андозерского, — тот успел чем-то насмешить девиц. Среди барышень была Клавдия. Кроме Андозерского, здесь не было других мужчин. Логину показалось, что Андозерский смутился, когда увидел его: круто оборвал бойкую речь. Глаза барышень обратились к Логину, веселые, смеющиеся. Клавдия смотрела задорно; что-то

враждебное светилось в глубине ее узких зрачков, и злобно горели зеленые огни ее глаз. Она сказала:

— Мы только что о вас, Василий Маркович, говорили.

И слегка отодвинулась на стуле, чтобы Логин мог сесть на соседний стул, который раньше был прикрыт складками ее юбки.

— Легки на помине! — весело сказала маленькая кудрявая барышня с лицом хорошенького мальчика.

— Любопытно, что интересного нашлось сказать обо мне, — лениво молвил Логин.

— Как не найтись! Вот Анатолий Петрович рассказывал...

— Ну, это шутка, — заговорил было Андозерский.

Клавдия удивленно посмотрела на него. Андозерский сконфуженно повернулся к подошедшей служанке и взял апельсин. Он сейчас же подумал, что апельсин велик и что напрасно было брать его. Ему стало досадно. Клавдия спокойно продолжала:

— Рассказывал, что члены вашего общества должны будут давать тайные клятвы в подземелье, со свечами в руках, в белых балахонах и что им будут выжигать знаки на спине в доказательство вечной принадлежности. А кто изменит, того приговорят к голодной смерти.

Логин засмеялся коротким смехом. Сказал:

— Какая невеселая шутка! Что же, впрочем, мысль недурна: одну бы клятву следовало брать, хотя почему ж тайную? Могла бы это быть и явная клятва.

— Какая же? — спросила Клавдия.

— Клятва, — не клеветать на друзей.

— Ну вот, я ведь шучу, — беспечно сказал Андозерский.

— Заешьте клевету сладким, — сказала Клавдия.

Указала Логину на девушку, которая держала перед ним поднос с фруктами.

Логин положил себе на блюдечко очень много, без разбору, и принялся есть. Тонкие ноздри его нервно вздрагивали.

В соседней гостиной тихо разговаривали Мотовилов и исправник. Мотовилов говорил:

— Шибко не нравится мне Логин!

— А что? — осторожным тоном спросил Вкусов.

— Не нравится, — повторил Мотовилов. — У меня взгляд верный, — даром хаять не стану. Поверьте мне, не к добру это общество. Тут есть что-то подозрительное.

— Сосьете *, енондер-шиш, — меланхолично сказал Вкусов.

— Поверьте, что это только предлог для пропаганды против правительства. Надо бы снять с этого господина личину.

— Гм... посмотрим, подождем.

— Он, знаете ли, и в гимназии положительно вреден. К нему ученики бегают, а он их развращает...

— Развращает? Ах, енондер-шиш!

— Своею пропагандой.

— А!

Хитрое и пронырливое выражение пробежало по лицу Мотовилова, словно он внезапно придумал что-то очень удачное. Он сказал:

— Да я не поручусь и за то, что он... кто его там знает; живет в стороне, особняком, прислуга внизу, он наверху. У меня сердце не на месте. Вы меня понимаете, вы сами отец, ваш гимназист — мальчик красивый.

— Да вы, может быть, слышали что-нибудь? — спросил Вкусов с беспокойством.

— Не слышал бы, так не позволил бы себе и говорить о таких вещах, — с достоинством сказал Мотовилов. — Поверьте, что без достаточных оснований, понимаете, — вполне достаточных! — я бы не решился...

— О чем шушукаетесь? — спросил, подходя, Баглаев.

Мотовилов отошел.

— Да вот о Логине говорим, — печально сказал исправник.

— А! Умный человек! Надменный! Все один! Он, брат, нас презирает, и за дело; мы свиньи! Впрочем, он и сам свинья. Но я его люблю, ей-Богу, люблю. Мы с ним большие друзья — водой не разольешь.

---

* Общество (от *фр.* société).

Вкусов задумчиво смотрел на него тусклыми глазами, покачивал головою и шамкал:

— Се вре! се вре! *

## Глава шестнадцатая

Логин искал, куда бы поставить опорожненное блюдечко, и забрел в маленькую, полутемную комнату. Тоскующие глаза глянули на него из зеркала. Досадливо отвернулся.

— Дорогой мой, какие у вас сердитые глаза! — услышал он слащавый голос.

Перед ним стояла Ирина Авдеевна Кудинова, молодящаяся вдова лет сорока, живописно раскрашенная. У нее остались после мужа дочь-подросток, сын-гимназист и маленький домик. Средства были у нее неопределенные: маленькая пенсия, гаданье, сватанье, секретные дела. Одевалась по-модному, богато, но слишком пестро (как дятел, сравнивала Анна). Бывала везде, подумывала вторично выйти замуж, да не удавалось.

— Что ж вы, мой дорогой, такой невеселый? Здесь так много невест, целый цветник, одна другой краше, а вы хандрить изволите! Ай-ай-ай, а еще молодой человек! Это мне, старухе, было бы простительно, да и то, смотрите, какая я веселая! Как ртуть бегаю.

— Какая еще вы старуха, Ирина Авдеевна! А я очень веселюсь сегодня.

— Что-то не похоже на то! Знаете, что я вам скажу: жениться бы вам пора, золотой мой.

— А вам бы всех сватать!

— Да право, что так-то киснуть. Давайте-ка я вас живо окручу с любой барышней. Какую хотите?

— Какой я жених, Ирина Авдеевна!

— Ну вот, чем не жених? Да любая барышня, вот ей-Богу... Вы — образованный, разноречивый.

* Это правда! это правда! (от *фр* c'est vrais)

Подошел Андозерский. Бесцеремонно перебил:

— Не слушай, брат, ее. Хочешь жениться — ко мне обратись: я в этих делах малость маракую.

— Хлеб отбиваете у меня, — жеманно заговорила Кудинова, — грешно вам, Анатолий Петрович!

— На ваш век хватит. У вас пенсия.

— Велика ли моя пенсия? Одно название.

— Я, брат, даром сосватаю, мне не надо на шелковое платье. И себя пристрою, и тебя не забуду. Только чур, — таинственно зашептал он, отводя Логина от Кудиновой, — пуще всего тебе мой зарок, — за Нюткой, смотри, не приударь: она — моя!

— Зачем же ты Неточку к актеру ревнуешь?

— Я не ревную, а только актер глазенапы запускает не туда, куда следует, с суконным рылом в калачный ряд лезет. Да и все-таки на запас. Я тебе, так и быть, по секрету скажу: на Нютку надежды маловато, — упрямая девчонка!

— Чего ж ты говоришь, что она — твоя?

— Влюблена в меня по уши, это верно. Да тут есть крючок, — принципы дурацкие какие-то. Поговорили мы с нею на днях неласково. Ну, да что тут много растабарывать: ты мне друг, перебивать не станешь.

— Конечно, не стану.

— Ну, и добре. Вот займись-ка лучше хозяйкой.

— Которою?

— Конечно, молодою. Эх ты, бирюк! Ну, я, дружище, опять в пляс.

Логин остался один в маленькой гостиной. Мысленно примерял роли женихов Клавдии и Неты. Холодно становилось на душе от этих дум.

Нета — переменчивый, простодушный ребенок, очень милый. Но чуть только старался представить Нету невестою и женою, как тотчас холодное равнодушие мертвило в его воображении черты милой девушки, глуповатой, избалованной, набитой ветхими суждениями и готовыми словами.

«Вот Клавдия — не то. Какая сила, и страстность, и жажда жизни! И какая беспомощность и растерянность! Недавняя гроза прошла по

ее душе и опустошила ее, как это было и со мною когда-то. Мы оба ищем исхода и спасения. Но нет ни исхода, ни спасения: я это знаю, она — предчувствует. Что нам делать вместе? Она все еще жаждет жизни, я начинаю уставать».

Это были мысли то восторженные, то холодные, а настроение оставалось таким же. Пока вспоминалась Клавдия такою, как она есть, было любо думать о ней: энергичный блеск ее глаз и яркий внезапный румянец грели и лелеяли сердце. Но стоило только представить Клавдию женою, очарование меркло, исчезало.

Иной образ, образ Анны представился ему. Видение ясное и чистое. Не хотелось что-нибудь думать о ней, иначе представлять ее: словно боялся спугнуть дорогой образ прозаическими сплетениями обыкновенных мыслей.

Закрыл глаза. Грезилось ясное небо, белые тучки, с тихим шелестом рожь и на узкой меже Анна — веселая улыбка, загорелое лицо, легкое платье, загорелые тонкие ноги неслышно переступают по дорожной пыли, оставляют нежные следы. Открывал глаза — видение не исчезало сразу, но бледнело, туманилось в скучном свете ламп, милая улыбка тускнела, расплывалась, — и опять закрывал глаза, чтобы восстановить ненаглядное видение. Назойливое бренчанье музыки, топот танцующих, глухой голос юного дирижера, — а над всем этим гвалтом слегка насмешливая улыбка, и загорелые руки в такт музыки двигались и срывали синие васильки и красный мак.

— Однако вам не очень весело: вы, кажется, уснули, — раздался над ним тихий голос.

Открыл глаза: Клавдия. Встал. Сказал спокойно:

— Нет, я не спал, а так, просто, замечтался.

Глаза Клавдии, зеленея, светились знойным блеском. Спросила:

— Мечтали о Нюточке?

— Мало ли о чем мечтается в праздные минуты, — ответил Логин.

Натянуто улыбнулся, с чувством странной для него самого неловкости.

— Счастливая Анюточка! — с ироническою улыбкою и легким вздохом сказала Клавдия и вдруг засмеялась. — А я пари готова

держать, что вы воображали сейчас Анютку в поле, среди цветов, во всей простоте. Скажите, я угадала?

Логин хмурился и прикусывал зубами нижнюю губу.

— Да, угадали, — признался он.

— Нюточка солнышку рада. Цветочки да мотылечки, — говорила Клавдия, и быстро открывала и закрывала веер, и дергала его кружевную обшивку. — А вот теперь она по-бальному. Вам не жаль этого?

— Отчего же?

— Видите, и Нюточка не может стоять выше моды. Глупо, не правда ли? Лучше было бы, если бы мы босые танцевать приходили, да? Однако прошу вас не задремать: сейчас будем ужинать.

Музыка умолкла. Шумно двинулись к ужину.

Ужинали в двух комнатах: в большой столовой и в маленькой комнате рядом. В большой столовой было просторно и чинно. Там собрались дамы и девицы, несколько почтенных старцев скучающего вида и молодые кавалеры, обязанные сидеть с дамами и развлекать их.

Андозерский сидел рядом с Анною и усердно занимал ее. Хорошенькая актриса Тарантина наивничала и сюсюкала, блестя белыми, ровными зубами. Апатичный Павликовский развлекал ее рассказами о своих оранжереях. Бинншток говорил что-то веселое Нете. Ната сверкала на него злыми глазами. Гомзин расточал любезности Нате. Каждый раз, когда Ната взглядывала на его оскаленные зубы, белизна которых была противна ей (у Биншнтока зубы желтоваты), в ней закипала злость, и она говорила дерзость, пользуясь правами наивной девочки. Мотовилов с суровым пафосом проповедывал о добродетелях. Жена воинского начальника потягивала вино маленькими глотками и уверяла, что если б ей представился случай для обогащения отравить кого-нибудь и если бы это можно было сделать ни для кого неведомо, то она отравила бы. Мотовилов ужасался и энергично восклицал:

— Вы клевещете на себя!

Дряхлый воинский начальник и обе старшие Мотовиловы тихо разговаривали о хозяйстве. Дубицкий рассказывал, как он командовал полком. Зинаида Романовна делала вид, что это ей интересно.

Клавдия и Ермолин о чем-то заспорили тихо, но оживленно. Палтусов и жена Дубицкого — она была рада, что муж сидел от нее далеко, — говорили о театре и о цветах.

В маленькой комнате было тесно, весело и пьяно. Здесь были одни мужчины: подвыпивший отец Андрей; — Вкусов, беспрестанно восклицавший то по-русски:

— Я, братцы, налимонился!

То по-французски:

— Фрерчики, же сюи налимоне!

— И забыл о жене! — попадал ему в рифму Оглоблин.

Казначей рассказывал циничные анекдоты; — Юшка, красный, как свекла; — Пожарский и Гуторович, их не забирал хмель, хоть они пили больше всех; — Саноцкий и Фриц, неразлучная парочка инженеров; — еще штук пять господ с седеющими волосами и наглыми взглядами. Сюда же попал и Логин.

За этим столом пили много, словно всех томила жажда, выбирали напитки покрепче, лили их в самые большие рюмки, не стесняясь тем, что на дне остаются капли иного напитка; ели с жадностью и неопрятно, громко чавкали, говорили громко, перебивали друг друга, переругивались. Разговоры были такие, что даже эти пьяные люди иногда понижали голос, чтоб не услышали дамы. Тогда кружок собеседников сдвигался, сидевшие далеко перегибались через стол, другие наклоняли головы, на короткое время становилось тихо; слышался только торопливый шепот, — и вдруг раскаты разудалого хохота оглашали тесную комнату и заставляли вздрагивать дам в большой столовой.

— Что анекдоты, — сказал с гулким смехом отец Андрей, — слушайте, братцы, я вам лучше расскажу действительное происшествие, бывшее со мною. Какой я на днях сон видел! Вижу я себя в некоем саду, и в том саду стоят все елочки, а на елочках висят лампадочки. В лампадочках масло налито, светиленки плавают, огонечки теплятся, так это все чинно, благообразно. И вижу я, около тех лампадочек суетятся услужающие. Как только погаснет лампадка, сейчас ее услужающий снимает. Вот я постоял, поглядел, да и спрашиваю, что, мол, это за лампадки. Услужающий и говорит: «Это не простые лампад-

ки, это — судьба человеческая; где ярко горит огонь, там еще много жизни у человека осталось, а где масла мало, тому, — говорит, — человеку скоро конец». Тут я, братцы, ужаснулся хуже, чем перед архиереем. Однако собрался с духом, да и спрашиваю: «А что, господин, нельзя ли узнать, какая тут моя лампадка?» Повел он меня к одной елочке. Висит там несколько лампадочек, все горят ярко, а одна чуть-чуть теплится. «Вот эта, — говорит, — твоя и есть». Стал я изыскивать средства. Вижу — услужающий отвернулся. Я засунул скоре палец в чужую лампадку, — масло, известно, пристает, — я в свою лампадку его скапнул, — огонек опять оживился. И так я несколько раз: как только он отвернется, так я палец в чужую лампадку, а потом в свою, накапываю себе помаленьку. И уж изрядно накапал, только вдруг не остерегся, поторопился — и попался. Услужающий, как на грех, обернись, и видит, что я пальцем в чужой лампадке колупаюсь. Как он закричит: «Что ты делаешь? да куда ты лезешь?» Да как хлобыснет меня по роже, аж, братцы, я проснулся.

Гулкое грохотание носилось вокруг стола.

— И что ж оказывается? Это по морде-то меня жена в сердцах огрела.

Когда хохот затих, Баглаев начал было:

— А вот, господа, когда я служил в сорок второй артиллерийской бригаде...

— Врешь, Юшка, — крикнул Саноцкий, — никогда ты в артиллерии не служил.

— Ну вот, как не служил?!

— А ты, голова с мозгами, в каком университете воспитывался?

— В Московском, известно!

— А я так слышал, что тебя из второго класса гимназии выгнали.

— Наплюй тому в глаза, кто тебе это говорил.

— Наплюй сам: вот он здесь, — Константин Степаныч.

— Костя, друг, и это ты? и у тебя язык повернулся? — с укором восклицал Баглаев.

— Знаем мы тебя, городская голова: враль известный, — отвечал Оглоблин. — Вот ты расскажи лучше, как из городской богадельни мальчишки бегают.

— Богадельня — мерзость! — оживился Юшка, — грязь, беспорядок, все крадут, старики и старухи пьянствуют, мальчишки без надзору шляются и шалят.

— Стой, стой, голова с мозгами, — закричал Саноцкий, — кого ты обличаешь? кто богадельней заведует?

— Известно кто: голова.

— А голова-то кто?

За столом хохотали.

— Ловко, Юшка, — восторгался казначей, — забыл, что голова.

— Вовсе не забыл!

— Это он чует, что его прокатят, енондер-шиш!

— Ничего не прокатят, а я сам не хочу. А богадельню я подтяну.

— Расскажи, отчего у тебя мальчишка дал тягу, — приставал Оглоблин.

— Оттого, что мерзавец: каждый год бегает. Прошлый год убежал, да дурака свалял, — поймали в Летнем саду под кустиком, привели и выдрали; а нынче он опять по привычке, айда в лес, — весну почуял. Негодяй! не сносить ему головы!

— А ты что ж, нынче в задаток его взъерепенил, что ли? или так, здорово живешь?

— Ничего не в задаток, а не учится! Крикунов пожаловался, а я распорядился.

— Всыпать сотню горячих?

— Ничего не сотню, а всего пятнадцать. При мне и пороли.

— А ты держал, что ли?

— Дурак! Не хочу с дураком и разговаривать!

За столом хохотали, а Юшка злился и бубнил:

— Я голова. Мое дело — распорядиться, а не держать, вот что.

— Юрочка! — кричал отец Андрей, — Юрочка, не хочешь ли окурочка?

Логин упрямо молчал, всматривался в пьяные лица и трепетал от мучительной злобы и тоски. Каждое слово, которое он слышал, вонзалось раскаленною иглою и терзало его. Пил стакан за стаканом. Сознание мутнело. Злоба расплывалась в неопределенно-тяжелое чувство.

Наконец ужин кончился. Сквозь шум отодвигаемых стульев, топот ног и весело-оживленный ропот разговоров послышались звуки музыки: молодежь собиралась еще танцевать. Но гости, более отяжелевшие, прощались с хозяевами.

Логин вышел на лестницу вместе с Баглаевым. Юшка увивался вокруг Логина и лепетал что-то. Логин на крыльце протянул руку Баглаеву и сказал:

— Ну, нам в разные стороны.

— Зачем, чудак? Говорю — пойдем пьянствовать.

— Ну вот, мало пили! Да и куда мы пойдем так поздно?

— Уж я знаю, я тебя проведу! Чудород, нас пустят, — убедительно говорил Баглаев. — Даром, что ли, я от жены сбежал? Пусть она мазурку отплясывает, а мы кутнем. Право, чего там, — тряхнем стариной!

Логин подумал и пошел за ним. Скоро их догнал Палтусов. Юшка, хихикая, спрашивал:

— А, волыглаз! бросил гостей?

— Ну их к черту, — мрачно говорил Палтусов. — Твоя жена тебя хватилась, так я обещал тебя найти...

— И напоить, — кончил Логин.

— И доставить домой.

— Ой-ли? — хихикал Баглаев. — Так я и пошел домой, держи карман. Нет, черта с два.

— Скажу, не нашел, — говорил Палтусов. — Голова болит, напиться хочется.

— Дело! — сказал Логин.

— Нельзя мне не пить, — объяснял Палтусов. — Жить в России и не пьянствовать так же невозможно для меня, как нельзя рыбе лежать на берегу и не задыхаться. Мне нужна другая атмосфера... Тьфу, черт, здесь и фонари не на месте!.. Исправники, земские начальники, — меня от одного их запаха коробит.

Все колебалось и туманилось в сознании Логина. Сделалось как-то «все равно». С чувством тупого удовольствия и томительного безволия шел за приятелями, прислушивался к их речам и бормотанью. Их шаги и голоса гулко и дрябло отдавались в ночной тишине.

В трактире, куда они зашли через задние двери, дрема начала овладевать Логиным. Все стало похоже на сон: и комната за трактиром, слабо освещенная двумя пальмовыми свечками, — и толстая босая хозяйка в расстегнутом капоте, которая шептала что-то невнятное и, как летучая мышь, неслышно сновала с бутылками пива в руках, — и это пиво, теплое и невкусное, которое зачем-то глотал.

Палтусов говорил что-то грустное и откровенное, о своей любви и о своих муках; имя Клавдии раза два сорвалось у него ненарочно. Юшка лез к нему целоваться и плакал на его плече. Логин чувствовал великую тоску жизни и хотел рассказать, как он сильно и несчастливо любил: ему хотелось бы, чтоб Юшка и над ним заплакал. Но слова не подбирались, да и рассказать было не о чем.

— Зинаида! — воскликнул Палтусов. — Я никогда ее не любил, а теперь она мне ненавистна.

— Субтильная дама! — бормотал Юшка.

— Жеманство, провинциализм, это выше моих сил. В ней нет этого букета аристократизма, без которого женщина — баба. О, Клавдия! Только я могу ее оценить. Мы с нею родственные души.

— Огонь девка! — одобрил Юшка.

Палтусов замолчал, облокотился на стол, залитый пивом, и свесил на руки голову. Юшка подвинулся к Логину и зашептал:

— Вот, брат, человек замечательный, я тебе скажу. Он только один меня понимает до тонкости, брат, — хитрая штука, шельма. Ему бы Панаму воровать, уж он бы не попался, — нет, брат, шалишь, — гений!

В двери заглянул городовой. Хозяйка испуганно зашептала:

— Говорила я вам! Господи, этого только недоставало!

— Крышка! — в ужасе лепетал Юшка и пучил глаза на городового.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, — успокоительно заговорил городовой, — я так, потому как, значит, огонь; а ежели знакомые хорошие господа...

Знакомые хорошие господа дали ему по двугривенному и велели хозяйке угостить его пивом. Городовой остался «много благодарен» и ушел. Юшка начал хорохориться по адресу полиции. Но настроение было испорчено. Посидели молча, высосали пиво и ушли.

Что было дальше, Логин не помнил. Он очнулся дома, у открытого окна. Лица и образы проносились. Новое чувство кипело.

«Это — ревность к Андозерскому», — подумал он и сам удивился своей мысли.

Он думал, что Андозерский глуповат и пошловат, даже подловат, и злоба к Андозерскому мучила его. Но вдруг из темноты выплыла жирная и лицемерная фигура Мотовилова, и Логин весь затрепетал и зажегся древнею каинскою злобою. А на постели опять лежал труп, и опять страх приступами начинал знобить Логина.

Вдруг Логин почувствовал прилив неодолимой злобы и решительно двинулся к ненавистному трупу.

— Перешагну! — хрипло шептал он и сжимал горячими руками тяжелые складки одеяла.

Он заснул тяжелым, безгрезным сном. Под утро вдруг проснулся, как разбуженный. Визгливый вопль раял в его ушах. Сердце усиленно билось. С яркостью видения предстали перед ним своды, решетка в окне, обнаженное девичье тело, пытка. Кто-то злой и светлый говорил, что все благо и что в страданиях есть пафос. И под ударами кнута из белой, багрово-исполосованной кожи брызгала кровь.

## Глава семнадцатая

Ермолин и Анна возвращались домой. Коляска плавно покачивалась, колеса на резиновых шинах катились бесшумно, и только копыта лошадей мерно и часто стучали по мелкому щебню.

Уже передрассветный сумрак начинал редеть. Влажные, неподвижные вершины деревьев окрашивались еле заметными розовыми отсветами. Где-то недалеко соловей устало и томно досвистывал нежную песенку. Запоздалая летучая мышь пронеслась близ коляски, угловато повернулась в воздухе и шарахнулась прочь.

Анна обменивалась с отцом отрывочными фразами. Глаза ее были дремотны. Впечатления вспыхивали, перебегали: от тяжелых, шумных воспоминаний вечера отвлекали вдруг нежные прикосновения

холодного ветра, и тогда все дорогое и знакомое придвигалось к ней, вся эта мирная тишина отуманенных полей и темных деревьев. Теперь, в этот необычайный для бодрствования час, все это знакомое и мирное являлось загадочным и обманчивым.

Прежде было у Анны ясное миропонимание, была любовь к природе и рассудочные объяснения явлений, а неизвестное и непонятное в природе не тревожило. Но эта весна пришла странная, не похожая на прежние, и обвеяла страхами и тайнами. Ничто, по-видимому, не изменилось в Анне, так же ясны были ее взгляды на жизнь и на мир, но сны стали тревожны, и мечтания иногда устремлялись, наперекор всему прошлому, к бесполезному и невозможному. В былые дни она ясно видела свои отношения к каждому, с кем приходилось встречаться, и свои чувства к каждому из этих людей. Но теперь предчувствовала в себе что-то новое, еще не определившееся. Тяготила неясность мыслей и чувств. С непривычною робостью пока оставляла некоторую область впечатлений неразъясненною. Но так как мысли иногда невольно и случайно обращались к этой области, и с течением времени все чаще, то и объединяющее, определенное слово порою внезапно представлялось, и тогда она вся загоралась застенчивым, и радостным, и жутким чувством. Но не верила еще этому определенному объяснению, и, вся взволнованная, вздыхала тихонько, — и высоко подымалась грудь.

Теперь, перед розовою прохладою ранней зари, Анне было радостно отдаваться влажным прикосновениям тихо веющей силы, навстречу которой уносилась она по затишью дороги. Неподвижная рябина белыми, душистыми цветами предвещала печаль, — но не страшили грядущие печали.

Вдруг тень неприятных воспоминаний легла на ее лицо, слегка побледнелое от усталости, и она тихо сказала:

— Как тяжело веселятся здешние молодые люди!

Ермолин посмотрл на нее ласковыми глазами, — в них таилась старинная грусть. Ответил:

— Хорошо и то, что хоть и такая радость не иссякла.

Анна закрыла глаза. Дремотно наклонила голову. Легкий сон набежал, но чрез минуту разбудило что-то, невнятный звук. Выпрямилась, посмотрела на отца широко открытыми глазами.

— Спишь? — ласково спросил Ермолин и улыбнулся.

— Дремлется. Пел кто-то? — спросила Анна, вслушиваясь.

— Нет, не слышал, — отвечал отец.

Все было тихо. Кучер, дремля, покачивался на козлах. Лошади не спеша бежали знакомою дорогою.

— Так это я заснула, — сказала Анна. — Мне казалось, что солнце на закате и кто-то поет: «Не одна-то во поле дороженька». А я будто иду на проселке, и мне хочется идти навстречу тому, кто поет, — так и манит песней.

— Иди, милая, — задумчиво промолвил Ермолин.

Анна покраснела. Подняла на него удивленные, заискрившиеся глаза. Спросила:

— Куда?

Ермолин встряхнул головою. Провел рукою по лицу. Сказал:

— Куда? Нет, это так. Я, кажется, тоже дремлю.

Анна, улыбаясь, закрыла глаза. Откинулась назад. Было удобно и приятно лежать, покачиваться, нежиться в прохладе предутреннего воздуха.

По лицу пробегали тени деревьев; они чередовались с розовыми просветами от начинающейся зари. Деревья разрастались, становились гуще, придвигались купами, сумрачно заслоняли от розовых, таких еще слабых просветов.

И опять снится Анне, что она идет в странной, сумрачной долине, среди темных, угрюмых деревьев. Между ними струится слабый, неверный свет. Тягостное предчувствие наводит тоску.

Вдруг замечает Анна, все вокруг просыпается: старые деревья, широколиственные и высокие, — и молодые травы, жесткие и блестящие, — и бледно-зеленые мхи, — и робкие лесные цветы, — все проснулось, и чувствует Анна на себе устремленные со всех сторон тяжелые и враждебные взоры. Все следит за Анною, и все неподвиж-

но и безмолвно. Страшна вражда безмолвных свидетелей. Анна идет. Тяжело двигаются ноги, — идет одна, идет торопливо. И знает, что идти некуда, а ноги все более тяжелеют. И она падает и открывает испуганные, отяжелелые глаза.

Лошади пофыркивают — чуют близость конюшни. Кучер встрепенулся, помахивает кнутом. Отец смотрит, ласково улыбается. Анна отвечает улыбкою, но лень шевельнуться, и глаза опять смыкаются.

— Вот мы и дома, — говорит отец.

Протягивает ей руку помочь выйти из коляски.

Анна сбросила одежды, стала у окна, оперлась плечом, всем стройным телом отдалась ласкам холодного воздуха. Сад радостно вздрагивал росистыми и сочными ветвями. Небо быстро и весело алело, и нежная алость широко лилась на смуглость лица и на линии обнаженного тела.

Внезапная радость первых ждала лучей.

Напряженно глядела Анна на зарю, полыхавшую в небе, но легкая греза неслышно подкралась и опустилась на глаза золотистым туманом. Глаза сомкнулись.

Ярко-зеленый луг приснился, весь залит солнечным светом, обнесен низенькими кирпичными стенами. На скошенной траве бегают мальчики в красных плащах и девочки в голубых юбочках. Перебрасывают ловкими ударами палок большой мяч, и он высоко взлетает. Дети смеются. Серебристый смех раскатывается, звон колокольчиков, безостановочный, ровный.

Анне сначала весело следить за игрою. Хочется вмешаться, — ловче бы это делала. Но скоро смех утомляет. Анна всматривается в детей и думает: «Отчего у них бледные, злые лица?»

Подымает глаза к кирпичным стенам, — они непрерывны, за ними ничего не видно, только утомительно одноцветное, блекло-голубое небо подымается над ними. Анна опять смотрит на детей. Ничто не изменилось в скучном однообразии веселой игры, — но Анне внезапно делается страшно.

Знает, что приближается ужасное, и каждый раз, как взлетает мяч, сердце сжимается от ужаса. Под однозвучное бренчание безрадостного смеха возрастает ужас.

Знает, что надо сделать что-то, чтобы рассеять гибельные чары, но не может двинуться. Как пораженная летаргиею, напрягает все силы, но напрасно, — и неподвижно цепенеет посреди ярко-зеленого луга.

Видит: мяч опускается на нее, растет... Делает последнее, отчаянное усилие — и открывает глаза.

Сердце колотится до боли быстро, тело дрожит, холодея, но страх скоро уступает место радости. Солнце только что взошло, но все еще тихо вокруг, и только ранние пташки гомозятся в кустах.

Анна дивится своим грезам. Хотелось бы выйти в парк, к реке, но сон клонит, и она нехотя подошла к постели.

Закрывая одеялом похолодевшие плечи, почувствовала во всем теле истому и усталость, но ей казалось, что не заснуть. Однако едва прилегла щекою к подушке, как уже глаза закрылись, и заснула.

Пролежала в постели меньше обыкновенного и за это время несколько раз просыпалась. Перед каждым пробуждением снились новые сны, странные для нее, — прежде спала крепко и снов почти никогда не видала. Казалось потом, что во всю ночь грезила и поминутно просыпалась.

Приснилась густая роща. Между высокими деревьями теснились кусты, желтели стручки акаций, краснела волчья ягода и рябина. Удивительными цветами покрыты были маленькие холмики. Еле видные из-за чащи, пестрели деревянные кресты и каменные плиты. Светло, тихо, грустно...

Приснилось, что в густом лесу рыщут свирепые псы, яростно лают, обнюхивают землю и кусты, выслеживают кого-то... Бледный, испуганный, прячется за деревом. А она верхом въезжает в лес и не знает, что ей делать.

Еще видела себя у постели больного ребенка. Подымает одеяло — все тело ребенка в темных пятнах. Ребенок лежит смирно, смотрит на нее укоряющими глазами. Анна спрашивает его:

— Ты знаешь?

Ребенок молчит, — еще совсем маленький и не умеет говорить, — но Анна видит, что он понимает и знает. Кто-то спрашивает ее:

— Чья же это вина? И чем помочь?

Анне становится страшно, и она просыпается.

Потом увидела себя в каменистой пустыне. Воздух душен, мглист и багрян, почва — красный пепел. Анна несет на плечах человека — неподвижную, холодную ношу. Он ранен, и на Аннины плечи падает густая, липкая кровь. Его руки в ее сильных руках, — они бледны и знакомы ей. Она торопится и жадно смотрит вперед, где сквозь мглу видится слабый свет.

Раненый говорит ей:

— Оставь меня. Я погиб, спасайся ты.

Она слышит шум погони, гвалт, хохот. Он шепчет:

— Брось, брось меня! не вынесешь ты меня.

— Вынесу, — упрямо шепчет она и торопится вперед, — как-нибудь да вынесу.

Ее ноги тяжелы, как свинцовые, она движется медленно, а погоня приближается. Отчаяние! Выбивается из сил — и просыпается, и опять тревожно прислушивается к торопливому биению сердца.

## Глава восемнадцатая

В маленьком городе, как наш, быстро расходятся сплетни, и тем быстрее, чем неправдоподобнее и грязнее. Стоило поговорить Мотовилову со Вкусовым наедине на вечере у Кульчицкой, как уже на другой день неожиданная выдумка Мотовилова гуляла по городу, выдавалась за несомненное и ни в ком не встречала возражений.

В тот же день сплетня дошла до Клавдии. Занесла ее Валя, — она забегала иногда и к Кульчицким, где их семье тоже помогали.

Клавдия выслушала, сдвинула брови и сказала:

— Пустое! Как вам, Валя, не стыдно повторять такие гадости!

Валя засмеялась и приняла лукавый вид. Когда она ушла, Клавдия задумалась.

«Узнает и Нюточка, — злорадно соображала она, — оскорбится и не поверит. А может быть, и поверит? Или будет сомневаться? Или и совсем не узнает, — не скажет ей Валя, не посмеет или и начнет говорить, да не захочет и слушать Нюточка?»

Клавдия долго стояла у окна, щурила зеленые глаза и коварно улыбалась. День был ясен и тих, небо безоблачно, деревья зелены и свежи, теплый воздух льнул к бледным щекам Клавдии, — и жестокая непреклонность ясной природы навевала злые мысли.

Наконец веселая, решительная улыбка озарила лицо Клавдии. Она села к своему красивому письменному столу, загроможденному блестящими, вычурными пустяками, расчистила место для бумаги, откинула широкие рукава, взяла в руки перо — и звонко засмеялась. Беззаботный смех, как у мальчишки перед потешною шалостью. Но глаза дико горели.

Принялась выводить на почтовой бумаге буквы; старалась удалиться от обычного почерка. Всячески изменяла положение бумаги и рук, то изгибала, то выпрямляла спину, наклоняла голову то на одну, то на другую сторону, вскакивала иногда со стула, становилась на него коленями, и вся при этом трепетала и рдела, и пачкала пальцы чернилами.

Когда буквы долго не слушались, сжимала зубы, колотила кулаком по столу. Когда же казалось, что дело идет на лад, Клавдия вдруг принималась хохотать и зажимала рот рукою, чтобы кто-нибудь в саду или в комнатах не услышал ее веселья. Исписанный лист сжигала на спичке и принималась за другой.

Чем больше уничтожала листов, тем труднее казалось достижение цели, но тем спокойнее становилась она. Лицо бледнело сильнее обычного и принимало упрямое выражение. Через несколько часов решила, что торопливостью не возьмешь, и продолжала трудиться настойчиво, терпеливо замечала малейшие разности и укрепляла их старательными упражнениями.

Поздно ночью увидела, что достигла еще немногого, но что все-таки кое-чего добилась. На другой и на третий день сидела у себя безвыходно, и все медленнее, спокойнее и увереннее становилась работа.

К вечеру третьего дня осталась довольна своим трудом: перед нею лежал лист, которого уже не надо было жечь.

Откинулась на спинку стула, подняла над головою белые руки, — рукава с них упали до плеч, — и устало потянулась. Лицо было бледно и спокойно. Подошла к зеркалу. Долго смотрела прямо в глаза своему отражению, не улыбаясь, не торжествуя, холодным и неотразимым взглядом. Казалось, не было никакого выражения в ее лице, так оно было неподвижно.

Наглядевшись, равнодушно улыбнулась, опустила глаза на белые руки. На них были чернильные пятна, — принялась отмывать.

Потом стала перед открытым окном на колени и целый час так стояла, прямо и неподвижно, и смотрела на ясное небо и на яркую зелень.

С почты принесли Анне письмо с городскою маркою, что было редкостью в нашем маленьком городе. Почерк был незнаком.

Первые же строчки заставили Анну ярко покраснеть. Брезгливо уронила письмо на пол и с гневно сдвинутыми бровями подошла к окну. Ясен и тих был день перед нею, и она преодолела отвращение, подняла письмо и внимательно прочла с начала до конца. Оно было наполнено такими подробностями достоверных будто бы похождений Логина, которые невозможно передать. В конце приведены были оскорбительные и циничные слова, будто бы сказанные Логиным об Анне в присутствии нескольких человек.

Долго сидела перед прочтенным письмом и всматривалась в белые тучки, которые скользили по небу. Щеки горели, на глаза навертывались слезы. Мысли были рассеянны, но, как эти белые тучки, неудержимо влеклись в одну сторону. Чем дальше всматривалась в них, тем светлее и торжественнее становилось в душе. Когда косвенные лучи мирного заката упали на ее платье, кто-то незримый тихо и благостно сказал:

— Солнце их заходит, но тень твоя перед тобою!

Вслушиваясь в эти странные слова, которые носились над душою, как вечерний благовест над широкими полями, Анна встала, и радостно и грустно заблестели под слезами лучистые глаза.

— Так надо, — тихо сказала она и покорно наклонила голову.

Но хотела знать мнение отца, — во всем была ему послушна. Принесла письмо отцу, молча отдала. Ермолин прочел.

— Доброжелатель, как водится, — сказал он, когда дошел до подписи.

Анна молча стояла перед ним и смотрела с ожиданием. Ее платье, изжелта-белое с розовыми цветами, с очень высоким поясом, почти без складок опускалось к нагим стопам. Широко собранные выше локтя рукава обнажали неподвижно опущенные руки.

— Веришь? — спросил Ермолин.

Анна отрицательно покачала головою.

— И не следует верить, — решил Ермолин. — Это не может быть правдою, — не должно быть правдою.

Анна стала на колени перед отцом и опустила на его колени голову. Ермолин видел, что она плачет, но знал, что слезы ее радостны. Она сказала:

— Я рада, что и ты так думаешь. Нет, это я думаю, как ты, — ты мне показываешь, куда мне идти, и я делаю то, что ты мне скажешь.

Ночью Анне снилось, что она летает. Поднялась с постели, легкая, почти бестелесная, и тихо плыла под самым потолком, лицом кверху. Опускалась немного, когда достигала двери, и опять подымалась в другой комнате. Было сладко и жутко. Из окна тихо выскользнула в сад. Была темная ночь. Аллеи, под старыми ветвями которых проносилась она, хранили тайну и молчание. Кто-то следил за темным полетом черными глазами. Древние каменные своды вдруг поднялись над нею, — она медленно подымалась к вершине широкого, мрачного купола. Смутно-розовая заря занималась за узкими окнами. Своды раздвигались и таяли, — смутный свет разливался кругом. Заря бледно разгоралась. Небеса казались блеклыми, ветхими. Яркие полосы, как трещины, вдруг изрезали их. Еще мгновение, — и словно завесы упали с неба. Анна смотрела вниз, — мирные долины радовались солнцу. Мальчик трубил в серебряную дудку. Его розовые щеки надулись. Солнце горело на его дудке, — и в этом была несказанная радость.

Казенной работы у Логина было мало. Учебный год кончался, начались экзамены.

С учениками у Логина установились хорошие отношения. Он имел способность привлекать юношей и мальчиков, хотя никогда не заботился о том. Влечение к нему гимназистов происходило, может быть, оттого, что ему нравилось быть с ними и он искренно хотел, чтоб они приходили. Мягкие и незаконченные очертания их лиц тешили Логина, как и незрелые особенности их речи.

«Они еще строятся, — думал он, — а мы начинаем разрушаться. Они захватывают от жизни что можно, все себе и себе; мы, усталые под бременем нашей ноши, облегчаем себя, разбрасываем на ветер как можно больше, — и если нашею расточительностью кто-нибудь пользуется, мы называем ее любовью. Как невыразимо хорошо было бы умалиться, стать ребенком, жить порывисто, — и не задумываться над жизнью!»

Мечта рисовала наивные картины, — а рассудок ворчливо разрушал их. Возникала зависть к детскому жизнерадостному настроению, и даже к их легким и быстрым печалям. Порою хотелось быть жестоким с ними, — но был только ласков.

Иногда казалось, что следует стать дальше от мальчиков. По-видимому, это было нетрудно: стоило только быть, как все, смотреть на гимназистов, как на машинки для выкидывания тетрадок с ошибками. Но вот это и не удавалось: как бы ни был он иногда угрюм, он смотрел на них и желал от них чего-то. И они приходили к нему, как будто это было в обычае или так нужно было.

Сослуживцам его не нравилось, что гимназисты к нему ходят; говорили, что это непорядок. Им бы с учениками не о чем было говорить. С любовью беседовали только о городских делишках и разносили сплетни, ничтожные, как сор заднего двора.

В эти дни толки шли о деле Молина. Передавались нелепые слухи. Не стеснялись в непристойностях, — ими сопровождались всегда разговоры среди учителей, благо дам нет.

Утром в учительской комнате, в гимназии, Антушев, учитель истории, стоя у окна, сказал:

— Наш почетный куда-то катит в коляске.

— Где, где? — засуетился любопытный отец Андрей.

Все столпились у окон. Остались сидеть только Логин и Рябов, учитель древних языков, длинный, сухой, в синих очках, с желтым лицом и чахоточною грудью, одна из тех фигур, о которых говорят «жердяй! в плечах лба поуже». Он тихонько покашливал, язвительно улыбался и курил папиросу за папиросою с отчаянною поспешностью, словно от их количества зависело спасение его жизни. Подмигивая, шепнул Логину:

— Устремились, как цветы к солнцу.

— Наш дом на такой окраине, — ответил Логин, — что здесь редко кто проедет.

Знал, что Рябов — большой сплетник и любит, когда сплетничает на кого-нибудь, приписать тому или совершенную небывальщину, или свои же слова.

— А ведь это он к нам! — воскликнул отец Андрей.

— Красное солнышко, — проворчал Рябов, — майорское брюхо.

— А вы, Евгений Григорьевич, его не любите? — спросил Логин.

— Я? Помилуйте, почему вы так спрашиваете?

— Да так, мне показалось.

— Нет-с, не имею причин не любить его.

— В таком случае прошу извинить.

Рябов подозрительно посмотрел на Логина, улыбнулся мертвою гримасою, похлопал Логина по колену деревянным движением холодной руки и шепнул:

— Все мы, батенька, не прочь друг другу ногу подставить, — только зачем кричать об этом?

— Благоразумно!

Все уселись по местам и говорили вполголоса, точно ждали чего-то.

Минут через пять показался Мотовилов. Он был в мундире. Форменный темно-синий полукафтан, сшитый, когда Мотовилов был потоньше, теснил его. Толстая красная шея оттеняла своим ярким цветом золотое шитье на бархате воротника. Шпага неловко торчала под кафтаном и колотилась на ходу по жирным ногам. Мотовилов имел торжественный

вид. На его левой руке была белая перчатка; в той же руке держал он другую перчатку и треугольную шляпу. За ним вошел директор, Сергей Михайлович Павликовский, человек еще не старый, но болезненный, с равнодушным бескровным лицом.

— Пахнет речью! — шепнул Логину Рябов и устремился мимо него к Мотовилову.

Произошло общее движение. Учителя толкались, чтобы пораньше пробраться к Мотовилову. Кланялись почтительно, сладко улыбались и пожимали пухлую руку Мотовилова с благоговейною осторожностью.

— Удостоился и я приложиться, — опять шепнул Рябов Логину, — а вы что ж такой гмырой стоите? Видите, стенка какая: и не заметит.

Но Мотовилов заметил, раздвинул толпу жестом необыкновенного достоинства и с протянутою рукою сделал к Логину шага два. Учителя смотрели на Логина с завистью.

— Я особенно рад, — сказал Мотовилов, — что нахожу здесь и вас. Вы познакомитесь с нашим общим делом, к которому направлены наши мысли и, смею сказать, наши чувства. По всей вероятности, вы уже знакомы отчасти с этим.

— Кажется, еще не знаком, — возразил Логин.

— Знакомы, наверное, — я говорю о деле несчастного Молина.

— Ах, это! Виноват, я не догадался, что это — общее дело.

— Вы познакомились с ним через лиц заинтересованных, а теперь послушайте нас, людей беспристрастных.

Мотовилов тяжелою поступью подошел к столу, остановился перед ним и значительно посмотрел на учителей. Логин заметил в руках директора бумагу, большой лист, свернутый трубочкою. Мотовилов заговорил:

— Господа, мне очень приятно, что я вижу здесь почти всех вас. Мы успели составить дружную семью. Если в деле нашего взаимного единения и я моими скромными стараниями мог помочь, то я весьма горжусь этим. Я всегда был того мнения, — и глубокоуважаемый Сергей Михайлович, насколько мне известно, согласен со мною, — что моя обязанность не состоит только в том, чтобы делать взносы. Я решаюсь надеяться на более, так сказать, интимное

отношение к вам, господа. Мне кажется, я встречаю на этом пути ваше полное сочувствие. Надеюсь, что я не ошибаюсь?

— Мы все, — льстиво ответил отец Андрей, — очень высоко ценим ваше сердечное участие в наших делах. Да и как не ценить? Вы у нас, может быть, умнейший человек в городе. Я и старик, а с удовольствием слушаю ваши рассказы и поучаюсь, — без стеснения говорю, истинно поучаюсь.

— Краснобаи! — шепнул Рябов Логину.

А желтое лицо его, обращенное к Мотовилову, корчилось такою же гримасою низкопоклонства, как и умильные лица остальной компании.

— Благодарю вас, — сказал Мотовилов и пожал руку отца Андрея. — Само собой разумеется, что такие же отношения пытался я установить и в городском училище. Но в последние годы, к сожалению, мои намерения стали встречать дурную почву. В дружную семью преподавателей вторгся, если можно так выразиться, зловредный элемент. Надеюсь, что мне позволено будет говорить напрямки. Молодые люди часто заражены духом излишнего самомнения.

Мотовилов строго покосился на Логина, и все посмотрели на Логина строго.

— Да, молодежь не всегда достаточно почтительна, — с улыбкою сказал Логин.

— Дело не в одной почтительности. Впрочем, мы, люди старинного покроя, думаем, что и почтительность к людям, достойным уважения, — дело не лишнее. Почтенный инспектор городского училища, Галактион Васильевич, уже не раз выражал желание оставить свое место. Я уговаривал его. Я даже не раз ходатайствовал перед начальством — в частных разговорах — об его повышении, которого этот честный труженик вполне заслуживает. Мне обещали. И вот, когда явилась возможность, что освободится вакансия инспектора, явилась претензия на нее с той стороны, откуда ее нельзя было ждать, так как нет никаких заслуг, и всего года два службы, и возраст слишком ранний. Был в училище и другой кандидат, вполне достойный, — и вот он теперь устранен при помощи возмутительного поклепа.

— Да это — трагедия, — сказал Логин, улыбаясь, — и злодей, и жертва.

— Могу только удивляться вашему... взгляду на этот весьма серьезный предмет, — сказал Мотовилов и значительно поглядел на Логина.

Логин не отвечал. Ненависть к Мотовилову опять начинала мучить его. Мотовилов продолжал:

— Господа, я полагаю, что мы обязаны прийти на помощь нашему собрату.

— По картам и вину, — шепнул Рябов Логину.

— Перестаньте шептать, — тихо сказал Логин, — ведь он может обидеться.

— Все порядочные люди, с которыми я говорил об этом, думают, что Алексей Иванович — жертва интриги. Вы знакомы с его благородным характером и высоконравственными правилами, и я уверен, что найду в вас такое же сочувствие. Алексей Иваныч совершенно убит, и мы его должны утешить. Вот отец Андрей его видел и подтвердит вам, что он плачет.

— Да, плачет, — уныло сказал отец Андрей.

Все выразили на своих лицах сочувствие.

— Необходимо вывести дело на свежую воду, иначе это ляжет на нашу совесть. Мы составили коллективное заявление прокурору, что мы все уверены в невинности Молина, что просим освободить его и ручаемся за него всем своим имуществом.

— Берем на поруки, — пояснил директор.

— Попрошу кого-нибудь из вас, господа, прочесть заявление, и затем, кому угодно, пусть подпишет. Только те, кому угодно.

Рябов просунулся вперед и прочел заявление вслух. Все внимательно выслушали, сделали сочувственные лица и потянулись подписываться. В стороне остались Мотовилов, директор, которые подписались раньше, и Логин.

— Очень жалею, — сказал он, — но не могу присоединиться. Как я могу ручаться?

— Ваша воля! — сказал Мотовилов.

— Вот если б насчет выпивки, — по этой части я его знаю. Да и принесет ли это пользу?

— Там не могут не дать веса нашему мнению. Господа, — обратился Мотовилов к другим, круто отвернувшись от Логина, — могу сообщить вам печальную новость: и у нас холера, — вчера захворало двое мужчин и одна женщина.

Учителя испуганно переглянулись.

— Ничего, — ободрительно сказал отец Андрей, — до нас не доберется. Мне, кстати, прислали бочоночка три очищенной, — славная водка, — завтра милости прошу ко мне отведать.

## Глава девятнадцатая

Вечером у Логина был Андозерский. Они сидели в саду, в беседке, пили чай и разговаривали. В соседнем огороде бегали и смеялись Валя, ее вторая сестра Варвара и подруга их, Лиза Швецова, дочь здешнего частного поверенного, полуграмотного, почти всегда пьяного мещанина.

Андозерский посматривал на Валю маслянистыми глазками.

— Аппетитненький кусочек! егоза! — шептал он Логину. — Только чур — мое! Это не про тебя, у меня уж начато здесь дельце.

— А как же те три невесты?

— Э, невесты своим чередом: там честным пирком да и за свадебку, а здесь так, для приятного времяпрепровождения.

— Вот оно что! А и баболюб же ты!

— Есть тот грех, — скромно сознался Андозерский, нескромно подмигивая на девиц.

— Что ж, разве эта лучше?

— Ну, чего там, — я, дружище, не брезгуля. Да ты что думаешь? Она рада-радешенька. Вот увидишь, я сейчас заговорю.

Андозерский заговорил с девицами и открыл им калитку сада. Девицы, по-видимому, были очень довольны. Положим, в сад они не входили, жеманились, но зато не отходили и от калитки. Логин даже

заметил, что Валя расцветала от удовольствия каждый раз, как Андозерский заговорит с нею.

Поболтав с девицами с полчаса и посмешив их незамысловатыми анекдотцами и шуточками, Андозерский тихонько сказал Логину:

— Ну, хорошего понемножку. Этот народец, девчоночки, не ценят того, что им подносят в изобилии, а потому пора благородно отретироваться.

Логину жаль стало бедной девочки и захотелось предостеречь ее. За год он успел присмотреться к ней, хотя она, служа в селе, бывала дома, у матери, только по праздникам.

Валя была девушка совсем простенькая, легкомысленная. Кроме учебников своих, которые знала она плохо, да трех-четырех случайно попавшихся ей в руки романов, она ничего не читала. Само собою разумеется, что у Вали было очень мало отвлеченных понятий и что идеалы ее не были возвышенными.

Бедность не исключает желания повеселиться и принарядиться. Не была чужда этому желанию и Валя, как и ближайшая к ней по возрасту сестра, Варя. Дома, не при людях, они ходили в затрапезных платьицах, босиком, но отправляясь в город погулять или в гости, они принаряжались и охорашивались, как и след быть настоящим барышням.

У Вали уже был и жених. Не то чтоб они совсем сговорились, но как-то все точно условились называть и дразнить их женихом и невестою.

Это был воспитанник здешней учительской семинарии, Яков Announcement Сеземкин, рябой, кудрявый молодец по двадцатому году, который нынче весною кончал свой курс.

Мещанская молодежь, в которой вращались Валя и Варя, разбивалась очень рано на парочки: «кавалер» лет семнадцати выбирал «барышню» лет пятнадцати и валандался с нею. Эти связи не бывали прочны: то барышня, то кавалер изменяли своему «предмету», чтобы вступить в новый союз. Возникали отсюда сцены ревности, ссоры, баламуты.

Случалось и Вале, и Варе посчитаться из-за кавалера или друг с дружкою, или с подругами. Бывали и такие размолвки, которые постороннему могли бы показаться очень серьезными. Так, иногда сестры

вдвоем нападут на свою задушевнейшую подругу и наиболее частую гостью, смазливенькую Лизу Швецову, и, по наивной простоте своего нрава и пылкости темпераментов, поколотят ее, «поправят ей прическу», как они выражались. Лиза заверещит и выбежит от них в слезах и гневе, объявляя, что «нога ее больше не будет в этом доме». Пройдет два-три дня, Лиза снова у Дылиных, обнявшись с сестрами, гуляет по огороду.

Но из-за Якова Сеземкина сестрам не приходилось завидовать подругам: он ухаживал только за ними, поочередно, то за Валею, то за Варею, и не давал другим девицам ни малейших надежд на благосклонность. Сестры по праву старого знакомства называли его, иногда даже в глаза, запросто Яшкою. Они были соседями: мать Сеземкина имела домишко, полуразвалившуюся избушку на курьих ножках, рядом с огородом, который принадлежал к квартире Дылиных. Этот домишко зачастую бывал предметом насмешек, которыми обе сестры безжалостно осыпали бедного Яшку.

Вообще сестры почти всегда ссорились и ругались с Яшкою, хотя питали высокое уважение к его уму и познаниям.

— Он — башковитый, — говорили они про него.

Сам Сеземкин чванился тем, что он умный и что он педагог. Самомнение и обидчивость Сеземкина особенно подстрекали сестер: они вволю над ним издевались и тем его беленили. А все-таки его тянуло в их квартиру, как муху к меду.

В последний год одна Валя была его зазнобою: он ухаживал только за нею. Варя ожесточеннее обыкновенного издевалась над ним, Валя за него начала заступаться.

Как-то незаметно для себя перешли они к интимным беседам: стали строить планы, как они будут жить, когда он кончит семинарию; встречаясь наедине, они торопливо целовались, и при этом оба краснели до ушей и стыдливо потупляли глаза.

Но все это изменилось, когда Андозерский обратил внимание на Валю. Валя вздумала, что Андозерский влюблен в нее и хочет на ней жениться; тогда она будет барынею. Это льстило ее воображению. Да и сам Андозерский был бравый мужчина и не в пример солиднее

молоденького, не оперившегося еще семинариста. Что Яшка? мальчишка, молокосос, а тот настоящий барин и красавец.

Валя охладела к Якову. Он сначала недоумевал, потом озлился, стал высматривать, выспрашивать и узнал-таки, в чем дело. Это было и не трудно в нашем городе, где все обо всех знают всю подноготную.

Яков попытался было убедить Валю.

— Ой ты, бесстыжие глазья, — говорил он, — не женится ведь он на тебе. Он только лясы точит, турусы на колесах подпускает, — а ты и развесила уши. Подденет он тебя, как щуку на блесну, тогда запоешь свиным голосом.

Но сестры беспечно подняли его на смех. Яков с горя запил. Это было еще на Пасхе. Каждый день на брезгу он начинал пить и к полудню бывал уже пьян.

Так продолжалось несколько дней.

Наконец товарищи стали его уговаривать:

— Брось, ведь могут исключить.

— Теперь мне все равно, — мрачно отвечал Яков, поматывая над водкою вихрастою головою, — пусть исключают, я пришел в отчаяние. Бултыхну в воду — и дело с концом.

Мне больше некого любить,
Мне больше некому молиться[1] —

продекламировал он, упал головою на стол и горько зарыдал.

Товарищи стояли вокруг с торжественными лицами. Они прониклись сознанием важности того, что совершалось: они созерцали, как губительно действует на сильную и гордую душу отвергнутая любовь. Впрочем, все они были пьяны.

На буесть пьяных товарищей остальные семинаристы смотрели с уважением. Но тем было мало этого: они жаждали всенародного подвига.

На пятый день праздника банда подвыпивших семинаристов блыкалась по городским улицам, оглашая город удалыми песнями. Один из них держал в руке бутылку с водкою, другой тащил связку извалявшихся в грязи бубликов. На соборной площади они уселись на земле в кру-

жок, взялись за руки и запели «Вниз по матушке по Волге». Яков запевал. Грубые с перепоя голоса далеко раздавались, как дикий рев.

Горожане были возмущены. Сразу два анонимных доноса полетели к учебному начальству. Но авторы переусердствовали, нагородили несообразностей и к тому же разошлись в показаниях. Доносы были брошены под стол. Доносчики ждали ревизии — и не дождались.

На другой день, раньше, чем вчерашние герои успели опохмелиться, им пришлось уже иметь объяснение с директором семинарии. Объяснение было кратко, но внушительно. Пришедшие было в отчаяние семинаристы вернулись в прежнее, не отчаянное состояние и перестали баловаться.

Только Сеземкин напивался еще каждое воскресенье у себя дома, подальше от директорских глаз.

А Валя размечталась не на шутку. Да и как ей было не мечтать? Ведь и свое место получила она лишь благодаря общему сочувствию к Дылиным, вызванному смертью их отца. А раньше наш инспектор народных училищ никак не мог признать простенькую Валю достойною занять учительскую должность.

— Помилуйте, — говорил Александр Иванович Пономарев, — что это за учительница: за водой с ведрами босая бегает! Да и науки изучала она не отлично. Легкомысленная девчонка, и больше ничего. И без всяких манер. Да у меня есть кандидаты из учительской семинарии, прекрасно воспитанные юноши: говорит с начальством, так он руки по швам держит, стоит навытяжку. Вот это я понимаю, я спокоен за школу, — он там заведет образцовую дисциплину. А чтоб эту вертушку назначить, — да ни за какую благодать! Да и из девиц у меня есть кандидатки, воспитанные барышни из хороших семей. А этой, уж извините, я не могу доверить школу.

Инспектор говорил решительно и убежденно, потому что так думали влиятельные лица в земстве и в городе. Сам же он был человек к школьным вопросам довольно равнодушный уже по самому своему невежеству: отличался он в молодости не столько успехами в науках, сколько скромным поведением, и на свое настоящее место был назначен за благочестие, которым сумел обратить внимание

какой-то особы. До манер и воспитанности тоже ему мало было дела: сам он до настоящего времени сохранил много простоватых привычек. В службе наш инспектор был и очень исполнителен, и очень несообразителен, и всячески старался оберегать школы от неблагонамеренных элементов: он не давал потачки учителям, которые не постились по средам и пятницам, а красное платье одной учительницы послужило поводом к ее увольнению от должности.

Когда в городе заговорили о бедственном положении Дылиных, всеми было решено без рассуждений, что Вале надо дать место. Инспектор не сопротивлялся и дал Вале место на пятнадцать рублей в месяц.

— Послужите помощницей годика два-три, — ласково говорил он ей, — а там мы вас и учительницей сделаем.

Валя была в восторге и горячо принялась за дело. Мальчики, ее ученики, маленькие удивленные зверьки с грязными лапами и неопрятными носами, были тупы и бестолковы, но они хотели учиться и всячески натуживались на уроках, чтоб «дойти до дела». Уроки были, конечно, трудны для неопытной и малосведущей Вали, но дело кой-как двигалось.

Зато Вале трудно было ладить с учителем. Сергей Яковлевич Алексеев был человек дикого и глупого вида. Лоб у него был узкий, низкий, затылок воловий, лицо заросло колючими темно-рыжими волосами. Сестры Дылины, знавшие его раньше, со свойственною им откровенностью называли его обалдуем. Беда Вали была в том, что он имел причины быть недовольным ее назначением и смотрел на Валю как на врага.

До Вали в его школе тоже была помощница. Учитель и помощница рассчитали, что им будет выгодно соединить свои жалованья и жить вместе: сорок рублей в деревне — это громадные деньги, — к старости можно прикопить кругленький капиталец, если откладывать каждый месяц понемногу. Они поженились в прошлом году на Красной Горке. Лизавета Никифоровна переселилась из крестьянской избы в квартиру учителя, при школе. В неуютных дотоле двух комнатах Сергея Яковлевича запахло семейным очагом, — и учитель блаженствовал.

Получив в земской управе в первый раз жалованье свое и женино и почувствовав себя богаче Ротшильда, Сергей Яковлевич решил кутнуть во всю ивановскую, но не по-холостецки, а приличным, семейным образом. Он купил с этою целью елисеевского портвейну, целую бутылку, в рубль двадцать пять копеек, и остальную до двух рублей сумму издержал на приобретение разных закусок, а именно: сыру со слезою и трещинками и колбасы, полгода тому назад привезенной из столицы и слегка подернутой белесоватым слоем плесени. Нагрузив карманы, он шел по улицам в праздничном настроении, которому соответствовала превосходная погода. Сквозные тучки тихонько таяли и тонули в голубой пустыне; молодые березки бульвара покачивали за зеленою решеткою своими белыми стволами и протяжно лепетали тоненькими веточками; веселая пыль вилась и носилась серыми вихрями и облаками и не хотела угомониться; река игриво колыхалась во всю свою ширину мелкою рябью, и солнечные лучи дробились на ней, словно кто-то рассыпал целую горсть новеньких гривенников. Такое сравнение пришло в голову Сергею Яковлевичу, и он, опершись на перила моста, размышлял: «А что, если б там в самом деле были гривенники? Пошел ли бы я теперь собирать их? Э, зачем бы я стал трудиться, лезть в воду, рисковать простудиться!»

Встречались знакомые, поздравляли, дружелюбно подмигивали на левый карман его пальто, откуда торчала завернутая в белую бумагу бутылка. Сергей Яковлевич улыбался, хлопал себя по карману, где было вино, и по тому карману, где были деньги, и объявлял:

— Тороплюсь домой. Знаете, нельзя ж.

— Ну, ну, — отвечали ему, — еще бы, жена, поди, ждет не дождется.

И присовокупляли к этому еще разные поощрительные и остроумные замечания, соответствующие, по правилам приятного обхождения, положению дел.

Встретился Сергею Яковлевичу и инспектор, Александр Иванович, и тоже поздравил.

— Вот теперь вам веселее будет, — сказал он.

— Как же-с, Александр Иваныч, гораздо веселее.

— Семейка ваша учительская увеличится...

— Гы-гы, — стыдливо и радостно хихикнул Сергей Яковлевич.

— К осени, — кончил Александр Иванович.

— Гы-гы, Александр Иваныч, к осени не поспеет.

— Чего не поспеет, — уж есть кандидатка.

— Кандидатка? — в замешательстве и недоумении пролепетал Сергей Яковлевич.

— Есть, есть! Уж за лето, так и быть, пусть ваша супруга попользуется жалованьем, — пригодится вам на обзаведенье, — а с осени назначим вам помощницу.

— Да зачем же, Александр Иваныч? Жена ведь не хочет уходить, — она останется, что ж, отчего ж ей не остаться?

— Что вы, Сергей Яковлевич, разве это можно?

— Да отчего же?

— Оттого, что не дело. Что за учительница, коли она замужем? У нее хозяйство, дети будут. Да надо и другим место дать, — Лизавета Никифоровна пристроилась.

Сергй Яковлевич как с неба упал.

В состоянии, близком к мрачному отчаянию, возвращался он домой, трясясь на жестком сиденье валкого тарантаса, который прыгал высокими колесами по твердым колеям глинистой дороги.

Несносная пыль лезла Сергею Яковлевичу в рот и в нос, слепила глаза; солнце, опускаясь к западу, глупо и равнодушно смотрело ему прямо в лицо, — очень неудобно было ехать. Воркуны надоедали своим однозвучным брекотком. Притом же вспомнил он, что Лизавета Никифоровна вовсе не так красива, как ему казалось до свадьбы.

«Это я, значит, на свою шею взвалил такой сахар, — злобно думал он, — бантики, тряпочки, а зубы уж съела, — ни кожи, ни рожи, ни виденья!»

Его оскорбила мысль, что он везет для нее вино.

«Не жирно ли будет?» — подумал он и принялся откупоривать бутылку при помощи перочинного ножа. Выпивая и закусывая, скоротал он дорогу. Домой вернулся он в настроении воинственном и произвел первый семейный дебош.

Сергей Яковлевич притеснял Валю и старался показать ей, что он — начальник. Лизавета Никифоровна «подпускала шпильки». Батюшка-законоучитель держался сначала дипломатично, но предпочитал Сергея Яковлевича: у учителя бывала водка, у Вали ее не было; Валя жила в избе у крестьянина, которому платила пять рублей в месяц за квартиру и за обед, — Сергей Яковлевич жил посемейному, солидно, у него можно было и закусить после урока.

И вот однажды, когда при такой закуске случилась Валя, батюшка решился дружески попенять ей, что она мало следует примеру старших.

— Вы их избаловали, Валентина Валентиновна, — укоризненно говорил он, закусывая верещагою водку, — давно ли здесь, а избаловали. Нехорошо-с!

— Да чем же?

— У Лизаветы Никифоровны не так бывало. Были тише воды, ниже травы. Без мер строгости нельзя-с, милостивая государыня!

— Вестимо, нельзя, — солидно сказала Лизавета Никифоровна.

— Да коли мне не приходится наказывать!

— Да, вот разводите им ушами, — вот и распустили.

— Да коли не за что наказывать, так как же, батюшка?

— Ну, это дичинка с начинкой, — сказал Сергей Яковлевич.

— Гм, не за что! — продолжал батюшка. — А вот вам пример: придет к вам какой-нибудь мерзавый мальчишка с грязными лапами, так вы что сделаете?

— Пошлю помыться, — ответила Валя.

— А если и завтра тоже?

— Ну что ж, ну, опять пошлю мыться.

— Нет-с, это канитель одна. А вот вы у вашего большака спросите, как он в таких случаях поступает, а то вы очень артачливы, вам бы все по-своему.

— Гы-гы, да-с, вы у меня спросите, дело-то лучше будет. Слава Богу, не первый год в школе.

— Ну, как же вы поступаете?

— А вот как: я такого неряху, не говоря худого слова, пошлю на двор да велю ему на руки шестьдесят ковшиков вылить.

— Это зимой-то?

— Да-с, зимой. Небось другой раз не захочет.

— Ау, брат, не захочет, — подтвердил батюшка. — Так-то вот, молоденькая наставница, вы у нас, опытных людей, спросите.

— А по-моему, это глупо, — сказала Валя, густо краснея.

— Вот как! — воскликнула Лизавета Никифоровна, — скажите пожалуйста, мы и не знали!

Вскоре произошел случай, который заставил батюшку занять положение, явно враждебное Вале.

Когда батюшка приходил на урок в ее отделение, — младшее, — Валя уходила домой. Однажды во время батюшкина урока не посиделось ей дома и она вернулась в школу раньше обыкновенного. В сенях услышала она крик батюшки и вой мальчугана. Она открыла дверь. Удивительное зрелище представилось ей.

Батюшка с ожесточением бутетенил свернутою полою рясы мальчика; другую руку он запустил ему в волоса; мальчик вопил и корячился. Другой наказанный стоял у печки вверх тормашки; ноги его были подняты на печку, тело наклонно свешивалось головою вниз, лицо, обращенное к полу, было закрыто опустившимися и спутанными волосами. Мальчик стоял как вкопанный, крепко упираясь в пол растопыренными пальцами.

Услышав стук отворившейся двери, батюшка выпустил мальчика, с которым занимался, строго посмотрел на Валю и спросил:

— Вам что угодно?

— Что вы делаете? — крикнула Валя, краснея до слез, — как вам не стыдно!

Она бросилась к печке и поставила мальчика на ноги. Мальчик тяжело пыхтел. Покрасневшее до синевы лицо его выражало тупой испуг.

— А позвольте вас спросить, госпожа помощница учителя, вы по какому праву вмешиваетесь в мои распоряжения? — воскликнул батюшка, грозно выпрямляясь.

— А по такому праву, что вы так не смейте поступать. Дурману вы объелись, что ли?

— Так-то вы при учениках поговариваете! Вы их против меня бунтовать! Ну, попомните вы это. Я вам улью щей на ложку! Я не останусь в долгу!

Батюшка ушел, грозно хлопнув дверью. Мальчишки сидели ни живы ни мертвы. Засудят, поди, — думалось им, — бесшабашную учительницу!

Начались у Вали раздоры с учителем и с батюшкою, раздоры, не раз заставлявшие ее поплакать. Поповны сделались также ее врагами и раз весною чуть не засыпали ей глаза табаком, когда она шла мимо их дома. Сеземкин помогал ей советами, — дал ей, например, рецепт от глупости, который Валя подбросила Сергею Яковлевичу и тем очень оскорбила его. Но когда с Яковом она поссорилась, уже некому было давать ей остроумные советы.

Когда Андозерский ушел, Логин опять спустился в сад. Девицы были еще в огороде. Логин подошел к калитке.

— Послушайте-ка, Валя, хотите, я вам новость скажу?

Девицы захихикали.

— Ах, скажите, пожалуйста, — сказала Валя, жеманно поджимая губы.

— Вот скоро свадьба будет.

— Ах, неужели? Ах, как это интересно! Чья же свадьба?

— А вы будто не слышали?

— Право, не знаю.

— Андозерский женится.

Валя покраснела.

— Не может быть! — воскликнула она.

Логин улыбнулся.

— Отчего ж ему и не жениться?

— На ком же? — спросила Варя, насмешливо посматривая на сестру.

— А вот уж этого я вам не скажу. Впрочем, на богатой девице.

— На богатой? — переспросила Валя, стараясь сделать равнодушное лицо. — Вот как!

— Да, да, на богатой. Однако по любви.

— На ком же, однако? — приставала Варя.

— Нет, уж не скажу. Сами догадайтесь.

— О, я разнюхаю! — воскликнула Валя.

Она еще пуще покраснела и бросилась бежать домой.

## Глава двадцатая

Анатолий часто заходил к Логину, — успел завязать сеть общих интересов.

— А вы, Толя, похожи на сестру, — сказал Логин.

Мальчик в это время пересматривал берендейки на письменном столе. Он засмеялся и сказал:

— Должно быть, очень похож: вы мне и вчера то же говорили.

— Да? Я очень рассеян бываю нередко, мой друг.

— У нас с сестрой широкие подбородки, правда?

— Чем широкие? Вот вы какой молодец — кровь с молоком!

Анатолий застенчиво покраснел.

— Я к вам по делу. Можно говорить? Не помешаю?

Прочел о летательном снаряде, — и захотелось сделать этот снаряд по рисункам. Долго и подробно толковали, что нужно для устройства снаряда. Заходила речь и о других предметах.

Провожая Анатолия, Логин опять думал, что мальчик похож на сестру. Захотелось целовать Толины розовые губы, — они так доверчиво и нежно улыбались. Ласково обнял мальчика за плечи. Сказал:

— Приходите почаще с вашими делами.

— Спасибо, что берегли, — сказал Анатолий. — Это так здешние мещане говорят хозяевам, когда уходят, — пояснил он, сверкая радостными глазами; потом сказал тихо: — А к вам барышня идет.

И побежал по ступенькам крыльца. Логину весело было смотреть на его белую одежду и быстрое мелькание загорелых босых ног, голых выше колен.

Ирина Петровна Ивакина, сельская учительница, шла навстречу Анатолию по мосткам пустынной улицы. Логин встречал ее всего раза два-три. Ее школа была верстах в тридцати от города.

Логин провел Ивакину в гостиную. Девица уже не молодая, маленькая, костлявая, как тарань, чахоточно-розовая, легко волнующаяся, говорила быстро, трескучим голосом и сопровождала речь беспокойными движениями всего тела. Заговорила:

— Я явилась к вам, чтобы указать вам дело, которое наиболее необходимо для нашей местности. Я слышала о ваших предположениях от Шестова. Это чрезвычайно порядочный господин, но, к сожалению, заеденный средою и своей скромностью. Я вполне уверена, что его безвинно впутали в дело Молина: это интриги протоиерея Андрея Никитича Никольского, который состоит личным врагом Шестова из-за религиозных убеждений. Но это после. А теперь я должна сказать, что необходимо издавать газету.

— Газету? здесь?

— Ну да, что же вас удивляет? Необходимо иметь местный орган общественного мнения в нашей глухой, забытой Богом трущобе.

— На что вам так вдруг понадобилось общественное мнение? — спросил Логин с усмешкою.

Ивакина вся взволновалась, раскраснелась, закашлялась.

— Как! помилуйте! можно ли об этом говорить? Вы здесь смеетесь, вам хорошо в городе, а каково нам в селах, в самых центрах армии невежества и суеверий, где мы, учителя и учительницы, являемся единственными пионерами прогресса!

— Едва ли мы можем помочь вам нашей газетой, да и средства...

— Обязательно можете, — барабанила Ивакина, — направление школьного дела во многом зависит от людей, живущих в городе, — здесь живут те особы, на ответственности которых лежит весь ход кампании во имя народного просвещения, и они должны сосредоточить все свое внимание на положении народной школы.

— Уж и все внимание!

— Обязательно. Школа в селе — это аванпост, утвердившийся во враждебном стане, аванпост, который один мог бы пробить брешь в китайской стене народного неразумия. А вместо того полнейшее невнимание, хоть волком вой.

— Но разве у вас не бывают?

— Я, например, за два года заведования школой в Кудрявце только однажды удостоилась посещения господина инспектора, но и это посещение было только проверкою школьных успехов без всякого отношения к внутреннему строю школы.

Чрезмерно быстрая трескотня Ивакиной начала утомлять Логина. Он вяло сказал:

— Должно быть, вам доверяют.

— Я имею за собою пятнадцатилетнюю опытность и некоторое знание школы, — продолжала Ивакина, — что и помогло мне не потерять головы, не отрясти праха от ног своих и не убежать без оглядки. Впрочем, тому, что я была забыта, причиной, вероятно, личные счеты, хотя, по моему крайнему разумению, в таком деле, как народная культура, личные недоразумения следует откладывать в сторону до более удобного случая. Я, например, не могла добиться полного сочувствия в таком полезном и чрезвычайно благородном предприятии, как «товарищество покровительства полезным птицам» из школьников, устроенное недавно мною.

— Как же это, я не понимаю, полезные птицы из школьников? — спросил Логин с досадливою усмешкою.

— Нет, школьники по моей инициативе составили из себя товарищество для покровительства полезным птицам, гнезда которых разоряются мальчиками из шалости.

— А!

— Можете себе представить, даже такая светлая личность, как Ермолин, отнесся к этому делу без должного сочувствия, — хотя он и признает это товарищество полезным, но не смотрит на него как на дело возвышенное, идеальное.

— А Анна Максимовна как смотрит на это дело?

— Она слишком молода. Она еще только улыбается, когда с нею говорят о таких серьезных вопросах. Она только жать хлеб умеет да свои платочки стирать, а вопросы высшего порядка ей малодоступны.

— Вот как!

— Но я все-таки устроила это товарищество. Ни за какие блага в мире я не намерена в чем-нибудь скиксовать!

— Это делает честь вашей энергии.

— Наша обязанность — посвящать все силы святому делу просвещения. Не то поразительно, что приходится вести борьбу с дикостью массы, — это естественно, — а поражает то грустное явление, что лица, которых обязанность — служить духовному просвещению этой массы и поддерживать учреждения, стремящиеся к той же великой цели поднятия масс, поступают как раз наоборот: подкапывают эти учреждения, стараются всячески уронить их в глазах народа, не брезгая для этого ни заугольными сплетнями, ни грязными инсинуациями или прямо клеветой. Я говорю о тамошнем священнике, господине Волкове. Это человек, которого не сразу раскусишь, совершенный хамелеон. Он расточает любезности, пожимает вам руку, а в то же время всячески старается вас подкузьмить и пишет на вас кляузные доносы. Я не стала бы подымать всей этой грязи, если б не считала себя нравственно обязанной разоблачить шашни этого человека.

Ивакина тарантила бы еще долго. Но Логин угрюмо и настойчиво перебил ее.

— Послушайте, Ирина Петровна, вы не пишете ли стихов?

Ивакина опешила.

— Но какое же отношение? Я не понимаю... Конечно, нет.

— Знаете что? Вы подождите немножко... хотя воздушных шаров.

— Как? аэростатов?

— Вот когда полетят всюду управляемые воздушные шары, тогда и без газеты ваш аванпост, как вы изволите выражаться, будет сильнее, я вам ручаюсь за это.

— Но как же это ждать? — лепетала Ивакина в недоумении.

— А теперь никакая газета не поможет, отложите попечение. Делайте скромно ваше дело и ждите воздушных шаров.

— С динамитом! — прошептала Ивакина, в страхе вглядываясь в угрюмое лицо Логина.

— С динамитом? — с удивлением переспросил Логин. — Полноте, есть вещи посильнее динамита, без всякого сравнения.

— Сильнее динамита?

— Ну да, конечно.

— Но... как же... неужели без революции нельзя?

— Ну, какая там революция, — сказал Логин и прибавил, чтоб утешить Ивакину: — Что ж, подумаем и о газете.

Ивакина с перепуганным видом стала прощаться.

«Мозги у нее набекрень», — думал Логин.

Едва ли мог предвидеть, к каким последствиям приведут нечаянные слова о воздушных шарах.

Ивакина вышла напуганная. Разговор припоминался ей в самых мрачных красках: Логин сидел хмурый, почти ничего не говорил, кусал губы, улыбался саркастически, — и вдруг таинственные слова, — воздушные шары, и на них что-то сильнее динамита. Ивакина боялась и говорить об этом, — рассказала двум-трем, на скромность которых можно положиться. А на другой же день пошли слухи, один нелепее другого, и взбудоражили город.

Стали говорить, что кто-то видел воздушные шары от прусской границы (она находится на расстоянии многих верст от нашего города). Говорили, что один шар летал совсем близко к земле и что с него немецкие офицеры бросали прокламации, а мужики их подбирали и, не читая, несли к уряднику. Другие говорили, что это не прокламации, а целая уйма поддельных кредиток, и мужики будто бы их припрятали, — собираются платить ими подати.

Говорили и то, что сидели в шарах не офицеры, а молодые люди в поярковых шляпах и красных рубахах-косоворотках, пьяные, и пели возмутительные песни, не то «Марсельезу», не то камаринского. Казначей Свежунов спорил, что пьяные в поярковых шляпах приехали не «на шарах», а по реке в лодках, что пели они про утес Стеньки Разина и привезли с собою голую девку; все это, уверял казначей, видел он своими собственными глазами, купаясь, а теперь, по его словам, молодые люди сидят в Летнем саду в ресторане, пьют и поют, а девка пляшет и красным флагом машет. Многие пошли в сад, но не нашли молодых людей в поярковых шляпах, а половые уверяли, что чужих голых девиц здесь не было. Обманутые устремлялись снова к казначею и укоряли его.

— Я пошутил, душа моя, — говорил Свежунов и громко хохотал.

Но мещане волновались и беспокоились не на шутку.

Солнце склонялось к западу и стремилось озарить насквозь террасу дома Ермолиных, — оно вонзало неяркие лучи в промежутки холстинных занавесей. Смуглые Аннины щеки пламенели. Задумчивая улыбка румянила ее губы, и они круглились, как створки розовой раковины. Ее руки устало лежали. На ней было платье из полосатой вигони. Черные атласные ленты на кушаке и на банте у воротника в лучах солнца казались подернутыми розоватым налетом, нежным, как цветень. И нарядное платье, и едва видные из-под его края белые ноги, как ноги лесной царевны, — и вся она как сказка, как воплощенная жизнью милая мечта.

Ермолин и Логин оживленно разговаривали. Это была одна из бесконечных бесед, которые Логин часто вел с Ермолиным. Его неопределенные воззрения были так печально противоположны ясным взглядам Ермолиных, что он сам чувствовал свою душевную разоренность, но не хотел отказаться от своего.

В саду послышались шаги. Анна прислушалась к ним. Сказала, улыбаясь Логину:

— Нашего полку прибывает.

— Кажется, я узнаю шаги, — тихо ответил он, — тогда это не те, с кем я хотел бы стоять в одних рядах.

Это пришли Андозерский и Михаил Павлович Уханов, судебный следователь. Его считали у нас необыкновенно умным за то, главным образом, что он всегда бранил русских людей и русские порядки. Он начинал болезненно тучнеть, имел бледное лицо и казался недолговечным. Своими длинными черными волосами он кокетничал. Андозерский посещал Ермолиных не только потому, что имел виды на Анну, но и потому, что считал своею обязанностью как член судейского сословия придерживаться общества образованных, независимых людей, хотя скучал, если не было карт, танцев или выпивки. Душою же тянулся к влиятельным людям, делающим свои и чужие судьбы.

Уханов на вопрос Ермолиных про дела заговорил о трудностях следствия по делу Молина. Рассказывал:

— Получается такое впечатление, точно кто-то старается замазать дело. Свидетели несут околесицу, точно их запугивают или подкупают.

— Ну, кому там подкупать! — вмешался Андозерский.

— Кому? Русские люди, известно, — один затеет пакость, за ним и другие. Я вот уверен в его виновности, а в городе шумят, на меня жалуются.

— Добрый малый, — друзьям за него обидно.

— То-то вот, друзьям, — тоже гуси лапчатые. Мотовилов, например, — да это привычный преступник. Нагрел руки, воровать уж не надо, — он иначе закон нарушает: подкупает свидетелей, самоуправствует. У него и дети — выродки.

— Ну, вы уж слишком, — перебил Андозерский.

Уханов сердито замолчал. Логин сказал:

— А и правда, — об этом деле все в городе под чью-то дудку поют; по-своему и думать боятся, — террор какой-то: кто запуган, кто захвален. Вот я слышал на днях, кто-то хвалил Миллера: «Прекрасный человек, честный, — он так возмущен поступками следователя в деле Молина».

Все засмеялись. Ермолин заметил:

— Многие из них уверены, что доброе дело делают, спасают.

Логин и Анна сидели за шахматным столиком, у окна, в розовом свете догорающего вечера. Анна играла внимательно, точно работала, — Логин рассеянно. Пока Анна обдумывала ход, он печально смотрел на ее наклоненную над шахматами голову и на высокий узел прически. Томила мысль, посторонняя игре, мысль, которую не мог бы выразить словами, — точно надо было решить какой-то вопрос, но решение не давалось. Знал, что она сделает ход, подымет глаза и улыбнется. Знал, что в ее доверчивой улыбке и в ее светлых глазах мелькнет ему решение вопроса, простое, но для него непонятное и чуждое. Более всего томило это сознание отчуждения, неразрушимой преграды между ними.

Когда приходила его очередь делать ход, он изобретал затейливые и рискованные сочетания. Ответы Анны были просты, но сильны; они

приводили его в игрецкий восторг. Составить себе ясный план он теперь не мог, — увлекали ненадежные, переменчивые соображения; мог бы выиграть только в том случае, если бы играл с неискусным или горячим игроком. Но Анна продолжала играть обдуманно и верно.

Наконец увидел, что его фигуры нелепо разбросаны, а черные, — ими играла Анна, — держатся дружно. Сделал ход осторожный, но зато и слабый. Анна после ответного хода сказала:

— Если вы так будете продолжать, живо проиграете, — вы точно поддаетесь.

— Поддаюсь? Нет, но на моем месте фаталист-азиат, любитель шахмат, сказал бы: «Мудрый знает волю Всемогущего, — я должен проиграть».

— Пока еще нельзя сказать.

— Я должен проиграть, — с грустью в голосе сказал Логин и сделал рискованный ход.

Анна покачала головою и быстро ответила смелою жертвою. Он поднял было руку, чтобы взять ферзя, но сейчас же опять сел спокойно. Анна спросила:

— Что же вы?

— Все равно, пришел мат, — вяло ответил Логин. — Приходится сдаваться. Выигрывает только тот, кто верит, а верит только тот, кто любит, а любить может только Бог, а Бога нет, — нет, стало быть, и любви. То, что зовут любовью, — неосуществимое стремление.

— Этак рассуждая, никто не должен выигрывать.

— Никто и не выигрывает. Да не только выигрыш, победа, — самая жизнь невозможна. Если позволите, я расскажу вам одно детское воспоминание.

Анна молча наклонила голову. Она откинулась на спинку стула и на минуту закрыла глаза. Шахматная доска с фигурами ясно рисовалась перед нею, потом задвигалась и растаяла. Логин говорил:

— Было мне лет двенадцать. Я захворал. И вот перед болезнью или когда выздоравливал, не помню хорошо, приснилось мне, что случилось что-то невозможное, а виной этому я, и это невозможное я дол-

жен исполнить, но нельзя исполнить, сил нет. Словами сказать — это бледно, а впечатление было неизъяснимо-ужасное, ни с чем не сравнимое, — как будто все небо с его звездами обрушилось на мою грудь, а я должен его поставить на место, потому что я сам уронил его. И я безумно шептал впросонках: «Тысячу гнезд разорил, — сыграть не могу». Это часто припоминалось мне потом, но всегда гораздо слабее, чем я пережил. Так удивительно было это впечатление, что я потом старался вызвать его в себе, — искусственно создавал кошмар. Кошмары мучили, томительные, сладостные, — но то, единственное, не повторялось. Теперь, после того как я так долго и упорно гнался за жизнью и так много ее погубил, я понимаю этот пророческий сон: жизнь душила меня — ее необходимость и невозможность.

— Невозможность жизни! Живут же...

— Живут? Не думаю. Умирают непрерывно — в том и вся жизнь. Только хочешь схватиться за прекрасную минуту жизни — и нет ее, умерла.

— Какая гордость! Зачем требовать от жизни того, чего в ней нет и не может быть? Сколько поколений прожило — и умерли покорно.

— И уверены были, что так и надо, что у жизни есть смысл? А стоит доказать, что нет смысла в жизни, — и жизнь сделается невозможною. Если истина станет доступна всем, никто не захочет жить. Чем более знания и ума в обществе, тем заметнее делается, как иссякают источники жизни. Вот почему, я думаю, люди нашего века так жалостливы к детям: их наивная простота завидна нам. Говорят, — я для детей живу. Для детей! Прежде для себя жили и были счастливы, как умели.

— Потому что были глупы?

— Давно сказано: «блаженны нищие духом».

— Что ж дальше будет?

— Что? Дальше — хуже. Великий Пан умер — и не воскреснет.

— Зато Прометей освобождается.

— Да, да, освобождается, — свирепый от боли, рычит и жаждет мести. Скоро увидит, что мстить некому, — и завалится дрыхнуть навеки.

— Какое неожиданно-грубое окончание! — воскликнула Анна.

— Что тут грубого? Естественное дело.

— Нет, я с этим не согласна. У жизни есть смысл, да и пусть нет его, — мы возьмем и нелепую жизнь и будем рады ей.

— А в чем смысл жизни?

Анна положила локти на стол, оперла голову на ладони и молчала. Обшитые тонкими нитяными кружевами воланы пышных, длинных рукавов обвисли двумя желтоватыми запястьями. Улыбалась и глядела на Логина. Радостью и счастьем веяло от доверчивой улыбки; она сулила блаженство и погружала душу в тихий покой самозабвения. Логину казалось, что душа растворяется в этом веянии юной радости, что нисходит забвение, успокоительное и желанное, как смерть.

— Смысл жизни, — сказала наконец Анна, — это только наше человеческое понятие. Мы сами создаем смысл и вкладываем его в жизнь. Дело в том, чтоб жизнь была полна, — тогда в ней есть и смысл, и счастье.

«Мысль изреченная есть ложь», — припомнилось Логину. Да и самое обаяние, которое владеет им, не обман ли, не одна ли из тех ловушек, которые везде расставлены жизнью? Он грустно сказал:

— Так, так, вкладываем в жизнь смысл, — своего-то смысла в ней нет. И как ни наполняйте жизнь, все же в ней останутся пустые места, которые обличат ее бесцельность и невозможность.

— Вы упрямы, вас не переспоришь, — мягко сказала Анна, расставляя шахматные фигурки: ее руки привыкли приводить вещи в порядок.

— Все люди упрямы, — ответил в тон ей Логин, нежно глядя на ее задумчивое лицо. — Их можно убедить только в том, что им нравится. На что очевиднее — смерть, и то не верится; хочется и сгнивши опять жить на том свете.

«Умрет и она! — подумал вдруг Логин. — И всякая смерть будет встречена без ужаса, — и забудется!»

Острые струи жалости, ужаса и недоумения пробежали в его душе. Он почувствовал, как погибло то молодое и счастливое, что трепетало сейчас в его сердце.

«Умерла минута счастия — и не воскреснет!»

Что-то поблекло, отлетело. Минуты умирали. Было тоскливо и больно.

## Глава двадцать первая

В первом часу ночи Логин, Андозерский и Уханов вышли на крыльцо. У крыльца стояли дрожки: Андозерский велел извозчику приехать за ним. Но извозчика отпустили — ночь стояла теплая, тихая — и пошли пешком. При луне дорога блестела мелкими камнями. Ермолин и Анна проводили гостей с полверсты и вернулись домой. Андозерский начал рассказывать неприличные анекдоты; Уханов не отставал. Их голоса и смех оскорбляли чистую тишину ночи, — и влажный воздух дрожал смутно и недовольно. Логин незаметно отстал и вошел в лес. Места здесь были ему памятны: он любил бывать в этом лесу.

— Ау, ау! куда запропастился? — раздались с дороги голоса его спутников, — волки съедят!

Логин не откликнулся и продолжал углубляться в чащу. Скоро голоса замолкли, их заменил далекий, но звонкий голос соловья. Березы чутко наклоняли к нему молчаливые ветви, зелено и влажно задевали его по лицу, точно спрашивали у него, что значит жить и любить, и жаловались на свою грустную бессознательность. Он шел, — и сладостные грезы носились в его голове. Извилистые тропинки на каждом повороте напоминали ему милый образ девушки с доверчиво-ясными глазами. Точно белая тень мелькала перед ним в просвете ветвей; казалось, что на дорожке еще видны следы ее ног.

Он подходил к той лужайке у ручья, где первый раз увидел в прошлом году Анну и удивился ей. Мыслями о ней была полна его душа. Робкая надежда на любовь согревала ее. Бесшумный ручей, который широко разливался здесь на обмелевшем русле, блеснул перед ним гладкою поверхностью. Он отражал деревья, но не видел их и был печален. Старый дуб, под которым Логин увидел тогда Анну, высту-

пал из мглы с каким-то напряженным и скрытым волнением, словно желания, рожденные чьею-то горячею кровью, трепетно бились о его безжизненно-отяжелелый ствол и почти овладели его покорным сном. Что-то смутно темнело под этим деревом. Логин подошел.

У дерева лежал худенький мальчик, в рваных штанишках, изношенных сапожонках и пестрядинной рубахе с балаболами и помятыми кузиками. Наивно и кротко было его лицо; оно казалось синевато-бледным, потому что луна любовалась им и раздвигала холодными лучами верхние ветки деревьев. Короткие каштановые волосы слиплись на лбу неровными прядками. Засунув руки в рукава, поджимая ноги, он дышал быстро и тревожно и во сне иногда бормотал. С ним рядом стоял на земле пустой маленький бурак из сосновой драни.

Логин подумал, что это, должно быть, беглый из богадельни мальчишка, которым дразнили Баглаева. Истомленное лицо ребенка показывало, что он устал и проголодался. Очевидно было, что нельзя его здесь оставить. Логин потряс его за плечо. Мальчик открыл глаза. Логин сказал:

— Вставай, брат, домой пора!

Мальчик приподнялся и сел на землю. Он лихорадочно дрожал, глаза его горели, весь он был жаркий и потный. Логин спросил:

— Ты в богадельне живешь?

Мальчик беспокойно задвигался. Залепетал:

— Не хочу, не надо, не пойду в богадельню.

— Так как же? Здесь, брат, плохо ночевать, — сыро.

Мальчик молчал и наклонялся вперед всем тонким телом, словно в дремоте.

— Пойдем, я тебя к себе отведу, — сказал Логин и попытался поднять его.

Мальчик ухватился за дерево слабыми руками.

— Ну что ж ты, я тебя не отдам в богадельню. У тебя отец есть?

— Нет, — прошептал мальчик, опуская руки и рассматривая Логина.

— А мать?

— Нет.

— Кто ж у тебя есть?

— Никого нет. Оставьте, пустите, — шептал мальчик, рванулся, чтобы встать, но как-то ослабело вытянулся и лег на траве.

— Ну что ж ты! — повторил Логин. — Вот я нашел тебя, теперь, брат, ты мой, а в богадельню я тебя не отдам. Пойдем.

Мальчик с помощью Логина поднялся на ноги. Он бессильно покачивался и, по-видимому, переставал соображать и сознавать. Логин поднял мальчика на руки. Мальчик, почувствовав себя на воздухе, потянулся руками и охватил шею Логина. Логин понес его. Мальчик дремал; ему сделалось тепло, — он улыбнулся. Потом он открыл глаза и посмотрел на Логина.

— Да вы меня в богадельню не отдавайте, — сказал он внезапно.

— Ладно, не отдам.

Мальчик закрыл глаза и помолчал.

— Я заслужу, — опять сказал он.

— Ну ладно, спи себе.

— Я сам пойду, — сказал он, помолчав еще немного.

Логин поставил его на ноги. Мальчик ухватился за его руки.

— Меня Леонидом зовут, Ленькой, — сказал он и приник к ногам Логина.

Логин приподнял его лицо с устало-закрытыми глазами, неподвижное и бледное.

— Эх ты, путешественник! — сказал он.

Мальчик молчал. Логин опять взвалил его на плечи.

«Однако нелегкая ноша! — думал Логин, подходя к дому. — Недостает того, чтоб он умер у меня на плечах».

Ленька не умер, но был болен. Несколько дней пролежал, начинал бредить, но все обошлось легко. Логин позвал к нему врача, и тот принялся угощать мальчика микстурами. Надо было определить положение ребенка в будущем. Логин заявил о своем желании взять мальчика на воспитание. Препятствий не оказалось. Однако все, с кем Логину приходилось говорить об этом, удивлялись и спрашивали:

— Да на что он вам понадобился? Маята одна с ними, — у кого и свои, так плачутся.

Логин тоже удивлялся и отвечал вопросом:

— Да куда ж мне его деть?

— Как куда! Ведь он же был в богадельне?

— Да я обещал ему, что не отдам его туда: он не хочет.

— Вот еще, нежности какие! С непутевым мальчишкой!

И не было в городе никого, кто бы не подивился странной затее Логина.

— Дурь на себя напускает! — говорили благоразумные люди.

А те, до кого уже дошла сплетня, зародившаяся в разговоре Мотовилова со Вкусовым, многозначительно переглядывались.

Одни Ермолины не удивлялись и не сердились на Логина. Анна однажды сказала ему с улыбкою:

— Достанется вам за Леньку.

— От кого?

— От всех здешних. Взяли бы вы мальчика для того, чтобы пользоваться его силенками, были бы вы купец или ремесленник, это было бы понятно. Но пустить к себе чужого ребенка только потому, что у вас найдется лишняя копейка для него, — это для них диковинка. Подождите, вас еще хвалить будут, да так, что не поздоровится.

Ленька стал выздоравливать; он каждый день отымал у Логина долю времени и создавал для него что-то вроде семейной обстановки. Ленька был беспомощен и кроток, конфузился своего нового положения, боязливо слушался и начинал поговаривать о городском училище, где учился. Потом повадился рассматривать картинки в книжках и пытался срисовывать, но рисунков своих не показывал, вообще дичился и разговаривал мало. Иногда же на него находил откровенный стих, и он вдруг, без всякого, по-видимому, повода, принимался выкладывать Логину свои воспоминания.

Анатолий часто забегал к ним. Ленька и его дичился сначала, но скоро привык. Они сделались мало-помалу друзьями. Анатолий пользовался большим уважением Леньки, и Ленька ему беспрекословно подчинялся. Это было полезно для «смягчения нравов», говорил Толя.

Прасковья, служанка Логина, рябая и мрачная, была в большом негодовании: ей прибавилось дела. В беседах с соседками, Дылиными, она называла обращение Логина с Ленькою баловством. Когда

Ленька стал на ноги, Прасковья, чтоб он не лодырничал, пыталась приспособить его к кухне: заставить сапоги почистить, в лавочку сходить. Мальчик повиновался, если не был в распоряжении Анатолия. Вся его способность сопротивления, казалось, была истощена без остатка побегом.

Дылины сочувствовали Прасковье. Как все, привыкшие беднятъся и пользоваться подачками, они были завистливы на чужое добро. Тратят на «дрянного мальчишку» то, что могло бы быть подарено кому-нибудь из братьев или сестер! Это казалось им свинством. То, что Леня может, когда захочет, усесться на любое кресло и даже на диван, злило мальчишек и девчонок, которые спали где придется, на полу, на лавках, покрывались тряпками и носили рваную одежонку. Поэтому они дразнили Леньку и задевали его, когда он показывался на дворе один.

— Завидущие! — называл их Ленька.

В городе продолжали носиться слухи, которые волновали горожан. Были случаи смерти от холеры. К толкам о причинах ее приплелась басня о воздушных шарах. Говорили, что на шарах неведомые люди летают, сыплют сверху в реки и колодцы зелье, и от того холера. А потом сообразили, что шары прилетели из Англии: англичане народ морить вздумали, потом воевать придут, — англичане будто бы и врачей подкупили. Около холерных бараков стали похаживать небольшие артели мещан; они злобно посматривали на фельдшеров и тихонько поругивались. Фельдшера принимали напряженно-равнодушный вид. Они напрасно ждали больных: родные прятали заболевших или просто не давали переносить их в больницу, — думали, что в бараке уморят. На улицах чаще стали попадаться пьяные.

Кто-то пустил молву, что Молин улетел из тюрьмы на воздушном шаре. К острогу собралась толпа мещан и загалдела под окном квартиры тюремного смотрителя. Оказалось, что Молин на месте. Но многие говорили:

— Известно, убежит, — господа все заодно.

— Нашли дурака, — на каторгу идти!

Юшка Баглаев как городской голова вздумал показать свою распорядительность и велел окрасить несколько фур в черный цвет: на этих фурах думал он перевозить в бараки холерных больных. Когда фуры были готовы и Юшка осматривал их, он внезапно вдохновился и велел намазать на них по краям белые полосы. Мрачные экипажи показались на улицах и привели горожан в уныние.

К городским толкам приплеталось имя Логина, — и стал он в городе популярным, сам не зная о том. В низших слоях общества догадки насчет Логина были совсем нелепы. Говорили, что это он летает на шарах по ночам, когда все спят, а видеть его нельзя, и шара нельзя видеть: вроде как шапка-невидимка.

— Какой там шар! — толковали старухи, — а летает он на огненном змее.

— А пожалуй, что и так, — соглашались другие.

— А то просто оседлает метлу, да и поедет.

Говорили, будто Логин собирает людей в тайное согласие и кладет на них антихристову печать. Эти толки исходили преимущественно из лавок, — купцы возненавидели проект Логина, как только услышали о нем.

Толками о Логине особенно интересовался Мотовилов. У него тоже был в городе магазин, а потому и его сердил проект Логина. По поводу городских толков Мотовилов имел интимный разговор с директором гимназии. Директор выслушал Мотовилова апатично и выразил мнение, что надо подождать «поступков», а пока все в порядке. Мотовилов заметил, что дожидаться поступков будет, пожалуй, неосторожно, надо бы объясниться с Логиным и вывести его на чистую воду. Директор усмехнулся, но согласился. Однако он не торопился требовать от Логина объяснений.

Каждый раз, когда Логин выходил на улицу, встречные осматривали его с особенным вниманием. Иные останавливались и смотрели вслед за ним. Враждебны и боязливы были эти взгляды. А Логин не замечал их, — он погружен был в свои планы и мечты. Надежда на счастие все чаще зажигалась в нем, как заря над развалинами. Образ Анны мелькал перед ним, ее голос звучал в его ушах.

Но что-то темное бросало на его душу колеблющуюся, тревожную тень. Кто-то туманный, неуловимый, злой издевался над заветными мечтами.

Тоскливые глаза Логина и его малословность поражали иногда, но не пугали Леню. Мальчик присматривался к нему и старался что-то сообразить, но пока напрасно.

Вечером, когда Логин сидел за чайным столом, пришел Юшка Баглаев, по обыкновению, под хмельком и красный. Объявил:

— Сперва дела, — завтра на маевку едем. Согласен? Что тебе все корпом корпеть, — надо поразмяться.

— Кто едет, скажи сначала, — лениво спросил Логин.

— Чудак! — воскликнул Юшка, — уж скучать не будешь, — ведь и я там с тобой буду.

— В таком разе как не ехать! — усмехаясь, отвечал Логин.

— Ну, а коли так, давай водки.

— Вот я тебе чаю налил, — сказал Логин, указывая на дымившийся перед Баглаевым стакан.

Но Юшка вытребовал водки. Ухватив рюмку дрожащими руками, он нечаянно стукнул ею о край стакана и пролил в свой чай половину водки. Логин потянулся за Юшкиным стаканом и сказал:

— Давай-ка, я тебе чай переменю.

Но Юшка замахал руками. Закричал:

— Что ты, что ты! Добром добра не испортишь.

— Где это ты клюкнул сегодня, городская голова?

— Известно где, — дома, за обедом, около стекла чисто обошелся, — а вот, пока к тебе шел, ветром опахнуло, и опять чист как стеклышко. Юшка Баглаев, заметь себе, никогда не бывает пьян.

— Верно!

— Я, брат, к тебе урвался потихоньку от жены, — зашептал Юшка, — ревнует меня к Вальке.

— Да Валентины нет сегодня в городе.

— Да, поговори вот с бабой.

— А ты, надо полагать, дал повод к ревности.

— Ну, ври больше.

Не успел Юшка опрокинуть еще и двух рюмок, как на улице раздались звонкие крики Жозефины Антоновны, жены Баглаева:

— Я знаю, что он здесь, подлец этакой! Я ему кишки повытереблю!

Юшка вскочил и прижался к стене. Выпуклые глаза его выразили страх. Он прижимал локти к стене, словно желая вдавиться в нее. Зашептал, вращая покрасневшими белками:

— Вот влопался! Спрячь, спрячь меня подальше: все закоулки обшарит.

Логин подошел к окну. Жозефина Антоновна, вертляво двигаясь всем своим телом, закричала:

— Как вам не стыдно, господин Логин! Где вы спрятали моего мужа? Но не беспокойтесь, я знаю, где он и с кем он.

Смуглое лицо Баглаевой нервно подергивалось тысячью гневных гримас. С нею пришли Бинншток, слюняво и опасливо хихикающий в сторонке, и Евлалия Павловна, увядающая девица с веселыми улыбками и хмурыми глазами, учительница женской прогимназии.

— Полноте, Жозефина Антоновна, — принялся уговаривать Логин, — ваш муж у меня в безопасности, уж я его в обиду не дам.

— А, вы еще смеетесь! — пуще загорячилась Баглаева, — да что ж это такое! Что вы у себя публичный дом, что ли, устроили?

— Да вы войдите, посмотрите сами, Жозефина Антоновна.

— Вы мне мужа моего подайте, а к вам я не пойду.

— Ну, Юшка, — сказал Логин, отходя от окна, — убирайся, не продолжай скандала.

Юшка, видя, что Логин намерен выдать его, мгновенно рассвирепел и забормотал, наступая на Логина:

— Что? Гнать меня? За это я даю по мордасам.

Логин засмеялся.

— Ну иди, иди, нечего хорохориться.

Юшка так же быстро остыл. Логин нахлобучил на него шляпу, взял его под локоть и вывел на улицу.

— Вот ваш супруг, — сказал он Баглаевой, — и клянусь вам, никого, кроме Светланы, с нами не было.

— Знаю я вас, — ворчливо отвечала Жозефина Антоновна. — Вам, мужчинам, поверить, так будешь плакать кровавыми слезами. На ваше счастье, я наверное знаю, что эта стрекоза Валька сегодня в деревне.

— Так зачем же вы скандалили? — спросил Логин, досадливо хмуря брови.

— А зачем вы мне его сразу не отдали? Ну, да Бог с вами. Не забудьте же, завтра на маевку.

Юшка с беззаботным видом распрощался с Логиным и прошептал ему, подмигивая на жену:

— Нервы! сам знаешь!

— Ведь вот, — сказал Ленька, когда Логин вернулся, — во всем-то он жены боится, а чтобы он водки не пил, до этого она еще не дошла.

Ночью несколько шалунов из мещанских семей забрались в огород Мотовилова, к его парникам. Были там сестры и братья Дылины, была и сама Валя. Было темно и тихо. Шалуны тихонько пересмеивались. Вдруг один из них отчаянно взвизгнул. Остальные мигом были на заборе.

Сам Мотовилов заслышал шорох в огороде, подкрался к одному из незваных посетителей и ухватил его за волосы. Мальчишка отчаянно барахтался, а Мотовилов тащил его к дому и громким криком сзывал прислугу.

— Эге! да я тебя, негодяй, знаю! — заговорил Мотовилов, вглядевшись в мальчишку. — Ах ты, скотина, а еще в училище был!

Это был Иван Кувалдин, мальчик лет четырнадцати. Был он родом из ближней деревни, но жил в городе, в обучении у сапожника. Раньше он учился в городском училище, но не кончил. Шалуны поставили Ваньку на стражу, а сами занялись делом. Мальчишка зазевался и попался.

Послышались голоса людей, которые бежали из дому на помощь барину. Ванька изловчился и укусил правую руку Мотовилова прямо в большой палец. Мотовилов вскрикнул и выпустил его. Ванюшка в один миг был на заборе и улепетывал за своими товарищами. Скоро он догнал их и похвалялся удачею.

С хохотом, криком и визгом неслась по городу толпа мальчишек, девчонок, подростков и девушек. Растрепанные, босые, дикие, мелька-

ли они в белесоватой мгле чуть обозначившегося в воздухе рассвета, как неистовые привидения, которые бегут за околицу по крику петуха. Собаки подняли тревожный и громкий лай. В домах поспешно открывались окна. Встревоженные обыватели выбегали на улицу, неодетые. Полиция всполошилась. Караульный, который задремал было на вышке пожарной каланчи, сдуру ударил в набат. По всему городу пробежала тревога. Раздавались боязливые крики:

— Пожар!

— Шары приехали! Холеру окаянники спущают!

— Англичане мору в колодец засыпали, да наши ребята поймали и колошматят.

На базарной площади было особенно людно и шумно, — туда подзывал набат, туда гнала и привычка. Пьяный мужичина стремительно пер в толпу, отчаянно работал могучими кулаками и локтями и орал:

— Никто, как Бог! Не выдавайте, православные!

А зачинщики беспорядка бегали по городу, кричали, ухали и наслаждались смятеньем.

Потом собралась толпа и у дома Логина. Близко к дому не подходили, и криков здесь не было. Окна были не освещены, — Логин спал и не слышал суматохи. В толпе одни сменялись другими, — разошлись только под утро.

## Глава двадцать вторая

Приехали на маевку и расположились верстах в шести от города, на лесной лужайке близ дороги, у ручья, за которым подымались холмы, заросшие сосною да елью. По другую сторону дороги, на траве, около тарантасов паслись отпряженные лошади. Вокруг костра, на котором варилось что-то, на коврах или прямо на траве сидели и лежали маевщики, разговаривали и смеялись.

Здесь были: Логин, Мотовиловы, Клавдия, Анна, супруги Баглаевы, с ними Евлалия Павловна, Андозерский, Биншток, Гомзин, юный товарищ прокурора, Браннолюбский, серенький, тоненький, с прилизанными

волосиками, актеры Пожарский, Гуторович, Тарантина, Ивакина и Валя с сестрою. Было еще несколько дам, девиц, молодых людей, гимназистов. Вся эта компания казалась Логину докучною, — уж очень много лишних людей.

Ивакина смотрела на Логина с ужасом, но ее тянуло к нему; робко лепетала об идеалах и золотых сердцах. Логин глядел на залитое чахоточным румянцем лицо, на перепуганные глазки, на серое платье с мелкими складками на груди, и ему казалось, что Ивакина больна и бредит. Впрочем, приветливо улыбался ей: Анна сидела против него, и глаза ее были лучисты. Она сняла и положила рядом с собою шляпу из черной соломы с желтыми цветами и высоким бантом и тихонько разглаживала на коленях широкое платье из легкой узорчатой материи лилового цвета. Логину казалось, что Анна рада сидеть здесь, молчать и улыбаться, — и радость ее сообщалась ему. Ивакина расхрабрилась и решилась коснуться того, что ее волновало.

— Позвольте вас спросить, — начала она, — об одном предмете, который в последние дни чрезвычайно интересует и даже волнует меня.

— Сделайте одолжение, — сказал Логин, хмурясь.

Серые глаза его стали суровы. Ивакина струсила. А ему было на Анну досадно, — теперь он испытывал это часто: Андозерский делал ей нежные глаза, и она весело говорила с ним. Его румяные щеки лоснились из-под широкополой соломенной шляпы. Логин не понимал, как она может смотреть на этого фата без отвращения и улыбаться ему. Ивакина, волнуясь, говорила:

— Когда я имела честь быть у вас последний раз, вы изволили упоминать об аэростатах.

— Об аэростатах? — с удивлением переспросил Логин.

«Конечно, — думал он, — нельзя же ей быть прямо невежливою, — но зачем ясная доверчивость в глазах, безразличная ко всем? Зачем солнечная улыбка на этого нетопыря?»

— Я тогда не совсем поняла, — лепетала Ивакина. — То есть я поняла, но я хотела бы знать о времени. Вы говорили, что скоро последует прибытие воздушных шаров, но не можете ли вы определить более точно, когда именно это произойдет?

Испуганные глазки Ивакиной уставились на Логина с томительным ожиданием.

— Извините, я что-то не помню, — сказал Логин с мягкою улыбкою.

«Ого, — думал он, — какими жестокими бывают Анютины глазки! Бедный ухаживатель, кажется, наткнулся на хорошенькую шпильку и делает жалкое лицо. Поделом. Но мне непростительно думать, что Анна не видит его насквозь!»

Снял свою мягкую серую шляпу и махал ею перед лицом. Тонкая прядь светло-русых волос над высоким лбом колебалась от движения воздуха. Ивакина шептала:

— Позвольте, я понимаю, что это секрет, но я, уверяю вас, не выдам. Я оправдаю ваше доверие.

Логин наконец вспомнил.

— Ну, это я неясно выразился. Я хотел сказать, что теперь не всем доступны скорые способы сообщения, — железных дорог мало, воздушные шары не усовершенствованы. А если бы житель каждой деревушки мог легко сноситься с кем угодно, жизнь изменилась бы.

На лице Ивакиной отразилось сначала разочарование, потом недоверчивость. Она обиженно сказала:

— Нет, я вижу, вы не хотите оказать мне доверия. Но это совершенно напрасно. Конечно, я не принадлежу к партии действия, но я глубоко презираю те злоупотребления, которые держат наш бедный, заброшенный край в глубоких объятиях мрака невежества и суеверий. И если ожидаются какие-нибудь неожиданные акты, которые двинут вперед дело цивилизации и прогресса, то я как всякий искренний друг народа и просвещенной культуры буду искренно радоваться.

«Вот дура какая досадная! — думал Логин. — Ей хочется, чтоб я преподнес ей какую-нибудь нелепость. Ну что ж, изволь!»

И он сказал ей шепотом:

— Здесь могут услышать. Посмотрите, — сказал он громко, — за рекой деревянные развалины, — что-то вроде мельницы. Через полчаса, — опять шепнул он, — я там буду.

Он отошел от Ивакиной. Глаза его глядели устало и слегка насмешливо.

Ивакина заволновалась и стала пробираться к кустам. Она приняла так много предосторожностей быть незамеченною, что все заметили ее желание скрыться. Но у нее был такой несчастный вид, что никто не мешал ей, и только Баглаев начал объяснять что-то на ухо Андозерскому, давясь от хохота. Андозерский выслушал, захохотал, хлопнул Баглаева по плечу и закричал:

— Ах ты, брехун, что выдумал!

Баглаев испугался и растерянно забормотал:

— Ну, ну, пожалуйста, ты вслух не повторяй, здесь барышни.

— Так ты и не говори при барышнях таких вещей, гусь лапчатый!

— Ну, ну, нализался ни свет ни заря, да и безобразничаешь, — надо и стыд знать.

— Выпьем, брат Юша, лучше, — примирительно сказал Андозерский.

— Ну, вот это — дело. А то что хорошего так-то, — рот нараспашку, язык на плечо. И хлобыснуть можно.

— И при барышнях можно?

— Это, брат, всегда можно. Ее же и монаси приемлют.

Евлалия Павловна беседовала тихо с юным товарищем прокурора. Ее щеки раскраснелись, а Браннолюбский млел и таял. Биншток смотрел на них и злился. Когда Браннолюбский отошел, Биншток горячо заговорил о чем-то шепотом; он наклонялся к самому уху Евлалии, под ее широкую, нарядную шляпку. Она досадливо отклонилась от него и сказала негромко:

— Ах, оставьте, — что вы за жених!

— Что ж такое! я, кажется... Положим, я теперь мало получаю, но у меня есть протеже.

Евлалия засмеялась язвительно.

— Протеже! Туда же! А с Жозефиной кто целовался?

Она отошла от Бинштока. Он сделал сердитое лицо и стал иронически улыбаться. Логин подошел к нему. Биншток сказал злобно:

— Ну, люди здесь! Скандал!

— А что?

— Сплетники, клеветники. Знаете, например, что про вас говорит Браннолюбский?

Логин нахмурился и спросил:

— А помните, что вы сами обо мне говорили?

Глаза Бинштока смущенно забегали.

— Что вы, Василий Маркович, когда же это? Кто это вам сказал? Поверьте, я всегда за вас, а вот Андозерский...

— Не желаю этого знать, — сухо прервал его Логин и отошел от него.

Бинштек торчал среди полянки и сконфуженно улыбался.

Меж тем в ожидании завтрака общество расходилось с лужайки в лес. Барышни вздумали купаться: Валя обещала показать превосходное место. Но когда уже совсем собрались уходить, Анна сказала что-то на ухо Клавдии. Клавдия покраснела и села на прежнее место.

— Что же ты, не пойдешь? — спросила ее Анна.

— Конечно, не пойду.

— Так и я не пойду, — сказала Анна и тоже села.

Остались и другие. Клавдия тихо сказала Анне:

— Ты же сама говоришь...

Анна взглянула на нее холодными, ясными глазами, повела плечом и лениво ответила:

— Я наверное не знаю, — я только так подумала. Да и не все ли равно?

Валя и Варя попытались было уговорить других идти с ними, потоптались, похихикали и пошли себе одни. Анна посмотрела за ними с равнодушною улыбкою и сказала:

— Все ушли понемногу, пойдем и мы куда-нибудь.

Она пошла в другую сторону от ручья, между кустами и дорогою. Клавдия и Нета шли за нею.

— Как надоели мне эти господа! — говорила Клавдия. — Как с ними мучительно-скучно!

Анна задумалась о чем-то. Почти бессознательно сорвала она тонкую ветку, оброснула ее и легонько поколачивала ею по своему платью.

— Кажется, он не вовремя затеял это, — сказала она вдруг.

— Ты про кого это? — удивилась Клавдия.

— Я думаю про Логина.

— Ты уж не влюбилась ли? — воскликнула Нета и засмеялась. — Вот уж прелесть! какой-то неодушевленный.

Анна покраснела и сказала:

— А ты, одушевленная...

— Да уж я, конечно, — с бойкою гримасою говорила Нета.

— А он что?

Нета быстро огляделась, — никого близко не было.

— Не знаю, как быть, — зашептала она, — хоть убегом венчайся, так ни за что не отдадут.

— Поэтично! — насмешливо сказала Клавдия.

— Вот уж нет, — одна досада! То ли дело, как все по порядку.

— Фата, цветы, подружки, певчие, — тихо улыбаясь, говорила Анна.

Логин стоял на мостике, который своими полусгнившими досками уныло навис над веселым ручьем. Безоблачно ясен был день — безнадежно тоскливо было в душе Логина.

Андозерский и Баглаев подошли к нему. Оба они были чем-то радостно возбуждены. Андозерский сказал со смехом:

— Барышни не пошли купаться, — жаль! Все Анюточка виновата.

— Что ж, ты подсматривать собирался? — спросил Логин почти враждебно.

— А то зевать, что ли? Ну да ничего, и эти две сестрицы недурненькие, как веретенца ровненькие.

— Сущие лягушки по грациозности, — сказал, хихикая, Баглаев. — Пойдем, спасибо скажешь.

— Они не обидятся, — убеждал Андозерский. — Нарочно на видное место пошли.

Они оба потянули за собою Логина, но он наотрез отказался, — и они отправились вдвоем подсматривать за купающимися девицами. Сестры плескались в ручье на открытом месте, где было широкое русло. Еще издали были слышны их крики и визги и всплески воды под их ногами. Андозерский и Баглаев остановились за кустами и смотре-

ли на купальщиц. Потом присели на корточки и пробрались поближе к берегу.

Валя метнула на них вороватыми глазами, затрепетала от веселой радости и сделала вид, что не замечает никого. Тихонько сказала что-то сестре. Варя посмотрела в ту же сторону и тоже притворилась, что ничего не видит. Сестры смеялись и плавали, и брызги воды вздымались со звонким стеклянным плеском из-под их проворных ног. Сильные, стройные тела под ярким, веселым солнцем выделялись розово-золотистыми яркими пятнами среди белых брызг, синей полупрозрачной воды, веселой зелени леса и желтой полосы прибрежного песку, на котором лежали платья. Тяжелые черные волосы красиво осеняли загорелые лица с блудливыми глазами и пышно-багряными щеками.

— Вот бы сюда Гомзина, — захихикал Баглаев, — то-то бы он зубами защелкал.

— А вот и Валькин жених любуется, — сказал Андозерский. — Эх, рылом не вышел!

— Чучело гороховое! — подхватил Баглаев. — Черти у него на роже в свайку играли. Ишь, глазища выкатил!

На другом берегу из-за кустов выглядывала кудрявая голова Якова Сеземкина. Очевидно, что он не видел тех, кто стоял против него: его глаза жили в это время одною только Валею, — он словно заучивал каждую черточку красивого тела. Сестры видели его и были рады.

Логин постоял на мосту, потом перешел ручей и стал взбираться на высокий берег по узкой тропинке. Но когда с вершины холма услышал смех и голоса купающихся сестер и увидел, что они плещутся на открытом месте, он повернул назад — и вдруг встретил Жозефину Баглаеву. Она запыхалась от скорой ходьбы. У нее было озабоченное и раздраженное лицо. Быстро спросила:

— Где мой муж?

— Право, не знаю.

— Ах, вы его укрываете! — злобно закричала Баглаева, и черные глаза ее гневно засверкали на Логина. — Но не беспокойтесь, — найду и без вас.

Пробежала мимо Логина. Он остановился и прислушался. Скоро услышал ее гневливые крики и громкий визг и смех сестер Дылиных.

Вспомнил, что Ивакина уже давно ждет его. То подымаясь, то опускаясь по крутым откосам берега, пробирался к той мельнице, которую показал Ивакиной. Иногда приходилось схватываться за смолистые ветви молодых елок, чтоб не соскользнуть вниз.

В укромном местечке за кустами увидел нежную парочку: Нета и Пожарский сидели рядом, тесно прижимались друг к другу, любовно переглядывались и говорили. Он прошел сзади их — не заметили. Сладкий, звонкий поцелуй раздался за ним и разнежил его истомою желания.

Наконец Логин добрался до заброшенной мельницы. Ивакина сидела на пороге покинутой избы. Ее горячее лицо было почти красиво, — таким пылким нетерпением сверкали маленькие глазки. Логин сказал:

— Вот вы где! Пойдемте-ка вниз, авось нас там угостят варей.

Ивакина робко подала ему руку, и они потихоньку пошли к мостику. Логин сказал:

— Так вот, любезнейшая Ирина Петровна, вы хотите знать, когда именно. Извольте, — но сначала дайте клятву, что вы сохраните это в тайне.

— Клянусь, — торжественно сказала Ивакина.

Логин остановился, выпустил ее руку и, мрачно глядя на нее, сказал:

— Клянитесь спасением вашей души.

Ивакина изумилась и даже всплеснула руками.

— Но, помилуйте, это — нерациональная клятва. С тех пор, как Дарвин доказал...

— Ну, все равно, — снисходительно сказал Логин, — каждый дает обещание сообразно своим убеждениям. Да вы, может быть, толстовка?

— Я отношусь, понятно, к великому русскому писателю с глубочайшим уважением, но нахожу, что пресловутые доктрины о непротивлении злу, о неделании, — ошибки гениального человека. Когда повсюду вокруг царит беспросветное зло, когда паразиты на двух ногах и кулаки в поддевках и во фраках сосут народную кровь, обязанность каждого честного гражданина — борьба и труд. К тому же ссылки на такой устарелый источник, как Евангелие, в наш элект-

рический и нервный век я признаю нерациональными и несовременными: принципы, изложенные в этой замечательной книге вперемежку с легендами, конечно, были в свое время полезны, но уже давно отслужили человечеству свою службу.

— Итак, заповедь: не клянись...

— В обыкновенных условиях жизни я отвергаю клятву как недостойное уважающих себя людей проявление взаимных отношений недоверия и мелочной подозрительности. Но в исключительных случаях, когда дело касается социальных и прогрессивных интересов, а также возвышенно-идеальных стремлений, я считаю своим долгом признавать обязательность клятвы.

«Типун тебе на язык, распространенная болячка!» — думал между тем Логин.

— Итак, — сказал он, — клянитесь не выдавать никому тайны, которую я вам открою, клянитесь наукой, прогрессом и народным благом.

Ивакина торжественно подняла правую руку и воскликнула:

— Клянусь наукой, прогрессом и народным благом никому не выдавать тайн, которые будут мне открыты вами!

— Через две недели в четверг, — таинственным голосом сказал Логин и опять подал руку Ивакиной.

Ивакина затрепетала.

— Как? Но что именно?

— Произойдет решительное: прилетят воздушные шары секретной конструкции и привезут конституцию прямо из Гамбурга.

— Из Гамбурга! — в благоговейном ужасе шептала Ивакина.

Она шла взволнованная, не замечая дороги. Логин продолжал:

— Больше ничего не могу сказать. И помните: за измену — смертная казнь, — в мешок и в воду.

— О, я знаю, знаю! Я дала клятву, — и сдержу ее!

— Не занимаетесь ли вы, Ирина Петровна, литературой?

Ивакина лукаво улыбнулась и спросила:

— Почему же вы так думаете, Василий Маркович?

— Да вы так литературно выражаетесь.

— Да? Вы находите? О, я очень много читаю: не говоря уже о том, что ни одна деталь школьного режима не ускользнула от моего внимания, я читаю много и по общей литературе. Но представьте! в моем захолустье, где вместо людей можно встретить только господ Волковых да совершенно неинтеллигентных волостных писарей, мне не с кем, положительно не с кем, обменяться живыми и свежими мыслями, которые навеиваются чтением книг честного направления. Да, вы угадали: я немножко занимаюсь литературой. То есть, я, видите ли, составила одну азбуку по генетически-синтетическому слого-звуковому методу и сборник диктантов популярно-практически-научного содержания, расположенных по аналитически-индуктивному методу.

— Очень полезные работы; они, конечно, приняты во многих школах?

— Увы! к сожалению, у нас везде царит такая рутина, стремление придерживаться раз пробитой колеи: ничего оригинального и знать не хотят. Азбука моя употребляется в двух школах нашего уезда, представьте, только в двух! и в одной школе тетюшского уезда, всего в трех школах. Сборник диктантов постигнут еще более плачевною участью: я не могла даже найти для него издателя и могу употреблять только в своей школе.

— Это очень печально.

— Но я не падаю духом. Меня воодушевляет мысль, что в великом процессе поднятия народных масс и я приношу долю пользы, хотя бы и минимальную. Теперь я привожу к окончанию одно грандиозное предприятие, которое стоило мне многих бессонных ночей, нравственной и умственной борьбы и нескольких лет интенсивного труда и неутомимых изысканий.

Логин напряженно старался не засмеяться. Он сказал:

— Это очень любопытно. Какое же это предприятие?

— Это — хрестоматия для народных школ с целью поставить перед сознанием детей во весь рост те идеальные личности, которых так много на нашей родине, чтобы дети имели образцы для почитания и подражания.

— А вы верите в идеальные личности?

— Безусловно! Я привожу литературные примеры идеального священника, доктора, лакея, сестры милосердия, идеальной учительницы, идеального помещика, идеального станового, — словом, идеальных личностей всех сословий.

— Ну а просто человек, живой человек, — есть он в вашей книге?

— Это все люди, и притом лучшие!

— И всей этой слащавой идеальностью вы хотите пичкать деревенских малышей? К чему? Зачем обманывать их? — горячо говорил Логин.

— К чему? Что же, по-вашему, следует с самого раннего возраста показать детям все худое в жизни и разбить в них веру в хорошее? Нет, школа обязана давать детям положительные идеалы добра и правды.

— Идеал — Бог, идеальный человек — Христос, а вы им дрянных кумирчиков налепите, приучите всяких лицемерных честолюбцев на пьедестал ставить, по-холопски стукаться лбами, и перед кем?

— Вы отвергаете, что есть идеально-хорошие люди?

— Не встречал я таких.

— Сожалею вас. А я встречала.

— Всякий паршивец воображает, что он на каждом шагу так подвигами любви и сыплет. А поглядишь — и наилучшие люди самолюбцы, только полезнее для других.

— Как? Вы отвергаете самоотверженную любовь? Эту святую силу, которая иногда облагораживает даже злодея?

— Самоотверженная любовь, Ирина Петровна, такая же нелепость, как великодушный голод. Уж коли я люблю, так для себя люблю.

— Я должна вам сказать, что вы или не видели хороших людей, или не сумели оценить их. Но я глубоко верю в то, что есть высокоидеальные, светлые личности, и я убеждена, что мы обязаны показать детям идеалы в их жизненном воплощении. Думать иначе, извините меня, могут только черствые натуры или люди, желающие щеголять напускным нигилизмом.

Ивакина была в большом негодовании; все морщинки ее маленького лица дрожали и волновались. Логин смотрел на нее с улыбкою, но и с досадою.

«Вот, ведь чахоточная, а какой в ней отважный дух!» — думал он.

В это время они пришли на лужайку, где остальное общество уже сидело за завтраком, в тени старых илимов и берез.

— Что, дружище, — закричал Андозерский, — никак тебе Ирина Петровна головомойку за нигилизм задает?

Логин засмеялся. Сказал:

— Да вот, мы об идеалах не сошлись мнениями.

— Не признавать идеалов — безнравственно и нерационально, — горячо сказала Ивакина.

— Я вполне согласен с многоуважаемой Ириной Петровной, — внушительно сказал Мотовилов. — Главный недостаток нашего времени — затемнение нравственных идеалов, которым, к сожалению, отличается наша молодежь.

— Совершенно верно изволили сказать, к сожалению, — подтвердил Гомзин, почтительно оскаливая зубы.

## Глава двадцать третья

Мотовилов ораторствовал об идеалах длинно, внушительно и кругло. Иные почтительно слушали, другие вполголоса разговаривали. Андозерский занимал Нету и украдкою кидал на Анну пронзительные взгляды.

— Вы были с нею на мельнице? — тихо спросила Клавдия.

— Да, — сказал Логин, — там хорошо.

— Хорошо! В этом прекрасном диком месте говорить с нею! И она молола вам суконным языком об идеалах! Какая жалость!

Логин засмеялся.

— Вы не любите ее?

— Нет, я только дивлюсь на нее. Быть такой мертвой, говорить о прописях, букварях и вклеивать в эти разговоры тирады об идеалах, — как глупо! Идеалы установленного образца!

— Она любит говорить, — сказала Анна, — о том, чего не понимает, — о своем деле. Так, заученные слова, лакированные, прочные. И при том теплые. И бесспорные.

Она говорила спокойно, — и Логину ее слова, и ясная улыбка, и медленные движения рук казались жестокими.

Браннолюбский хлопал под шумок рюмку за рюмкою и быстро пьянел. Вдруг закричал:

— Не согласен! К черту идеалы!

Но тотчас же «ослабел и лег». Бинשток и Гомзин прибрали его, и он больше не являлся. Евлалия Павловна притворялась, что весела, но была в жестокой досаде и безжалостно издевалась над Гомзиным. Бинשток не подходил к ней и посматривал злорадно.

Баглаев сидел рядом с женою; имел пристыженный вид. Девицы Дылины вернулись с видом «как ни в чем не бывало» и только потряхивали мокрыми косами. Андозерский подмигнул Вале, Валя лукаво опустила глазки, Баглаев старательно не глядел на сестер. Нета разрумянилась, и лицо у нее было счастливое.

Пришли гимназисты; с хохотом рассказывали что-то Андозерскому. Андозерский захохотал. Крикнул:

— Вот так дети!

Все повернулись к нему.

— Вот наши молодые люди интересное зрелище видели.

— Представьте, — заговорил Петя Мотовилов, показывая гнилые зубы и брызжась слюною, — мальчишки изображают волостной суд: там один из них будто пьяница, его приговорили к розгам. И все это у них с натуры, и тут же приговор исполняют. А девчонки тоже стоят и любуются.

Барышни краснели, кавалеры хохотали. Баглаева сказала пренебрежительно:

— Какие грубые русские мужики!

— Ну, и что ж дальше? — спросил Бинשток.

— Да мы ушли: очень уж подробно они представляют, даже противно.

Жозефина Антоновна сердито ворчала на мужа, сверкала на всех черными глазами и бросала гневные взгляды на Валю. Совсем неожиданно она заявила:

— Которая дрянь чужих мужей прельщает, той бесстыдной девице иная жена может и глаза выцарапать.

— Руки коротки, — огрызнулась Валя.

— Что ж вы на свой счет принимаете, — накинулась на нее Баглаева, — видно, по вашей русской пословице, знает кошка, чье мясо съела?

Валя хотела было отвечать, но Анна строго уняла ее. Валя ярко покраснела и смущенно начала рассказывать барышням, что говорят в городе о холере. Анна засмеялась, взяла ее за локоть и тихо сказала ей:

— Надо вас, Валя, вицей хорошенько.

— За что ж, Анна Максимовна? Почему ж я знала, что он пойдет? — оправдывалась Валя.

Варвара злорадно смотрела на сестру. Мотовилов сказал внушительно и негромко:

— А вот мне на вас жалуются, госпожа Дылина.

Валя сидела как на иголках и растерянно молчала.

— Да-с, крестьяне жалуются, — продолжал Мотовилов, помолчав немного.

— Да за что же? — робко спросила Валя.

— Вообще недовольны. Вообще им не нравится, что учительница. Ну, и вы ссоритесь с сослуживцами, и детей балуете, да-с! И все вообще у вас идет на-вон-тараты.

— Да я, Алексей Степаныч...

— Ну-с, я вас предупредил, а там не мое дело. А впрочем, и я согласен. По-моему, баба или девка в классе — одно баловство.

— Ну, что о делах теперь! — вмешался было Баглаев.

Но жена сейчас же его уняла.

— Какое ты имеешь право вступаться? Разве тебя просили? Разве ты чей-нибудь здесь любовник? Ты от всякой смазливой вертуньи сам не свой. Знай свою жену, и будет с тебя.

— Знаю, знаю, матушка, виноват!

— То-то, — наставительно сказал Гуторович, — не фордыбачь, винococ, — у тебя еще вино на губах не обсохло.

Молодые люди смеялись.

— Что, напудрили голову? — язвительным шепотом спрашивала Варя у своей сестры. — Так тебе и надо!

Логин и Пожарский стояли в стороне. Логин спросил:

— Скоро на вашей свадьбе запируем?

— Какая там свадьба! — уныло сказал Пожарский.

— Что так?

— Сама девица — ничего, почтительна к нам, что и говорить, да вот где точка с запятой: богатый, но неблагородный родитель и слышать о нас не хочет, — козырь есть на примете.

— Плохо! Но все ж вы попытайтесь.

— Чего пытаться-то? Формальное предложение сегодня по дороге делал, — нос натянули. А вы, почтеннейший синьор, уж за престарелой ingenue * приударили, за Ивакиной. Но это сушь! Вы бы лучше наперсницу барышень тронули, — веселенькая девочка!

— Занята уж она, мой друг.

— Фальстаф?

— Нет. Это — ложная тревога Жозефины, — жених есть.

— Елена Прекрасная, значит, даром волнуется?

— Совершенно напрасно.

Биншток обратился к Мотовилову с заискивающею улыбкою:

— Алексей Степаныч, вот Константин Степаныч желает прочесть вам стихи.

— Стихи? Я не охотник до стихов: стихами преимущественно глупости пишут.

— Но это, — сказал автор, Оглоблин, — совсем не такие стихи. Я взял смелость написать их в вашу честь.

— Пожалуй, послушаем, — благосклонно согласился Мотовилов.

* Инженю, простушка *(театр фр.)*.

Логин с удивлением смотрел на неожиданного автора стихов в честь Мотовилова; его раньше не было на маевке, и как он сюда попал, Логин не заметил. Оглоблин стал в позу, заложил руку за борт пальто и, делая другою рукою нелепые жесты, прочел на память:

Недавно гражданин честной,
Наш друг и педагог искусный,
Был вдруг постигнут клеветой
И возмутительной, и гнусной.
И кто же первый клеветник?
Его завистливый коллега!
Быть может, цели бы достиг
Лукавый нравственный калека,
Но вдруг за правду поднялся
Боярин доблестно бесстрашный,
И речью гневно-бесшабашной
Скликать сограждан принялся,
И им всеобщего протеста
Проект разумный предложил
Против того, что дали место
В тюрьме тому, кто честен был.
И говорит, не уставая,
Боярин мудрый за того,
Кто горько слезы лил, рыдая,
Когда схватили вдруг его, —
И за невинного хлопочет,
И постоять за правду рад,
И доказать начальству хочет,
Кто в этом деле виноват.
Хвала, боярин именитый!
Живи и здравствуй столько лет,
Чтоб был ты в старости маститой
Не только дед, но и прадед!
А нам тебе кричать пора:
Ура! ура! ура! ура!

Стихотворение, прочитанное с чувством и с дрожью в голосе, произвело впечатление. Мотовилов встал и горячо пожимал руку Оглоблина. На лице его лежал отпечаток величия души, которой услышанные похвалы были как раз в пору. Говорил:

— Очень вам благодарен за чувства, выраженные вами по отношению ко мне. Но и вообще очень прочувствованные стихи. Такие мысли делают вам честь.

Оглоблин прижимал руку к сердцу, кланялся, бормотал что-то умиленное. Около него столпились, пожимали руку, хвалили за хорошие чувства. Баглаев восклицал:

— Ловкач! Обожженный малый!

Были немногие, на которых чтение произвело иное впечатление. Палтусов улыбался язвительно. Логин слушал с досадою. Клавдия тихонько засмеялась при словах «нравственный калека»; потом она слушала с презрительно-скучающим видом. Анна хмурила брови, неопределенно улыбалась; слово «прадед» рассмешило ее своим ударением, и она весело, долго смеялась. Нета чувствовала себя неловко: стихи ей нравились, но презрительный вид Клавдии и смех Анны заставляли ее краснеть.

Клавдия спросила Валю:

— Что, Валя, понравились вам стихи?

— Отличные стишки, — с убеждением сказала Валя. — А вот теперь есть еще очень хороший поэт, господин Фофанов, совсем вроде Пушкина. Говорят, ему одно время запретили писать.

— За что же?

— Ну вот, разве вы не слышали?

— Не слышала.

— Да, а теперь, говорят, опять пишет. Тоже, говорят, очень хорошие стишки.

Анна стояла одна у ручья. Задумчиво глядела на тихо струящуюся воду, на темно-зеленые, широкие листья водяного лопуха. Они качались и дремали, но Анна знала, что над ними развернутся, будет время, большие белые цветы. Издалека слышался резкий стук дятла.

Логин подошел к Анне. Спросил:

— И зачем вы здесь?

Анна улыбнулась. Логин продолжал:

— Такое пошлое все это общество! Впрочем, пусть их, здесь хорошо, вот здесь, где мы одни.

Осторожно заглянул в ее рдеющее лицо. Глаза ее были грустны и ласковы. Руки их сошлись в нежном пожатии, и ощущение радости пронизало обоих, как внезапная боль.

Вдруг страстное желание чего-то невозможного повелительно охватило Логина. Он смотрел на Анну, и ему стало досадно, что она теперь нарядна, как все. Спросил притворно-ласково:

— Вы сегодня опять в новом платье?

— И рыбы наряжаются, бывает пора, — ответила она. — Я люблю радость.

— Только радость?

— Нет, и все в жизни. Хорошо испытывать разное. Струи Мэота и боль от лозины — во всем есть полнота ощущений.

Логину больно было думать, что Анна переносит боль. А она говорила спокойно:

— Хорошо чувствовать, как падают грани между мною и внешним миром, — сродниться с землею и с воздухом, со всем этим.

Показала широким движением руки на воду ручья, на лес, на далекое небо, — и все далекое показалось Логину близким.

Пьяный мужик топтался на дороге. Понемногу делался смелее, все ближе подвигался к веселящимся господам. Подбитое лицо, недоумевающие глаза, тусклая постоянная улыбка на синеватых, сухих губах, взлохмаченные волосы, плохая одежонка; пахло водкою; впечатление безвозвратно опустившегося пропойцы.

Баглаев захихикал. Сказал Логину тихонько:

— Скандальчик будет, чует мое сердце, веселенький скандальчик.

Логин вопросительно посмотрел на него. Баглаев объяснял:

— Видишь этого субъекта? Ну, это, в некотором роде, соперник Алексея Степановича.

— Как это так? — спросил Логин.

— А это Спирька, Ульянин муж, той, знаешь, что у Мотовилова живет, экономкой, понимаешь? Мотовилов Спирьке рога ставит, а Спирька с горя пьянствует.

— Вот так мужичинища! — опасливо сказал Бинншток, — этот притиснет, так мокренько станет.

Спирька был уже совсм близко и вдруг заговорил:

— Ежели, к примеру, господин какую девку из нашего сословия, то, выходит, на высидку, а там, брат, ау! пошлют лечиться на теплые воды. Ну, а ежели кто баб, так я так полагаю, что и за это по головке не погладят.

— Ты, Спирька, опять пьян, — сказал Гомзин.

— Пьян? Вот еще! Важное дело! И господа пьют. Вот в нашей школе учитель пьет здорово, а где научился? В семинарии, обучили в лучшем виде, всем наукам, и пить, и, значит, за девочками.

— Спиридон, уходи до греха, — строго сказал Мотовилов.

— Чего уходи! Куда я пойду? Ежели теперь моя жена... Ты мне жену подай, — взревел яростно Спирька, — а не то я, барин, и сам управу найду. Есть и на вас, чертей...

Но тут Спирьку подхватили мотовиловские кучера и извозчики, за которыми успел сбегать проворный Бинншток. Спирька отбивался и кричал:

— Ты меня попомни, барин: я тебе удружу, я тебе подпущу красного петуха.

Но скоро крики его затихли в отдалении. Общество усиленно занялось развлечениями. Все делали вид, что никто ничего не заметил. Тарантина затянула веселую песенку, ей стали подтягивать. Нестройное, но громкое и веселое пение разносилось по лесу, и звонкий вой передразнивал его.

Бинншток придумывал, что бы сказать приятное Логину, доказать, что он не клевещет на Логина, а сочувствует. Подошел к Логину и сказал, делая серьезное лицо:

— Несчастный человек — этот Спиридон. Мне его очень жалко!

— Да? — переспросил Логин.

— Правда! И я думаю, что все беды народа от его невежества и малой культурности. Я часто мечтаю о том времени, когда все будут равны и образованны.

— И мужики будут щеголять в крахмальных сорочках и цилиндрах?

— Да, я убежден, что такое время настанет.

— Это будет хорошо.

— Еще бы! Тогда не будет этой захолустной тосчищи: общество везде будет большое. И вообще у нас много предрассудков. Вот хоть брак. Дети Адама женились на сестрах, отчего же нам нельзя?

— В самом деле, как жаль!

— Или древние пользовались мальчиками, а мы отчего же?

— Да, все предрассудки, подумаешь!

— Но прогресс победит их, все это будет впоследствии, и свободный брак, и все, и вольная проституция.

— Именно.

— А какую стишину он сляпал! — осклабился Бинშток.

— Вам нравится?

Бинšток фыркнул.

— Еле выдержал!

— Ну что, канашка-соблазнитель, — сказал подошедший Гуторович, — что ж барышень забыли? Евлалия, живописная раскрасавица, поди, соскучилась!

— А ну ее! — досадливо сказал Бинšток и отошел.

Пьяный Баглаев подходил то к одному, то к другому и таинственно шептал:

— А ведь Спирьку-то Логин подуськал, никто, как он, уж это, брат, верно. Уж я знаю, мы с ним приятели.

— Ты врешь, Юшка, — сказал Бинšток.

— А, ты не веришь? Мне, голове? Ах ты, немецкая штука! Эй, ребята, — заорал Баглаев, — немца крестить, Быньку! В воду.

Подвыпившие молодые люди с хохотом окружили Бинштока и потащили его к ручью. Бинšток хватался за кусты и кричал:

— Костюмчик испортите, вся новая тройка! Скандал.

## Глава двадцать четвертая

Царский день. К концу обедни церковь наполнилась. Чиновники с важным положением в городе пыжились впереди, в мундирах и при орденах. Сбоку, у клироса, стояли их дамы. И они, и оне мало думали

о молитве; они крестились с достоинством, оне с грациею, и в промежутке двух крестных знамений вполголоса сплетничали — так было принято. Барышни жеманились и часто опускались на колени от усталости. Одна из них молилась очень усердно; прижав ко лбу средний палец, стояла несколько мгновений неподвижно на коленях, с глазами, устремленными из-под руки на образ, потом кончала начатое знамение и прижималась лбом к пыльному полу.

Дальше стояла средняя публика: чиновники помоложе, красавицы из мещанского сословия. Еще дальше — публика последнего разбора: мужики в смазных сапогах, бабы в пестрых платочках. Седой старик в сермяге затесался промеж средней публики, истово клал земные поклоны, шептал что-то. Два канцеляриста, один маленький, сухонький, тоненький, как карандаш, другой повыше и потолще, бело-розовое лицо вербного херувима, подталкивали друг друга локтями, показывали глазами на старика и фыркали, закрывая рты шапками.

Впереди слева стояли рядами мальчишки, ученики городского училища. Стояли смирно, исподтишка щипались. В положенное время крестились, дружно становились на колени. Детские лица были издали милы, и очень красивы были коленопреклоненные ряды, особенно для близоруких, не замечавших шалостей. За ними стоял Крикунов. Молитвенно-сморщенное лицо; злые глазки напряженно смотрели на иконостас и на мальчишек; маленькая головка благоговейно покачивалась. Новенький мундир, сшитый недавно на казенный счет по случаю проезда высокопоставленной особы, стягивал его шею и очень мало шел к его непредставительной фигурке.

Мальчик лет двенадцати, пришедший с родителями, молился усердно, делал частые земные поклоны. Когда подымался, видно было по лицу, что очень доволен своею набожностью.

Певчие, из учеников семинарии и начальной при ней школы, были хороши. Пели на хорах, как ангелы. Регент, красное лицо, свирепая наружность, увесистый кулак. Зазевавшиеся дискантики и сплутовавшие альтики испытывали неоднократно на своих затылках силу регентовой длани. Поэтому шалили только тогда, когда регент отворачивался. Публика не видела их, слушала ангельское пение и не

знала, что уши певцов, изображавших тайно херувимов, находятся в постоянной опасности.

День выдался жаркий, сухой. В соборе становилось душно. Логин стоял в толпе; мысли его уносились, и пение только изредка пробуждало его. Потные лица окружающих веяли на него истомою.

Молебен кончился. Особы и дамы их прикладывались к кресту; они и оне старались не дать первенства тому, кто по положению своему не имел на то права.

К Логину подошел Андозерский в красиво сшитом мундире. Спросил:

— Что, брат, жарища? А как ты находишь мой мундир, а? хорош?

— Что ж, недурен.

— Шитье, дружище, заметь: мундир пятого класса, почти генеральский! Это не то что какого-нибудь восьмого класса, бедненькое шитьецо. А ты что не в мундире?

— Ну, что ж, — с улыбкою ответил Логин, — мой мундир восьмого класса, — что в нем? бедненькое шитьецо!

— Да, брат, я многонько обскакал тебя по службе. Что ж ты не тянешься?

— Это для мундира-то?

— Ну, для мундира! Вообще, мало ли. Ну, да ты, дружище, и так по-барски устраиваешься.

— Это как же?

— Да как же: свой казачок, обзавелся, вроде как бы крепостного, — да еще какой смазливый.

В голосе Андозерского прорвалась нотка злобного раздражения. Логин усмехнулся. Спросил:

— Уж ты не завидуешь ли?

— Нет, брат, я до мальчиков не охотник.

— Ты, мой милый, как я вижу, до глупостей охотник, да и до глупостей довольно пошлых.

— Ну, пожалуйста, не очень.

— Только ты вот что скажи: сам ты сочинил свою эту глупость или заимствовал от кого и повторяешь?

— Позволь, однако, я, кажется, ничего оскорбительного...

— А ну тебя, — прервал Логин и отвернулся от него.

Андозерский злобно усмехнулся. Язвительно подумал: «Не нравится, видно!»

Слова о казачке он слышал от Мотовилова, счел их чрезвычайно остроумными и повторял всякому, кого ни встречал, повторял даже самому Мотовилову.

Дома Логин нашел приглашение на обед к Мотовилову; были именины Неты. По дороге встретил Пожарского. Актер был грустен, но храбрился. Сказал:

— Великодушный синьор! вы, надо полагать, направляете стопы «в ту самую сторонку, где милая живет»?

— Верно, друг мой!

— Стало быть, удостоитесь лицезреть мою очаровательную Джульетту! А я-то, несчастный...

— Что ж, идите, поздравьте именинницу.

— Гениальнейший, восхитительный совет! Но, увы! не могу им воспользоваться, — не пустят. Формально просили не посещать и не смущать.

— Сочувствую вашему горю.

— Ну, это еще полгоря, а горе впереди будет.

— Так тем лучше, — значит, «ляг, опочинься, ни о чем не кручинься»!

— А великодушный друг сварганит кой-какое дельце, а? не правда ли?

Пожарский схватил руку Логина, крепко пожимал ее, умильно смотрел ему в глаза, просительно улыбался. Логин спросил:

— Какое дело? может, и сварганим.

— Будьте другом, вручите прелестнейшей из дев это бурно-пламенное послание, — но незаметным манером.

Пожарский опять сжал руку Логина, — и сложенная крохотным треугольником записочка очутилась в руке Логина. Логин засмеялся.

— Ах вы, ловелас! Вы моему другу дорогу перебиваете, да еще хотите, чтоб я вам помогал.

— Другу? Это донжуан Андозерский — ваш друг? Сбрендили, почтенный, — не валяйте Акима-простоту, он вам всучит щетинку. Да вы, я знаю, иронизировать изволите! Так уж позвольте быть в надежде!

Когда Логин здоровался с Нетою, он ловко всунул ей в руку записку. Нета вспыхнула, но сумела незаметно спрятать ее. Потом она долго посматривала на Логина благодарными глазами. Записка обрадовала ее, — она улучила время ее прочесть, и щеки ее горели, так что ей не приходилось их пощипывать.

Перед обедом у Мотовилова в кабинете сидели городские особы и рассуждали. Мотовилов говорил с удвоенно важным видом:

— Господа, я хочу обратить ваше внимание на следующее печальное обстоятельство. Не знаю, изволили вы замечать, а мне не раз доводилось наталкиваться на такого рода факты: после молебна младшие чиновники, наши подчиненные, выходят первыми, а мы, первые лица в городе, принуждены идти сзади, и даже иногда приходится получать толчки.

— Да, я тоже возмущался этим, — сказал Моховиков, директор учительской семинарии, — и я, между прочим, вполне согласен с вами.

— Не правда ли? — обратился к нему Мотовилов. — Ведь это возмутительно: подчиненные нас в грош не ставят.

— Это, енондер-шиш, вольнодумство, — сказал исправник, — либерте, эгалите, фратерните!

— Следует пресечь, — угрюмо решил Дубицкий.

— Да, но как? — спросил Андозерский. — Тут ведь разные ведомства. Это — щекотливое дело.

— Господа, — возвысил голос Мотовилов, — если все согласны... Вы, Сергей Михайлович?

— О, я тоже вполне согласен, — с ленивою усмешкою отозвался директор гимназии Павликовский, не отрываясь от созерцания своих пухлых ладоней.

— Вот и отлично, — продолжал Мотовилов. — В таком случае, я думаю, так можно поступить. Каждый в своем ведомстве сдела-

ет распоряжение, чтоб младшие чиновники отнюдь не позволяли себе выходить из собора раньше начальствующих лиц. Не так ли, господа!

— Так, так, отлично! — раздались восклицания.

— Так мы и сделаем. А то, господа, совершенное безобразие, полнейшее отсутствие дисциплины.

— Какую у нас разведешь дисциплину, енондер-шиш! Скоро со всяким отерхотником на «вы» придется говорить. Ему бы, прохвосту, язык пониже пяток пришить, а с ним... тьфу ты, прости Господи!

— Да-с, — сказал инспектор народных училищ, — взять хотя бы моих учителей: иной из мужиков, отец землю пахал, сам на какие-нибудь пятнадцать рублей в месяц живет, одно слово — гольтепа, — а с ним нежничай, руку ему подавай! Барин какой!

— Нет, — хриплым басом заговорил Дубицкий, — я им повадки не даю. За то они меня боятся, как черти ладана. Приезжаю в одну школу. Учитель молодой. Который год? — спрашиваю. Первый, говорит. То-то, говорю, первый, с людьми говорить не умеешь; я генерал, меня ваше превосходительство называют. Покраснел, молчит. Эге, думаю, голубчик, надо тебе гонку задать, да такую, чтоб ты места не нашел. Экзаменую. Как звали жену Лота? Мальчишка не знает...

— А как ее звали? и я не знаю, — сказала Баглаев.

Он до тех пор сидел скромненько в уголке и тосковал по водке.

— Я тоже забыл. Но ведь я давно учился, а они!.. Ну ладно, это по Закону Божьему. А по другим предметам? Читай! Газета со мной была, «Гражданин», дал ему. Читает плохо. А что такое, спрашиваю, палка? Молчат, стервецы, никто не может ответить. Хорошо! Пиши! Пишет с ошибками, «сѣчь» через «е» пишет! Это, говорю, любезный, что такое? да чему ты их учишь? да за что ты деньги получаешь? да я тебя, мерзавца! Да вы, говорит, на каком основании? Ах ты, ослоп! Основание? На основании предоставленной мне диктаторской власти — вон! Да чтоб сегодня же, такой-сякой, и потрохов твоих в школе не было, чтоб и духу твоего не пахло! А как это вам понравится?

Дубицкий захохотал отрывисто и громко. Свежунов крикнул:

— Вот это ловко!

— Нагнали вы ему жару, — говорил Мотовилов.

Остальные сочувственно и солидно смеялись.

— Что ж вы думаете? Смотрю, дрожит мой учитель, лица на нем нет, да вдруг мне в ноги, разрюмился, вопит благим матом: «Смилуйтесь, ваше превосходительство, пощадите, не погубите!» — Ну, говорю, то-то, вставай, Бог простит, да помни на будущее время, такой-сякой, ха-ха-ха!

Одобрительный хохот покрыл последние слова Дубицкого.

— Вот это по-нашему, енондер-шиш! — в восторге восклицал исправник.

Когда смех поулегся, отец Андрей льстиво заговорил:

— Вы, ваше превосходительство, для всех нас как маяк в бурю. Одного боимся: не взяли бы вас от нас куда повыше.

Дубицкий величаво наклонил голову.

— И без меня есть. Не гонюсь. Впрочем, отчего ж!

— Да-с, господа, — солидно сказал Мотовилов, — дисциплина — всему основание. Вожжи были опущены слишком долго, пора взять их в руки.

— А вот, господа, — сказал отец Андрей, — у меня служанка Женька, — видели, может быть?

— Смуглая такая? — спросил Свежунов.

— Во-во! Грубая такая шельма была. Вот я погрозил ее высечь: позову, мол, дьячка, заведем с ним в сарай, да там так угощу, что до новых веников не забудешь. Теперь стала как шелковая, хи-хи!

— Ишь ты, не хочет отведать, енондер-шиш!

— И дельно, — сказал Мотовилов. — Потом сама будет благодарна. Дисциплина, дисциплина прежде всего. К сожалению, надо признаться, мы сами во многом виноваты.

— Да, гуманничаем не в меру, — меланхолично заметил Андозерский.

— Да, — сказал Мотовилов, — и в нашей, так сказать, среде происходят явления глубоко прискорбные. Возьмем хоть бы недавний факт. Вам, господа, известно, в каком образцовом порядке содержится, стараниями Юрия Александровича, здешняя богадельня, какой

приют и уход получают там старики и старухи и какое высоконравственное воспитание дается там детям, в духе доброй нравственности, скромности и трудолюбия.

— Да, могу сказать, — вмешался Юшка, — не жалею трудов и забот.

Затасканное лицо его засветилось самодовольством.

— И Бог воздаст вам за вашу истинно христианскую деятельность! Да-с, так вот, господа, из богадельни убежал мальчишка, убежал, заметьте, второй раз: в прошлом году его нашли, наказали, так сказать, породительски, но, заметьте, не отказали ему в приюте и опять поместили в богадельне. И как же он платит за оказанные ему благодеяния? Бежит, слоняется в лесу, его там находит человек, известный нам всем, берет к себе и что же с ним делает? Возвращает туда, где мальчик получал соответственное его положению воспитание? Нет-с! Мальчишку, которого за вторичный побег следовало бы выпороть так, чтоб чертям стало тошно, он берет к себе и обращает в барчонка! Положению этого олуха может буквально позавидовать иной благородный ребенок, сын бедных родителей. Я спрашиваю вас: не безобразно ли это?

— Безнравственно! — решил Дубицкий.

— Именно безнравственно! — подхватил казначей. — И почем знать, к чему ему понадобилось брать этого свиненка?

— Знаете, — сказал Андозерский, — есть люди, которым мальчики нравятся.

— Именно, нравятся, — согласился Мотовилов, — но я вас спрошу: как следует относиться к таким возмутительным явлениям?

Все изобразили на своих лицах глубочайшее негодование.

— Гуманность! — сказал Дубицкий с презрением. — А по-моему, мальчишку следовало бы отобрать от него, отодрать и сослать подальше.

— Да, да, сослать, — подхватил Вкусов, — в Сибирь, приписать куда-нибудь к обществу, к пейзанам.

— По крайней мере, — сказал Мотовилов, — нравственность его была бы в безопасности. Какое-то общество затевает! Но это — такая глупая мысль, что просто нельзя поверить, чтоб здесь чего не скрывалось.

— Гордыня, умствование, — наставительно говорил отец Андрей, — а вот Бог за это и накажет. Нет, чтобы жить, как все, — надо свое выдумывать!

— Господа, — сказал Андозерский, — я должен заступиться за Логина: он, в сущности, добрый малый, хотя, конечно, с большими странностями.

Мотовилов перебил его:

— Извините, мы вас понимаем! Это с вашей стороны вполне естественно и великодушно, что вы желаете вступиться за вашего бывшего школьного товарища. Но кого ни коснись, кому приятно быть товарищем сомнительного господина?

— Уж это, — сказал исправник, — конечно, се не па жоли *.

— Но все-таки, любезный Анатолий Петрович, уж нас-то вы не переубедите.

— Да ведь я, господа, что ж, — оправдывался Андозерский, — я, конечно, знаю, что у него одного винтика не хватает. Ведь мы с ним давно знакомы, знаю я, что это за господчик. Но в существе, так сказать, в сердцевине, он добрый малый, — конечно, испорченный, ну да что станешь делать! Сами знаете, наш нервный век!

— Да, — сказал Дубицкий, — не раз пожалеешь доброе старое время.

— Доброе дворянское время, — подхватил Мотовилов, — когда невозможны были оригиналы, вроде Ермолина, который так дико воспитал своих несчастных детей.

— Да, — сказал Вкусов озабоченно, — смирно живет, а все у меня сердце не на месте: Бог его знает.

— Вредный человек! — сказал отец Андрей. — Атеист, и даже не считает нужным скрывать этого. Человек, который не верит в Бога, — да что ж он сам после того? Если нет Бога, значит, и души нет? Да такой человек все равно что собака, хуже татарина.

— Что собака! — сказал Дубицкий, — да иной человек хуже всякой собаки.

* Это некрасиво (от *фр* ce ne pas joli).

— И дочка у него, — продолжал сокрушаться Вкусов, — ведет себя совсем неприлично. Пристало ли дворянской девице, богатой невесте, бегать по деревне, с позволения сказать, босиком? Нехорошо, енондер-шиш, нехорошо! Совсем моветон!

— Дрянная девчонка! — решил отец Андрей.

А в гостиной дамы с большим участием расспрашивали Логина о мальчике-найденыше.

Анна Михайловна Свежунова, жена казначея, говорила, подымая глаза к потолку:

— Вы поступили так великодушно, так по-христиански!

— О да, это такой благородный поступок! — вторила ей Александра Петровна Вкусова.

Клеопатра Ивановна Сазонова, мать председателя земской управы, пожелала показать и другую сторону медали и с грустным сочувствием сказала:

— Да, но люди так неблагодарны! Вы им благодеяние оказываете, но они разве чувствуют?

— Ах, это так верно, Клеопатра Ивановна, — сказала Свежунова, — уж какая от них благодарность!

— Жулье-народ, — сказала Вкусова, сконфузилась и прибавила: — Извините за выражение.

— Вот хоть бы у меня, — рассказывала Клеопатра Ивановна, — взяла я сиротку, воспитала, как родную дочь, и что же? Можете себе представить, идет замуж, сама выбрала себе жениха, какого-то купца, Глиняного, Фаянсова, что-то в этом роде, — а обо мне и думать не хочет. Ей это ничего не значит, что я к ней так привыкла!

— Удивительная неблагодарность! — воскликнула Вкусова. — Смотрите, Василий Маркович, и с вами то же самое случится.

— О, непременно, — подтвердили другие дамы.

— Помилуйте, что за благодарность! — сказал Логин, — ведь если мы делаем что-нибудь полезное для других, то единственно потому, что это нам самим приносит удовольствие...

Дамы выразительно переглянулись.

— За что же тут благодарность? — продолжал Логин.

— Вот уж я не понимаю, какое удовольствие — беспокоиться о людях, от которых, знаешь наперед, не будет никакой тебе благодарности, — сказала Сазонова.

— Ах, Клеопатра Ивановна, — язвительно подбирая губы, сказала Вкусова, — у всякого свой вкус; ведь кому что нравится.

В это время из кабинета вышли Мотовилов и его гости. Мотовилов, вслушавшись в слова Логина, обратился к нему с наставительною речью:

— Я должен вам сказать, Василий Маркович, что наш простой народ не понимает деликатного с ним обращения. Разве это такие же люди, как мы? Вы ему одолжение делаете, даже благодеяние, а он принимает это за должное.

— Ах, это совершенно верно! Совершенная правда! — раздались сочувственные голоса.

Мотовилов продолжал:

— Я вообще думаю, что с этим народом нужны меры простые и быстрые. Позвольте рассказать вам по этому поводу факт, случившийся на днях. Живет у меня кухарка Марья, очень хорошая женщина. Правда, любит иногда выпить, — да ведь кто без слабостей? Один Бог без греха! Но, надо вам сказать, очень хорошая кухарка, и почтительная. Есть у нее сын Владимир. Держит она его строго, ну и мальчик он смирный, послушный, услужливый. Учится он в городском училище. Конечно, отчего не поучиться? Я держусь того мнения, что грамота, сама по себе, еще не вредна, если при этом добрые нравы. Ну-с, вот один раз стою я у окна и вижу: идет Владимир из школы, — а было уж довольно поздно. Ну там зашалился с товарищами или был наказан, — не знаю. И вижу, другие мальчишки с ним. Вдруг, вижу, выскакивает из калитки Марья, прямо к сыну, и по щеке его бот! по другой бот! да за волосенки! Тут же на улице такую трепку задала, что любо-дорого.

Рассказ Мотовилова произвел на общество впечатление очень веселого и милого анекдота.

— Расчесала! — вкусно и сочно сказал Андозерский.

— Воображаю, — кричал казначей, — какая у него была рожа!

— Да-с, — продолжал Мотовилов, — тут же на улице, при товарищах; товарищи хохочут, а ему и больно, и стыдно.

— Верх безобразия, — брезгливо сказал Логин, — эта таска на улице, и смех мальчишек, гадкий смех над товарищем, — какая подлая сцена!

Все неодобрительно и сурово посмотрели на Логина. Вкусова воскликнула:

— Вы уж слишком любите мальчиков!

— А по моему мнению, — сказал Мотовилов, — весьма нравственная сцена: мать наказала своего ребенка, — это хорошо, а смех исправляет. Зато он у нее по ниточке ходит.

Логин улыбнулся. Странная мысль пришла ему в голову: смотрел на полуседую бороду Мотовилова, и почти неодолимо тянуло встать и дернуть Мотовилова за седые кудри. Голова кружилась, и он с усилием отвернулся в другую сторону. Но глаза против воли обращались к Мотовилову, и глупая мысль, как наваждение, билась в мозгу и вызывала натянутую, бледную улыбку. И вдруг волна злобного чувства поднялась и захватила. Он вздохнул облегченно, глупая мысль утонула, унося с собою бледную, ненужную улыбку.

«Убить тебя — доброе дело было бы!» — подумал он.

Его глаза загорелись сухим блеском. Резко сказал:

— Ваша теория имеет одно несомненное преимущество: это — последовательность.

— Очень рад, — иронически ответил Мотовилов, — что сумел угодить вам хоть в этом отношении.

В это время в дверях показалась Анна. Шелест ее светло-зеленого платья успокоил Логина.

«Как глупо, — подумал он, — что я чувствую злобу! Негодовать на филинов, когда знаешь, что солнце все так же ярко!»

И отвечал Мотовилову спокойно и мягко:

— Нет, извините, мне вовсе не мила такая последовательность. Я привык чувствовать по-другому... У всякого свои мысли... Я не думаю переубедить...

— Совершенно верно, — сухо сказал Мотовилов. — У меня уж сивая борода, мне не под стать переучиваться.

После этого разговора общество окончательно убедилось в том, что отношения Логина к Лене нечисты.

— Какое бесстыдство! — говорила потом Свежунова, когда Логин был в другой комнате, — сам проговорился, что этот мальчишка доставляет ему удовольствие.

— Воображаю, — сказала Сазонова, — какое это удовольствие. Хорош гусь!

В компании мужчин, — конечно, тоже в отсутствии Логина, — Биншток уверял, что уже давно известно, какие именно штуки проделывает Логин с мальчишкою, и что ему, Бинштоку, это известно раньше всех и доподлинно: он сам-де это видел, то есть чуть-чуть не видел, почти совсем застал. По этому поводу Биншток рассказал, довольно некстати, как в Петербурге одна барыня завладела им на Невском проспекте и целую неделю пользовалась его услугами, а потом уплатила весьма добросовестно. Рассказ Бинштока вызвал общий восторг.

Подстрекаемый успехом Бинштока, Андозерский вдохновился и сочинил, что у Логина была очень молодая и очень красивая мать, весьма чувственная женщина.

— Ну, и вы понимаете?

Негодующие сплетники восклицали хором:

— Однако!

— Это уж слишком!

— Гадость какая!

— И вот, представьте, — продолжал фантазировать Андозерский, — один раз отец их застал!

— Вот так штука!

— Енондер-шиш, се тре мове! *

— Воображаю!

— Положение хуже губернаторского!

* Это очень скверно! (от *фр* c'est très mauvais)

— Мать — хлоп в обморок. Отец — пена у рта. А сын прехладнокровно: ни слова, или я выведу на чистую воду ваши шашни с моей сестрой! Ну, и отец сбердил, можете представить! — тихими стопами назад, а вечером жене брошку в презент, а сыну — оружье!

Раздался громкий хохот, посыпались восклицания:

— Вот так семейка!

— Ай да папенька!

— Переплет!

— Конечно, господа, — озабоченно сказал Андозерский, — это между нами.

— Ну, само собой!

## Глава двадцать пятая

Обед, шумный, веселый, для Логина тянулся скучно. Пили, ели, говорили пошлые глупости. Даже с Анною не пришлось говорить сегодня.

Мотовилов обратился к Логину с вопросом:

— Ну, а что вы намерены, Василий Маркович, делать в последующее время с этим... как его... вашим воспитанником?

Разговоры призатихли, ножи приостановились в руках обедающих, все повернули головы к Логину и прислушивались к тому, что он скажет. Не успел приспособить голоса к внезапному затишью, и ответ прозвучал несоразмерно громко:

— Отдам в гимназию.

— В гимназию? — с удивленным видом переспросил Мотовилов.

Дамы засмеялись, мужчины улыбались насмешливо и изображали на своих лицах, что от него, мол, чего же и ожидать, как не глупостей. Мотовилов сделал строгое лицо и сказал:

— Ну, я должен вам заметить, что это едва ли вам удастся.

Логин удивился. Спросил:

— Это отчего?

— Да кто же его примет? Я первый против. И я уверен, что и почтенный Сергей Михайлович со мною согласен, не правда ли?

Павликовский апатично улыбнулся, молча наклонил голову. Логин сказал:

— Приготовится, выдержит экзамен, — за что ж его не принимать? В нашей гимназии не тесно.

— Гимназия не для мужиков, — возразил Мотовилов, — вы это напрасно изволите не принимать во внимание.

— И гимназия, и университет, — настаивал Логин, — для всех желающих.

— Даже университет? — посмеиваясь, сказал Андозерский. — Нет, дружище, и так перепроизводство чувствуется, да еще мужичонков через университет протаскивать, — да они еще там будут стипендии выклянчивать. Ну и, конечно, с их мужицким трудолюбием...

— Стипендии все эти, — заявил Дубицкий, грозно хмуря брови, — баловство, разврат. Не на что тебе учиться — марш в деревню, паши землю, а не клянчи. Учатся они там! На собаках шерсть околачивают, а потом в чиновники лезут, да чтоб им тысячи отваливали. Это из податного сословия-то, а?

— Да, — сказал Павликовский, — уж вы оставьте эту дорогу детям из общества, а для других... ну, там у них свои школки есть, — ведь это достаточно, куда ж там!

— Напрасно думать, — возражал Логин, — что у нас людей образованных достаточно. В нашем обществе невежество сильно дает себя чувствовать.

— Вот как! В нашем обществе — невежество? — обидчиво сказала хозяйка.

Дамы переглядывались, улыбались, пожимали плечами. Только Анна ласково смотрела, оправляя широкий бант своей газовой светло-зеленой косынки. Кроткая улыбка ее говорила: «Не стоит сердиться!»

— Извините меня, — сказал Логин, — я вовсе не то хочу сказать. Я вообще о русском обществе говорю.

— А вот мы, енондер-шиш, — вмешался Вкусов, — и не были в университете, да что ж мы, невежды? А мы и парле-франсе умеем!

— Мы с тобой — дурачье, — закричал казначей, — так умники решили.

Логин обвел глазами стол: глупые, злые лица, пошлость, злорадство. Он подумал: «А ведь и в самом деле могут не пустить Леньку в гимназию!»

Апатичное лицо Павликовского никогда раньше не казалось таким противным. Торжественно-самодовольная мина Мотовилова подымала со дна души негодование бессильное и озлобленное.

В конце обеда произошел неожиданный и даже маловероятный скандал. Неведомо какими путями в дверях появился пьяный Спирька. Оборванный, грязный, безобразный, стоял перед удивленными гостями, подымал громадные кулаки, кричал диким голосом, пересыпал слова непечатною бранью:

— Все — одна шайка! Наших баб портить! Подавай мою жену, слышь, подавай! Расшибу! Будешь мою дружбу помнить!

Дамы и девицы выскакивали из-за стола, разбегались, мужчины приняли оборонительные позы. Только Анна сидела спокойно.

Спирьку скоро удалось вытащить. Все пришло в порядок. Мотовилов ораторствовал.

— Вот, мы видим воочию, что такое мужик. Это — тупая скотина, когда он трезв, и разъяренный зверь, когда он напьется, — но всегда животное, которое нуждается в обуздании. Вы, члены первенствующего сословия, не должны забывать нашего высокого призвания по отношение к народу и государству. Если мы устранимся или ослабеем, вот кто явится нам на смену. И чтобы выполнить нашу миссию, мы должны быть сильны не только единодушием, но и тем, что, к сожалению, дает теперь силу всякому: мы должны быть богаты, должны не расточать, а собирать. И мы явимся в таком случае истинными собирателями русской земли. Это — великая заслуга перед государством, и государство должно оказать нам более существенную поддержку, чем было до сих пор. Пора вернуться и нам домой!

— Что так, то так! — подтвердил Дубицкий, — поразбрелись.

— Я иногда мечтаю, господа, — продолжал Мотовилов, — как наша святая Русь опять покроется помещичьими усадьбами, как

в каждой деревне опять будет культурный центр, — ну, а также и полицейский, — будет барин и его семья...

— Это — миф, русское дворянство, — сказал Логин, — и поверьте, ничего не выйдет из дворянских поползновений. Таков удел нашего дворянства — прогорать, с блеском: пыль столбом, дым коромыслом.

Когда обед кончился, Баглаев под шумок отвел Логина в сторону и шепнул ему заплетающимся от излишне выпитого вина языком:

— А ведь это я сделал!

— Что такое!

— Спирьку-то, — напоил и науськал — я!

— Как это ты? и для чего?

— Т-с! После расскажу. А? что? потешно? Утер я ему нос? А Спирька-то каков!

Улучив минуту, когда Логин остался один, Нета подошла к нему. Сказала:

— Извините, но вы такой добрый!

И опять крохотный лоскуток лежал в его ладони. Логин усмехнулся, сунул письмо в боковой карман сюртука и заговорил о другом.

Уже был вечер, когда Логин вышел из дома Мотовилова. На небе высыпали звезды. Толпился народ на улицах — больше народа, чем обыкновенно в праздничные дни. Шорох возбужденных разговоров струился по улицам. Все глядели в одну сторону, на небо, где светилась яркая звезда. Говорили о воздушном шаре, о прусских офицерах, об англичанке и о холере. Кто-то уверенно рассказывал, что в самую полночь шар «подъедет» к окну острога, Молин сядет «в шар» и уедет. Женщины причитали, охали. Мужчины больше прислушивались к бабьим толкам и были озлоблены.

Логин услышал за собою нахальный голос:

— А вот это и есть самый лютый лютич!

Оглянулся. Кучка мещан, человек десять, стояла посреди улицы. Впереди молодой парень с бледным, злым лицом. Какой-то

несуразный вид. Сбитые набок волосы торчали из-под фуражчонки, просаленной насквозь, как ржаной блин; на него она была похожа и формою, и цветом. Губы перекошенные, сухие, синие, тонкие. Глаза тускло-оловянные. Тонкий большой нос казался картонным. Измызганный пиджачишка, рваные штаны, заскорузлые опорки — все неуклюже торчало, как на огородном чучеле. Он-то и сказал слова, которые остановили Логина.

Логин стоял и смотрел на мещан. Они мрачно разом рассматривали его. Парень с оловянными глазами сплюнул, покосился на товарищей и заговорил:

— Антихристову печать кладет на людей, кого, значит, в свое согласие повернет. Что ни ночь, на шарах летает, немит-травой сыплет, оттого и холера.

Остальные все молчали, угрюмо и злобно.

Поле зрения Логина вдруг сузилось: видел только бледное лицо, синие губы, оловянные глаза, — все это где-то далеко, но поразительно отчетливо. Чувствовал в груди какое-то, словно радостное, стеснение; что-то властное и торжествующее толкало вперед. Бледное лицо, которое приковало к себе его глаза, приближалось с удивительною быстротою, и так же быстро суживалось поле зрения: вот в нем остались только оловянные глаза, — и вдруг эти глаза беспомощно и робко забегали, замигали, заслезились, шмыгнули куда-то в сторону.

Логин очнулся. Мещане раздвинулись. Уходил, не оглядываясь. Мещане глядели за ним. Один из толпы сказал:

— Ежели слово знает, так его не возьмешь.

— Нет, — возразил другой, — коли наотмашь сдействуешь, так оно того, и не заикнется.

— Наотмашь, это верно, — подтвердил буян с оловянными глазами.

Жгучее любопытство мешало Логину идти домой. Ходил по улицам, смотрел, слушал. Незаметная для него самого злая улыбка иногда выползала на его губы, медленная, печальная. Горожане, которые видели эту улыбку и слышали короткий смех, вырывавшийся порою из его груди, смотрели на него со злобою.

Долго ходил и стал собирать впечатления.

«Дикие, злобные лица! — думал он. — За что? Нет, вздор, это — иллюзия. Я просто пьян, и все тут».

На одной улице встретил директоров, Павликовского и Моховикова. Стояли на деревянных мостках, поддерживали друг друга под руку, слегка покачивались, смотрели на яркую звезду. Моховиков обратился к Логину:

— Удивительное невежество! Ну скажите, пожалуйста, где тут сходство с воздушным шаром?

— Да, сходства мало, — согласился Логин.

Павликовский продолжал апатично глазеть на небо. Пьяная улыбка некрасиво растягивала его малокровные губы. Моховиков продолжал излагать свои соображения:

— Я, между прочим, думаю, что это комета.

— Почему вы так думаете, Николай Алексеевич? — спросил Павликовский.

По его лицу видно было, что на него напала блажь заспорить.

— На том простом основании, — объяснял Моховиков, — что у него есть фост.

— Извините, я не вижу хвоста.

— Маленький фостик!

— И хвостика не вижу, — невозмутимо продолжал настаивать Павликовский.

— Этак, знаете, закорючкой, — очень убедительно говорил Моховиков, но в голосе его уже звучала нотка нерешительности и сомнения.

— Нет, я не вижу.

— Гм, странно, — протянул Моховиков, чувствуя себя сбитым с толку. — Ну, а что же это, по-вашему?

Павликовский принял важный вид и сказал:

— Как вам сказать! Я думаю, что это — Венера.

Моховиков постарался придать своему лицу, раскрасневшемуся от вина, еще более глубокомысленное выражение и сказал:

— А я хочу вам сказать следующее, Сергей Михайлович, — по моему мнению, уж если это не комета — то Курмурий!

— Как? — удивился Павликовский. — То есть Меркурий?

— Ну да, я и говорю, между прочим, Меркурий.

— Вы думаете?

— Да непременно, — убежденно и горячо говорил Моховиков. — Ну посудите сами, какая ж это Венера! Не может быть ни малейшего сомнения, что это именно Меркурий.

— Пожалуй, — согласился Павликовский, — может быть, и Меркурий.

Уже его упрямство улеглось, удовлетворенное первою победою; надоело спорить, было все равно. Моховиков пыжился от радости, что верх-таки его.

Бойкая бабенка, которая выюркнула из толпы и сновала около разговаривавших господ, теперь метнулась к своим товаркам и оживленным шепотом сообщила:

— Слышь ты, там в шаре сидит не то Невера, не то Мор курий, господам-то не разобрать до точности.

Среди столпившихся баб послышались боязливые восклицания, молитвенный шепот.

Логин вышел из города и пошел по шоссейной дороге. Было тихо, темно. Быстро шел. Ветер тихонько шелестел в ушах, напевал скорбные и влажные песни. Мечты и мысли неслись, отрывочные, несвязные, как мелкие вешние льдинки. Несколько верст прошел, вернулся в город и почти не чувствовал усталости.

Было уже далеко за полночь. Город спал. На улицах никого не было. Когда Логин переходил через одну улицу, мощенную мелким щебнем, покатился под ногами камешек, выпавший из мостовой. Логин огляделся. Недалеко был дом Андозерского.

Логин поднял камешек и, улыбаясь, пошел к этому дому. Окна были темны. Логин поднял руку, размахнулся и швырнул камешек в окно спальни Андозерского. Послышался звон разбитого стекла.

А Логин уже быстро шел прочь. Он завернул за первый же угол и все ускорял шаги. Сердце его сильно билось. Но мысли ни на одну минуту не останавливались на этом странном поступке, только неумолчно раздавался в ушах назойливый, звонкий смех стекла, разлетающегося вдребезги, — и смех звучал отчаянием.

## Глава двадцать шестая

В беспокойной голове Коноплева развивался план, который, по его расчетам, можно привести в исполнение теперь же, до утверждения задуманного общества: Савве Ивановичу хотелось устроить типографию. Работы нашлось бы, по соображениям Коноплева: мало ли в городе учреждений, которые заказывают множество форменных бланок. Все заказы достаются типографии в губернском городе, единственной на губернию. До той типографии далеко, своя же будет под боком, вот и шанс взять в руки всю типографскую работу в городе.

Об этом рассуждали, выпивая и закусывая, в одно прекрасное утро в квартире Логина он сам, Коноплев и Шестов. Денег ни у кого из них не было, но это не останавливало: Коноплев был уверен, что все можно достать и устроить в долг; Логин соглашался, — заранее был уверен, что из этого все равно ничего не выйдет, кто-нибудь помешает, наклевещет, а пока все-таки это создает призрак жизни и деятельности; Шестов верил другим на слово по молодости и совершенному незнанию того, как дела делаются.

Возник спор, очень горячий, и обострился донельзя: Коноплев рассчитывал, что типография будет печатать даром его сочинения, Логин возражал, что Коноплев обязан платить. Коноплев забегал по комнате, бестолково махал длинными руками и кричал захлебывающеюся скороговоркою:

— Помилуйте, если типография моя, то зачем же я буду платить? Что мне за расчет? Да плевать я хочу на типографию тогда.

— Типография не ваша собственная, а общая, — возражал Логин.

— Да польза-то мне от нее какая? — кипятился Коноплев.

— А польза та, что дешевле, чем в чужой: часть того, что вы заплатите, вернется вам в виде прибыли.

— Да никогда я вам платить не буду: бумагу, так и быть, куплю, за шрифт, сколько сотрется, заплачу, чего еще!

— А работа?

— А работники на жалованье, это из общих средств.

— Так! А вознаграждение за затраченный вашими компаньонами капитал?

— Ну, это черт знает что такое! С вами пива не сваришь. Вы смотрите на дело с узко-меркантильной точки зрения, у вас грошовая душонка!

— Савва Иванович, обращайте внимание на ваши выражения.

— Ну да, да, именно грошовая, мелкая душонка. У вас самые буржуазные взгляды! У вас фальшивые слова: на словах одно, на деле другое!

— Одним словом, мы с вами не сойдемся, я, по крайней мере.

— Я тоже, — вставил Шестов и покраснел.

Коноплев посмотрел на него свирепо и презрительно.

— Эх вы, туда же! А я было считал вас порядочным человеком. Своего царя в голове нет, что ли?

— Поищите других компаньонов, — сказал Логин, — а нас от вашей ругани избавьте.

— Что, не нравится? Видно, правда глаза колет.

— Какая там правда! Вздор городите, почтеннейший.

— Вздор? Нет-с, не вздор. А если бы вы были честный и последовательный человек...

— Савва Иванович, вы становитесь невозможны...

Но Коноплев продолжал кричать, неистово бегая из угла в угол:

— Да-с, вы воспользовались бы случаем применить свои идеи на практике. Если я написал, я уже сделал свое дело, а вы обязаны печатать даром, если и я участвую в типографии.

— Савва Иванович, вы не стали бы даром давать уроки?

— Это другое дело: там труд, а тут капитал. Эх вы, буржуй презренный! Теперь я понимаю ваши грязные делишки!

— Да? Какие же это делишки? — спросил Логин, делая над собою усилие быть спокойным.

— Да не ахтительные делишки, что и говорить! Верно, правду говорят, что вы самый безнравственный человек, что вы так истаскались, что вам уж надоели девки, что вы для своей забавы мальчишек заводите.

Логин побледнел, нахмурился, сурово сказал:

— Довольно!

— Постыдные, подлые дела! — продолжал кричать Коноплев.

— Молчите! — крикнул Логин, подходя к Коноплеву.

— Ну уж нет, на чужой роток не накинете платок.

— Вам не угодно ли взять свои слова назад?

— Нет-с, не угодно-с, оставьте их при себе!

— Предпочитаете вызов?

— Вызов? — презрительно протянул Коноплев. — Это какой же?

— Дуэль, что ли, предпочитаете?

Коноплев захохотал. Крикнул:

— Нашли дурака! У меня жена, дети, стану я всякому проходимцу лоб подставлять.

— В таком случае, вы неуязвимы, — сказал Логин, отвертываясь от него, — судиться я не стану.

— По принципу, будто бы? Так я вам и поверил, просто из трусости.

— Уж это мое дело, а только...

— А напрасно. Я бы вас на суде разделал, в лоск положил бы. Понимаю я теперь отлично, что и общество ваше — только обольщение одно, а цель тоже какая-нибудь подлая. Черт вас знает, да вы, может быть, бунт затеваете! Прав, видно, Мотовилов, что называет вас анархистом. Только не выгорит ваше общество, не беспокойтесь, пожалуйста, мы с Мотовиловым откроем глаза кому следует.

Наконец Коноплев изнемог от своей скороговорки и приостановился. Логин воспользовался передышкою. Сказал:

— А теперь прошу вас избавить меня от вашего присутствия.

— Не беспокойтесь, уйду, и нога моя больше у вас не будет. Я вам не такая овца, как Егор Платоныч, которого вы совсем обошли.

А Егор Платоныч сгорал от неловкости. Краснея, забился в угол комнаты и глядел оттуда обиженными глазами на Коноплева. А тот кричал все громче, брызжа бешеною слюною:

— Но на прощанье я вам выскажу всю правду-матку. Вы уж меня больше не обольстите, сахар медович! Я вам отпою.

— Нет, уж увольте.

— Нет, уж я не смолчу. Да чего уж, коли ваши соседи даже говорят, ведь уж им-то можно знать. Да вас из гимназии гнать собираются!

— Послушайте, если вы не оставите моей квартиры, я сам уйду.

— Нет, шалишь, никуда вы от меня не уйдете! Да я за вами по улице пойду, на перекрестках вас расписывать буду, что вы за человек! У вас болячки везде, у вас нос скоро провалится. Туда же еще к честным девицам липнете, свидания им в беседке назначаете!

Логин подошел к двери — Коноплев загородил дорогу.

— Вы заманиваете к себе гимназистов и развращаете!

Дрожа от бешенства, сдерживаемого с трудом, Логин попытался отстранить Коноплева рукою, — говорить не мог, стискивал зубы: чувствовал, что вместо слов вопль ярости вырвался бы из груди, — но Коноплев схватил его за рукав и сыпал гнусные слова.

— Да что, вас бить, что ли, надо? — сквозь зубы тихо сказал Логин.

Сумрачно всматривался в лицо Коноплева — оно все трепетало злобными судорогами и нахально склонялось к Логину: Коноплев был ростом выше, но держался сутуловато, а в горячем споре имел привычку подставлять лицо собеседнику. Он заревел благим матом:

— Что? Бить? Меня? Вы? Да я вас в порошок разотру.

Злобное чувство, как волна, разорвавшая плотину, разлилось в груди Логина, — и в то же мгновение почувствовал он необычайное облегчение, почти радость, — чувство стремительное, неодолимое. Что-то тяжелое, захваченное рукою, подняло с неожиданною силою эту руку и толкало его самого вперед, где сквозь розовый туман белело злое лицо с испуганно забегавшими глазами.

Шестов крикнул что-то и бросился вперед к Логину. Тяжелый мягкий стул упал у стены с резким треском разбитого дерева, и пружины его сиденья встревожено и коротко загудели. Коноплев, ошеломленный ударом по спине, с растерянным и жалким лицом отодвигал дрожащими руками преддиванный стол. Логин отбросил ногою кресло с другой стороны стола; Коноплев опять увидел перед собою лицо Логина, багровое, с надувшимися на лбу венами, окончательно струсил, опустился на пол и юркнул под диван. Закричал оттуда глухо и пыльно:

— Караул! убили!

Логин опомнился. Подошел к Шестову. Сказал:

— Какие безобразия способен выделывать человек! Вы его уберите. Скажите, чтоб вылез.

Старался улыбнуться. Но чувствовал, что дрожит как в лихорадке и готов разрыдаться. Торопливо вышел.

Шестов скоро поднялся к нему наверх. Сказал:

— Я пока посижу, пусть уходит, а то всю дорогу ругаться будет.

Скоро Логин увидел из окна, как Коноплев шел тою особенною, виновато-стыдливою походкою, какою ходят только что побитые люди.

— Вот какое здесь общество! — печально рассуждал Шестов. — Клеветы, сплетни!

— То-то вот клеветы, — сказал Логин, — а знаете пословицу: без огня дыма не бывает?

— Как же это так? — удивленно спросил Шестов.

— А так, что мы сами виноваты. Действуем, точно в пустоте живем. Или как тот черт, который стриг свинью: визгу много, а шерсти нет. А вокруг нас люди, со своими пороками и слабостями. Они хотят жить по-своему, для себя; они правы. И мы правы, пока делаем для себя. А чуть ступим хоть шаг в область чужой души, берем на себя заботу о других, тут уж нечего на стену лезть, когда слышим критику.

— Какая же это критика — клевета, сплетня!

— А вы бы хотели, чтоб у нас даже и клеветы, и сплетен не было? — угрюмо спросил Логин. — Как-никак, все же это общественное мнение, первые ступени общественного самосознания.

— Хороши ступени!

— Что делать: все хорошее произошло из очень скверных, на наш взгляд, явлений.

Шестов ушел. Горькие чувства томили Логина. Порывами вспыхивал гнев, и тогда из-за озлобленного лица Коноплева опять вставала грузная фигура Мотовилова.

Наконец мысли остановились на Анне. К душе приникло успокоение. Образ Анны искрился, переливался тонкими улыбками, доверчивыми взорами. Но Логин не решался идти к ней сегодня с сумерками и стыдом разбросанных мыслей.

Нелепая клевета вспоминалась часто как злое наваждение, — и вызывала жестокое желание мучить кого-нибудь слабого и наслаждаться муками. Логину казалось иногда, что вот сейчас встанет, спустится вниз и прибьет Леньку, так, без причины. Но сурово тушил это желание, — и тогда Аннины глаза улыбались ему.

Поздно вечером сидел у постели мальчика и смотрел на него странно-внимательными глазами. Смуглое лицо, приоткрытый сонным дыханием рот с губами суховато-малинового цвета, и тени над слабыми выпуклостями закрытых глаз, и вихрастые коротенькие волосенки над выпуклым лбом, полуобращенным кверху, между тем как одно ухо и часть затылка тонули в смятых складках подушки, — все это казалось запретно-красивым. Из-под расстегнутого ворота виднелся шнурок креста, как прикрепление печати, которую надо сломать, чтобы завладеть чем-то, что-то смять и изуродовать. Логин думал:

«Это — клевета. Она возмутила меня. А чего тут было возмущаться? Если это наслаждение, то во имя чего я отвергну его законность? Во имя религии? Но у меня нет религии, а у них вместо религии лицемерие. Во имя чистоты? Но моя чистота давно потонула в грязных лужах, а чистота ребенка тонет неудержимо в таких же лужах; раньше, позже погибнет она, — не все ли равно! Во имя внешнего закона? Но насколько он для меня внешний, настолько для меня он необязателен, а они, другие, клеветники и распространители клевет, для них самих закон — это то, что можно нарушать, лишь бы никто не узнал. Во имя гигиены? Но я сомневаюсь, что этот порок сократит количество моей жизни, да и во всяком случае пикантным опытом только расширятся ее пределы. Вот ребенка мне не хотелось бы подвергать болезням.

Самое главное — придется иметь его перед глазами, придется прятаться, и он будет осуждать, — и все это унизительно.

И он сделался бы циничен, груб, ленив, грязен. Это было бы противно. Его бледность и худоба внушала бы жалость — и омерзение в то же время! Но они... если бы они смели, это их не остановило бы!

Да, здоровое тело — нужно ему, — если он будет жить. Но нужна ли ему жизнь? Что ждет его в жизни?

Я думаю, что жизнь — зло, а сам живу, не зная зачем, по инерции. Но если жизнь — зло, то почему непозволительно отнимать ее у других?

Ведь если бы он пролежал там, в лесу, еще несколько часов, он все равно умер бы.

И если бы мне пришлось выбирать между удовлетворением моего желания и жизнью этого ребенка, то во имя чего я должен был бы предпочесть сохранение чужой жизни пользованию хотя бы одною минутою реального наслаждения?

Да и невозможно смотреть на человека без вожделения. Каждый смотрит на своего «ближнего», вожделея, — и это неизбежно: мы — хищники, мы обожаем борьбу, нам приятно кого-нибудь мучить. Потому-то мы все так ненавидим стариков, — нам нечего отымать от них!»

Приподнял одеяло: худенькое, маленькое тело мальчика показалось жалким. Кроткое чувство, внезапно поднявшееся, стало между ним и знойным желанием. Отошел от постели. Кроткие Аннины глаза ласково глянули на него.

А потом опять тучи набежали на сознание, опять дикие мечты зароились. И долгие часы томился, как на люльке качаясь между искушением и жалостью к ребенку. Усталость и сон победили искушение, и он заснул с кроткими думами, и Аннины глаза опять улыбнулись ему.

Утром Логин спал долго. Леня тихонько подошел к постели и подумал: «Надо разбудить».

Шорохи пробудившегося дня долетали до Логина и разбудили в нем неясное сознание. Приснилось пустынное, печальное место. Гора; пещера у подошвы; вход в пещеру мрачно зияет, приосенен хмурыми соснами. В груди утомленного путника жажда неизведанного счастья. Нечем утолить ее, — источник из-под голых скал, воды, — мутная кровь, горькие слезы. Кто-то сказал:

— Засни, пока не разбудит тебя беззакатное счастье людей.

И увидел Логин, как он в изношенной одежде и пыльной вошел в пещеру и лег головою на обомшалом камне. Сон, тяжелый, дол-

гий, долгий. Сквозь сон слышал иногда дикое завывание бури, шумное падение сосны, — иногда беззаботное щебетание птицы. Сердце страстно замирало и жаждало воли и жизни. Разгоняло по телу горячую кровь, и она шумела в ушах и шептала знойно, торопливо:

— Пора вставать, пора!

Приоткрывал тяжелые ресницы. Унылые сосны печально покачивали вершинами и глухо говорили:

— Рано!

Опять смыкались ресницы, сердце опять замирало и трепетно билось. Проносились века, долгие, как бессонная ночь.

И вот повеяло ароматом беззаботного детства, серебристо зазвенели в лесу белые вешние ландыши, шаловливый луч восходящего солнца звучно засмеялся и заиграл на утомленной сном груди, золотыми огнями вспыхнули песенки неназванных птичек, и кристальным лепетом зажурчал проясневший родник:

— Пора вставать!

Леня постоял с минуту, потрогал Логина за плечо и сказал:

— Василий Маркович, пора вставать!

Логин открыл глаза. В комнате было светло, весело. Леня улыбался. Лицо его было свежо тою особенною утреннею детскою свежестью, которой не увидишь ни на чьем лице днем или вечером. Логин потянулся, зевнул и заложил руки под голову.

— А, ты уж встал?

Леня похлопывал ладонями по краю кушетки. Говорил:

— Самовар поставлен.

— Ну ладно, я сейчас тоже встану, — лениво сказал Логин.

Леня подобрал руки в рукава рубахи, потоптался у постели и побежал вниз. Ступеньки лестницы слегка поскрипывали под его босыми ногами.

Логин поднялся и сел на постели. Голова слегка закружилась. Опять опустился на подушки. Накрыл глаза и всматривался в темные фигурки, которые быстро вертелись, образовывали целый калейдоскоп лиц, смеющихся и уродливых. Потом круговорот замедлился, выделилось румяное, белое лицо, плотная, широкая фигура, и она делалась

все ярче, все живее. Наконец перед сомкнутыми глазами отчетливо нарисовался улыбающийся мальчик, крепкий, высокий, гораздо более объемистый, чем Ленька; он был обведен синими чертами. Логин открыл глаза — тот же образ стоял одно мгновение, еще более отчетливый, только бледный, потом быстро начал тускнеть и расплываться и через полминуты исчез.

Утром Леня был оживлен и весел. Он с раскрасневшимся лицом внезапно начал рассказывать, как убежал в прошлом году из богадельни, как его нашли в Летнем саду в кустах, вернули в богадельню и наказали. Логин привлек к себе мальчика и обнял его. Леня доверчиво рассказывал, как было больно и стыдно. В воображении Логина встала картина истязаний — обнаженное маленькое, худенькое тело, и удары, и багровые полосы, и кровь. Эта картина не казалась отвратительною и влекла жестокое желание осуществить ее снова, под своими руками услышать крики испуга и боли.

Заговорил суровым, но срывающимся голосом:

— Послушай-ка, Ленька, ты зачем у меня вчера книги с этажерки посронял? И все там вверх дном поставил.

Ленька поднял глаза, открытые и чистые. В их широких просветах мелькнуло выражение привычного испуга. Он виновато улыбнулся и шепнул тихонько:

— Я нечаянно.

Тоненькие пальцы его задрожали на колене Логина. Логин понял смысл придирки и безобразие своих мыслей. Жалость тронула его сердце. Губы его сложились в такую же виноватую улыбку, как у Леньки. Он смущенно и ласково сказал:

— Ну ладно, это не беда. А что, не пора ли тебе идти?

В этот день в городском училище был экзамен, и Леня надеялся выдержать его.

За обедом Логин спрашивал Леню:

— Ну что, брат, как дела? Срезался?

— Нет, выдержал, — сказал Ленька, но как-то без всякого удовольствия.

Помолчав немного, начал:

— А только...

И остановился, и пытливо посмотрел на Логина.

— Что только? — спросил Логин.

— По-разному спрашивали, — ответил Ленька.

— Как же это по-разному?

— А так. Егор Платоныч всех одинаково, а другие по-разному.

— Ну, кто ж другие?

— Кто? Почетный смотритель был, отец Андрей, Галактион Васильевич. Богатых — полегче да ласково, а бедных — погрубее.

— Сочиняешь ты, Ленька, как я вижу.

— Ну вот, с чего мне сочинять, других спросите. У нас богатым дивья отвечать, — стоит, молчит, в зуб толкнуть не знает, а ему отец Андрей или Галактион Васильевич все и расскажут. А как бедный мальчик запнется, сейчас его Галактион Васильевич обругает: мерзавый мальчишка, говорит, шалишь только, — а у самого глаза, как гвоздики, станут. А смотритель тоже говорит: гнать, говорит, таких негодяев надо, — из милости, говорит, тебя только и держат! Так и награды будут давать.

— Какую ты чепуху говоришь, Ленька! Ну, сам посуди, с чего им так поступать?

— С чего: кто гуся, кто — что...

— Ну, уж это...

— Да они сами говорят, богатенькие-то, хвастают: «Мы и не учась перейдем, нам что!..» А у нас на экзамене барышни были сегодня, — учительницы из прогимназии. Ну, при них легче было. И меня при них спросили.

— Потому-то ты только и ответил?

— Ну да, я и так бы...

— Вот видишь, знать надо, — никто тебя не обидит.

— А все-таки зачем же такие несправедливости? — запальчиво заговорил Леня. — И как не обидят? Они такие слова придумают... Вот одного у нас спросили сегодня: «Что такое дикие?» Это в книге о дикарях читали. Ну, а он и не знает сказать, что такое дикие. Вот

батюшка и говорит: «Ну, как ты не знаешь, что такое дикие, — да вот твой отец дикий!» А у него отец — деревенский. Это он нарочно, чтоб барышень насмешить. Тем забавно, а мальчику обидно, — потом заплакал, как его отпустили. Зачем так? Ведь это неправда! Дикие Богу не молятся, ходят голые, земли не пашут, падаль пожирают. И всегда-то наш батюшка любит так издивляться.

— Издеваться.

— Вот, издеваться, — протянул мальчик.

— Ну что ж, — спросил Логин, — вам, конечно, жалко, что Алексея Иваныча у вас на экзаменах не было.

— А вот и не жалко. Он самый жестокий. У него и на уроках наплачешься. Я у него на уроках семьдесят два раза на коленях стоял, — да все больше на голые колени ставит.

— Вот ты как много шалил, — нехорошо, брат!

— Да, кабы за шалости, а то все больше так — здорово живешь.

Как ни дико было то, что говорил Ленька, Логин верил и имел на то основания: дурною славою в нашем городе пользовалось здешнее городское училище. Да и в гимназии, где служил Логин, совершались несправедливости, хотя в формах гораздо более мягких, почти незаметных для гимназистов. Учителя в гимназии не гнались так отчаянно за взяткою, как в городском училище, — дорожили больше приятным знакомством. Было также во многих желание угодить директору, а потому и отношения учителя к тому или другому гимназисту сообразовались с отношениями директора. Замечалось у иных стремление доказать малосостоятельным родителям, что напрасно они пихают своих сыновей в гимназию.

Когда стало темнеть и Логин был один наверху, неясное волнение снова овладело им. Пригрезившийся утром мальчик стоял перед ним, едва он закрывал глаза. Читая, Логин часто бросал книгу, чтобы закрыть глаза и увидеть мальчика. Нестерпимо дразнил его мальчишка румяною, назойливою улыбкою. Казалось, что теперь он румянее и телеснее, чем был раньше, — как будто, рея над Логиным, набирался сил и крови. Когда Логин, погасив свечу и закрываясь одеялом,

опустил голову на подушку, — губы мальчика дрогнули, зашевелились, он заговорил что-то быстро, но невнятно, сделался вдруг особенно ярким и живым и, все более приближаясь к Логину, начал падать куда-то набок, быстрее, быстрее, опрокинулся и исчез.

Логин заснул.

Утром, в лучах солнца, пыльных и задорных, опять засветились рыжеватые волосы мальчика, опять пригрезилась его улыбка и слова, невнятные, но звонкие, и дольше вчерашнего стоял он перед открытыми глазами Логина, и медленнее таял.

Чтоб избавиться от нечистого обаяния, Логин старался представить Анну, и его опять потянуло увидеть и услышать ее.

## Глава двадцать седьмая

Логин вышел из дому. Пусто было на улицах, только в одном месте толпа мещан и тот же парень с оловянными глазами попались навстречу; молча пропустили его. Вышел за город, по дороге к усадьбе Ермолиных. Битый час проходил и по извилистым тропинкам в лесу, вблизи дома Ермолина, и не решился войти туда. Думал: «Что общего между нею, чистою, и мною, порочным? Какая пытка мне быть теперь с нею; безнадежное блуждание у закрытых дверей потерянного рая!»

Потом он вдруг уличил себя в тайной надежде, что случайно увидит Анну, встретит ее на знакомых ей тропинках. Стало досадно и стыдно, и он быстро пошел домой. У Летнего сада встретил Андозерского. Андозерский хмуро улыбнулся и сказал неискренним голосом:

— Зайдем, дружище, шары попихать на шаропихе.

— Не хочется, — ответил Логин, пожимая его руку.

Мягкое и теплое прикосновение этой руки было неприятно.

— Что так? На охоту, брат, собрался? Смотри, не промахнись.

Андозерский самодовольно захохотал и скрылся в саду. Логин стоял на пыльной дороге и досадливо смотрел ему вслед. Поднялся легкий

ветерок, пыль и соломинки повлеклись из города, пошел за ними и Логин.

Пыльные столбы плясали перед ним, дразнили его, слагались в черты Андозерского; и слова, и фигура — все в Андозерском было противно. Логин сделал усилие не думать об Андозерском, и это удалось. Однако не даром.

Пыльные столбы все плясали вокруг, и рядом засияла назойливая улыбка, сверкнули лукавые глаза и потухли. Пылью рассыпалась привидевшаяся внезапно знойная серая морока, но что-то коварное было в ее появлении. Логину стало грустно.

В печальной задумчивости, наклонив голову, шел он по шоссе, потом свернул на тропинку во ржи. Среди шумящей ржи прошел он с полверсты и вдруг встретил Анну. Она была в легком и коротком желтовато-розовом сарафане. Тонкая паутина серой пыли мягко охватывала окрыленные легким и вольным движением ноги. Широкие, отогнутые по бокам вниз поля легкой соломенной шляпы со светло-розовыми лентами бросали тень на ее смуглое лицо. Улыбалась Логину. Сказала:

— Вот встреча! Вы гуляете здесь, да? А я по делу.

— Куда, можно спросить?

— А вот там деревня Рядки, — там у меня дело. Отец послал.

— Благотворительное? — с жесткою улыбкою спросил Логин, пропуская Анну вперед и идя за нею.

Анна засмеялась и спросила:

— Вы не любите благотворительных дел?

— Помилуйте, что это за дела! Забава сытых, — отвечал он, угрюмо рассматривая узкие лямки ее сарафана, лежащие на желтоватой белизне открытой сорочки.

— А я думаю, что это и есть настоящие дела. Только слово нехорошее, книжное. И его употребляли слишком много, неразборчиво. А дела помощи... Да у нас, людей сытых, как вы называете, и дел-то других почти быть не может.

— Есть лучшее дело.

— Какое? — спросила Анна, оглядываясь на Логина.

— Искание правды.

— Это — отвлеченное дело. А правда — не в добре и не во зле, она — только в любви к людям и к миру, ко всему. Хорошо все любить: и звезду, и жабу.

— Едва ли много правды в любви, — тихо сказал Логин.

— А это, однако, так. Люди ищут правды и приходят к любви. Мне представляется, что так дело и шло. Сначала люди жили надеждою. Надежда часто обманывала и отодвигалась все дальше, как марево: евреи ждут Мессии, христиане надеются на загробную жизнь, — и вот люди стали жить верою. Но век веры кончается.

— Да, кончается, — старые боги умерли. А все-таки сильна потребность в вере. Новые божества еще не родились, и в том и вся наша беда, и вся разгадка нашего пессимизма.

— Да новые божества и не родятся, — со спокойною уверенностью возразила Анна.

— Их выдумают!

— Нет, этого не может быть. Будущее принадлежит любви.

— Вы, кажется, думаете, что и вера, и надежда мешают любви? — спросил Логин.

— Да, я так думаю. Мне кажется вот что: надежда — такая беспокойная, эгоистичная, при ней и вере, и любви тесно. Вера слишком точна, — при ней и надежда тает, и любовь смиряется заповедями и догматами. Надеются ведь только тогда, если может быть и так, и этак, а тут все ясно, как в сказке: пойдешь направо — коня потеряешь, налево — головы не сносишь, вот и выбирай добро или зло. На что тут надеяться? И любить можно только свободно, а не по заповедям. А потом любовь будет людям как воздух.

— И земной рай устроит? — насмешливо спросил Логин.

— Не знаю. Может быть, она будет жестокая. Она будет принята миром, которому не на что надеяться, не во что верить.

Логин слушал рассеянно. Чувственная раздраженность опять томила его, и смущала близость голых плеч и рук, полуоткрытой груди, дразнили мелькающие из-под короткого сарафана слегка загорелые икры легко идущих по дорожной пыли ног; загоралось желание обна-

жить это стройное тело, благоухающее зноем амбры и розы, и овладеть им. Сказал томным голосом:

— Любовь — невозможность. Она — мэон, атрибут Бога, создавшего мир и почившего навеки. Наша любовь — только самолюбие, только стремление расширить свое «я», — неосуществимое стремление.

— А вы его испытывали?

— Жажду его! — тоскливо воскликнул Логин. — Ах, Анна Максимовна, скажите, вы верите в эту будущую людскую любовь?

— Верю, — ответила Анна, улыбаясь.

— Да ведь вера мешает любви? Вы непоследовательны! Но как вы достойны любви!

Анна засмеялась.

— Вот неожиданный комплимент!

— Нет, нет! Я хотел бы вам сказать... Но все слова — такие жалкие! О, если б и вы...

Анна повернулась к Логину и смотрела на него. Ее вспыхнувшее лицо с широко открытыми глазами горело радостным ожиданием. Логин замолчал, и шел рядом с нею, и глядел на ее вздрагивающие алые губы.

— Да, — сказала она смущенно, — может быть...

— Ах, Нюта! — страстно воскликнул Логин.

Губы Анны, алые и трепещущие, были так близки. Знойное облако желаний трепетно пронеслось над ними.

Далекие, нечистые воспоминания вспыхнули в его душе, зазвенели в ушах грубые слова. Что-то повелительное, как совесть, стало между ним и непорочною улыбкою Анны. А молодая радость, жажда счастия влекли его к ней. Земля и пыль, приставшие к Анниным ногам, напоминали, что она — земная, родная, близкая, возникшая из темного земного радостным цветением, устремлением к высокому Пламени небес. Он мучительно колебался.

Ее губы горделиво дрогнули, и улыбка их померкла. В ее глазах промелькнуло скорбное выражение. Анна отвернулась и тихонько засмеялась. Холодом повеяло на Логина. Припомнился ему смех русал-

ки на мельничной запруде, тот смех, который слышался ему в одну из его тяжелых ночей. Анна сказала грустно:

— Вы замечтались под ясным небом, а мне надо торопиться, а то отец... Я слышала, что вы разошлись с Коноплевым.

Логин рассказал ей о ссоре. Анна выслушала молча и потом сказала:

— Того и надо было ждать. Что это за человек! Дул ветер с запада, он был нигилистом. Повеяло с востока — стал фанатиком Домостроя. А мог бы сделаться и фанатиком опрощения. Может быть, и сделается. Все это у него случайное. Своего ничего. Он весь как парус, надутый ветром.

— Странно, — сказал Логин, — что он ни на кого не ссылается, кроме Мотовилова.

— Мотовилов! Вот человек, который не имеет права жить!

Логин заглянул в ее лицо. Оно все пылало гневом и негодованием. Логин покорно улыбнулся.

Светло и грустно было в душе Логина, когда он возвращался домой. Косвенные лучи солнца улыбались в малиново-красных отблесках на стеклах сереньких деревянных домишек. Улицы к вечеру начинали быть более людными. Попадались иногда шумные ватажки мещан.

А вот посреди улицы, из-за угла по дороге от крепости, показалась толпа. Что-то вроде процессии. Окна по пути поспешно отворялись, выглядывали головы обывателей, прохожие останавливались, уличные ребятишки бежали за процессиею с видом чрезвычайного удивления.

Наконец Логин рассмотрел всех. Шли по самой середине улицы Мотовилов с женою, Крикунов с табакеркою, оба директора, казначей, закладчик и его жена, Гомзин, — великолепные зубы радостно сверкали издали, — еще несколько мужчин и дам, и среди этой толпы Молин, арестованный недавно учитель. Очевидно, его только что выпустили из тюрьмы.

Логин догадался, что устраивают овацию «невинно пострадавшему», — ведут его с почетом по городу, показать всем, что репутация Молина не пострадала. Лица были торжественные и, как часто бывает в неожиданно-торжественных случаях, довольно-таки глупые. Герой

торжества хранил на лице угрюмо-угнетенное и очень благородное выражение и шел ребром. Лет двадцати семи; лицо, покрытое рябинами и прыщами; багровый нос записного пьяницы. Копна курчавых волос приподымала на голове поярковую шляпу. Лоб узок; череп с хорошо развитым затылком казался толстостенным; громадные скулы придавали лицу татарский характер. Синими очками в стальной оправе прикрывались тусклые, близорукие глаза. В руках громадный букет цветов.

Поравнявшись с этим обществом, Логин приподнял шляпу. Мотовилов сказал:

— Вот кстати, Василий Маркович, пожалуйте-ка к нам сюда!

Логин остановился на мостках и спросил:

— Прогуливаетесь, Алексей Степаныч?

Триумфальная толпа приостановилась посреди улицы. Все смотрели на Логина с вызывающей угрюмостью.

— Да, прогуливаемся, — значительно ответил Мотовилов.

— Что ж, доброе дело. А меня прошу извинить, — устал. Имею честь кланяться.

Логин опять приподнял шляпу и пошел дальше. Пожарский догнал его и спросил:

— Как же это вы в наше триумфальное шествие не впряглись? Ведь вы рассердили этим седого прелюбодея.

— Глупо это, мой друг. Те, ну, чиновники там разные — они... ну, у них связи, боятся, может быть, наконец, просто пешки. А вы-то зачем? Человек вы независимый, в некотором роде — артист, так сказать, — и вдруг!

Пожарский добродушно засмеялся.

— Не ехидничайте, почтеннейший синьор: я единственно из любви к искусству.

— Это как же?

— Мимику, значит, изучаю. Нашему брату это необходимо. Ну, да и то еще, грешным делом... знаете сами: польсти, мой друг, польсти...

— Коли не хочешь быть в части? так, что ли? — закончил Логин.

— Вот, вот, оно самое и есть. То есть не то что в части, а все же — сборы, ну да и бенефисишко. Эх, почтеннейший, все мы от всех вас

в крепостной зависимости обретаемся, вот ей-Богу. Да что, батенька, главного-то вы не видели, — много потеряли, ей-Богу! У врат обители святой, — то бишь перед острогом, — вот где было зрелище! Мотовилов речь на улице говорил, дамы плакали, барышни ему, герою нашему, цветы поднесли, — видели, букетище! Ната и Нета и подносили. С одной стороны, знаете, ангельская непорочность, а с другой стороны — угнетенная невинность.

— А со всех сторон глупость и пошлость, — злобно сказал Логин.

Пожарский захохотал.

— Злитесь, почтеннейший. А я рад, что вас встретил. Теперь я от них отстал и, кстати, географию города изучать пойду. Барышни Мотовиловы отправились купаться, так мне надо пробраться в ту сторону.

— Подсматривать? — брезгливо спросил Логин.

— Ни-ни! На обратном пути Неточку встречу, — только и всего.

— Вот как, — она вам уж Неточка?

— Чистейший пыл! Любовная чепуха! Женьпремьерствую под открытым небом: дьявольски выигрышная роль.

— Значит, дела хороши?

— С барышней давно поладили, вот как поладили! Прелесть девочка: огонек и душа, — ах, душа! Но сам Тартюф, — увы и ах! И подступиться страшно. Хоть в петлю.

— Что ж, убегом!

— И то придется. Только попа где возьмешь, — вот в чем загвоздка!.. Ах, любовь, любовь! Поэзия, восторг! Без вина — пьян, вдохновение так и распирает грудь. Кажется, луну с неба для нее достал бы.

— А попа достать не можете!

— Достану, почтеннейший, как пить дам, достану!

Молин поселился временно, пока найдет квартиру, у отца Андрея. Вещи его еще оставались у Шестова.

Когда все провожавшие разошлись, Молин стал пред отцом Андреем, низко поклонился и произнес:

— Ну, архиерей, спасли вы с Мотовиловым меня.

— Ну, чего там — свои люди, — отмахивался отец Андрей.

Но Молин продолжал:

— Век не забуду. Спасибо. Чего уж, не умею, не речист, а что чувствую, прямо скажу: спасли! Сослали бы в каторгу, как пса смердящего, — так там и сгнил бы.

— Ну, будет, чего там причитать!

— Эх, что тут! Дай-ка, отец благодетель, водки: целый стакан за ваше здоровье хвачу.

Водка была подана. Хозяин и гость пили, обнимались, целовались, пили еще и еще, охмелели и плакали. Потом пришли гости. Засели играть в карты и опять пили.

На другой день, когда Шестов вышел из училища, он встретил Молина. Молин подошел к нему, подал руку. Пошли рядом. Молин молчал с тем же вчерашним видом человека, который невинно страдает. Это раздражало Шестова. Шестов не находил, что сказать, хотя они встретились первый раз после ареста Молина.

Молин оттопырил толстые губы и заговорил угрюмо:

— Вы с вашей тетушкой меня в каторжники записали: ну, погодите еще радоваться.

Шестов покраснел и дрогнувшим голосом сказал:

— Я очень желаю вам выпутаться из этого дела, — а радостного тут нет ничего.

Молин хмыкнул, сделал жалкое и злое лицо и молчал. Молча дошли они до дома отца Андрея. Молин, не говоря ни слова и не прощаясь, повернулся и пошел к воротам. Шестов, не оборачиваясь, пошел дальше. Сердце его забилось от горького чувства и от неловкости от стыда: увидят — посмеются.

Молин вошел в столовую. Отец Андрей собирался обедать.

Он жил в собственном доме. Небольшой деревянный дом в пять окон на улицу, одноэтажный, с подвалом. Столовая в подвальном этаже, рядом с кухнею. Свет двух небольших окошек недостаточен для столовой; в длину, от окон, она втрое больше, чем в ширину, вдоль окон. В глубине столовой даже и днем сумрачно. Там поставец с настойка-

ми. Возле него бочонок дубового дерева с водкою, особо приятного вкуса и значительной крепости. Эту водку отец Андрей выписывал прямо с завода, для себя и некоторых друзей, в складчину. В окна видна поросшая травою поверхность улицы да изредка чьи-нибудь ноги. Вдоль длинной стены, что против двери в кухню, узкая скамейка, обитая мягкими подушками и снабженная, для вящего комфорта, достаточным количеством мягких валиков. Длинный обеденный стол стоял вдоль комфортабельной лавки. На одном конце, у окна накрыт белою скатертью. Заметно по многим пятнам, что эта скатерть стелется уже не первый день.

На лавке возлежал отец Андрей, головою к окошку. Покрикивал на Евгению. Евгения порывисто носилась из столовой в кухню и обратно с тарелками и ножами, потрясала пол тяжелою поступью босых ног и отвечала сердитыми взглядами на сердитые окрики отца Андрея.

Около стола копошилась матушка Федосья Петровна, маленькая, юркая, лет пятидесяти. Часто выбегала в кухню, потихоньку шпыняла там Евгению и, видимо, была озабочена предстоящим обедом. Из кухни слышались ее хлопотливые восклицания:

— Ведь ты знаешь, что батюшка не любит. Дура зеленая! Ведь ты знаешь, что Алексею Иванычу... Ах ты, дерево стоеросовое!

Молин уселся за стол, горько улыбнулся и сказал:

— Отскочил!

Отец Андрей посмотрл на него внимательно и спросил:

— О ком это?

— Да тот, Шестов.

Матушка с любопытным видом выскочила из кухни и спросила Молина:

— А что, встретили его?

— Как же, встретил! — отвечал Молин.

Он заколыхал сутуловатым станом, выдавил из него странный, косолапый смех и стал рассказывать отрывисто, словно сердился и на собеседников:

— Из училища пер. Подскочил, лебезит, руку сует. Так бы по зубам и смазал! Еле сдержался.

— И следовало бы, — с веселым смешком сказал батюшка. — Эй, Евгения, неси обед!

— Да еще как следовало бы! — подтвердила матушка. — Евгения, дура косолапая! где ты пропала?

— А ну его ко всем чертям! — сердито говорил Молин. — Еще заплачет, ябедничать побежит, фитюлька проклятая!

— Жена, — воскликнул отец Андрей, — где же водка?

— Евгения, Евгения! — засуетилась матушка, — дурища несосветимая, есть ли у тебя башка на плечах!

Евгения вносила в столовую горячий пирог. Кричала:

— Не разорваться!

Матушка метнулась к поставцу и в один миг притащила водку и рюмки. Евгения помчалась за супом, а Молин бубнил себе:

— Юлил за мной. До самых ворот бежал... впритруску... Ну, да я на него нуль внимания. Прикусил язычок, подрал как ошпаренный.

Отец Андрей зычно захохотал. Матушка налила водку в рюмки и придвинула одну из них Молину. Смотрела на него ласковыми, влюбленными глазами. Отец Андрей и Молин выпили, а матушка меж тем положила Молину громадный кусок пирога с говяжьею начинкою и наполнила его тарелку супом, еще дымным от горячего пара.

— Ловко! — говорил отец Андрей. — Так их, мерзавцев, и надо учить. Ну что ж, брат, по первой не закусывают. Ась, Алексей Иваныч?

— Дельно! — одобрил Молин. — Я, признаться, выпью, — в проклятом остроге пришлось попоститься.

Налили по второй и выпили. Горькие воспоминания преследовали Молина. Он заговорил:

— Если б он, скотина, был настоящий товарищ, он бы сразу должен был сунуть под хвост той сволочи. Сочлись бы!

— Известно!

— Ну, если б она не взяла да накляузничала бы следователю, я все же был бы в стороне, — не я подкупал, мне что за дело! А то не мне же было ей деньги предлагать.

— Ну, само собой. Да и мне неловко. Я так и думал, они с теткой обтяпают! А они вон что.

— Подлейшие твари! — взвизгнула матушка.

— Ну да ладно, и даром отверчусь.

Отец Андрей вдруг засмеялся и спросил Молина:

— На экзамене-то, говорил я вам, что вышло?

— Нет. А что?

— Да, да, представьте, какая подлость! — закипятилась матушка.

— На Акимова накинулся, — рассказывал отец Андрей. — Не знает, дескать, геометрии. Единицу поставил. Переэкзаменовку, мол, надо. Ну да мы еще посмотрим. Почем знать, чего не знаешь.

— Это, знаете, из зависти, — объясняла матушка, — отец Акимова подарил батюшке на рясу, а ему — шиш. Акимов — купец почтительный, только, конечно, кому следует; ведь всякий видит, кто чего стоит. Батюшка, Андрей Никитыч, да что ж ты не угощаешь? Видишь, рюмки пустые.

— И то, — сказал батюшка и налил.

— Эх! — крикнул Молин, — Руси есть веселие пити, не можем без того быти.

— Евгения! — крикнул отец Андрей в открытую дверь кухни, — ты это с кем там тарантишь?

— Да это, батюшка, мой брат, — ответила Евгения.

Мальчишка лет двенадцати опасливо жался в углу кухни. Боялся отца Андрея: учился в городском училище.

— Брат? Ну и кстати. Пусть посидит там, мне его послать надо. Удивляюсь я только тому, — обратился отец Андрей к Молину, — как это наши мальчишки не устроят ему сюрприза за единицы. Пустил бы кто-нибудь камешком из-за угла, — преотличное дело! ха-ха-ха!

Матушка взвизгнула от удовольствия.

— В загривок! — крикнула она и звонко засмеялась

Молин кивнул головою на открытую дверь кухни. Отец Андрей закричал:

— Евгения, дверь запри! Ишь напустила чаду, кобыла!

Евгения стремительно захлопнула дверь. Отец Андрей тихонько засмеялся.

— Чего там! — сказал он.

— Все же неловко, — ученик, и все такое.

— Чудак, да ведь я нарочно, — зашептал отец Андрей, — пусть слышит. Скажет товарищам, — найдется шалун поотчаяннее, да и запустит.

Отец Андрей снова захохотал и налил по четвертой рюмке. Молин сочувственно захихикал и показал пожелтелые от табака зубы. Он проглотил водку и крикнул:

— Эх, завей горе веревочкой!

— Все шляется к Логину, — сказал отец Андрей.

— А, к слепому черту! Ишь ты, агитатор пустоголовый, нашел себе дурака, пленил кривую рожу. Ну да он мастак бредки городить.

— Вожжались с Коноплевым, да расплевались, — сообщила матушка.

— Ишь ты, лешева дудка, куда полезла! почуял грош.

— Ничего, сведется на нет вся их затея, общество это дурацкое, — злорадно сказал отец Андрей.

— А что? — спросил Молин.

— Да уж подковырнет их Мотовилов.

— Подковырнет! — с азартом воскликнула матушка.

— Уж Мотовилова на это взять, — согласился Молин, — шельмец первой руки.

— Да, брат, — разъяснял отец Андрей, — ему в рот пальца не клади. С ним дружить дружи, а камень за пазухой держи.

— Шельма, шельма, одно слово! — восторгалась матушка.

— Но умная шельма, — поправил Молин.

— Да я то же и говорю: первостатейная шельма, молодец, — продолжала матушка. — Уж мой Андрей Никитыч хитер, ой хитер, а тот и еще хитрее.

## Глава двадцать восьмая

Логин вернулся из гимназии рано и в вялом настроении. Сел за стол, лениво принялся завтракать. Водка стояла перед ним. Логин

посмотрел на бутылку и подумал, что привычка пить каждый день — скверная привычка. Откинулся на спинку стула и продекламировал вполголоса:

Прощай вино в начале мая,
А в октябре прощай любовь!

Потом придвинул к себе бутылку и рюмку, налил, выпил. Мысли стали веселы и легки.

В это время раздался неприятно-резкий стук палкою в подоконник открытого окна. Логин вздрогнул. Досадливо нахмурился, вытер губы салфеткою и подошел к окну.

— Дома, дружище? — раздался голос Андозерского.

Логин сделал вид, что очень рад, и отвечал:

— Дома, дома. Ну, что ж ты там, — заходи!

— Водка есть? — оживленно спросил Андозерский.

— Как не быть!

Андозерский проворно взбежал на крыльцо. Румяное лицо его казалось измятым. Маленькие глазки были сонны и смотрели с трудом. Голос у него сегодня был хриплый. Шея страдальчески вращалась в узком воротнике судейского мундира. Он сел к столу.

— Эге, у тебя огурцы! Славно! И редиска, — еще лучше.

Логин налил по рюмке водки.

— Опохмелиться со вчерашнего треба? — спросил он.

— Опохмелялся, дружище, да мало: встал поздно, надо было тащиться в съезд, — сегодня было судебное заседание.

— Где ж ты это вчера засиделся?

— В том-то и дело, что нигде. Сидел дома и трескал водку.

— С кем?

— Один, брат, по-фельдфебельски. Столько вызудил, что и вспомнить скверно.

— С горя или с радости?

— С раздумья, дружище.

— Ой ли?

— Да, да, — решился, выбрал... Ну, да что там... Завтра все расскажу.

— Ну что ж вы, судьи неумытные, наделали сегодня?

— Наделали мы делов! Мы, брат, сегодня грозный суд творить вздумали.

Андозерский влил в себя другую рюмку водки и весело засмеялся.

— Вот теперь на поправку пошло! Знаешь Спирьку? Комичный Отелло.

— Как не знать! Только какой же это Отелло, это — Гамлет.

— Спирька-то Гамлет? Ну уж, скажешь тоже!

— Ну да, именно Гамлет: он жаждет мести и ненавидит месть, и вот увидишь — отомстит как-нибудь по-своему. Ну, что ж у вас с ним?

— А видишь, его волостной суд приговорил к пятнадцати розгам; Мотовилов жаловался, а также за мотовство и пьянство, расстраивающие хозяйство.

— Спирькино хозяйство!

— Ну, все же! Так вот он нам жалобу. Ну что ж, мы суд судом, дело разобрали, да и решили усилить ему, мерзавцу, наказание, всыпать двадцать!

Андозерский сказал это очень горячо и с видимым удовольствием.

— Но, однако, зачем же усиливать? — удивился Логин.

— А затем: не жалуйся!

— Ай да Соломоны! Ну, еще что натворили?

— А еще, дружище, засудили мальчишку. Пожалей, брат, ты к мальчишкам жалостлив.

— Это какого же мальчишку?

— А вот тот, Кувалдин, что в огороде Мотовилова попался. Его тоже волостной суд присудил к десяти ударам, а он тоже жаловаться. Ну, мы ему и накинули еще пяточек.

— Да ведь вы знаете, что он попался случайно в шалости, которая здесь в обычае.

— А кусаться зачем? Да и обычай скверный.

— Да ведь мальчика вы не могли присудить более, как к половинному наказанию? Выходит, вы закон нарушили.

— Нарушили? Ну, это буква закона, а мы... Мы, брат, новое наслоение магистратуры. Мы без сантиментов.

— Несимпатичное наслоение, что и говорить!

— Несимпатичное! А вам бы по головке гладить всякого шельмеца! Нет, брат, на наших плечах лежит важная задача: подтянуть и упорядочить. Миндальничать нечего: им дай палец, они и руку отхватят. Особенно теперь это необходимо в наших местах: брожение в народе, — того гляди, холерный бунт нам преподнесут. И так черт знает какие слухи ходят.

— Что ж, сознание законности хотите водворить в населении?

— Конечно! Давно пора. В наших селах ведь просто жить нельзя: потеряно всякое уважение к властям, к дворянству, к праву собственности, к закону.

— Постой, брат, как же это вы сумете вбить в народ сознание законности, когда сами закон нарушаете?

— Мужика надо приучить к повиновению, к дисциплине. Мы, дворяне, — его естественные опекуны.

— Скажи, а что же, ваш товарищ прокурора заявил протест?

— А с чего ему заявлять протест?

— Да ведь незаконно!

— Ну, пусть сам мальчишка жалобу принесет губернскому присутствию. Да не посмеет мальчишка, — побоится, как бы еще не прибавили.

Андозерский захохотал.

— И неужели так-таки никто из вас и не спорил? Неужели среди вас не нашлось ни одного порядочного человека?

Андозерский опять захохотал, весело и беззаботно.

— Нашелся, брат, один такой же, как ты, идеалист, кисельная душа, Уклюжев, молоденький земский начальник, — вздумал распинаться за мальчишку. Умора! Так разжалобился над сорванцом, сам чуть не плачет! Ну, мы его пристыдили. Заплачь, говорим. Ну, он сконфузился, на попятный двор, мямлит: да я, говорит, вообще. Так мы его оконфузили, что потом ему пришлось оправдываться: это, говорит, потому, что я до суда клюкнул малость. Врет, конечно: ни в одном глазу.

— Один только нашелся, да и тот — тряпка! — презрительно сказал Логин.

Андозерский весело хохотал. Продолжал рассказывать:

— Умора! Вышли мы из совещательной комнаты, прочел Дубицкий решение, мальчишка как всплачется, — повалился в ноги: «Отцы родные, благодетели!» И ведь по роже видно, что мерзавец мальчишка: хорошенько его надо выжарить!

— Как все это у вас грубо, дико, по-татарски! Живодеры вы этакие! — сказал Логин с отвращением.

Противно было смотреть на улыбающееся лицо Андозерского и хотелось говорить что-нибудь дерзкое, оскорбить, озлить его. И Андозерский, в самом деле, озлобился, надулся.

— Да ты что так заступаешься за мальчишку? Ты его видел?

— Видел.

— Ну то-то, ведь не красавец, — твой Ленька куда смазливее. Нечего тебе на стену лезть.

Лицо Логина побагровело, и он почувствовал то особое замирание в груди, которое помнят люди, грубо и несправедливо оскорбленные.

— Послушай, Анатолий Петрович, — сказал он, — ты уже не первый раз говоришь мне такое, что я вынужден тебя просить: сделай милость, скажи ясно, что хочешь сказать.

Логин чувствовал, что слишком волнуется, и упрекал себя за это, но не мог сдержать волнения.

— Что хочу сказать? — со злобною усмешкою переспросил Андозерский. — Надо полагать, не больше того, что все говорят.

— А именно? — сурово, металлическим звуком спросил Логин.

— Видишь ли, много глупостей болтают. Общество, мол, предлог для противоправительственной пропаганды. Болтают, что гимназистов ты собираешь, чтоб им идеи вредные внушать. Заговор какой-то, говорят, ты устраиваешь, воздушные шары какие-то к тебе полетят. Развратничаешь, говорят, с мальчишками.

— Грязно, грязно это!

— А у нас то и любят, дружище. Грязно, вишь, тебе! А для нас пикантно, — у нас такими штучками барышни захлебываются.

Послушал бы ты, как об этом Клавдия разговаривает, — с упоением!

— Да, помню я, как ты перед Клавдиею прохаживался на мой счет.

— Ну, уж это ты... Я за тебя везде распинаюсь.

— Совершенно напрасно.

— Чудак, не могу же я слушать клеветы и не возражать. Но мне не верят, — послушают, пожмут плечами, да при своем и остаются. Сам должен знать, что за остолопы в нашем богоспасаемом граде водятся. Их хлебом не корми, а гадость расскажи. Что им и делать? Разговоры о пустяках, читают только сальные романы, — праздность, скука, духовных интересов никакейших. А ты сам даешь повод, — неосторожен, дразнишь гусей, — и в ус себе не дуешь.

— Вот что!

— Да, брат: с волками жить — по-волчьи выть. Взять хоть дело Молина. Оно, может, и некрасиво, — да только зачем тебе понадобилось такой вид делать, что это, дескать, за мерзавца мерзавцы заступились. Шестов — дурак, мальчишка; по глупости разозлил кого не надо, на него и клевещут. Ты с ним дружишь, — ну вот и на тебя тоже. Ну, пусть мы, и в самом деле, все мерзавцы, но не любим мы, дружище, ой как не любим, чтоб нас презирали так уж очень откровенно.

— Клеветой мстить начнете?

— Не начнем, а начнут! — внушительно поправил Андозерский. — Что делать, все люди — все человеки, и у всякого свой собственный взгляд на вещи. Мы вот по совести судим, а ты нас живодерами облаял. Этак ты нас, если бы власть у тебя была, и в каторгу сослал бы.

Логин тихо и зло засмеялся. Его лицо побледнело.

— Да, Анатолий Петрович, есть из нас такие, что и каторги им мало! Ядовитых змей истреблять надо.

— Ну, ты, однако, нехорошо смеешься! — хмуро сказал Андозерский. — Нервы, дружище; лечиться надо. Ну, и заболтался же я с тобою.

Он ушел и оставил на душе Логина злобное, мстительное чувство. И опять, как прежде, это темное чувство сосредоточилось на Мотовилове.

«Вот человек, который не имеет права жить!» — припомнилось ему.

Бледный и злой, Логин сжал руками спинку стула и несколько раз ударил им по стене, — нелепое движение успокоило. Опять вспомнилась Анна, — глаза ее посмотрели укоризненно.

Новости в нашем городе распространяются с удивительною быстротою. Не успел Андозерский дойти до квартиры Логина, как Вале уже известен был произнесенный в утреннем заседании съезда приговор, — и Валя поспешила воспользоваться им.

Убедилась, что Андозерский ухаживает за барышнями, выбирает невесту, а ею только забавляется. Она решилась опять сойтись с Сеземкиным. Бедный Яшка почувствовал себя на седьмом небе от восторга. Но Вале было досадно за обманутые надежды. Ждала случая отплатить Андозерскому.

Сегодняшнее судьбище, — Валя хорошо знала это, — могло не понравиться только Анне; Нета искренно веровала, что мужики — дикие люди; для Клавдии такие низменные вещи, как мужицкие дела, вовсе не могли быть интересны. И вот Валя побежала в усадьбу Ермолиных, босиком, красная от радостного волнения.

Анна только что вернулась откуда-то и переменяла амазонку на домашнее платье. Валя стояла перед нею и рассказывала. Анна строго смотрела на Валю и хмурила брови. Сказала:

— Не хорошо, Валя. Вы там тоже были, — и вот...

— Анна Максимовна, — оправдывалась Валя, — да ништо ему: чего же он зевал, а потом палец укусил Алексею Степанычу.

— Ах, Валя, не в том дело, — а его на чужом огороде поймали, вот что. Вам бы унимать ребят, а вы сами с ними.

— Да ведь это же не кража, — а просто шалость.

— Хороша шалость! Это не мальчишка, а вы заслужили то наказание.

Валя заплакала. Говорила, всхлипывая:

— Я знаю, что я виновата, только зачем же они так жестоко!

— Что других обвинять, Валя! Напрасно вы торопились мне это рассказывать.

Валя пуще расплакалась, стала на колени перед Анною и ловила ее руки.

— Ей-Богу, я больше не буду, — говорила она. — Не отталкивайте меня, — лучше накажите, как знаете.

В этот день Андозерский решился наконец закрепить выбор невесты. Недаром вчера сидел запершись и пил: обдумывал предстоящий шаг.

Богаче всех невест была Анна. Андозерский решил, что любит ее. Пора было сделать предложение. Был почти уверен, что его ждут с нетерпением.

Благоразумнее бы отложить до завтра, чтоб вести дело со свежею головою. Но водка и досада на Логина подстрекали.

«Он за нею, кажется, приволокнуться вздумал, — размышлял Андозерский, — докажу ж я ему дружбу!»

Выкупался. Показалось, что голова свежа, как никогда. «Чист как стеклышко», — вспомнил поговорку Баглаева. Вдруг стало весело и приятно. Думал, что от него, может быть, попахивает вином, но это не беда: облил духами одежду и был уверен, что благоухание заглушит винный букет.

Быстро доехал Андозерский до усадьбы Ермолина. Судьба благоприятствовала: Анна была дома, одна, сидела на террасе, читала. Черные косы сложены низким узлом. Золотисто-желтое, узкое платье, высоко опоясанное, шло к милому загару босых ног.

— Можно полюбопытствовать? — спросил Андозерский.

Анна дала ему книгу. Андозерский прочел заглавие, сделал удивленные глаза и сказал:

— Охота вам читать такие книги!

Анна сдержанно улыбнулась. Спросила:

— Отчего же не читать таких книг?

— Эти книги годятся только для того, кто богат жизненным опытом. Сердца неопытные, незакаленные, только напрасно ожесточаются при чтении таких книг, пропитываются ложными взглядами, а противовеса в пережитом и испытанном нет.

Анна внимательно смотрела на Андозерского. Легонько усмехнулась. Сказала:

— Что ж делать! эту начала, так уж надо кончить.

— Ох, не советовал бы! Но, впрочем, не будем терять дорогого времени. Я хотел сообщить вам кое-что, вы позволите?

— Пожалуйста.

Андозерский замолчал, словно отыскивал слова. Анна выждала немного и сказала:

— Я слушаю вас, Анатолий Петрович.

— Видите ли, этого в коротких словах не скажешь. Да и нет, пожалуй, слов подходящих: все старо, избито. Вот видите, весна, цветы цветут, — все это настраивает так мечтательно, молодеешь весной.

— Ваша весна уже прошла, — лукаво сказала Анна.

— Да, прошла, украдкой, незаметно, а теперь возвращается, да какая прекрасная! Душа радуется, становишься добрее и чище.

— Чем же вы отметили этот возврат вашей весны? — тихо спросила Анна.

Смотрела вдаль мимо Андозерского. Глаза ее сделались грустными.

— Пока еще не знаю, — сказал Андозерский, — но думаю, что отметил чувством.

— Вы говорите, что стали добрее, лучше — конечно, это не фраза?

— Да, да, это верно! — воскликнул Андозерский.

Он видел лицо Анны только сбоку: она повернулась на стуле и, казалось, внимательно рассматривала что-то вдали, там, где сквозь ярко-зеленую листву сада виднелись золоченые кресты городских церквей. Сказала медленно, раздумчиво:

— Это бывает редко, так редко, что в такие праздники души как-то даже и не веришь. Добрее, лучше, — как это хорошо, какое просветление! После причастия так чувствуют себя верующие. Но вот, скажите, как же это отражается в вашей деятельности? в службе?

Анна быстро повернулась к Андозерскому и внимательно всматривалась в него. Ее лицо вдруг вспыхнуло и отражало быструю смену чувств и мыслей.

— Это, Анна Максимовна, сухая и грубая материя, моя служба, — для вас это вовсе не интересно.

Аннино лицо внезапно стало равнодушным. Она сказала холодно:

— Извините. Я приняла это за чистую монету: думала, вы в самом деле хотите рассказать о вашем ренессансе.

— Анна Максимовна, могу ли я говорить о делах, когда у меня на сердце совсем другое! Но скажите, ради Бога, ведь вы не могли не заметить того нежного чувства, которое я к вам питаю?

Анна встала порывисто. Краснея багряно, отвернулась от него.

— Скажите, — говорил Андозерский, подходя к ней, — ведь вы...

Анна перебила его:

— Вот, вы говорите о вашем возрождении, а не хотите сказать, что делаете на службе. Я знаю, сегодня было назначено заседание уездного съезда, и вы там должны были быть. Скажите, изменил съезд приговор об этом мальчике? Кувалдин, так, кажется, его фамилия?

— Да, изменил.

— Оправдали мальчика?

— Как же можно было его оправдать!

— Смягчили приговор? Нет? Усилили, значит? Да? Неужели, неужели?

— Ах, Анна Максимовна!

— Но вы-то, ведь вы были несогласны с другими? Нет? И вы так же думали? С весною в сердце вы подписывали такой приговор, грубый, глупый, безжалостный? И для этого стоило возрождаться? Вы любите шутить, Анатолий Петрович!

— К чему вам это, Анна Максимовна? Ведь это — служба, дело совести.

— Вся жизнь — дело одной совести, а не двух... Впрочем, этот разговор, конечно, ни к чему. А только вы сами заговорили о вашем возрождении. Не терплю я пустых фраз.

— Любовь моя к вам — не фраза. Анна Максимовна, скажите же мне...

— Если бы даже я имела несчастие полюбить человека, который любит то, что я ненавижу, ненавидит то, что я люблю, то и тогда я отказалась бы от глупости разбить свою жизнь. И у меня к вам нет никаких чувств.

— Но я питал надежды, и мне казалось, что я имел основание...

— Довольно об этом, Анатолий Петрович, прошу вас. Вы ошибались.

Анна тихо сошла по ступеням террасы в сад, зелено смеющийся перед нею. Веселые красные цветки на куртине закружились хороводом, радостно-легким.

Андозерский с яростью смотрел на Анну. И уже все в ней стало для него вдруг ненавистным, — и красивость ее простой одежды, и ее прическа, и ее уверенная и легкая походка, и нестыдливая загорелость ее босых ног.

«Хоть бы для гостя башмаки надела!» — с яростною досадою думал он.

## Глава двадцать девятая

Логин шел по улицам. Томило ощущение сна и бездеятельности. Не то чтоб все спали: солнце было еще высоко, люди шевелились, тявкали собачонки, смеялись дети, — но все было мертво и тускло. У заборов кое-где таила злые ожоги высокая крапива; пыль серела на немощеной земле.

Логин остановился на мостике через ручей; облокотился о перила. Мутная вода лениво переливалась в узком русле; упругие дымно-синеватые струйки змеились около устоев мостика; там колыхались щепки и сор. Мальчик и девочка, лет по восьми, блуждали у берега и брызгали вскипавшую белою пеною под их бурыми от загара босыми ногами воду. Их шалости были флегматичны.

Логин шел дальше. Пятилетний мальчишка, сын акцизного чиновника, катился на самокате. Не улыбался и не кричал. Лицо его было бледно, мускулы вялы.

Попадались бабы: тупые лица, — девчонки: пустые глаза, в цепких руках что-то из лавки, — рыжий мещанин: книжка под мышкою, — босой и грязный юродивый, у всех просил копеечку и, не получив ее, ругался. Встречались пьяные мужики, растерзанные, безо́бразные. Шатались, горланили. Изредка проплывала барыня-кутафья, утиная походка, лимонное лицо, глаза сусального золота.

Логин проходил мимо холерного барака. На крылечке стоял фельдшер, толстенький карапуз, белый пиджачок. Логин спросил:

— Как дела, Степан Матвеич?

— Да что, табак дело! — отвечал сокрушенно фельдшер.

— Что ж так?

— Поверите ли, весь истрепался, так истрепался... Да вот вы посмотрите, вот пиджак...

Фельдшер запахнул на груди пиджак.

— Видите, как сходится?

— Похудели, — с улыбкою сказал Логин.

— И сколько тут всякой рвани шляется, просто уму непостижимо! Таких слов каждый день наслушаешься — душа в пятках безвыходно пребывает. Хоть бы уж один конец!

— Ничего, обойдется.

— Уж не знаю, как Бог пронесет.

Вдруг фельдшер как-то весь осунулся, побледнел, наскоро поклонился Логину и юркнул внутрь барака. Логин оглянулся. На другой стороне улицы, против барака, стоял буян — оловянные глаза. Он презрительно скосил губы, сплюнул и заговорил:

— Удивительно! Так-таки среди бела дня! Тьфу! Ни стыда, ни совести, ни страха! Ну, народец! Уж, значит, на отчаянность пошли.

Логин постоял, поглядел и пошел на вал. Эта встреча тяжко подействовала на его настроение, но в сознании только поверхностно скользнула: думал о другом.

Любил бывать на валу. Вокруг было открыто и светло, ветер налетал и проносился смело и свободно, — и думы становились чище и свободнее. После подъема на высокую лестницу и грудь расширялась радостно и вольно.

Но сегодня и наверху было плохо: ветер молчал, солнце светило мертво, неподвижно, воздух был зноен, тяжел. Порою пыльная морока плясала, мальчишка с хохочущими глазами. Порою Логин слышал рядом шорох босых ног по траве, — что это? поступь Анны? или серая морока? Обернется — никого.

И об Анне думал сегодня горько:

«Я погублю ее, или она меня спасет? Я недостоин ее и не должен к ней приближаться. Да и может ли она полюбить меня? Меня самого, а не созданный, быть может, ею лживый образ, разукрашенный несуществующими достоинствами?»

Андозерский проезжал на извозчичьей пролетке мимо вала. Увидел Логина, вышел из пролетки и быстро поднялся наверх. Капли пота струились по румяному лицу. Сердито заговорил:

— Скажи ты мне, Христа ради, чем вы живете, идеалисты беспочвенные?

— В чем дело?

— Что за принципы у вас такие, чтобы разбивать свое же благополучие? Влюбится как кошка, завлекает нежными взглядами, — и вдруг преподнесет кукиш: я, мол, за вас не пойду, — вы мерзавцев не оправдываете!

— Да что с тобой случилось? Предложение сделал, что ли?

— Свалял дурака, предложил руку и сердце этой дуре самородковой, и что же? В ответ целую рацею прочла, в которой капли здравого смысла нет! Черт знает что! А ведь наверное знаю, что влюблена как кошка.

— Вы с ней не пара: женись на Неточке.

— Не пара! Смотри, не твои ли это штучки? Сам втюрился, да уж и ее в себя не втюрил ли? Черт возьми, добро бы красавица! Ласточкин роток!

Все это Андозерский выкрикивал, почти задыхаясь от злобы. Логин спокойно возразил:

— Напрасно ты так волнуешься. Любви к ней ты, как видно, не чувствуешь особенной.

— Да уж стреляться не буду, пусть будет спокойна. Можешь даже передать ей.

— Могу и передать, если тебе угодно. Что ж, ведь у тебя еще две невесты есть, если не больше.

— Да уж не беспокойся, не заплачу, — ну ее к ляду!

Андозерский плюнул и побежал вниз. Логин с улыбкою смотрел за ним.

Дома ждало приглашение директора гимназии пожаловать для объяснений по делам службы.

Павликовский имел озабоченный и даже смущенный вид. С любезною улыбкою придвинул для Логина кресло к письменному столу, на котором в разных направлениях красовались фотографические группы в резных стоячих рамочках из ореха и бронзы, — подношения сослуживцев и гимназистов. Сам поместился в другом кресле и предложил Логину курить. Логин не курил, но Павликовский до сих пор не мог этого запомнить. Он был человек рассеянный. Рассказывали, что однажды в коридоре он остановил расшалившегося гимназиста, который, разбежавшись, стукнулся головою в его живот.

— Что вы так расшалились! Как ваша фамилия? — вяло спросил директор.

Его глаза были устремлены вдаль, а правую руку он положил на плечо гимназиста. Мальчик, его сын, смотрел с удивлением и улыбался.

— Что ж вы молчите? Я вас спрашиваю: как ваша фамилия?

— Павликовский, — ответил мальчик.

— Как? Ах, это вот кто! — разглядел наконец директор.

— Ах, да, да, — говорил теперь Павликовский, — я все забываю, что вы не курите. Так вот, я вас просил пожаловать. Извините, что обеспокоил. Но мне необходимо было с вами поговорить.

— К вашим услугам, — ответил Логин.

— Вот видите, есть некоторые... Извините, что я этого касаюсь, но это, к сожалению, необходимо... Вы вступили, так сказать, на поприще общественной деятельности. А как взглянет начальство?

— Что ж, окажется неудобным, не разрешат, и все тут.

— Так, но... Вот к вам гимназисты ходят... И у вас живет этот беглый... Я, конечно, понимаю ваше великодушное побуждение, но все это неудобно.

— Все это, извините меня, Сергей Михайлович, больше мои личные дела.

— Ну, знаете ли, это не совсем так. И во всяком случае, я вас прошу гимназистов у себя не собирать.

— Да я их и не собираю, — они сами приходят, кому нужно или кому хочется.

— Во всяком случае, я вас прошу, чтоб они вперед не ходили.

— Это все?

— Затем я просил бы вас не водить знакомства с подозрительными личностями, вроде, например, Серпеницына.

— Извините, я должен отклонить это ваше предложение.

— Уж это как вам угодно. Я сказал вам, что считал своею обязанностью, а затем — ваше дело. Впрочем, я надеюсь, что вы обдумаете это внимательно.

Павликовский хитро и лениво усмехнулся.

— Вопрос для меня и теперь ясен, — решительно сказал Логин.

— Тем лучше. Затем... Видите ли, в городе много толков. И ваше имя приплетают. Вам приписывают такие речи, — уж я не знаю, что-то о воздушных шарах, и вдруг какая-то конституция. А потому убедительно прошу вас воздерживаться на будущее время от всяких разговоров на такие темы. Заниматься политикой нам, видите ли... Наконец, ведь вас не насильно заставили служить, — стало быть...

— Это я очень хорошо понимаю, Сергей Михайлович, и о политике вовсе не думаю и не говорю...

— Однако...

— Какая-нибудь глупая сплетня, решительно ничего основательного.

— Да, тем не менее... Затем я просил бы вас чаще посещать церковь. Ну и наконец, я просил бы... Вот, я помню, у Мотовилова вы с таким раздражением изволили отзываться о дворянстве, ну и там... о других предметах... и вообще, такой тон... это, видите ли, неуместно.

— Иначе говоря, требуется, когда говорить с Мотовиловым, поддакивать ему?

— Нет, зачем же — у всякого свое мнение, но... Видите ли, надо уважать чужое мнение. Вот, например, вы так демонстративно отклонили приглашение Алексея Степаныча, когда мы все сопровождали этого несчастного Молина. Ведь это, в сущности, ни к чему не

обязывает, а просто акт христанского милосердия, — и обособляться тут неудобно.

— Позвольте сказать вам, Сергей Михайлович, что и это ваше требование я вполне понимаю, но подчиниться и ему не могу.

— Напрасно.

Усталый и грустный вернулся Логин домой.

«Начнется борьба, — думал он, — но с кем и чем? Борьба с чем-то безымянным, борьба, для которой нет оружия! Но все это пустяки, и вопрос о Леньке, и почтительность к Мотовилову, и болтовня о неблагонадежности: в этих вопросах не трудно даже победы одерживать. Но вот что уже не пустяки — крушение задуманного дела, потому только, что оно Мотовилову не нравится, что Дубицкий находит его ненужным, что Коноплёв ищет в нем только личных выгод, а остальные ждут, что выйдет. Крушение замыслов, а за ним пустота жизни!»

В эту ночь Логину не спалось. Часов около двенадцати вышел из дому. Влекло в ту сторону, где Анна. Знал, что она спит, что не время для посещений. И не думал увидеть ее, не думал даже о том, куда идет, — мечта рисовала знакомые тропинки, и калитку, и дом, погруженный в полуночную дремоту, среди дремлющего сада, в прозрачной и прохладной тишине, в свежих и влажных благоуханиях.

Вот и последняя сумрачная лачуга, последний низенький плетень. Логин вышел из города.

Широкая дорога блестела при луне мелкими вершинками избитого и заколеившегося щебня, — тихая ночная дорога, зачарованная невидимым прохождением блуждающей о полночь у распутий. Впереди таинственно молчал невысокий лес. Подымалась легкая серебристая мгла. Под расплывающеюся дымкою туманились очертания одиноких деревьев и кустов, которые неподвижно стояли кое-где по сторонам дороги. Легкие тучки наплывали на месяц и играли около него радужными красками. Казалось, что месяц бежал по небу, а все остальное: и дорога, и лес, и луга, и самые тучки — остановились, очарованные зеленым таинственным светом, засмотрелись на волшебный бег.

Мечты и мысли, неопределенные, смутные, толпились. Томительная, сладкая тоска, беспокойная, узкокрылая ласточка, реяла над сердцем. И сердце так билось, и глаза так блестели, и грудь так вздымалась и томилась весеннею жаждою, обольстительною жаждою, которую утолит только любовь, а может быть, только могила!

Логин прошел немного дальше проезда в усадьбу Ермолина. С широкого простора дороги свернул в лес узкою, знакомою тропинкою. Что-то треснуло под ногою. Сырые ветви орешника задели мягко и нежно и с тихим лепетом опустились за ним.

Дорожка извивалась прихотливою змейкою. Здесь было свежее, прохладнее. Тишина оживилась, лесные тени разворожили лунные чары; кусты чуть слышно переговаривались еле вздрагивающими листьями. Раздался легкий шорох и ропот лесного ручья. Бревна узкого мостика заскрипели, зашатались под ногами.

Что-то тихое, робкое прошумело в воздухе. Вдруг ярко и весело посыпалась где-то в стороне соловьиная бить: нежный, звонкий рокот полился чарующими, опьяняюще-сладкими звуками. Волна за волною, истомные перекаты проносились под низкими сводами ветвей. Лес весь замолк и слушал, жадно и робко. Только вздрогнут порою молодые листочки, когда звенящий трепет томной песни вдруг загремит и вдруг затихнет, как сильно натянутая и внезапно лопнувшая струна. Казалось, с этими песнями непонятные чары нахлынули, и подняли, и понесли в неведомую даль.

А вот и знакомый забор, вот калитка, и она теперь открыта: в ней что-то белеет при лунном неверном свете. И вдруг все внешнее и чуждое погасло и замерло вокруг: и звуки, и свет, и чары, — все понеслось оттуда, где стояла у калитки Анна. Кутала плечи в белый платок и улыбалась, и в улыбке ее слились и звуки, и свет, и чары — весь внешний мир и мир души.

Соловьиная ли песня вызвала ее в сад или влажное очарование весны, — не могла ли она заснуть и беспокойно металась на девственном ложе, смеялась, и плакала, и сбрасывала душное, хоть и легкое одеяло, закидывала под горячую голову стройные руки, и смотрела в ночную тьму горящими глазами, — или сидела долго у окна, очарованная серебристою ночью, и уже собралась спать, и уже все сбросила одеж-

ды, и уже тихо подошла к постели, и вдруг, неожиданно для себя, захваченная внезапным порывом, накинула наскоро какое-то платье, какой-то платок, и вышла в сад к этой калитке; но вот стояла теперь у калитки и придерживала ее нагими руками. Густые косы вольными прядями рассыпались по белой одежде. Ноги белели на темном песке дорожки.

Логин быстро подошел к решетке. Сказал что-то.

Что-то сказала Анна.

Стояли, и улыбались, и доверчиво глядели друг на друга. На ее лицо падали лунные лучи, и под ними оно казалось бледно. Доверчивы были ее глаза, но сквозило в них тревожное, робкое выражение. Ее пальцы слегка вздрагивали. Потянула к себе решетку. Калитка слабо скрипнула и затворилась.

Анна сказала:

— Поет соловей.

Тихий, слегка звенел голос.

— Вам холодно, — сказал Логин.

Взял ее тонкие пальцы. Нежно и кротко улыбалась и не отнимала их. Шепнула:

— Тепло.

Мял и жал ее длинные пальцы. Что-то говорил простое и радостное, о соловье, о луне, о воздухе, еще о чем-то, столь же наивном и близком. Отвечала ему так же. Чувствовал, что его голос замирает и дрожит, что грудь захватывает новое, неодолимое. Руки их скользили, сближались. Вот белое плечо мелькнуло перед горячим взором, вздрогнуло под холодною, замиравшею рукою. Вот ее лицо внезапно побледнело и стало так близко, — так близки стали широкие глаза. Вот глянули тревожно, испуганно, — и вдруг опустились, закрылись ресницами. Поцелуй, тихий, нежный, долгий...

Анна откинулась назад. От сладкого забвения разбуженный, стоял Логин. У его груди — жесткая решетка с плоским верхом, а за нею Анна. Ее опущенные глаза словно чего-то искали на траве, или словно к чему-то она прислушивалась: так тихо стояла. Тихо позвал ее:

— Анна!

Она встрепенулась, порывисто прильнула к решетке. Целовал ее руки, повторял:

— Анна! Любушка моя!

— Родной, милый!

Обхватила руками его наклоненную голову и поцеловала высокий лоб. Мгновенно было ощущение милой близости. Вдруг ее стан с легким шорохом отпрянул от нетерпеливых рук. Логин поднял голову. Уже Анна бежала по дорожке к дому, и белая одежда колыхалась на бегу.

— Я люблю тебя, Анна! — сказал он тихо.

Приостановилась у ступенек террасы. Услышала. В туманном сумраке сада еще раз милое лицо, со счастливою, нежною улыбкою... И вот уже только ее ноги видит на пологих ступенях, и вот исчезла, — ночная греза...

Не замечал и не помнил дороги домой. Время застыло — вся душа остановилась на одном мгновении.

«Не сон ли это, — думал, — дивная ночь, и она, несравненная? Но если сон, пусть бы я никогда не просыпался. Докучны и холодны видения жизни. И умереть бы мне в обаятельном сне, на зачарованных луною каменьях!»

Шаткие ступени крыльца разбудили докучным скрипом. В своей комнате Логин опять нашел темное, неизбежное. Злые сомнения вновь зашевелились, еще неясно сознаваемые, — смутные, тягостные предчувствия. Странный холод обнял душу, но голова пылала. Вдруг язвительная мысль: «Теперь не опасны столкновения: могу выйти в отставку, — у меня будет богатая жена».

Побледнел от злобы и отчаяния; долго ходил по комнате; сумрачно было лицо. Образ Анны побледнел, затуманился.

Но вот, солнце сквозь тучи, сквозь рой мрачных и злобных мыслей снова засияли лучистые, доверчивые глаза. Анна глядела на него и говорила: «Любовь сильнее всего, что люди создали, чтобы нагромоздить между собою преграды, — будем любить друг друга и станем, как боги, творить, и создадим новые небеса, новую землю».

Так колебался Логин и переходил от злобы и отчаяния к радостным, светлым надеждам. Всю ночь не мог заснуть. Сладкие муки и горькие муки одинаково гнали ночное забвение. Уединение и тьма были живы и лживы. Часы летели.

Лучи раннего солнца упали в окна. Логин подошел к окну, открыл его. Доносились звуки утра, голоса, шум. Хлопнули ворота, — звонкий бабий голос, — пробежала звучно по шатким мосткам под окнами босая девчонка с лохматою головою. Холодок передернул плечи Логина. Начиналась обычная жизнь, пустая, скучная, ненужная.

## Глава тридцатая

Андозерскому казалось необходимым отомстить Анне, доказать, что отказ нисколько не огорчил его. На другой же день Андозерский отправился овладеть рукою Клавдии.

Клавдия была бледна, смущена. Открытая беседка в саду, где она сидела с Андозерским, веяла знойными воспоминаниями. И солнце было знойно, и воздух горяч, и первые пионы слишком ярки, и поздние сирени раздражали приторным запахом. Песок дорожек досадно сверкал на солнце. Зелень деревьев казалась некрасиво глянцевитою. Сквозь запахи зелени и цветов пробивался далекий запах городской пыли.

Клавдия сложила руки на коленях, смотрела в сад, рассеянно слушала красноречивые объяснения Андозерского. Наконец он сказал:

— Теперь я жду вашего решения.

Клавдия повернула к нему расстроенное лицо и бледно улыбнулась. Сказала:

— Вы ошиблись во мне. Что я вам? Я не могу доставить счастия.

— Одно ваше согласие будет для меня величайшим счастием.

— Немногим же вы довольны. Я иначе понимаю счастие.

— Как же? — спросил Андозерский.

— Чтоб жизнь была полная, хоть на один час, а там, пожалуй, и не надо ее.

— Поверьте, Клавдия Александровна, я сумею сделать вас счастливою!

Клавдия улыбнулась.

— Если бы это... Сомневаюсь. Да и не надо, поверьте, не надо. Я не могу дать вам счастия. Правда!

Клавдия встала. Встал и Андозерский. Его голова закружилась. Испытывал такое ощущение, как если бы перед ним внезапно открылась зияющая бездна. Воскликнул:

— О моем счастии что думать! Одно мое счастие — чтоб вы были счастливы, и для этого я готов на всякие жертвы. Без вас я — полчеловека.

Клавдия посмотрела на него с улыбкою, ему непонятною, но опьянившею его. В эту минуту был уверен, что искренно любит Клавдию. Жажда обладания зажигалась.

— Да? — спросила Клавдия холодным голосом.

Холод ее голоса еще более разжигал его страсть. Он повторял растерянно:

— Всякие жертвы, всякие!

И не находил других слов. Клавдия говорила так же холодно:

— Если это так, то я, право, и не стою такой любви. Для моего счастия вы могли бы принести только одну жертву, которую я приняла бы с благодарностью.

Совсем насмешливо.

— О, вам стоит только сказать слово! — в радостном возбуждении воскликнул Андозерский.

Клавдия отвернулась, устремила в сад блуждающие взоры и тихо говорила:

— Да, очень благодарна. Если б вы могли, если б вы могли принести эту жертву!

— Скажите, скажите, я все сделаю, — говорил Андозерский.

Осыпал поцелуями ее руку, и ее рука трепетала в его руке и была бледна, как у мраморной статуи.

Клавдия колебалась. Жестокая улыбка блуждала на ее губах. Глаза ее мрачно всматривались во что-то далекое. Заговорила, — и голос ее звучал то жестокими, то робкими интонациями:

— Вот, — вы возьмите меня только для того, чтобы отдать другому. Вот жертва! Ведь вы говорили про всякую жертву. Вот это — тоже жертва! Что ж, если можете... а нет, как хотите. Что ж вы молчите?

— Но это так странно! — смущенно сказал Андозерский, — я, право, не понимаю.

— Это просто. Мы повенчаемся. Потом я уеду. Мне это нужно: я буду самостоятельна и буду жить с тем, кого я... да, за него я не могу выйти замуж. Одним словом, мне это нужно. А вам, вы говорите, это доставит величайшее счастие.

Лицо Клавдии совсм побледнело. Голос сделался сухим, злым. Смотрела на Андозерского жестокими глазами и улыбалась недоброю улыбкою, и от этой улыбки Андозерский горел и трепетал.

«Это — черт знает что такое!» — думал он.

Провел по влажному лбу рукою. Его пухлые руки дрожали.

— Что ж, согласны? За такую любезность с вашей стороны и я поделюсь с вами маленькой долей счастия и большой долей богатства.

Глаза Клавдии широко раскрылись, засветились диким торжеством. Засмеялась, откинулась назад гибким и стройным станом, поламывала над головою вздрагивающие руки. Широкие рукава платья сползли и обнажили руки. Бледное, злобно-ликующее лицо смотрело из живой рамки, из-за тонких, вдруг порозовевших рук, — две трепетные, розовые, гибкие змеи сплелись и смеялись зыбко над зелеными зарницами озорных глаз.

— Ах, что вы говорите! — воскликнул Андозерский. — Вы обольстительны! И уступить вас другому, — какая нелепость! Зачем? О, как я вас люблю! Но я для себя вас люблю, для себя.

Клавдия повернулась к дверям беседки. Андозерский бросился к ней и умоляющим движением протянул руки. Ее лицо приняло неподвижно-холодное выражение. Сухо сказала:

— Не к чему было и говорить о жертвах.

И пошла мимо Андозерского к выходу. Остановилась у двери, повернулась к Андозерскому, сказала:

— Вы меня извините, пожалуйста, но вы сами видите, — это между нами невозможно и никогда не будет возможно.

Вышла из беседки. Андозерский остался один.

Клавдия остановилась в нескольких шагах, рассеянно срывала и мяла в бледных пальцах листки сирени.

«Проклятая девчонка! — думал Андозерский. — Обольстительная, дикая, — не к лучшему ли? Однако черт возьми, положение! Надо убираться подобру-поздорову!»

Вышел из беседки, подошел к Клавдии.

— Какой неприятный запах! — сказала она, — мне кажется душным этот запах, когда сирени отцветают.

— В вашем саду много сирени, — сказал он. — У них такой роскошный запах.

— Я больше люблю ландыши.

— Ландыши пахнут наивно! Сирень обаятельна, как вы.

— С кем же вы сравните ландыш?

— Я бы взял для примера Анну Алексеевну.

— Нет, нет, я не согласна. Какой же тогда аромат вы припишете Анюте Ермолиной?

— Это... это... я затрудняюсь даже. Да, впрочем, что ж я! Конечно, фиалка, анютины глазки!

Клавдия засмеялась.

Когда Андозерский прощался, Клавдия тихо сказала ему, холодно улыбаясь:

— Простите.

— О, Клавдия Александровна!

— Сирень отцветает, и пусть ее, бросьте. Ищите ландышей!

Палтусов, — он теперь был тут же, в зале, — с удивлением смотрел на них.

Клавдия вернулась в сад, сорвала ветку сирени, опустила в нее бледное лицо. Тихо проходила по аллеям. Одна, — никого в саду. Зинаида Романовна, по обыкновению, лежала у себя неодетая на кушетке, лениво потягивалась, лениво пробегала глазами пряные, томные страницы новой книжки в желтой обложке. Палтусов, — а он что делал?

Клавдия прошла мимо его кабинета (угловая в сад комната нижнего этажа), взглянула в сторону открытых окон и порывистым движением

бросила в окно ветку сирени. Потом круто повернулась и быстро пошла к беседке посреди сада, где сейчас говорила с Андозерским.

Палтусов мрачно шагал по кабинету. Вспоминал смущенное лицо Андозерского и бледное лицо Клавдии, догадывался, что между ними произошло что-то, и мучился ревностью. Ветка сирени с легким шорохом упала из окна на пол сзади него. Палтусов обернулся, поискал глазами, увидел сирень и быстро подошел к окну. Клавдия уходила от дома и не оборачивалась.

Быстро вышел Палтусов из дому и торопливо догонял Клавдию. Она ускоряла шаги и наконец вбежала в беседку. Он вошел за нею. Она опустилась на скамейку, подняла руки к груди. Задыхалась, зеленоглазая, испуганно смотрела. Он бросился к ней, опустился у ее ног. Восклицал:

— Клавдия, Клавдия!

И обнимал ее колени, и целовал на ее коленях платье.

Она опустила руки на его плечи и нежно и горько улыбнулась. Сказала:

— Будем жить жизнью, — одною жизнью!

Лицо Палтусова озарилось торжествующею улыбкою. Клавдия почувствовала свое девственное тело в сильных и страстных объятиях. Пол беседки убежал из-под ног, потолок качнулся и пропал. Чудным блеском загорелись жгучие глаза Палтусова. Жуткое и острое ощущение быстро пробежало по ней, и она забилась и затрепетала. Розовые круги поплыли в темноте. В бездне самозабвения вспыхнула цельным и полным счастием...

Клавдия порывисто освободилась из объятий Палтусова и крикнула испуганно:

— Она была здесь!

Палтусов в недоумении смотрел на ее бледное лицо с горящими глазами. Спросил голосом, пересохшим от волнения:

— Кто?

— Мать, — прошептала Клавдия, — я ее видела.

Она бессильно опустилась на скамью. Палтусов сказал досадливо:

— Пустое! воображение, нервы! Какая там мать! Тебе показалось.

Клавдия внимательно слушала, но не услышала ничего. Сказала упавшим голосом:

— Да, постояла в дверях, засмеялась и ушла потихоньку.

— Нервы! — досадливо сказал Палтусов.

— Да, засмеялась и прикрыла рот платком.

— Уйдем отсюда, пройдемся, — у тебя голова болит.

Вышли из беседки. Палтусов почувствовал, что Клавдия вздрогнула. Поглядел на нее: она неподвижно смотрела на что-то. По направлению ее взора Палтусов увидел на траве у самой дорожки что-то белое. На яркой зелени резким пятном выделялся белый платок.

— Платок! — крикнула Клавдия. — Это она бросила платок.

Оставила руку Палтусова, бросилась к платку. Палтусов услышал ее смех и увидел, как вздрагивали ее плечи. Он подошел, осторожно спросил:

— Клавдия, что ты?

Клавдия стояла над платком матери и неудержимо смеялась и плакала.

Потянулись странные, мрачные дни. Клавдия и Палтусов сходились днем украдкою, на короткие минуты, то в его кабинете, то в ее комнате, и отдавались восторгам любви без всякой речи и думы о будущем. Когда сходились при посторонних, холодно глядели друг на друга, и в обращении их проглядывал даже отпечаток враждебности.

Зинаида Романовна украдкой наблюдала их. Изредка улыбалась каким-то своим думам. Ее спокойствие удивляло их, но мало беспокоило, хотя иногда они задавали себе вопрос о том, что скрывается под этою видимою невозмутимостью. Палтусов был с Зинаидою Романовною холодно-вежлив, Клавдия — равнодушна.

Ночи, — странные были ночи!..

В первую ночь Клавдия тихо вышла из комнаты Палтусова во втором часу. В своей спальне услышала шорох, увидела белую тень в углу, но, утомленная, поспешила лечь, и, едва опустила голову на подушки, заснула.

Сон был тяжел. Снилось, что темное и безобразное навалилось на грудь и давит. Оно прокинулось * вампиром с яркими глазами и серыми широкими крыльями; длинное, туманное туловище бесконечно клубилось и свивалось; цепкие руки охватывали тело Клавдии; красные липкие губы впились в ее горло, высасывали ее кровь. Было томительно-страшно. Снилось, что ее мускулы напряжены и трепещут, — только бы немного повернуться, уклониться от этих страшных губ, — но неподвижным оставалось тело.

Наконец встрепенулась и открыла глаза. Над нею блестели глаза матери. Ее лицо, бледное, искаженное ненавистью, смотрело прямо в глаза Клавдии горящими глазами, и вся она тяжко наваливалась на грудь дочери. Клавдия рванулась вперед, но мать снова отбросила ее на подушки.

— Зачем? — спросила Клавдия прерывистым голосом.

Зинаида Романовна молчала. Посмотрела на Клавдию долгим взглядом, положила на ее глаза холодную руку и встала с постели. Клавдия почувствовала, что ее грудь свободна, и вместе с тем ощутила во всем теле усталость и разбитость.

С трудом поднялась Клавдия с постели. Дверь была полуоткрыта, в комнате никого не было. Клавдия опять легла, но не могла заснуть. Долго лежала с закинутыми под голову руками. Всматривалась в серый полусвет начинающегося утра. Мысли были слабы и спутаны. Перед глазами носились бледные, злые лица, уродливые головы с развевающимися космами.

При встрече с матерью днем Клавдия посмотрела на нее внимательно. Лицо Зинаиды Романовны было загадочно спокойно.

На другую ночь Клавдия рано ушла к себе и заперла дверь на ключ. Около полуночи в ее дверь постучался Палтусов. Впустила неохотно.

Часа через два ушел. Замкнула за ним дверь.

Когда опять легла и уже начинала засыпать, вдруг вспомнила, что дверь оставалась не на запоре все время, пока Палтусов был

* Прокинуться — здесь промелькнуть, проскользнуть

здесь. Стало на минуту досадно, но как-то не остановилась на этой мысли и скоро забылась. Снова мать передрассветною тенью мелькнула перед нею, и опять вслед за нею нахлынули тучи бледных, угрожающих лиц.

Настала третья ночь. Клавдия внимательно осмотрела углы своей комнаты, заперла окна, замкнула дверь и ушла к Палтусову. Вернулась под утро, опустила занавеси у окон, подошла к постели. Когда откидывала одеяло, чтобы лечь, почувствовала вдруг, что кто-то сзади глядит на нее. Обернулась — в углу за шкапом смутно белело в полутьме что-то, похожее на повешенное платье. Клавдия подошла и увидела мать. Зинаида Романовна стояла в углу и молча смотрела на Клавдию. Ее лицо было бледно, утомлено, неподвижно, как красивая маска. Клавдия всматривалась в мать, — и фигура матери начинала казаться прозрачною тенью. Становилось страшно. Сделала над собою усилие подавить страх и спросила:

— Что за комедия? Зачем вы здесь?

Зинаида Романовна молчала.

— Зачем вы приходите ко мне? — продолжала спрашивать Клавдия замиравшим и прерывистым голосом. — Что вам надо? Вы хотите говорить со мною? Вы молчите? Чего же вы хотите от меня?

Молчание матери и ее неподвижность в сером полумраке наводили на Клавдию невольный ужас. Взяла руку матери. Холодное прикосновение заставило затрепетать. Клавдия пристально всмотрелась в лицо матери: все оно трепетало безмолвным, торжествующим смехом, — каждая черточка бледного лица смеялась злорадно. Клавдии казалось, что зеленоватые глаза матери засветились фосфорическим блеском и что все ее лицо посинело. Этот холодный смех на посиневшем лице со светящимися глазами был так ужасен, от него веяло такою неестественною злобою, таким безнадежным безумием, что Клавдия затрепетала, закрыла глаза руками и отступила от матери. Смутно видела из-под трепетных рук, что белая ткань промелькнула внизу. Опустила руки и увидела, что в комнате нет никого.

Подошла к открытой двери, долго стояла у косяка. Всматривалась в темные углы коридора, боязливо думала короткими, смутными мыслями. Нагие плечи холодели, и тело вздрагивало от утреннего холода.

## Глава тридцать первая

Клавдия не говорила Палтусову о ночных страхах. Когда вспоминала о них днем, становилось смешно, злорадное чувство овладевало, и она досадовала на себя за ночную трусость. Но с наступлением ночи вновь становилось страшно.

Четвертую ночь провела у Палтусова. Солнце уже высоко стояло, и люди просыпались, когда Клавдия вышла от Палтусова. Утомленные бессонною ночью глаза щурились. Хотелось спать, но в душе ликовало резвое детское чувство избегнутой опасности. У дверей своей комнаты Клавдия встретила Зинаиду Романовну и взглянула на нее насмешливыми глазами. Но лицо матери дышало таким мстительным торжеством, что сердце Клавдии упало. Полная страха и предчувствий, вошла она к себе.

Спала долго. Опять сон окончился кошмаром. Вдруг почувствовала на своем плече крепкие пальцы и увидела над собою мать. Синие оттенки лежали на лице Зинаиды Романовны. Ее глаза были полузакрыты. Тяжелая, как холодный труп.

— А, ты проснулась, — спокойно сказала Зинаида Романовна, — уже второй час.

Она поднялась и вышла из комнаты.

Клавдия села на кровати.

«Как глупо! — думала она. — Чего я жду? Надо уехать, — с ним, без него, все равно, — надо уехать!»

Эта мысль приходила ей и раньше, но не оставалась надолго. В том состоянии сладких грез и тяжелых кошмаров, которое она переживала, вяло работала голова. Говорить с Палтусовым еще не успела, — их свидания все еще проносились в страстном безумии, а уехать из дому без него не могла, — она это чувствовала. Ей казалось, что ее жизнь теперь неразрывно связана с жизнью Палтусова, что им обоим

предстоит новая будущность, бесконечность любви и свободы, где-то далеко, в новой земле, под новыми небесами.

Решила наконец переговорить с Палтусовым сегодня же о том, как им устроить их судьбу. Но не пришлось днем увидеться наедине ни на одну минуту: мешали то посторонние, то мать.

Настала ночь, пятая со дня, решившего их участь. Клавдия была в комнате Палтусова.

— Послушай, — сказала она, — нам надо наконец поговорить.

— Что говорить? — лениво ответил он, — ты — моя, а я — твой, и это решено бесповоротно.

— Да, но жить здесь, рядом с нею, скрываться, притворяться...

— А, — протянул он и зевнул.

Он был сегодня необыкновенно вял.

— Странно, — сказал он, — тяжесть во всем теле. Да, так ты говоришь...

Клавдия страстно прижималась к нему и горячо говорила:

— Так дальше нельзя жить, нельзя!

— Да, да, нельзя, — согласился Палтусов.

Он оживился и говорил с одушевлением:

— Мы уедем. И чем дальше, тем лучше.

— Совсем далеко, чтобы все было новое и по-новому, — шептала Клавдия.

— Да, милая, далеко. Куда-нибудь в Америку, на дальний Запад, или в какую-нибудь неведомую страну, в Боливию, где нас никто не знает, где мы не встретим никого из тех, от кого бежим. Там мы заживем по-новому.

— Совсем по-новому!

— Вдвоем, одни. А если под старость захочется взглянуть на дорогую родину, так мы приедем сюда бразильскими обезьянами. Да, да, завтра же подумаем, как это устроить. Завтра о делах.

Палтусов улыбался лениво и сонно. Тихо повторил:

— Завтра о делах, сегодня будем счастливы настоящим, счастливы минутой.

Горячие поцелуи и страстные объятия опьяняли Клавдию, гнали прочь заботу. Вдруг почувствовала Клавдия, что Палтусов тяжело и холодно

лежит в ее руках. Она заглянула в его лицо: спал. Напрасно будила: только мычал впросонках и снова засыпал. Отвернулась с пренебрежительною усмешкою, встала и подошла к окну. Тоска опять закипала. Клавдия отодвинула рукою белую штору и грустными глазами всматривалась в ночной сумрак. Ветви старого клена выступали из мрака и качали угрюмые листья с таинственным, укоряющим шорохом. Страх подкрадывался, — спящий был неподвижен.

Клавдия вздрогнула. Звонкий смех раздался за нею. Жуткое ожидание страшного заставило холодеть и замирать. Преодолевая ужас, обернулась — и тихонько вскрикнула.

Лицо Зинаиды Романовны, мертвенно-бледное, снова трепетало торжествующим, мстительным смехом. Клавдия нахмурила брови, слегка наклонилась и оперлась о спинку стула согнутою рукою. Ее глаза зажглись дерзкою решительностью.

Несколько долгих мгновений прошло в жутком ожидании. Складки белого платья на Зинаиде Романовне висели прямо и неподвижно. Белая вся и бледная, казалась угрожающим призраком, и в глубине смятенного сознания Клавдия таила отрадную надежду, что это ей только мерещится. Вдруг показалось Клавдии, что Зинаида Романовна хочет положить руку на ее локоть. Клавдия схватила руку Палтусова и потрясла ее. В воздухе пронесся короткий, холодный смех матери. Зинаида Романовна тихо сказала:

— Оставь! Он не скоро проснется.

— Что вы сделали? — воскликнула Клавдия.

В глазах ее зажглись зеленые молнии угроз.

— Полно, — жестким тоном ответила мать, — он жив и здоров, только выпил усыпляющего лекарства. Ты слишком утомила его, — вот я и думаю: пусть выспится. А мы пойдем!

Ее голос был тих, но повелителен. Взяла руку Клавдии. Клавдия пошла за нею полусознательно.

— Оставьте меня, — нерешительно сказала она, когда вышли в коридор.

Мать обернулась и посмотрела на нее пристальным, холодным взглядом. Перед глазами Клавдии опять встало иссиня-бледное лицо,

и страшный смех был разлит на нем. Клавдия почувствовала, что этот смех лишает воли, туманит рассудок. Без мыслей в голове, без возможности сопротивляться покорно шла за матерью.

Вышли на террасу, спустились по лестнице и очутились в саду. Ночная сырая свежесть охватила со всех сторон Клавдию; влажный песок дорожек был нестерпимо холоден и жесток для ее голых ног. Она остановилась и рванула свою руку из руки матери.

— Пустите, — мне холодно!

Мать опять посмотрела на нее остановившимся, пустым взором, — и опять безмолвный смех разлился на ее лице и обезволил Клавдию, — и опять пошла она за матерью.

И когда опять холод, сырость и песок, хрупкий и жесткий под голыми ногами, освежали ее, она упрямо останавливалась. Но опять тогда обращалось к ней злое лицо с ликующим смехом и снова лишало ее воли. Зинаида Романовна крепко стискивала пальцы Клавдии, но Клавдия не чувствовала боли.

Так дошли до беседки и поднялись по ступеням. Зинаида Романовна резким движением руки бросила Клавдию на скамейку. Тихо, отчетливо заговорила:

— Здесь ты лежала в объятиях чужого мужа, которого ты отняла у своей матери, а здесь я стояла и смотрела на тебя. Здесь я проклинаю тебя, на этом месте, которое ты осквернила. Беги, куда хочешь, бери с собой любовника, заводи себе десятки новых, — нигде, никогда ты не найдешь счастья, проклятая!

Клавдия полулежала на скамейке и судорожно смеялась.

— Дальше, дальше иди за мною! — сказала Зинаида Романовна.

Подняла Клавдию за руку, вывела ее из беседки.

— Каждая аллея этого сада слышала твои нечестивые речи, на каждой звучали твои бесстыдные поцелуи.

Увлекала за собою дочь, — и Клавдия шла за нею по песчаным дорожкам, и вся цепенела от холода и сырости.

— Я не боюсь твоих проклятий, — сказала она матери, — говори их сколько хочешь и где хочешь, я их не боюсь. И зачем ты мучишь меня по ночам?

— По ночам? Зато ты мучила меня и ночью, и днем.

Остановились около пруда. С гладкой поверхности его подымался влажный, густой туман.

— Здесь, — сказала Зинаида Романовна, — ты опять ласкала его, а я стояла за кустами и проклинала тебя. Когда вы ушли, а я осталась одна, над этим прудом, я думала о смерти, о мести. Здесь я поняла, что не надо смерти, не надо заботиться о мести: ты, проклятая, не увидишь ни одного светлого дня! Ты отняла счастие у своей матери, и не будет тебе ни тени счастия, ни тени радости. Любовник истерзает твое сердце, муж оскорбит и изменит, дети отвернутся, — тоска будет преследовать тебя. Ты знакома с нею: ты уже теперь пьешь вино, чтобы забыться. И я пожалела тебя, — ведь я тебе мать, несчастная! Я думала: лучше тебе потонуть в этом пруде, чем жить с моим проклятием.

— Не боюсь я твоих проклятий, — угрюмо сказала Клавдия, — а счастие, — на что мне оно? Да я счастлива.

— Нет, ты дрожишь от страха, проклятая!

— Мне холодно.

Клавдия рванулась из рук матери, Зинаида Романовна удержала ее.

— Подожди, слушай мое последнее слово. Смотри, какая хорошая тебе могила в этой черной воде. Умри, пока он тебя не бросил, — теперь он хоть поплачет о тебе. Хочешь? Я помогу. Тебе страшно? Я толкну тебя!

Зинаида Романовна влекла дочь к берегу. Клавдия в ужасе отбивалась. Наконец Зинаида Романовна оставила ее. Злобно прошептала:

— Нет, жить хочешь? И живи, живи, проклятая!

Голос Зинаиды Романовны зазвучал бешенством.

— Живи, измучься до последних сил, испытай отчаяние, ревность, ужас, людское презрение, всякую беду, всякое горе, весь позор, обнаженный, как ты.

Схватила обеими руками рубашку Клавдии за ворот, рванула в обе стороны, — тонкая ткань с легким треском разорвалась. Неистово рвала ее на куски и далеко в сторону бросала обрывки. Крикнула:

— Иди теперь к любовнику, проклятая, бесстыдная!

И оттолкнула Клавдию.

Клавдия бежала по темным дорожкам сада. Тихий, злобный смех звенел за нею, не смолкая, — упоение дикого торжества.

Тихо и пусто было в саду и в доме. Никто не слышал и не видел, как осторожно пробиралась Клавдия по темным комнатам в спальню и замирала от стыда, когда половицы скрипели под ее голыми ногами.

Вся холодная, бросилась в постель, закуталась одеялом. Радость охватила: как птица, которая в бурю достигла гнезда, она грелась, нежилась и радовалась.

«Кончена комедия!» — шептала она, тихонько смеялась, свертывалась клубком, засовывала холодные руки под подушку. Скоро заснула.

Утром почувствовала, что трудно дышится. Открыла глаза. Комната глянула уныло. Солнечные лучи были печально ярки. Скорбная мысль медленно слагалась в голове, но трудно было перевести ее на слова. Тряхнула головою, и это движение отдалось в голове болью.

— Да, — вслух ответила на свою мысль.

Звук голоса был слабый и дряхлый, и в горле было больно. Равнодушие и усталость владели ею, и тоска подымалась к сердцу. Клавдия вспомнила пережитую ночь и улыбнулась слабо и покорно. Думала: «Проклятия не сбудутся, — жизнь оборвется!»

Уже не думала о том, что надо уехать и о том, что больна, и о том, чем кончится болезнь. Как-то сразу почувствовала, что сил нет. Казалось, начинает умирать. Как будто прочла свой смертный приговор и упала духом.

Показалось, что кто-то стоит у изголовья. С трудом повернула голову и увидела прозрачную фигуру матери. Не удивилась, что сквозь грудь матери ясно видно окно. Потом увидела, что в закрытую дверь проник другой такой же прозрачный образ. Оба стали около нее и чего-то требовали. Прислушивалась, но не могла понять. Не удивляло, что мать стоит перед нею в двух образах. Только было страшно, что у того из них, который вошел позже, злое лицо, и дикие глаза, и быстрые речи на пересохших губах. Этот образ все более приближался и все увеличивался в размерах.

Страх усиливался. Хотелось крикнуть, но не было голоса. Образ с дикими глазами наклонился совсем близко, тяжело обрушился на грудь Клавдии и раздробился на целую толпу безобразных гномов, черных, волосатых. Все страшно гримасничали, высовывали длинные языки, тонкие, ярко-красные, свирепо вращали кровавыми глазами. Плясали, махали руками, быстрее, быстрее, увлекали в дикую пляску стены, потолок, кровать. Их полчища становились все гуще: новые толпы гномов сыпались со всех сторон, все более безобразные. Потом стали делаться мельче, отошли дальше, обратились в тучу быстро вращающихся черных и красных лиц, потом эта туча слилась в одно ярко-багровое зарево, — зарево широко раскинулось, вспыхнуло ярким пламенем и вдруг погасло. Клавдия забылась.

## Глава тридцать вторая

Проснувшись утром, Логин почувствовал, что день, яркий, пронизанный солнечными лучами, грустен и ненужен. Тоскливо сжималось сердце, и груди тяжело было дышать, — весь этот свет давил ясною, жаркою тяжестью. Цветы на обоях глядели ярко, утомительно. Ночная встреча припоминалась как невозможный сон.

Логин прислонился плечом к обоконью и смотрел на городские улицы, где на светло-серую пыльную землю ложились отчетливые тени домов и заборов, — и всему, что открывалось перед ним, чужда была мечта о ней. Как из другого мира была она, из мира далекого и невозможного. Странно было думать о том, что и она живет на той же земле и дышит тем же воздухом, как и эти люди безвременья и кошмара. Да может быть, и нет ее, невозможной и несравненной? Мечтатель издавна, он, может быть, сам создал ее себе на утеху?

Страстно захотел увидеть Анну, — но грустные сомнения томили по дороге к усадьбе Ермолина. Голова тупо болела. В отуманенных глазах все представлялось пыльным, обветшалым; подробности предметов ускользали от внимания. Ветер набегал порывами, пыльные

вихри крутились по дороге, взвивались и падали. Было жарко и тихо. Люди, которые попадались изредка, казались сонными.

В саду Ермолиных никого не было и не слышно было ни голосов, ни шума. Логин быстро поднялся по ступеням террасы. Двери в дом были открыты. Поспешно прошел по всем комнатам нижнего этажа и никого не встретил. Вернулся на террасу. Не у кого было спросить об Анне. Страшным показалось опустелое жилище.

«Мечта, безумная мечта!» — думал он.

Вдруг Аннин голос громко и резко нарушил тишину. Звонкие вопли, мерно, долго... Смолкли.

Логин стоял, слушал. Или послышались где-то близко, за стеною, вопли боли, — призраки вопля?

Логин торопливо удалялся от этого дома к ненавистному городу.

Беспокойные улицы. Отдаленное галденье. На перекрестке внезапно пронеслась фура, черная с белыми краями. Пустая. Возница, высокий черномазый детина с подбитым глазом, яростно настегивал лошадей: видно, не дали ему больного, и боялся он, как бы ему самому не намяли боков.

Дома Логин подозвал к себе Леню и спросил его:

— Что, Ленька, нравится тебе Толя Ермолин?

Леня оживленно заговорил:

— Он умный да занятный такой, — что ни спроси, все знает.

И рассказывал о Толе долго, с увлечением. Логин тревожно ждал, что он скажет и об Анне. Но мальчик от Толи перешел к другим, а жданного имени не упоминал. Наконец Логин спросил нерешительно:

— А что ты скажешь про Анну Максимовну?

Ленькины глаза засверкали, он радостно засмеялся — и молчал. Логин хмуро спросил:

— Ну что ж ты?

Леня подумал, покрутил пальцы и медленно заговорил:

— Она — такая, — раз с ней поговоришь, — и точно всегда, — точно своя. Ей бы все можно сказать.

— Что ж, она добрая?

Леня еще подумал, поднял глаза на Логина и сказал:

— Нет. И не злая. Она так, сама по себе. С ней, как с самим собою, — только с хорошим собою.

Логин накануне получил приглашение в городское училище, на публичный акт, торжество, ежегодно совершаемое по обычаю в конце учебного года.

Когда Логин вошел в училищный зал, там уже кончался молебен. Около стола, покрытого красным сукном с золотою бахромою, грузно покачивался Мотовилов и делал в приличных случаях маленькие крестные знамения. За ним торчал Крикунов в новеньком мундирчике; узкий воротник жал шею; маленькая, коротко остриженная головенка с кругленьким выпуклым затылишком тряслась от наплыва религиозных чувств. На сморщенном личишке застыло жалостное выражение; это лицо напоминало цветом деревянную лакированную куклу; коричневый низенький лоб плоился семью складками. Еще дальше приютился у стола Шестов в учительском вицмундире, смущенный тем, что приходится принимать участие в торжестве. Старался держаться прямо и иметь независимый вид. Не удавалось: стоял как на жаровне. Лицо раскраснелось. Чувствовал это, краснел еще больше, делал вид, что жарко и душно, и обтирался платком.

И в самом деле было жарко и душно, хотя окна были открыты. По одной стороне залы стояли рядами ученики. Лица у них были взволнованные. Остальное пространство тесно наполнено было публикою, которой сегодня, не в пример прошлых лет, набралось много. Здесь были дамы и барышни, — Нета успела сейчас передать записочку Пожарскому и потому была весела и благосклонно слушала глупый шепот Гомзина, — Ната делала глазки Бинштоку, — были все, кого можно встретить у Мотовилова. Дальше стояли родители из мещан. Впереди пахло духами, дальше к ароматам примешивался запах пота, сзади пахло потом и дегтем от смазных сапог. Ближе к дверям становилось теснее, — а впереди был простор и для «господ» рядами стулья.

Ученики пошли вереницею прикладываться к кресту. Отец Андрей торопливо и небрежно давал крест и кропил. Мальчики наскоро крестились и отходили с каплями священной воды на вспотевших носах.

Логин пробрался вперед. Баглаев толкнул его в бок пухлым белым кулаком, захихикал и спросил:

— Какова толпучка, а?

— Да, много. Да и жарко. Что ж, всегда так?

— То-то и дело, нет! Нынче собрались, — чуют скандальчик, а то кому тут бывать! Так, чуйки всякие.

— В школе, и вдруг скандал! Что за дребедень!

— Скандал везде может быть, это тебе всякий мальчишка скажет. Молина выпустили?

— Ну, выпустили, — так что ж из того?

— Ну вот то-то, чудак! Всякому лестно посмотреть, придет ли он сюда.

— Что ж, он пришел?

Баглаев свистнул.

— Прийти-то ему нельзя, друг любезный, — он в отставке числится, да и неловко. Но публика не соображает, — ей все-таки лестно посмотреть скандальчик.

— Да какой скандальчик, говори толком!

— Мотовилов речь скажет на злобу дня.

— А ты откуда знаешь?

— Я не знаю, я, брат, предвижу. На то я и городской голова: свое стадо знаю, даже до тонкости. Я, брат, всю подноготную знаю. Нет, брат, ты у меня спроси, кто что сегодня обедает, так я тебе и то скажу!

Прикладывание к кресту кончилось, отец Андрей снял рясу. Публика усаживалась. Мотовилов занял среднее место за столом, по обе стороны сели Крикунов и отец Андрей.

— Пожалуйста, займите ваше место, — сказал Мотовилов Шестову снисходительно и важно.

Шестов досадливо покраснел и уселся на стул рядом с Крикуновым. Думал о Мотовилове: «Нахал! распоряжается, как у себя дома».

Публика волновалась, видимо, ждала чего-то, — теперь Логин ясно видел это по общей озабоченности и радостной возбужденности лиц.

Особы постарше делали равнодушные лица; изредка значительно усмехались, переглядывались. Помоложе да понаивнее широко открывали глаза и жадно смотрели туда, в сторону стола под красным сукном, где величественно и грузно возвышался Мотовилов с выражением мудрости и добродетели на лице, морщился и корчился Крикунов, солидно посиживал и поглядывал отец Андрей и сгорал от смущения оглядываемый всеми Шестов. Вначале шло неинтересное. Ученики пропели громко и нестройно гимн святым Кириллу и Мефодию, Крикунов прочел обзор училищной деятельности, потом ученики снова прогорланили две развеселые народные песни, потом отец Андрей прочел список учеников, выдержавших и не выдержавших экзамены. Ученики, награжденные книгами и похвальными листами, подходили к столу и получали свое из рук Мотовилова, а он говорил им благосклонные слова. Потом ученики еще раз запели. Было скучно, — публика томилась от нетерпения и духоты.

Наконец поднялся Мотовилов. Струя оживления пробежала в зале, — и вдруг настала тишина, да такая жадная, трепетная тишина, что нервным людям даже сделалось жутко. Мотовилов говорил:

— Поздравляю вас, дети, с окончанием вашего годичного труда. При этом не могу не высказать вам моего наблюдения: я замечаю на ваших лицах отпечаток грусти. Не стану расспрашивать вас о причинах этой грусти, так как она касается отчасти и нас самих. Мы не видим в своей среде вашего учителя и нашего сотоварища, Алексея Иваныча Молина. Я не имею права вдаваться в обсуждение причин, по которым мы его здесь не видим. Но общественное мнение громко говорит об его невиновности, — и мы уверены, что закон и общественная совесть снимут с него пятно, возводимое обвинением. Мы можем надеяться, что снова увидим Алексея Иваныча в своей среде таким же, каким он был и прежде, полезным деятелем. Прощайте, дети! Идите по домам!

Все зашевелились. Задвигались стулья. Ученики расходились со своими родителями. Гости шумно заговорили. Какая-то барышня спрашивала:

— Только-то и было?

Многие были разочарованы, — ждали большего. Казначей говорил:

— Да, это не того, — перцу мало. Надо было этого Шестова хорошенько пробрать.

Исправник заступился за Мотовилова:

— Нет, братцы, он все-таки молодец, енондер-шиш, за словом в карман не полезет.

— И гладко стружит, и стружки кудрявы, — сказал Дубицкий.

Крикунов был вполне доволен: глазки его весело горели, и он злорадно посматривал на Шестова. Мотовилова окружили: поздравляли, горячо восхваляли речь. Он сиял и самодовольно говорил:

— Я, господа, на правду черт. Я нараспашку, говорю по-русски, режу правду-матку.

Приглашал оставаться на завтрак. Для завтрака очищали место в этой же зале: несколько учеников относили стулья в сторону, сторожа волокли столы, составляли их вместе, покрывали скатертями. Когда лишний народ вывалился, стало свежее и прохладнее. С улицы доносились веселые детские крики, птичий писк и струи теплого воздуха.

— Вы останетесь? — спросил Шестов у Логина.

— Не имею охоты, — улетучусь незаметно.

— Ну и я с вами уйду.

Но не удалось уйти незамеченными: Крикунов бегал по училищу в хлопотах и попыхах и наткнулся на них, когда они разыскивали пальто.

— Василий Маркович! Егор Платоныч! Голубчики, куда же вы?

— Извините, Галактион Васильевич, не могу, — решительно сказал Логин.

— Помилуйте, да как же можно! Обидеть нас хотите. Да вы посидите хоть немножко.

— Душой бы рад, да некогда, не могу! Уж простите.

— Да нет, я вас не пущу. А вы, Егор Платоныч, да вам-то уж и совсем нельзя: ведь вы здесь свой, — как же это можно!

Шестов сконфузился и покраснел.

— Нет уж, я уж не могу, извините, — лепетал он и теребил пальто.

— Ну полно, полно, снимайте пальто! — все решительнее говорил Крикунов.

Шестов уже было повернулся к вешалке. Бросал умоляющие взгляды на Логина.

— Мое почтение, Галактион Васильевич, — решительно сказал Логин и пожал руку Крикунова. — Пойдемте, Егор Платоныч, — сказал он Шестову тем же решительным голосом, взял его под руку и быстро пошел к выходу.

Шестов обрадованно вздохнул. А Крикунов канючил им вдогонку:

— Ну как же это можно! Эх, господа, что ж вы делаете!

Шестов весело смеялся: чувствовал себя в безопасности.

Логин говорил, когда вышли на улицу:

— Не будь меня, пришлось бы вам провести нсколько часов в осином гнезде!

— Да, что поделаешь, такой уж у меня характер, не могу отказываться.

— А вы и не отказывайтесь, если не можете: вы только делайте по-своему.

— Да, — жалобно протянул Шестов, — не очень-то это просто.

— Что там не очень! Вы меньше думайте о том, что о вас думают, да как на вас смотрят, а сами внимательнее посматривайте да послушивайте. Вот, хотите, я вам речь Мотовилова на память повторю?

Логин повторил речь от слова до слова. Шестов сказал:

— У вас отличная память!

— Просто развита привычка останавливать внимание на данных предметах, а остальное на это время выкидывать из головы, чтоб не развлекаться. Да вы никак трусить начинаете?

— Да нет, я ничего.

— Ах, юноша, давно пора выбрать: или полная покорность, или полная независимость, — конечно, в пределах возможного: или мокрая курица, или человек, как надо быть. Ведь вокруг вас все такая дрянь!

В зале училища стол украсился винами и водкою. Принесли пирог с курицею. Гости уселись за стол. Рюмки быстро опрокидывали свое содержимое в непромокаемые гортани. В соседней комнате хор учеников отхватывал народные песни.

Мотовилов медленно обвел стол глазами и спросил:

— А где же молодой учитель, господин Шестов?

— Ушел, не пожелал разделить нашей трапезы, — смиренно ответил Крикунов.

— Вот как!

— Да-с, и господин Логин тоже не пожелали остаться, — докладывал Крикунов, — они-то, собственно, и изволили увлечь нашего сослуживца.

— А что, господа, — говорил отец Андрей, — вот сейчас Алексей Степаныч изволил выразить надежду на то, что мы снова увидим в нашей среде Алексея Иваныча. Когда еще его формально оправдают, а я думаю, ему горько сидеть теперь дома, когда его друзья собрались в этих стенах, где он, так сказать, был сеятелем добра. Так не утешить ли нам его, а?

— Да, да, пригласить сюда, — поддержал Мотовилов. — Я думаю, это будет справедливо: если он не мог участвовать в официальной части, то мы все-таки покажем ему еще раз, как мы его любим и ценим. Как, господа?

— Да, да, конечно, отлично! — послышалось со всех сторон.

— Это будет доброе дело, — сказал Моховиков, — наше внутреннее сердце скажет это каждому.

— Так уж вы распорядитесь, Галактион Васильевич, — обратился Мотовилов к Крикунову, — он ведь и недалеко живет, а мы подождем со следующими блюдами.

Крикунов суетливою побежкою устремился к сторожам, послать за Молиным. Общество опять радостно оживилось: ждали Молина, как дети гостинца. Он явился так скоро, как будто ждал приглашения, — Крикунов послал за ним коляску Мотовилова. Молин был одет не без претензий на щегольство. На толстой шее белый галстук с волнистыми краями и с вышивкою; новенький сюртук хомутом; пахло от Молина — кроме водки — помадою.

Гул приветственных восклицаний. Молин обходил вокруг стола, неуклюже раскланивался, пожимал руки и не без приятности осклаблял рябое лицо. Мямлил:

— Утешили! Сидел один и скучал. Признаться откровенно, — хоть и стыдно, — всплакнул даже.

— Ах, бедняжка! — восклицали дамы.

— Стыжусь сам, знаю, что раскис, да что делать с нервами? Расшатался совсем, — сижу и плачу. Вдруг зовут! Воскрес и лечу! И вот опять с друзьями!

— С друзьями, Лешка-шельма, с друзьями! — закричал Свежунов и обнял Молина, — ничего, не унывай, действуй в том же направлении!

— Поздравляю, енондер-шиш, — говорил исправник, — вас любят в обществе, — это умилительно!

Всякий старался сказать Молину что-нибудь утешительное, приятное. Его посадили к дамам, кормили пирогом, подливали то водки, то вина. А мальчишки задували себе развеселые песни. В антрактах пили чай, ели сладкие булки, — все от щедрот Мотовилова.

Раздался стук ножа по стакану. Кто-то крикнул:

— Т-с! Алексей Иваныч хочет говорить!

Все замолчали. Молин поднялся и начал раскачиваться в ту сторону, где Мотовилов. Заговорил:

— Алексей Степаныч! Вы для меня сделали, прямо скажу, благодеяние. Ну, я человек не хитрый, красно говорить не умею, — что чувствую, прямо, по-мужицки, по-простецки... Да что тут говорить! Эх, прямо сказать: спасли! Дай вам Бог! На многая лета! За здоровье Алексея Степаныча, — ура!

Все закричали, повскакали с мест, чокаться. Мотовилов и Молин обнимались, целовались.

После завтрака вытащили фисгармонику, под звуки которой распевали ученики, и пустились танцевать, — шумно, с хохотом, шалостями, вознею: кавалеры кривлялись и неровно подергивали дам, дамы взвизгивали. Две бойкие барыньки овладели застенчивым юношею, сельским учителем. Он не умел танцевать; ему дали даму, сказали, что танцуют кадриль, и стали перепихивать его из рук в руки. Юноша горел от смущения и неловко топтался. Было весело и пьяным, и трезвым.

В антрактах между танцами мальчуганы продолжали крикливый концерт. Им любопытно было посмотреть на веселые танцы: они не скучали и с удовольствием глотали пыль, летевшую в их наивно открытые ртишки. Их щеки горели, глаза смеялись. Их регент, дьякон, тоже подвыпил. Пришел в благодушное настроение и не теребил певчих. Во время пения и во время танцев одинаково бестолково махал руками и добродушно покрикивал:

— Ах, мать твоя курица! Но, но, миленькие, валяй напропалую! Во что матушка не хлыстнет!

Пожарский и Гуторович ходили обнявшись и напевали легкомысленные песенки.

Крикунов тоже раскис, без устали молол жиденьким, гаденьким голосенком сальные анекдотцы и замазывал их рыхлым смешком. Оказалось, что запас этой дряни у него велик. Память у него была хороша, особенно на мелочи и пустяки.

Молин, опьянелый от водки и от избытка чувств, подходил к певцам, целовался с ними, мямлил трогательные слова. При этом детские лица делались испуганными, каменели. Кому приходилось целоваться, открывали глаза, вытягивали губы, принимали глупый, оторопелый вид; потом обдергивали блузы, виновато озирались, смущенно крутили пальцы, а носы их против воли морщились от противно-перегорелого запаха водки и от того особого тепловато-аптечного аромата, которым был пропитан Молин, как все эти мужчины, которые, подобно ему, вечно возятся с лекарствами против секретных болезней.

От мальчиков Молин переходил к девицам и непослушным языком говорил неповоротливые любезности. Валя вздумала пококетничать. Это разлакомило и разнежило Молина. Охватил ее талью потною рукою. Она с громким хохотом отстранилась. Молин вдруг запустил широкую лапу за лиф Валина платья. Лиф затрещал. Валя неестественно громко взвизгнула. Ее голос покрыл все звуки шумного веселья. Убежала в другие комнаты чиниться. Молин было за нею. Удержали.

Молин еще долго путешествовал из комнаты в комнату. Наконец ослабел, рухнул в зале на пол и мгновенно заснул. Гомзин говорил сторожу, тоже сильно пьяному:

— Послушай, Михей, ты ему подушку достань.

— Нет у меня теперь подушки, — отвечал Михей.

— Ну вот! Ты сходи к Галактиону Васильевичу и спроси, — убеждал Гомзин.

— Какая теперь подушка! — резонно говорил Михей, — разве можно им теперь подушку подложить? Голова у них теперь тяжелая! Разве можно их теперь беспокоить? Бог с ними, пусть выспятся.

— Так нельзя, ты говоришь? — спросил Гомзин.

— Известно, нельзя. Сами изволите знать, — человек тяжелый, как им теперь подушку? Да помилуйте, да так им много лучше, потому в прохладе.

Мальчишки затянули: «На заре ты ее не буди». Кто-то догадался наконец прогнать их по домам.

## Глава тридцать третья

Днем, когда Шестова не было дома, пришел Молин. На звонок отворил Митя. Молин спросил:

— Дома Шестов?

Мальчик опасливо посмотрел и ответил:

— Нет его. Мама дома.

Молин вошел в гостиную, сел на кресло. Митя пошел за матерью в кухню. Молин от нетерпения топал ногами. Наконец пришла Александра Гавриловна; ее лицо раскраснелось от кухонного жара. Молин не встал и не здоровался. Хрипло сказал:

— Деньги принес за квартиру.

Александра Гавриловна села в другое кресло. Спокойно ответила:

— Напрасно беспокоитесь, — мы могли бы и подождать: может быть, вам теперь нужны деньги.

Митя стоял в соседней комнате. Выглядывал из дверей. Был в старенькой блузе, босиком.

— Ну, уж это не ваше дело, — сказал Молин, — принес, так берите.

— Как угодно.

— Да вы мне расписку дайте.

— Митя! — позвала Александра Гавриловна, — принеси чернильницу и бумагу.

— Сейчас, — откликнулся Митя и скрылся.

— А то скажете, что не получали.

— Это уж вы напрасно.

— Нет, не напрасно, знаю я вас, черт вас возьми! — запальчиво закричал Молин.

Митя принес лист почтовой бумаги и стеклянную чернильницу репкою на деревянном блюдце и с пробкою с оловянным верхом. Не ушел, остался у стола. Отнял с той половины стола, где сидела мать, вязаную скатерть, чтоб мелкие дырочки не мешали писать. Молин вытянул ноги и тяжелым каблуком надавил Митину ногу. Митя покраснел и тихо отошел, стараясь, чтобы мать ничего не заметила. Александра Гавриловна спросила:

— Потрудитесь сказать, что я должна написать.

Молин диктовал, злобно ухмыляясь:

— Пишите: получила за квартиру десять рублей от каторжника Алексея Молина.

Александра Гавриловна написала первые слова и с удивлением поглядела на Молина.

— Ну да, вы хотели меня на каторгу послать, вот и пишите.

— Ну уж этого я, воля ваша, не напишу: вы толком скажите, что дальше писать.

Молин настаивал и возвышал голос:

— Нет, вы пишите, что от каторжника!

Митя вмешался:

— Пиши, мама: от Алексея Иваныча Молина, потом число сегодняшнее и подпись. Вот и все.

Александра Гавриловна отдала расписку Молину. Прочел, злобно усмехнулся, положил расписку в боковой карман измятого, пыльного сюртука и потянулся в кресле.

— Так-то, Александра Гавриловна, удружили вы мне!

Александра Гавриловна вздохнула и сказала:

— Ну, еще кто кому удружил, неизвестно.

— Вы мне не все вещи отдали.

— Уж этого не знаю: вы потребовали, чтоб ваши вещи отправили к отцу Андрею, и сами не пришли, — ну, Егорушка все вещи к нему и отправил.

— Одной колоды карт нет, — угрюмо настаивал Молин.

— Уж это вы спросите у Егора, — я не знаю.

— Прикарманили. Да вы у меня, может быть, и еще что-нибудь слимонили, из ношебного, для сынка для вашего, оборвыша.

— Вы забываетесь, Алексей Иваныч. Вы пришли, когда я одна...

— Ты не одна, мама, — сказал Митя.

Смотрел на Молина, и на лице его была гримаска отвращения и досады. Мать положила руку ему на плечо. Сказала:

— Ох уж ты!

Молин злобно засмеялся.

— Да я и денег передал что-то уж очень много. Сомневаюсь я, — что-то уж очень начетисто. Обакулили меня.

Молин еще больше развалился в кресле и положил ноги на диван.

— Да что вы, батюшка, — укоризненно сказала Александра Гавриловна, — белены объелись? Опомнитесь, постыдитесь!

— Грабители! черти проклятые! — бурчал Молин.

Митя задрожал в руках матери. Рванулся вперед. Крикнул звонко:

— Как вы смеете так себя вести! Уберите ноги с дивана! Сейчас уберите и уходите вон. Вы нарочно пришли, когда Егора дома нет, чтоб здесь накуражиться. Уходите, или я вас в окно выброшу.

Молин встал и глядел на мальчика злобно и трусливо. Александра Гавриловна тянула Митю за плечи назад и шепотом унимала его. Митя отбивался.

— Оставь, мама, он — трус, он только куражится. Он не посмеет драться.

Молин сделал плаксивую гримасу, подставил Мите лицо и жалобно сказал:

— Ну что ж, ругайте меня, бейте, плюйте мне в лицо, я ведь каторжник, меня можно.

— А не хотите уходить, — говорил Митя, — я пошлю за Егором, вы с ним и объясняйтесь, а маме не смейте дерзостей делать. Ждите, коли хотите, и сидите смирно.

— Да, как же, я буду Егора Платоныча ждать, а вы бранить будете, еще в угол поставите! Нет, черт с вами, уж я лучше уйду. Прощайте, благодарю за ласку.

Молин круто повернулся и пошел к выходу. В дверях он зацепил локтем за косяк, — руки он держал растопыренными из чувства собственного достоинства. С треском вывалился из комнаты, повозился в передней, ощупал выходную дверь, громко захлопнул ее за собою и тяжко загрохотал сапогами по лестнице. Со двора в открытые окна доносились его громкие ругательства и чертыханья.

— Ах ты, Аника-воин! — говорила Мите мать. — Вот подожди, нажалуется он Мотовилову — достанется тебе на орехи.

— Как же это?

— А так: позовут тебя в гимназию, высекут так, что до новых веников не забудешь, да и выгонят.

— Ну, этого не могут сделать.

— Не могут? А кто им запретит? Очень просто, возьмут да и попарят сухим веником.

— Ах, мама, какие ты говоришь... Этого и в правилах нет.

— Они в правила смотреть не станут, а посмотрят тебе под рубашку, да и начнут блох выколачивать. Вот ты и будешь знать, как звать кузькину мать. Знаешь: с сильным не борись, с богатым не судись.

На другое утро к Шестову явились Гомзин и Оглоблин. Торжественный вид и помятые лица: пьянствовали всю ночь. Хриплыми с перепою голосами осведомились, дома ли Шестов. Шестов услышал их, вышел в переднюю. Обменялись торопливыми рукопожатиями. Гомзин, сердито сверкая зубами, сказал:

— Мы к вам по делу.

Оглоблин молча покачивался жирным телом на коротеньких ногах. Шестов пригласил их в кабинет. Гомзин и Оглоблин уселись, помолчали, потом взглянули один на другого, оба разом сказали:

— Мы...

И остановились и опять переглянулись. Шестов сидел против них с опущенными глазами, то раскрывая, то закрывая перочинный нож о четырех лезвиях, в белой костяной оправе.

Наконец Гомзин сказал:

— Мы пришли от Алексея Иваныча.

— Послушайте-ка, — вдруг заговорил Оглоблин, — дайте-ка нам по рюмочке пользительной дури.

Гомзин строго взглянул на него. Шестов встал.

— И если б можно, — продолжал умильным голосом Оглоблин, — чего-нибудь кисленького: соленого огурчика, бруснички.

— Да, именно, бруснички, — оживился вдруг Гомзин, и белые зубы его весело улыбнулись, — голова что-то побаливает.

— Знаете, начокались, — пояснил Оглоблин.

Шестов постарался придать себе любезный вид и отправился за водкою. Когда он вышел, Гомзин сказал вполголоса:

— Пить у него не следовало бы: всячески говоря, он — подлец.

Оглоблин лукаво усмехнулся и сказал:

— Да что ж, голубчик, по мне, пожалуй, хоть и не пить. Ну его к черту, в самом деле!

— Ну теперь уже, раз что просили, надо по рюмке...

Шестов вернулся, сел на свое место. Сказал:

— Сейчас принесут.

— Нас прислал Алексей Иваныч, — объявил Гомзин. — Вы писали ему вчера письмо.

Шестов вдруг вспыхнул и заволновался. Сказал:

— Да, писал и почти жалею об этом.

— Так и передать прикажете? — насмешливо спросил Оглоблин.

— Нет, это я собственно для вас, а что касается письма...

В передней хлопнула наружная дверь, зашлепали босые ноги, от сильного удара локтем отворилась дверь комнаты, — и вошла Даша, растрепанная девушка с глупым лицом, в грязном ситцевом платье. В одной руке у нее была бутылка водки, в другой она держала подносик, жестяной, покоробленный, с расколупанною на нем картинкою.

На подносике стояли тарелочка с селедкою и тарелочка с моченою брусникою с яблоками. Все это установила она на зеленом сукне письменного стола, вылетела из комнаты, вернулась через полминуты с тремя рюмками, двумя ложками и вилками, со стуком поставила все это на стол и скрылась. Шестов и его гости в это время молчали.

— Я вчера писал Алексею Иванычу, — заговорил Шестов, — мне кажется, довольно определенно. Что же намерен он теперь сообщить мне?

— Он очень сердится, — ответил Оглоблин. — Рвет и мечет.

— Да, он весьма раздражен, — подтвердил Гомзин.

— Ну, мне кажется, — сказал Шестов, — сердиться и раздражаться скорее я имею право.

Гомзин наставительно стал объяснять:

— Вы должны были иметь в виду, что он теперь так взволнован и огорчен. Вполне естественно, что он сказал что-нибудь резкое. Но он положительно говорил нам, что не сказал ничего оскорбительного.

— Решительно ничего оскорбительного, — подхватил Оглоблин. — Однако, не выпить ли хлебной слезы?

— Налейте, — отрывисто сказал Гомзин и спросил Шестова: — Мы не понимаем, чем же вы недовольны?

Оглоблин налил все три рюмки, взял одну, стукнул ею по краям двух других, потом крикнул:

— Сторонись, душа, оболью!

И выпил. Широкою ладонью обтер губы, зацепил на ложечку брусники и сказал:

— Ну, господа, что ж вы? Не отставайте.

Гомзин выпил, сделал такое лицо, как будто проглотил гадость, и пробурчал:

— Этакий сиволдай!

Он потянулся за брусникою.

— Вы не понимаете? — сказал Шестов. — Он в моей квартире вел себя безобразно. Я ему это и написал.

— Нет, позвольте, — сердито возразил Гомзин, — вы должны сказать, чем вы оскорбились. Иначе, помилуйте, что же это будет?

— Да, конечно, — сказал Оглоблин, — нам надо знать, мы все-таки по поручению... ну, и все такое. А то что ж пороть горячку из-за пустяков.

— Да вы какое именно поручение имеете? — досадливо спросил Шестов.

— Да вот, — объяснил Гомзин, — Алексей Иваныч очень раздражен и желает получить от вас объяснение письма.

— Какое ж ему объяснение? Ведь он оскорбил, а не я.

— Да что тут валандаться! — решительно сказал Оглоблин, — вы на дуэль вызываете?

«А что, — подумал Шестов, — желаю ли я с ним драться, с этим?.. Фи, гадость какая!»

Брезгливо поморщился и ответил:

— Это, кажется, понятно. Уж это от него зависит принять вызов, или извиниться, или еще что выбрать.

— В таком случае, — сказал Гомзин, — нам необходимо знать, что именно вы считаете оскорбительным.

Шестов опустил глаза. Стало совестно рассказывать о вчерашней грубой сцене. Сказал:

— Я просил Василия Марковича Логина принять на себя в этом деле переговоры, — прошу вас к нему обратиться.

Гомзин и Оглоблин переглянулись.

— Ну, этого мы не можем сделать, — сказал Гомзин, — мы еще не получили полномочий.

— Зачем же вы пришли? — спросил Шестов.

Взволнованно заходил по комнате.

— Да нам, собственно, надо знать, в чем именно...

Шестов говорил бешено-тихим голосом.

— В том именно, что он вчера пришел, когда меня не было, сел на кресло, положил ноги на диван и говорил оскорбительные слова моей тетке. Понятно?

— Позвольте, — сказал Оглоблин, — что ж такое? Ну, он вчера выпил лишнее, ну что ж из того.

— Надеюсь, однако, что вы теперь имеете что сказать Алексею Ивановичу, а о прочем обратитесь к Василию Марковичу.

— Хорошо, мы это передадим, — говорил Гомзин, — но еще раз говорю, что Алексей Иваныч раздражен. Впрочем, я уверен, что теперь он снабдит нас достаточными полномочиями. Поэтому я посоветовал бы вам поспешить окончить это дело. Алексей Иваныч шутить не любит. Так вот, мы предлагаем вам взять письмо назад.

— Господа, я просил бы вас прекратить: ведь уж все сказано.

— В таком случае имею честь...

Гомзин церемонно раскланялся.

— Имею честь... — также церемонно повторил Оглоблин и вдруг прибавил: — А вы вашей рюмки так и не выпили? распоясной-то? Вы, может быть, по утрам не употребляете этого крякуна? Я ведь также, но...

— Константин Степаныч! — строго позвал Гомзин.

Он стоял уже в дверях.

— Сейчас, сейчас. Но, видите ли, опохмелиться. Так уж я вашу хлобысну.

— Ну, однако, это черт знает что, — проворчал Гомзин. — Послушайте, Константин Степаныч!

Оглоблин придержал рюмку у рта.

— Ась? — откликнулся он.

— Ну чего же один лакаешь, свинья! — энергично выругался Гомзин. — Налей и мне за компанию.

— Это дело, — похвалил Оглоблин.

Он налил Гомзину и поучительно сказал:

— Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе.

Друзья выпили и закусывали. Шестов угрюмо смотрел на них.

— Хорошая брусника! — похвалил Оглоблин.

— Эге! — отозвался Гомзин.

Оглоблин опять обратился к Шестову:

— Право, оставили бы, голубчик. Эх, чего там задираться! Возьмите назад письмецо, — вот мы его с собой приволокли. Ась, возьмете?

Оглоблин ласково всовывал в руки Шестова письмо, которое вынул из кармана. Шестов молча отстранился.

— Ну, как знаете. А только он очень сердится.

Распрощались, ушли.

В тот же день к вечеру Вкусов посетил Логина и объявил ему, что дуэли не допустит.

## Глава тридцать четвертая

Нета стояла на одном конце качельной доски, Андозерский на другом. Качались. В этом неудобном положении Андозерский успел объясниться в любви — и получил отрицательный ответ.

— Остановите качели, — сказала Нета.

— Я люблю вас, — повторил Андозерский.

Он стал поддавать слабее, но не останавливался.

— Жалею вас, — насмешливо сказала Нета.

Держась за веревки и качаясь, они перекидывались отрывочными восклицаниями.

— Все бы отдал, — страстно восклицал он.

— Пустите! — гневно крикнула Нета.

— Добьюсь любви.

— Довольно!

— Любовь — великая сила.

— Пустите!

— Вы будете моею.

Нета вдруг сильно взмахнула качели. Она и Андозерский стояли с раскрасневшимися щеками и горящими глазами и все сильнее подбрасывали ногами доску, словно состязаясь в дерзании.

— Ты будешь моею!

— Никогда!

Замолчали. Качель взлетала так высоко, как только позволяли веревочные подвесы. Большие зубцы гипюрового воротника развевались и били Нету по лицу. Вдруг Андозерский заметил, что Нета сильно побледнела; ее глаза загорелись; вся она подвинулась к одному краю доски и как-то странно перебирала руками.

«Спрыгнет!» — догадался Андозерский.

Сильным напряжением задержал взмахи качелей. Нета сделала движение, но прежде, чем успела приготовиться к прыжку, уже Андозерский стоял на земле и удерживал доску. Нета сделала шаг к середине доски, Андозерский схватил ее за талью, снял с доски и поставил на землю. Нета тяжело дышала. Повторила:

— Никогда!

— Увидите! — ответил он.

Она отвернулась, хотела уйти. Он опять схватил ее. Губы его почти касались ее щеки. Но она вывернулась и убежала.

«А, эта не уйдет!» — подумал Андозерский.

Отправился в дом и отыскал хозяина. Их беседа в кабинете Мотовилова была недолга. Минуты через две Мотовилов вышел, а Андозерский остался. Потом Мотовилов пришел с Марьею Антоновною.

Когда Андозерский уходил, у него был вид победителя.

— Садись и слушай, — сказал Мотовилов Нете, когда она вошла в кабинет.

— И благодари отца, — прибавила Марья Антоновна.

Нета села на рогатом стуле, зацепилась пышным бантом кушака и стала освобождать его. Не любила этой комнаты с неуютною мебелью.

«Сидел бы сам!» — думала про отца.

А Мотовилов очень удобно развалился на низеньком диване. Рядом важно торчала его коротенькая жена.

— Так вот, мать моя, — сказал Мотовилов дочери, — тебе счастье, — в генеральши метишь.

— Не имею ни малейшего желания, — капризно ответила Нета.

— Я имею сообщить тебе приятную для нас, твоих родителей, новость: Андозерский просит у нас твоей руки.

— Совершенно напрасно хлопочет! — решительно сказала Нета.

Мотовилов строго посмотрел на нее, а Марья Антоновна сказала наставительно:

— Не капризничай, Нета, — он прекрасный молодой человек.

— И на такой хорошей дороге, — подхватил Мотовилов.

— Да я уж люблю другого, — сказала Нета.

— Вздор, мать моя! Выкинь дурь из головы: за Пожарским тебе не бывать!

— А за Андозерского я не пойду!

— Слушай, Нета, — внушительно сказал Мотовилов, — я тебе серьезно советую, — подумай!

— Подумай, Нета, — сказала Марья Антоновна.

— А иначе тебе худо будет. Я из тебя дурь выбью, не беспокойся. И актеру не поздоровится.

Нету подвергли беспрестанному домашнему шпынянью. Отец призывал ее раза по два на день в кабинет и читал длинные наставления, — должна была стоять и слушать.

— Я устала, — сердито сказала она во время одного такого выговора.

— Ну так стань на колени! — прикрикнул отец.

И ей пришлось еще долго слушать его, стоя на коленях.

Мать пилила понемножку, но почаще. Юлия Степановна подпускала шпильки. Видеться с Пожарским Нете не удавалось, — но сумела-таки переслать ему записку.

Дня через два Пожарский явился утром и попросил доложить Алексею Степановичу. Горничная, молоденькая, смазливая девушка, вся красная и крупная, рыжеволосая, краснолицая, в красной кофточке и белом переднике, с красными большими руками и с красными ногами, принесла ответ: не могут принять. Пожарский сказал:

— Скажи Алексею Степановичу, что по важному для него делу.

Горничная пошла неохотно. Пожарский вынул из кармана визитную карточку и карандашом написал:

«Дело у меня несложно, не хотите выслушать, так я словесно передам через кого-нибудь, — только, может быть, вы пожелаете избегнуть огласки; дело щекотливое, и огласка ваши же планы расстроит».

Горничная вернулась и сказала, ухмыляясь, словно радуясь чему-то:

— Извиняются. Никак не могут.

— Ну так передай вот это.

Через минуту горничная опять вышла к Пожарскому. Красное лицо ее досадливо хмурилось. Она сказала:

— Просят пожаловать.

— Давно бы так, — проворчал Пожарский.

Мотовилов ждал в кабинете. Тщательно припер двери. Спросил сухо:

— Чему обязан?

— Многоуважаемый Алексей Степанович! — торжественно сказал Пожарский. — Имею честь просить у вас руки вашей дочери, Анны Алексеевны.

— Вы только за этим явились?

— А это от ответа зависит.

— Ответ вам известен, — резко сказал Мотовилов.

Пожарский нахально улыбался. Сказал:

— С тех пор обстоятельства изменились, и потому я беру смелость...

— Ваши обстоятельства?

— Нет, не мои лично.

— Я уже говорил вам, — начал было Мотовилов.

Пожарский развязно перебил его:

— Поверьте, Алексей Степаныч, будет лучше, если вы согласитесь.

— Одним словом, это окончательно.

— В таком случае я должен вам сказать, — хотя и с прискорбием, — что, прося теперь руки вашей дочери, я только исполняю долг честного человека.

— Что? — крикнул Мотовилов.

Побагровел.

— Увы! — вздохнул Пожарский, — «в ошибках юность не вольна!» Это и есть обстоятельство...

— Это — ложь! гнусная ложь!

— Могу доказать...

После нескольких минут бурного разговора Пожарский очутился на улице. Растерянно думал:

«Досадно! Кремень человек! Не ждал я того, — только напрасно поклеп взвел на мою Джульетту. Как бы ей перечесу не задали!»

Посетил Андозерского, и также неудачно. Андозерский поверил, но сделал вид, что не верит. Видно было, что не отступится.

Нете поклеп Пожарского обошелся дорого. Отец призвал ее. Бешено раскричался. Нета ничего не понимала и не могла оправдываться. Ее ответы казались отцу признаниями. Свирепел все более. Его крики наполняли весь дом. Надавал Нете пощечин. Нета горько рыдала. Наконец Мотовилов устал. Вспомнил, что надо рассказать жене. Выпил воды. Прошелся по кабинету. Сказал:

— Ты, матушка, в могилу меня уложишь. Но ты еще у меня в руках. Иди к себе и жди березовой каши.

Нета ушла. Мотовилов и Марья Антоновна долго разговаривали. Потом Марья Антоновна пошла к дочери.

Нета сидела одна. Неутешно плакала. Не сомневалась, что отец исполнит угрозу. Но все не могла понять, что случилось. Мать долго сидела с нею.

Наконец Нета сказала:

— Он — негодяй!

Ее глаза засверкали.

Марья Антоновна пошла утешить мужа. Мотовилов сказал:

— Ну и слава Богу! Я очень рад. А все-таки Нета виновата, и уж как ты хочешь, а я ее накажу. Уж очень она норовитая. Выбрала, кого любить, нечего сказать.

Нету опять позвали к отцу.

К вечеру в городе уже звонили, что Нету высекли. Молин был в восторге. Радостно рассказывал друзьям. Сочинял глупые и пошлые подробности. Веселились, — Гомзин стучал великолепными зубами. Биншток хихикал.

## Глава тридцать пятая

Каждое утро Логин просыпался мрачный, хмурый. В стенах его квартиры было знойно. Румяный, рыжеволосый мальчуган, который привиделся в то несчастное утро, сделался так телесен, что начал отбрасывать тень, когда стоял в лучах солнца. Но стоило подумать об Анне, — и мальчуган исчезал, словно его не было.

Припоминались дела последних дней, свои и чужие. Жестокий яд злой клеветы все больнее жег сердце. И уже Логин знал, от кого идет клевета. И дела чужие, — негодование, презрение кипели над воспоминаниями о них.

Со всеми злыми думами и воспоминаниями связывался один ненавистный образ — Мотовилова. Злоба к Мотовилову подымалась, как дьявольское одержание, и мстительное чувство яростно боролось с внушениями рассудка. Напрасно припоминал заветы прощения. Напрасно приводил себе на память Аннины ясные глаза. Негодование владычествовало над памятью, и Анна припоминалась негодующая, и слышались ее страстные слова:

— Вот человек, который не имеет права жить!

Жажда мщения томила, как жажда, томящая в пустынях. Тяжело было думать, что Мотовилов, это ходячее оскорбление, этот воплощенный грех, еще живет, и дышит одним воздухом с Анною, и отравляет этот воздух гнилыми речами. Иногда Логин представлял себе, что Мотовилов обидит или оскорбит Анну, — и острая боль пронизывала его.

«Но и я не такой ли, как Мотовилов?» — спрашивал он себя и строго судил свое отягощенное пороком прошлое.

«Надо отделаться от ненавистного прошлого, убить его! Остаться жить с одною чистою половиною души. Эта жизнь невозможна. Исход, какой бы то ни было. Хотя бы мучительный, как пытка или казнь».

Чем больше думал об этом Логин, тем сильнее в нем бушевала злоба, страшная ему самому, дикая, зверская, — и тем невыносимее было это состояние, тем повелительнее требование исхода. Это будет, быть может, что-нибудь жестокое, — Логин не знал, что именно, даже не думал об этом и боялся думать, — но чувствовал все сильнее необходимость исхода.

Порою воспоминание доверчивых Анниных глаз навевало успокоение, — и в душе был праздник и рай. Но быстро пролетали светлые минуты, — приходил другой человек, мстительный, злобный, и горько жаловался на свои обиды.

И после каждого светлого промежутка все ненавистнее становился Логину этот его другой человек, все тягостнее была его злоба.

Необходимо было покончить с этим, отделаться от печальной необходимости быть двойным.

Видя его мрачную задумчивость, Леня иногда говорил:

— Пора бы вам сходить к Ермолиным. Книжки-то вы, поди-ка, все прочли, так перечитать и потом успеете.

Логин улыбался и отвечал:

— Твое ли это дело, Ленька?

— Отчего же не мое? — отвечал Леня.

Логин шел к Ермолиным. Думал дорогою, под надоедливое стрекотание кузнечиков, что надо поговорить с Анною и сказать ей, что он не стоит ее, сказать ей, чтоб она его забыла. Если не заставал ее дома, шел искать ее в поле, в деревне, на мызе, хоть и знал, что найдет ее за делом и, может быть, помешает.

Но едва завидит ее издали, — и забываются мрачные мысли. Другим человеком подходил к ней, — пробуждался доверчивый, кроткий Авель, а угрюмый Каин прятался в тайниках души. Но чуткая Анна различала холодное дыхание Каина в безмятежно-нежных речах Логина и тосковала. Она томилась мыслью: как растаять лед? как умертвить Каина? как восстановить в смятенной душе Логина немеркнущий свет святыни? Надо ли принести жертву?

И она решилась принести жертву, а горькие сомнения не оставляли ее: полезна ли будет жертва? не разнуздает ли она зверя?

Говорили они о многом, о своей будущей жизни, о городских делах. В городе разгорелась холера. Народ глухо волновался. Все раздражало невежественных людей: санитарные заботы — и яркая звезда, холерный барак — и освобождение Молина, клеветы на Логина — и толки о земских начальниках. Усилилось пьянство, в трактирах и на улицах происходили драки. Из людей зажиточных иные стали выбираться из города: боялись холеры, боялись и беспорядков.

Анна пришла вечером к отцу, опустилась перед ним на колени и доверчиво прижалась к нему. В лучах зари лицо ее рдело, и лежало на нем неопределенное, вечернее выражение, счастливая грусть. Ее волосы были распущены, ноги не обуты, и белое платье, простое,

как туника, ложилось широкими складками. Сладкий запах черемухи вливался в открытые окна.

— Так-то, мой друг, решила ты свою судьбу, — тихо сказал Ермолин.

— Да. И жутко сначала. Точно купаешься о полночь, и не видно берега.

— Не утонуть бы вам обоим.

Щеки у Анны вспыхнули.

— Не беда! У него нет устоев, он может погибнуть без пользы и без славы. Но в нем и великие возможности. Мы с ним всхожие.

— А будешь ли ты с ним счастлива?

Анна кротко улыбалась и смотрела снизу в глаза отцу. Сказала:

— Будет горе, — так мы и с горем проживем. Ты приучил меня не бояться того, чего боятся слабые.

— Горе жизни, милая, пострашнее, чем босою по снегу походить или от боли под розгами пореветь.

— Поборемся, — тихо отвечала Анна.

Нежно улыбалась, а из глаз ее медленно падали крупные слезы.

Поздно вечером у Логина в кабинете сидел Баглаев. Перед ними стояла батарея бутылок, пустых, полных, недопитых. Баглаев боялся холеры и потому усиленно пьянствовал. Настроение Логина было под стать попойке. Было что-то фантастическое в том, что маячило перед глазами Логина. Небольшая комната казалась облитою красным заревом. Раскрасневшееся Юшкино лицо смотрело пьяно и бессмысленно. Логин чувствовал, как мучительно бьется кровь в висках, как мучительно кружится голова. Юшка лепетал коснеющим языком:

— Ну да, я знаю, что я — свинья! И даже хуже, — просто блоха паскудная, ничтожная тварь. Зато за мной и художеств больших нет: на блохе и блохи маленькие. Пьяница, — и все тут! А ты, — у тебя, брат, совесть нечиста. Ты — гордый и слабый человек! На грош амуниции, на рубль амбиции! Ты все фокусы выкидываешь, ты для фокуса рад человека убить!

— Заврался, любезный! — угрюмо сказал Логин.

— Нет, брат, Юшка не заврался! Юшка Баглаев не дурак! И, может быть, и заврался, но все равно как и не заврался. Ты не любишь никого, тебе все гнусно, ты нас, брат, презираешь. Ну и презирай, черт с тобой, так нам и надо. А я тебя все-таки люблю; ты малый сердечный, хоть иногда у тебя ничего не разберешь. Ну и дербалызнем, брат. А Мотовилов — негодяй, я это ему в глаза скажу.

Он дрожащими руками, но с большим увлечением налил рюмки. Логин уже давно был странно молчалив. Он взял рюмку. Юшка лепетал:

— Стукнемся, брат, и хлобыснем.

Выпили. Юшка продолжал:

— Да, я тебя люблю, хоть ты лицемер; ты скрытный, надменный человек. Ты все про себя. Ты всякую свою болячку хочешь сам расковырять и сожрать. Ты — человек фантастичный и озорной. Вася, друг мой, мне тебя жалко! Васюк! Не дворит тебе у нас!

Юшка расплакался и потянулся было целоваться. Но его всклокоченная и потная голова вдруг шатнулась, закинулась назад, завалилась на спинку кресла. Он еще раз всхлипнул, всхрапнул, обрушил голову на стол, на сложенные руки и заснул. Логин закрыл глаза: под ложечкою засосало, стало жутко и сладко, и он поплыл куда-то, потом полетел в бездну, скорее и скорее, — и все слаще и жутче становилось. Падение окончилось, — и он открыл глаза. Мрачно и безобразно было в комнате.

Логин взял шляпу, спустился вниз и тихонько отворил выходную дверь. В то же время приоткрылась дверь из комнаты, где спал Леня. Леня выглянул в переднюю. Логин посмотрел, но не заметил его.

Шел по улицам, слегка покачивался. Полная луна сладко мучила его. Так пытливо и пристально смотрела, — чего-то ждала, или боялась, или угрожала чем-то? Не мог понять смысла ее бледных, злобно-неподвижных лучей, но смысл в них был, — язвительный, леденящий душу смысл.

В сознании Логина пробегали несвязные отрывки мыслей и чувств. Неотступно стояли где-то рядом, сразу за порогом сознания, два таинственные гостя. Так бывает, когда знаешь по каким-нибудь приметам, что за дверью стоит кто-то, и когда он не входит. Логин напрасно старался отворить им дверь сознания. Один был чей-то образ; детское лицо, испуганные глаза, еще что-то знакомое, — но не знал, что

это. Другой гость, — это было что-то бесформенное и странное, предчувствие или повеление, что-то злобное, мстительное, связанное с глубоко ненавистным образом. Это неопределенное и неотступное давило грудь, затрудняло дыхание.

Временами казалось, что есть цель и что он знает, куда идет и зачем. Он не замечал дороги, глаза блуждали, и луна пристально смотрела на него. Ее бледные, злые лучи говорили, что это все так, как надо, что все решено и теперь должно быть исполнено.

Посередине моста остановился, оперся о перила и смотрел в воду. Вода тускло блестела. Темные, гладкие струи с тихим ропотом набегали на зыбкие устои. Ужас детского полузабытого кошмара проснулся в душе. Логин стоял в нерешительности. Захотелось вернуться. Поднял к небу тоскливые глаза. Что-то разбитое, и растоптанное, и похороненное в душе рванулось с отчаянным усилием из могилы. Жажда молитвы и покорности жалко затрепетала в сердце. Но в небе, пустынном и тихом, зеленый диск луны висел, мертвый и злобный, и леденил душу мертвыми лучами.

Логин пошел дальше. Безумные угрозы срывались с его языка. Знал, что сбудется сейчас предвещание детского кошмара. Пустыня небес, и мертвая луна с мертвою улыбкою и холодным светом, и редкие, бледные звезды говорили, что кошмар, томивший в детстве, теперь сбывается. Ветер жалобно шумел в ветках ивы, нагнувшейся над рекою, и заунывным воем повторял, что кошмар сбывается. Старые липы мотовиловского сада чутко смотрели поверх забора на дорогу, где шел бледный человек с дико расширенными глазами, человек, кошмар которого теперь сбывается. Окна заблестели под лунными лучами тусклым блеском, злобно радовались тому, что кошмар сбывается.

Калитка сада, через которую барышни ходили купаться, была затворена. Но непрочный запор уступил усилиям. Логин вошел в сад. В саду никого не было. В доме все спали. Только в кабинете Мотовилова светился огонек.

Мимо окон Логин прошел сад поперек и вышел во двор. Остановился в тени сложенной поленницы и соображал, как удобнее проникнуть в дом.

В саду на террасе стукнула дверь. Логин вздрогнул и попятился назад, меж двух поленниц. Споткнулся на что-то, — что-то твердое было под ногами, вроде гладкого полена. Он оттолкнул это вперед и боязливо глядел в сад, стараясь не выдаваться из-за поленниц. Сердце усиленно билось.

По саду шел Мотовилов. Логин сообразил, что он хочет пройти в огород, который был по ту сторону двора. В таком случае Мотовилов должен будет пройти мимо того места, где таился Логин.

Логин посмотрел на предмет, попавшийся под ноги. Топор. Быстро отодвинул его ногою назад, в темное место, быстро поднял, взял в правую руку. А Мотовилов уже входил во двор.

Логин замер в томительном ожидании. Шаги Мотовилова приближались. Вот прошел мимо Логина и не заметил его. Логин тихо выдвинулся из-за поленницы и взмахнул топором. Мотовилов отворил калитку и сделал шаг в огород. В это время тяжелый удар упал на его курчавую голову. Раздался глухой звук и легкий треск.

Мотовилов лежал ничком.

«Умер или без памяти?» — подумал Логин.

Наклонился, — окровавленный затылок был безобразен. Злоба и ненависть овладели Логиным. Опять взмахнул топором, еще и еще. Хряск раздробляемых костей был противен. Отвратительна была размозженная голова.

«Не встанет», — злобно подумал Логин.

Бросил топор, выпрямился и быстро пошел через двор в сад. Чувствовал удивительное облегчение, почти радость. Мысль о том, что могут увидеть, еще не приходила в голову.

Когда он подошел к садовой калитке, пьяное бормотание раздалось на берегу. Остановился в тени забора и прислушивался.

Спиридон шел мимо забора, ругался и бормотал:

— Нет, брат, шалишь, не выпорешь, — руки коротки!

Спиридон увидел открытую калитку и грузно ввалился в сад. Его лицо на минуту остановилось против взоров Логина, — и Логин почувствовал ужас. Лицо свидетеля, — нет, не одно это было ужасно. То было лицо, искаженное непомерною мукою, отчаянием, стыдом,

лицо, бледное до синевы, с потерянным взором испуганных глаз, с трепетными губами, — каждая черточка этого лица трепетала страхом, как бы перед неизбытною бедою. Он был не так пьян, как казалось по голосу, но весь, с головы до ног, дрожал мелкою, трусливо-жалкою дрожью.

Взоры Логина обратились к его рукам, и новая волна ужаса потрясла Логина. В дрожащих руках Спиридона виднелся кусок веревки. Он цепко держался за этот кусок. Логин не отдавал себе ясного отчета в том, какая связь между веревкою и появлением Спиридона здесь в эту пору, — но чувствовал, что есть связь, и связь ужасная. Прислонился к забору и смотрел, как Спиридон прилаживал петлю к толстому суку дерева, прямо против террасы.

Где-то далеко раздался веселый, бойкий напев. Он заставил Логина снова затрепетать.

«Бежать! Дальше от этого проклятого места!»

Опять никого не встретил на дороге, и только луна смотрела на него, и ее холодные лучи веяли успокоением.

«Убито злобное прошлое — не воскрешай его! — шептали ему лунные лучи. — Не раскаивайся в том, что сделано. Худо это или хорошо, — ты должен был это сделать.

И что худо, и что хорошо? Зло или благо — смерть злого человека? Кто взвесит? Ты не судья ближнему, но не судья и себе. Покоряйся неизбежному.

Не иди на суд людей с тем, что сделано. Что тебе нравственная сторона возмездия? От них ли примешь ты великий урок жизни? А материальная сторона — неволя, тягости труда, лишения, страдания, позор, — все это случайно выпадает на долю добрых и злых. Кому нужно, чтобы к неизбытному горю и позору людскому прибавить твое горе, твой позор, и горе тех, кто любит тебя?

Пусть тлеют мертвые, думай о живом!»

Быстрыми шагами шел он по улицам, но его лицо было мирно и покойно. Если бы его встретил кто-нибудь, кто узнал бы убийцу! Нес на одежде капли крови, но одежда сгорит завтра, с этою уликою.

А Юшка все еще спал. Логин переоделся, спрятал окровавленную одежду и сел к столу. Представилось вдруг, что не выходил из комнаты и что все был только уродливый сон.

«Но мне этот сон никогда не забудется!» — печально подумал он.

Тоска сжала сердце. И вдруг встал перед ним спасительный образ Анны. За стеною послышалась ему ее тяжелая, уверенная поступь. Логин почувствовал себя сильным и юным. Есть к чему стремиться! Есть то, за что не страшна никакая борьба!

Юшка заговорил что-то впросонках. Логин стукнул бутылкою о стакан. Юшка заворочался и открыл мутные глаза.

— Ну что, Юшка, выспался?

Юшка встрепенулся, вскочил на ноги.

— Сморозил! Я и не думал спать. Ополоумел ты спьяна.

— Ну выпьем спросонок.

— Не хочу и пить по такому дурацкому поводу. Вишь, что выдумал! Чтоб Юшка Баглаев заснул перед водкой! Что ты, опомнись!

— А все же, Юшка, ты всхрапнул. Я успел в это время прогуляться.

— На что ты меня в глаза дурачишь? Ты сам спал.

— Неужели?

— Ей-Богу, спал. Храпел во всю ивановскую.

— А мне показалось, что это ты, Юшка, спал.

— Ну вот. Ты еще во сне бредить начал, так я тебе голову водой мочил.

— Вот за это, брат, спасибо.

— То-то, Юшка Баглаев знает, когда что.

Наутро город был взволнован зверским преступлением. Мотовилова нашли убитым на дворе. Голова его была вся изрублена топором. Очевидно, убийца наносил бессмысленные удары уже бездыханному трупу. А недалеко от жертвы найден был и убийца: на дереве перед террасою висел уже охолоделый Спиридон. На его изорванной рубахе были видны кровавые пятна.

Перед домом Мотовилова теснился народ. Мотив убийства для всех был ясен: месть за то, что его осудили по жалобе покойного Мотовилова.

— Суд Божий! — говорили в толпе. — Бог-то видит.

Настроение было строгое, сосредоточенное. Правда, иные буяны покрикивали:

— Так бы и иных прочих!

Но их унимали. Однако, кто повнимательнее всмотрелся бы в лица горожан здесь, в толпе, и в других местах города, когда заходила речь об убийстве, заметил бы в них следы жестоких, кровожадных мыслей. Кровавое событие таинственно волновало народ и словно подстрекало толпу к злому делу.

## Глава тридцать шестая

К вечеру Анна сошла по ступеням террасы в сад и неожиданно встретила лицом к лицу Логина. Сердце ее замерло. Логин смотрел на нее воспаленными глазами. Его бледное лицо выражало страдание и злобу. Принужденно улыбнулся. До боли сильно сжал руку. Спросил:

— Я, кажется, помешал? Ты собралась куда-то.

— Нет, — отвечала Анна, смущенно улыбаясь, — я только хотела пройти...

— Впрочем, не задержу, — перебил он. — На минуту. Надо сказать... Но пойдем куда-нибудь дальше.

Все это говорил хриплым, прерывающимся голосом, словно не хватало воздуха. Не дожидаясь ответа, круто повернулся и быстро пошел, не глядя на Анну. Она едва поспевала за ним. Так пришли они к скамейке на берегу маленького озера, на котором медленно покачивались желтые касатики. Логин остановился. Порывисто схватил обе руки Анны и для чего-то привлек ее к самому берегу. Заговорил:

— Слушай, — я не люблю тебя.

— Неправда, — сказала Анна, бледнея.

— Да, да, я не люблю тебя, хоть ты дороже всего для меня на свете. Я не знаю, что это. Я такой порочный для тебя, и я хочу обладать тобою. Я ненавижу тебя. Я бы хотел истязать тебя, измучить тебя невыносимою болью и стыдом, умертвить, — и потом умереть,

потому что без тебя я уже не могу жить. Ты околдовала меня, ты знаешь чары, ты сделала меня твоим рабом, — и я тебя ненавижу, — мучительно. Что ж, пока еще ты свободна, — прогони меня, видишь, я — дикий, я — злой, я — порочный. Скажи мне, чтоб я ушел.

Сжимал ее руки и пристально смотрел в ее глаза, печальные, но спокойные.

— Тебе тяжело, — кротко сказала она, — но я люблю тебя.

— О, милая! о, ненавистная! И моя ненависть тебе не страшна? И ты хочешь быть моею женою?

— Хочу, — без колебания сказала Анна.

Глаза ее спокойно и твердо глядели на Логина, и он видел в них странное сочетание кротости и жестокости. Жестокое, злое чувство закипело в нем, багряно туманило глаза, томительно кружило голову. Шатаясь, выпустил он Аннины руки. Хрипло прошептал:

— Хочешь? Так вот!

Поднял руку ударить Анну. Глаза ее, испуганные, широко открылись, но она стояла неподвижная, с опущенными руками. Вдруг рука Логина бессильно опустилась, и он тихо склонился на песок дороги, к ногам Анны.

Стояла над ним, ясная, спокойная, и молча смотрела вдаль. Видела, что еще много горя и безумия ждет впереди, но будущее не страшило, а влекло странным очарованием.

— Анна, оставь меня моей судьбе! Я человек разрушенный, — печально сказал Логин, медленно подымаясь.

— Никогда! Пока жив, не теряй надежды.

— У меня была надежда на счастие с тобою. Но можешь ли ты любить меня после того, что случилось?

— Ничто нас не разлучит. Я сердцем приросла к тебе.

— Даже преступление? кровь?

Анна задрожала.

— Ничто не может разлучить нас! — воскликнула она. — Я бы за тобою пошла на каторгу, я помогла бы тебе нести тайну.

Подняла на Логина глаза; полные слез, они выражали страдание. Слезы катились по ее щекам, и это терзало сердце Логина.

— Нюточка, бедная моя, ты что-нибудь знаешь?

— Я знаю, что тебе тяжело. Открой мне твою тайну: пусть не будет у нас ничего неразделенного.

— Слушай, Нюточка, — я убил Мотовилова.

Почувствовал опять ее трепет. Страшно было взглянуть на нее, — смотрел в сторону. Но молчание было невыносимо. Их глаза встретились. Состраданием горели кроткие глаза Анны. Логин почувствовал, как радость воскресает в его душе.

— Это было для меня роковым делом. Это началось давно и мучило меня. Когда я убил его, я почувствовал, как это ни дико, радость и облегчение. Мне казалось, что в себе самом я убил зверя. Но я должен рассказать тебе все. Захочешь ли ты слушать меня?

— Да, расскажи мне все, — тихо сказала Анна. — И только мне, — не им же ты скажешь все это.

Логин и сам не ожидал, что повесть об его отношениях к убитому будет так длинна. Рассказывал и не чувствовал былой злобы. Но как тяжело было говорить об убийстве! Как это было жестоко, — это кровавое дело, — и как, по-видимому, бесцельно!

Наконец кончил и с тревожным ожиданием смотрел на Анну. Она взяла его руку.

— Ты убил прошлое, — решительно сказала она, — теперь мы будем вместе ковать будущее, — иначе и заново.

Она быстро нагнулась и поцеловала его руку.

— Нюточка! чистая моя! — воскликнул Логин. — Как беден я перед тобою, жрица моя и агнец!

Опустился перед нею на колени и покрывал поцелуями ее руки.

— Пойдем вперед и выше, — говорила она, — не будем оглядываться назад, чтоб не было с нами того же, что с женою Лота.

Логин встал перед Анною и смущенно спросил ее:

— Надо ли признаться перед людьми?

— Нет, — твердо ответила Анна. — К чему нам самим подставлять шеи под ярмо? Свою тяжесть и свое дерзновение мы понесем сами. Зачем тебе цепи каторжника? Вот, у тебя есть сладкая ноша, — я: возьми, неси меня.

Встала, положила руки на его плечи. Он поднял ее на руки.

— Нет, не уноси меня, — тихо шепнула она, — посиди со мною здесь.

Обнял ее. Сел на скамейку и держал ее у себя на коленях. Она прилегла головою на его плечо и полузакрыла глаза. Грудь ее порывисто колыхалась. Логин чувствовал жаркий трепет ее тела. Но ее неровное дыхание и горячий румянец ее лица не будили в Логине вожделения, и он смотрел на нее спокойными глазами, как на младенца. А она томительно трепетала и смущенно склоняла отуманенные глаза.

— Какая ты тяжелая! — сказал Логин.

Анна быстро взглянула на него и улыбнулась.

«Отчего улыбка ее стыдливая?» — подумал Логин.

Логин вернулся домой с неопределенными ощущениями. Сначала, когда он ушел от Анны, простившись нежным поцелуем, его осенило мирное настроение. Но, приближаясь к городу, почувствовал он в мыслях неловкость, как будто смутно вспомнилось что-то забытое, пренебреженное, но необходимое, — как будто не сделано было еще что-то, что надо было сделать. И вслед за этим первым странным ощущением неловкости стали подыматься в душе неясные, раздражающие напоминания.

А в городе было дико и шумно. Толпы пьяных и мрачных оборванцев шатались по улицам. В одном месте, против дверей трактира, кучка мещан окружила полицейского надзирателя, приставая к нему с вопросами, отчего только бедные умирают, да зачем барак холерный поставили. Надзиратель, бледный с перепугу, старался выбраться из толпы, лепетал несбыточные обещания и уговаривал мещан успокоиться и разойтись; впрочем, уж и не помнил, что говорил. Свирепый верзила торчал перед ним, вытянувшись в струнку, приложив к правому виску скрюченные пальцы, и, издеваясь над полицейским, поминутно гаркал ни к селу ни к городу:

— Так точно, ваше благородие! Слушаю, ваше благородие! Рады стараться, ваше благородие!

Полицейский не чаял быть живу. Но задребезжали дрожки, с них соскочил тщедушный городовой с тараканьими усами и яростным

солдатским лицом и, наступая на мещан, как на пустое место, объявил, что надзирателя исправник требует, и чтоб сию минуту. Мещане замолчали и расступились, а надзиратель с городовым сел на дрожки и укатил. Когда дрожки тронулись, кто-то из толпы крикнул решительному городовому:

— Как бунт начнется, тебя, Точилов, первого убьем.

И эти слова опять напомнили что-то Логину, но что именно, он не знал.

Дома его тревожное недоумение усилилось. Вдруг случайно заметил он на себе недоумевающий Ленин вгзляд. Логин внимательно посмотрел на мальчика. Леня быстро отвел глаза в сторону, но Логину показалось, что мальчик смущен и бледен.

И вдруг вспомнил Логин, чьи глаза смотрели на него в ночь убийства. Новая тоска загорелась в нем.

«Я был тогда пьян, — злобно думал он, — и ничего не соображал. Я шел, куда несли меня ноги да моя пьяная удача. Убийство спьяна! И ей я не сказал, что был пьян! Я пропустил самую простую и главную причину и постарался внушить ей какое-то странное почтение к моему хмельному убийству. Я поступил, как любой пошляк, который охорашивается всячески перед любимою девчонкою, чтобы ослепить ее блеском своего превосходства. И она, глупая, целовала мои руки! Геройство!

Но как, однако, благоговею я перед этою девчонкою: исповедь приносил ей, старался быть искренним и не сказал главного!»

Сидел один и томился мрачными, злыми мыслями. Утомленный их злобою, порою с усилием вызывал в памяти образ Анны, — и когда она вставала перед ним спокойная и прекрасная, душа на короткое время смирялась и преклонялась перед ясным видением. Но умиление быстро сгорало и сменялось знойным, порочным вожделением. Он спрашивал себя:

«Зачем она была такая трепетная и так разгоралась, когда я обнимал ее? Как одинаково, как скучно одинаково совершается жизнь у всех! Такое же, как у всех, горячее дыхание и отуманенные желанием глаза. Ей нужно пройти по тем же путям, по которым прошли неис-

числимые поколения ее прародительниц. И эта жизнь, так ясно предначертанная в наших побуждениях, — как ключевая вода, всегда простая и бесцветная, всегда чистая. Ключевой воде и горному воздуху подобна простая плотская любовь, — но человеческие установления и нечистые помыслы пятнают ее.

Зачем выбрала она меня, усталого? И любовь ли это? Ко мне и другие влекутся. Соблазны сосредоточены во мне. Свинцовая тяжесть пригнетает меня к земле, — не слабы ли ее плечи для этой ноши?

И зачем приносятся жертвы? Может быть, ненасыщенная страстность требует страданий? Любовь, соединенная с желанием обладать, — жестокая любовь, и произошла она, может быть, из той ярости, с которою дикий зверь преследует добычу».

Странные мысли развивались в голове Логина. И по мере их нарастания, чувства его становились все более дикими и злыми. Ему казалось, что не любовью любит он Анну, а ненавистью. И думал он, что сладостно причинять ей жестокие страдания и потом утешать ее нежными ласками. Думал — русские женщины любят терпеть потасовки от милого.

Под вечер Анна возвращалась с мызы домой, одна. У калитки сада встретила Серпеницына. Он снял рваную шапку и тихо сказал:

— Осмеливаюсь просить вашего внимания.

Анна остановилась. Внимательно смотрела на Серпеницына. Думала, что он будет просить о себе, и соображала, чем ему можно помочь. Серпеницын продолжал:

— Хотя и вижу вас в обуви, дарованной природою, как имеют обыкновение ходить девицы низшего сословия, но по некоторым данным заключаю, что вы изволите быть благородною дочерью владельца этого богатейшего имения.

— Да, — сказала Анна.

— Имею сообщить вам нечто, относящееся к одной из особ, которые имеют честь пользоваться гостеприимством вашего отца.

— Мне-то, — начала было Анна, хмуря брови, но Серпеницын перебил ее:

— Отнюдь не сплетня или клевета, а нечто важное в самом возвышенном смысле. Честное слово благородного человека!

Серпеницын ударил себя кулаком в грудь и очень убедительно смотрел на Анну.

— Да вы, — опять начала она, и опять Серпеницын, угадывая, что она хочет сказать, поспешно крикнул:

— Серпеницын!

Анна открыла калитку, впустила в сад Серпеницына и пошла впереди его. На площадке, закрытой густыми кустами, она остановилась. Серпеницын заговорил:

— Вы, может быть, изволите знать о тех слухах, которые волнуют население города, особенно его невежественную часть.

Анна молча наклонила голову. Серпеницын помолчал, помялся и опять заговорил:

— Иные из господ обитателей изволили выбраться из города в места более или менее отдаленные, во избежание неприятностей. А между прочим, господин Логин из города не уезжает, хотя и настали вакации. Осмелюсь обратить ваше благосклонное внимание на то, что господин Логин излишне пренебрегает могущими произойти неудобствами.

— Вы что-нибудь знаете? — спросила Анна.

Она бледнела, и глаза ее испуганно расширились. Серпеницын отвечал:

— Знать будущее никак невозможно, а только я так полагал, что ваши благоразумные советы, направленные к своевременному отбытию господина Логина из города, могут оказать благодетельное действие. А засим честь имею кланяться.

Серпеницын опять снял шапку, раскланялся, держа ее на отлете, и повернулся к выходу.

— Послушайте, — остановила его Анна.

Серпеницын остановился. Анна хотела что-то сказать, и опять он предупредил ее:

— Впрочем, не извольте беспокоиться, — в случае, ежели возникнет непосредственная опасность, сочту своим священным долгом предуведомить моего благородного кредитора.

— Может быть, — сказала Анна, — вам теперь...

— Милостивая государыня! — воскликнул Серпеницын, ударяя себя в грудь, — ни слова более! Я нахожусь в несчастии, но я — благородный человек!

Еще раз поклонился торжественно и почтительно и ушел, оставив Анну в жестокой тревоге. Долго стояла она, бледная и неподвижная, сложив трепетные руки на тяжело дышащей груди, и прислушивалась к своим мыслям. Видела великую смуту и великое разорение в душе Логина и знала, что лучше ему умереть, чем жить так. Но не могла отпустить его одного на смерть и знала, что только чем-нибудь необычайным, только заветною жертвою можно купить спасение.

Вечером долго беседовала с отцом.

— У тебя странные мысли, — сказал он наконец. — И откуда они? Прежде ты была совсем другая.

— И липа растет, — ответила Анна, улыбаясь и краснея. — Скажи сам, следует ли мне теперь отвернуться от него.

— Вы должны быть вместе. Но поможешь ли ты ему? И как он будет жить с такою смутою в душе, с такими порочными мыслями?

Анна подошла к окну и глядела на темное небо и слабо мерцающие звезды. Ее лицо приняло непреклонное выражение. Она тихо говорила:

— Кто не способен возродиться, тот должен умереть. Надо, чтобы его темные мысли сгорели, — в жизни бывает восторг, бывают чудеса. И я должна это сделать. Он увидит, что любовь на ее вершинах сильнее страсти и порока. Мне страшно, но пусть лучше сгорим мы оба. И ты не запрещай мне.

Тихо подошла к отцу, и непривычная робость светилась в ее глазах. Он сказал:

— Делай, как знаешь, но странно мне то, что ты хочешь сделать.

Опять длился ясный, жаркий день. В дальней аллее сидели на скамье Анна и Логин. Перед ними лежало в низких берегах тихое озеро. Берега обросли жесткою травою. На воде желтели цветы касатика. Ветер порывами набегал, и цветы колебались, и о чем-то таинствен-

ном напоминали их медленно-зыбкие движения. Их желтый цвет внушал горькие мысли. Солнечный зной будил в крови Логина жгучее сладострастие. Ясные глаза Анны не осеняли миром. И она казалась далекою, — ее одежда переносила ее в иные времена, белое платье, застегнутое на левом плече, очень короткое, оставляло ноги нагими выше колен.

Логин думал, что ему надо уйти, чтобы не внести порока в Эдем. И вот, сидели рядом и грустно беседовали. Логин говорил:

— Кошмары у меня бывают, такие вещие. Послушай: сегодня ночью мне стало тяжело. Неуклюжее, безобразное навалилось на грудь. Глаза искрасна-серые, горят. Ты знаешь суеверный обряд?

— Надо спросить: к добру или к худу, — отвечала Анна.

— Да, я спросил.

— И что же?

Логин злобно засмеялся.

— Вот, если б я знал, так и услышал бы. Нет, одно только ворчанье. Если бы это был дух, он стал бы в тупик. Он увидел бы во мне двоих, — а кто из них перетянет?

— К добру или к худу наша любовь, — решительно сказала Анна, — но вместе и смело пойдем!

Доверчиво прижалась к нему и положила голову на его плечо.

— Куда мне идти! — печально воскликнул Логин, — моя тяжесть не пускает меня.

— Так что же, — понесем ее вместе. Или лучше бросим ее, вот как осенью деревья бросают листья, — и будем свободны. Смотри вперед, говори мне о будущем!

Злая улыбка змеилась на его губах. Он злобно заговорил:

— И заживем мы, как все, такою обыкновенною жизнью. Пойдем в церковь, которая нам не нужна, и повенчаемся перед алтарем того Бога, в которого не верим. Презренные заботы о личном счастии наполнят пустоту дней, но не утолят жажды. И я буду перед тобою злой и бесцельный. Мелочи будут меня раздражать, я буду к тебе придираться, потом, раскаявшись, полезу к тебе с поцелуями, как все мещанствующие. Нежные имена, такие пошлые. И как ты станешь меня

называть? Васей, Васенькой? И весь этот визг детский и запах, — все это и у нас повторится. Ужас пошлости!

Анна слушала его, низко склоняя раскрасневшееся лицо. Сказала:

— Нет, и на торных путях есть неожиданное, пренебреженное людьми и желанное для нас. Мы пойдем этою дорогою не рабами, а свободные, без страхов. Воскресим древнее счастие, и оно станет счастием новых поколений.

— Нюточка, если б ты знала! Распутство, пьянство, бессонные ночи, тусклые дни. Как сбросить с себя прошлое? Чудо нужно, — а я в чудеса не верю.

— Милый мой, любовь делает чудеса. Есть огонь, на котором сгорят нечистые мысли.

Ее грудь взволнованно колыхалась. Глаза загорелись восторгом. Логин угрюмо и печально смотрел на нее.

— Я не знаю такого огня, — мрачно сказал он.

— Попытаемся подняться, — все тише говорила Анна. — Увидим, доступны ли нам вершины счастия, — любовь без желаний. Если мы их не достигнем, лучше умрем.

Страшное слово прозвучало в ее устах нежно и кротко.

— Милая жрица, ты зажжешь огонь, а где мы возьмем жертву?

Она встала. Логин поднялся за нею. Протянула к нему руки. Сказала:

— Пойдем, — я хочу сделать тебе дар, и он готов. Хочу, чтобы ты светло порадовался ему.

Молча вошли в закрытую беседку. Логин испытывал непонятное волнение, словно предчувствие значительного события. Глядел через окно на веселую зелень; она так густо разрослась здесь, что не видно было ни дома, ни дорожек. Зноен и звонок, воздух вливался в беседку через перепутанные ветви.

Логин видел, что и Анна странно взволнована. Она стояла перед ним, вся трепетная, и то опускала, то подымала руки к застежке платья. Румянец быстро сбегал с ее смуглых щек. Вдруг выражение решимости и великого спокойствия легло на ее побледневшее лицо, она медленно подняла спокойные руки, тихо расстегнула

на левом плече металлическую пряжку и сказала бесстрастным голосом:

— Мой дар тебе — я сама.

Платье упало к ее ногам. Обнаженная и холодная стояла она перед ним, и с ожиданием смотрели на него ее непорочные глаза.

— Дорогая моя, — воскликнул Логин, — мы на вершине! Какое счастие! И какая печаль!..

Он привлек к себе стройное, сильное тело Анны, целовал ее румяные щеки и нежно говорил:

— Моя милая, моя вечная сестра, твой дар я возьму, твою душу солью с моею и тело твое напою радостью и восторгом.

Счастливая улыбка озарила лицо Анны. Она молчала. Глаза ее были покорны. Наклонился поднять ее платье. Руки их встретились. Помог ей одеться.

Возвращаясь домой, чувствовал Логин, что сгорели темные мысли; новый и свободный человек радовался тому, что выше и значительнее жизни и смерти. Перед глазами стояла белая, прекрасная Анна, и он знал, что с этим ясным видением в душе не может идти к пороку и греху. Не думал о счастии и о жизни, смерть или мука иногда открывались ему, — но с этим нестыдливым и непорочным образом в душе уже он не мог уклониться от того пути, по которому пройдут ее ноги. Великим успокоением веяло от этого прекрасного видения, — и все возможности жизни стали одинаково желанны.

Вечером, в тишине его комнаты, слышалась ему порою ее тихая поступь, — и это напоминало ему, что рассеялись злые чары.

## Глава тридцать седьмая

Рано утром Логина разбудил доносившийся откуда-то не издалека шум. Лежа в постели, прислушался. Слышалось нестройное галденье, в котором иногда можно было различить отдельные неистовые вскрики. Такие же вскрикивания слышались иногда совсем близко,

в разных местах. Но у самого дома Логина было тихо, — только временами слышно было, как бежали под окнами люди, испуганно и негромко переговариваясь.

Логин почувствовал тоскливую и смутную тревогу, предчувствие душевного подъема, который овладевает людьми в минуты общего возбуждения. Нервно вздрагивая и торопясь, принялся одеваться. Внезапный дикий вопль под окнами заставил его задрожать от неожиданности. С гамом и свистом проходила толпа, и один кто-то неистово орал:

— Не отставай, ребята! Бить докторов!

Логин подошел к окну и стал у косяка. Толпа состояла из мальчишек и совсем молоденьких городских парней. Впереди шел тот буян с оловянными глазами, лицо которого так хорошо запомнилось Логину. Он-то и горланил, нелепо махая руками и закатывая глаза как-то искоса вверх и в сторону. Когда они прошли, на пустынной улице стало опять тихо, только со двора доносились отголоски бестолковой суетни у Дылиных, да слышалось все то же галденье, которое разбудило Логина.

Логин сошел из спальни вниз и в передней столкнулся с Серпеницыным; он только что поднялся по лестнице из кухни и имел таинственный и озабоченный вид. Сказал:

— Простите, милостивый государь, что являюсь к вам без доклада, но ваша Дульцинея Тобосская дезертировала, как надо судить по тому, что двери внизу настежь, а ее нигде не обретается. Испрашиваю аудиенцию у вашего высокоблагородия.

Логин прошел в гостиную и предложил Серпеницыну сесть. Оборванец хмыкнул, осторожно уселся на мягкий стул и зашептал:

— Осмелюсь доложить, что дальнейшее пребывание ваше, милостивый государь, в этом городе может повлечь за собою весьма опасные последствия.

— Ну, ничего, — хмуро сказал Логин, — какие там последствия? Да что вы шепчете, — здесь некому подслушивать.

— А этот субъект? — спросил Серпеницын, указывая подбородком на кого-то сзади Логина.

Логин оглянулся — из столовой выглядывал Леня, только что вскочивший с постели.

— Ну, этот субъект не опасен, — сказал Логин с улыбкою.

Серпеницын заговорил громче:

— Дело в том, выражаясь литературным стилем, что мещане нашего города подняли восстание против холерных властей и собрались теперь, под предводительством бабы Василисы Горластой, с неприязненными намерениями у холерного барака. А так как ваше высокоблагородие изволили в глазах здешнего почтенного мещанства навлечь на себя подозрение в принадлежности к шайке злоумышленников, рассыпавших мор в колодцы, то и вашей мирной обители грозит разгром. А потому осмелюсь рекомендовать вам, милостивый государь, предпринять, пока не поздно, благородную ретираду, хотя бы, например, в имение достоуважаемого господина Ермолина, на которое народная ярость ни в каком случае не посягнет.

«А если посягнет?» — подумал Логин.

В его воображении мгновенно стал образ Анны, и перед нею разъяренная толпа. Мысль о том, что Анна может подвергнуться опасности, заставила его затрепетать: почти физическую боль почувствовал он, представляя себе, как на прекрасное тело Анны упадет тяжелый удар.

— Не так страшен черт, как его малюют, — сказал он Серпеницыну. — Я останусь, — бесполезно бегать: захотят, и там найдут.

— Удирайте-ка подобру-поздорову, — встревоженным голосом сказал Ленька.

Логин засмеялся, подошел к мальчику и обнял его.

— Удирай сам, коли хочешь, — сказал он,— за тобой не погонятся.

Логин остался один. Серпеницына выпроводил ни с чем, а куда и как скрылся Ленька, он как-то не заметил. Сел в гостиной у окна, — и новые, значительные мысли обступили его. Под наплывом этих мыслей постепенно рассеивалась тоска, и холодное спокойствие, ясное, как морозный воздух, осеняло душу.

Видел непоправимое зло жизни, чувствовал великую усталость и без печали и без радости ждал отдыха. Отрывочно вспоминалась

жизнь, — пестрым, быстрым калейдоскопом мелькали мелкие и, казалось, забытые случаи, проходили живые и отошедшие в вечность люди, вставали знакомые и покинутые места. Беспристрастный судия, без гнева и без жалости к себе оценивал зло и ложь своих деяний, пробегавших теперь в памяти. Знал, что надлежит уничтожить форму, столь порочную, и смять глину, из которой вылеплено так много дурного. Не хотел думать, что это он сам — тот, кто вылеплен из этой глины, — спокойно отдавал себя вечно творящей и вечно разрушающей воле и безбоязненно ждал исполнения своего срока.

Образ Анны, белый и непорочный, царствовал над его мыслями. Радостно было думать, что она останется. Не раскаивался в том, что причинял ей страдания, — и не желал ей счастия. Она стояла перед ним в торжественной наготе своей, вечная, древняя, — и была совершенна, и нечего было для нее желать.

Детские, наивные мечты и планы о счастии и благополучии припомнил без горечи, — и не посмеялся над ними. И боязнь прошлого предстала как далекое и чуждое страдание, — томление ненужное и тщетное.

Понял, что и торные дороги, и пути, никем еще не иденные, одинаково значительны и любопытны для беспокойного духа, жаждущего новизны и везде находящего ее. В бесконечном разнообразии возможностей представилось ему обетование будущей жизни, — но для него самого времена стали уже ненужны и невозможны.

Прошло около часу. На улице становилось шумно. Под окнами дома собиралась толпа. Над буйным гамом носились визгливые женские крики. Логин поднял голову и прислушался.

— Сама, сама своими глазами видела, — свирепо кричала баба.

Конец ее фразы затерялся для Логина в общем гвалте. В столовой послышался звон разбитых стекол: растрепанные мальчишки начали швырять в окна каменья. Заслыша звон стекол, толпа притихла. Логин перешел в столовую, открыл окно и, сурово хмуря брови, глядел на толпу. Мальчишки шарахнулись в сторону, толпа боязливо попятилась. На минуту стало тихо. Вдруг где-то в задних рядах послышался бабий неистовый крик:

— Да чего вы струсили, остолопы!

Плюгавая бабенка в рваном платьишке, простоволосая и корявая, протискалась через толпу, выскочила вперед и закричала Логину:

— Выходи, выходи, ведьмедь, из своей берлоги, честью выходи. Понапаскудничал ты над нами, — будет!

Толпа нестройно и ожесточенно загалдела. В Логина полетели каменья, — швыряли пока осмелившиеся мальчишки.

— Здравствуй, смерть! — тихо сказал он и отошел от окна.

Неспешно прошел по комнатам, по лестнице, что вела на улицу и спокойно вышел на крыльцо. При его появлении крики усилились, толпа надвинулась к крыльцу, — Логин увидел раскрасневшиеся лица кричащих баб, — и то, что делается, показалось бесцельным и нелепым. Но эта мысль и мгновенно охвативший ужас быстро исчезли; чувствовал, что уже некогда, и, начиная куда-то торопиться, стал спускаться по лестнице. Еще успел увидеть, как тяжелый камень ударил его в плечо и вдоль тела упал вниз, — успел еще услышать где-то близкий знакомый голос, который отчаянно вскрикнул что-то, — и после короткого тягостного ощущения тупой боли в голове упал, обливаясь кровью, на ступени.

Толпа отхлынула от крыльца. Над Логиным, раненным камнем в голову, наклонилась Анна.

Ленька знал, куда следует удирать, и Анна поспела бы вовремя, если бы ее не задержала буйствовавшая на улицах толпа.

После того, как Логин был ранен, буйство толпы продолжалось недолго: холерный барак был разрушен, фельдшера разбежались, доктор тоже убежал и спрятался в глубокой канавке чьего-то огорода, — толпе и делать больше нечего, и буйствовали так, уж заодно, гоняясь за полицейскими и ломая вещи в квартире врача и где-то в других домах. Но скоро после полудня пошел проливной дождь и рассеял буянов. К вечеру пришел в город вызванный по телеграфу эскадрон драгун, — но уже некого было усмирять, и судебный следователь беспрепятственно сажал в острог обвиняемых в буйстве.

Город принимал печальный вид. Патрули драгун разъезжали по опустелым улицам. Холера усилилась, и измышленные Юшкою тра-

урные фуры сновали по городу с зловещим стуком колес, — но на них отвозили только покойников.

Логин лежал, погруженный в тяжелую бессознательность. И долго лежал он, неподвижный, наполняя тишину комнаты хриплым, затрудненным дыханием тяжело больного человека. Анна не отходила от его постели. Она не думала о его смерти. В самые трудные дни ее не покидала уверенность в том, что он встанет, и еще большая уверенность в том, что встанет новый человек, свободный и безбоязненный, для новой свободной жизни, человек, с которым она пойдет вперед и выше, в новую землю, под новые небеса. И смерть отошла от постели Логина и уступила свое дело жизни.

Отрывочные, неясные впечатления стали доходить до сознания Логина, — знакомые запахи и голоса. Видел иногда, как сквозь молочно-белый туман, лицо Анны и смутно припоминал что-то. По временам вспыхивали коротенькие мысли, — но мозг быстро утомлялся и терял их.

Первое возвращение связного сознания было мучительно. К вечеру четвертого дня, после того, как первый раз смутные тени пробежали перед его глазами и Анна увидела его полусознательный, еще ни на чем не останавливавшийся взгляд, — Логин вдруг увидел себя в своей комнате, и цветы на обоях запрыгали и засмеялись. Гулкое жужжание стояло в воздухе, и сизо-багровые волны тумана порою пробегали из угла в угол. Что-то бесформенное заклубилось у стены, стало собираться и вытягиваться, отделяя от себя члены, подобные членам человеческого тела, — и вот уродливая, скользкая мара отделилась от стены и, медленно кружа в воздухе, приближалась к Логину. Он все яснее различал обнаженное тело призрака, — синее, мертвое, полуистлевшее, с торчавшими кое-где черными костями. Обрывок полуистлевшей веревки болтался на его шее, — и в страшном лице мертвеца Логин узнал лицо повесившегося Спиридона. Это лицо было мертвенно-неподвижно, но черты его как-то странно менялись, как бы от переливов тусклого освещения. И в мертвом лице приближавшейся мары Логин увидел, как в зеркале, свои черты, — и вдруг почувствовал, что это он сам клубится и кружит по комна-

те, — его ветхий человек, томясь каинскою злобою, бессильною, мертвою. Ужас стеснил грудь Логина, и слабый, еле слышный голос его позвал кого-то.

Заслоняя Логина от мертвеца, откуда-то подошла и стала перед Логиным Анна. И пестрые цветы, и багровые туманы исчезли из глаз, и мертвец, отброшенный чем-то, скрылся, когда Анна наклонилась к больному, и, встретив узнающие глаза, радостно улыбнулась.

— Ушел? — тихо спросил Логин.

— Ушел и не вернется, — так же тихо сказала Анна, чутко угадывая его мысли.

Логин помолчал, медлительно вдумываясь во что-то.

— А ты все здесь? — опять спросил он Анну.

— Теперь мы вместе, — радостно сказала она, опуская голову на его подушку. — Я не уйду, но ты не говори, тебе пока вредно, закрой глаза и усни.

Логин покорно закрыл глаза и забылся.

Прошла своим чередом болезнь, — для Логина и Анны началась новая жизнь, обновленные небеса засинели над ними, но что будет с ними, и куда придут они?

Нета совсем уж было собралась идти за Андозерского, но вдруг передумала и неожиданно для всех, и для Пожарского, и для себя самой, вышла-таки за обворожительного актера. Она открыла в себе сценические таланты и намерена выступить в нашем городском театре в роли Офелии.

Едва Клавдия стала оправляться от болезни, она и Палтусов внезапно уехали. Вскоре пришла весть, что Палтусов утонул в Женевском озере. В городе не верят этому. Говорят, что он преспокойно живет под чужим именем, повенчался с Клавдиею и что их видели в каком-то модном и людном заграничном местечке. Зинаида Романовна скоро утешилась. Ее часто посещает генерал Дубицкий.

Дело Молина было прекращено, и, к великому сожалению собутыльников, он уехал пьянствовать в другой город, где ему дали такое же место. Город, куда его назначили, лежит далеко от нашего, и по

дороге останавливался Молин в больших и малых городах, где товарищи по учебному заведению встречали его как невинно пострадавшего. Он плакал спьяна и везде повторял клеветы про Шестова. В одном городе, ощутив нужду в деньгах, он украл часы у товарища, но попался. Однако его отпустили с миром, решив, что это с горя и что виноват в этом Шестов.

Итак, все идет по-старому, как заведено, и только Логин и Анна думают, что для них началась новая жизнь.

# ЗЕМНЫЕ ДЕТИ

*Рассказы*

*Земные дети шаловливы,*
*Но крылья есть, —*
*О том, как ангелы счастливы,*
*Доходит весть.*

## *Свет и тени*

### I

Худощавый, бледный мальчик лет двенадцати, Володя Ловлев, только что вернулся из гимназии и ждал обеда. Он стоял в гостиной у рояля и рассматривал последний номер «Нивы», который принесли с почты сегодня утром. Из газеты, которая лежала тут же, прикрывая один лист «Нивы», выпала маленькая книжечка, напечатанная на тонкой серой бумаге, — объявление иллюстрированного журнала. В этой книжечке издатель перечислял будущих сотрудников — полсотни известных литературных имен, — многословно хвалил журнал весь в целом и по отделам, весьма разнообразным, и давал образчики иллюстраций.

Володя начал рассеянно перелистывать серенькую книжку, рассматривая крохотные картинки. Его большие глаза на бледном лице глядели устало.

Одна страничка вдруг заинтересовала мальчика и заставила его широкие глаза раскрыться еще шире. Сверху вниз вдоль странички было напечатано шесть рисунков, изображавших сложенные разными способами руки, тени которых, отброшенные на белую стену, образовали темные силуэты: головку барышни в какой-то смешной рогатой шляпке, голову осла, быка, сидячую фигуру белки и еще что-то в этом же роде.

Володя, улыбаясь, углубился в рассматривание рисунков. Ему знакома была эта забава: он сам мог сложить пальцы одной руки так,

чтобы на стене появилась заячья головка. Но здесь было кое-что, чего Володя еще не видывал; и, — самое главное, — здесь все были фигуры довольно сложные, для двух рук.

Володе захотелось воспроизвести эти тени. Но теперь, при рассеянном свете догоравшего осеннего дня, конечно, ничего хорошего не выйдет.

Надо взять книжку к себе, сообразил он, — ведь она же не нужна.

В это время услышал он в соседней комнате приближающиеся шаги и голос матери. Покраснев отчего-то, он быстро сунул книжку в карман и отошел от рояля, навстречу своей маме. Она подходила к нему, ласково улыбаясь, такая похожая на него, с такими же широкими глазами на бледном, прекрасном лице.

Мама спросила, по обыкновению:

— Что у вас сегодня новенького?

— Да ничего нового, — хмуро сказал Володя.

Но ему сейчас же показалось, что он говорит с мамою грубо, и стало от этого стыдно. Он ласково улыбнулся и стал припоминать, что было в гимназии, — но при этом еще яснее почувствовал досаду.

— У нас Пружинин опять отличился, — начал он рассказывать об учителе, не любимом гимназистами за грубость. — Ему наш Леонтьев отвечал урок и напутал, а он и говорит ему: «Ну довольно, говорит, садитесь, — вались дерево на дерево!»

— А вы все сейчас и заметите, — сказала мама, улыбаясь.

— Вообще он ужасно грубый.

Володя помолчал немного, вздохнул и заговорил жалующимся голосом:

— И всё-то они торопятся.

— Кто? — спросила мама.

— Да учителя. Каждый хочет поскорее курс пройти да повторить хорошенько к экзаменам. Если о чем спросишь, так уж наверное подумают, что это гимназист зубы заговаривает, чтобы до звонка протянуть, чтоб не спросили.

— А вы после уроков разговаривайте.

— Ну да, — после уроков тоже торопятся, домой или в женскую гимназию на уроки. И всё так скоро — сейчас геометрия, а сейчас и греческий.

— Не зевай!

— Да, не зевай! Как белка в колесе. Право, это меня раздражает.

Мама легонько усмехнулась.

## II

После обеда Володя отправился в свою комнату приготовлять уроки. Мама заботится, чтобы Володе было удобно, — и здесь есть все, чему надлежит быть в такой комнате. Володе здесь никто не помешает, даже мама не приходит к нему в это время. Она придет попозже, помочь Володе, если это будет нужно.

Володя был мальчик прилежный и, как говорится, способный. Но сегодня ему трудно было заниматься.За какой бы урок он ни взялся, вспоминалось что-нибудь неприятное, — вспоминался учитель того предмета, его язвительная или грубая фраза, брошенная мимоходом и запавшая в глубину души впечатлительного мальчика. Случилось почему-то, что многие из последних уроков сошли неудачно: учителя являлись недовольные, и дело у них не клеилось. Дурное настроение их сообщалось Володе, и теперь веяло на него со страниц книг и тетрадей смутное беспокойство.

От одного урока он торопливо переходил к другому, к третьему, — и это мелькание маленьких дел, которые надо поскорее исполнить, чтобы не оказаться завтра «деревом на дереве» своей скамьи, бестолковое и ненужное мелькание раздражало его. Он начал даже зевать от скуки и досады и нетерпеливо болтать ногами, тревожно двигаясь на стуле.

Но он твердо знал, что все эти уроки надо непеременно выучить, что это очень важно, что от этого зависит вся его судьба, — и он добросовестно делал скучное для него дело.

Володя сделал на тетрадке маленькое пятнышко и отложил перо. Вглядевшись внимательно, он решил, что можно стереть перочинным ножом. Он был рад развлечению. На столе ножа не было. Володя сунул руку в карман и порылся там. Среди всякого сора и хлама, по мальчишеской привычке напиханного в карманы, нащупал он ножик и потянул его, а с ним заодно и какую-то книжку.

Он еще не знал, что это за бумага в его руке, но, уже вытаскивая ее, вдруг вспомнил, что это книжка с тенями, — и внезапно обрадовался и оживился.

Так и есть, это — она, та самая книжка, о которой он уже и забыл, занявшись уроками.

Он проворно вскочил со стула, подвинул лампу поближе к стене, опасливо покосился на притворенную дверь, — не вошел бы кто-нибудь, — и, развернув книжку на знакомой странице, принялся внимательно разглядывать первый рисунок и складывать по этому рисунку пальцы. Тень выходила сначала нескладная, не такая, как надо, — Володя передвигал лампу и так и этак, сгибал и вытягивал пальцы, — и наконец получил на белых обоях своей комнаты женскую головку в рогатом уборе.

Володе стало весело. Он наклонял руки и слегка шевелил пальцами, — головка кланялась, улыбалась, делала смешные гримасы. Володя перешел ко второй фигуре, потом к следующим. Все они сначала не давались, но Володя кой-как справился с ними.

В таких занятиях провел он с полчаса и забыл об уроках, о гимназии, о всем в мире.

Вдруг за дверью послышались знакомые шаги. Володя вспыхнул, сунул книжку в карман, быстро подвинул лампу на место, причем едва не опрокинул ее, — и уселся, сгибаясь над тетрадкою. Вошла мама.

— Пойдем чай пить, Володенька, — сказала она.

Володя притворился, что смотрит на пятно и собирается открыть ножик. Мама нежно положила руки на его голову, — Володя бросил ножик и прижался к маме раскрасневшимся лицом. Очевидно, мама ничего не заметила, и Володя был рад этому. Но ему все-таки было стыдно, словно его поймали в глупой шалости.

## III

На круглом столе посреди столовой самовар тихо напевал свою воркующую песенку. Висячая лампа разливала по белой скатерти и темным обоям дремотное настроение.

Мама задумалась о чем-то, наклоняя над столом прекрасное, бледное лицо. Володя положил руку на стол и помешивал ложкою в стакане. Сладкие струйки пробегали в чае, тонкие пузырьки подымались на его поверхность. Серебряная ложка тихонько бренчала.

Кипяток, плеща, падал из крана в мамину чашку.

От ложечки на блюдце и на скатерть бежала легкая, растворившаяся в чае тень. Володя всматривался в нее: среди теней, бросаемых сладкими струйками и легкими пузырьками воздуха, она напоминала что-то, — что именно, Володя не мог решить. Он наклонял и вертел ложечку, перебирал по ней пальцами, — ничего не выходило.

«А все-таки, — упрямо подумал он, — не из одних же пальцев можно складывать тени. Из всего можно, только надо приноровиться».

И Володя стал всматриваться в тени самовара, стульев, маминой головы, в тени, отбрасываемые на столе посудой, — и во всех этих тенях старался уловить сходство с чем-нибудь. Мама говорила что-то, — Володя слушал невнимательно.

— Как теперь Леша Ситников учится? — спросила мама.

Володя в это время рассматривал тень молочника. Он встрепенулся и торопливо ответил:

— На кота.

— Володя, ты совсем спишь, — с удивлением сказала мама. — Какой кот?

Володя покраснел.

— Не знаю, с чего мне пришло, — сказал он. — Извини, мамочка, я не расслышал.

## IV

На другой вечер перед чаем Володя опять вспомнил о тенях и опять занялся ими. Одна тень у него все плохо выходила, как он ни вытягивал и ни сгибал пальцы.

Володя так увлекся, что не заметил, как подошла мама. Заслыша скрип отворяющейся двери, он сунул книжку в карман и смущенно

отвернулся от стены. Но мама уже смотрела на его руки, и боязливая тревога мелькнула в ее широких глазах.

— Что ты делаешь, Володя? Что ты спрятал?

— Нет, ничего, так, — бормотал Володя, краснея и неловко переминаясь.

Маме представилось почему-то, что Володя хотел курить и спрятал папиросу.

— Володя, покажи сейчас, что ты спрятал, — говорила она испуганным голосом.

— Право же, мама...

Мама взяла Володю за локоть.

— Что ж, мне самой к тебе в карман лезть?

Володя еще сильнее покраснел и вытащил из кармана книжку.

— Вот, — сказал он, протягивая ее маме.

— Что ж это?

— Ну вот, — объяснял Володя, — тут рисуночки есть, — вот видишь, тени. Ну, я и показывал их на стене, да у меня плохо выходило.

— Ну, что ж тут прятать! — сказала мама, успокоившись. — Какие ж это тени, покажи мне.

Володя застыдился, но послушно стал показывать маме тени.

— Вот это — голова лысого господина. А это — заячья голова.

— Ах ты! — сказала мама, — вот ты как уроки готовишь!

— Я, мама, немножко.

— То-то, немножко! Чего ж ты краснеешь, милый мой? Ну полно, ведь я знаю, ты все сделаешь, что надо.

Мама взъерошила Володины коротенькие волосы, Володя засмеялся и спрятал пылающее лицо под мамиными локтями.

Мама ушла, — а Володя все еще чувствовал неловкость и стыд. Мама застала его за таким занятием, над которым он сам посмеялся бы, если бы застал за ним товарища.

Володя знал, что он — мальчик умный, и считал себя серьезным, а ведь это все-таки — забава, годная разве только для девочек, когда они соберутся.

Он сунул книжку с тенями подальше в ящик своего стола и не вынимал ее оттуда больше недели, да и о тенях всю эту неделю мало вспоминал. Разве только иногда вечером, переходя от предмета к другому, улыбнется он, вспомнив рогатую головку барышни, — иногда даже сунется в ящик за книжкою, да вспомнит сейчас же, как мама застала его, застыдится, и скорее за дело.

## V

Володя и его мама, Евгения Степановна, жили на окраине губернского города, в собственном мамином доме. Евгения Степановна вдовела уже девять лет. Теперь ей было тридцать пять лет, она была еще молода и прекрасна, и Володя любил ее нежно. Она вся жила для сына, училась для него древним языкам и болела всеми его школьными тревогами. Тихая, ласковая, она несколько боязливо смотрела на мир широкими глазами, кротко мерцавшими на бледном лице.

Они жили с одною прислугою. Прасковья, угрюмая вдова, мещанка, была баба сильная, крепкая; ей было лет сорок пять, но по строгой молчаливости своей она была похожа на столетнюю старуху.

Когда Володя смотрел на ее мрачное, словно каменное лицо, ему часто хотелось узнать, что думает она длинными зимними вечерами на своей кухне, когда холодные спицы, позванивая, мирно шевелятся в ее костлявых руках и сухие губы ведут беззвучный счет. Вспоминает ли она пьяницу мужа? Или рано умерших детей? Или мерещится ей одинокая и бесприютная старость?

Безнадежно уныло и строго ее окаменелое лицо.

## VI

Долгий осенний вечер. За стеною и дождь и ветер.

Как надоедливо, как равнодушно горит лампа!

Володя оперся на локоть, весь наклоняясь над столом на левый бок, и смотрел на белую стену комнаты, на белую штору окна.

Не видны бледные цветы на обоях... Скучный белый цвет...

Белый абажур задерживает отчасти лучи лампы. Вся верхняя половина комнаты в полусвете.

Володя протянул вверх правую руку. По затененной абажуром стене потянулась длинная тень, слабо очерченная, смутная...

Тень ангела, улетающего в небеса от порочного и скорбного мира, прозрачная тень с широкими крыльями, с головою, грустно склоненною на высокую грудь.

Не уносится ли из мира нежными руками ангела что-то значительное и пренебреженное?..

Володя тяжело перевел дыхание. Рука его лениво опустилась. Он склонил скучающие глаза на свои книги.

Долгий осенний вечер... Скучный белый цвет... За стеною плачет и лепечет...

## VII

Мама второй раз застала Володю за тенями. На этот раз бычачья голова очень удалась ему, и он любовался ею и заставлял быка вытягивать шею и мычать.

Но мама была недовольна.

— Вот как ты занимаешься! — укоризненно сказала она.

— Я ведь немножко, мама, — застенчиво прошептал Володя.

— Можно бы этим и в свободное время заняться, — продолжала мама. — Ведь ты не маленький, — как тебе не стыдно тратить время на такие пустяки!

— Мамочка, я больше не буду.

Но Володе трудно было исполнить обещание. Ему очень понравилось делать тени, и желание заняться этим частенько стало приходить ему среди какого-нибудь неинтересного урока.

Эта шалость иной вечер отнимала у него много времени и мешала хорошенько приготовить уроки. Приходилось наверстывать потом и недосыпать. А как бросить забаву?

Володе удалось изобрести несколько новых фигур, и не только при помощи пальцев. И эти фигуры жили на стене и, казалось иногда Володе, вели с ним занятные беседы.

Впрочем, он и раньше был большой мечтатель.

## VIII

Ночь. В Володиной комнате темно. Володя улегся в свою постель, но ему не спится. Он лежит на спине и смотрит на потолок.

По улице идет кто-то с фонарем. Вот по потолку пробегает его тень среди красных световых пятен от фонаря. Видно, что фонарь качается в руках прохожего, — тень колышется неровно и трепетно.

Володе становится почему-то жутко и страшно. Он быстро натягивает одеяло на голову и, весь содрогаясь от торопливости, ложится поскорее на правый бок и принимается мечтать.

Ему становится тепло и нежно. В голове его складываются милые, наивные мечты, те мечты, которые посещают его перед сном.

Часто, когда он ляжет спать, ему делается вдруг страшно, он словно становится меньше и слабее, — и прячется в подушки, забывает мальчишеские ухватки, делается нежным, ласковым, и ему хочется обнять и зацеловать маму.

## IX

Сгущались серые сумерки. Тени сливались. Володе было грустно.

Но вот и лампа. Свет пролился на зеленое сукно стола, по стене прошмыгнули неопределенные милые тени.

Володя почувствовал прилив радости и одушевления и заторопился вынуть серенькую книжку.

Бык мычит... Барышня звонко хохочет... Какие злые, круглые глаза делает этот лысый господин!

Теперь свое.

Степь. Странник с котомкою. Кажется, слышна печальная, тягучая дорожная песня... Володе радостно и грустно.

## X

— Володя, я уж третий раз вижу у тебя эту книжку. Что ж, ты целыми вечерами на свои пальцы любуешься?

Володя неловко стоял у стола, как пойманный шалун, и вертел книжку в горячих пальцах.

— Дай мне ее сюда! — сказала мама.

Володя сконфуженно протянул ей книжку. Мама взяла ее и молча ушла, — а Володя уселся за тетрадки.

Ему было стыдно, что он своим упрямством огорчил маму, и досадно, что она отняла от него книжку, и еще стыдно, что он довел себя до этого. Он чувствовал себя очень неловко, и досада на маму терзала его: ему совестно было сердиться на маму, но он не мог не сердиться. И оттого, что сердиться было совестно, он еще более сердился.

«Ну, пусть отняла, — подумал он наконец, — а я и так обойдусь».

И в самом деле, Володя уже знал фигуры на память и пользовался книжкою только так, для верности.

## XI

Мама принесла к себе книжку с рисунками теней, раскрыла их — и задумалась.

«Что же в них заманчивого? — думала она. — Ведь он — умный, хороший мальчик, — и вдруг увлекается такими пустяками!»

«Нет, уж это, значит, не пустяки!..»

«Что же, что тут?» — настойчиво спрашивала она себя.

Странная боязнь зарождалась в ней, — какое-то неприязненное, робкое чувство к этим черным рисункам.

Она встала и зажгла свечу. С серенькою книжкою в руках подошла она к стене и приостановилась в боязливой тоске.

«Да надо же наконец узнать, в чем здесь дело», — решила она — и принялась делать тени, от первой до последней.

Она настойчиво, внимательно складывала пальцы и сгибала руки, пока не получала той фигуры, какая была ей нужна. Смутное, боязли-

вое чувство шевелилось в ней. Она старалась его преодолеть. Но боязнь росла и чаровала ее. Руки ее дрожали, а мысль, запуганная сумерками жизни, бежала навстречу грозящим печалям.

Вдруг услышала она шаги сына. Она вздрогнула, спрятала книжку и погасила свечу.

Володя вошел и остановился у порога, смущенный тем, что мама строго смотрит на него и стоит у стены в неловком, странном положении.

— Что тебе? — спросила мама суровым, неровным голосом.

Смутная догадка пробежала в Володиной голове, но Володя поторопился ее отогнать и заговорил с мамою.

## XII

Володя ушел.

Мама прошлась несколько раз по комнате. Она заметила, что за нею на полу движется ее тень, и — странное дело! — первый раз в жизни ей сделалось неловко от этой тени. Мысль о том, что есть тень, беспрестанно приходила ей в голову, — но Евгения Степановна почему-то боялась этой мысли и даже старалась не глядеть на тень.

А тень ползла за нею и дразнила ее. Евгения Степановна пыталась думать о другом, — напрасно.

Она внезапно остановилась, бледная, взволнованная.

— Ну тень, тень! — воскликнула она вслух, со странным раздражением топая ногами, — ну что же из того? что же?

И вдруг сразу сообразила, что глупо так кричать и топать ногами, и притихла.

Она подошла к зеркалу. Ее лицо было бледнее обыкновенного, и губы ее дрожали испуганною злобою.

«Нервы, — подумала она, — надо взять себя в руки».

## XIII

Ложились сумерки. Володя размечтался.

— Пойдем погуляем, Володя, — сказала мама.

Но и на улице были повсюду тени, вечерние, таинственные, неуловимые, — и они шептали Володе что-то родное и бесконечно печальное.

В туманном небе проглянули две-три звезды, такие далекие и чужие и Володе, и обступившим его теням. Но Володя, чтоб сделать приятное маме, стал думать об этих звездах: только они одни были чужды теням.

— Мама, — сказал он, не замечая, что перебил маму, которая говорила ему о чем-то, — как жаль, что нельзя добраться вот до этих звезд.

Мама взглянула на небо и ответила:

— Да и не надо. Только на земле нам и хорошо, там — другое.

— А как они слабо светят! Впрочем, тем и лучше.

— Почему?

— Ведь если бы они посильнее светили, так и от них побежали бы тени.

— Ах, Володя, зачем ты все только о тенях и думаешь?

— Я, мама, нечаянно, — сказал Володя раскаивающимся голосом.

## XIV

Володя все еще старался приготовлять уроки получше, — он боялся огорчить маму леностью. Но всю силу своей фантазии он употреблял на то, чтобы вечером уставить на своем столе груду предметов, которая отбросила бы новую, причудливую тень. Он раскладывал так и этак все, что было у него под руками, и радовался, когда на белой стене появлялись очертания, которые можно было осмыслить. Эти теневые очертания становились близки ему и дороги. Они не были немы, они говорили, — и Володя понимал их лепечущий язык.

Он понимал, на что ропщет этот унылый пешеход, бредущий по большой дороге в осеннюю слякоть, с клюкою в дрожащих руках, с котомкою на понурой спине.

Он понимал, на что жалуется морозным треском сучьев занесенный снегом лес, тоскующий в зимнем затишье, и про что каркает медленный ворон на поседелом дубе, и о чем грустит суетливая белка над опустелым дуплом.

Он понимал, о чем на тоскливом осеннем ветре плачут нищие старухи, дряхлые, бесприютные, которые в ветхих лохмотьях дрожат на тесном кладбище, среди шатких крестов и безнадежно черных могил.

Самозабвение и томительная грусть!

## XV

Мама замечала, что Володя продолжает шалить. За обедом она сказала:

— Хоть бы ты, Володя, другим чем заинтересовался.

— Да чем?

— Почитал бы.

— Да, начнешь читать, а самого так и тянет делать тени.

— Забаву бы придумал другую, — хоть мыльные пузыри.

Володя грустно улыбнулся.

— Да, пузыри полетят, а за ними тени по стене.

— Володя, ведь ты этак вконец расстроишь себе нервы. Ведь я вижу, — ты даже похудел из-за этого.

— Мама, ты преувеличиваешь!

— Пожалуйста!.. Ведь я знаю, — ты по ночам стал плохо спать и бредишь иногда. Ну, представь, если ты захвораешь!

— Вот еще!

— Не дай Бог, сойдешь с ума или умрешь, — какое мне горе будет!

Володя засмеялся и кинулся на шею к маме.

— Мамочка, я не умру. Я больше не буду.

Мама заметила, что Володя уже плачет.

— Ну, полно, — сказала она, — Бог милостив. Вот видишь, какой ты стал нервный, — и смеешься, и плачешь.

## XVI

Мама пристально, боязливо всматривалась в Володю. Всякие мелочи теперь волновали ее.

Она заметила, что Володина голова слегка несимметрична: одно ухо было выше другого, подбородок немного отклонен в сторону. Мама смотрела в зеркало и замечала, что Володя и в этом похож на нее.

«Может быть, — думала она, — это — один из признаков дурной наследственности, вырождения? И в ком тогда корень зла? Я ли — такая неуравновешенная? Или отец?»

Евгения Степановна вспомнила покойного мужа. Это был добрейший и милейший человек, слабовольный, с бессмысленными порываниями куда-то, то восторженно, то мистически настроенный, грезивший о лучшем общественном устройстве, ходивший в народ, — и пивший запоем в последние годы жизни.

Он был молод, когда умер, — ему было тогда всего тридцать пять лет.

Мама даже свела Володю к врачу и описала его болезнь. Врач, жизнерадостный молодой человек, выслушал ее, посмеиваясь, дал кой-какие советы относительно диеты и образа жизни, сопровождая их шутливыми прибаутками, весело настрочил «рецептик микстурки» и игриво прибавил, похлопывая Володю по спине:

— А самое лучшее лекарство — посечь бы.

Мама жестоко обиделась за Володю, но все остальные предписания выполнила в точности.

## XVII

Володя сидел в классе. Ему было скучно. Он слушал невнимательно.

Он поднял глаза. На потолке к передней стене класса двигалась тень. Володя заметил, что она падает из первого окна. Сначала она легла от окна к середине класса, а потом быстро прошмыгнула от Володи вперед, — очевидно, на улице под окном шел кто-то. Когда еще эта тень двигалась, от второго окна упала другая тень, тоже сначала к задней стене, потом начала быстро поворачиваться к передней. То же повторилось в третьем и четвертом окне, — тени падали в класс, на потолок, и по мере того, как прохожий подвигался вперед, они тянулись назад.

«Да, — подумал Володя, — это не так, как в открытом месте, где тень тянется за человеком; здесь, когда человек идет вперед, тень скользит назад, и другие тени уже опять встречают его впереди».

Володя перевел глаза на сухую фигуру учителя. Холодное, желтое лицо учителя раздражает Володю. Володя ищет его тень и находит ее на стене, за учительским стулом. Тень уродливо перегибается и колышется, — но у нее нет желтого лица и язвительной усмешки, и Володе приятно смотреть на нее. Мысли его убегают куда-то далеко, — и он уже совсем ничего не слышит.

— Ловлев! — называет его учитель.

Володя по привычке подымается и стоит, тупо глядя на учителя. У него такой нездешний вид, что товарищи смеются, а учитель делает укоризненное лицо.

Потом Володя слышит, что учитель издевается над ним вежливо и зло. Володя дрожит от обиды и от бессилия. Потом учитель объявляет ему, что ставит ему единицу за незнание и невнимательность, и приглашает его садиться.

Володя глупо улыбается и принимается соображать, что с ним случилось.

## XVIII

Единица, первая в Володиной жизни!

Как это было странно для Володи!

— Ловлев! — дразнят его товарищи, смеясь и толкаясь. — схватил кол! С праздником!

Володе неловко. Он еще не знает, как следует вести себя в таких случаях.

— Ну схватил, — досадливо говорит он, — тебе-то что за дело!

— Ловлев! — кричит ему ленивый Снегирев. — Нашего полку прибыло!

Первая единица! И ее надо было показать маме. Это было стыдно и унизительно. Володя чувствовал на своей спине в ранце странную

тяжесть и неловкость, — этот «кол» пренеудобно торчал в его сознании и никак не вязался ни с чем в его уме.

Единица!

Он не мог привыкнуть к мысли об единице и не мог думать ни о чем другом. Когда городовой близ гимназии посмотрел на него, по обычаю своему, строго, Володя почему-то подумал: «А вот если бы ты знал, что у меня единица!»

Это было совсем неловко и непривычно, — Володя не знал, как ему держать голову и куда девать руки, — во всем теле была неловкость.

И еще надо было принимать перед товарищами беззаботный вид и говорить о другом!

Товарищи! Володя был уверен, что все они ужасно рады его единице.

## XIX

Мама посмотрела на единицу, перевела непонимающие глаза на Володю, опять взглянула на отметку и тихо воскликнула:

— Володя!

Володя стоял перед нею и уничтожался. Он смотрел на складки маминого платья, на мамины бледные руки и чувствовал на своих трепетных веках ее испуганные взгляды.

— Что это? — спросила мама.

— Ну что ж, мама, — вдруг заговорил Володя, — ведь это ж первая!

— Первая!

— Ну, ведь это со всяким может быть. И, право, это нечаянно.

— Ах, Володя, Володя!

Володя заплакал, по-ребячьи размазывая слезы ладонью по щекам.

— Мамочка, не сердись, — зашептал он.

— Вот твои тени! — сказала мама.

В ее голосе Володе послышались слезы. Сердце его сжалось. Он взглянул на маму. Она плакала. Он бросился к ней.

— Мама, мама, — повторял он, целуя ее руки, — я брошу, право, брошу всякие тени.

## XX

Володя сделал громадное усилие воли — и не занимался тенями, как его ни тянуло к ним. Он старался наверстать пропущенное из уроков.

Но тени настойчиво мерещились ему. Пусть он не вызывал их, складывая пальцы, пусть он не громоздил предмет на предмет, чтоб они отбросили тень на стене, — тени сами обступали его, назойливые, неотвязные.

Володе уже незанимательны стали предметы, он их почти и не видел, — все его внимание уходило на их тени.

Когда он шел домой и солнце, бывало, проглянет из осенних туч, хоть в дымчатой ризке, — он радовался, что повсюду побежали тени.

Тени от лампы стояли около него, когда он вечером был дома.

Тени везде вокруг, — резкие тени от огней, смутные от рассеянного дневного света, — все они теснились к Володе, скрещивались, обволакивали его неразрывною сетью.

Некоторые из них были непонятны, загадочны, другие напоминали что-то, на что-то намекали, — но были и милые тени, близкие, знакомые, — вот их-то и сам Володя, хотя и мимовольно, искал и ловил повсюду в беспорядочном мелькании чуждых теней.

Но грустны были эти милые и знакомые тени. Когда же замечал Володя, что сам он ищет этих теней, он терзался совестью и шел каяться к маме.

Случилось однажды, что Володя не одолел соблазна, пристроился к стенке и начал показывать себе бычка. Мама застала его.

— Опять! — сердито воскликнула она. — Нет, я наконец попрошу директора, чтоб тебя сажали в карцер.

Володя досадливо покраснел и угрюмо ответил:

— И там есть стена. Везде стена.

— Володя! — горестно воскликнула мама, — что ты говоришь!

Но Володя уже кается в своей грубости и плачет.

— Мама, я сам не знаю, что со мною делается.

## XXI

А мама все не может одолеть своего суеверного страха теней. Ей все чаще думается, что она, как Володя, погрузится в созерцание теней, но она старается утешить себя.

— Какие глупые мысли! — говорит она себе. — Все обойдется, даст Бог, благополучно: нашалится и перестанет.

А сердце замирает от тайного ужаса, и настойчиво забегает ее мысль, пугливая перед жизнью, навстречу будущим печалям.

В тоскливые минуты утра она поверяет свою душу, вспоминает свою жизнь — и видит ее пустоту, ненужность, бесцельность. Одно только бессмысленное мелькание теней, сливающихся в густеющих сумерќах.

«Зачем я жила? — спрашивает она себя. — Для сына? Но для чего? Чтобы и он стал добычею теней, маньяком с узким горизонтом, — прикованный к иллюзиям, к бессмысленным отражениям на безжизненной стене?

И он тоже войдет в жизнь и даст жизнь ряду существований, призрачных и ненужных, как сон».

Она садится в кресло у окна и думает, думает.

Мысли горькие, тягучие.

Она заламывает в тоске прекрасные, белые руки. Мысли ее разбегаются. Она смотрит на свои заломленные руки и начинает соображать, какие из этого могли бы выйти фигуры на тени. Она ловит себя на этом и в испуге вскакивает.

— Боже мой! — восклицает она, — да ведь это — безумие!

## XXII

За обедом мама смотрит на Володю.

«Он побледнел и похудел с тех пор, как ему попалась эта несчастная книжка. И весь он переменился, — характером, и всем. Говорят, характер перед смертью меняется. Что, если он умрет?

Ах, нет, нет, не дай Господи!»

Ложка задрожала в ее руке. Она подняла к образу боязливые глаза.

— Володя, да отчего ж ты не доел супа? — испуганно спрашивает она.

— Не хочется, мама.

— Володя, не капризничай, голубчик, — ведь это же вредно — не есть супу.

Володя лениво улыбается и медленно кончает суп. Мама налила ему слишком полную тарелку. Он откидывается на спинку стула и хочет сказать с досады, что суп был невкусен. Но у мамы такое обеспокоенное лицо, что Володя не смеет говорить об этом и бледно улыбается.

— Теперь я сыт, — говорит он.

— Ах, нет, Володя, сегодня все твое любимое.

Володя печально вздыхает: он уже знает, что если мама говорит о его любимых блюдах, то это значит: будет его пичкать. Он догадывается, что и за чаем мама заставит его, как и вчера, есть мясо.

## XXIII

Вечером мама говорит Володе:

— Володя, милый мой, ты опять увлечешься, — уж лучше ты не затворяй дверей!

Володя принимается за уроки. Но ему досадно, что за его спиною открытая дверь и что мама иногда проходит мимо этой двери.

— Я так не могу, — кричит он, шумно отодвигая стул, — я не могу ничем заняться, когда дверь настежь.

— Володя, зачем же ты кричишь? — ласково укоряет мама.

Володя уже раскаивается и плачет. Мама ласкает его и уговаривает:

— Ведь я, Володенька, о тебе забочусь, чтобы помочь тебе справиться с твоим увлечением.

— Мама, посиди здесь, — просит Володя.

Мама берет книгу и садится у Володина стола. Несколько минут Володя работает спокойно. Но фигура мамы начинает понемногу раздражать его. «Точно над больным!» — злобно думает он. Его мысли перебиваются, он досадливо двигается и кусает губы. Мама наконец замечает это и уходит из комнаты.

Но Володя не чувствует облегчения. Он терзается раскаянием, что показал свое нетерпение. Он пробует заниматься — и не может. Наконец он идет за мамою.

— Мама, зачем же ты ушла? — робко спрашивает он.

## XXIV

Ночь под праздник. Перед образами теплятся лампады.

Поздно и тихо. Мама не спит. В таинственном сумраке спальни она стоит на коленях, молится и плачет, всхлипывая по-детски.

Ее косы бегут на белое платье; плечи ее вздрагивают. Умоляющим движением подымает она руки к груди и заплаканными глазами смотрит на икону. Лампада на цепях еле заметно зыблется от ее горячего дыхания. Тени колышутся, толпятся в углах, шевелятся за киотом и лепечут что-то тайное. Безнадежная тоска в их лепете, неизъяснимая грусть в их медленно-зыбких колыханиях.

Мать встает, бледная, с широкими, странными глазами и колеблется на ослабевших ногах. Тихо идет она к Володе. Тени обступают ее, мягко шуршат за ее спиною, ползут у ее ног, падают, легкие, как паутина, к ней на плечи и, заглядывая в ее широкие глаза, лепечут непонятное.

Она осторожно подходит к кровати сына. В лучах лампады лицо его бледно. На нем лежат резкие, странные тени. Не слышно дыхания, — он спит так тихо, что маме страшно.

Она стоит, окруженная смутными тенями, обвеянная смутными страхами.

## XXV

Высокие церковные своды темны и таинственны. Вечерние песни подымаются к этим сводам и звучат там торжественною грустью. Таинственно, строго смотрят темные образа, озаренные желтыми огоньками восковых свечей. Теплое дыхание воска и ладана наполняет воздух величавою печалью.

Евгения Степановна поставила свечу перед иконою Богоматери и стала на колени. Но молитва ее рассеянна. Она смотрит на свою свечу. Огонь ее зыблется. Тени от свеч падают на черное платье Евгении Степановны и на пол и отрицательно колышутся.

Тени реют по стенам церкви и утопают вверху, в этих темных сводах, где звучат торжественные, печальные песни.

## XXVI

Другая ночь.

Володя проснулся. Темнота обступила его и беззвучно шевелится.

Володя высвободил руки, поднял их и шевелит ими, устремляя на них глаза. В темноте он не видит своих рук, но ему кажется, что темные тени шевелятся перед его глазами...

Черные, таинственные, несущие в себе скорбь и лепет одинокой тоски...

А маме тоже не спится, — тоска томит ее.

Мама зажигает свечу и тихонько идет в комнату сына, взглянуть, как он спит.

Неслышно приотворила она дверь и робко глянула на Володину кровать.

Луч желтого света дрогнул на стене, пересекая Володино красное одеяло. Мальчик тянется руками к свету и с бьющимся сердцем следит за тенями. У него даже нет вопроса: откуда свет?

Он весь поглощен тенями. Глаза его, прикованные к стене, полны стремительного безумия.

Полоса света ширится, тени бегут, угрюмые, сгорбленные, как бесприютные путницы, торопящиеся донести куда-то ветхий скарб, который бременит их плечи.

Мама подошла к кровати, дрожа от ужаса, и тихо окликнула сына:

— Володя!

Володя очнулся. С полминуты глядел он на маму широкими глазами, потом весь затрепетал, соскочил с постели и упал к маминым ногам, обнимая ее колени и рыдая.

— Какие сны тебе снятся, Володя! — горестно воскликнула мама.

## XXVII

— Володя, — сказала мама за утренним чаем, — так нельзя, голубчик; ты совсем изведешься, если и по ночам будешь ловить тени.

Бледный мальчик грустно опустил голову. Губы его нервно вздрагивали.

— Знаешь, что мы сделаем? — продолжала мама. — Мы лучше каждый вечер вместе понемножку поиграем тенями, а потом и за уроки присядем. Хорошо?

Володя слегка оживился.

— Мамочка, ты — милая! — застенчиво сказал он.

## XXVIII

На улице Володя чувствовал себя сонно и пугливо. Расстилался туман, было холодно, грустно. Очерки домов в тумане были странны. Угрюмые фигуры людей двигались под туманною дымкою, как зловещие неприветливые тени. Все было громадно необычайно. Лошадь извозчика, который дремал на перекрестке, казалась из тумана огромным, невиданным зверем.

Городовой посмотрел на Володю враждебно. Ворона на низкой крыше пророчила Володе печаль. Но печаль была уже в его сердце, — ему грустно было видеть, как все враждебно ему.

Собачонка с облезлою шерстью затявкала на него из подворотни, — и Володя почувствовал странную обиду.

И уличные мальчишки, казалось, хотели обидеть и осмеять Володю. В былое время он бы лихо расправился с ними, а теперь боязнь теснилась в его груди и оттягивала вниз обессилевшие руки.

Когда Володя вернулся домой, Прасковья отворила ему дверь и посмотрела на него угрюмо и враждебно. Володе сделалось неловко. Он поскорее ушел в комнаты, не решаясь поднять глаз на унылое Прасковьино лицо.

## XXIX

Мама сидела у себя одна. Были сумерки, — и было скучно.

Где-то мелькнул свет.

Володя вбежал, оживленный, веселый, с широкими, немного дикими глазами.

— Мама, лампа горит, поиграем немножко.

Мама улыбается и идет за Володею.

— Мама, я придумал новую фигуру, — взволнованно говорит Володя, устанавливая лампу. — Погляди... Вот видишь? Это — степь, покрытая снегом, — и снег идет, мятель.

Володя поднимает руки и складывает их.

— Теперь, вот видишь, старик прохожий. По колени в снѐгу. Трудно идти. Один. Чистое поле. Деревня далеко. Он устал, ему холодно, страшно. Он весь согнулся, — старый такой.

Мама поправляет Володины пальцы.

— Ах! — в восторге восклицает Володя, — ветер рвет с него шапку, развевает волосы, зарывает его в снег. Сугробы все выше. Мама, мама, слышишь?

— Вьюга.

— А он?

— Старик?

— Слышишь, стонет?

— Помогите!

Оба бледные, смотрят они на стену. Володины руки колеблются, — старик падает.

Мама очнулась первая.

— Пора и за дело, — говорит она.

## XXX

Утро. Мама дома одна. Погруженная в бессвязные, тоскливые думы, она ходит из комнаты в комнату.

На белой двери обрисовалась ее тень, смутная в рассеянных лучах затуманенного солнца. Мама остановилась у двери и подняла руку широким, странным движением. Тень на двери заколебалась и зашептала о чем-то знакомом и грустном. Странная отрада разлилась в душе Евгении Степановны, и она двигала обеими ру-

ками, стоя перед дверью, улыбалась дикою улыбкою и следила мелькание тени.

Послышались Прасковьины шаги, и Евгения Степановна вспомнила, что она делает нелепое.

Опять ей страшно и тоскливо.

«Надо переменить место, — думает она, — уехать куда-нибудь подальше, где будет новое.

Бежать отсюда, бежать!»

И вдруг вспоминаются ей Володины слова:

— И там будет стена. Везде стена.

«Некуда бежать!»

В отчаянии она ломает бледные, прекрасные руки.

### XXXI

Вечер.

В Володиной комнате на полу горит лампа. За нею у стены на полу сидят мама и Володя. Они смотрят на стену и делают руками странные движения.

По стене бегут и зыблются тени.

Володя и мама понимают их. Они улыбаются грустно и говорят друг другу что-то томительное и невозможное. Лица их мирны, и грезы их ясны, — их радость безнадежно печальна, и дико радостна их печаль.

В глазах их светится безумие, блаженное безумие.

Над ними опускается ночь.

## *Червяк*

### I

Ванда, смуглая и рослая девочка лет двенадцати, вернулась из гимназии румяная с мороза и веселая. Шумно бегала она по комнатам, задевая и толкая подруг. Они опасливо унимали ее, но и сами заражались ее

веселостью и бегали за нею. Они, однако, робко останавливались, когда мимо них проходила Анна Григорьевна Рубоносова, учительница, у которой девочки жили на квартире. Анна Григорьевна сердито ворчала, хлопотливо перебегая из кухни в столовую и обратно. Она была недовольна и тем, что обед еще не готов, а Владимир Иванович, муж Анны Григорьевны, должен сейчас вернуться из должности, и тем, что Ванда шалила.

— Нет, — досадливо говорила Анна Григорьевна, — последний год держу вас. И в гимназии-то вы мне надоели до смерти, да и тут с вами возись. Нет, будет с меня, намаялась.

Зеленоватое лицо Анны Григорьевны принимало злое выражение, желтые клыки ее выставлялись из-под верхней губы, и она мимоходом больно щипала Ванду за руку. Ванда ненадолго стихала, — девочки боялись Анны Григорьевны, — но скоро снова комнаты дома Рубоносовых оглашались смехом и гулкою беготнею.

У Рубоносовых был собственный дом, деревянный, одноэтажный, который они недавно построили и которым очень гордились. Владимир Иваныч служил в губернском правлении, Анна Григорьевна — в женской гимназии. Детей у них не было, и потому, может быть, Анна Григорьевна часто имела злой и раздраженный вид. Она любила щипаться. Ей было кого щипать: Рубоносовы держали на квартире каждый год несколько гимназисток, из приезжих, и у них жила сестра Анны Григорьевны, Женя, девочка лет тринадцати, маленькая и худенькая, с костлявыми плечами и большими холодными губами бледно-малинового цвета, похожая на старшую сестру, как молодая лягушка бывает похожа на старую. Нынче кроме Жени у Рубоносовых жили еще четыре девочки: Ванда Тамулевич, дочь лесничего в одном из далеких уездов Лубянской губернии, веселая девочка с большими глазами, втайне тосковавшая по родине и всегда к концу зимы (она жила у Рубоносовых третий год) заметно хиревшая от этого, — Катя Рамнева, самая старшая и смышленая из девочек, — смешливая, черноглазая Саша Епифанова, — и ленивая русоволосая красавица Дуня Хвастуновская, обе лет по тринадцати.

У Ванды была причина веселиться: она сегодня получила «пятерку» по самому трудному для нее предмету. Ванде всегда трудно и скучно было приготовлять те уроки, которые надо было брать

памятью. Случалось часто, что во время заучивания неинтересных вещей мысли ее разбегались и мечта уносила ее в таинственно-тихие, оснеженные леса, где, бывало, несли ее с отцом легкие санки, где наклонялись над нею толстые от снега ветви сумрачно-молчаливых елей, где бодрый морозный воздух вливался в грудь такими веселыми, такими острыми струями. Ванда мечтала, часы летели, урок оставался невыученным, — и утром наскоро прочитывала его Ванда и отвечала, если спрашивали, кой-как, на «тройку».

Но вчера был удачный вечер: Ванда ни разу не вспомнила далеких лесов своей родины. Сегодня она ответила урок «батюшке» слово в слово по книге: отец законоучитель придерживался старого способа, как его самого обучали лет сорок назад. Батюшка ее похвалил, назвал «молодец-девка» и поставил ей пять.

Вот почему теперь Ванда буйно носилась по комнатам, дразнила угрюмого пса Нерона, который, впрочем, с снисходительною важностью относился к ее шаловливым выходкам, хохотала и тормошила подруг. От быстрых движений у нее захватывало дыхание, но радость поднимала ее и заставляла бесноваться. С разбегу Ванда налетела на суетливую служанку Маланью и выбила у нее из рук тарелку, но ловко подхватила ее на лету.

— О, чтоб тебя, оглашенная! — сердито окрикнула ее Маланья.

— Ванда, перестанешь ли шалить! — прикрикнула на нее и Анна Григорьевна, — разобьешь еще что-нибудь.

— Не разобью, — весело крикнула Ванда, — я ловкая.

Она завертелась на каблуках, махнула руками, зацепила любимую чашку Владимира Ивановича, которая стояла на краю обеденного стола, — и замерла от ужаса: послышался звон разбитого фарфора, беспощадно-ясный и веселый, по полу покатились разноцветные осколки разбитой чашки. Ванда стояла над черепками, прижимая руки к груди; ее черные бойкие глаза от испуга приняли безумное выражение, и смуглые полные щеки внезапно побледнели. Девочки притихли и столпились вокруг Ванды, пугливо разглядывая осколки.

— Вот и дошалилась! — наставительно сказала Женя.

— Задаст тебе Владимир Иваныч, — заметила Катя.

Саше Епифановой вдруг сделалось смешно; она фыркнула и закрыла рот рукою, как делала всегда, чтоб не очень рассмеяться. Анна Григорьевна, заслышавши звон, прибежала из кухни, восклицая:

— Что здесь такое?

Девочки молчали. Ванда затрепетала. Анна Григорьевна увидела черепки.

— Этого только не хватало! — воскликнула она, и злые глазки ее тускло засверкали. — Кто это сделал? Говорите сейчас! Это твои штуки, Ванда?

Ванда молчала. Женя ответила за нее:

— Это она здесь прыгала и вертелась у самого стола, махнула руками, задела за чашку, чашка и разбилась. А мы ее все унимали, чтоб она не шалила.

— А, вот что! Благодарю покорно! — зашипела Анна Григорьевна, зеленея и грозя Ванде желтыми клыками.

Ванда порывисто бросилась к Анне Григорьевне, обхватила ее дрожащими руками за плечи и упрашивала:

— Анна Григорьевна, голубушка, не говорите Владимиру Иванычу!

— Да, Владимир Иваныч не увидит! — злобно ответила Анна Григорьевна.

— Скажите, что вы сами разбили.

— Любимую чашку Владимира Иваныча я стану бить! Что ты, с ума сошла, Ванда? Нет, милая, я не стану тебя выгораживать, разделывайся сама. Сама и черепки Владимиру Иваныч у покажешь.

Ванда заплакала. Девочки принялись собирать черепки.

— Да, да, покажешь сама, он тебя поблагодарит, голубушка, — язвительно говорила Анна Григорьевна.

— Не говорите, ради Бога, Анна Григорьевна, — опять принялась упрашивать Ванда, — накажите сами, а Владимиру Иванычу скажите, что это кошка разбила.

Саша, которая усердно собирала мелкие осколки, складывая их себе в горсть, опять фыркнула от смеха.

— Кот в сапогах! — крикнула она сдавленным от смеха голосом.

Катя шепотом унимала ее:

— Ну, чего смеешься? Ты бы разбила, так как взвыла бы небось.

Анна Григорьевна отымала от Ванды свои руки и повторяла:

— И не проси лучше, непременно скажу. Что это, в самом деле, постоянные шалости! Нет, матушка, надо тебя хорошенечко пробрать! Ну что, собрали? — спросила она девочек. — Давайте сюда.

Анна Григорьевна положила осколки на тарелку и отнесла их в гостиную, на стол, на самое видное место; Владимир Иваныч, как придет, так сейчас же заметит. Довольная своею изобретательностью, Анна Григорьевна опять забегала взад и вперед от стола к печке и тихонько, злобно шипела на Ванду. Ванда уныло и безнадежно ходила за Анною Григорьевною и упрашивала убрать черепки.

— Пусть хоть после обеда Владимир Иваныч увидит! — говорила она, горько плача.

— Нет, милая, пусть он сразу увидит, — злобно отвечала Анна Григорьевна.

В Ванде порывами подымалась злоба на жестокость Анны Григорьевны, и она отчаянно всплескивала руками и тихонько вскрикивала:

— Да простите же! Да прибейте лучше!

Остальные девочки сидели смирно и разговаривали шепотом.

## II

Владимир Иваныч возвращался домой и сладко мечтал, как он пропустит водочки, заморит червяка, а потом плотно пообедает. Был ясный, морозный день. Солнце клонилось к закату. Изредка набегал ветер, частый гость в Лубянске, и отрывал от снежных сугробов толпы пушистых снежинок. Улицы были пустынны. Низенькие деревянные домишки торчали кое-где из-под снега, розовеющего на солнце, да бесконечно тянулись длинные, полурасшатанные заборы, из-за которых выглядывали жесткие, серебристо-заиндевелые стволы деревьев.

Рубоносов пробирался по узким мосткам, молодцевато ступая кривыми ногами и весело посматривая маленькими глазками, мерцавшими оловянным блеском на красном, веснушчатом лице. Вдруг он завидел своего врага, Анну Фоминичну Пикилеву, учительницу гимна-

зии, сорокалетнюю девицу с очень злым языком. Владимиру Иванычу стало досадно: неужели он должен уступить ей дорогу, рискуя свалиться в снег? А она шла себе прямо, скромно опустивши змеиные глазки и сжимая ненавистные губы каким-то особым способом, раздражавшим всегда Владимира Иваныча. Он сжал в правой руке толстую палку из кружков березовой коры, плотно насаженных на железный прут, и решительно пошел на врага. И вот они сошлись грудь с грудью и менялись пламенными взорами. Владимир Иваныч первый нарушил молчание.

— Холера! — торжественно воскликнул он.

Только теперь он заметил, что за спиною Анны Фоминичны копошилась девчонка Машка, ее служанка, которая несла барышнины книжки. Владимиру Иванычу стало жаль, что нельзя покрупнее изругаться, — есть свидетельница.

Анна Фоминична прошептала шипящим голоском:

— Совершенно невежественный кавалер!

Владимир Иваныч растопырил ноги и, подпираясь палкою, говорил, посмеиваясь и показывая гнилые зубы:

— Ну, проходи, чего стала!

— Неужели вы не можете посторониться? — смиренно спросила Анна Фоминична.

— Что ж, мне для вас в снег лезть прикажете? Нет, брат, шалишь, мне свое здоровье дорого. Проходите, проходите, не засаривайте дороги.

И он легонечко протолкнул мимо себя Анну Фоминичну, но как-то так неосторожно, что она упала на снег и закричала визгливым голосом, вдруг потерявшим всю свою слащавую смиренность:

— Ах, ах, уронил! ах, ах, злодей!

Девчонка прыгнула за нею, — Владимир Иваныч поощрил ее легким ударом палки под коленки, — и барахталась в снегу, помогая барышне подняться и вопя благим матом.

Расчистив путь, Владимир Иваныч отправился дальше. Лицо его пылало гордою радостью победы. Машка кричала ему вдогонку:

— Ах ты, мазурик, паршивый, окаянный! Вот мы тебя к мировому.

Дойдя до перекрестка, Владимир Иваныч обернулся, погрозил палкою и крикнул:

— Поругайтесь, ясен колпак, так я вам и еще прибавлю.

В ответ на это Машка высунула язык, показала сразу четыре кукиша и звонко закричала:

— Сунься, сунься, очень мы тебя боимся!

Владимир Иваныч подумал, решил, что не стоит связываться, плюнул, энергично выругался и отправился домой, радостно чувствуя, что аппетит его взыграл и удвоился.

## III

Напряженно ожидавшие девочки вздрогнули. Раздался резкий, повелительный звонок: это возвратился Владимир Иваныч. Анна Григорьевна бросила злорадный взгляд на Ванду и кинулась отворять дверь. Женя повторила за сестрою и злорадный взгляд, и суетливый порыв в прихожую. Ванда, замирая от страха, бежала за Анною Григорьевною и тихонько упрашивала ее не говорить. Анна Григорьевна сердито оттолкнула ее.

Владимир Иваныч, освобождаясь от шубы при помощи жены и услужливой Жени, громогласно восклицал:

— Я ей, курицыной дочке! Будет помнить до новых веников, ясен колпак!

Ужас охватил Ванду: ей представилось, что Владимир Иваныч узнал каким-то чудом о разбитой чашке. Но скоро из его отрывочных восклицаний Ванда поняла, что речь идет о другом. Смутная надежда шевельнулась в ней: может быть, удастся оттянуть до после-обеда, когда Рубоносов будет от нескольких рюмок водки в добродушном, сонном настроении. Поспешно вернулась она в гостиную и стала перед столом, стараясь заслонить обломки чашки. Катя помогла ей, подвинув на столе лампу так, чтобы она сбоку закрывала тарелку.

Владимир Иваныч вошел в гостиную, потрясая кулаком и повторяя на расспросы Анны Григорьевны:

— Погоди, все расскажу по порядку, дай промочить горло.

Он остановился перед зеркалом и самодовольно оглядел себя, — он казался себе самому первым красавцем в городе. Потом он снял сюртук, бросил его Ванде и крикнул:

— Ванда, тащи в нашу спальню!

Ванда трепетно подхватила сюртук и уныло потащила его в спальню супругов, бережно держа его за петлю воротника и высоко подымая, словно бы он был стеклянный. Для большей осторожности она даже приподнялась на носки. Смешливая Саша закрыла рот рукою и выбежала из комнаты. Щеки Ванды покрылись яркою краскою стыда и досады.

Рубоносов, оставшись в жилете, опять посмотрелся в зеркало и стал расчесывать свои гладкие, светлые волосы с пробором посредине. Отвернувшись от зеркала, он увидел на столе, на тарелке, черепки. Мигом признал он в них остатки той вместительной чашки, из которой привык пить чай, — и почувствовал себя жестоко оскорбленным.

— Кто разбил мою чашку? — закричал он свирепым голосом. — Ведь это же безобразие, — мою любимую чашку!

Он гневно зашагал по комнате.

— Известно, кому же больше, как не Ванде, — заговорила злым, шипящим голосом Анна Григорьевна.

Женя, торопясь услужить, взволнованно повторила свой рассказ о том, как Ванда разбила чашку. Потом она растопырила руки и закружилась, представляя Ванду. Ее слегка поникшее зеленоватое лицо с тупым носом выражало озабоченность усердия, злые губы не улыбнулись, и спина отвратительно горбатилась.

— Вечные шалости! — шипела Анна Григорьевна, — никакой нет справы с этой девчонкой. Уйми хоть ты ее, Владимир Иваныч, — ведь иначе что же это у нас будет: всю посуду перебьют. Ведь они нам не золотые горы возят, — одни хлопоты да беспокойство с ними.

— Она и тарелки чуть не побила, — опять вмешалась Женя, — Маланья несла из кухни тарелки, а она на нее как налетит! Маланья едва только подхватила, а то так бы все тарелки вдребезги.

Рубоносов постепенно свирепел, багровел и гневно рычал. Ванда стояла за дверьми гостиной, плакала и тихонько молилась, торопливо крестясь. Сквозь щель двери видела она багровое лицо Владимира Иваныча, и оно было ей отвратительно и страшно. Рубоносов крикнул:

— Ванда, поди-ка сюда!

Ванда трепетно вошла в гостиную.

— Ты что это, курицына дочка, наделала? — закричал на нее Владимир Иваныч.

Ванда увидела в его руке ременную плеть, которая служила Рубоносову для усмирения Нерона.

— Поди-ка, поди-ка сюда! — говорил Владимир Иваныч, брызгая слюною, — вот я тебя приласкаю плеточкой.

Он свирепо замахал плетью и пронзительно засвистал. Испуганная Ванда попятилась назад, к дверям, — он ухватил ее за плечо и потащил, нервно подергивая, на середину комнаты. С громким плачем Ванда упала на колени. Рубоносов взмахнул плетью. Заслыша свист плети в воздухе, Ванда отчаянно взвизгнула, увернулась от удара судорожно-быстрым движением, вскочила на ноги и бросилась в переднюю, где забилась за шкап, в тесный, пыльный угол. По всему дому разносились оттуда ее истерические вскрикивания. Владимир Иваныч ринулся было вытаскивать Ванду, но Анна Григорьевна, испуганная дикими глазами и неистовыми криками девочки, остановила мужа:

— Ну довольно, Владимир Иваныч, брось ее, — сказала она, — еще наплачешься с нею. Смотри, какие у нее глаза, — начнет кусаться, пожалуй. Уж видно, как волка ни корми, а он все в лес смотрит.

Рубоносов остановился перед шкапом, за которым дрожала и билась Ванда.

— Прятаться от меня, ясен колпак! — заговорил он медленно, со свирепыми ударениями на словах, весь багровый от негодования. — Ну ладно, подожди, я тебя иначе доеду.

Ванда притихла и прислушивалась.

— От меня не спрячешься, курицына дочка! — продолжал Владимир Иваныч, видимо, подыскивая угрозу пострашнее. — Я знаю, что с тобой сделать. Вот погоди, ужо ночью, как только ты заснешь, заползет тебе червяк в глотку. Слышишь, курицына дочка, червяк!

Владимир Иваныч сделал на слове «червяк» грозное, рявкающее ударение и сердито бросил плетку на пол. Из-за шкапа глядели на него, не отрываясь, черные, широкие глаза и неподвижно смуглело побледневшее лицо.

— Будешь ты у меня знать! — говорил Рубоносов. — Вползет червяк прямо в глотку, ясен колпак! Так по языку и поползет. Он тебе все чрево расколупает. Он тебя засосет, миляга!

Ванда чутко, внимательно слушала; ее испуганные глаза неподвижно мерцали среди теней, окутывающих ее в пыльном, темном углу за шкапом. А Владимир Иваныч повторял свои странные, злобные угрозы, и Ванде из ее душного угла он казался похожим на чародея, напускающего на нее таинственные наваждения, неотразимые и ужасные.

## IV

Выдумка о червяке понравилась Рубоносову, он повторял ее несколько раз и за обедом, и после обеда вечером. Понравилась эта шутка и Анне Григорьевне, и девочкам, — все смеялись над Вандою. Ванда молчала и испуганно посматривала на Владимира Ивановича. Иногда она думала, что он шутит и что какой же может быть червяк? Иногда ей становилось страшно.

Весь вечер ей было не по себе. Она чувствовала себя и виноватою, и обиженною. Ей хотелось бы остаться одной, забиться куда-нибудь в угол и поплакать, — но нельзя было этого сделать: вокруг нее тихо жужжали ее подруги, и она сама должна была сидеть с ними, за постылыми книгами и скучными тетрадками; в соседней комнате разговаривали Рубоносовы. Ванда с нетерпением ожидала ночи, когда можно будет хоть одеялом прикрыться от этих докучливых, ненужных людей.

Ванда сидела и притворялась, что занимается уроками. Закрывшись руками от подруг, она старалась представить себе отцов дом и глухие леса. Она смыкала глаза и видела далекую родину.

Весело трещит огонь в печке. Ванда сидит на полу и протягивает к огню застылые, красные руки, — она только что прибежала домой. А в окно глядит зимний день, морозный, светлый. Низкое солнце румянит искристые кристаллы оконных узоров. Тепло, уютно, кругом свои, — добродушный смех, шутки.

Но входил Рубоносов и спрашивал:

— Что, Ванда, задумалась? по червяке соскучилась, ясен колпак? Небось, вползет ночью в самое чрево.

Девочки смеялись. Ванда растерянно озиралась широкими, черными глазами.

«Червяк!» — тихонько, одними губами повторяла она и вдумывалась в это слово. Самый звук его казался ей странным и каким-то грубым. Почему червяк? Она расчленяла слово на слоги и звуки; гнусное шипение вначале, потом рокот угрозы, потом скользкое, противное окончание. Ванда брезгливо повела плечами, и холодок пробежал по ее спине. Бессмысленный и некрасивый слог «вяк» повторялся настойчиво в ее памяти, — он был ей противен, но она не могла от него отделаться.

## V

Было поздно. Девочки разделись и улеглись в своей спальне, где их пять кроватей неуютно стояли в один ряд. Кровать Ванды была вторая с краю. По левую сторону у стены спала Дуня Хвастуновская, с правой стороны Саша, потом Катя, а у двери в спальню Рубоносовых Женя.

Тоскующими, злобными глазами Ванда осматривала спальню. Хмурые тени в углах неприветливо смотрели на нее и, казалось ей, стерегли ее.

Стены покрыты некрасивыми темными обоями; на них грубо наляпаны лиловые цветы, с краскою, наложенною мимо тех мест, где ей следовало быть. Обои наклеены кой-как, и узоры не сходятся. Оклеенный бумагою потолок низок и сумрачен. Ванде кажется, что он опускается, сжимает собою воздух и теснит ей грудь. Железные кровати тоже, кажется Ванде, пахнут чем-то неприятным и печальным, острогом или больницею.

Против кроватей, прямо перед глазами Ванды, стоят шкапы для одежды девочек, щелистые, сколоченные из гнилого дерева, с неплотно прилаженными дверцами. Когда мимо шкапов проходят, то их дверцы

вздрагивают и слегка поскрипывают. Ванде досадно, что у шкапов такой жалкий и недоумевающий вид испуганных, дряхлых старичков.

Владимир Иваныч вошел в спальню девочек и зычно крикнул:

— Ванда, слышь, червяк-то вползет тебе нынче ночью в глотку.

Девочки захихикали и смотрели на Ванду и на Владимира Иваныча. Ванда молчала. Из-под одеяла сверкали на Владимира Иваныча ее большие черные глаза.

Рубоносов ушел. Девочки принялись дразнить Ванду. Они знали, что Ванду легко раздразнить до слез, и потому любили дразнить ее. И у Ванды задразненное недоверчивое сердце, открытое только мечтам о далекой родине.

Ванда тоскливо молчала, грустными глазами тупо рассматривая сумрачный потолок. Девочки болтали и пересмеивались. Это надоело Владимиру Иванычу, — он собирался спать. Он крикнул из своей спальни:

— Цыц, ясен колпак! Что вы там раскудахтались, комики! Вот я вас плеткой!

Девочки затихли.

«Только и умеет, что о плетке!» — досадливо подумала Ванда. Ей припомнились ласковые, добрые домашние, а Владимир Иваныч в сравнении с ними показался неотесанным, грубым. Но вдруг ей стало совестно осуждать его, — ведь все же она пред ним провинилась.

Скоро послышалось с соседней постели легкое сонное сопенье быстро засыпающей Дуни. Это было сегодня противно Ванде. В теплом спертом воздухе ей дышалось трудно и грустно. Ей казалось, что здесь тесно и мало воздуху. Тоска и странная досада на что-то теснили ее грудь.

Она закрыла голову одеялом. Сердитые мысли пробежали в ее голове, — и потухли, сменившись счастливыми, далекими грезами.

Ванда начала засыпать. Вдруг почувствовала она на губах что-то неприятное, как бы ползущее. Она вздрогнула от страха. Сон словно соскочил с нее.

Ее глаза широко и тоскливо раскрылись. Сердце замерло, — и застучало до боли быстро и сильно. Ванда торопливо поднесла руку ко

рту и вытащила изо рта нечаянно попавший туда край простыни, слегка смоченный ее слюною. Он-то и произвел ощущение, так напугавшее ее.

Ванда почувствовала радость, как после избегнутой опасности. Она заметила теперь, что сердце ее сильно бьется. Она приложила руку к груди и, ощущая горячими пальцами быстрые толчки, улыбалась своему миновавшему испугу.

А в сумраке ночи вокруг нее смутно и неопределенно шевелилось что-то угрожающее, неизвестное. Радость ее была напряженная, и улыбка бледная, а сердце уже опять замирало тихонько все от того же темного, тайного предчувствия.

Ванде было тоскливо и томно. Она беспокойно ворочалась с боку на бок. Ей было душно. Одеяло мешало дышать. В ногах были неприятные ощущения: томная усталость наливала их болезненною тяжестью, подъемам ног было больно от стягивавшей их днем тесной обуви. Во всем теле ощущалась неловкость. Ей хотелось спать, но она не могла уснуть, и глаза ее казались ей тяжелыми, сухими.

Ветер завыл в трубе жалобно и тонко. Кто-то из девочек впросонках пробормотал что-то. Томительная тоска бессонницы душными объятиями обхватила Ванду. Болезненно-неловко было ей лежать на тех грубых складках простыни и рубашки, которые она сама сбивала, мечась и ворочаясь.

Ванда пыталась помечтать, вызвать в себе сладкие и кроткие настроения, — но и это не удавалось ей. Девочки крепко спали, и Ванде казались они иногда неживыми и страшными.

Так пролежала она целый долгий час и наконец заснула.

## VI

Ванда внезапно проснулась, точно ее толкнули. Была еще глубокая ночь, все спали. Ванда порывисто поднялась и села на постели, чем-то испуганная, каким-то смутным сном, какими-то неопределенными ощущениями. Напряженно всматривалась она в мрак спальни, думая отрывочными, неясными мыслями о чем-то, непонятном ей. Тоска

сжимала ее сердце. Во рту была неприятная сухость, заставившая Ванду порывисто зевнуть. Тогда почувствовала она, как будто что-то постороннее ползет по ее языку, около самого его корня, что-то тягучее и противное, — ползет в глубине рта и щекочет зев. Ванда бессознательно сделала несколько глотательных движений. Ощущение ползучего на языке прекратилось.

Вдруг Ванда вспомнила о червяке. Она подумала, что это, конечно, вполз к ней в рот тот самый червяк, и она проглотила его живьем. Ужас и отвращение охватили ее. В сумрачной тишине комнаты пронеслись отчаянные, пронзительные вопли Ванды.

Испуганные девочки повскакали с постелей, не понимая, лепеча что-то и всхлипывая, и беспорядочно метались впотьмах, сталкиваясь одна с другою. Ванда затихла. Анна Григорьевна, узнав голос Ванды, прибежала из своей спальни неодетая, на бегу зажигая свечку. Слышно было за дверью, как тяжело ворочался на скрипевшей под ним кровати Владимир Иваныч, как он сердито мычал и как он потом начал отыскивать свою одежду.

Анна Григорьевна подошла к Ванде.

— Ванда, что ты? — спросила она. — С чего ты орешь! Чего испугалась, шальная?

При свете свечи девочки тоже сообразили, что это кричала Ванда, и столпились около ее кровати, пожимаясь спросонок от холода и протирая руками заспанные глаза. Ванда сидела на постели, согнувшись, поджимая ноги. Она дрожала всем телом и боязливо смотрела на Анну Григорьевну. Ее широко открытые глаза горели и выражали безотчетный ужас. Анна Григорьевна тронула ее за плечо:

— Да что с тобой, Ванда, говори же!

Ванда вдруг заплакала, громко, с детскими отчаянными вскрикиваниями, и залепетала:

— Червяк, червяк!

Зубы ее как-то странно и звучно звякнули. Анна Григорьевна не вспомнила сразу, о каком червяке говорится.

— Какой червяк? — досадливо спрашивала она, обращаясь то к Ванде, то к другим девочкам.

Ванда еще сильнее заплакала, вскрикивая:

— Ой, батюшки, помогите: червяк заполз!

Она беспомощно открыла рот и сунула туда пальцы, бессознательно прикусила их, вытащила их изо рта и опять зарыдала. Катя объяснила:

— Это ей, должно быть, приснилось, что в рот червяк заполз, о котором Владимир Иванович говорил.

Пришел и Владимир Иваныч и крикнул еще с порога:

— Ну, что у вас тут? Комики, спать не дают.

— Да вот, — отвечала ему Анна Григорьевна, — ты натолковал Ванде про червяка, она и поверила.

— Дура, — сказал Рубоносов, — ведь я шутил, никакого червяка нет.

Девочки засмеялись, теснее придвинулись к Ванде и стали ее ласкать и успокаивать:

— Это тебе только померещилось, Ванда, откуда может быть червяк?

— Вот дура-то! Пошутить с тобой нельзя! — воскликнул Рубоносов и ушел в свою спальню.

Дуня принесла Ванде воды в ковшике и убеждала Ванду выпить. Анна Григорьевна присела к Ванде на кровать и уговаривала ее. Мало-помалу Ванда успокоилась и быстро заснула.

## VII

Ванда видела во сне родной дом, отца, мать, маленьких братьев, милый лес и верного Полкана.

Одноэтажный домик на краю маленького города, полузанесенный снегом. Весело вьется синий дымок над его крутою кровлею. Невдалеке белый лес с своею манящею грустью. Тихие небеса озарены ранним розовым закатом.

Потом пригрезилось лето. Извилистая река медленно струится. Желтые кувшинки недалеко от берега. Над рекою крутые глинистые обрывы. В тонком воздухе звенят и реют быстрые птицы.

Мать, ласковая, веселая. Ее светло-синие глаза, ее звенящий голос, напевающий тихую, мирную песенку.

Отец, такой суровый с виду. Но Ванду не пугают его длинные, жесткие усы, начинающие седеть, и его густые, нахмуренные брови. Ванда любит слушать его рассказы об его родине, далекой и несбыточной. Ванда родилась и выросла среди этих снегов, на родине своей матери, и отцовы рассказы она понимает по-своему, сказочно и роскошно.

Движение в спальне, голоса и смех девочек разбудили Ванду. Она открыла глаза. Чуждо и непонятно было ей все то, что она увидела. Так резок был переход от милых видений к этим пыльным стенам, к этим грубым обоям с нелепыми цветами, что она с полминуты пролежала, не понимая, где она и что с нею, полусознательно хватаясь за убегающие обрывки прерванного сна.

А потом знакомою тоскою глянули на нее стены комнаты, знакомою тоскою защемило ее сердце. Она грустно вспомнила, что опять целый день придется ей быть среди чужих, которые будут дразнить ее и червяком, и ее странным именем, и еще чем-нибудь обидным. Предчувствие обиды больно зашевелилось в ее сердце.

## VIII

Рубоносовы и девочки пили чай. Ванда была еще бледна от ночного испуга. У нее болела голова, ей было томно и тоскливо, и она нехотя пила и ела. Во рту у нее был дурной вкус, и чай казался ей не то затхлым, не то кислым.

Владимир Иваныч пил с блюдечка и громко чмокал губами. Ванде казалось противным это чмоканье, а он торопился выпить побольше: скоро надо было идти на службу.

Анна Григорьевна заметила, что Ванда печальна, и спросила:

— Что с тобой, Ванда? Не болит ли у тебя голова?

— Нет; ничего, Анна Григорьевна, я здорова, — отвечала Ванда, встрепенувшись и стараясь улыбнуться.

— Это она с перепугу такая бледная, — объяснила Катя.

Саша, вспомнив ночной переполох, громко засмеялась, заражая веселостью других девочек.

— Ты, Ванда, может быть, и в самом деле больна, — не остаться ли тебе дома? — спросила Анна Григорьевна.

Но Ванда слышала по ее голосу, что она рассердится, если остаться, и примет это за притворство. И Ванда поспешила сказать:

— Да нет, Анна Григорьевна, что вы, я же, право, совсем здорова.

— Что, верно, и вправду червяк вполз? — спросил Владимир Иваныч и зычно захохотал.

Все засмеялись, улыбалась и Ванда. При дневном свете она перестала бояться червяка. Но Рубоносову стало досадно, что Ванда улыбается: негодная шалунья смеет скалить зубы в то время, когда он пьет чай не из любимой чашки! Он решил еще попугать Ванду, чтоб она вперед помнила.

— А ты чего зубы скалишь, Ванда? — сказал он, свирепо хмуря белесоватые брови, — ты и впрямь думаешь, что я шучу? Вот дура-то! червяк только пока притих, — отогревается, а вот дай сроку, начнет сосать, взвоешь истошным голосом.

Ванда побледнела и вдруг явственно почувствовала в верхней части желудка легкое щекотание. Она испуганно схватилась за сердце. Анна Григорьевна встревожилась: захворает девчонка, — возись с ней, — родители живут за триста верст. Она стала унимать мужа:

— Да полно тебе, Владимир Иваныч, ну что пугаешь девчонку; опять ночью заблажит. Не каждую мне ночь с ней вожжаться. И за день намаешься с ними.

## IX

Когда Ванда шла с подругами в гимназию, червяк продолжал щекотать все в том же месте. Ей было неловко и страшно.

Ветер, который веял ей навстречу, казался ей беспощадным. Угрюмые заборы и унылые люди наводили на нее тоску, — и не могла она никак забыть, что в ней сидит червяк, маленький, тоненький, еле заметный, и щекочет, словно пробираясь куда-то, щекочет урывками: то притихнет, то начнет снова, как и этот беспощадный ветер, порывами вздымающий нелепо кружащиеся снежные вихри. Этот гул вет-

ра на пустынных улицах томительно напоминал Ванде дремотную тишину далекого леса, где теперь под суровыми соснами звучно раздается мужественный голос ее отца. Но там, в лесу, — простор и Божья воля, а здесь, в скучном чужом городе, — стены и людское бессилье.

Ей вспомнилось, как любо ей было прятаться в отцову шубу, — а санки бегут, а ветер разгульно взвизгивает и взвивает снежные тучи, и солнце сквозит в них, и многоцветными брызгами дробятся его лучи; слышен бодрый храп коней и протяжный гул полозьев, скользящих по снегу.

Из ворот чьего-то дома на улицу тянулась узкая дорожка ельника. Пугливо сжалось сердце Ванды.

«И зачем я вчера разбила эту чашку! — горько подумала она, — и зачем я прыгала? чему обрадовалась?»

## X

Сидя в классе, Ванда прислушивалась к тому, что делает ее червяк. Ей казалось по временам, что он подымается выше, к сердцу. Она старалась успокоить себя, думая, что это пройдет. Но от голых стен класса веяло на нее такою неумолимою строгостью, что ей делалось страшно.

Ее подруги рассказали по всем классам про червяка, и Ванду немилосердно дразнили. На переменах девочки подходили к ней и спрашивали:

— Правда, что вы червяка проглотили?

Ванда слышала за собою смех и тихие восклицания:

— Ванна червяка проглотила.

(В гимназии Ванду дразнили «ванной», искажая так ее имя.)

Потом Ванду стали дразнить «под рифму»:

— Ванна чашку разбила, червяка проглотила.

Ванда яростно бледнела и бранилась с подругами. Вдруг, в разгаре жаркой ссоры с надоедливою, смешливою барышнею, Ванда почувствовала легкое сосание под самым сердцем. Испуганная, она за-

молчала, уселась на свое место и, не обращая ни на что внимания, стала прислушиваться к тому, что в ней делалось.

Под сердцем тихонько, надоедливо сосало. То затихнет, то опять засосет.

Это томительное сосание продолжалось и дома, за обедом, и вечером. Когда утомленные червяком мысли Ванды переходили на другие предметы, червяк затихал. Но она сейчас же опять вспоминала о нем и начинала прислушиваться. Мало-помалу снова начиналось надоедливое сосание.

Ванде казалось иногда, что если бы забыть о червяке, то он затих бы. Но ей не удавалось забыть его: напоминали.

Все тоскливее и страшнее становилось Ванде, но ей стыдно было сказать, что червяк уже сосет ее. В ней робко гнездилась бледная надежда, что это пройдет само собою.

## XI

Девочки сидели за уроками. Желтый свет лампы раздражал Ванду. Она прислушивалась к томительной работе червяка, который сосал все проворнее. Ванда оперлась локтями на стол, сжала голову ладонями и тупо смотрела на раскрытую книгу. Неизъяснимая тоска томила ее. Ей трудно дышалось в этом враждебном, замкнутом воздухе. Ванда подумала, стараясь утешить себя: «Никакого червяка нет, это все только от тоски. Только бы развеселиться».

Она пробовала помечтать о доме. Вот будет весна, ее возьмут домой.

Прохладный и мшистый лес дремотен. Он полон свежими ароматами сосен. Вода в ручье серебристо звенит, переливаясь по камням. Темнеет в зелени покрытая тусклым налетом крупная голубика.

Но мечты складывались трудно, и Ванда скоро устала заставлять себя мечтать.

Из столовой доносились голоса. Анна Григорьевна торопила Маланью: Владимир Иваныч встал от послеобеденного сна и сердился, что еще нет самовара.

Ванда порывисто отодвинула стул и пошла в столовую. Смуглое лицо ее было так бледно, что полные щеки казались опавшими за эти сутки. Глядя перед собою остановившимися глазами, она подошла к Анне Григорьевне и тихо сказала:

— Анна Григорьевна, у меня сосет под ложечкой.

— Что такое еще? — нетерпеливо спросила недослышавшая Анна Григорьевна.

— Под ложечкой... сосет... червяк, — упавшим голосом говорила Ванда.

— А ну тебя, дура! — сердито крикнула Анна Григорьевна, — возись тут с тобой, — только мне и дела!

— Ого! червяк! — торжествуя, закричал Владимир Иваныч.

Он залился грохочущим хохотом, неистово восклицая:

— Сосет, ясен колпак! Доехал-таки я тебя! Володька Рубоносов не дурак!

Привлеченные хохотом, девочки прибежали в столовую. Хохот разгульно разливался вокруг Ванды. У нее закружилась голова. Она присела на стул и покорно и безнадежно глотала какое-то невкусное лекарство, которое наскоро смастерила ей Анна Григорьевна.

Она видела, что никто ее не жалеет и никто не хочет понять, что с нею делается.

## XII

Ночью Ванда не может уснуть. Червяк угнездился под сердцем и сосет беспрерывно и мучительно. Ванда приподнялась, опираясь локтем на подушку. Одеяло скатилось с ее плеч. В слабом свете предпраздничной лампады слабо белела рубашка Ванды, смуглели ее голые руки и испуганно горели на бледном лице черные широкие глаза. Боль становилась, казалось Ванде, нестерпимою. Она тихонько заплакала. Но она не смела разбудить Анну Григорьевну. Смутная боязнь людской враждебности мешала ей звать на помощь. Она прильнула лицом к подушке, чтоб заглушить звуки своего плача. Но рыдания теснили ее грудь. В спальне раздавалось тихое, но отчаянное аханье плачущей девочки.

— Что мне делать? — тихонько и горестно восклицала Ванда. — И чему я радовалась, дура какая! Что урок-то вызубрила? О Боже мой! Неужели же погибать из-за разбитой чашки?

Ванда встала с постели. Девочки спали, — слышалось их мерное, глубокое дыхание. Ванда стала на колени перед своим образком, прикрепленным к изголовью кровати. Она молилась, складывая руки на груди и тихонько шепча дрожащими пересыхающими губами слова отчаяния и надежды. Увлекшись, она начала шептать погромче и всхлипывать. Саша заворочалась на постели и залепетала что-то. Ванда испуганно притихла, присела на коленях и тревожно ждала. Все опять было тихо, никто не проснулся.

Ванда молилась долго, но молитва не успокоила ее. Тишина и сумрак враждебно отвечали ее молитве. Ванде казалось, что кто-то тихий проходит близко, что-то движется и тайно веет, — но все это идет мимо нее с чарами и властью, и до нее никому нет дела. Одна, потерянная в чужом краю, никому она не нужна. Кроткий ангел пролетает над нею к счастливым и кротким, — и не приникнет к ней.

## XIII

Проходили томительные дни и страшные ночи. Ванда быстро худела. Ее черные глаза, оттененные теперь синими пятнами под ними, были сухи и тревожны Червяк грыз ее сердце, и она порою глухо вскрикивала от мучительной боли. Было страшно, и трудно дышалось, так трудно, что кололо в груди, когда Ванда вздыхала поглубже.

Но она уже не смела просить помощи. Ей казалось, что все здесь за червяка и против нее.

Ванда ясно представляла своего мучителя. Прежде он был тоненький, серенький, со слабыми челюстями; он едва двигался и не умел присасываться. Но вот он отогрелся, окреп, — теперь он красный, тучный, он беспрерывно жует и неутомимо движется, отыскивая еще неизраненные места в сердце.

Наконец Ванда решила написать отцу, чтоб ее взяли. Надо было писать тайком.

Улучив минуту, Ванда подошла к столу Рубоносова, вытащила из-под мраморного пресса в виде дамской ручки конверт и спрятала его в карман. В это время услышала она легкие шаги.

Она вздрогнула, как пойманная, и неловко отскочила от стола. Проходила Женя. Ванда не могла решить, видела ли Женя, что она взяла конверт. Сидя за уроками, она внимательно посматривала на Женю. Но Женя углубилась в свои книги.

«Конечно, она не видела, — сообразила Ванда, — а то сейчас бы наябедничала».

Ванда писала письмо, прикрывая его тетрадями. Приходилось беспрестанно отрываться, — проходила Анна Григорьевна, смотрели подруги. Вот что она писала:

Милые папа и мама, возьмите меня, пожалуйста, домой. В меня заполз червяк, и мне очень худо. Я разбила, шаливши, чашку Владимира Ивановича, и он сказал, что вползет червяк, и в меня вполз червяк, и если вы меня не возьмете, то я умру и вам будет меня жалко. Пришлите за мной поскорее, я дома поправлюсь, а здесь я не могу жить. Пожалуйста, возьмите меня хоть до осени, а я сама буду учиться и потом поступлю в четвертый класс, а если вы не возьмете, то червяк изгложет мне сердце и я скоро умру. А если вы меня возьмете, то я буду учить Лешу читать и арифметике. Извините, что я не наклеила марки, у меня нет денег, а у Анны Григорьевны я не смею спросить. Целую вас, милые папа и мама, и братцев, и сестриц, и Полкана.

*Ваша Ванда*

А я не ленилась, и у меня хорошие отметки.

Между тем Женя отправилась к Анне Григорьевне и принялась шепотом рассказывать ей что-то. Анна Григорьевна слушала молча и сверкала злыми глазами. Женя вернулась и с невинным видом принялась за урок.

Ванда надписывала конверт. Вдруг ей стало неловко и жутко. Она подняла голову, — все подруги смотрели на нее с тупым, странным любопытством. По их лицам было видно, что есть еще кто-то в комнате. Ванде сделалось холодно и страшно. С томительною дрожью обернулась она, забывая даже прикрыть конверт.

За ее спиною стояла Анна Григорьевна и смотрела на ее тетради, из-под которых виднелось письмо. Глаза ее злобно сверкали, и клыки страшно желтели во рту под губою, вздрагивавшею от ярости.

## XIV

Ванда сидела у окна и печально глядела на улицу. Улица была мертва, дома стояли в саванах из снега. Там, где на снег падали лучи заката, он блестел пышно и жестко, как серебряная парча нарядного гроба.

Ванда была больна, и ее не пускали в гимназию. Исхудалые щеки ее рдели пышным, неподвижным румянцем. Беспокойство и страх томили ее, робкое бессилие сковывало ее волю. Она привыкла к мучительной работе червяка, и ей было все равно, молчит ли он, или грызет ее сердце. Но ей казалось, что кто-то стоит за нею, и она не смела оглянуться. Пугливыми глазами глядела она на улицу. Но улица была мертва в своем пышном глазете.

А в комнате, казалось ей, было душно и мглисто пахло ладаном.

## XV

Был яркий солнечный день. Но больная Ванда лежала в постели. Ее перевели в другую комнату, где стояла только ее кровать. Пахло лекарствами. Страшно исхудалая, лежала Ванда, выпростав из-под одеяла бессильные руки. Она безучастно озирала новые, но уже постылые стены. Мучительный кашель надрывал быстро замиравшую детскую грудь. Неподвижные пятна чахоточного румянца ярко пылали на впалых щеках; их смуглый цвет принял восковой оттенок. Жестокая улыбка искажала ее рот, — он от страшной худобы лица перестал плотно закрываться. Хриплым голосом лепетала она бессвязные, нелепые слова.

Ванда уже не боялась этих чужих людей, — им было страшно слышать ее злые речи.

Ванда знала, что погибает.

## *К звездам*

### I

Сережа чувствовал себя обиженным. Это, как всегда, заставляло его как-то некрасиво сжиматься в своем костюме небольшого мальчика, коротеньком и узком, которого Сережа не любил и не умел носить: в нем Сережа был неловок и мешкотен в движениях. Сердце его досадливо и томительно билось, и он глядел злыми черными глазами через куртину пестрых, пахучих цветов на изгородь дачи, где они, — Сережа, мама и папа, — жили. У ворот стояла коляска. Мама собиралась уезжать и весело беседовала с чужими мужчинами, которые все были длинные, развязные и все по-шутовски, казалось Сереже, одетые. И отец был с ними.

Мама сказала сейчас Сереже, целуя его на прощанье:

— Ах, милый мой голубок, ты мне что-то хочешь рассказать? Вот подожди, я скоро приеду, мы поговорим тогда вволю, и о звездочках.

Сережа слышал неискренние ноты в мамином голосе и уже знал, что это только так говорится. Мама была такая нарядная, от нее сладко пахло духами, и это досаждало Сереже.

— Он у меня такой фантазер, — сказала мама. — Представьте, он мне вчера лепетал что-то о звездочках, вы понимаете, что-то детское, наивное, но, право, поэтическое. Он у меня будет художник, не правда ли?

Гости смеялись, и папа смеялся, не выпуская изо рта сигары, которая от смеха качалась у него во рту. Потом все ушли, а Сережа остался. И вот он стоял один среди сада и сердито смотрел туда, где мама.

Когда мама уехала, бледное, но полное лицо Сережи из злого сделалось тоскливым, и он повернулся к дому. Деревянный дом с мезонином был так красив, и так ярки и пахучи были цветы в окнах на балконе, и так зелены были ползучие стебли, обвивавшие столбы балкона, что Сереже стало жутко, — он почувствовал себя чужим

здесь, — и это все нарядное было ему темно и странно. Ему не захотелось входить в комнаты, где он будет, предчувствовал он, тосковать среди удобной, дорогой мебели, среди красивой, неизбежной обстановки, где все прилично и надоедливо.

Грустно наклоняя мало загоревшее, некрасивое лицо, побрел он тихонько в глубь сада. Там, прилегши грудью на забор, долго смотрел он на возню двух босых мальчишек, игравших на дворе. Они были одного возраста с Сережею, но он не мог играть с ними: это неприлично и запрещено. Ему было жаль, что он не может идти к этим веселым мальчишкам. Он с любопытством наблюдал, как они поочередно догоняли один другого, играя в пятнашки.

Беготня была удовольствием, запрещенным Сереже: у него сердце начинало от беготни сильно колотиться, и он останавливался, задыхаясь. Но теперь, когда бегали другие, он жадно следил за ними и смеялся от радости, наводимой на него их беганьем и криками, — и сердце его порою так и трепетало, как будто он сам бегал с мальчиками. Впрочем, он старался сдерживать свой смех: ему стало бы стыдно, если бы увидели, что он с таким интересом наблюдает игру уличных ребятишек.

Мальчики приостановили свою игру и, стоя среди двора, звонко и крикливо совещались, словно переругивались. Сережа все смотрел на них, — ему было странно, что они такие растрепанные и босые и что от этого им ничуть не становится неловко. Они опять забегали, но Сережины мысли разбрелись.

Крик на дворе заставил его вздрогнуть. Кухарка Настасья, неистово крича, колотила одного из игравших мальчишек, своего сына, а он отчаянно выл. Сережа взвизгнул от страха и от чужой боли, которую он вдруг почувствовал в себе, и убежал,

Ни мама, ни папа не вернулись и вечером. Сережа оставался почти все время один, потому что гувернер его, белобрысый студент с добродушною ленцою, ухаживал сегодня за франтоватою горничною Варварою, которую Сережа не любил за то, что она угодливо смотрела в глаза барыне и целовала ее руки.

Когда совсем свечерело, Сережа потихоньку вышел из дому и ушел на одну из дальних дорожек в саду. Там улегся он на скамейку, зало-

жил руки под голову и принялся смотреть на небо. Оно словно таяло слой за слоем и постепенно обнажало спрятанные за ним звезды и темно-голубую зазвездную бездну.

Сырость и прохлада июльского вечера охватывали мальчика. Если бы старшие увидели его в саду, его прогнали бы в комнаты. Он сам знал, что ему вредно лежать здесь, под сырыми ветками сирени, — он такой изнеженный и нервный, — но он нарочно оставался и сердито припоминал, как пренебрежительно обошлась с ним мама и как посмеивались гости, глядя на его маленькую фигурку. Ему припомнилось еще, как однажды тетя Катя назвала его миниатюрным, и это слово теперь досадовало его.

«Разве такие миниатюры бывают? — сердито думал он. — И зачем все старшие всегда скалят зубы и стараются говорить смешное и веселое? Смеяться от радости — это можно, но они смеются от злости. И от зависти, что я маленький, а они скоро умрут».

Он думал, что если бы он был сильный, то он заставил бы тетю Катю стать на колени перед ним и просить прощения. Но чтобы никого при этом не было, — чтобы некому было смеяться. И он взял бы тетю Катю за ухо и сказал бы ей:

— Смотри, другой раз хуже достанется.

И она ушла бы, смирная, без смеха. А с теми долговязыми мужчинами что сделал бы он? Ничего, прогнать их, и только. Только бы ни они сами, ни воспоминание об их глупом смехе не мешали ему смотреть на звезды, которые, как и Сережа, им не нужны.

Звезды, далекие, мирные, смотрели ему прямо в глаза. Они мигали и казались робкими. Сережа был тоже робкий, но теперь он чувствовал, что ему и звездам хорошо. Он вспомнил, что его студент говорил ему, будто бы звезды каждая как солнце и со своею землею. Но он не мог поверить, что там так же, как и здесь. Он думал, что там лучше. Ему было жаль, что нельзя попасть туда, — земля большая, она притягивает. Если бы она не притягивала, то можно было бы улететь туда, к звездам, и узнать, что там делается, живут ли там ангелы с белыми крыльями и в золотых рубашках, или такие же люди.

Отчего звезды так внимательно смотрят на землю? Может быть, они и сами живые и думают?

Сережа долго смотрел на звезды и забывал свою досаду и свою злость. Кротко и ясно становилось в его душе. Его лицо с пухлыми, но бледными губами казалось невозмутимо-покойным.

Звезды все яснее и ласковее горели над Сережею. Они не затмевали одна другой, — их свет был без зависти и без смеха. Они с каждою минутою словно приближались к мальчику. Радостно и легко сделалось ему, и казалось, что он плывет на скамейке, покачиваясь в воздухе. Звезды приникли к нему. Все вокруг чутко и ожидательно замолчало, и ночь сделалась гуще и таинственнее. Как бы сливаясь со звездами, он забыл про себя самого и потерял все ощущения своего тела.

Вдруг визгливые звуки гармоники долетели откуда-то издали и пробудили Сережу из его самозабвения. Сережа удивился чему-то, — быть может, этому минувшему самозабвению, — и потом досадно стало ему на разбудившую его гармонику, гнусные звуки которой прыгали и кобянились над мальчиком. Эти звуки, нахальные, скрипучие, неотвязчивые, напоминали ему все, что бывает днем, — гостей, студента, Варвару, мальчишку, которого била мать и который неистово кричал, — и от этого последнего воспоминания Сережа вдруг задрожал, и сердце его больно забилось. Тоска охватила его и великое нежелание быть здесь, на этой земле.

«А что если меня земля не притягивает! — вдруг подумал он. — Может быть, я могу, если захочу, отделиться и улететь. Меня звезды притягивают, а не земля. А вдруг я полечу?»

И вот показалось ему, что звезды тихонько зазвенели, и земля под ним медленно, осторожно стала наклоняться, и забор сада потихоньку пополз вниз у его ног, а скамья под ним плавно задвигалась, подымая его голову и опуская ноги. Ему стало страшно. С криком слабым и резким вскочил он со скамьи и бросился бежать домой. Ноги его отяжелели, сердце больно стучало, — и казалось Сереже, что земля с глухим шумом колеблется под ним.

Дрожа, вбежал он в комнаты. Никто не заметил его. Как всегда горели лампы в пустых комнатах, и голоса людей слышны были близко.

«Чего же я испугался? — соображал Сережа. — Ведь я лежал, вот и вышло, что забор был против моих ног, — а мне показалось, что земля повертывается.

Ему захотелось поскорее идти к людям, не быть одному. Но когда он вошел в ту комнату, из которой слышался ему веселый голос его гувернера, то заметил, что помешал ему беседовать с Варею.

Студент быстро повернулся к мальчику с принужденным и смущенным видом. Его руки были неловко расставлены, потому что он сейчас только держал их на Вариных плечах. Варя стояла около стола, словно ей надо было что-нибудь прибрать на нем, усмехалась блудливою улыбкою и смотрела на Сережу, как на непонимающего, с видом превосходства. Но Сережа знал, что Константину Осиповичу, студенту, нравится Варвара и что он с нею только так занимается шутками, а не женится на ней, потому что они не пара. Теперь ему сразу стало неприятно смотреть на них. Он думал, что у них нехорошие лица, и у курносого и рябого студента, и у краснощекой и чернобровой горничной. Он не знал, что нехорошего в их лицах, но они наводили на него досаду и стыд.

Он отвел от них глаза и смотрел на лампу, завешенную красным бумажным колпаком с тонкою сквозною оторочкою. Но звезды припомнились ему, и тягостно стало смотреть на красный свет лампы. Он отошел к окну, — земные огни, мглистые, дымные, отовсюду глянули на него. Недалеко, на одной из дач, горели бумажные фонарики, — должно быть, по случаю какого-нибудь семейного праздника. Тоскою повеяло на Сережу от всех этих крикливых и резких огней.

— Что это, — жалобно заговорил он, — когда же мама приедет?

— Маменька ваша поздно приедут, — ответила Варвара сладким голосом, — вы их, Сереженька, завтра утром увидите, а теперь уже вам спать пора.

Сережа посмотрел на Варвару злыми, холодными глазами; они странно мерцали на его желтовато-бледном лице. Его губы повело злою усмешкою, и от этого щеки его словно припухли внизу. Злость захватила его сердце внятным томлением, похожим на томление голода.

— Я лягу, — сказал он слегка вздрагивающим голосом, — а ты с ним целоваться будешь?

Варвара покраснела.

— Чтой-то, Сереженька, как вам не стыдно, — неуверенно сказала она, — вот я маменьке пожалуюсь.

— Я сам пожалуюсь, — ответил Сережа и хотел еще что-то сказать, но не мог, потому что томления злости и тоски до боли сжимали его сердце и горло.

— Вы, Сережа, сократитесь, — посоветовал студент, стараясь прикрыть свое смущение авторитетным тоном и презрительною усмешкою, — да отправляйтесь-ка спать.

Сережа посмотрел на него исподлобья и молча отправился в свою комнату.

Раздеваясь, он постарался забыть и о студенте, и о Варе, и о всех людях, — ему хотелось кротко и любовно помечтать о звездах. Он подошел к окну и, слегка отодвинув штору, посмотрел на небо. Оно все искрилось и сверкало. Как алмазы были звезды, и блеск их казался холодным, — как бы прохладное дуновение нисходило от них.

Согнувшись и припав плечом к околотке окна, стоял Сережа и грустно думал о том, что никак нельзя допроситься у звезд, что и как там, — и холодные глаза его мерцали на бледном лице. Но когда он стоял так и смотрел на звезды, понемногу злость его смирялась и сердце перестало томиться.

Ночью мир таинственный и чудный снился Сереже, мир на ясных звездах. На деревьях вещего леса сидели мудрые птицы и смотрели на Сережу, — и под ветвями деревьев медленно проходили мудрые, невиданные на земле звери. Сереже радостно и легко было с ними и с людьми того мира, которые все были ясные, смотрели большими глазами и не смеялись.

## II

День был жаркий, и Сереже было грустно. Он не любил жара, не любил яркого солнечного освещения и днем все чего-то боялся. Весь

этот жар и свет тяжко ложились на его грудь, и в ней пробуждалось по временам где-то около сердца неприятное томление и трепетание.

К тому же днем грубо приставали к нему с наставлениями и занятиями, когда он хотел быть один и думать, или пренебрежительно отталкивали его за недосугом, когда ему хотелось поговорить о чем-нибудь своем. Каждый день бывали чужие люди, все больше мужчины, развязные и шумные. Все они казались Сереже темными, — словно пыль от их вечного смеха налипла на них.

Сереже хотелось, чтобы опять, поскорее, настала ночь: он поглядел бы, так ли и сегодня мерцают звезды, как вчера мерцали. Опять было бы радостно, а днем — тоска! Потому что все чуждо и враждебно. Отец — совсем чужой. Он даже не знает, о чем говорить с Сережею: остановится перед ним, погладит по голове, спросит что-нибудь несвязное и ненужное, вроде того, что:

— Ну что, Сережа, как?

И уже сейчас же, не дожидаясь, что скажет Сережа, начинает говорить с другими. Мама, так та иногда вдруг возьмет Сережу за плечи и начнет ласкать его и говорить с ним, и тогда она делается такая простая и светлая, что Сереже даже не страшно ее нарядного платья, и он доверчиво прижимается к ней. Но это бывает редко, совсем редко, а то обыкновенно и мама бывает чужая, любезная с гостями и нарядная, благоухающая для них, для всех этих длинных и смешно по-модному одетых мужчин, а с Сережею холодная, пренебрегающая.

«Да, и мама — чужая, — думал Сережа, — и все, что днем, надоедает, а вот звезды — мои; все они смотрят на меня и не отвертываются. Они светлые. А на земле все темное. И мама только изредка бывает светлою. А может быть, моя душа где-нибудь там, на звезде, а я здесь только так, один, как сплю, и потому мне скучно?»

В обычное время Сережа отправился купаться с своим гувернером, Константином Осиповичем, Сереже хотелось говорить о своих мыслях, и он думал, что теперь это удобно, потому что студенту тоже жарко и, по-видимому, неприятно от этого: он шагал лениво и не улыбался.

— Солнце темное, — заявил для начала Сережа.

Студент неопределенно хмыкнул.

— Правда, — убеждающим голосом продолжал Сережа. — На него нельзя смотреть. А если посмотришь, потом темные круги в глазах. И день темный, ничего не видно на небе. А ночь светлая. Звезды лучше, чем солнце.

— А вы очень высоко не заноситесь, Сережа, — лениво остановил его студент, — меньше глупостей скажете.

Сереже была неприятна грубость студента. Но он продолжал говорить.

— Ведь вот все видят, что у вас на плече полотенце.

— Ну? — спросил студент.

И опять Сереже не понравился грубый звук этого нуканья. Он легонько вздохнул и сказал:

— Значит, все знают, что мы — купаться.

— Так, — подтвердил студент тоном человека, слушающего очевидный вздор. — Что же из этого следует?

— А вот мы влезем в купальню. Там тесно, а мы там будем по секрету купаться, а выплывать нельзя.

Студент вдруг оскалился и захихикал как-то совсем странно. Сережа с удивлением посмотрел на него. У студента было опять нехорошее лицо, такое же, как вчера вечером. Сереже стало неловко и досадно, и он заговорил о другом.

— Какие глупые лошади на земле, — сказал он, глядя на покорную морду мохнатой извозчичьей лошаденки.

Извозчик на припеке дремал на козлах, дремала и лошадь. Сереже вспомнились мудрые животные, которых он видел во сне: те смотрели и знали, а эти...

— Право, глупые, — повторил он.

— Чем они вам не угодили? — спросил студент, все еще хихикая.

— Да как же, сильные, а глупые: таскают на себе людей.

Студент захохотал. Сережа вздрогнул от внезапного этого хохота и тоскливо поглядел кругом. И все везде было звонко, тревожно и чуждо: дачи, яркая зелень, яркий песок на дорогах, яркие цветы в садах,

нарядные дамы. И рядом с роскошью этой жизни сновали грязные босые мальчишки с жадными и робкими глазами.

В купальне, когда Сереже стало свободно и весело от холодной воды, ему опять вспомнилось, что люди стыдятся и что нельзя выплыть на широкий простор. И он не понимал, что было в нем стыдного, когда ему здесь так легко и удобно, в этой воде, которая холодна и спокойна и держит его в своих объятиях. Вот там, на земле, когда он наденет свой костюм, он опять станет маленький и смешной, а здесь он простой и ясный. Он быстро колотил руками и ногами по воде, взвизгивая от радости и подымая над собою облака брызгов. Буйная веселость охватила его и в то же время нестерпимая злость на то, что тесно и что беспрестанно чувствуются стены то под руками, то под ногами. Он стиснул зубы, пронзительно завизжал и нырнул под стенку купальни, — вода была низкая, и ему не трудно было очутиться на открытом месте.

Было светло, просторно, холодно и весело. Рядом стояла другая купальня; из нее слышались голоса и вскрикивания девочек. С радостным и громким визгом Сережа сунулся в эту купальню.

Увидя у себя мальчика, девочки — их было человек пять, и они были одни, без взрослых, — подняли крик и писк и стали нелепо барахтаться в воде, отвертываясь от Сережи и брызжа в него водою. Одна из них, посмелее, рослая девочка, всмотрелась в Сережу, крикнула сердито и пренебрежительно:

— Совсем маленький мальчик!

И поплыла к нему, очевидно, с враждебными намерениями. Сережа поспешил спастись в свою купальню.

Молча слушал он нотации студента и одевался, а глаза его были злые и светились по-змеиному. Грубые, неуклюжие слова студента шли мимо его, как и почти все эти праздные слова, которых он уже так много слышал. Но он думал, что студент, конечно, насплетничает дома, и опять будут бранить и смеяться, и от этого Сереже делалось тоскливо.

«Каждый день смех и стыд! — думал он. — И чем я заслужил такую жизнь?»

Дома Сереже стали доказывать неприличие его поступка, — все на него одного: и мама, и тетя Катя, папина сестра, полная дама с желтым и морщинистым лицом, и кузина Саша, тетина дочка, тонкая барышня с ровным, тягучим голосом. Сережа тупо слушал слова и не следил за ними. Он и сам знал, что считается неприличным делать то, что он сделал, но думать об этом ему было совсем неинтересно.

Мама вздохнула, полузакрыла свои красивые черные глаза и молвила тихо, ни к кому особенно не обращаясь:

— Какой-то он нынче у нас непокойный, — и с чего это он, право, я не понимаю.

Тут мама посмотрела на студента.

— Вы бы, Константин Осипыч, — начала она и замялась, не зная, что сказать: построже или помягче; наконец она кончила: — Как-нибудь... этак, — и сделала при этом один из тех изящных жестов, которые так не нравились Сереже.

Константин Осипович состроил понимающее лицо и глубокомысленно заметил:

— Нервозность сильная... вообще... поколение... и конец века.

Тетя Катя сказала таким кислым и усталым голосом, как будто бы это она больше всех обижена и Сережею, и всем прочим:

— Нынче уж и дети! Вот у Нечаевых мальчик, но это ужас что такое.

Она наклонилась к мамину уху и зашептала. Сережа угрюмо стоял поодаль, ожидая, когда его отпустят, и думал коротенькими, злыми мыслями. Мама с удрученным видом выслушала секретный рассказ, опять вздохнула и сказала:

— Да, дети... Столько забот... Право, уж и не знаешь, как с ними быть. Ты, Сережа, голубчик, уж ты и сам воздерживайся от всяких таких выходок. Пойми, тебе самому вредно: тебя бранят, а ты волнуешься. А тебе вредно волноваться. Да и меня пожалей, ты меня совсем расстраиваешь. И без тебя забот...

— Вот видишь, Сережа, — сказала кузина, — ты огорчаешь свою маму, а это нехорошо.

Сережа поглядел на ее светлое платье с буфами, бантами, складками и подумал, что она напрасно вмешивается, — вовсе не ее дело. Она говорила еще что-то неторопливо и ровно, и тонкие губы ее противно двигались. Тягучие звуки ее голоса наводили на Сережу тоску и злобу, и сердце его опять замирало и томилось. Наконец он сказал, перебивая кузину на полуслове:

— Кузина Надя вышла замуж, а у тебя и в этом году нет женихов и не будет, потому что ты уксусная.

Мама рассердилась, покраснела и сказала:

— Сергей, тебя наказать придется.

Кузина сжала свои тонкие губы. Тетя воскликнула:

— Какой ты злой, Сережа!

— Ничего не остается, как только наказать, — усталым голосом повторяла мама.

Сережа угрюмо посмотрел на нее. Он почувствовал, что сердце его бьется чаще, а щеки бледнеют. Он думал: «Если бы взрослым каждый день грозили наказать. Наказать!»

— А как? — спросил он.

— Что? — с удивлением переспросила мама.

— Как наказать?

— Да уж тебя не спросят как, — гневливо заговорила мама. — Вот позову Варвару, так ты и увидишь тогда как.

— К Варваре на расправу? — спокойно спросил опять Сережа.

Мама всплеснула руками и нервно рассмеялась.

— Вот поговорите с ним, — звенящим от обиды голосом сказала она. — Нет, уведите его, Константин Осипович, я не могу. Идиот какой-то растет.

Сережа засмеялся таким же взвизгивающим смехом, как и мама, и выбежал из комнаты. Красная портьера неприятно задела его по коротко остриженной голове шершавою материею. Сережа подумал вдруг, что его всегда обижают и что всякий другой на его месте непременно расплакался бы. Но он никогда не плачет, и ему теперь даже стало жалко, что он не заплакал: мама, может быть, стала бы утешать его и приласкала бы. Горячее желание маминых поцелуев и ласки

безнадежно-острою струею пробежало в душе мальчика, но он быстро подавил в себе это желание. Губы его капризно сжались, а вздрагивающий подбородок прижался к груди. Бегом добрался он до своей комнаты, повалился ничком на постель, заболтал в воздухе согнутыми в коленях ногами и принялся тихонько взвизгивать странными, некрасивыми звуками. Его злые глаза мерцали и расширялись, и чернота их зрачков казалась глубокою от контраста с его лицом, бледным до желтизны и мало загоревшим.

## III

Кто-то тронул Сережу за плечо. Сережа досадливо взмахнул ногами и повернулся на спину. Над ним стоял Константин Осипович. Лицо студента, рябое, курносое, обросшее маленькою, мягкою рыжеватою бородкою, было важно, и это не шло к нему и было смешно. Сережа сразу увидел, что студент имеет какое-то дело до него, может быть, очень скверное, и мальчику стало тоскливо и страшно. Он лежал неподвижно, с протянутыми вдоль руками и плотно, всем телом прижимался к постели. Его черные глаза были сухи и злы.

Студент постоял над мальчиком, нахмурился и сказал:

— Во-первых, днем нельзя валяться.

Сережа молча сел на постели, а потом и вовсе стал на ноги. Он не отрываясь смотрел на студента, снизу, в его лицо, высоко подымая для этого голову, и как-то совсем ничего в это время не думал. Студент еще больше нахмурился, поискал слов и начал говорить:

— И всячески вы того... сбрендили...

— Сбрендил, — согласился Сережа совсем машинально и принялся рассматривать руки студента, большие, костлявые, с синими толстыми жилами.

— Вы не перебивайте, — сердито сказал студент. — Вы того... дерзостей там наговорили барышне, и маменьке тоже. Так оно выходит этак... неказисто. Совсем, знаете, это вы неосновательно поступили. Ну-с, грубиянить, это — не того, и совсем... ну, одним словом, неказисто.

Студент сделал энергичный жест, словно он рукой что-то проталкивал быстро и сильно в узкую щель. Сереже было досадно, что он так долго тянет и говорит нескладно.

— Просить прощения надо? — спросил Сережа.

— Вот оно самое и есть, — обрадовался студент. — Вы того... этого... шаркните там, ну и ручки поцелуйте.

— Да хоть ножки, мне все равно, — угрюмо сказал мальчик.

— Ну, это, приблизительно, лишнее.

— А пороть не будут? — осведомился Сережа деловым тоном.

Студент ухмыльнулся, точно он услыхал о чем-то, очень ему дорогом и приятном.

— Не собираются, — ответил он, — а следовало бы.

Ему бы хотелось постращать мальчика, но он не смел: черные, злые Сережины глаза наводили на него смущение, и все слова и поступки Сережины казались ему неожиданными.

Мальчик постоял еще немного, подумал о чем-то смутном и постороннем и переваливающеюся походкою пошел в гостиную. Студент шел за ним и думал, как бы мальчишка не наговорил еще дерзостей. Но все обошлось благополучно.

Когда Сережа вошел в гостиную, то и мама, и тетя, и кузина — все сидели и молча глядели на него, а отец стоял у камина, длинный, весь в сером, и усмехался едва заметно, равнодушно и пренебрежительно. Сережа направился к кузине, остановился перед нею, шаркнул ногою и сказал ровным голосом, как отвечают затверженный урок:

— Простите меня, кузина, что я сказал вам дерзость.

При этом щеки его нисколько не окрасились. Холодными глазами посмотрел он в притворно-благосклонное лицо кузины, постоял еще немного перед нею, потом подвинулся к ней поближе, наклонился и поцеловал ее руку таким движением, словно выполнял неинтересный ему самому, но уже так принятый обряд. Кузина кисло улыбнулась.

— Я не сержусь, — сказала она, — а только тебе самому нехорошо, если ты приучишься грубиянить.

Сережа опять шаркнул ногою, так же спокойно направился к матери и проделал с нею все то же, что и с кузиною. Мама сказала ему недовольным голосом:

— Не говорил бы дерзостей, не пришлось бы прощенья просить.

Сережа подошел к отцу. Отец притворился строгим и сердитым, но Сережа знал, что ему все равно, что он — чужой.

— Что, сорванец, опять напроказничал? — спросил отец.

Сережа нахмурился и сообразил, что можно и не отвечать. Отец подумал и не нашел сердитых слов. Это его рассердило, и он досадливо засмеялся.

— Клоп! — сказал он и щипнул сына за щеку. — Достукаешься ты до хорошего угощения.

— Только, пожалуйста, не сегодня, — серьезно сказал Сережа, потирая щеку, на которой показалось красное пятнышко.

— Ну, отправляйся к себе, — хмуро сказал отец.

Сережа вышел, а студента удержали. Из этого Сережа понял, что будут опять говорить о нем. Он отошел немного, тихонько воротился, притаился за портьерою и принялся слушать.

— И заметили вы, — говорила мама измученным неискренним голосом, — с какою злостью он просил прощенья?

— И в кого он у вас такой недобрый? — спрашивала кузина.

— Нервы, — сердито проворчал отец, — мальчишку ведут, как девочку, он и изнервничался.

— Ах, какие там нервы, — грубым, громким голосом заговорила вдруг тетя, — просто вы набаловали мальчика. Надо строже.

— Как еще строже, — недовольным голосом отвечал отец, — бить его, что ли?

— Конечно, не мешало бы тебе его иногда высечь, очень бы это для него было полезно.

— Это нельзя, — решительно и с досадою сказал отец, не потому, что он так думал, а потому, что считал такой разговор с дамами неприличным и стеснялся при них таких грубых слов.

— Отчего это нельзя? — с неудовольствием возражала тетя, — не беспокойся, не растреплется.

— Ах, я, право, не понимаю таких разговоров, — раздражительно сказал отец и сейчас же переменил тон и заговорил о другом, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор: — Да, я чуть было не забыл, сегодня я у Леонида Павловича...

Сережа поспешно, стараясь не зашуметь, отошел от двери. Он пошел в сад. Когда он проходил мимо кухни, он услышал, как там Варвара со смехом говорила кухарке:

— А наш-то коротелька как ловко отбрил барышню!

И она рассказывала, что сказал Сережа, и при этом прибавляла и перевирала, и они смеялись звонко и грубо. Сережа пошел дальше. Он чувствовал злость.

«Везде смеются, — думал он, — люди не могут не смеяться друг над другом».

Он поднял глаза к небу, но оно было еще закрыто белесоватою синевою. Сережа тоскливо потупился и лениво шел по дорожкам сада.

У самого края песочной дорожки сидела маленькая, чахлая лягушонка. Она была противна Сереже.

Вдруг у него мелькнула шаловливая, мальчишеская мысль. Черные глаза его радостно засверкали. Он наклонился и схватил лягушку в руки. Она была вся слизкая, и Сереже было противно держать ее. Это ощущение скользкого и отвратительного расползалось по всему его телу и щекотало в зеве. Торопясь, спотыкаясь от торопливости, он побежал в гостиную. Там отца уже не было, а остальные сидели на тех же местах. Все трое посмотрели на Сережу с презрительною усмешкою. Сережа подошел прямо к кузине.

— Смотрите-ка, — сказал он, — какую я поймал хорошенькую.

И он посадил лягушку кузине на колени. Кузина отчаянно взвизгнула и вскочила с места.

— Лягушка, лягушка, — кричала она, бестолково махая руками.

Все переполошились и вскочили с мест, а Сережа стоял и смотрел на кузину, которая кричала и рыдала истерически. Сереже казалось, что она кривляется, и ему было стыдно за нее.

— Она же невредная, — сказал он, — она не укусит.

Видя, что его не слушают, он тихонько повернулся и вышел из комнаты. Его не остановили, потому что барышня впала в истерику, а мама и тетя ее расшнуровали и отпаивали водою с каплями.

Сережа знал, что теперь-то его наверное накажут. Впрочем, ему было теперь все равно. Голова его слегка кружилась, пустяки развлекали его. Портьера, под которою он прошел, колебалась, и темнела в складках, и была повешена, конечно, только для того, чтобы задевать шершавою материею по остриженной голове. Она была красная и осталась за ним, а он ушел к себе.

Он сел в своей комнате на подоконник и смотрел в сад злыми, черными глазами. Деревья были ярко зелены и с длинными прутьями, воробьи прыгали, солнце бросало резкие пятна на землю, и желтый песок резко блестел. Все было грубо, и все злило Сережу, — и от этого у него ныло сердце, и он чувствовал это так же отчетливо, как иногда ясно чувствуется боль в руке или в ноге. Дразня и растравляя свою злость, он стал воображать, что с ним сделают: как его будут бранить и стыдить и как потом примутся бить. Он маленький и поместится на коленях Варвары, голова его будет вниз, а рукам неловко.

Случилось, однако, что Сережу оставили сегодня в покое. Приехала к маме с визитом богатая, важная барыня, и мама была рада этому до чрезвычайности. Дама была очень любезна и участлива, и потому ей рассказали о Сереже, и она пожелала видеть Сережу. Сережа шаркнул перед нею совсем так, как это следовало, поцеловал ей руку и посмотрел на нее внимательными глазами. На его взгляд, она была большая, грубая, темная, в пышном шумном платье, от нее неприятно пахло духами, — несколько негармонично смешанных, резких запахов, — и на лице ее было что-то постороннее, пудра или белила. Дама хотела улыбнуться на мальчика, такого коротенького не по возрасту, но от его черных, внимательных глаз и от его бледных, слегка припухлых щек она почувствовала смутное беспокойство и сказала Сережиной матери:

— Вы его оставьте в покое, — да, оставьте в покое. Пусть себе играет. Ему надо подрасти. Это все оттого, что он слишком мал для своего возраста.

И Сережу оставили в покое, на волю его глухому раздражению, которое, не унимаясь, мучило его, — словно вчерашние звезды отравили его. Он томительно ждал вечера, когда опять снимется эта светлая, тяжелая завеса, которою солнце закрывает звезды. И он дождался.

## IV

Сережу рано отправили спать. Сегодня мама была дома, и Сережу не пустили вечером в сад, а за то, что он дурно себя вел, его не оставили с мамою. Но он был рад, когда наконец остался один, раздетый, в своей постели. День кончен, солнца, этого жаркого, грубого чудовища, нет, и ночь тиха, и на небе есть звезды. Ими можно любоваться, если вот встать с постели, тихохонько подойти к окну и отодвинуть штору. Он лежал, нежась в постели, и смотрел на белую штору, и тихо смеялся, а черные глаза его горели радостно.

Звезды звали его еле слышным, тонким звоном. Сережа откинул одеяло, спустил на пол ноги и послушал. Ковер под ногами был мягкий, теплый. На нем приятно было стоять. Сережа потянулся, тихонько засмеялся от радости и подбежал к окну, — и холодные доски крашеного пола тоже радовали его. Он отодвинул штору, стал на колени перед окном, положил подбородок на подоконник и принялся глядеть на ясные звезды мерцающими черными глазами. При неверном свете звезд казалось, от легкой припухлости бледных щек, что на губах его улыбка, — но он не улыбался, хотя ему было весело. Долго смотрел он на звезды, холодные, ясные, и сквозь стекла окна к нему веяли от них холод и покой. Сердце радостно, часто билось в его груди, и он дышал весело, торопливо, точно что-то холодное, радостное вливалось в его легкие. Он ни о чем не думал, — все дневное отошло от него, как сон.

Затихли голоса в доме и на улице. Сережа встал, отошел к постели и принялся одеваться. Обуви своей он не нашел, — башмаки его унесли, чтобы почистить утром. Но он знал, что теперь уже все спят и не увидят. Он подошел к окну, открыл его, взобравшись для этого на

подоконник, и вылез в сад, цепляясь за ветки березы. Внизу, на земле, влага и холод июльской ночи охватили его. Он вздрогнул. Но звезды все глядели на него, — и он поднял к ним некрасивое, бледное лицо, радостно засмеялся и побежал по сырой земле дальше от дома, к той же скамейке, где вчера смотрел он на звезды. Ветки кустов задевали его, и ногам было сыро и неловко, и сердце непомерно билось в груди, — но он торопился, — так много ушло времени, и скоро небо начнет заволакиваться бледным светом, люди проснутся, а звезды опечалятся.

Он добежал, лег на скамью, — и, глядя на звезды, дышал тяжело и не улыбался. Ему было больно: сердце так сильно стучало в груди, что это отдавалось в горле и висках неприятными, резкими подергиваниями. Он всматривался в звезды и старался этим успокоить сердце, — и оно начинало по временам утихать, а то вдруг опять заколотится, и делается больно. Но когда оно затихало и только слегка трепетало в груди, Сереже становилось жутко и трепетно-хорошо, и не испытанное еще им раньше наслаждение заставляло его крепко стискивать зубы и раздвигало его губы бледною, больною улыбкою.

Эти все ощущения мешали ему отдаться звездам, и кроме того, вдруг налетели на него целым роем нелепые, ничтожные воспоминания. Они надоели, Сережа старался избавиться от них и не мог.

Вот кузина перед зеркалом с белою пуховкою для пудры в руках завистливо вздыхает. Отец держит во рту сигару, и от нее вьется синий дым. Улица, дачи, красные огни в окнах, с вокзала едут дрожки бесконечною вереницею, на дрожках все мужчины в сером. Сережа стоит на пароходной пристани и хочет рассказать о звездах, — но все смеются над ним.

Резкая боль в груди пронизала все тело мальчика. Смутные, серые тени пробежали перед глазами, — что-то страшное, безликое мелькнуло из-за кустов. Медленно, дрожа всем телом, поднялся Сережа со скамейки. Тонкая паутинка коснулась его щеки. Бледный стоял он и черными глазами всматривался в пустоту ночи.

Все было тихо и спокойно. Сережа повернулся к дому, — его молчаливые, внимательные окна виднелись вдали из-за кустов, и Сережа

почувствовал, что страшно туда идти, страшно даже смотреть туда. Он отвернулся от этого дома и опять лег на скамейку.

Ему стало хорошо. Сердце было спокойно, как будто его и не было в груди. Сережа прислушался к нему, — оно билось ровно, и только легкое щекотание было где-то около него, но оно было приятно. Сережа перестал думать о своем сердце. Все воспоминания вдруг отошли и не мешали звездам придвинуться.

И вдруг не стало ничего, кроме звезд. Стало совсем тихо, и ночь сгустилась, придвинулась к Сереже и слушала вместе с ним, но звезды радостно молчали, и сияли, и играли переливными огнями. Их сияние возрастало, и они сладко и томно кружились, сначала медленно, потом все быстрее. Сережа смотрел вниз на их сияющую бездну со своей высоты, и ему не было страшно, что теперь все эти звезды блестят и сверкают не вверху, как раньше, а внизу, под ним. Кружась, они слились в ясные дуги, свет их расплывался, — словно легкая дрема набежала на них. Белое полотно разостлал кто-то между ними и Сережею. Под сводами полотняной палатки румяный мальчик говорил что-то Сереже, а у Сережи в руках была вещая, ясная птица.

— Оглянись! — сказал мальчик.

Сережа доверчиво оглянулся. Мальчик выхватил из его рук птицу и убежал. Сережа почувствовал, что он плывет и качается. Ветка сирени над ним поплыла с ним вместе. Опять ему стало жутко и радостно. Звезды звенели над ним тихо и нежно. Потом жалобны стали их звуки.

Холод пробежал по Сережину телу, от ног к голове.

— Спасайся! К нам! — тревожно шептали звезды.

Скамейка, на которой лежал Сережа, толкала его и старалась сбросить. Ветер повеял, — и вдруг страшные звуки поднялись везде в деревьях.

Сережа вскочил на ноги. Сердце у него трепетало, словно у него выросли крылья. Земля колебалась под Сережиными ногами. Что-то противное, страшное приближалось к нему по земле, гибкое, с яркими зелеными глазами, и кричало ужасно и резко. За спиною Сережи кто-

то неистово хохотал грубым человеческим голосом. Над хаосом грубых, злых звуков, которые возникали везде вокруг Сережи и оглушали его, радостно и призывно звенели звезды, — голоса их были тихие, но внятные для Сережи. А в воздухе носилась липкая, тонкая паутина и ложилась на Сережины щеки; среди общего смятения и шума она одна была безмолвна, и это безмолвие липкой паутины было всего страшнее.

Сережа не знал, что ему делать, чтобы спастись от этого шума и от этой паутины. Тоска сжимала его сердце. Он побежал, шатаясь, спотыкаясь и плача, не зная сам, куда бежит, — ноги его тяжелели, и сердце с тяжким грохотом стучало в груди, и все вокруг гремело и скрежетало.

Сережа набежал на темный ствол березы, уперся в него руками, отскочил, шатаясь, назад и остановился, колеблясь на ослабелых ногах и шепча в тоске:

— Что мне делать? Что мне делать?

Со страшною, рванувшею все тело болью сжалось его сердце, — и вдруг боль и тоска исчезли. Тихая, нежная радость приникла к Сереже. Он почувствовал, что кто-то повеял на него холодным дыханием и прислонил его спиною к земле. Опять под ним, далеко внизу, засияли ясные, тихие звезды. Сережа широко раскинул руки, оттолкнулся от земли ладонями и с криком громким и резким, похожим на визгливый голос ночной птицы, бросился торопливо и радостно с темной земли к ясным звездам. Радостно закружились звезды, и зазвенели стройно и громко, и помчались ему навстречу, расширяя свои золотые крылья. Великий, кроткий ангел подставил его груди белое крыло, и нежно обнял его, и закрыл его глаза легкою рукою. И в его объятиях навсегда и обо всем забыл Сережа.

Рано утром нашли его в сырой траве у забора. Он лежал, широко раскинув руки, с лицом, обращенным к небу. Около его рта, на бледной, словно припухшей от улыбки щеке, темнела струя запекшейся крови. Глаза его были сомкнуты, лицо не по-детски спокойно, он весь был холодный и мертвый.

## *Улыбка*

### I

В саду дачи Семибояриновых по случаю именин одного из сыновей, Леши, гимназиста второго класса, собралось десятка полтора мальчиков и девочек разного возраста и несколько юношей и девиц. Лешины именины для того и справляли, чтобы лишний раз собрать молодых гостей для взрослых барышень, сестер именинника.

Все были веселы и улыбались, — и взрослые, и мальчики, и девочки, которые, играя, двигались по желтому песку подметенных дорожек, — улыбался и бледный некрасивый мальчик, что сидел одиноко на скамеечке под сиренью и молча глядел на своих сверстников. Его одиночество, молчаливость и поношенная, хотя чистенькая одежда показывали, что он из бедной семьи и стесняется этим обществом нарядных, бойких детей. Лицо у него было робкое, худенькое, и грудь такая впалая, и ручонки такие тощие; так смирно они лежали, что на него жаль было смотреть. А все-таки он улыбался, — но и улыбка его казалась жалкою: не то ему весело было смотреть на игры и на веселье, не то он боялся, чтобы не рассердить кого-нибудь своим скучным видом и плохим костюмом.

Его звали Гриша Игумнов. Отец его недавно умер; мать посылала иногда Гришу к своим богатым родственникам, где Гриша всегда чувствовал скуку и неловкость.

— Что ж ты один сидишь, — иди, побегай! — сказала ему мимоходом синеглазая барышня, Лидочка Семибояринова.

Гриша не смел не послушаться, — сердце его забилось от волнения, лицо покрылось мелкими капельками пота. Он боязливо подошел к веселым краснощеким мальчикам. Они посмотрели на него недружелюбно, как на чужого, — и Гриша сам почувствовал сейчас же, что он не такой, как они: не может говорить так смело и громко, и у него нет таких желтых башмаков и задвинутой на затылок круглой шапочки с мохнатою красною шишечкою, как у мальчугана, который стоял к нему всех ближе.

Мальчики продолжали говорить между собою по-прежнему, как будто бы здесь и не было Гриши. Гриша стоял возле них в неловкой позе, принагнул тонкие плечики, крепко держался тоненькими пальцами за узенький кушачок и робко улыбался. Он не знал, как ему теперь быть, и от смущения едва слышал, что говорили бойкие мальчики.

Они окончили разговор и вдруг разбежались. Продолжая улыбаться все так же робко и виновато, Гриша неловко пошел по песчаной дорожке и опять сел на скамейку. Ему было стыдно, что вот он подходил к мальчикам, но ни с кем из них не заговорил и ничего из этого не вышло. Усевшись, он робко осмотрелся, — никто не обращал на него внимания, никто не смеялся над ним. Гриша успокоился.

Но вот мимо него медленно прошли, обнявшись, две девочки. Под их пристальными взорами Гриша ежился, краснел, виновато улыбался.

Когда девочки прошли, одна из них, поменьше, светловолосая, громко спросила:

— Кто этот маленький уродец?

Другая, краснощекая, чернобровая, рослая девочка засмеялась и ответила:

— Я не знаю, — надо будет у Лидочки спросить. Верно, какой-нибудь бедный родственник.

— Какой смешной, — сказала маленькая блондиночка. — Уши расставил, сидит и улыбается.

Они скрылись за кустами на повороте дорожки, и Гриша перестал слышать их голоса. Ему было обидно и становилось страшно думать, что еще долго надо здесь пробыть и неизвестно, когда мама с ним пойдет домой.

Большеглазый, тоненький гимназист с упрямым хохолком, торчавшим над его крутым лбом, заметил, что Гриша один сидит сиротою, — и он захотел чем-нибудь приласкать и утешить мальчика и подсел к нему.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Гриша тихонько назвал свое имя.

— А меня зовут Митей, — сообщил маленький гимназист. — Что ж, ты здесь один или с кем-нибудь?

— С мамой, — шепнул Гриша.

— Отчего же ты тут один сидишь? — спросил Митя.

Гриша беспокойно задвигался и не знал, что сказать.

— Отчего ты не играешь?

— Не хочу.

Митя не дослышал и переспросил:

— Что ты говоришь?

— Мне не хочется, — сказал Гриша немного погромче.

Гимназист удивился, спрашивал:

— Не хочется? Отчего же?

Гриша опять не знал, что сказать, и растерянно улыбнулся. Митя внимательно смотрел на него. Чужие взоры всегда приводили Гришу в смущение, — он словно боялся, что в его наружности найдут что-нибудь смешное.

Митя помолчал, придумывая, что бы еще спросить.

— Ты что собираешь? — спросил он. — Какие-нибудь предметы, понимаешь, коллекцию? Мы все собираем: я — марки, Катя Покрывалова — раковины, Леша — бабочек. А ты что собираешь?

— Ничего, — ответил Гриша, краснея.

— Как же ты так? — с простодушным удивлением говорил Митя. — Ничего не собираешь? Напрасно, это очень интересно!

Грише стало стыдно, что он ничего не собирает и что это обнаружилось.

«Надо собирать что-нибудь и мне!» — подумал он, но не решился сказать этого вслух.

Митя посидел немного и ушел. Гриша почувствовал облегчение. Но ему готовилось новое испытание.

По дорожкам сада гуляла нянька Семибояриновых с их младшим сыном, годовалым бутузом, на руках. Ей захотелось посидеть, и она выбрала для этого ту самую скамейку, где сидел Гриша. Ему опять стало неловко. Он глядел прямо перед собою и не решался даже отодвинуться от няньки на другой конец скамьи.

Внимание малютки скоро привлекли оттопыренные Гришины уши, и он потянулся к ним. Нянька, толстая, румяная баба, сообразила, что

Гриша — безответный. Она поднесла своего бутуза к Грише, и розовый младенец ухватился пухлою ручонкою за Гришино ухо. Тот обомлел от смущения, но не решился сопротивляться. А ребенок, весело и звонко хохоча, то выпускал Гришино ухо, то опять хватался за него. Румяная нянька, забавляясь не менее младенца, повторяла:

— А вот мы его! А вот мы ему зададим!

Кто-то из мальчиков увидел и сказал другим, что маленький Жоржик развоевался с тихим мальчиком, который все сидит на скамеечке. Дети сбежались, окружили Жоржика и Гришу и шумно смеялись. Гриша старался показать, что ему ничего, не больно и что ему тоже весело и забавно, что Жоржик его так хватает. Но ему становилось все труднее улыбаться и страшно хотелось заплакать. Он знал, что нельзя плакать, стыдно, и крепился.

К счастью, его скоро выручили. Синеглазая Лидочка, заслышавши необычайный смех и восклицания, пришла, увидела, в чем дело, и сказала:

— Няня, как вам не стыдно! Что вы делаете!

Ей и самой стало смешно глядеть на жалкое, сконфуженное Гришино лицо. Но поддерживая перед нянькою и детьми свое достоинство взрослой барышни, она не засмеялась. Няня встала и сказала, посмеиваясь:

— Что ж, Жоржинька легонечко. Они сами ничего не говорят, им не больно.

— Пожалуйста, чтоб этого не было! — строго сказала Лидочка.

Жоржик, недовольный тем, что его отняли от Гриши, поднял крик. Лидочка взяла его на руки и унесла подальше утешить. Ушла за нею и нянька. А мальчики и девочки не ушли. Они толпились перед сидевшим на скамейке Гришею, бесцеремонно оглядывали его.

— У него, может быть, приставные уши, — соображал один из мальчиков, — потому ему и не больно.

— Ты, должно быть, любишь, когда тебя держат за уши? — спрашивал другой.

— Скажите, — спросила девочка с большими синими глазами, — вас ваша мама за какое ухо чаще держит?

— Это ему так на заказ уши вытянули, в мастерской, — кричал веселый мальчуган, звонко хохоча.

— Нет, — поправил другой, — он так и родился. Когда маленький был, его не за руку водили, а за ухо.

Гриша поглядывал на своих мучителей, как загнанный зверек, напряженно улыбался и вдруг, совсем неожиданно для веселой детворы, заплакал. Частые, мелкие слезы закапали на его курточку. Дети сразу притихли. Им стало неловко. Они сконфуженно переглядывались и молча смотрели на то, как Гриша плакал, утирая лицо тоненькими руками и, очевидно, стыдясь своих слез.

— Туда же, обижаться, — сердито сказала русоволосая красавица Катя, — что ему сделали? Уродец!

— Вовсе он не урод, ты сама урод, — заступился Митя.

— Терпеть не могу, когда говорят грубости, — сказала Катя, досадливо краснея.

Маленькая смуглая девочка в красной юбочке смотрела долго на Гришу, хмуря брови, очевидно, размышляя о чем-то. Потом она обвела других детей недоумевающим взором и тихо спросила:

— Так зачем же он улыбался?

## II

Обновки у Гриши бывали редко, — делать их часто средств не хватало у матери, и потому каждая обновка была ему в большую радость. Наступила осень, стало холодно, — справила Грише мать пальто, шапку, рукавицы. Больше всего порадовали Гришу рукавицы.

В праздник после обедни он надел все свои обновки и отправился гулять. Он любил гулять по улицам, и его пускали одного: матери было некогда ходить с ним. Теперь она с гордостью смотрела из окна, когда Гриша степенно проходил по двору. Вспоминая своих зажиточных родственников, которые много обещали, но мало делали для нее, она думала: «Вот, и сама справила, слава Богу, обошлась и без них».

Стоял холодный, ясный день; солнце светило неярко; по воде городских каналов плыли первые тонкие льдинки. Гриша ходил по ули-

цам, радуясь и этому бодрому холоду, и своим обновкам, и наивным своим мечтам, — он всегда принимался мечтать, как только оставался один, и мечтал всегда о подвигах, о славе, о блестящей, счастливой жизни в роскошных чертогах, обо всем, что не похоже на скучную действительность.

Когда Гриша стоял на набережной Мойки и сквозь чугунную решетку смотрел на тонкое сало, плывшее по течению, к нему подошел уличный мальчишка в потасканной одежонке и с покрасневшими от холода руками. Он заговорил с Гришею. Гриша его не боялся, даже пожалел, что у него озябли руки. Новый знакомец сообщил, что его зовут Мишкою, а фамилия у него Бабушкин, потому что он с матерью живет у бабушки.

— Так как же, — спросил Гриша, — а у твоей матери какая фамилия?

— У матери? — переспросил Мишка, ухмыляясь, — а у нее фамилия Матушкина, потому что бабушка ей не бабушка, а матушка.

— Вот как! — с удивлением сказал Гриша. — А вот у меня с мамой одна фамилия: мы — Игумновы.

— Так это потому, — живо объяснил Мишка, — что твой дедушка был игумном.

— Нет, — сказал Гриша, — мой дедушка был полковником.

— Ну, все равно, дедушкин отец или кто-нибудь был игумном, вот вы все и пошли Игумновы.

Гриша не знал, кто был его прадед, и потому замолчал. Мишка все поглядывал на его рукавицы.

— Рукавицы-то у тебя знатные, — сказал он.

— Новые, — объяснил Гриша, радостно улыбаясь, — в первый раз надел. Видишь ты, — с прошивочкой!

— Ишь ты, какие важные! Поди, тепло тебе в них?

— Тепло.

— У меня тоже есть рукавицы, только я их дома оставил, они мне не нравятся. Я попрошу, чтобы мне купили такие же, как у тебя, а то мои мне совсем не нравятся. Они — желтые, а я желтых не люблю. Дай мне надеть, я сбегаю, покажу бабушке, а то как же она купит!

Мишка просительно смотрел на Гришу, и глаза его завистливо блестели.

— А ты скоро? — спросил Гриша.

— Да, я вот тут близко живу, только за угол. Ты не бойся! Я, ей-Богу, сейчас.

Гриша доверчиво снял рукавицы и отдал их Мишке.

— Я сейчас, ты постой, не уходи, — радостно крикнул тот, убегая с Гришиными рукавицами.

Он скрылся за углом, а Гриша остался ждать. Он не думал, что Мишка его может обмануть: вот сбегает домой, покажет, вернется и отдаст рукавицы. Но долго стоял он и ждал, а тот и не думал приходить.

Уже короткий осенний день вечерел; уже мать, встревоженная долгим отсутствием Гриши, отправилась искать его, когда он наконец понял, что Мишка не вернется. Мальчик печально пошел домой и встретился с матерью.

— Гриша, да где ты пропадал? — и сердясь, и радуясь, что сын нашелся, спрашивала мать.

Гриша смущенно молчал, теребя свои красные от холода пальцы. Мать заметила, что у него нет рукавиц.

— Где твои рукавицы? — сердито спросила она, обшаривая карманы его пальто.

Гриша улыбнулся и сказал:

— Я мальчику отдал поносить, а он не принес.

## III

Проходили годы за годами. Из бойких, смелых детей, что собрались на именины Леши Семибояринова, вышли ловкие, смелые люди, — и мальчишка, обманувший Гришу, нашел, конечно, свою дорогу в жизни, — а Гриша стал, разумеется, неудачником. Как в детстве, он все мечтал и в мечтах покорял царства, а на деле не умел оборонить себя от любого предприимчивого человека, который бесцеремонно отстранял его с дороги. Отношения его к женщинам

были так же неудачливы, как и вся жизнь, и никогда ответное чувство не награждало его робких ухаживаний. Друзей у него не было. Одна только мать любила его.

Игумнов радовался, когда поступил на службу, на маленькое жалованье, — радовался тому, что теперь мать будет жить покойно, не заботясь о куске хлеба. Но счастье его не долго продолжалось: скоро мать умерла. Гриша заскучал, упал духом. Жизнь показалась ему бесцельною. Апатия овладела им, работа валилась из рук. Он потерял место и стал сильно нуждаться.

Игумнов заложил наконец и последнее материно колечко и, выходя из ломбарда, улыбался, — чтоб не заплакать от жалости к себе.

Приходилось наведываться к разным людям, просить работы или места. Но Игумнов не умел просить. Застенчивый, молчаливый, он испытывал в таких случаях непобедимое смущение и не мог настаивать на своих просьбах. Уже на лестнице перед дверью той квартиры, у хозяина которой надо чего-нибудь просить, его охватывал ужас, сердце его томительно билось, ноги тяжелели, рука нерешительно протягивалась к звонку.

В один из самых тяжелых и голодных дней Игумнов сидел в роскошном кабинете Алексея Степановича Семибояринова, отца того Леши, именины которого были ему памятны. Накануне Игумнов послал Алексею Степановичу письмо: на бумаге все же легче просить, чем на словах. Теперь он пришел за ответом.

По суетливой, беспокойной любезности Семибояринова, сухого, малорослого старичка с коротко остриженными серебристо-седыми волосами, он догадывался, что получит отказ, чувствовал себя поэтому скверно и не мог не улыбаться какою-то искусственно-ласковою улыбкою, словно ему хотелось показать, что это ничего, что если, мол, нельзя, то и не надо, а я, мол, так, между прочим. Эта улыбка, очевидно, раздражала Семибояринова.

— Получил я ваше письмо, любезнейший, — заговорил он наконец о деле своим сухим и отчетливым голосом. — Но, милейший, теперь ничего на примете нет.

— Ничего? — пробормотал Игумнов, краснея.

— Решительно ничего, почтеннейший. Все занято. И не предвидится в ближайшем будущем. Вот к Новому году можно что-нибудь устроить для вас, милейший.

— Да хоть к Новому году, — сказал Игумнов, улыбаясь с таким видом, как будто какие-нибудь восемь месяцев для него не расчет.

— Да, тогда очень рад буду. Если бы от меня зависело, я бы вас сегодня же посадил за дело. Мне очень хочется быть вам полезным, дорогой мой!

— Благодарю вас, — сказал Игумнов.

— Но скажите мне, милейший, — участливо спросил Семибояринов, — отчего вы ушли с того вашего места?

— Не пригодился, — смущенно отвечал Игумнов.

— А, не пригодились! Ну, надеюсь, что у нас, милейший, вы пригодитесь. Вы мне дайте адрес, почтеннейший.

Семибояринов суетливо принялся отыскивать на столе бумагу. Игумнов увидел тут же, под маленьким мраморным прессом, свое вчерашнее письмо.

— У меня адрес на письме написан, — сказал он.

— Да, да, верно, — оживленно заговорил хозяин, хватая письмо. — Так я буду знать.

— У меня привычка, — сообщил Игумнов, подымаясь с места, — всегда писать в начале письма адрес.

— Европейская привычка, — похвалил хозяин.

Игумнов распрощался и, улыбаясь, вышел, гордясь своими европейскими привычками, которые, однако, не мешали чувствовать голод. Его почти радовало то, что неприятный разговор кончен. Припоминались вежливые слова, преимущественно те, в которых заключались обещания и возбуждались легкомысленные надежды. Только через несколько минут, шагая по улице, он понял, что ничего из этих обещаний не выйдет. Да и обещано-то когда-нибудь, а есть надо теперь, и на квартиру без денег идти тяжело, — что скажет хозяйка? Что он ей скажет?

Игумнов замедлил шаги и повернул в другую сторону. В грустной задумчивости, бледный, голодный, проходил он по шумным столич-

ным улицам мимо сытых, занятых своими делами людей. Улыбка исчезла с его лица. Выражение мрачного отчаяния придало некоторую значительность его маловыразительным чертам.

Он приближался к Неве. Громадный купол Исаакиевского собора торжественно горел золотом на синей небесной пустыне. В лучах склоняющегося к закату солнца широкие площади и улицы подергивались нежною, еле различимою, пыльною мглою. Грохот экипажей смягчался здесь, на этих великолепных просторах. Все было неприветливо и чуждо голодному, бессильному человеку. Румяные фрукты за стеклами магазинов были так же недоступны, как если бы их охраняла крепкая стража.

В нежно-зеленеющем сквере играли веселые дети. Игумнов смотрел на них и улыбался. Несносные воспоминания о детстве томили его щемящею жалостью к себе. Он думал, что ему остается только умереть. Это страшило. Но он думал: «Почему же не умереть? Ведь было же время, когда я не жил? Будет покой, вечное забвение».

Обрывки чужих мудрых мыслей приходили в голову и утешали его.

Игумнов вышел на набережную. Опираясь о гранит, он стоял и смотрел на тяжелые волны реки. Вот только упасть туда, и все кончено. Но страшно тонуть, — захлебываться, давиться этими тяжелыми, холодными волнами, беспомощно биться и наконец в изнеможении опуститься на дно, чтобы течение повлекло тело вниз и потом выбросило безобразный труп где-нибудь на взморье.

Игумнов вздрогнул и отвернулся от реки. Неподалеку он увидел бывшего сослуживца, Куркова. Щеголевато одетый, веселый, самодовольный, Курков медленно шел, помахивая тросточкою с фигурным набалдашником.

— А, Григорий Петрович! — воскликнул он, точно обрадованный встречею. — Гуляете? Или по делу?

— Да, гуляю, то есть по делу, — сказал Игумнов.

— Нам, кажется, по дороге?

Они пошли вместе. Веселый говор Куркова усиливал тоску Игумнова. С внезапною решимостью, нервно передернув плечами, он сказал:

— Николай Сергеевич, не найдется ли у вас рубля?

— Рубля? — удивился Курков, — на что вам?

Игумнов зарделся и, запинаясь, принялся объяснять:

— Да мне, видите ли... Мне не хватает именно одного рубля... Мне надо одну вещь купить... купить, знаете...

Волнение перехватило его дыхание. Он замолчал и улыбался напряженно и жалко.

«Ну, это, значит, без отдачи», — подумал Курков.

И сказал, уже не тем беспечным тоном, как раньше:

— Рад бы, но совсем нет лишних, ни гроша. Сам вчера должен был занять.

— Ну что ж, на нет суда нет, — бормотал Игумнов, продолжая улыбаться, — как нибудь обойдусь.

Его улыбка злила Куркова, — может быть, потому, что она была такая беспомощная и жалкая.

«Чего он улыбается? — досадливо думал Курков. — Не верит, что ли? Ну и пусть, — у меня не казначейство!»

— Отчего вы к нам никогда не зайдете? — небрежно и сухо спросил он Игумнова, глядя куда-то в сторону.

— Все собираюсь, непременно зайду, — отвечал Игумнов дрожащим голосом, — сегодня можно?

Уютная столовая Курковых представилась ему, гостеприимная хозяйка, самовар на столе, заставленном закусками.

— Сегодня? — сказал Курков тем же сухим небрежным голосом. — Нет, сегодня нас дома не будет. На днях как-нибудь, милости просим. Однако, мне в этот переулок. До свиданья!

И он поспешно стал переходить через деревянную настилку набережной. Игумнов смотрел за ним, улыбаясь. Медленные, несвязные мысли ползли в его голове.

Когда Курков скрылся в переулке, Игумнов опять приблизился к гранитной ограде и, содрогаясь от холодного ужаса, мешкотно и неловко стал перелезать через нее.

Никого не было вблизи.

# *Прятки*

## I

В детской у Лелечки было светло, красиво и весело. Звонкий Лелечкин голос радовал маму. Лелечка — прелестный ребенок. Ни у кого нет другого такого ребенка, и никогда не было, и не может быть. Серафима Александровна, Лелечкина мама, уверена в этом. Глаза у Лелечки черные, большие, щеки румяные, губы созданы для поцелуев и для смеха. Но не в этом самая большая, самая милая для Серафимы Александровны Лелечкина прелесть.

Лелечка у мамы одна. Поэтому-то каждое Лелечкино движение чарует маму. Что за блаженство, — держать Лелечку у себя на коленях, ласкать ее, чувствовать под руками маленькую девочку, бойкую и веселую, как птичка!

Сказать по правде, только в детской и весело Серафиме Александровне. С мужем ей холодно.

Может быть, это потому, что он и сам любит холод, — холодную воду, холодный воздух. Он — всегда свежий и холодный, с холодною улыбкою, — и где он проходит, там словно пробегают в воздухе холодные струйки.

Неслетьевы, Сергей Модестович и Серафима Александровна, поженились не по любви и не по расчету, а потому, что уже так принято. Молодой человек, — тридцати пяти лет, — и молодая девица, — двадцати шести, — оба одного общества и хорошо воспитанные, сошлись: ему следовало жениться, ей настала пора выйти замуж.

Серафиме Александровне казалось даже, что она влюблена в жениха, и это очень веселило. Он был изящный, ловкий, сохранял всегда значительное выражение в умных серых глазах и с безукоризненною нежностью выполнял жениховские обязанности.

Сергей Модестович не чувствовал себя влюбленным, и ему не было особенно весело, а только приятно, — как, впрочем, и все в его ровной, умеренной жизни.

Невеста была красива, не слишком, впрочем, — высокая, черноглазая, черноволосая девица, державшаяся несколько застенчиво, но с большим тактом. За приданым он не гнался, — но ему доставляло удовольствие знать, что у жены есть что-то. Он имел связи, и у жены были хорошие, влиятельные родственники. Когда-нибудь, при случае, это могло пригодиться. Всегда корректный и тактичный, Неслетьев двигался по службе не так скоро, чтоб ему завидовали, но и не так медленно, чтобы завидовать другим, — и в меру, и в пору.

После того, как они сочетались, Сергей Модестович ни разу, во внешнем и показном своем поведении, не дал жене повода обвинить себя. Потом, уже когда Серафима Александровна была в интересном положении, у Сергея Модестовича завязались легкие, непрочные связи на стороне. Серафима Александровна узнала об этом, — и, к удивлению своему, не особенно огорчилась; она ждала ребенка с тревожным, поглощающим ее чувством.

Родилась девочка; Серафима Александровна предалась заботам о ней. Вначале она с восторгом сообщала мужу радующие ее подробности из Лелиной жизни. Но скоро она заметила, что Сергей Модестович выслушивал ее без всякого живого участия, единственно только по светской любезной привычке. Серафима Александровна стала все больше отдаляться от него. Она любила девочку с неудовлетворенною страстностью, как другие женщины, ошибочно устроившие свою судьбу, изменяют мужьям для случайных молодых людей.

— Мамочка, поиграем в прятки, — кричала Лелечка, выговаривая «р», как «л», так что выходило вместо «в прятки» — «в плятки».

Эта милая неумелость говорить заставляла Серафиму Александровну нежно и растроганно улыбаться. Лелечка побежала, топоча по коврам маленькими, пухлыми ножками, и спряталась за занавесками у своей кроватки.

— Тютю, мамочка! — закричала она смеющимся, нежным голосом, выглядывая одним черным, плутовским глазком.

— Где моя деточка? — спрашивала мама, притворяясь, что ищет Лелечку и не видит ее.

А Лелечка заливалась звонким смехом в своем убежище. Потом она высунулась побольше, — и мама как будто сейчас только увидала ее и взяла ее за плечики, радостно восклицая:

— А, вот она, моя Лелечка!

Долго и звонко смеялась Лелечка, приникнув головою к маминым коленям и барахтаясь в маминых белых руках, — возбужденно и страстно горели мамины черные глаза.

— Теперь ты, мамочка, прячься, — сказала Лелечка, уставши смеяться.

Мама пошла прятаться; Лелечка отвернулась, — будто бы не смотрит, — а сама исподтишка наблюдала, куда пойдет мамочка. Мама спряталась за шкапом и крикнула:

— Тютю, деточка!

Лелечка побежала вокруг комнаты, заглядывая во все уголки, притворяясь, как давеча мама, что ищет, — хоть сама хорошо знала, где стоит мамочка.

— Где моя мамочка? — спрашивала Лелечка. — Здесь нет, — и здесь нет, — говорила она, пробегая к другому уголку.

Мама стояла, притаив дыхание, с прислоненною к стене головою, с примятою прическою. Блаженно-тревожная улыбка играла на ее румяных губах.

Нянька Федосья, глуповатая на вид, но добрая, красивая женщина, ухмылялась, смотрела на барыню с тем обычным у нее выражением, как будто она согласна не спорить против барских затей, и думала про себя: «И мать-то, ровно дите малое, — ишь как разгорелась».

Лелечка приближалась к мамину углу, — а мама все больше волновалась, входя в интерес игры; мамино сердце усиленно и коротко билось, и она теснее прижималась к стене и приминала свои волосы. Лелечка заглянула в мамин угол и взвизгнула от радости.

— Насла! — закричала она громко и радостно, не чисто выговаривая звук «ш» и опять веселя этим маму.

Она потащила маму за руки на середину комнаты, — обе радовались и смеялись, — и опять Лелечка упала головою к маминым

коленям и лепетала, лепетала без конца милые словечки, так славно и неловко их выговаривая.

Сергей Модестович подходил в это время к детской. Сквозь неплотно затворенные двери он услышал смех, радостные восклицания, шум от возни. Холодно, но любезно улыбаясь, вошел он в детскую, свежий, прямой, одетый безукоризненно, распространяя вокруг себя веяние чистоты, свежести и холода. Он вошел среди оживленной игры, — и всех смутил своим ясным холодом. Даже Федосья застыдилась, не то за барыню, не то за себя самое. Серафима Александровна сразу сделалась спокойною и, по-видимому, холодною, — и это ее настроение сообщилось девочке, которая перестала смеяться и молча и внимательно смотрела на отца.

Сергей Модестович беглым взглядом окинул комнату. Все здесь ему приятно: обстановка красивая, — Серафима Александровна заботится о том, чтобы девочку с самого нежного возраста окружало только прекрасное. Одета Серафима Александровна нарядно и к лицу, — это она всегда делает для Лелечки с тем же расчетом. Одного только Сергей Модестович не мог одобрить, — того, что жена почти постоянно в детской.

— Мне надо было сказать... Я так и знал, что найду тебя здесь, — сказал он с улыбкою насмешливою и снисходительною.

Они вышли вместе из детской. Пропустив Серафиму Александровну в дверь кабинета, Сергей Модестович сказал равнодушно, как бы вскользь и не придавая значения своим словам:

— Ты не находишь, что девочке полезно бы иногда обойтись без твоего общества? Понимаешь, чтобы ребенок почувствовал свою отдельную личность, — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Серафимы Александровны.

— Она еще так мала, — сказала Серафима Александровна.

— Впрочем, это так, только мое скромное мнение. Я не настаиваю, — там ваше царство.

— Я подумаю, — отвечала жена, улыбаясь, как и он, холодно и любезно.

И они заговорили о другом.

## II

Вечером нянька Федосья рассказывала в кухне молчаливой горничной Дарье и любящей рассуждать старухе кухарке Агафье о том, что маленькая барышня уж так-то полюбила играть с барынею в прятки, — спрячет личико и кричит: тютю!

— И сама-то барыня ровно дите малое, — говорила Федосья, ухмыляясь.

Агафья слушала, неодобрительно покачивая головою, и лицо ее сделалось строгим и укоряющим.

— Что барыня, известно, ей ни к чему, — сказала она, — а вот что барышня-то все прячется, нехорошо это.

— А что? — с любопытством спросила Федосья.

Ее доброе румяное лицо от этого выражения любопытства сделалось похожим на лицо деревянной, грубо раскрашенной куклы.

— Да нехорошо, — повторила с убеждением Агафья, — да и как еще нехорошо!

— Ну? — переспросила Федосья, усиливая на своем лице смешное выражение любопытства.

— Прячется, прячется, да и спрячется, — таинственным шепотом сказала Агафья, опасливо посматривая на дверь.

— Да что ты говоришь? — с испугом воскликнула Федосья.

— Верно говорю, вот попомни мое слово, — уверенно и так же таинственно сказала Агафья, — уж это самая верная примета.

Но эту примету старуха придумала сама, внезапно, и теперь, очевидно, весьма гордилась ею.

## III

Лелечка спала, а Серафима Александровна сидела у себя, и радостно и нежно мечтала о Лелечке. Лелечка в ее мечтах была милою девочкою, потом милою девушкою, потом опять прелестною девочкою, и все без конца оставалась маминою Лелечкою.

Серафима Александровна и не заметила, как пришла Федосья и остановилась перед нею. У Федосьи было озабоченное, испуганное лицо.

— Барыня, а барыня, — позвала она тихонько, вздрагивающим, взволнованным голосом.

Серафима Александровна очнулась, Федосьино лицо обеспокоило ее.

— Что тебе, Федосья? — спросила она тревожно. — С Лелечкой что?

Она быстро встала с кресла.

— Ни, барыня, — отвечала Федосья, махая руками, чтобы барыня успокоилась и села. — Лелечка спит, Господь с ней. А только я, знаете что я вам скажу, — Лелечка-то у нас все прячется, — ведь нехорошо это.

Федосья смотрела на барыню неподвижными, округлившимися от страха глазами.

— Чем нехорошо? — с досадою спросила Серафима Александровна, невольно подчиняясь неопределенному беспокойству.

— Да так уж, нехорошо, негоже, — сказала Федосья, и лицо ее выражало непоколебимую уверенность.

— Говори, пожалуйста, толком, — сухо приказала Серафима Александровна, — я ничего не понимаю.

— Да так, барыня, примета такая есть, — вдруг застыдившись, объяснила Федосья.

— Глупости, — сказала Серафима Александровна.

Ей не хотелось больше слушать, что это за примета, что она предвещает. Но стало как-то не то чтобы страшно, а жутко, — и оскорбительно, что какая-нибудь, очевидно, нелепая выдумка разбивает милые мечты и томительно тревожит.

— Что ж, известно, господа приметам не верят, а только нехорошая примета, — заунывным голосом говорила Федосья, — прячется барышня, прячется...

Вдруг она заплакала, всхлипывая в голос.

— Прячется, прячется, да и спрячется, ангельская душенька, в сырую могилку, — приговаривала она, вытирая слезы передником и сморкаясь.

— Кто это тебе наговорил? — строгим и упавшим голосом спросила Серафима Александровна.

— Агафья говорит, барыня, — отвечала Федосья. — Уж она знает.

— Знает! — досадливо сказала Серафима Александровна, видимо, желая как-нибудь оградиться от этого внезапного беспокойства. — Что за глупости! Пожалуйста, на будущее время не говори мне такого вздора. Иди.

Федосья, с обиженным и унылым лицом, вышла.

«Что за вздор! разве Лелечка может умереть», — думала Серафима Александровна, стараясь разумными рассуждениями победить ощущение холода и ужаса, охватившее ее при мысли о возможной Лелечкиной смерти.

Серафима Александровна думала, что эти женщины невежественны и потому верят приметам. Она же ясно понимала, что между детскою забавою, которую может полюбить всякий ребенок, и продолжительностью его жизни не может быть никакого соответствия. Она с особенным старанием старалась в этот вечер заняться чем-нибудь посторонним, — но мысли ее невольно обращались к тому, что Лелечка любит прятаться.

Еще когда Лелечка была совсем маленькая и недавно только научилась узнавать маму и няню, случалось, что она вдруг сделает, взглянув на маму, плутовскую гримаску, засмеется и спрячется за плечо к няньке, у которой сидит на руках. Потом выглянет и смотрит лукаво.

В последнее время Федосья опять приучила Лелечку прятаться, в те немногие минуты, когда мама уходила из детской; потом мама, увидев, как прелестна Лелечка, когда она прячется, сама стала играть с дочкою в прятки.

## IV

На другое утро, поглощенная радостными заботами о Лелечке, Серафима Александровна забыла о вчерашних Федосьиных словах.

Но когда она вышла из детской заказать обед и потом вернулась, а Лелечка спряталась под стол и крикнула оттуда: «Тютю!» — то

Серафиме Александровне стало вдруг страшно. Хотя она сейчас же упрекнула себя за этот неосновательный, суеверный страх, все-таки она уже не могла позабавить Лелечку игрою в прятки и постаралась отвлечь Лелечкино внимание на что-нибудь другое.

Лелечка — ласковая, послушная девочка. Она охотно переходит к тому, чего хочет мама. Но так как она уже привыкла прятаться от мамочки и покрикивать — тютю! — из какого-нибудь убежища, то и сегодня она часто возвращалась к этому.

Серафима Александровна усиленно старалась занимать Лелечку. Не так это легко! Особенно, когда беспрестанно мешают тревожные, угрожающие мысли.

«Отчего Лелечка все вспоминает свое «тютю»? Как это ей не надоест одно и то же, — закрывать глаза и прятать лицо? Может быть, — думала Серафима Александровна, — у Лелечки нет такого сильного влечения к миру, как у других детей, которые неотступно глядят на вещи. Но если так, то не признак ли это органической слабости? Не зародыш ли это бессознательной неохоты жить?»

Предчувствия томили Серафиму Александровну. Ей стыдно было, перед Федосьею и перед собою, бросить игру в прятки с Лелечкою. Но эта игра становилась для нее мучительною; тем более мучительною, что все-таки хотелось поиграть ею, и все более тянуло прятаться от Лелечки или отыскивать спрятавшуюся Лелечку. Серафима Александровна даже сама иногда затевала эту игру, — с тяжелым сердцем, страдая, как от какого-нибудь дурного дела, о котором знаешь, что не надо его делать, и все же делаешь.

Тяжелый день выдался у Серафимы Александровны.

## V

Лелечка собиралась спать. Ее глазки слипались от усталости, когда она забралась на кроватку, огороженную сетками. Мама прикрыла ее голубым одеяльцем. Лелечка выпростала из-под одеяльца белые нежные ручонки и протянула их, чтобы обнять мамочку. Мама наклонилась. Лелечка, с нежным выражением на сонном лице, поцеловала

маму и опустила голову на подушки. Ее руки спрятались под одеялом, и Лелечка прошептала:

— Ручки тютю.

Мамино сердце замерло, — Лелечка лежала такая маленькая, слабая, тихая. Лелечка слабо улыбнулась, закрыла глаза и тихонько сказала:

— Глазки тютю.

И потом еще тише:

— Лелечка тютю.

С этими словами она заснула, прижимаясь щекою к подушке, закрытая одеяльцем, маленькая, слабая. Мама смотрела на нее тоскующими глазами.

И долго стояла Серафима Александровна над Лелечкиною кроваткою, с нежностью и опасением глядя на Лелечку.

«Я — мать: неужели я не уберегу?» — думала она, воображая разные напасти, которые могут угрожать Лелечке.

Долго молилась она в эту ночь, — но тоска ее не облегчалась молитвою.

## VI

Прошло несколько дней. Лелечка простудилась. Ночью у нее сделался жар. Когда разбуженная Федосьею Серафима Александровна пришла к Лелечке и увидела ее, жаркую, беспокойную, страдающую, она вспомнила прежде всего зловещую примету, — и безнадежное в первую минуту отчаяние овладело ею.

Позвали врача, сделали все, что делают в таких случаях, — но неизбежное совершилось. Серафима Александровна старалась утешать себя надеждою на то, что Лелечка выздоровеет и будет опять улыбаться и играть, — но это казалось ей таким несбыточным счастием! А Лелечка слабела с каждым часом.

Все притворялись спокойными, чтобы не пугать Серафиму Александровну, — но их неискренние лица наводили на нее тоску.

Смертную тоску наводили на нее Федосьины всхлипывания и причитания:

— Пряталась, пряталась Лелечка!

Но мысли Серафимы Александровны были смутны, и она плохо понимала, что делается.

Лелечка вся горела, и поминутно забывалась, и бредила. Но когда она приходила в сознание, она выносила свою боль и свое томление с нежною кротостью и слабо улыбалась мамочке, чтоб мамочка не думала, что ей очень больно. Томительные, как кошмар, прошли три дня. Лелечка совсем ослабела. Но она не понимала, что умирает.

Она взглянула на мать помутившимися глазами и залепетала еле слышным, хриплым голосом:

— Тютю, мамочка! Сделай тютю, мамочка!

Серафима Александровна спрятала лицо за занавесками Лелечкиной кровати. Какая тоска!

— Мамочка! — еле слышно позвала Лелечка.

Мама наклонилась к Лелечке, — и Лелечка в последний раз увидала мутнеющими глазами мамочкино бледное, отчаянное лицо.

— Мамочка белая! — прошептала Лелечка.

Бледное мамочкино лицо померкло, и Лелечке стало темно. Она слабо схватилась руками за край одеяла и шепнула:

— Тютю.

Что-то захрипело в ее горле, Лелечка открыла и опять закрыла быстро побледневшие губы и умерла.

В тупом отчаянии Серафима Александровна оставила Лелечку и вышла из комнаты. Она встретила мужа.

— Лелечка умерла, — сказала она тихо, почти беззвучным голосом.

Сергей Модестович опасливо посмотрел на ее бледное лицо. Его поразило странное отупение в чертах этого, прежде оживленного, красивого лица.

## VII

Лелечку одели, положили в маленький гроб и вынесли в залу. Серафима Александровна стояла у гроба и тупо смотрела на мертвую дочку. Сергей Модестович подошел к жене и, утешая ее пустыми,

холодными словами, старался отвести ее от гроба. Серафима Александровна улыбалась.

— Отойди, — сказала она тихо. — Лелечка играет. Она сейчас встанет.

— Сима, друг мой, не расстраивай себя, — шепотом говорил Сергей Модестович. — Надо покоряться судьбе.

— Она встанет, — упрямо повторила Серафима Александровна, остановившимися глазами глядя на мертвую девочку.

Сергей Модестович опасливо оглянулся: он боялся неприличного и смешного.

— Сима, не расстраивай себя, — опять заговорил он. — Это было бы чудо, а чудес в девятнадцатом веке не бывает.

Сказав эти слова, Сергей Модестович смутно почувствовал их несоответствие с тем, что совершилось. Ему стало неловко и досадно.

Он взял жену под руку и осторожно отвел от гроба. Серафима Александровна не сопротивлялась.

Ее лицо казалось спокойным, и глаза были сухи. Она пошла в детскую и стала ходить по ней, заглядывая в те места, где прежде пряталась Лелечка. Кругом всей комнаты обошла она, нагибаясь, чтобы заглянуть под стол или под кроватку, и веселым голосом приговаривала:

— Где моя деточка? Где моя Лелечка?

Обойдя комнату вокруг, она снова начала свои поиски. Федосья неподвижно, с унылым лицом, сидела в углу, испуганно смотрела на барыню, потом вдруг зарыдала и завопила в голос:

— Пряталась, пряталась Лелечка, ангельская душенька!

Серафима Александровна вздрогнула, остановилась, в недоумении посмотрела на Федосью, заплакала и тихо пошла из детской.

## VIII

Сергей Модестович торопил псхороны. Он понимал, что Серафима Александровна чрезмерно потрясена внезапным горем и, опасаясь за

ее разум, думал, что Лелечку надо поскорее похоронить, чтобы мать развлеклась и утешилась.

Утром Серафима Александровна оделась особенно тщательно, — для Лелечки. Когда она пришла в зал, между нею и Лелечкою было много людей, ходили священник и дьякон, плавал синий дым, пахло ладаном. С тупою тяжестью в голове Серафима Александровна подошла к Лелечке. Лелечка лежала тихая, бледная и жалостливо улыбалась. Серафима Александровна положила голову щекою на край Лелечкина гроба и шепнула:

— Тютю, деточка!

Деточка не отвечала. Вокруг Серафимы Александровны произошло какое-то движение, суматоха, — чужие, ненужные лица наклонились к ней, кто-то поддержал ее, — а Лелечку куда-то понесли.

Серафима Александровна выпрямилась, растерянно ахнула, улыбнулась и громко сказала:

— Лелечка!

Лелечку уносили, — мать бросилась за гробом с отчаянным воплем, — ее удержали. Она метнулась за дверь, через которую несли Лелечку, села там на пол и, глядя в щель, крикнула:

— Лелечка, тютю!

Потом она высунула голову из-за двери и засмеялась.

Лелечку торопливо уносили от матери, и шествие похоже стало на бегство.

## *Белая мама*

### I

Приближалась Пасха. Эспер Константинович Саксаулов был в смутном, томительном настроении. Началось это, кажется, с того, что у Городищевых его спросили:

— Где вы встречаете праздник?

Саксаулов почему-то замедлил ответом.

Хозяйка, полная дама, близорукая, суетливая, сказала:

— Приходите к нам.

Саксаулову стало досадно, — не на барышню ли, которая при словах матери быстро глянула на него и сейчас же опять отвела глаза, продолжая разговор с молодым приват-доцентом?

В Саксаулове маменьки взрослых дочек еще видели жениха, что его раздражало. Он считал себя старым холостяком, — а ему было всего тридцать семь лет. Он резко ответил:

— Благодарю вас. Я всегда провожу эту ночь дома.

Барышня взглянула на него, улыбнулась и спросила:

— С кем?

— Один, — с оттенком удивления в голосе ответил ей Саксаулов.

— Вы — мизантроп, — сказала госпожа Городищева, как-то кисло улыбаясь.

Саксаулов дорожил своею свободою. Порою ему казалось странным, что и он когда-то был близок к женитьбе. Теперь он обжился в своей небольшой, со строгим вкусом убранной квартире, привык к своему камердинеру, пожилому, степенному Федоту, и к его не менее степенной жене Христине, готовившей Саксаулову обед, — и убедил себя, что не женится из верности к своей первой любви. На самом же деле сердце его холодело от равнодушия, порожденного одинокою, рассеянною жизнью.

У него было независимое состояние, отец и мать его давно умерли, близких родных не было. Он жил уверенно и спокойно, числился при каком-то ведомстве, был близко знаком со всем современным в литературе и искусстве и эпикурейски пользовался благами жизни, — а сама по себе жизнь казалась ему пустою, бездельною. Если бы не одна светлая, чистая мечта, порою навещавшая его, он стал бы и совсем холоден, как многие.

## II

Его первая и единственная любовь, закончившаяся до расцвета, заставляла его по вечерам иногда грустно и сладостно размечтать-

ся. Лет пять тому назад встретился он с молодою девушкою, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Бледная, нежная, с тонким станом, голубоглазая, светлокудрая, она казалась ему почти неземным созданием, порождением воздуха и тумана, случайно и ненадолго занесенным судьбою в городской шум. Ее движения были медленны; нежный, ясный голос ее звучал слабо, как ропот ручья, плещущего на камни тихие струи.

Саксаулов, — случайно ли это было, или нет, — всегда видел ее в белом платье. Впечатление белого сделалось в нем нераздельным с мыслью об ней. Самое имя ее, Тамара, всегда казалось ему белым, как снег на горных вершинах.

Он стал бывать у родителей Тамары. Не раз уже решался он сказать ей те слова, которыми связываются людские судьбы. Но она всегда уклонялась: в глазах отразятся страх и тоска, она встает и уходит. Но что ее страшило? Саксаулов читал на ее лице признаки девственной любви: глаза ее оживлялись, когда он входил, и легкий румянец разливался по ее щекам.

Но вот в один вечно памятный для него вечер она выслушала его. Была ранняя весна. Еще недавно вскрылись реки, и нежным зеленым пухом одевались деревья. В городской квартире Тамара и Саксаулов сидели у открытого окна над Невою. Не заботясь о том, что и как скажет, он говорил нежные, страшные ей слова. Она побледнела, как-то неопределенно и слабо улыбнулась и встала. Ее тонкая рука трепетала на резной спинке стула.

— Завтра, — тихо сказала Тамара и вышла.

Саксаулов долго, с напряженным ожиданием, смотрел на дверь, за которою скрылась Тамара. Голова у него кружилась. Ветка белой сирени бросилась ему в глаза, — он зачем-то взял ее с собою и ушел, не простившись с хозяевами.

Ночью он не мог заснуть. Он стоял у окна, смотрел в темные, потом опять к утру посветлевшие, уличные дали, улыбался и сжимал белую ветку сирени. Когда стало светло, он заметил, что пол в комнате усеян белыми лепестками сирени. Это показалось Саксаулову смешным и наивным. На его ночные волнения пахнуло хо-

лодком. Он взял ванну, почувствовал себя почти уравновешенным и поехал к Тамаре.

Ему сказали, что она больна — где-то простудилась. И уже никогда больше Саксаулов не видел ее: через две недели она умерла. Он не пошел на ее погребение. Ее смерть оставила его почти спокойным, — и уже не мог он понять, любил ли ее, или то было краткое, преходящее обаяние.

Иногда по вечерам он мечтал о ней, потом она стала забываться; и портрета ее у Саксаулова не было. Только через несколько лет, в прошлом году, весною, ему напомнила Тамару ветка белой сирени в окне гастрономического магазина, грустно бесприютная среди обжорной роскоши. И с этой поры полюбил он снова вспоминать по вечерам Тамару.

Порою он задремлет, и пригрезится ему, что она пришла, села против него, смотрит на него неотступным, ласковым взором и чего-то хочет. И томительно, и страшно было иногда ему чувствовать на себе чего-то ожидающий взор Тамары.

Теперь, уходя от Городищевых, он робко подумал: «Она придет христосоваться».

Чувство страха и одиночества так больно охватило его, что он подумал: «Не жениться ли, чтобы не быть одному в святые, таинственные ночи?»

Валерия Михайловна, — так звали барышню Городищевых, — вспомнилась. Она не красавица, но одета всегда удивительно к лицу. К Саксаулову она, по-видимому, расположена и вряд ли откажет ему, если он посватается.

На улице шум и толпа рассеяли его, и мысли о девице Городищевой приняли обычный иронический оттенок. И может ли он для кого-нибудь изменить памяти Тамары? Все в мире представилось ему столь пошлым и мелким, что ему захотелось, чтобы Тамара, — и только она одна, — пришла к нему христосоваться.

«Но, — подумал он, — она опять будет смотреть с ожиданием. Белая, нежная Тамара, чего же она хочет? Ее нежные губы поцелуют ли меня?»

III

Тоскливо мечтая о Тамаре, Саксаулов бродил по улицам, смотрел на лица прохожих, — и неприятны ему были грубые лица взрослых. Он припомнил, что ему не с кем будет радостно и любовно похристосоваться. Будет много поцелуев в первый день, — грубые губы, колючие бороды, винный запах.

Уж если целовать кого-нибудь, так это детей. Детские лица стали милы Саксаулову.

Он долго ходил, устал и вошел в церковную ограду на шумной улице. Бледный мальчик, сидевший на скамейке, испуганно глянул на Саксаулова и тотчас же опять принялся неподвижно смотреть перед собою. Его голубые глаза были печальны и нежны, как у Тамары. Он был такой маленький, что ноги его торчали вперед со скамейки.

Саксаулов сел рядом с ним и с жалостливым любопытством стал его рассматривать. Было в этом одиноком мальчугане что-то радостно-напоминающее и волнующее. А на взгляд это был самый обыкновенный мальчишка: отрепанная одежда, белая меховая шапчонка на светловолосой голове, на ногах изношенные грязные сапоги.

Он долго сидел на скамейке и вдруг встал и тоскливо пискнул. Он побежал из ворот по улице, потом остановился, метнулся в другую сторону и опять остановился. Видно было, что он не знает, куда идти. Он заплакал, тихо, без крика, роняя крупные слезы. Собралась толпа. Пришел городовой. Мальчика стали расспрашивать, где он живет.

— Глюхов дом, — лепетал мальчуган, еще не ясно, по-младенчески, произнося слова.

— На какой улице? — спрашивал городовой.

Но улицы мальчик не знал и только повторял:

— Глюхов дом.

Городовой, молодой и веселый, подумал и решил, что такого дома поблизости нет.

— Ну, а у кого ты живешь? — спросил угрюмый мастеровой, — отец-то у тебя кто?

— Отца нет, — отвечал мальчик, обводя толпу заплаканными глазами.

— Отца нет, такое дело, — серьезно сказал мастеровой и покачал головою. — Ну, а мать кто?

— Мама есть, — сказал мальчик.

— Как же ее зовут?

— Мама, — сказал мальчик, подумал и прибавил: — Черная мама.

Кто-то в толпе засмеялся.

— Черная? Что ж, фамилия такая? — догадывался угрюмый мастеровой.

— Прежде белая была мама, а теперь черная, — рассказывал мальчик.

— Ну, брат, тебя не разберешь, — решил городовой. — Надо в участок свести. Там справятся по телефону.

Он подошел к воротам и позвонил. В это время, завидев городового, дворник с метлою в руках уже выходил из ворот. Городовой велел ему вести мальчика в участок. Но мальчик вдруг словно надумал что-то и крикнул:

— Ну, пустите, сам найду!

Он, может быть, испугался дворниковой метлы, может быть, и в самом деле что-то припомнил, — только так побежал, что Саксаулов чуть не потерял его из вида. Но скоро мальчик пошел тише. Он колесил по улицам, перебегая с одной стороны на другую, отыскивая и не находя своего дома. Саксаулов шел за ним молча. Он не умел разговаривать с детьми.

Наконец мальчик устал. Он остановился у фонаря, прислонясь плечом к столбу. На глазах его сверкали слезинки.

— Милый мальчик, — заговорил Саксаулов, — что же ты, еще не нашел?

Мальчик молча посмотрел на него грустными, кроткими глазами, — и вдруг Саксаулов понял, что заставляло его так неотступно следить за мальчиком. Во взоре и в лице маленького скитальца было что-то, придававшее ему необычайное сходство с Тамарою.

— Милый, как тебя зовут? — взволнованно и нежно спросил Саксаулов.

— Леша, — сказал мальчик.

— Что же ты, милый Леша, живешь с мамою?

— С мамой. Только это — черная мама, а прежде белая мама была.

Саксаулов догадался, что черная была мачеха.

— Как же это ты заблудился? — спросил он.

— А мы шли с мамой, все шли. Она велела сидеть и ждать, а сама пошла. А мне стало страшно.

— Кто же твоя мама?

— Мама? Она — такая черная и сердитая.

— А чем она занимается?

Мальчик подумал.

— Кофей пьет, — сказал он.

— Ну, а еще что?

— Еще с жильцами ругается, — подумав, ответил Леша.

— А белая мама где?

— Ее унесли. Положили в гроб и унесли. И папу унесли.

Мальчик показал рукою куда-то вдаль и заплакал.

«Что же с ним делать?» — подумал Саксаулов.

Но вдруг мальчуган опять побежал. Через несколько поворотов он пошел потише. Саксаулов опять догнал его. Лицо мальчика изображало странную смесь радости и боязни.

— Вот Глюхов дом, — сказал он Саксаулову, показывая на пятиэтажную уродливую громадину.

В это время из ворот «Глюхова дома» показалась черноволосая, черноглазая баба в черном платье и черном платке с белыми горошинами. Мальчик боязливо сжался.

— Мама, — шепнул он.

Мачеха увидела его и удивилась.

— Ты зачем здесь, постреленок! — закричала она. — Велено тебе было сидеть на скамейке. Зачем сошел?

Кажется, она собиралась тут же прибить мальчика. Но, заметив, что на них смотрит какой-то барин, очень строгий и важный с виду, она заговорила помягче:

— Я только отошла на полчаса, а он и побежал. С ног сбилась, искавши, пострел этакий! Сердце не на месте!

Она захватила в свою широкую лапищу крохотную ручонку ребенка и потащила его во двор. Саксаулов заметил номер дома и название улицы и пошел домой.

## IV

Саксаулов любил слушать рассудительные речи Федота. Вернувшись домой, он рассказал ему про мальчика Лешу.

— Это она его нарочно, — решил Федот. — Ведь який яд — баба! Экую даль от дома отвела!

— Зачем же ей это? — спросил Саксаулов.

— Как сказать! Известно, глупая баба, — думает: заблудится мальчонка на улице, всячески, не оставят, — может, кто и возьмет. Известно, мачеха. Что ей, нежалимое дитятко.

Саксаулову не верилось. Он сказал:

— Да ведь полиция нашла бы ее!

— Известно, нашла бы, — ну, а между прочим, она, может быть, и совсем из города уедет, ищи тогда.

Саксаулов усмехнулся.

«Положительно, — подумал он, — моему бы Федоту быть судебным следователем».

Вечером, сидя перед лампою за книгою, он задремал. Пригрезилась Тамара, — нежная, белая, — пришла и села рядом. Лицо ее было удивительно похоже на Лешино лицо. Она смотрела неотступно, настоятельно и чего-то ждала. Томительно было Саксаулову видеть ее светлые, молящие глаза и не знать, чего она хочет. Он быстро поднялся и подошел к тому креслу, где показалось ему, что сидит Тамара. Остановясь перед нею, он громко и страстно спросил:

— Чего же ты хочешь? Скажи.

Но ее уже не было.

«Только приснилась», — грустно подумал Саксаулов.

## V

На другой день, выходя с академической выставки, Саксаулов встретил Городищевых. Он рассказал барышне о Леше.

— Бедный мальчик, — тихо сказала Валерия Михайловна, — мачеха его просто сбыть с рук хочет.

— Это еще не доказано, — ответил Саксаулов.

Ему было досадно, что все, и Федот, и барышня, так трагически смотрят на этот простой случай.

— Это очевидно, — горячо говорила Валерия Михайловна. — Отца нет, мальчик у мачехи, он ее стесняет. Не сбудет добром, — совсем изведет.

— Вы слишком мрачно смотрите, — с усмешкою сказал Саксаулов.

— Вот вам бы взять его к себе, — посоветовала Валерия Михайловна.

— Мне? — с удивлением переспросил Саксаулов.

— Живете вы один, — настойчиво продолжала Валерия Михайловна, — никого у вас нет. Сделайте доброе дело на Пасху! Хоть похристосоваться с кем будет.

— Помилуйте, Валерия Михайловна, где же мне возиться с ребенком?

— Возьмите бонну. Сама судьба вам его посылает.

Саксаулов с удивлением и невольною нежностью смотрел на раскрасневшееся, оживленное лицо барышни.

Когда вечером ему опять пригрезилась Тамара, ему уже казалось, что он знает ее волю. И вот в тишине его комнаты словно прозвучали тихие слова: «Сделай, как она сказала!»

Саксаулов радостно встал и провел рукою по дремотным глазам. Он увидел на столе ветку белой сирени и удивился. Откуда она? Или Тамара оставила ее как знак своей воли?

И он подумал вдруг, что женившись на барышне Городищевой и взяв к себе Лешу, он исполнит желание Тамары. Он радостно вдыхал нежный аромат сирени.

Вдруг вспомнил он, что сам купил сегодня эту ветку. Но сейчас же подумал: «Это ничего не значит, что сам: и в том, что захотел ее купить, и в том, что теперь забыл об этом, есть указание».

## VI

Наутро он отправился за Лешею. Мальчик встретился ему в воротах и показал свою квартиру. Лешина черная мама пила кофе и ругалась со своим красноносым жильцом. От нее вот что узнал Саксаулов о Леше.

Мальчик остался от матери по третьему году. Отец женился на этой черной бабе, а через год и сам умер. У черной, Ирины Ивановны, есть свой годовалый сын. Она собирается замуж. Свадьба на днях, и сейчас же после венца уедут «в провинцию». Леша ей чужой и совсем не нужен.

— Отдайте его мне, — предложил Саксаулов.

— Сделайте ваше одолжение, — со злобною радостью сказала Ирина Ивановна.

Потом, помолчав, прибавила:

— Только за одежду заплатите.

И вот Леша водворился у Саксаулова. Барышня Городищева принимала участие в поисках бонны и в других подробностях в устройстве Леши. Пришлось ей побывать и в квартире Саксаулова. В этих заботах она показалась Саксаулову совсем иною. Словно ему открылась дверь в ее душу. Глаза ее стали лучисты и нежны, и вся она прониклась почти тою же тихостью, какою веяло от Тамары.

## VII

Лешины рассказы о белой маме умилили Федота и его жену. В страстную субботу, укладывая его спать, они повесили над его изголовьем белое сахарное яйцо.

— Это от белой мамы, — сказала Христина, — только ты, голубчик, его не трогай! Его нельзя трогать, пока Боженька не воскреснет и в колокола не зазвонят.

Леша послушно улегся. Долго смотрел он на радостное яичко, — наконец заснул.

А Саксаулов в этот вечер сидел дома один. Незадолго до полуночи непобедимая дрема опять сомкнула его глаза, — и он обрадовался, что увидит сейчас Тамару.

И вот она пришла, вся белая, радостная, принося с собою далекие радостные звуки благовеста. Нежно улыбаясь, она склонилась над ним, и — несказанная радость! — на губах своих почувствовал Саксаулов нежное прикосновение. Нежный голос тихо сказал:

— Христос воскресе!

Не открывая глаз, Саксаулов протянул руки и обнял нежное, тонкое тело. Это Леша взобрался к нему на колени и христосовался.

Благовест разбудил мальчика. Он схватил белое яйцо и побежал к Саксаулову.

Саксаулов проснулся. Леша смеялся и показывал белое яйцо.

— Белая мама прислала, — лепетал он, — а я тебе даю, а ты дай тете Валерии.

— Хорошо, милый, так я и сделаю, — сказал Саксаулов.

Он уложил Лешу спать, а сам поехал к Валерии Михайловне с Лешиным белым яичком, — подарком от белой мамы, который казался ему в эти минуты Тамариным даром.

## *Земле земное*

### I

Сашу Кораблева, ученика городского училища, перевели в следующий класс без экзамена и даже с похвальным листом. Это его, конечно, обрадовало. И все остальное в его жизни было в это время хорошо. Не было никакой причины грустить. И о чем грустить?

Он жил со своим отцом, — мать умерла давно, он ее мало помнил. Жил он на своей родине в отцовом доме, в небольшом городке, на

окраине. Здесь Саша и родился. Дом небольшой, с огородом и садом, где много ягодных кустов и фруктовых деревьев. Недалеко, через реку, поля и лес. Отец небогат, но в доме достаток: отец — частный поверенный, дела есть, и есть скопленный для чего-то запас денег.

В жизни все было хорошо, — и солнце радовало, и зелень манила, — а собою Саша все чаще бывал недоволен. Почему, — он не знал, не мог понять и все чаще томился.

И чем это началось? Кажется, сущими пустяками.

Отец не пошел на училищный акт, где Сашу наградили, — пришлось идти в суд. Саша нес домой свой похвальный лист, очень торопился, чувствовал себя счастливым победителем, и ему так хотелось, чтобы отец был дома.

Оказалось, что отец уже вернулся из суда. Он сидел на балконе, курил папиросу и задумчиво смотрел через золотые очки куда-то вдаль, откуда приходят смутные, неуловимые мысли. Он услышал на дорожках в саду Сашины шаги, почему-то припомнил вдруг свою ссору с одним из Сашиных учителей и стал ждать, что скажет Саша, — отомстили ему учителя или нет. И сейчас же опять подумал, что это — вздор, что учителя не решатся мстить сыну за отца: и совестно, и побоятся, что отец как законник затеет кляузу, станет жаловаться. Ему стало неловко и досадно. А уже Саша бежал к нему, румяный, веселый, и махал свернутым в трубочку похвальным листом.

Саша взбежал по ступенькам на балкон и крикнул звонко:

— С похвальным листом!

И его веселый крик нарушил привычную в этом доме тишину. Саша горел восторгом. От его звонкого голоса у отца сильнее заболела голова, но и теперь, как всегда, он скрыл это.

— Покажи, покажи, — ласково сказал он, медленными, как бы утомленными движениями поглаживая рыжую бороду. Легкая усмешка едва обозначилась под его густыми, червонными усами.

Саша ловким движением проворных рук развернул лист, который при этом шуршал, словно сделанный из тонкого железа.

— Все пятки, даже четверок мало, — радостно говорил Саша.

— Молодец, отличился на славу, — сказал отец, устало и задумчиво рассматривая отметки.

— Что ж, ведь я все знаю, что проходили, — так же радостно, но уже не так громко сказал Саша.

Что-то в отцовых словах и в отцовом лице уже начинало охлаждать его, а что именно, еще он не осмыслил.

— Что ж, на стенку повесишь? — спросил отец.

Саша засмеялся, но как-то неуверенно.

— Зачем на стенку! — смущенно сказал он, — уберу в сундучок.

— А никто и не увидит, — посмеиваясь, говорил отец.

— Ну вот, покажу, кому надо.

— Как не показать, — люди похвалят, — сказал отец тихо.

— А ты? — спросил мальчик.

— За показ-то?

— Да нет.

Отец обнял сына за плечи и поцеловал его в щеку.

— Славный ты у меня, — сказал он.

Нежная ласка звучала в его голосе. Саша почувствовал, как минутная неуверенность проходит быстро и как будто бесследно, — ему опять становилось радостно, и он весело засмеялся, беспричинно, неудержимо.

Отец смотрел на него, легонько улыбаясь, но мысли его были почему-то нерадостны.

Здоровый и веселый мальчик, Саша иногда казался недолговечным, — не жилец на белом свете, как говорят в народе. Что-то темное и вечно нерадостное в Сашиных глазах наводило иногда отца на грустные мысли. И когда он смотрел печально вдаль, перед ним возникала иногда в воображении рядом с жениною могилою другая, свежая насыпь.

## II

За день Саша набегался, наигрался. Пришел вечер. Заря играла на небе и, утомленная, радостно умирала. Саша сидел на скамеечке в своем саду, усталый, смотрел на румяные заревые улыбки, на струй-

ки, целовавшие речной берег, на синие кисти мышиного горошка, прижавшегося к забору, — и припоминал утро и свое торжество. Ему и не трудно было отличиться, — совсем почти без труда все давалось, и времени мало уходило на приготовление уроков, так что Саша успел за свою короткую пока жизнь и кроме учебников прочитать много всяких книжек.

На похвальном листе надпись: «За отличные успехи и благонравие». Странное слово — благонравие.

«Значит, — думал Саша, — у меня благой, добрый нрав, то есть я — хороший мальчик».

Саша улыбался, но ему стало стыдно и неловко, что он признан благонравным.

А вдруг бы давали похвальные листы за честность, за доброту!

Нельзя. Честность бескорыстна. Если за добро — награда, то уж что это за добро.

А как же рай? Ведь это — награда. В раю будет приятно. А грешников праведники не пожалеют? Но ведь грешники завоют в огне. Только знать это, — и можно ли блаженствовать?

А ведь вот он, Саша, блаженствует, а грешники-то, оставленные ни второй год? Иные тоже воют: дома побили, — и больно, и стыдно.

Саша смотрел в сгущающуюся темноту. Было тихо, и все имело такое выражение, точно сейчас придет кто-то и что-то скажет. Но никого не было. Только влажные ветки, шелестя, вздрагивали, да ночная птица далеко, из-за леса, кричала о чем-то своем, лесном и жадном.

И стало уже так, словно все предметы закрыли глаза и успокоились. Только небо смотрело неотступно и пристально. Но оно было далекое, и не слышно было от этих звезд ни единого звука.

Саша тихо пошел домой, горячими щеками задевая влажные ветки на кустарниках. Как-то странно и томительно горело его сердце.

## III

Уже стало темно. В Сашиной спальне копошилась Лепестинья, — постлала Саше постель, прибирала что-то. Она была старая-преста-

рая, согбенная и морщинистая, никогда не улыбалась и всегда понимала, что думал Саша, хотя бы он и не сумел ей хорошо сказать о том. Недаром она вынянчила его. Ее движения были тихи, поступь бесшумна.

Саша раздевался.

— Помолись, Саша, — сказала Лепестинья.

— Да я не знаю, Лепестиньюшка, о чем молиться, — лениво ответил Саша.

Ему хотелось спать, и не было никаких земных мыслей и желаний.

— За отца помолись, за себя, — говорила Лепестинья неторопливо и шамкая.

— А чего молиться? — спросил Саша.

— Да уж Бог сам знает. Ты только стань к Нему. Он Сам к тебе приклонится.

Саша стал на колени перед образом. Слова из молитв не вспоминались, и ничего не хотелось просить, — но он чувствовал в себе что-то нежное и отдающееся, и ему казалось, что бессловная и бездумная молитва рождалась в его растроганной душе.

Что-то вдруг развлекло, — шум какой-то, — ветер повеял, и ветка задела за стекло в открытом окне. Молитвенное настроение вдруг исчезло, — но жаль было его. Саша стал повторять молитвы на память, — но от этого повторения чужих, заученных для классной отметки слов стало неловко и совестно. Он перекрестился и поднялся.

Скоро он улегся, — и вдруг почувствовал, что не хочется спать. Лепестинья собралась уходить. Он окликнул ее.

— Что ты, касатик? — прошамкала старуха, остановясь на пороге.

Саша заговорил тихонько и нежно:

— Скажи, Лепестинья, отчего это звезды смотрят на землю, да таково-то печально.

Лепестиьья подошла к окну и посмотрела на темное небо и на ясные звезды.

— Звезды смотрят? — раздумчиво повторила она. — Бог, видно, так им дал. Смотрят, — а ты не смотри, спи себе.

— Я бы, Лепестиньюшка, не смотрел, — глаза сами смотрят.

Лепестинья приблизилась к Саше и, подперши рукою щеку, тихонько проговорила, любовно глядя на него:

— Спи, батюшка, спи с Богом. Закройся, глазок, закройся, другой.

Саша, улыбаясь, закрыл сперва один глаз, потом и другой. Но Лепестинья ушла, а глаза у Саши открылись и упрямо хотели глядеть в темноту, которая обступала со всех сторон и словно таила что-то, чего никакими глазами не высмотришь, — а уж Сашины ли глаза не зорки!

И отчего в этой темноте и в этой тишине так много звуков, тихих, еле слышных, но ясных? Откуда они?

Саша долго смотрел в темноту. Мысли его были смутные, неопределенные. Уже совсем рассветало, когда он незаметно для себя заснул, истомленный бессонною ночью, напрасными думами.

## IV

Лютое солнце стояло в самом притине. Оно, словно громадный свернувшийся огненный змей, казалось, вздрагивало всеми своими тесно сжатыми кольцами. Саша лежал босой в траве на берегу, под ивой, лицом кверху, раскинув руки, спасаясь в тени от знойной истомы. Рядом с ним валялась камышовая жалея, которую он сам себе сделал.

Жужжали пчелы. С тихим шелестом около веток колебался жаркий воздух. День протекал беспощадный, торжественный. Это яркое великолепие дневное наводило на Сашу тоску, смутную и почти приятную. Чаровала полдневная тишина, — в ее величавом обаянии еще отчетливее и яснее обычного становились для зоркого и чуткого Саши все впечатления, — легчайшие звуки, тончайшие переходы в освещении. Когда поднимался легкий ветерок, Саша слышал, как поскрипывала, поворачиваясь на ржавом стержне, вертлявая пренька на крыше, — железный ветрочуй-петух.

За рекою раскидывались поля, широкие, замкнутые далекою, непонятною чертою, — и за нею тревожно подозревались новые неве-

домые дали. Между колосьев по дороге поднимались и плясали иногда серые вихри. В зеленовато-золотистом колыхании колосьев Саша чувствовал соответствие с тем, что двигалось и жило в нем самом земною, мимолетно-зыблемою жизнью. Значительно и строго было выражение полей и всей природы, — хотелось разгадать, чего она хочет и к чему она вся, — но трудно было и думать об этом. Промелькнет неясная мысль, — и погаснет, — и Саша опять в тягостном, томном недоумении. И он думал тогда, что злая, коварная природа какими-то чарами отводит его от познания о своей тайне, чтобы таиться и лукавить по-прежнему. И как рассеять эти чары? Как понять эту чудную и родную жизнь?

Саша повернулся на живот и лег лицом к земле. В траве кишел перед ним целый мир, — былинки жили и дышали, жучки бегали, сверкали разноцветными спинками, шелестели еле слышно. Саша ближе приник к земле, почти прилег к ней ухом. Тихие шорохи доносились до него. Трава вся легонько, по-змеиному, шелестела. От движения испаряющейся влаги шуршал порою оседавший земляной комочек. Какие-то струйки тихо звенели под землею.

Лепестинья пришла погреться на солнце. Кряхтя, она опустилась на траву рядом с Сашею. Саша ласково посмотрел на нее черными, вопрошающими глазами. Лепестинья захватила горсть земли сухими руками, и уже Саша знал, что сейчас Лепестинья станет любовно растирать землю и тихо забормочет:

— Земля еси и в землю отыдеши.

И Саша легонько улыбался, услышав эти знакомые, страшные кому-то, но не им обоим слова.

— Ох, Сашенька, стара я стала, — сказала старуха, — уж и солнце от меня отвертывается, греть меня, старую, не хочет.

Саша с удивлением, внимательно посмотрел на Лепестинью и сказал нежным, звенящим голосом:

— А вот ко мне, Лепестиньюшка, так все поворачивается, — точно смотрит на меня, — и трава, — и кусты, — все, что далеко, что близко, все. Вон там, видишь, на том берегу серый камень, и тот на меня уставился.

— Да тебе примстилось, поди, — опасливо сказала старуха.

— Нет, Лепестиньюшка, — весело ответил Саша, — мне никогда ничего не кажется. А только так все ясно да странно как-то. Так вот и вижу, что хоть глаз там и нет, а смотреть — смотрит.

— Безглазая засматривается, — шамкала старуха. — Поберегайся, голубчик: приглянулся ты ей, курносой.

Она сидела на траве, охватив колени морщинистыми, коричневыми руками. Ее слезящиеся глаза тупо смотрели куда-то прямо и далеко. Дряхлое лицо ее не выражало ни удивления, ни сомнения.

— Ну да, безглазая. Тоже выдумаешь, — тихо сказал Саша и подумал немного. — А почему? — вдруг спросил он.

— Приглянулся-то почему? — переспросила Лепестинья. — Глаза, вишь ты, у тебя, — глаза нехорошие.

— А чем, нянечка, нехорошие? — ласково спросил Саша.

— Глаза-то у тебя смотрят, куда не надо, видят, что негоже. Что закрыто, на то негоже смотреть. Курносая не любит, кто за ей подсматривает. Поберегайся, миленький, как бы она тебя не призарила.

— Да разве я за нею, нянечка, подсматриваю? — еще ласковее промолвил Саша, и чистый, как подснежный ручей, голос его звенел нежно и сладко.

— Везде она, голубь мой, все она, — и в травке, и в речке, — медленно и уныло говорила старуха. — Ты идешь, — и она тут же ползет, травку сломит, козявку задавит. Негоже смотреть много, не любит она.

— Так как же быть-то, миленькая нянечка, коли глаза сами смотрят? — спросил Саша, улыбаясь, глядя на старуху неотступно-вопрошающими глазами.

— Что поделаешь, голубчик! Такие уж, видно, тебе глаза Бог дал, ничего не поделаешь, жаленный, — ты ими и не хочешь, да видишь.

Саша закрыл глаза. Он думал, что умрет скоро и будет лежать в земле и тлеть. Но не страшило его, что лежать ему в родной земле. Он любил землю. Любил уходить подальше в поле, быть в одиночестве, приникнуть к земле, слушать ее шорохи и шепоты. Любил ходить босыми ногами, чтобы чувствовать землю ближе.

Саша сел, взял в руки жалею и принялся дудить в нее. Полились нежные, жалобные звуки. Рождались грустные, томительные мысли.

Вот пришел товарищ с удочкою. Мальчики побежали к реке, радостно разговаривая о рыбах. Оба они залезли в воду удить, — и холодное плескание о голые колени отогнало непосильные, печальные думы.

Река была тихая, вся гладкая да ясная на солнце. Но маленькие струйки тревожно звучали, ударяясь о берег, и рыбки порою тревожно плескались, — а река стремилась медленно и неуклонно. Серовато-зеленый тростник колыхался в воде у берега, и по высоким стеблям его пробегал порою сухой, слабый шум.

Мальчики долго шалили и плескались на реке. Среди веселых забав Саша вдруг приумолк, засмотрелся на воду. Он вышел на берег, присел на камень и сказал медленно и задумчиво:

— Вода-то, — все течет.

— Ну так что ж? — спросил его товарищ, белоголовый мальчуган с пухлым, простодушным лицом.

— Чудно! — сказал Саша.

— Чего чудно? Как же ей не течь, коли она в реке? — ответил белоголовый мальчишка и засмеялся Сашиным словам.

Саша вздохнул, посмотрел на товарища и спросил:

— А ты слушал, как трава растет?

Белоголовый мальчишка разинул рот.

— Нет, — отвечал он.

— А говорят, что можно слышать, — сказал Саша.

— Ишь ты!

## V

Рано поутру Саша с отцом отправились на мамину могилу. Они тихо разговаривали по дороге, а светлое и равнодушное обливало их солнце еще не жарким светом.

Отец рассказывал о покойнице. Саша любил слушать эти рассказы и смотреть на затуманенное печалью отцово лицо да на его усталые, далеко устремленные глаза.

На кладбище в этот ранний час было хорошо. Посетители еще не пришли. Кладбище дремало, как успокоенная роща в стране безлюдной и мирной. Только птицы чирикали да ветки шептались. Но эти нежные звуки не нарушали светлой тишины.

Саша с отцом сели на зеленую скамеечку перед маминою могилою. Могила зеленела и цвела. Саше стало грустно, что мертвые не встают и не являются. Если бы милая мама пришла! Но нет, — разлука навеки. Напрасно ждать и молиться.

— Знаешь, папа, чего я хотел бы? — тихо спросил Саша.

Отец молча посмотрел на него.

— Мне, знаешь, хотелось бы повидать мамочку, — продолжал Саша. — Право, хоть один бы только раз.

Отец грустно улыбнулся.

— Как же ее увидеть? — спросил он. — Во сне разве.

— Хоть бы только показалась, хоть бы на самую маленькую минутку, — тоскливо говорил Саша.

— Мертвые к нам не ходят, — печально сказал отец. — Да и мы их боимся.

Саша подумал: неужели он испугался бы милой мамочки? Нет, уж если он и чужих покойников не боится, так как же родной-то испугаться!

А ведь в могиле она истлела и вся теперь черная, мягкая, как земля.

Саша внимательно смотрел перед собою темными и зоркими глазами и не видел ничего, кроме насквозь озаренного воздуха, травы и деревьев, могил и кустов, бесконечного множества листьев, былинок, мошек, всяких предметов, ненужных и докучных. Не было только того, что мило и дорого Сашину сердцу, — не было Сашиной мамочки, молодой, веселой, но навсегда оставившей этот солнечный, яркий, внешний мир.

Отец встал.

— Пора домой, — сказал он.

Саше грустно было оставлять мамину могилу. Все на свете кончается.

## VI

Вечером Саша с отцом долго сидели в столовой. Одинаковое настроение, сумеречное, беспричинно печальное, — беспричинно, и потому неотразимо, — осенило их обоих. Оба они смотрели на мамин портрет, — большую фотографию на стене. Саша сказал:

— Хоть бы мамочка только мимо прошла, — хоть бы там, за дверьми.

Отец печально посмотрел на Сашу, потом перевел глаза на дверь и сказал:

— Пройди она за тобою, — испугаешься.

Саша оглянулся. Из двери видна была темная прихожая. Никто не стоял там. Саша вздохнул и сказал:

— А ничуть не испугаюсь.

— Уверен? — строго спросил отец.

— Правда, ничуть не испугаюсь, — повторил Саша.

— Не хвались, — сказал отец и замолчал.

Саша задумался. Он не помнил в своей жизни страха. И теперь, как он в уме ни испытывал себя, он не мог допустить, что испугается загробного мамина появления. Но Саше казалось, что отец смотрит на него с неудовольствием, — и Саша старался убедить себя в том, что отец прав: он привык верить отцу. Смелость, которую Саша знал в себе, — не была ли она только боязнью показаться перед людьми трусом? И хотя Саша уверен был в том, что нет в душе его страха, все же он решился испытать себя.

## VII

Саша лежал в постели, но не спал, — прислушивался к звукам в доме и ждал. В тихом всегда доме ночные звуки раздавались особенно ясно. За несколько горниц слышались отцовы шаги, потом заскрипела его кровать. Лепестинья ходила, тихонько шлепая туфлями. Беспрестанно возникали и уничтожались какие-то легкие, непонятные шумы. Перед образом слабо мерцал елейник. Тени беззвучно, еле заметные, двигались по стенам.

Наконец и Лепестинья угомонилась. Стало совсем тихо. Ночь, летняя, полупрозрачная, достигла самой темной поры. Саша поднялся с постели, оделся и выскочил из окна в сад. Ночная свежесть охватила его. Обильная роса мочила Сашины ноги. Сразу стало холодно, захотелось вернуться, заснуть. Но Саша пошел вперед. У калитки он немного постоял, подумал, потом решился и вышел на дорогу.

Поля за рекою туманились. Река покрылась легкою дымкою. Дорога была жесткая и влажная. Мелкие камешки на ней ясно ощущались босыми Сашиными ногами.

Саша спустился к броду. Теплая вода нежно обняла колени. Река всею шириною двигалась, и трудно было идти прямо, — ноги стали такими легкими, шаткими, и на каждом шагу вода, ясно и весело звуча, тихонько, но сильно плескалась о колени. Когда Саша подходил к берегу, стало жаль, что вода падает все ниже, что все слабеют ее теплые, нежные прикосновения. Окунуться бы совсем, — славно! Но некогда, — завтра. И Саша вышел на берег.

Саша медленно шел по дороге, вдоль реки, озирался вокруг и ждал, когда будет страшное. Но он чувствовал в себе только ночную истому, да любопытство, да ожидающее волнение, вовсе, впрочем, не похожее на страх. Ощущения были бодры, как всегда.

Белая ночь делала все полуявственным: ничего не могла она закрыть от взора, ни близкого, ни дальнего, но и осветить ничего не могла своим небом, бледным, тихим, без луны и без звезд. Мир полуявлялся в дремоте сквозь эту бессильную ночь. Река под легким туманом томилась, и слабо вздыхала в камышах, и слезливо плескалась о песчаный берег.

Здесь, в этом окутанном ночною полупрозрачною тьмою поле, было то же, как днем, — так же все было обращено к Саше, все представало перед ним, но не давало знать о том, что есть за этою видимостью. Деревья стояли неподвижные, с длинными, тонкими ветками. В их видимой упругости сказывалась неведомая жизнь, непреклонная воля. Но не понять было, чего же они хотят и как живут.

Дорога, с редкими, тонкими березками по краям, повышалась едва заметно и отдалялась от реки. Земля при дороге, сырая, теплая, лас-

ково прикасалась к Сашиным ногам. Свежий воздух веселым холодом обнимал тело. Широкая Сашина грудь радостно дышала. Радость была в теле, и печаль в душе.

Скоро вдали забелела кладбищенская ограда.

То чувство, которое испытывал теперь Саша, все более разочаровывало его. Он ждал страха, да уже и хотел его, что дальше, то сильнее, — и напрасно: страха не было.

Светлая ночь молчала, как будто думала о чем-то, и, чуждая Саше, не хотела пугать его.

Странно было, что так светло, и безлюдно, и тихо, — ночное чувство, не сравнимое ни с чем дневным. Ни тоскливо, ни жутко, — только в душе безмолвный вопрос, безмерное удивление. Влажная трава, бледное небо, — все словно ждало чего-то, и утомилось ждать, и дремлет. Неразумная дева, заждавшаяся жениха. И он при дверях, и медлит.

Вот перекресток. Издали, пока другую дорогу заслоняли кусты, можно было думать, что там, за ними, что-то есть. Но когда Саша подошел, он увидел, что все пусто, никто не движется ни по той, ни по этой дороге. Ни люди, ни духи не ждут здесь условленных встреч.

Саша стал на перекрестке и крикнул:

— Приди!

Голос его прозвучал звонко и дерзко, — и все вокруг удивительно молчало. И Саша сказал:

— Если ты есть, явись!

Полуявственно и неподвижно лежало близкое и далекое, — все, обращенное к Саше. И не являлся никто иной.

Саша постоял, посмотрел вокруг в напрасном ожидании и пошел к ограде. Нетерпеливое ожидание страха усиливалось.

Ворота, через которые возили покойников, были совсем такие же, как и в городе, в обыкновенных заборах. Они покойно и бессмысленно показывали Саше свою решетчатую, зеленую поверхность.

Саша подошел к калитке и толкнул ее. За нею слабо звякнул замок. Тогда Саша полез через невысокую стену, белую, холодную, и спрыгнул в мягкую траву на кладбище.

За оградою все стало иным, тесным, близким, но столь же простым и загадочным. Кусты темнели. Белая церковь с зеленою кровлею смотрела темными окнами, как незрячими глазами. Саша внимательно прислушивался в тишине, чтобы различить хоть какой-нибудь звук, — но слышал только, как бьется его сердце, как трепещут жилки на висках и у запястий.

И где же страх? Саша проходил между крестами и могилами, между кустами и деревьями. Под землею, он знал, лежали, истлевая, покойники: что ни крест, то внизу, под могильною насыпью, труп, зловонный, отвратительный. Но где же страх?

Все предметы были дивные, как призраки, а призраки не являлись. Неподвижные кресты не таили за собою белых, колеблющихся фигур, простирающих руки.

Потому ли нет страха, что нет призраков?

И почувствовал Саша, что эта немая, загадочная природа была бы для него страшнее замогильных призраков, если бы в нем был страх.

Не думая о том, куда идет, Саша привычною дорогою добрался до маминой могилы. Тишина и тайна осеняли ее. Вот смерть. И что она? Мама лежит, вся истлевшая. Но что же это и как?

Саша сидел на могиле, неподвижно и грустно, обхватив руками белый крест, прижимаясь к нему щекою. Он терпеливо ждал, маленький, словно потерянный среди крестов и могил. Его лицо бледнело, глаза, темные и печальные, неотступно глядели в прозрачную полутьму.

И он дождался. На неуловимо-краткое время сладостный, нежный восторг овладел им. Настала неизъяснимая полнота в чувствах, словно пришла утешительница и низвела с собою рай. Бледный, с сияющею, радостною улыбкою на губах, Саша еще ближе приник к белому кресту и широкими черными глазами смотрел перед собою, мимо померкшего для него мира.

И отошло это, — и опять надвинулись докучные явления.

Высокая радость забылась, едва отгорев: то было чувство неземное и не для земли. Душа же у человека земная, узкая, и Саша был еще во власти у земли.

Заря занималась. Церковь розовела и погружалась в земной сон, — вечный, непробудный.

Саша встал. Церковь и кресты пошатнулись. Саша понял, что это он сам покачивается от усталости, потому что не спал всю ночь.

## VIII

Саша возвращался домой, дивясь и грустя. Глаза тяжелели. Кровь тяжко обращалась в жилах. Земля под ногами лежала холодная, жесткая. Влажный воздух томил своим холодом.

Вода тепло и нежно обняла его ноги, — но уже Саша торопился домой: уже светало быстро.

Саше не хотелось, чтобы его дома увидели, хотя он и не думал таиться. Все равно, он сам расскажет отцу, — но только бы теперь не говорить ни с кем и ни о чем.

Ему удалось пробраться незамеченным, прямо в окно, потому что на крыльце уже стояла Лепестинья и молилась на кресты над городскими соборами. В мягком утреннем свете она казалась совсем старою и дряхлою.

— Епистимия — знающая, — вспомнил Саша вычитанное из календаря значение старухиного имени, — а вот не знает, где я ходил всю ночь.

Ему стало весело, что он прячется от Лепестиньи, когда это вовсе не надо, да смешно еще на то, что здесь невольная радость от избегнутых опасностей и страхов овладела им.

Он улегся и скоро заснул. Тревожный сон снился ему. Багровое зарево пылало за окном. Над городом гудел набат. Сначала только и было слышно, что этот жалобный звон, да еще тихий, далекий треск, — точно дрова в печке. Потом послышались пугливые голоса, сперва одиночные. Пробегали мимо, кричали что-то. Суматоха поднялась близко, — и вдруг все забегали и закричали, и от этого Саша проснулся. Сердце сильно билось. Но везде было тихо, ясно и светло. Солнце радостно, по-утреннему смотрело в окно.

Саша повернулся к стене, натянул повыше одеяло, чтобы свет не мешал, и сейчас же опять заснул. Снова ему приснилось то же, о по-

жаре. Снова под его окнами забегали и закричали испуганные люди. Саша вскочил, торопливо оделся и побежал на пожар.

Сердце у него тоскливо сжималось. Он знал, что надо спешить, спасти кого-то.

Ярко и весело пылал деревянный дом. Кругом суетились люди. Горело красиво и нисколько не страшно. Близко не подойти было — жарко. Левая половина еще не горела, и там только из-под крыши струйками выбегал черный дым. Бледная женщина рыдала и металась в толпе. В дому остался ее ребенок. Дюжие краснощекие парни равнодушно глядели на несчастную мать. Она кидалась то к одному, то к другому. Бросилась было и к Саше, да увидела, что это еще мальчик, и метнулась дальше. Неясное, но повелительное чувство бросило Сашу вперед. Какие-то доски лежали под ногами, Саша через них перепрыгнул. Вот и крыльцо. Саша с усилием открыл дверь. Его обдало густым дымом.

— Назад, назад! — испуганным голосом кричал ему кто-то с улицы.

Саша прикрыл лицо локтями и бросился в дверь. Струя воды обдала его сзади. Справа и слева, близко, мелькали огненные язычки. Голова кружилась, от жары, от дымного воздуха, но Саша чувствовал себя сильным и смелым. Горницы застлал густой дым, — только внизу, около пола, дыма еще было мало. Саша нагибался и касался руками пола, чтобы не задохнуться в дыму.

Вот горница, где посветлее. Дым разорванными клочьями клубился под потолком и вытекал из окна. У стены стояла люлька. В ней спал ребенок. Люлька слегка дымилась, откуда-то снизу. На потолке узкою полоскою вспыхнул огонь. Ребенок улыбнулся во сне. Он был бледен. На его лице лежала серая копоть. Саша выхватил его из люльки, завернул в одеяльце и подбежал с ним к окну. Что-то мешало, — какие-то доски и бревна наклонялись сверху и с боков; дым, вытекавший на улицу, не давал ничего видеть из окна. Саша просунул ребенка в узкое отверстие и бросил его на улицу.

«А как же я?» — мелькнула быстрая мысль.

Саша глянул вверх. Пылающая балка свешивалась над окном, обдавала нестерпимым жаром, трещала и сыпала искры. Саша опустил

голову. Сердце сжалось. Что-то тяжелое надавило на спину и заставило нагнуться. Лбом Саша больно ударился о подоконник. Дым сгущался, мешал дышать, душил...

Саша проснулся, задыхаясь. Он лежал, согнувшись, закрывая голову и рот одеялом, — и от этого так трудно дышалось.

Саша поспешно отбросил одеяло. Дыхание стало свободно, — и Саша обрадовался тому, что теперь легко, что он жив и дома, а не задыхается в горьком дыму.

В памяти ярко повторялся сон, и все его волнения. Вдруг Саша вспомнил, что и раньше он не раз мечтал, как спасет ребенка из пожара, и о других подвигах. Сон повторил мечту.

«Во сне только и спасать!» — подумал Саша.

Он лежал на спине, усмехался слегка насмешливо и нежно, прислушивался к тишине и неопределенно ждал чего-то. Длинные, черные ресницы осеняли полузакрытые глаза, — темные, земные. Воспоминания и мечты стали смешиваться в дремоте. Яркие облики проплыли перед глазами, темные, огромные глаза глянули, — закружились, осыпаясь, золотые одуванчики и погасли. Саша опять заснул.

Приснилось, что он в гробу, неподвижный и мертвый. Он погиб на пожаре, — и вот люди вытащили из-под развалин обгорелое тело и хоронили его. Доносилось сладостное пение. Много пришло народу, — Саша слышал это по сдержанному говору, по тихому плачу. Хвалебные слова в толпе радовали Сашу. Особенно хвалили и нежно плакали девушки, и, должно быть, их-то и было больше всех.

Подняли гроб и понесли с плачем и пением. Саша плавно покачивался, как в люльке. Веял легкий ветер. Солнце светило прямо в лицо, грело глаза сквозь сомкнутые веки, но не жгло, — оно было нежное, как будто светило из рая. Приятно и томно было лежа качаться.

Потом Саша увидел себя отдельно, откуда-то сверху. Гроб был маленький и весь осыпан цветами, простыми и милыми, ромашкою, просвирниками, лютиками. Несли, чередуясь, юноши и прекрасные девицы, и толпа теснилась вокруг, мережа нарядными платьями на барышнях. У всех на руках и на одежде были цветы. Отец шел за гробом, поглаживал свою червонную бороду и недо-

верчиво улыбался, а на глазах его под очками блестели слезинки: одному только Саше сверху они и были видны. Впереди шли певчие и пели что-то сладостное и печальное, и такое нежное, чего еще никогда на земле не пели, — и от этого из глаз у всех лились невольно слезы.

Саша проснулся в слезах. Солнце сияло прямо в глаза.

Саше стало грустно, — он горько думал, что все люди будут хвалить за такую смерть, и выйдет, как будто для похвал и в огонь пошел. Он лежал и прислушивался к тишине, словно хотелось каких-то утешающих, спокойных звуков. И далекие звуки донеслись до него от земной жизни, — грубые лесные звуки.

## IX

И вот в Сашу словно вселился буйный дух, внушавший ему злые, бессмысленные шалости.

То он переставил все часы в доме на час назад, — с обедом запоздали, и отцу пришлось ждать. Лепестинья была смущена. Саша хохотал.

То он приспособил к дверям на веревке кувшин с водою, так что кто отворит дверь, на того плеснет вода.

То он взбирался на крышу сарая и с полуторасаженной высоты прыгал на мягкую землю, в густую траву, пугая Лепестинью и отца.

В шалостях, как прежде в работе, Саша был неутомим, настойчив и изобретателен. Самые незначительные предметы в его руках становились орудиями для замысловатых, неожиданных предприятий.

Своих шалостей Саша и не думал скрывать: он спешил рассказывать отцу о каждой проказе, — и при этом раскаивался и досадовал на себя.

Но тоскливое беспокойство все сильнее томило его, — и он шалил все больше, словно нарочно, с какою-то ему самому не вполне ясною целью. Может быть, хотелось довести отца до того, чтобы рассердился и выразил свой гнев в чем-нибудь сильном, страшном, невыносимом. Но отец только хмурился да побранивал Сашу, полусердито, полунасмешливо.

Иногда Лепестинья усовещивала Сашу. Она говорила:

— Смотри, отбойный, — отец терпит, терпит, да как рассердится, да так-то больно выстегает.

— А и пусть, — спокойно отвечал Саша.

— То-то вот, — говорила Лепестинья, — а станет стегать, завопишь истошным голосом.

— Ну так что ж? — спрашивал Саша.

— Да ничего, егозенок, — покричишь, да такой же будешь. Ты у отца единец, то-то он тебя и балует. А ты все же свою совесть знай. На-т-ко поди-т-ко, ни стыда, ни страха.

— Что ж мне делать? — спрашивал Саша и смутно надеялся, что услышит какое-нибудь решающее, мудрое слово.

А Лепестинья говорила:

— Молись: избави нас от лукавого. А то что хорошего: отец молиться не умеет, да и тебя не выучил. Учены очень стали. Отцу книги читаешь, да не те, слышь.

## X

Отца не было дома. Саша набрал на берегу в подол своей белой блузы ворох камешков и принес их в сад. Там, на берегу, он бросал их плашмя в воду, — красиво отскакивали. А здесь он швырял ими вдоль дорожек, в кусты, в густолиственный кленовый шатер, в птиц. Потом бросил один камешек в беседку и попал прямо в стекло, — стекло разбилось. Саше полюбился его жидкий звон. Саша побежал к дому и принялся метать камни в окна. Стекла одно за другим разбивались с жидким, веселым звуком, похожим на то, как смеются глупые и радостные дети, — этот звон забавил Сашу и смешил неудержимо. Весело было смотреть на разбитые стекла, да и то радовало, что он тут так хозяйничает, и никто не знает, — ни отец, ни Лепестинья. С радостным визгом бегал он по дорожкам. Потом захотелось посмотреть, как это покажется изнутри, — и Саша побежал в дом.

Как всегда, входя в горницы, он затих и перестал визжать, — стены утихомирили. Окна с разбитыми стеклами казались пе-

чальными и безобразными. Саша вдруг очнулся, словно его разбудили.

Теперь стало ясно, как бессмысленно и ненужно то, что он сделал. И этот грубый стеклянный звон, — как мог он веселить!

Саша приуныл и, тоскуя, ходил по горницам. В доме было тихо, как всегда, и от этого жутко. Ворожащий стук от маятника разносился гулко по всему дому. Битые стекла валялись на полу, в окнах зияли звездчатые дыры, по стеклам в уцелевших краях вились синеватые трещины. Так было грустно, хоть на белый свет не гляди. А тут еще старая Лепестинья пришла откуда-то, ходила сзади, и ворчала, и подбирала осколки. Ее голос звучал подобно печальному шелесту в камышах над водою.

Саша тоскливо ждал отца. Наконец отец вернулся. Еще снаружи он заметил разбитые стекла и нахмурился.

Саша, весь красный от стыда, говорил, запинаясь:

— Это я побил стекла. Из шалости. Нарочно. Вот, я набрал там, на реке, камешков.

И он подробно разсказал все свое буйство. Его смущенный вид и откровенность тронули отца.

— Как же ты, сынок, так, а? Не годится! — сказал он тихо, взял Сашу за плечи, сам сел на стул, а Сашу поставил между коленями и привычным своим медленным, ясным голосом стал говорить ласково укоризненные слова, поглаживая рукою длинную рыжую бороду.

Саша плакал. Что отец не сердится, а только говорит недовольным и огорченным голосом, это терзало его сердце. Наконец он стал просить:

— Накажи меня построже.

— Как тебя наказать-то? — спросил отец, задумчиво глядя на Сашу.

— Розгами, да побольнее, — сказал Саша и покраснел пуще.

Отец посмотрел на него с удивлением и усмехнулся.

— Право, папа, держал бы ты меня в ежовеньких рукавичках, — говорил Саша, плача и смеясь, — а то уж я так расшалюсь, что и наподи.

Отец промолчал, отпустил Сашу и ушел.

Саше стало как-то неловко, что отец даже ничего ему не ответил. Упрямо захотелось поставить на своем.

«Он все прощает, — думал Саша, — но ведь есть что-нибудь, чего и он не простит. Что не прощается?»

## XI

Саша долго придумывал, чем наконец рассердить отца. Жаль было сделать что-нибудь грубое, чем бы отец был слишком опечален. Саша стал беспокоен, тосковал и метался. Все чаще уходил он в поля, один, подальше от дома, словно ждал, что там найдет решение.

Под солнцем он весь загорел, как цыганенок, — и лицо, и руки, и ноги.

Все чувства Сашины особенно изощрились за эти дни. Он и раньше был чуток и зорок. Ему не случалось заблудиться в лесу или напасть на ложный след: зоркий глаз его знал приметы, чуткий слух доносил до него тишайшие шорохи и шумы из чащи и от жилья, и легчайшие запахи с полей выводили его на единственно верные тропы. Теперь же больше прежнего полюбил он прислушиваться к тишине в полях. Тонкие звуки, неслышные для обычно грубого человеческого слуха, реяли вокруг него, — и он чутко различал их источники: то бегали жучки по былинкам, то легко трескались, раскрываясь, созревшие в траве крохотные плоды. И над этими звуками еще тончайшие носились, неопределенные колебания, — не звуки, а как бы их предчувствия, — то не растут ли травы, не звенят ли подземные струи?

Травы росли, колыхались, тянулись к чему-то бессознательно и неуклонно. Вот скерда, — на сухом песке взошла, и все тянется. Вот шелковисто-серый астрагал с лиловыми цветками лепится на песчаном обрыве. Вот ядовитый вех, томясь на болоте, раскинул свой белый зонтик. Из цветов любее всех стали Саше в эти дни одуванчики, хрупкие да чуткие, как и он. Уже когда созревали их круглые серенькие корзиночки, ему нравилось, лежа в

траве, развеивать их, не срывая, легким дыханием, и следить за их неторопливым полетом.

В полдень в полях становилось истомно. Полуденные страхи таились за колосьями, прятались в воде за тростниками, дрожали в серых пыльных вихрях по проселкам, неслышными, прозрачными тенями шныряли над землею, — страхи, понятные Саше, но бессильные над ним. Тоска томила его. Тишина чаровала. Невозмутимое на всем просторе в полях было молчание. Знойным воздухом тяжело и безрадостно дышалось.

Иногда Саша уходил в лес. Это был лес величавый и тихий, как опустелый собор. Пахло смолой, как ладаном. Грудь легко дышала. Сумрак между стройными столпообразными соснами обвеивал душу миром. Бестревожно таил лес неведомые дали.

Но ничего не говорила Саше лесная тишина. Саша уходил из леса недовольный, смутный.

## XII

Прошло несколько дней. Однажды утром, когда отец сидел у себя над тяжебным делом, Саша унес из кухни кусок угля и с веселою улыбкою на загорелом лице вошел в гостиную. Там висело на стене, в ореховой рамке, мамино изображение, увеличенное со светописного снимка. Саша взлез на стул и углем начертил по стеклу маме усы. Посмотрел и засмеялся. Мама молодая, веселая, с намазанными усами, точно мальчик, вздумавший пошалить, — и такая милая, и смешная.

Саша побежал к отцу и со смехом привел его в гостиную. Отец угрюмо смотрел на мамино изображение, — и вдруг Саша увидел его словно иными глазами: усы грубо-безобразили это милое, нежное лицо. Шаловливый задор соскочил с Саши. Он раскаялся и заплакал. И все-таки, вместе с раскаянием, в нем ликовала радость. По строгому, неподвижному отцову лицу он понял, что отец недоволен и обижен и, пожалуй, способен круто обойтись. Саша сказал, плача:

— Видишь, папа, какой я стал. Высеки меня побольнее, — право, давно пора.

— Давно пора, — задумчиво повторил отец. — Ну что же, — сказал он, — беги к березе, наломай для себя розог.

## XIII

...Отец бросил на пол прутья, поставил Сашу на ноги и слегка прижал его к себе. Саша тотчас же перестал кричать и уже устыдился своих криков. Боль разом смягчилась. Уже не стало ее невыносимого, буйного нарастания. Саша плакал и стыдливо прижимался к отцову плечу.

«Испытал-таки, — торжествуя подумал он, прислушиваясь к жгучим еще болевым ощущениям. Он подумал: — Проходит боль, — и уже не страшно. Нестерпимая, но проходящая, да она вовсе не страшна, — уже думал Саша. — А что же я кричал? — спросил он себя и ответил: — Невольно, с непривычки только».

И вот Саша успокоился, перестал шалить. Он испытал и телесные мучения, — но и в них не было побеждающего страха.

## XIV

Пришла осень. Начались уроки. В августе и ученики, и учителя еще не втянулись в дело, — ученики еле готовили заданное, учителя приходили поздно. Однажды, в свободное время перед уроком, Саша поссорился с Колею Егоровым, задорным шалуном. Началось пустяками. Егоров рассказывал нескольким простодушным мальчуганам, что в пруду на Опалихе нечисто, живет шишига, и парни ее видели, — страшная. Саша вслушался, засмеялся и спросил:

— Шишига? Что за шишига такая?

Егоров ответил неохотно, уже заранее сердясь на то, что Саша не поверит:

— Такая, круглая, толстая, вся слизкая, голова у нее как у жабы.

— Ну вот, — сказал Саша, — тоже веришь. Никакой шишиги нет.

Егоров совсем рассердился, покраснел и запальчиво закричал:

— Как нет, коли Серега Рахинский да Ванька Большой сами видели! Врать они тебе станут!

— Мне-то не станут, а тебе соврали, — спокойно возразил Саша. — Нет шишиги, — повторил он. — Им показалось, может быть, невесть что, с перепугу, они и говорят зря.

Сашины возражения лишили Егорова уверенности в шишигу. Но из задора он не мог признать себя неправым, — тихие Сашины слова да спокойные Сашины взгляды все больше его раздражали. Он горячо доказывал, что шишига есть, и от злости готов бы начать драку, да боялся ударить Сашу, — знал, что Саша сильнее. Сердито и насмешливо он сказал:

— А увидишь шишигу, сам ужаснешься.

— Чего ужасаться! Да вот и эта стена страшнее шишиги, — ответил Саша, вспоминая, что все на свете одинаково не страшно.

Егоров вспыхнул. Сашины слова показались ему явною издевкою. А Саша словно нарочно дразнил его и сказал со смехом:

— Ах ты, легковерный, — сам-то ты шишига!

Мальчишки засмеялись. Уже этого Егоров не мог стерпеть. Он вдруг подскочил к Саше и со всего размаху ударил его ладонью по щеке. У Саши зазвенело в ушах; перед глазами запрыгали красные искры и зеленые круги.

«Недаром говорят, — быстро подумал он, — что из глаз искры посыпались».

Он неловко стоял, ошеломленный неожиданным ударом. Было больно и стыдно, и унижение от чужой, хотя и случайной, победы горько чувствовалось. Егоров смотрел, торжествуя, и злорадно улыбался. Мальчишки сочувствовали, как всегда, победителю и начали было дразнить Сашу.

Вдруг они замолчали и разбежались по местам. На пороге показался учитель, гладко подстриженный, рыжий молодой человек. Он услышал издали удар, а теперь увидел двух мальчиков в таких положениях, которые его наметанному взгляду сразу показали, в чем дело. Он спросил у Саши:

— Что это, Кораблев? За что он тебя ударил?

Саша молчал и притворно улыбался. На его щеке горели яркие полоски от Колиных пальцев. Товарищи рассказали учителю, как было дело. Учитель, посмеиваясь, сказал:

— Егоров, ты останься сегодня. Надо тебе замечаньице написать в дневничок, чтобы родители приняли меры к твоему исправлению.

Егоров слезливо оправдывался:

— А он зачем меня шишигой назвал! Мне тоже обидно, Василий Григорьевич, — какая же я шишига!

Учитель спокойно возразил:

— А ты рукам воли не давай.

На перемене Егоров то плакал, то жаловался товарищам, что его из-за Кораблева дома высекут, то принимался бранить Сашу, то издевался над ним. Мальчишки дразнили обоих. Но Егорова больше, — уже теперь все же был Сашин верх. Саше было неловко и грустно. Следовало что-то сделать, но что именно? Сам он нисколько не сердился. Хотелось чем-нибудь утешить этого взволнованного, плачущего, сердитого мальчика, — но Саша не знал, чем его можно утешить, и вместе с тем невольно презирал его за эти слезы, за эту робость перед домашнею расправою.

## XV

Уроки кончились. Молитву прочитали, ученики шумно расходились. Учитель Василий Григорьевич опять пришел в класс и потребовал дневник у Егорова. Егоров плакал и медленно вытаскивал дневник. Саша вдруг подошел к учителю и сказал:

— Василий Григорьевич, простите его, ведь я же на него не сержусь.

— Мало ли что не сердишься, драться в училище нельзя, — наставительно ответил учитель.

— Право, простите, — просил Саша, — мы с ним помиримся. Я его сам обидел, шишигой назвал. Простите.

Учитель, посмеиваясь, сказал:

— Плохо просишь.

Ему было приятно, что его просили о прощении. И приятно было видеть, что наказываемый мальчик плачет, и сознавать, что вот какая у него, учителя, власть. При том же можно было так легко и правдоподобно оправдывать для себя и для других употребление этой ненужной и жестокой власти тем, что это делается для их же пользы.

Саша настойчиво продолжал просить. Уже он и сам знал, как все его товарищи, что учителям нравятся и слезы, и мольбы мальчишек.

— Плохо просишь, — повторил учитель с вялою усмешечкою. — Поклонись пониже, — сказал он, усмехаясь, как будто бы шутя.

— Да я хоть в ноги вам поклонюсь, только простите его, — сказал Саша и вдруг покраснел.

— Ну что ж, поклонись, вот тогда и прощу, — ответил учитель.

Он не верил, что Саша станет ему кланяться. И, досадуя на это, уже стал он перелистывать дневник шалуна, отыскивая ту страницу, где следовало написать замечание. Но Саша откинул в сторону свою сумку с книгами и быстро поклонился в ноги учителю, — сперва руками уперся в пыльный пол, потом лбом стукнулся. Ему не было стыдно кланяться, но, подымаясь, он почувствовал, что если учитель все же не простит, то будет уж так досадно. И он настойчиво сказал, глядя на учителя решительными глазами:

—Уж теперь вы его должны простить.

Учитель был удивлен. Неловко посмеиваясь и краснея, он сказал:

— Ну, нечего делать. Обещанное свято.

Он отдал дневник Егорову и сказал:

— Не следовало бы тебя прощать, благодари Кораблева.

Егоров обрадовался. Он глупо улыбался, не зная, как выразить свою радость, и размазывал последние слезы по щекам ладонью. Учитель, смущенно улыбаясь, смотрел на обоих мальчиков и медлил уйти из опустелого класса. В Сашином поступке он чувствовал что-то необычайное и не вполне понимал его. Что это, — товарищеская дружба или просто новая шалость?

Саша был весел и бессознательно доволен собою. Егоров, не успевший еще собрать книг, просил его подождать, — им по дороге, — и ласково смотрел на него. Саша вышел в коридор и ждал там. Учитель подошел к нему и хотел сказать что-нибудь приветливое, да не мог придумать. И он говорил несвязные слова, ласково и неловко.

— Что ж, вы с ним друзья, что так заступаешься, а? — спросил он.

— Друзья, — весело ответил Саша.

— А, друзья, — забияка ведь он? — продолжал учитель тоном вопроса.

— Ничего, — сказал Саша.

— Ну что ж, домой пойдешь, милый? — опять спросил учитель.

— Домой, — так же весело и радостно ответил Саша.

Он улыбаючись смотрел на учителя и ждал от него каких-то добрых и мудрых слов, ждал с простодушною верою, — так как он еще воистину был ребенок и думал, что взрослые знают настоящие добрые и мудрые слова.

А учитель не знал таких слов. И уже совсем больше ничего не придумал он сказать. Он взял Сашу за руку, тихонько пожал ее. Саша смутился, раскраснелся. Учитель неловко отвернулся и отошел в сторону.

И вдруг веселость словно соскочила с Саши. Он почувствовал в душе своей ту же неловкость, как будто заразился ею от учителя. В мыслях и настроениях его опять началась смута.

## XVI

Вместе с Егоровым шел Саша по тихим городским улицам домой. Егоров благодарил Сашу искренно и весело.

— Распреотличную бы мне дома порку задали, — говорил он, с уважением глядя на Сашу.

Саше от этого еще томительнее становилось. Егоров все посматривал на него сбоку, словно хотел что-то сказать, да не ре-

шался. И Саша понемногу стал ждать, что Егоров сделает что-то настоящее, должное. Наконец Егоров надумался и вдруг спросил:

— Хочешь, я тебе тоже поклонюсь в ноги?

— Не надо, — смущенно сказал Саша.

— А то поклонюсь, — продолжал Егоров, словно торопясь отдать долг. — Хоть сейчас, на улице, право! а?

— Ну вот, говорю, не надо, — досадливо повторил Саша.

Егоров словно успокоился.

— Ну ладно, — сказал он по-прежнему весело,— я тебе заслужу чем-нибудь. Ты только скажи.

«Вот, — думал Саша, — я кланялся, молил, для того, чтобы у него кожа цела осталась, а он меня побережет при случае. И мне же от всего этого польза: учитель похвалил, Егоров стал другом».

И мучило это Сашу, — этот корыстный его подвиг.

Какая грусть! Какие во всем невозможности!

Вот в огороде, мимо которого они проходили, молочаи-солнцегляды напрасно тянулись к солнцу, — они были малы и слабы, их подавляли глупые, клонящиеся к земле ромашки.

## XVII

В грустном Саша сидел раздумье под серою ольхою на скамеечке, внизу сада, над самою рекою. За день он набегался, был шумно весел и утомился. Длинные ресницы бросали печальную тень на загорелые Сашины щеки.

Вечер мирно догорал. За рекою лежали тихие дали. Большие босые мальчики опять, как всегда по вечерам, пришли на пустой песчаный берег играть в рюхи и подымать легкую сизую пыль длинными палками.

Здесь, в саду, был дикий, нетронутый уголок. У воды цвела зеленовато-белая развесистая гречиха. Горицвет раскидывал белые полузонтики, и от них к вечеру запахло слабо и нежно. В кустарниках таились ярко-лазоревые колокольчики, безуханные, безмолвные. Дурман высоко подымал крупные белые цветы, надменные,

некрасивые, тяжелые. Там, где было сырее, изгибался твердым стеблем паслен с ярко-красными, продолговатыми ягодами. Но эти плоды, никому не нужные, и эти поздние цветы не радовали глаз. Усталая природа клонилась к увяданию. Саша чувствовал, что все умрет, что все равно-ненужно и что так это и должно быть. Покорная грусть овладела его мыслями. Он думал: «Устанешь, — спать хочешь; а жить устанешь, — умереть захочешь. Вот и ольха устанет стоять, да и свалится».

И явственно пробуждалось в его душевной глубине то истинно-земное, что роднило его с прахом и от чего страх не имел над ним власти.

Кто-то запел. В тихом воздухе печально звучала заунывная песня. За рекою раздавались эти протяжные звуки, — словно кто-то звал, и печалил, и, лишая воли, требовал чего-то необычайного.

Но неужели суждено человеку не узнать здесь правды? Где-то есть правда, — к чему-то идет все, что есть в мире. И мы идем, — и все проходит, — и мы вечно хотим того, чего нет.

Или надо уйти из жизни, чтобы узнать? Но как и что узнают отшедшие от жизни?

Но, что бы там ни было, как хорошо, что есть она, смерть-освободительница!

И засмотрелся Саша на воду и думал: «Если упасть? утонуть? Страшно ли будет тонуть?»

Вода тянула его к себе влажным, пустым запахом. Нисколько не было страшно, и равнодушно думал Саша о возможной смерти. Все равно уже не стало своей воли, и он пойдет, куда устремит его первое впечатление.

Он неподвижно смотрел перед собою. Лепестинья подошла сзади. Она глядела на него суровыми глазами. Тихо и сурово сказала она, качая дряхлою головою:

— Что смотришь? Куда смотришь? Опять к ей засматриваешь?

И она пошла мимо, уже не глядела на Сашу, и не жалела его, и не звала. Безучастная, суровая, проходила она мимо.

Легкий холод обвеял Сашу. Весь дрожа, томимый таинственным страхом, он встал и пошел за Лепестиньею, — к жизни земной пошел он, в путь истомный и смертный.

## *Баранчик*

### I

В деревни Хотимирицы на пророка Илию праздновали. Со всей округи сходились и съезжались гости, и ели, и пили, и пировали и день, и два, и три, переходя из дома в дом.

Хозяйственный мужик Влас готовился загодя, — наварил пива, накупил водки, зарезал барана.

Когда он взял нож и пошел резать барана, его дети, Аниска и Сенька, пошли за ним, стали близко и смотрели. Аниске доходил пятый год, Сеньке начинался четвертый, — все-то им было внове, все-то их забавляло.

Баран был весь белый, — и волосенки у ребят были белые. Ребята стояли, взявшись за руки, и дивились, и таращили светлые глазенки. Баран заблеял, кровь полилась, красная да широкая, — страсть, как весело!

Дети, лепеча и толкаясь, мешали отцу. Он прикрикнул на них, — и ребятишки, смеючись, побежали прочь.

### II

Отец ушел в поле, мать по дому хлопотала, дети играли себе на дворе.

И сказала Аниска Сеньке:

— Сенька, а Сенька, давай играть в баранчика.

Засмеялся Сенька, говорит, — а сам еще и выговорить чисто не умеет:

— Давай, — говорит, — пусть я баранчиком буду.

— Ну, ладно, — говорит Аниска, — ты пусть баранчиком будешь, а я тебя по горлышку ножиком чик-чик.

— А кровь пойдет? — спросил Сенька, — красная, широкая?

— Пойдет, — сказала Аниска.

И оба засмеялись, зарадовались.

— А ножик где мы возьмем? — спросил Сенька.

— Как-никак разживемся, — отвечала Аниска, — у мамки скрадем.

Тихохонько пробрались ребятки в избу, — а матери ни к чему, знай себе дрова в печь накладывает, жарево всякое да пироги жданые про гостей готовить хочет. Стащили ребята нож, большой-большой, каким хлебы рушат, — а мать и не видит, до ребят ли ей.

Побежали дети во двор, забились в угол.

— Ну, режь скорее, — лепечет Сенька.

Сам заблеял, таково жалобно, словно баранчик, — сам засмеялся и сестренку насмешил. И взяла его Аниска за плечи, опрокинула на спину, повалила на землю, — все блеял Сенька.

Полоснула Аниска ножом по Сенькину горлу. Затрепыхался Сенька, захрипел. Кровь, широкая, красная, хлынула на его белую рубашонку и на Анискины руки. Кровь была теплая да липкая, Сенька затих.

— Баранчик, баранчик! — закричала Аниска и засмеялась.

А самой с чего-то холодно стало.

— Ну, вставай, что ли, Сенька, — закричала она, — будет.

Не хотел Сенька вставать, и кровь уже не текла, и слиплись Анискины руки. Сенька лежал, скорчившись, и все молчал, — страшно стало Аниске, побежала она от Сеньки.

Шмыгнула в избу, от матери прячется, полезла в печку, — а сердце-то у нее в груди тяжелое. Забралась Аниска в печку на дрова, сидит, молчит, вся дрожит. Страх на нее напал и тоска, и не поймет Аниска, что такое сталось.

Начала мать затоплять печку, — ничего не слышит Аниска, сидит, не подает голосу. Тяжко да быстро бьется маленькое сердце, ничего не видит Аниска тоскливыми глазами.

Дрова плохо разгорались, пошел дым, наполнил всю печку, задушил Аниску.

III

И вознеслись к Господним райским вратам Сенькина душа и Анискина душа. Смутились ангелы, и проливали они слезы, светлые, как звезды, и не знали, что им делать. Предстал перед Господом Анискин ангел и с великим сокрушением воззвал:

— Господи, врагу ли отдадим младенца с окровавленными руками?

Искушая ангела, спросил Господь:

— На ком же та невинная кровь?

Отвечал ангел:

— Да будет на мне, Господи!

И сказал ему Господь:

— Проливающие кровь искуплены Моею кровью, и научающие пролитию крови искуплены Мною, и тяжкою скорбию приобщаю людей к искуплению Моему.

Тогда впустили ангелы Аниску и Сеньку в обители светозарные и в сады благоуханные, где на тихих травах мерцают медвяные росы и в светлых берегах струятся отрадные воды.

## *Лелька*

Вечерело. Я шел за город побродить на берегах нашей мелкой, порожистой реки. В старину она была многоводна, пролегал по ней великий путь из Чуди в Русь, — а теперь она давно уж обмелела, сжалась в своем широком русле, как червяк на зеленом листе, и затихла, — и сжался, затих и приуныл над ее берегом, извилистым и крутым, когда-то богатый город Тихий Омут.

Вечер стоял тихий, теплый, благоухающий свежими веяниями нежаркого лета, полный очарования, как нежная колыбельная песенка. Солнце было уже низко: багряно-желтый круг его почти касался мглисто-синей черты горизонта; темно-лиловые тучки с золотыми краями были разбросаны по розовому небу заката. Все небо залива-

ли восхитительно-мягкие переливы голубых, алых и палевых оттенков; узкие полоски тонких облачков желтели и белели на нем, как прилипшие к нарядному платью засохшие стебли. Прощальные солнечные лучи убирали в пурпур бедные городские лачуги. Серая пыль иногда подымалась от набегавшего ветра, влеклась по немощеным улицам и тихонько ложилась на землю.

Я вышел на обрывистый берег реки. Откосы другого берега начинали терять свои ярко-пунцовые краски; только верхи крутых обрывов еще сверкали темно-красною, как медь, глиною. Внизу слегка дымился туман, еще почти не видный, заметный лишь по тому, как скрадывались им очертания берега: словно прильнула река близко-близко к обрывистым берегам и, тая, целовала их, и таял угрюмый берег, целуя журчащую воду.

Глинистая тропинка бежала между откосами берега и широкими полями. Кусты ползли вниз, по откосам, цепляясь за землю изогнутыми ветвями и схватываясь ими друг с другом, словно сгорбленные старушки, тихо ползущие в гору. Становилось в воздухе свежее.

Берег понижался. В прозрачной полумгле, которую ласково бросали на меня ивы с пониклых ветвей своих, меня обнимала нежная прохлада; воздух вливался в грудь, как сладкий напиток, возбуждающий трепет сил и жажду жизни, навевающий отрадные мечтания. Легкая задумчивость овладела мною.

Вдруг услышал я детский голос, звонко и отчетливо выговаривавший стихи:

Не знаю отчего, но на груди природы,
Лежит ли предо мной полей немая даль,
Колышет ли залив серебряные воды,
Иль простирает лес задумчивые своды,
В душе моей встает неясная печаль...

А вот и он, маленький чтец. Лицом к реке, под ивою, прислонясь к ее стволу спиною и рассеянно глядя вдаль, сидел тоненький мальчик в ситцевой рубахе и помятой шапке. Ему по лицу можно было дать лет

тринадцать; он был, очевидно, мал для своего возраста. На бледном, нервно-подвижном лице, слегка смуглом и загорелом, мечтательно теплились кроткие карие глаза. Так они пристально смотрели куда-то далеко, что мальчик и не видел меня, даже когда совсем близко подошел я к нему.

Он говорил стихи на память и, сложив руки на коленях, слегка покачивался взад и вперед. Говорил он их задушевно и просто, как будто это были не чужие для него слова. Было так странно видеть этого босоногого мальчугана, который читает стихи, вряд ли ему вполне ясные.

Она — всегда немая Галатея,
А я — страдающий, любя, Пигмалион. . —

закончил мальчик — и повел вперед сжатыми руками.

Я молча стоял сбоку, немного позади его. Он повернулся, бросил на меня рассеянный взгляд, приметил меня и быстро вскочил на ноги.

— Хорошо ты читаешь, молодец! — сказал я.

Он покраснел и молчал. Видно было, что ему хочется уйти. Но я решил как-нибудь удержать его. Невдалеке от реки я заметил небольшой домик, старенький, погнувшийся, с небольшими, тусклыми окнами.

— Ты не здесь ли живешь? — спросил я, показывая на эту лачугу.

— Да, — тихо ответил мальчик.

Это был самый крайний дом подгородной слободы Подолешья, населенной бедным людом. На плетне, которым обнесен был двор, я увидел растянутые сети. У берега виднелась лодка, привязанная непрочною, с узлами, бечевкою к тому дереву, под которым мы стояли.

— А это — твоя лодка? — спросил я.

— Отцова, — ответил мальчик.

— А ты с нею справишься?

Мальчуган легонько усмехнулся.

— Справлюсь, что ж, — сказал он.

— Так прокати меня по реке. Я тебе заплачу, — сказал я.

Мальчик глянул на меня и ответил:

— Ладно, вот только у отца спрошусь.

Он побежал в избу. Через минуту на пороге ее показался хозяин, — маленький, тощий человек с мочальною бородкою и смирною улыбкою на бледном лице. Он подошел ко мне, кланяясь с некоторым подобострастием. Я и ему сказал, чего хочу. Он вызвался сам сесть со мною. Я отказался:

— Справимся с мальчуганом, — сказал я.

Тогда он суетливо задвигался по двору, покрикивая на сына:

— Ну живей, живей, Лелька, пошевеливайся.

Лелька побежал в сарай за веслами, потом в избу, собрался вмиг, — и выбежал ко мне.

Вот уселись мы вдвоем на узеньких и неудобных беседочках лодки; вода тихо зашумела под веслами. Мы плыли вниз по течению. Я скоро взял у мальчика весла и сел посреди лодки. Мальчик не обнаруживал большой охоты говорить и вначале только отвечал на вопросы. Но мало-помалу мы разговорились.

— Любишь ты стихи? — спросил я.

— Люблю, — ответил он, слегка краснея, и прибавил вдруг, засмеявшись и весело взмахнув головою: — Я много стихов знаю.

— Учишься где-нибудь? — опять спросил я.

— Учусь, как же, — в городское училище хожу. Прежде ходил в приходское. Кончил там, — отец меня сперва хотел к сапожнику отдать в ученье, — а я ему говорю: я лучше, говорю, в городское училище поступлю, там тоже мастерская есть. Ну, отец и согласился. Я и поступил в училище, и в столярную стал тоже ходить, у нас при училище есть столярная. Теперь еще два года остается.

Меж тем вечерняя мгла сгущалась внизу, и только на небе еще теплились розоватые, потухающие отблески догоревшего дня. Плеск весел по воде раздавался мягко и звучно. Было тихо, — мы тихо разговаривали, берега медленно двигались, течение несло нас вперед.

Берега раздвинулись, река разлилась вдвое шире, заструилась ленивей и глаже; перед нами легла сероватая гряда камней — мельнич-

ная запруда. Все слышнее и слышнее доносилось до нас журчание воды, которая, лениво переливаясь через плотину, падала на фашинник и камни. Мы подъехали близко к запруде, — и повернули назад. Опять береговые тени побежали навстречу взмахам весел.

Я попросил мальчика прочесть мне еще какие-нибудь стихи. Он сперва застыдился, но потом все-таки прочел мне два стихотворения, — из Лермонтова и Некрасова. Мне стало грустно; рассеянно слушая, вспоминал я, что все подростки, все юноши, которых я встречал, предпочитали стихи с печальным содержанием.

Он помолчал.

— А вот, я вам еще скажу стихи, — промолвил он, слегка дрогнувшим голосом, почему-то смущаясь больше прежнего.

— Прочти, милый, — сказал я, — ты хорошо читаешь.

Он сказал незнакомое мне стихотворение. Сначала голос его был робок и тих, но мальчик быстро справился со своим волнением.

Стихи были слабы по форме, но подкупали искренностью и свежестью чувства.

— Чьи же это стихи? — спросил я, когда он кончил.

Мальчик покраснел, засмеялся, поежился и сказал тихонько:

— Мои. Самодельные, — прибавил он и глянул на меня смущенными и смеющимися глазами.

— Вот как! — сказал я с удивлением, — так ты, брат, сочинитель!

— Да. Только вы отцу не сказывайте, что я вам читал.

— А что?

— Да уж так. Пожалуй, опять достанется.

— А уж доставалось?

Мальчик помолчал немного, — и начал рассказывать по порядку:

— Сочинять-то стихи я давно начал, а только показать их некому было. Вот в прошедшую зиму я и надумал, дай, думаю, покажу их учителю. Ну, он прочел, — ничего, похвалил, — говорит, надо работать, ты, говорит, можешь научиться хорошие стихи писать. Стал мне книжки давать. Вот от него и другие наши учителя узнали. Ну вот, раз и вышло так, что меня батюшка по священной истории урок отвечать вызвал, а я не выучил в тот раз. И совсем не от стихов, а вовсе другая

причина была. А батюшка и говорит: ты, говорит, только стихи сочиняешь, а уроков не учишь; еще и на нас, может быть, пасквили пишешь, говорит; погоди, говорит, вот я ужо твоему отцу скажу. Отец у него печи тогда как раз чинил. Вот батюшка ему в тот же день на меня нажаловался.

Он опять помолчал, внимательно посмотрел на меня и продолжал:

— Ну, мне от отца шибко попало. Взялся, говорит, учиться, — это отец мне говорит, — так учись, а глупостями не занимайся. Денег-то у меня нет, говорит, шальных, чтобы ты попусту в школе околачивался; к шорнику, говорит, отдам в ученье, коли еще чуть что. А коли в школу, говорит, хочешь ходить, так о пустяках и не думай. И взял все мои тетрадки со стихами, да и пожег.

Он досадливо и стыдливо нахмурился при этих словах: видно было, что он сильно жалел об этих пожженных тетрадках.

— Так как же ты теперь? — спросил я.

— А теперь я потихоньку пишу и никому не показываю.

Становилось все темнее, надвигалась ночь. Мне было грустно и странно смотреть на этого мальчика. Что из него выйдет? Мечта представляла мне угол сарая, полуосвещенный отблесками тонких солнечных лучей, пыльными спицами бегущих из многочисленных щелей в стенках и потолке; там, на сене, мальчик с пылающим лицом и блестящими глазами; в руках у него карандаш и тетрадка; на лбу крупные капли пота, взволнованно дышит грудь, озабоченное лицо выдает тайну недетского напряжения мысли. Не преждевременно ли это напряжение? Не бесплодно ли оно? Или и точно это сила, стремящаяся найти себе исход в свободной деятельности, — сила, которая победит препятствия?

Лодка причалила к берегу возле городского бульвара. Я молча вышел из лодки на шаткие доски, прилаженные для прачек, и опустил в Лелькину руку две серебряные монеты. Он весело поблагодарил меня, сунул деньги, не поглядев на них, в карман, уселся и веслом отпихнул от берега лодку. Плеснули весла, жалобно зароптали речные струи, плещась и разбегаясь, и повлекли за собою в мглистый туман остроносый челнок.

— Покойной ночи, — крикнул мне Лелька с реки, заметив, что я еще стою на берегу.

Звонкий голосок пронесся в ночной тишине, словно бряканье колокольчика, разбудив где-то далеко слабый и короткий отголосок, — и затих. И скоро затихли в отдалении мирные всплески весел, — и я тихонько побрел домой.

# НЕДОБРАЯ ГОСПОЖА

*Рассказы*

*Маленькие и невинные, но уже обремененные грехами поколений, пришли они к Жизни, — улыбаться и радоваться. Чем же ты, Жизнь, обрадовала их?*

*У тебя есть зори и розы, радуги и благоухания, яркие сияния и прохладные тени, алмазы и росы, у тебя есть радости идиллий и восторги борьбы, и много у тебя элементов счастия, — зачем же ты злая и мучительная? И зачем ты хочешь, чтобы плакали дети?*

*И ты требуешь, чтобы тебя любили!*

## *Красота*

I

В строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени голые, тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала; крупные, медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали.

Нежно любимую мать схоронила она сегодня, и так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах, и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась наконец одна, в своем белом покое, где все девственно-чисто и строго, — и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы.

Еленино платье, строгое и черное, лежало на ней печально, — как будто, облекая Елену в день скорби, не могла равнодушная одежда не отражать ее омраченной души. Елена вспоминала покойную мать, — и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде, чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижною грустью поминала прошлое.

Ее мать умерла еще не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира. Медленны и величавы были все ее движения. Ее лицо было как бы обвеяно грустными мечтами о чем-то, навеки утраченном, или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно, предвещательница смерти, ложилась томная бледность. Казалось, что

великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове, — и странно было Елене думать, что ее мать скоро будет старухою...

Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет, — и Елена опять села на свое место, и терпеливо ждала черной ночи, и плакала медленными и холодными слезами.

И наконец настала ночь, в комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну. Густая темнота окутывала улицу. Бедные и грубые предметы скучной обычности скрывались в черном покрове ночи, — и было что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна, у которого стояла Елена, слабо виднелся на другой стороне улицы, при свете редких фонарей, маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стояли далеко от него, — он казался черным.

Вдруг из раскрытой кузницы к воротам медленно пронеслась громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился, — это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапная зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться, — в просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.

И когда прошел кузнец и скрылась красная в черном мраке искра, — Елена удивилась своей внезапной радости и удивилась тому, что она все еще, нежно и трепетно, играет в ее душе. Почему возникает, откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно?

Мгновенная, пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и преходящим блеском.

Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль; торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам.

II

Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно. Все благоухало здесь едва различными ароматами: Еленины одежды пахли розами и фиалками, драпировки — белыми акациями; цветущие гиацинты разливали свои сладкие и томные запахи. Было много книг, — Елена читала много, но только избранные и строгие творения.

С людьми Елене было тягостно, — люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного: они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Елена была сдержанна с людьми и не могла полюбить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви, мать, — потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Елена хотела бы, чтобы и все люди стали когда-нибудь такими же, чтобы они поняли, что одна есть цель в жизни, — красота, и устроили себе жизнь достойную и мудрую...

Горели лампы, — их свет разливался неподвижно-ясно и бело. Пахло розою и миндалем. Елена была одна.

Она замкнула на ключ дверь, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело.

Вся белая и спокойная, стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от ламп и от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе, исходит от ее нагого тела. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновения полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве.

Радостна была для Елены обнаженная красота ее нежного тела, — Елена смеялась, и тихий смех ее звучал в торжественной тишине ее невозмутимого покоя.

Елена легла грудью на ковер и вдыхала слабый запах резеды. Здесь, внизу, откуда странно было смотреть на нижние части предметов, ей стало еще веселее и радостнее. Как маленькая девочка, смеялась она, перекатываясь по мягкому ковру.

## III

Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своею красотою, — и это не утомляло ее. Все было бело в ее горнице, — и среди этой белизны мерцали алые и желтые тоны ее тела, напоминая нежнейшие оттенки перламутра и жемчуга.

Елена поднимала руки над головою и, приподнимаясь, вытягивалась, изгибалась и колебалась на напряженных ногах. Нежная гибкость ее тела веселила ее. Ей радостно было смотреть, как упруго напрягались под нежною кожею сильные мускулы прекрасных ног.

Она двигалась по комнате, нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. И она радовалась своей красоте, и проводила, обнаженная, долгие часы, — то мечтая и любуясь собою, то прочитывая страницы прекрасных и строгих поэтов...

В чеканной серебряной амфоре белела благоуханная жидкость: Елена соединила в амфоре ароматы и молоко. Елена медленно подняла чашу и наклонила ее над своею высокою грудью. Белые, пахучие капли тихо падали на алую, вздрагивающую от их прикосновения кожу. Запахло сладостно ландышами и яблоками. Благоухания обняли Елену легким и нежным облаком...

Елена распустила длинные, черные волосы и осыпала их красными маками. Потом белая вязь цветов поясом охватила ее гибкий стан и ласкала ее кожу. И прекрасны были благоуханные эти цветы на обнаженной красоте ее благоуханного тела.

Потом она сняла с себя цветы и опять собрала волосы высоким узлом, облекла свое тело тонкою одеждою и застегнула на левом плече золотою пряжкою.

Сама она сделала для себя эту одежду из тонкого полотна, так что никто еще не видел ее.

Елена легла на низкое ложе, и сладостные мечтания проносились в ее голове, — мечтания о безгрешных ласках, о невинных поцелуях, о нестыдливых хороводах на орошенных сладостною росою лугах под ясными небесами, где сияет кроткое и благое светило.

Она глядела на свои обнаженные ноги, — волнистые линии голеней и бедер мягко выбегали из-под складок короткого платья. Желтоватые и алые нежные тоны на коже рядом с однообразною желтоватою белизною полотна радовали ее взоры. Выдающиеся края косточек на коленях и стопах и ямочки рядом с ними — все осматривала Елена любовно и радостно и осязала руками, — и это доставляло ей новое наслаждение.

## IV

Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, стояла она перед зеркалом, подняв руки над головою.

Вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова, — это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо-лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале. Это было так неожиданно, — Елена не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась сейчас же, так же бесшумно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не подходила к двери, что это только так привиделось.

Елене стало досадно и стыдно. Хотя она едва только успела бросить взгляд на Макрину, но уже ей казалось, что она видела промелькнувшую на Макринином лице нечистую улыбку. Елена поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно...

Досадные подозрения раскрывались в ней...

Что скажет о ней Макрина? Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, шепотом, с гадким смехом. Волна стыдливого ужаса пробежала по Елене. Ей вспомнилась кухарка Маланья, — румяная, молодая бабенка, веселая, с лукавым смешком...

Что же теперь говорит Макрина? Елене казалось, что кто-то шепчет ей в уши Макринины слова:

— И вижу это я скрозь щелку, — стоит барышня перед зеркалом в чем мать родила, — вся как есть совсем выпялимшись.

— Да что ты! — восклицает Маланья.

— Вот ей-Богу! — говорит Макрина, — вся голая, и фигуряет, — и фигуряет, — и этак-то повернется, и так-то...

Макрина топчется на месте, представляя барышню, и обе хохочут. Циничные, грубые слова звучали с беспощадно-гнусною ясностью; от этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем стыда и обиды.

Она чувствовала стыд во всем теле, — он разливался пламенем, как снедающая тело болезнь. Долго Елена лежала неподвижная, в каком-то странном и тупом недоумении, — потом стала медленно одеваться, хмуря брови, как бы стараясь решить какой-то трудный вопрос и внимательно рассматривая себя в зеркале.

## V

В следующие за тем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не проходила, — и это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего Елена не замечала, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, плещущих об Еленино тело, а теперь поражали слух.

И в первый же раз, когда Макрина заговорила по-прежнему, Елена вслушалась в ее слова и дала волю своему раздражению.

Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивою улыбкою:

— В такую милочку, как вы, кто не влюбится! Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки!

Елена покраснела.

— Пожалуйста, перестаньте, — резко сказала она.

Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза и потом — или это только показалось Елене? — легонько усмехнулась. И эта усмешка еще более раздражила Елену, — но уже она овладела собою и промолчала...

Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое прекрасное тело и смотреть на себя в зеркало. Она делала это даже чаще, чем прежде, не только вечером, при свете ламп, но и днем, опустив занавесы. Теперь она уже не забывала опускать портьеры, чтобы не подсматривали и не подслушивали ее снаружи, и при этом стыд делал все ее движения неловкими.

Уже и не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она в этом теле находила недостатки, — старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, — зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть.

Елене часто казалось, что на ее обнаженном теле тяжко лежат чьи-то чужие и страшные взоры. Хотя никто не смотрел на нее, но ей казалось, что вся комната на нее смотрит, и от этого делалось стыдно и жутко.

Было ли это днем, — Елене казалось, что свет бесстыден, и заглядывает в щели из-за занавеса острыми лучами, и смеется. Вечером — безокие тени из углов смотрели на нее и зыбко двигались, и эти их движения, которые производились трепетавшим светом свеч, казались Елене беззвучным смехом над нею. Страшно было думать об этом беззвучном смехе, и напрасно убеждала себя Елена, что это обыкновенные, неживые и незначительные тени, — их вздрагиванье намекало на чуждую, недолжную, издевающуюся жизнь.

Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами, — и это лицо похотливо смотрело на нее маленькими, отвратительными глазами.

И на своем лице Елена порою видела в зеркале что-то нечистое и противное и не могла понять, что это.

Долго думала она об этом и чувствовала, что это не показалось ей, что это в ней родилось что-то скверное, в тайниках ее опечаленной души, меж тем как в теле ее, обнаженном и белом, подымалась все выше горячая волна трепетных и страстных волнений.

Ужас и отвращение томили ее.

И поняла Елена, что невозможно ей жить со всем этим темным на душе. Она думала: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились, — но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все ли на свете мое, и не все ли связано неразрывными связями?»

## VI

В гостиной у Елены сидел Ресницын, молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с тою общею и безличною благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива.

Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестою, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более, чем когда-либо прежде, утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Она сама говорила всегда сжато и точно, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Но люди почти все таковы, — распущенные, беспорядочные.

Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям. Неожиданно для него она спросила:

— Вы любите людей?

Ресницын усмехнулся небрежно, с видом умственного превосходства, и сказал:

— Я сам — человек.

— Да себя-то вы любите? — опять спросила Елена.

Он пожал своими узенькими плечами, саркастически усмехнулся и сказал притворно-вежливым тоном:

— Люди вам не угодили? Чем, позвольте спросить?

Видно было, что он чувствует себя оскорбленным за людей тем, что Елена допускает возможность и не любить их.

— Разве можно любить людей? — спросила Елена.

— Почему же нельзя? — изумленно переспросил он.

— Они сами себя не любят, — холодно говорила Елена, — да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви, — не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли, такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь.

— Однако же вы живете здесь! — сказал Ресницын.

— Где же мне жить! — холодно промолвила Елена.

— Где же люди лучше? — спросил Ресницын.

— Да они везде одинаковы, — ответила Елена, и легкая презрительная усмешка мелькнула на ее губах.

Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался ему неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти.

## VII

Вечерело. Елена была одна.

В тихом воздухе ее покоя ванильный запах гелиотропа не смешивался с медовым ароматом черемухи и со сладкими благоуханиями роз и побеждал их.

«Построить жизнь по идеалам добра и красоты! С этими людьми и с этим телом! — горько думала Елена. — Невозможно! Как замкнуться от людской пошлости, как уберечься от людей! Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть, — и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь, — и себя с ним».

Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.

«Как это просто! — подумала она. — Вот, довольно хоть бы этого ножа».

Тонкий позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенною искусною резьбою рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно, не потому, что он был ей нужен, — нет, ее взоры привлек странный, запутанный узор резьбы на рукояти.

«Прекрасное орудие смерти», — подумала она и улыбнулась. Улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные.

Она встала, — и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке, на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню, и на подушках, лезвием к изголовью, положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами, опять взяла кинжал и легла с ним на постель, поверх белого одеяла. Ее белые башмаки упирались в подножие кровати. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно, и только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.

И вот, — как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила она в грудь, прямо против ровно бившегося сердца, кинжал до самой рукояти — и тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь, рядом с рукоятью кинжала.

## *Утешение*

### I

В ясный осенний день по шумной и людной улице возвращались домой два школьника. Один, Дмитрий Дармостук, был удручен тем, что в его дневнике единица. Тоска и страх ясно отражались на его худощавом лице с большим носом и тонкими, по привычке улыбающимися губами.

Дармостук — кухаркин сын, но одет чистенько, и сам чистый да белый. Он довольно высок для своих тринадцати лет.

Другой, Назаров, видно, сорвиголова, — растрепанный, оборванный, в стоптанных и нечищеных сапогах, в выгоревшей на солнце фуражке; весь он нескладный, — длинный, тощий, испитой. Его бледное и сухое лицо часто подергивается судорожными гримасами, а в минуту возбуждения он весь сотрясается, моргает и заикается.

— Недаром у меня утром правый глаз чесался, — сказал Дармостук, пожимаясь тонкими плечами, словно от холода, — так я и знал, что что-нибудь выйдет.

— Дурак, приметам веришь, — ответил Назаров, заикаясь на звуке «р». — Ты, знаешь что, ты дневник расшей.

— Ну, и что же? — с робким любопытством спросил Дармостук.

— Ну вот, — оживленно говорил Назаров, начиная усиленно гримасничать и бестолково разводя руками, — вынешь лист с единицей, ну и вставишь чистый, — понимаешь, из другого дневника, — дома покажешь, а потом опять расшей, старый вставь.

Назаров засмеялся, поднял колено и хлопнул по нему ладонью.

— А чистый-то лист откуда мне взять? — нерешительно спросил Митя.

— Я тебе продам из своего дневника, — зашептал Назаров, оглядываясь по сторонам, — а сам скажу, что потерял, понимаешь? — и куплю другой дневник.

— Да ведь будет видно, если расшить, — возражал Митя.

— Можно и не расшивавши вынуть, — сказал Назаров с уверенной усмешкою знающего человека.

— Ну? — недоверчиво спросил Митя.

Улыбка отдаленной надежды мелькнула на его бледных губах.

— Вот ей-Богу, — убедительно говорил Назаров, — только надорвать вверху и внизу, — да вот я тебе покажу, — давай, — вот только войдем под ворота.

— Боюсь, — нерешительно сказал Митя, щурясь от набегавшего ветра, который поднимал с мостовой столбы сора и пыли.

А Назаров уже вытащил из сумки дневник, — тетрадочку, разграфленную на весь год для записи уроков, отметок и замечаний. Товарищи вошли в ворота большого проходного дома и там остановились: Дармостуку надо было идти через этот двор, а Назаров не отставал и убеждал Митю купить лист из дневника. Голоса их гулко раздавались под кирпичными сводами, и это пугало Митю.

— Ну, давай пятиалтынный, — говорил Назаров. — Ведь дневник двадцать копеек стоит, а куда он порченый? Для того только уступаю, что, может, потом и мне пригодится, на всякий случай, — понимаешь?

— Дорого, — сказал Дармостук, завистливо поглядывая на дневник.

— Дорого? Дурак! Найди дешевле, — с досадою крикнул Назаров и показал Мите язык, длинный и тонкий.

— Да мне и не надо.

Митя отвернулся, стараясь подавить незаконное желание.

— Ну, давай гривенник, — быстро заговорил Назаров, становясь опять ласковым. — Ну, пятачок? Соглашайся скорее, завтра двугривенный заломлю.

Назаров хватал Дармостука за руки холодными и цепкими пальцами и отчаянно гримасничал.

— Грешно, — пробормотал Митя и покраснел.

— Ничего не грешно, — запальчиво возразил Назаров, — а им не грешно колы лепить ни за что ни про что?

По Митину лицу было видно, что он недолго устоит против искушения. Но уже Назаров рассердился и сделал гримасу, выражавшую горчайшее презрение.

— Черт с тобой! — выкрикнул он, трепеща от досады, передернулся, как картонный паяц на ниточке, быстро всунул дневник в сумку и побежал прочь.

Митя вошел во двор и в раздумье тихо подвигался вперед. Двор тянулся длинный, неширокий, мощенный неровным булыжником. Посреди заднего флигеля мрачно зияли ворота на другую улицу. Вдоль двора лежал узенький, в одну плиту, неровный тротуар. По сторонам подымались четырехэтажные флигели, с грязно-желтыми стенами, с бурыми деревянными, крупно продырявленными для воздуха ящиками в кухонных окнах. Проходили женщины в платках, мастеровые. Мусор валялся неприбранный. Стояла поломанная бочка. Грязные дети играли возле нее и весело и звонко кричали. Пахло неприятно и грубо.

Хорошо бы, если бы дневник показывать только матери! Но его надо показать еще и барыне... Барыня вспоминалась надоедливая, говорливая, важная, шумящая шелковым платьем и сильно пахнущая духами, — и всем этим наводила на Митю оторопь и страх.

И мать вспоминалась. Митя знал, что она будет бранить его и плакать. Она — угрюмая и бедная. Она работает, — и Митя понимал, что должен выучиться чему-нибудь, чтоб ей под старость был приют.

С улицы доносились грохочущие звуки, — проезжали экипажи, далеко сотрясая мостовую. Митя чувствовал как бы в самых своих костях, как легонько вздрагивали камни, — и это дрожание страшило его, как и отзвуки от уличных гулов.

Вдруг, где-то высоко, услышал Митя тонкий смех и звонко-лепечущий голос. Митя поднял глаза. В окне заднего флигеля, в четвертом этаже, увидел он девочку, лет четырех, — и девочка понравилась ему. Освещенная солнцем, она лежала на подоконнике, ухватившись пухлыми ручонками за железный красный лист под окном, и смотрела ясными глазами вниз, на играющих маленьких девочек, которые бегали и визгливо хохотали. Девочку наверху радовало их веселье. Она нагибалась к ним, смеялась и кричала что-то, чего не слушали они.

Митино сердце тоскливо замерло. В первую минуту он не знал, что его страшит. Потом он подумал, что девочка можеть упасть, что она

упадет, вот-вот сейчас. Митя побледнел и замер на месте. Привычная головная боль схватила его за виски.

Так высоко, — а девочка наклоняется, кричит и смеется. Так высоко, — и только узкая железная полоска, покатая вниз, отделяет девочку от страшной пропасти. Голова у девочки, — думал Митя, — должна закружиться. Ей не удержаться, — думал он с отчаянием и страхом, и ему показалось, что она уже не смеется, что она тоже испугалась.

Злая мысль на мгновение овладела Митею и заставила его задрожать: он почувствовал нетерпеливое желание, чтобы девочка упала поскорее, лишь бы не томиться ему здесь этим страхом. Но едва только он понял в себе это желание, он спохватился и, — словно чувствуя, как она колеблется и скользит на узком железе, теряя равновесие и цепляясь задрожавшими ручонками, — побежал к девочке, протягивая руки. Но в эту самую минуту девочка взвизгнула, перевернулась в воздухе и упала, мелькнувши перед окнами, как сброшенный с чердака узел с бельем.

Митя не добежал. Он остановился, и руки его бессильно повисли. Девочка ударилась о камни затылком. Митя ясно услышал легкий треск ее черепа, похожий на звук от разбиваемой яичной скорлупы. Потом с мягким стуком она опрокинулась на спину и, как-то неловко изогнувшись и раскинув руки, легла ногами к Мите; глаза ее были полузакрыты, и губы жалобно искривились.

Два мальчика, не видевшие падения, все еще бегали и смеялись, — и голоса их звучали странно и неуместно. Девочки, перепуганные, стояли молча, дрожали и таращили глаза на ребенка, который неожиданно свалился к их ногам. Было так светло, на всем дворе лежали ясные и бледные отблески солнечных лучей от верхних окон, — кровь текла медленно из-под золотистых девочкиных волос яркою струйкою и смешивалась с пылью и сором.

Вдруг одна из девочек, слабенькая и хрупкая на взгляд, высоко вскинула руки, всплеснула маленькими ладошками и пронзительно закричала без слов. Ее лицо покраснело и перекосилось, из прищурившихся глаз брызнули мелкие и частые слезинки, — и разлились по

всему крошечному лицу. Не переводя голоса, протягивая руки и шатаясь, она метнулась в сторону, гонимая ужасом, наткнулась на Митю руками, отскочила и побежала дальше, крича и плача.

Запищал кто-то, робко и плаксиво. Мальчики, только что игравшие, стали рядом с Митею и смотрели на упавшую девочку с тупым и бессмысленным любопытством. В одном из окон показалась толстая женщина в белом переднике и заговорила что-то взволнованно и быстро. И из других окон стали выглядывать на двор. Неспешно и равнодушно приблизился дворник, белолицый парень в красной вязаной куртке, посмотрел на девочку крупными и пустыми глазами и, опершись о метлу руками, стал глазеть по окнам. Когда он, постепенно подымая голову, дошел до верхних окон, какие-то неясные чувства тускло отразились на его пухлом лице.

Вокруг девочки собирались, зашумели. Мастеровой в опорках, с ремешком на лбу, замахал руками и крикнул:

— Городового!

— Ах, грех какой! — заахала маленькая старушонка, выглядывая из-за его плеча.

— Мать недосмотрела, — сказала сердитая баба в сером платке.

Подошел старший дворник, в черном пиджаке, чернобородый, с побледневшим от неожиданности лицом.

— Беги, беги, — говорил он подручному.

Белолицый парень медленно пошел к воротам.

— В участок пошли! — зашептал кто-то сзади Мити.

— Чего уж, скапутилась! — ответил положительный мужской голос.

Митя удивился, как чему-то невозможному, что девочка лежит уже мертвая.

Вдруг откуда-то сверху донесся вой, растущий и приближающийся. С угловой лестницы, дико вопя, вынеслась неистовым порывом растрепанная и побледневшая женщина; она протягивала дрожащие руки и стремительно упала на девочку.

— Раечка, Раечка! — закричала она и трясущимися губами принялась дуть на девочкины ручонки.

Потом, вздрогнув от их холода, она схватила Раечку за плечики и приподняла ее. Раечкина голова запрокинулась назад. Мать отчаянно взвыла и покраснела, как та маленькая девочка, и так же облилась слезами.

— Мать-то — окарачь! — послышался за Митею сокрушенный старушечий шепот.

Мостовая задрожала, — с улицы донесся грохот и лязг от железа. Мите стало страшно. Он бросился бежать.

## II

Тяжело дыша от долгого бега, Митя приостановился на площадке, на узкой и грязной лестнице, в третьем этаже. Из отворенной двери кухонный чад обдал его. Он слышал сердитый материн голос. Робко вошел Митя в кухню, где пахло маслом, луком, дымом, — и остановился у дверей, охваченный привычными ощущениями, — неловкостью и бесприютностью в этой квартире, которая и чужая ему, и все же служит его домом.

Его мать, кухарка Аксинья, растрепанная, жаркая, с засученными рукавами на толстых красных руках, в затасканном и прожженном переднике, суетилась у плиты, поджаривая что-то, шипевшее и брызгавшее маслом на сковороде. Пламенные язычки, красные, как струйки Раечкиной крови, мелькали за неплотно затворенною печною дверцею. Сквозило, — дверь и окно стояли настежь. Аксинья бранила барыню, и свою жизнь, и жаркое, и дрова.

Митя чувствовал в себе какое-то неясное, ответное раздражение: он знал, что свою досаду мать сорвет на нем.

— Ну, чего торчишь на пороге! — закричала Аксинья, повертывая к Мите красное озлобленное лицо со слезящимися глазами, над которыми метались реденькими космами седеющие волосы. — Принесла нелегкая, без тебя тошно!

Митя прошел за перегородку, в каморку при кухне, где они с матерью жили. Из кухни, сквозь шипящие звуки на сковороде и в печке, слышалось сердитое Аксиньино ворчанье.

— Жаришься весь век свой у печки, как окаянная, — прости, Господи, мое великое согрешение! — а сын вырастет, о матери и не подумает. Сыновним-то хлебом не разъешься. Пока мать поит-кормит, пота мать и нужна!

Митя сердито нахмурился, уселся в углу на зеленый сундучок, пригорюнился и погрузился в печальные мысли и воспоминания. Раечка вспоминалась ему — на камнях с разбитою головою...

Прошло несколько минут. Аксинья заглянула в каморку, приоткрыв дверь.

— Митя, поди-ка сюда! — с неловкостью в голосе, полушепотом, позвала она.

Уже она смотрела на сына ласково, и это не шло к ее грубому, некрасивому лицу. Митя подошел.

— На, съешь пока! — сказала Аксинья, сунула ему сладкий блин, только что испеченный и еще горячий, и опять скрылась в кухню.

Внезапное сердечное размягчение вызвало на Митины глаза легкие слезинки. Когда он ел блин, скулы его двигались неловко, с какою-то особою болью от подступающего к горлу плача. Острая жалость к матери, вызванная жалобами ее и ее неуклюжею нежностью, сплелась тончайшими нитями с жалостью к Раечке...

Аксинья любила сына озлобленною любовью, которая так обычна у бедных людей и которая терзает обе стороны. Скудная, необеспеченная жизнь запугивала ее и подсказывала, что вот Митька вырастет, запьянствует, сам пропадет и ее на старости бросит. Но как отвратить беду, что делать с Митькою, чтобы он вышел человеком, она не знала и только смутно чувствовала, что в кухне трудно возрастать. Она угрюмо хмурилась, всего боялась, часто вздыхала и охала.

Митя дожевал блин и подошел к окну, вытирая пальцы об испод куртки. Из окна все казалось бледным и скучным. Виднелись кухни, где стряпали, крыши, дым из труб и блеклое небо. Митя лег на подоконник и смотрел на мощенный булыжником двор. Раечка представилась ему и то высокое окно, — он подумал: «Этак и каждый может упасть».

Первый раз, полусознательно, но уже со страхом, отнес он к себе мысль о смерти. Это была невозможная и ужасная мысль, — еще страшнее, чем думать, что Раечка упала и умерла, так просто, как разбивается ламповое стекло, если его бросить на камни.

Митя, дрожа, соскочил с подоконника. Он чувствовал боль в висках и в темени. Как-то нелепо замахал он руками и пошел в кухню. Там Аксинья стояла у плиты, подперши рукою щеку, и уныло глядела на огонь. Митя сказал:

— Мама, а что я видел-то на проходном дворе!

— Ну? — сурово спросила мать, не поворачивая к нему головы.

— Как девчонка шмякнулась с четвертого этажа и голову разбила.

— Да что ты! — вскрикнула Аксинья.

От испуганного ее голоса Мите стало и страшно, и смешно. Ухмыляясь, иногда хихикая, он подробно рассказал, как Раечка упала. Аксинья ахала, испуганно и жалостливо, и смотрела на сына неподвижными, округлившимися глазами. Когда Митя рассказывал, как Раечка вскрикнула, он взвизгнул, как она, тонким голосом, побледнел и слегка присел.

— Таких бы матерей... — со злобою начала Аксинья, не кончила и всхлипнула. — Андельчик! — жалостно сказала она, вытирая слезы грязным передником, — Бог прибрал, ей там лучше будет.

— Как она хряснулась! — задумчиво сказал Митя.

Мать опустила передник. Ее смоченное слезами и неподвижное лицо поразило мальчика. Он заплакал. Крупные слезы быстро текли по его бледным щекам. Но ему стыдно стало плакать. Он отвернулся и, понурившись, побрел в свою каморку, сел в угол на зеленый сундучок и долго и горько плакал, закрываясь руками.

Вечерело, и обычным порядком все шло как всегда. В Митиных настроениях была смута. Мелочи лезли в глаза и больно царапали душу, раньше почти не замечавшую их. Хотелось еще рассказывать о Раечке, еще разжалобить кого-то. Когда пришла в кухню горничная Дарья, франтоватая девица с лукавым лицом и гладко причесанными волосами, он и ей рассказал подробно. Но с тупым равнодушием слушала его Дарья, приглаживая перед Аксиньиным зеркальцем, висев-

шим в каморке на стене, свои волосы тараканьего цвета, от которых пахло помадою.

— Тебе разве не жалко? — спросил Митя.

— А что она мне, родная, что ли? — с глупым смехом ответила Дарья. — Жалельщик выискался, поди-ка!

— Чего жалеть! — сказала мать, — всех бы вас туда, и слава Богу. Вот ты, что вырастешь? Пьяный мастеровщина будешь!

«А если бы Раечка выросла? — подумал Митя. — Была бы горничная, как Дарья, помадилась бы и косила бы хитрые глаза...»

Митя пошел к барыне, дневник за неделю показать. Это барыня считала добрым делом, — заботиться о мальчишке, кухаркином сыне.

Приятные, но странные, как ладан, запахи в комнатах оторвали Митю от мыслей о Раечке. Он боязливо подошел к барыне, которая сидела в гостиной на диване и раскладывала пасьянс.

Урутина была полная, белая от притираний и пудры. Барынины дети, — сын-гимназист, Отя, — Иосиф, — и дочь Лидия, — вертелись тут же, и Отя делал Мите гримасы. У Оти выпуклые глаза и красное лицо. Лидия похожа на него, немного постарше. Волосы на лбу подстрижены. Аксинья и Дарья в своих разговорах называют это челкою.

Барыня увидела в Митином дневнике единицу и сделала Мите выговор. Митя поцеловал барынину руку, — так заведено.

В комнатах было нарядно и красиво. Мягкие ковры делали шаги неслышными, занавесы и портьеры висели тяжелыми и строгими складками, мебель стояла удобная, бронза — дорогая, картины в золоченых рамах. Прежде Мите нравилось здесь, — он входил сюда с уважением и робостью, когда его звали или когда господ не было дома, и можно было любоваться всем этим.

Сегодня красивость комнат в первый раз возмутила Митю. Он подумал: «Раечка, бедная, поди, ни разу в таких хоромах не поиграла. Да и настоящая ли здесь красота?» — подумал Митя.

И пока Урутина долго и скучно объясняла ему, как стыдно лениться и как он должен дорожить тем, что о нем заботится сама барыня, — Митя думал, что где-то есть чертоги, — может быть, у одного только

царя, — и там настоящая красота, и неисчерпаемая роскошь, и пахнет, как у царя Соломона, неведомыми благовониями, смирною и ливаном. В таких бы чертогах поиграть Раечке.

Когда уже Митя хотел уходить, барыня сказала:

— Дарья мне говорила, что ты какую-то девочку видел, как она упала из окна. Расскажи.

Митя, как всегда, испугался барынина повелительного и строгого тона и тотчас же принялся рассказывать. От застенчивости он пожимал плечами, но рассказывал так же подробно и с жестами и мало-помалу воодушевлялся. И опять он взвизгнул, как Раечка, и при этом присел и побледнел. Все это забавило и растрогало барыню и барчат.

— Как он мило рассказывает! — воскликнула Лидия, подражая одной знакомой взрослой барышне и так же взмахивая руками. — Бедная девочка! И она совсем, до смерти ушиблась?

— До смерти, — сказал Митя.

Барыня дала ему конфетку, сладкую и липкую, в плоеной бумажке. Митя любил сладкое и обрадовался.

## III

Митя сидел в своей каморке у окна, за деревянным некрашеным столом с расколовшеюся доскою, спиною к матери, которая угрюмо вязала чулок. Наклоняя к учебнику бледное лицо с трепетными губами и большим носом, который придавал ему как бы насмешливое выражение, Митя с усилием заставлял себя запоминать заданное. Но грустно и жалостно вспоминалась Раечка. Глупая у нее мать, — недоглядела!

Голова болела, — и Митя думал, что это от кухонного чада и от прелого запаха, который был особенно заметен и обиден после благоухания барских покоев...

Мите вдруг захотелось представить себе, какого роста Раечка: пожалуй, она достала бы головою до его пояса.

Все мешали читать: пришла Дарья и говорила с Аксиньею о своем милом... Но надо учиться, чтобы опять не схватить единицы... Хлопнула выходная дверь, Дарья убежала.

— О, чертова кукла! — крикнула Аксинья.

Митя не слышал, из-за чего они поссорились; он посмотрел на мать. Аксинья вязала чулок и сердито сжимала губы.

«Чертова кукла! — повторил Митя про себя, улыбаясь. — Должно быть, — подумал он, — это большая кукла, как человек, и ею по ночам играют черти. А днем? Ну, днем она живет, как все. Может быть, и не знает, кто придет за нею. Поглядеть бы, — думал Митя, — как черт играет Дарьею. Может быть, он делает ее кошкою, выносит на крышу и заставляет бегать и мяукать...»

Эти мечты смешили и развлекали Митю. Он не заметил, как и мать ушла. Вдруг среди тишины скрипнула дверь из коридора.

Митя оглянулся. На пороге стоял Отя с выражением напряженного любопытства в выпуклых глазах. Он на цыпочках, смешно махая руками, подошел к Мите и спросил:

— Один?

— Один, — сказал Митя.

Отя вышел тихонько и вернулся через минуту вместе с Лидиею. Барышня улыбалась и казалась встревоженною.

— Послушай, — зашептал Отя, — расскажи нам еще про ту девочку, про падучую.

Лидия захихикала, — от смешного слова, — она знала, что Отя придумал его нарочно, — и от ожидания любопытного рассказа.

— Хорошо, — сказал Митя и встал.

Лидия села на его стул, сложила руки на коленях и, не отрываясь, смотрела на Митю. Отя поместился на зеленом сундучке, поколачивал кулаками по коленям и делал сестре гримасы. Митя повторял рассказ, как и прежде, — а в конце, вспомнив, как взвыла мать над Раечкою, засмеялся. Барышня при этом вздрогнула.

— Какой ты бесчувственный, — с неудовольствием сказала она, — подумай, ведь девочке больно было! А ты вдруг смеешься!

— Да, — наставительно сказал Отя, — ты, брат, не отличаешься тонкими чувствами. Над падучими девочками не надо смеяться.

Митя вспомнил опять, как раскинулись Раечкины руки, и хрустнул ее череп, и кровь тонкою струйкою медленно поползла в серый сор.

Митя заплакал. Дети поглядели на него, переглянулись, захихикали. Им стало неловко. Они не знали, что говорить и как уйти. Выручила барыня.

Она заметила, что детей нет в комнатах, и отправилась на поиски.

Она услышала голоса, постояла в темном коридоре, потом распахнула дверь и появилась на пороге. Выпрямившись, закинув голову и высоко подымая густые черные брови, от которых теперь было так близко до гладко причесанных волос, что это придавало ей глупый и смешной вид, постояла она с минуту, — и под ее сверкающими взорами все трое застыли на местах. Отя и Лидия пугливо смотрели на нее, однообразно держали руки на коленях и натянуто улыбались. Митя исподлобья глядел на барыню, а крупные светлые слезы медленно катились по худощавым щекам и падали на полинялую домашнюю блузу.

— Дети, идите в комнаты, — сказала наконец барыня, — вам здесь нечего делать. Что за место, что за компания!

Дети поднялись. Пропустив их вперед, барыня пошла за ними.

Митя слышал удаляющиеся звуки ее негодующего голоса.

«Неприличное место!» — обидчиво подумал он и оглянул голые стены каморки, дощатую перегородку, убогие вещи, сундуки, — большой буро-красный, с жестяною оковою, и маленький зеленый, — окно, из которого видны крыши, трубы и блеклое небо. Все бедно, грубо и жалко.

«Подкралась как! — подумал Митя про барыню, — от нее не утаишься, точно ведьма!»

Со двора, из открытого окна чьей-то квартиры, доносилось томительно-нежное пение флейты, — как Раечкин плач.

## IV

Митя разделся и улегся на своей постели, которую мать расстилала ему на большом сундуке; сама же она спала на кровати, втиснутой в угол между перегородкою и дверью в коридор и закрытой ситцевою пестрою занавескою. Теперь Аксинья сидела в кухне, — еще будет ужин барыниным гостям. Из-за дощатой перегородки на потолке и на

полу виднелись световые полоски, а здесь, у Мити, тьма страшила. Митя закутал голову в одеяло.

Прежде любил он, лежа, помечтать о невозможном: о подвигах, о славе и о чем-нибудь нежном и тихом. Сегодня мечты стремились к Раечке. Что теперь с нею? Страшно, впотьмах, представлять ее мертвою. Страшно думать о том, что Раечку будут отпевать, зажгут желтые свечки, распустят в воздухе синий ладан, — и потом ее зароют, — но не мог Митя не думать об этом.

«Там ей будет лучше, — вспомнил он материны слова. — Как лучше? — с недоумением подумал он и вдруг радостно догадался: — Да, она воскреснет и будет с ангелами».

Все отчетливее становился в Митином воображении Раечкин образ. Как будто кто-то дорисовывал его медленно и тщательно тусклым свинцовым карандашом, — и каждая новая черта внушала Мите смешанные чувства страха, восхищения, жалости.

В кухне Аксинья точила нож о край плиты. Неприятный лязг мешал заснуть. Митя высвободил голову из-под одеяла и тихонько позвал:

— Мама, а мама!

— Ну чего тебе? — откликнулась мать.

— А Раечкина мать не помрет? — спросил Митя.

— Кака така мать?

— А вот, что девочка-то расшиблась.

— Ну? — отозвалась мать суровым и досадливым голосом.

— Так вот ее мать, говорю, не помрет?

— С чего ей помирать-то?

— А с горя по Раечке, — тихо сказал Митя, и слезы покатились из глаз, моча ему щеки и подушку.

— Спи, дурак, спи, когда лег, — с досадою сказала Аксинья. — Все бы с такого горя помирали, так и людей бы в Рассее не осталось.

— Так что ж такое? — отчаянным голосом спросил Митя, всхлипывая.

— А то, что спи, — без тебя тошно.

Митя замолчал. Точно слезы утомили его, — он начал дремать. В утомленном ухе мучительно-тонко запела нежная свирель, потом

загудел тихий колокол, все закружилось и пропало. Только высоко, в окне, ясная, веселая, смеялась Раечка.

«Она воскресла!» — радостно подумал Митя, — и что-то воскресно-светлое лепетала ему Раечка.

V

Митя участвовал в школьном хоре, который пел в одной из приходских церквей. В хоре Митею дорожили за верный слух и за отличный голос, — чистый, сильный альт. Он и сам любил петь. Особенно ему нравились свадьбы и отпевания. Венчальные песни веселили, надгробные — возбуждали приятно-печальные настроения.

Утром в воскресенье Митя пришел к обедне. Сбирались прихожане. Колокольный звон торжественно плыл в тихом осеннем воздухе. Мальчики-певчие толкались, шумели и шалили в церковной ограде и на паперти. Беленький, маленький Душицын свежим и нежным голосом говорил ругательные слова, сохраняя на лице невинное и кроткое выражение. Пришел и регент, учитель Галой, коротенький, чахленький, с неподвижным румянцем кирпичного цвета на щеках и с длинною жиденькою бородкою, которая казалась приклеенною. Появился он внезапно, словно вырос на улице и вынырнул из ворот в ограде. Мальчики побежали к паперти, кланяясь учителю, кто с преувеличенною почтительностью, кто с небрежным и недовольным видом. Митя снял шапку неловко, точно сомневался, надо ли это делать, помазал ею себя по щеке, посмотрел на учителя, щурясь, как от солнца, опять надел шапку и слегка сдвинул ее на затылок. Галой остановился на паперти. Митя подошел к нему.

— Чего тебе? — покашливая, спросил учитель дребезжащим и тонким голосом.

— Позвольте домой, Димитрий Дементьевич, — тихонько и робко попросился Митя.

— Здравствуйте! — воскликнул Галой, тараща на Митю маленькие глазки. — Все уйдут, а я с кем останусь?

— Голова болит, Димитрий Дементьевич, — жалобно объяснял Митя, морщась и хмурясь.

Его бледное лицо и посинелые губы доказывали учителю, что он не обманывает.

— Отчего же у тебя голова болит? — спросил Галой, неодобрительно потряхивая бородкою.

— Не знаю, — робко ответил Митя.

— Да я тебя о чем спрашиваю? — пискливо крикнул Галой.

Митя в недоумении молчал.

— Ты, милостивый государь, болван, и все. Я тебя о чем спрашиваю?

— Отчего болит голова, — повторил Митя.

— Ну да, а вовсе не о том, знаешь ты это или не знаешь. Отчего болит голова? Говори, и все.

Митя не знал, что сказать, и смущенно улыбался.

— Дрова носом рубил, — сказал краснощекий Карганов, хмурясь, чтобы не засмеяться.

Школьники, столпившиеся вокруг, захохотали. Михеев, большеголовый, большеглазый малыш, подсказал шепотом:

— От неизвестной причины.

— Ну? — настаивал Галой, — говори.

— От неизвестной причины, — сказал Митя.

— Ну вот. Отправляйся, и все.

Митя поклонился и вышел из ограды. Но он не пошел домой. Постоянное послушание стало ему, как пресная вода, и он, в первый еще раз, решился прогулять. Когда его отпустили, ему стало радостно и легко. Но грустные предчувствия и неотступная боль в голове скоро стали затмевать его радость.

Митя пошел к заставе, подальше от шумных, закованных в камни улиц. Холодный ветер набегал порывами. Безоблачное небо висело ясное и печальное, словно утомленное. Деревья стояли пыльные и скучные. По ветру поднималась пыль. Она мешала идти и видеть...

На кладбище, в дальнем участке, где места дешевые, Митя отыскал отцову могилу, — и долго сидел на ней, прижавшись к белому кресту, думая о Раечке и о себе. Бесконечные тянулись могилы, и сосны, и кресты, — и тишина стояла невозмутимая. Только изредка ворона закаркает, пролетая, да ветер набежит и зашелестит листьями.

Раечка вспоминалась Мите отчетливо и подробно. Мите хотелось представить ее как можно яснее, и он закрыл глаза... Светлые Раечкины кудри, — виделось ему, — падают до плеч. На Раечке блекло-желтое платьице, запыленные башмачки. Она стоит бледная. На щеке алая струйка. Раечке не больно, — она же сразу умерла и теперь воскресла. Но зачем она неподвижная?

Митя напрягал воображение, — ему хотелось, чтоб Раечка хоть глазки открыла. Какие у нее глазки?

И вот ему привиделось, что она открыла глаза, — синие, покойные, как ясное небо, — и в Митиной душе стало ясно и торжественно. Ему казалось, что Раечка тихо идет, едва переступая по камням, — и желтая юбочка ее чуть-чуть колеблется.

Митя открыл глаза, — и милое видение исчезло, и опять глазам предстало земное и смертное. Митя побрел тихонько с кладбища, грустно понурясь, печально думая о Раечке. Он вышел через другие ворота, к полю. За кладбищенскою оградою, на пустынной и пыльной дороге, он запел:

— Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися...

Высокий альт его звенел. Деревья слушали, трава шелестела под ногами. Непонятное обетование какой-то дивной радости сияло в ясном дне и в солнце...

## VI

В училище Мите скучно. Уроки неинтересные, и все надо бояться, как бы не спросили чего-нибудь трудного и не поставили единицы. На переменах ему не весело.

Ученики из разных классов собрались, как всегда на перемене, в зале, и принялись шалить и возиться. Иные уселись на лавках вдоль стен и там толкались и жали друг друга. Зал был небольшой и несветлый: он помещался внизу, и свет затеняли деревья в саду да близкая стена соседнего высокого дома, кирпичная, голая, без окон и без жизни. В углу в зале темнел тяжелый киот, и за ним сгущалась тьма.

Школьники казались скученными, как стадо. Они возились, роняли один другого на пол, бегали, играючи в пятнашки, наталкивались друг на друга. Иные поглощали завтраки, — принесенный из дому хлеб, купленную у сторожа булку. От пыли воздух мглился и саднило в груди. Над неподвижно-ровным криком и шумом иногда подымался вдруг чей-нибудь визг.

Митя сидел на скамье. Между мальчиками, где их кучка сбилась поплотней, где вздымались пыль и мгла и мелькали руки и лица, померещилась ему Раечка. На солнце тускло блеснули ее светлые волосы, радостные радужные линии пробежали вокруг нее, чистый голосок ее прозвенел, — пылью рассыпалась она и скрылась.

Кого-то повалили, разбили стекло в окне, закричали — «ура!» — и подняли неистовый вой. Завыл и Митя, протяжно, тихо.

В учительскую донеслись крики и вой. Дежурный учитель, Ардальон Сергеевич Коробицын, бледный, бритый, длинный и тонкий, лениво отправился в зал. При его появлении шум немного затих. От разбитого стекла разбежались. Но нашлись добровольные доносчики. Виновные были найдены.

Чумакин, мальчик с вечно озабоченным выражением на веснушчатом лице, подбежал к Мите и зашептал:

— Давай дразнить Ардальошку!

— А как? — спросил Митя, радуясь развлечению.

— Зашипим!

Едва Коробицын вышел из залы в коридор, где уже толпились школьники, как в зале зашипел сперва Чумакин, а за ним и другие. Коробицын вернулся и остановился в дверях. Чумакин, в стороне от его взора, продолжал шипеть.

— Шипи, не увидит! — шепнул он Мите, сам прячась за него.

Митя зашипел. Коробицын не знал, уйти ли, унимать ли шалунов. Ему было все равно. Но он вошел в залу, на самую середину, стал присматриваться, прислушиваться и почувствовал, что трудно открыть шалунов: они мирно разговаривали, когда он на них смотрел, и начинали шипеть, едва он отведет глаза в другую сторону, к толпе других сорванцов. Коробицын внезапно рассердился и покраснел.

А Митя между тем выдвинулся на средину, улыбался и тихонько шипел, не думая о том, что делает, — и Коробицын почти натолкнулся на него.

— Давай дневник! — сердито крикнул Мите Коробицын.

Тягостное недоумение охватило Митю.

— Да я ничего не делал! — оправдывался он.

— Давай дневник, — упрямо повторил Коробицын, стискивая зубы.

— Да за что же, спросите других, я не шипел, — с внезапною досадою говорил Митя.

— Дневник! — яростно крикнул Коробицын.

Его высокий голос с некрасивою резкостью пронесся под низким потолком. Митя медленно прошел в класс за дневником и заворчал:

— Ни за что, зря записывают.

Коробицын услышал и задрожал от злости.

— Ах ты, осел ты этакий! — закричал он вслед Мите, — хорошо же. Неси свой дневник в учительскую.

И он отправился в учительскую, уже не глядя на мальчишек, которые продолжали шипеть за его спиною. Ему опять стало все равно.

## VII

Митя сказал матери, что ему надо на спевку. Таким образом, время от четырех до восьми часов стало у него свободно. Он ушел. Но было не весело. Звонили к вечерне, — и звон наводил тоску. Небо, полиняло-голубого цвета, словно ветхое, висело над кровлями низко; тускло-серые тучи медленно двигались по его блеклой синеве.

У Мити томительно-тупо болела голова. Раечка вспоминалась так ясно, — и Митя думал, что она не такая, как все. Волосы ее рассыпались по спине ниже плеч. Все проходило сзади ее призрачного тела, и она оставалась, не заслоняя мира, не смешиваясь с ним, совсем особая. Иногда Мите казалось, что она подходит близко, чуть не касаясь головою его груди.

Он долго и быстро ходил по улицам громадного и сурового города, погруженный в мимовольные мечтания, — и не чувствовал усталости.

Пыльные вихри, дымовые столбы и облака слагались для него в Раечкин образ. Но рассыпалась пыль, развеивался дым, убегали облака, — безобразная обычность снова представала и томила Митю.

Прозрачный и легчайший Раечкин образ опять придвигался к нему, и Мите опять казалось, что Раечка проходила, в белом платье и в белых башмаках, опоясанная белою лентою, украшенная белыми цветами на груди. Она проходила, ясная, и не звала Митю, но как будто жалела, — и Митя шел за нею...

Митя забрел на одну из дальних улиц. Там он увидел издали учителя Коробицына, который шел быстрою походкой, длинный, тонкий, бледный и злой.

Митя испугался и бросился в ближайшие ворота. Под сводами, расписанными в клетку блеклыми узорами, было темно и гулко. Митя прижался к стене. Он хотел переждать, пока пройдет Коробицын. Но что если учитель увидел его и сейчас завернет под ворота, схватит Митю и закричит на него?

Митя не мог устоять на месте и вошел во двор. Ему показалось, что Коробицын уже под воротами. Митя проворно перебежал двор и укрылся на лестнице в заднем флигеле.

Но едва только он остановился там, как во дворе, на камнях послышались шаги. Митя побежал вверх по лестнице. Шаги позади него раздавались по каменным ступеням тяжело и мерно, — и Митя подымался все выше. У него ноги подкашивались от усталости и страха.

Вот наконец чердак. Дверь не замкнута. Митя отворил ее и вошел в темный коридор. Шаги, преследовавшие его, остановились на последней площадке. Послышался стук, — отворилась и затворилась за вошедшим дверь. Мгновенная радость безопасности охватила Митю. Он понял, что то был не Коробицын, а какой-то здешний жилец. Митя выглянул из двери, увидел, что на лестнице никого нет, и уже хотел уходить. Вдруг близкие и тихие звуки привлекли его внимание. Кто-то читал вслух, здесь где-то, близко. Митя осмотрелся. Вот еще дверь, на самый чердак, полуоткрытая. Из нее серая световая полоса падала в коридор, и через нее же слышался голос, ясный, тихий и быстрый.

Митя постоял у двери, потянул ее к себе и вошел на чердак. Пришлось нагнуться, — близки стропила.

У окна на чердаке сидели двое, старуха и девочка, по виду лет пятнадцати. Старуха вязала чулок, девочка читала толстую книгу. Они сидели одна к другой лицом, старуха на сундучке, девочка на складном тонком стуле. Свет из окна падал между ними, на их колени. Спицы тихонько звякали и тускло сверкали в быстрых старухиных руках.

Митя перешагнул через высокую балку. Видно было, что здесь живут, — прибрано и подметено.

Бледная и некрасивая девочка подняла глаза от книги и смотрела на Митю спокойно и кротко. Митя рассматривал ее и дивился. Она была вся так тонка и бледна, что в полумгле, за светом, падавшим на книгу, казалась почти бестелесною. Тонкие косточки спереди на шее выдавались под кожею: девочка была в сарафане и рубашке, открывавшей руки и плечи. Сарафан — ситцевый, бледно-зеленый с крапинками, полинялый, уже короткий для девочки. Руки и ноги желтоватые, словно вылепленные из воска. Щеки у девочки худые, рот большой, глаза серые. Волосы светлые, гладкие, в косичке; косичка тонкая, до пояса. Девочка сидела спокойная, тихо дыша, — почти не дыша, — как неживая, — но милая. И сердце Митино влеклось к ней.

— Садись, мальчик, отдохни; ты, я вижу, притомился, — сказала она явственно-тихо и неторопливо и отложила книгу.

Митя сел на балку, близ девочки. Все ему было здесь странно, — и от того, что близка крыша, представлялось, что они все сидят необычайно высоко.

— Ты откуда такой взялся? — спросила старуха.

— Да я гулял, — рассказал Митя, — а наш учитель увидел, — я в городском учусь, — так я от него убежал, да сюда и попал, — а то бы он пристал отчитывать.

— Шалунишка, — молвила старуха.

Она продолжала вязать и сидела спокойная, словно дремала или уж устала очень. Лицо у нее было неподвижное, темное, морщинистое. Обе говорили тихо, — как будто издали доносились их голоса.

— Пусть отдохнет, что нам, — сказала девочка. — Меня Дуней звать, а тебя?

— Митя. А фамилия — Дармостук.

— Дармостук, — повторила девочка и не улыбнулась. — А мы Власовы.

— Ну? Власовы? — с радостным удивлением переспросил Митя. — У меня учитель был Власов, добрый такой, — только он помер. А вас как надо звать? — обратился он к старухе.

— Знакомец выискался, знакомится, — с легкою усмешкою сказала старуха.

Дуня ответила за нее:

— Катерина Васильевна.

— А вы что же здесь? — спрашивал Митя.

— Мы с мамочкой здесь живем, — объяснила Дуня, — потому что мамочка теперь без места. Наша знакомая, одна кухарка здешняя, пустила нас сюда, — только ее барыня не знает.

— А как же вы, когда белье вешали?

— А мы кочевали на другие чердаки, — отвечала девочка спокойно.

— А где же вы спите?

— Когда на кухне, если можно, а то чаще здесь. Если здесь, то надо рано ложиться: огня жечь нельзя, — пожар сделаешь.

— И лампадки не затеплишь, — сказала мать.

В углу висел образ, но без лампады. Странно было видеть, что он так низко.

— Что ж такое, — сказала Дуня, — ночью звезды светят. Каждая звезда, как лампадка хрустальная.

Она перевела спокойные, ясные глаза на окно и протянула к нему тонкую руку. Митя, повинуясь ее указанию, подошел к окну и увидел близкое, ясное небо. Митино сердце дрогнуло от радости.

— Как близко небо-то! — тихо сказал он и оглянулся на Дуню.

Девочка положила руки на колени и сидела тихо, как неживая. Митя опять приник к окну.

Пустынное близкое небо... Железная крыша, — и дальше крыши да трубы... И так тихо, как будто и нет никого около Мити и не дышит никто. Тихо!

Митя отвернулся от окна. Обе сидели смирно. Спицы звенели, как муха жужжит. Жутко стало Мите. И старуха, и девочка молча смотрели на него.

— Как у вас тут тихо! — сказал Митя.

Они молчали. У Мити кружилась голова. Он думал, что ночью здесь страшно. В углах лежала мгла. Крыша часто шелестела, как будто кто-то легкий пробегал по ней. С лестницы доносились порою глухие отзвуки от шагов, голосов, хлопанья дверьми.

— А вам не страшно? — спросил Митя.

— Кого, глупый мальчик? — ласково спросила Дуня.

Митя застенчиво улыбнулся и сказал:

— Домового.

— Домовой не тронет, — с легкою усмешкою отвечала Дуня. — Вот нам дворников приходится бояться, как бы не согнали, и хозяина домового. От них не отчураешься, коли захотят выгнать.

— В ночлежном-то по пятаку припасай с носа, гривенник за ночь, легко сказать! — заговорила старуха, и в ее голосе послышался испуг.

— Вот вы скоро место найдете, — сказал Митя, — тогда отсюда съедете.

— Дай-то Бог, дай-то Бог, — сказала старая, вздыхая.

Митя помолчал, думая, чем бы еще утешить Дуню и Дунину мать. «Не рассказать ли им про Раечку?» — подумал он.

## VIII

— Вот какое дело я на днях видел, — подумав немного, сказал Митя.

И он рассказал о Раечке. Дуня дрожала и смотрела на Митю испуганными глазами. Когда Митя кончил, она с тихим ужасом в глазах и в голосе промолвила:

— Бедная женщина, вот ей горе-то!

— Это вы про мать? — с удивлением спросил Митя.

Дуня молча наклонила голову.

— Ведь она сама недоглядела, она и виновата, — возразил Митя. — А вот девочка-то бедная, — как страшно!

Он вздрогнул. Тупая боль в затылке мучила его.

— Что девочка, — сказала Дуня, — Бог прибрал, от греха спас, умерла смеючись да играючи. А матери где ж было углядеть, — человек рабочий!..

— Горбом-то немного достанешь, — подхватила старуха, — тоже нянек не нанимаешься. Наших ребят Бог бережет. А взял, — Его святая воля. Что наша жизнь? Не живем, только маемся.

Митя закрыл глаза, — Раечка вспомнилась, — она прошла, улыбаясь, протягивая к Мите белые руки. На ее лице сияло счастье. Она была бледная и в крови, — но ей не больно было; радостно пахли ладаном ее светлые кудри.

— Как во сне живем, — медленно говорила Дуня, глядя на близкое и бледное небо, — и ничего не знаем, что к чему. И о себе ничего не знаем, и есть ли мы или нет. Ангелы сны видят страшные, — вот и вся жизнь наша.

Митя глядел на Дуню, улыбаясь — и радостно, и покорно. Он чувствовал теперь, что не больно умирать: только покоряйся тому, что будет.

— А мне она померещилась сегодня, — тихо сказал он.

Дуня вздохнула, и Митя радостно подумал: «Это — Раечка дышит», — но сейчас же спохватился и понял, что это — Дуня.

— Ты молись, — посоветовала она.

— За Раечку? — спросил Митя.

— За себя, Раечке и так хорошо, — сказала Дуня, и лицо ее озарилось печальною и светлою улыбкою.

Митя помолчал и потом начал рассказывать про учителей, как он их боится и как они кричат.

— И откуда они, учителя, иной раз берутся! Идешь себе по улице, ничего не думаешь, а вдруг он, да как крикнет!

Митя развел руками с видом недоумения и как-то глупо рассмеялся. Он начал говорить, как и они, так же тихо, но они слышали, — привыкли к тихому.

— Я тоже училась, в прогимназии, — сказала Дуня. — Теперь не хожу. Вот, Бог даст, еще шесть месяцев туда похожу, сдам экзамен на сельскую учительницу. Получу место, — поедем с мамочкой в деревню.

— Все несправки наши; обносились совсем, — угрюмо сказала мать. — Скареды наши хоть бы юбчонкой помогли.

— Без них обойдемся, мамочка, — спокойно возразила Дуня. — Это мамочка про нашу родственницу одну, — объяснила она Мите. — У нее муж на хорошем месте. Только им самим много надо, — у них дети.

— Я им помогала, — с раздражением говорила мать. — Как они нуждались, нашего с Дунечкой не мало им пошло. Себя обрывала, потому что я к чужому горю очень восприимчива. Вдруг она теперь все забыла. Вот это меня и возмущает. Помилуй скажи! Заработка такая хорошая, и сейчас человек о себе зазнается.

— А вы у них бываете? — спросил Митя.

— Пошли с Дунькой на днях, — ответила старуха, досадливо усмехаясь своим воспоминаниям. — Приняли, хаять нечего, по-хорошему, — рассказывала она, — и сейчас это закуска. Чего-чего не наставили на стол! А пошли домой, хоть бы тебе, скажи, рваную тряпчонку дали!

— Мамочка! — с тихим укором сказала Дуня.

— Зная свою родную сестру в такой нищете, в бедности, — продолжала, не слушая, мать, — и они не могут какой-нибудь пятеркой, десяткой, чтоб перевернуться! Закусок рублей на десять, а мы с голоду помираем.

— Мамочка! — опять сказала Дуня погромче и решительнее.

Но старуха быстро бормотала свои жалобы и все вязала, наклоняясь к спицам, словно дремля.

— Буквально все позаложили, попродали! Положение! — говорила она. — Прямо не везет в жизни людям. Зовут: приходи, говорят, мы вам с Дуняшей завсегда очень рады, потому как мы вас любим и очень обожаем, — это они-то нам говорят. Помилуй скажи! Если ты меня так любишь, так докажи, сделай твое одолжение. Нет, это не есть любовь, это — лесть одна.

Смутные воспоминания пронеслись в Митином сознании, — он подумал: «Не жаловался ли кто-то когда-то раньше этими же словами?»

Дуня сидела прямая, неподвижная, положа руки на колени, полузакрыв глаза, — казалось, что она дремлет. В последних солнечных лучах спокойное лицо ее напоминало Мите покой на лице у Раечки.

— А если вы не найдете места? — спросил Митя.

— Как не найти! Не дай Бог! — с тревогою в голосе ответила старуха.

— Бог устроит, — спокойно сказала Дуня, — а захочет, приберет. Это мы думаем, деться некуда, — а дверь-то рядом.

Тонкою и бледною рукою она показала на вечереющее небо. Митя поглядел по направлению ее руки, в окно. Старуха продолжала бормотать свои жалобы. Дуня смотрела на нее светло и строго. Она сказала:

— Мамочка, не ропщи! Бог с ними, нам ихнего не надо.

— А ты мать не учи, — сердито сказала старуха, возвышая голос. — Косы я тебе давно не чесала.

— Так ты, мамочка, на мне и облегчи сердце, а их не брани, — спокойно ответила Дуня.

Мать сразу успокоилась и сказала ворчливо, но уже мирно:

— Кого чем Бог накажет. У богатых характерные дети, бьются с ними родители, а моя-то голубка кроткая, и сорвать сердца не на ком.

Дуня улыбнулась, и вдруг от этой улыбки вся засияла и зарадовалась. Митя думал: «Так только Раечке улыбаться!»

И радостно стало ему.

— Хочешь, Митя, я тебе свои картинки покажу? — спросила Дуня.

— Покажи, — сказал Митя.

Дуня встала, — она была немного выше Мити, — пошла, сгибаясь под крышею, в угол, порылась там в сундуке и через минуту вернулась с папкою, завязанною по краям тесемочкою. Папка уже была истертая, с обломанными краями, и тесемочки отрепанные, — но по тому, как Дуня держала папку в руках и как на нее смотрела, Митя

догадался, что здесь ее самые дорогие и любимые вещи. Дуня села на балку рядом с Митею, положила папку на колени, неторопливо развязала тесемку, улыбаясь радостно и светло, и раскрыла папку. Там лежали пожелтелые от времени, иные порванные, рисунки из старых иллюстраций. Дуня осторожно перебирала их тонкими и бледными пальцами. Она выбрала один, самый желтый и растрепанный снимок с какой-то старой картины и передала его Мите.

— Это — хорошие картинки! — с убеждением сказала она. — Они у меня вместо кукол. Я их люблю.

Митя взглянул на девочку. Она застенчиво потупилась, и щеки ее слабо зарумянились. Митя опустил глаза на рисунок. Рисунок туманился и расплывался. Жалость томила Митино сердце. Что-то горькое и щекочущее подступало к горлу. Митя выпустил рисунок из рук, закрыл лицо ладонями и заплакал, сам не зная о чем.

— Что ты, милый? — спросила Дуня, наклоняясь к нему.

— Раечка, — шептал Митя и плакал, плакал.

Дуня положила руку на Митины плечи, — Митя прильнул к ней, обнял ее и, горько плача, чувствовал на своих щеках Дунины тихие слезы.

— Митя, утешься, — тихо сказала Дуня, — хочешь, я тебе песенку спою?

— Спой, — сквозь слезы сказал Митя.

И Дуня утешала его тихими песенками...

## IX

Он ушел от Власовых, когда уже свечерело. Наверху еще были светлые сумерки, тишина и ясные речи, — а внизу быстро темнело, зажигались фонари.

Все было призрачно и мимолетно.

Молча горели газовые рожки в фонарях; с грохотом проносились экипажи по жесткой мостовой; окна в магазинах светились огнями; шли, стуча сапогами по каменным плитам, случайные, ненужные и безобразные люди и не останавливались, — и Митя торопился. Звон-

ки конок и крики извозчиков иногда пробуждали его из мира зыбких иллюзий, который вновь создавали ему молчаливые предметы при неверном, переходящем освещении.

Люди были не похожи на людей: шли русалки с манящими глазами, странно-белыми лицами и тихо журчащим смехом, — шли какие-то, в черном, злые и нечистые, словно извергнутые адом, — домовые подстерегали у ворот, — и еще какие-то предметы, длинные, стоячие, были как оборотни.

Мите хотелось иногда представить себе Дуню, но ее образ в его памяти смешивался с Раечкиным, хотя Митя и знал, что у Дуни совсем другое лицо. И вдруг он подумал: «Да уж не померещилась ли Дуня? Нет, — сейчас же подумал он, — она — живая: ведь у нее тоже есть мать. Но какое лицо у старой?»

Мите припоминались отдельные черты, — морщины, седеющие волосы под платком, худые щеки, большой рот, морщинистые, быстрые руки, — но общего образа не складывалось.

Когда Митя уже подымался по своей лестнице домой, в сумраке он увидел Раечку. Быстро прошла она по площадке и тихонько улыбнулась ему. Она была вся прозрачная, и все при ней оставалось по-прежнему. Исчезла она, и Митя не мог понять, — видел ли ее, или только подумал о ней.

## X

На следующий день Митя вышел из дому на полчаса раньше обыкновенного. Свежее утро веселило его. Солнце сияло неяркое, и еле заметная мглистая дымка лежала на узких городских далях. Озабоченные люди быстро проходили, и уже ранние школьники начали показываться на улицах. Митя, едва завернув за первый угол, отправился не к своему училищу, а в другую сторону. Он торопился, чтобы не встретиться с кем-нибудь из товарищей или учителей.

Вчера он не замечал дороги, — она механически запомнилась. Скоро Митя попал на те улицы, по которым вчера возвращался. Он чувствовал, что идет, куда надо, и думал о Дуне и о Дуниной матери.

«Бедные они! — думал он, — должно быть, они уже давно без места и долго живут на чердаке впроголодь. Оттого они стали такие бледные, Дуня пожелтела, старуха все нагибается над чулком и словно дремлет, и обе так тихо говорят, как будто бредят и начинают засыпать».

Утренние улицы, и дома, и камни, и мглистые дали, — все дремало. Казалось, что все эти предметы хотят стряхнуть с себя дремоту и не могут, и что-то их клонит книзу. Только дым да облака, дремля и пробуждаясь, подымались высоко.

Среди колесного треска и смутного людского говора иногда слышался вдруг Раечкин голос, — прозвучит и смолкнет. Раечкино дыхание иногда проносилось близко к Мите, как легкий утрений ветер. Сама Раечка припоминалась, прекрасная и светлая. Туманный и легкий Раечкин образ носился в неярких солнечных лучах, в лиловом утреннем озарении...

Митя вбежал на чердак, так поспешно, что ударился головою о стропила. Боль заставила его побледнеть. Но он улыбнулся и подошел к Власовым.

Дуня у окна заплетала русые волосы в крутую косичку. Как и вчера, Дуня и мать сидели одна против другой. Мать вязала, и спицы жужжали в ее быстрых руках. Она посмотрела на Митю внимательно и сказала:

— Заявился, друг вчерашний, ни свет ни заря.

— Тут надо осторожнее, Митя, — сказала Дуня. — В школу идешь? Присядь, отдохни, коли есть время.

— Хоромы у нас, — бормотала старуха, — с непривычки-то и мы головами стукались.

Солнечные лучи сбоку падали в окно. Пыльный столб светился на солнце. На пылинках мелькали радужные блестки. В углах было сумрачно. Митя сидел на балке и смотрел на прекрасные, тонкие Дунины руки. Ее лицо казалось утомленным, и серые глаза глядели как бы нехотя. Она говорила тихо и неторопливо, — Митя слушал, радуясь ее голосу и забывая ее слова. Вдруг старуха сказала:

— Что, друг сердечный, таракан запечный, не пора ли в школу?

Митя покраснел и пробормотал:

— Я лучше у вас посижу, не хочется в училище.

— Мало чего не хочется, да коли надо, — спокойно возразила старуха.

— И то, Митя, беги скорее, — сказала Дуня, — еще опоздаешь: солнце, смотри-ка, как высоко.

Митя не подумал раньше о том, что его здесь не оставят. Он смущенно попрощался и вышел. В темном коридоре он пошарил на полу, отыскал скважину между досками и сунул туда книги.

На улице он почувствовал, что все ему не нужно, предстоящее перед ним, в этом громадном и суровом городе, — длинные улицы с большими домами, и люди, и камни, и воздух, и шум от уличного движения. Скучно, и надо так ходить, чтобы не встретить учителей или товарищей...

«Не хочет Дуня, чтобы я прогуливал уроки! — дивясь, думал Митя. — Странная! Вот Раечке все равно, какой Митя: лжет ли он людям, или нет. И если есть тоска, то не Раечкина, а по Раечке».

Легкий дождь пронесся над городом, как плач по Раечке. Но уже через полчаса от него и следа не осталось...

Митя забрел на городскую окраину. Базарная площадь, — большой пустырь. Булыжники громадны. Посредине, по длинному поперечнику площади, торчат черные фонарные столбы. По краям площади — амбары из бурого кирпича, заборы, каменные и деревянные домишки. На углу — небольшой двухэтажный дом с широкими простенками и маленькими окошками. Он вымазан желтою краскою. Крыша красная, железная. На площадь — крыльцо без верха, с тремя известняковыми ступеньками. Над крыльцом вывеска, черным по белому: 2-й городской ночлежный дом.

Митя стоял на площади и внимательно рассматривал эту безобразную постройку.

«Вот в этом доме и Раечке, может быть, придется ночевать с матерью по пятаку за ночь», — думал он, как-то странно смешивая Раечку с Дунею. И тяжелые мечтания томили его.

И кто там спит, за этими грубыми простенками, на грязных и липких нарах, вповалку, по ночам, когда пахнет потом и грязью? Пьяные

оборванцы, вот как этот, что стоит в дверях у кабака, избитый, отрепанный, и мучительно соображает что-то, пяля бессмысленные глаза с воспаленными белками. И с такими-то быть Раечке!

Митя отвел глаза от пьяницы и опять глядел на грязно-желтую стену. Ему грезилось: за нею нары. Пусто. Одна Раечка лежит на голых досках, свернувшись калачиком, подложив под голову кулачки, и ее русые кудри на досках, и она кривит свой маленький рот капризною и жалующеюся гримаскою. Раечке жестко на нарах...

## XI

Митя сидел в ялике. Ему захотелось перебраться на ту сторону реки и назад вернуться по плашкоутному мосту. Широкая река Снов слегка покачивала краснобокий ялик, — дул легкий ветер, и воду рябило. Против солнца по Снову лежала широкая блестящая полоса; на нее больно было смотреть, — она вся сверкала, колыхалась и радовалась. С Митею ехало еще четверо: две молодые мещанки в пестрых платочках, толстые, румяные, крикливые и смешливые, — угрюмый пожилой мужчина, — и молодой человек в котелке, белобрысый, все заигрывавший с мещанками, но презлой, с косыми глазами и тонкими губами. Дюжий, чернобородый яличник в розовой рубашке греб молча и лениво. Сновали пароходы, которые возили пассажиров от города до приречных дачных мест и обратно. Изредка протащится черный буксирный пароход с неуклюжими барками. Когда лодка опускалась с гребня широкой и длинной волны, поднятой пароходом, Митино сердце замирало, и это жуткое ощущение было приятно.

Митя ждал. В торжественном сиянии солнца и во всем величавоясном дне чудилось ему какое-то нелживое обетование, — и он ждал, и душа его была готова к благоговейному восприятию чуда.

Кто-то легонько прикоснулся к его локтю. Какая радость!.. Но нет, это не Раечка, — молодая мещанка, смеясь, лущила семечки и бросала шелуху в воду.

Митя опять смотрел на яркую полосу по реке. Раечка подходила к ялику. «Разве она живая? — подумал Митя. — Да, — припомнил он, —

ведь она воскресла». Что из того, что ее схоронили, зарыли, забыли! Вот она подходит в торжественном сиянии, белая, строгая, — и ничего нет, кроме нее. На ней белое платье, как на невесте, белая фата, белые цветы с зелеными листьями. Волосы ее рассыпаются до пояса, ясен взор ее, вся она туманная и легкая.

— Раечка, — шепчет Митя и радостно улыбается.

Раечка смеется и говорит:

— Я уже не Раечка, я — большая. Меня зовут Рая, потому что я живу в раю.

Голос ее звенел, как будто ветер и вода колыхали серебряные струны, — но Митя не мог понять, слышал ли он слова, которые говорила Раечка, или она говорила что-то свое, а ему это слышалось. Она удалялась, кивая головою, улыбаясь, ясная, многоцветная, в лучах яркого солнца. Потом она загорелась, обратилась в золотой сверкающий шар, видом подобный солнцу, но превосходящий его радостною взорам красотою. Этот шар все уменьшался, — и вот от него осталась яркая точка, — вот и она погасла. Все стало мглистым и темным, и солнце потускнело.

## XII

Митя поднялся тихонько по лестнице, разыскал свои книжки и явился на чердак, словно из школы. Дуня и мать сидели по-вчерашнему, только теперь они обе вязали, и спицы жужжали в их проворных руках.

— Здравствуй, Рая, — сказал Митя.

Дуня посмотрела на него ясными, как у Раи, глазами и ответила:

— Я — Дуня.

Митя покраснел и сказал застенчиво:

— Я ошибся. Ты, Дуня, похожа на Раечку.

Дуня медленно покачала головою. Она встала, положила чулок на стул, подошла к окну и позвала тихонько:

— Митя!

Митя подошел к ней. Она положила руку на его плечо и сказала:

— Вот, одно только небо и видно. Хорошо!

Митя радостно чувствовал прикосновение тонкой Дуниной руки. Он подумал: Рая прежде была маленькая, но она же растет.

— Что хорошего! — ворчала старуха. — Мало, скажем, хорошего. Галдило-то приходил, кричал, кричал, оглушил.

Дуня вернулась к чулку.

— Старший дворник приходил, — спокойно объяснила она Мите.

— Ну? — спросил Митя с опасливым удивлением.

— Пришел, гаркнул, гаркнул: убирайтесь! — тихо говорила старуха. — Куда уберешься-то, скажите на милость! Куда идти, коли некуда, положительно некуда!

Она заплакала, и вся покраснела, и сморщилась, так же, как и Раечкина мать. Дуня спокойно смотрела на нее, прямая и бледная, и спицы жужжали в ее быстрых руках. Митя знал, что сердце ее томительно болит за мать. Но жалости не было в Мите, — и он одинаково равнодушно чувствовал и острую боль в висках, и Дунино безмолвное горе.

— Уж, Господи! Уж видят, что бедность заставляет, — говорила старуха, плача и дрожащими руками ударяя спицу о спицу.

Митя посидел немного молча и пошел домой.

## XIII

Митя опять решился прогулять уроки. Еще для прошлого раза купил он у Назарова лист из дневника. Осталось только подделать барынину подпись: «Не был в училище по болезни» (Аксинья была неграмотна, и в Митином дневнике подписывалась барыня). Назаров взялся отнести этот лист, и с Митиным дневником, к своему приятелю, искусному в подделывании почерков, а завтра вернуть его готовым и вложенным в дневник.

Митя так распределил день: утром погуляет, потом домой — обедать, а там скажет, что надо на спевку, и опять отправится к Дуне. С утра он пошел на кладбище.

В кладбищенской церкви — покойники, трупный запах. Митя стоит близ алтаря и молится, склоняя колена на каменные плиты. Дым от ладана клубится по церкви, синеет и подымается вверх. У алтаря

ходит Рая, полупрозрачная, легкая. Она радостно сияет. Одежда у нее белая, руки обнаженные, волосы падают ниже пояса широкими светлыми прядями. На шее у нее жемчуга, и легкий кокошник низан жемчугами. Вся она белая, как никто из живых, и прекрасная.

Она смотрит на Митю отрадно-темными и строгими глазами и к смерти клонит его. Не сама ли она смерть? Прекрасная смерть! И зачем тогда жизнь?

Раин голос звучит, чистый и ясный. Что сказала она, не слышал Митя. Он вслушивается, внутри себя, в след ее слов, — и над мукою головной боли тихо веют кроткие слова:

— Не бойся!

Радостно, что будет все темно, как в Раиных глазах, и успокоится все, — муки, томления, страх. Надо умереть, как Рая, и быть, как она.

Сладостно уничтожаться в молитве и созерцании алтаря, кадильного дыма и Раи и забывать себя, и камни, все страшные призраки из обманчивой жизни.

Рая близко.

— Отчего ты белая? — тихонько спрашивает Митя.

Тихо отвечает Рая:

— Только мы — белые. Вы все — красные.

— Почему же?

— У вас кровь.

Тихо звучит ясный Раин голос, как цепь у кадила перед алтарем, — Рая подымается в синем дыму, вся прозрачная и голубая, к церковным сводам. Мглою одевается все и синеет в Митиных глазах. За стенами тоска и страх, темные нежити стерегут, — и не уйти от них.

## XIV

На Дунином чердаке лампады не было, но пахло елеем и кипарисом. Молитва и мир осеняли душу.

Опять на тех же местах сидели Дуня и мать, и Дуня читала, — «Жерминаль», в конце. Она коротко рассказала Мите содержание.

Потом дочитала, от рассказа о несчастии в шахтах. Она отчетливо выговаривала, и с чувством, несколько преувеличивая его выражение.

Митя закрыл глаза. Ему чудилось, что в углу, перед иконою, теплится ясная лампада и от нее белый свет падает на Дуню... Кто-то слушает вместе с ними... Их много, — коленопреклоненные и светлые... Митя благоговейно молчал и наклонял голову.

Дуня кончила. Она опустила руки на колени и сидела неподвижно. Старуха плакала, всхлипывая и сморкаясь. Митя улыбался, а по щекам его текли слезы, чистые и крупные.

Дуня говорила:

— Вот какая она несчастная. Зачем бы ей жить? Хорошо, что умерла. Хорошо, что есть смерть.

И вдруг Дуня заплакала. Она сидела прямо и неподвижно, бледные руки лежали на коленях, лицо не искажалось и было спокойно и светло, а слезы ручьями текли из потемневших глаз по худощавым щекам и падали на обнаженные руки.

— Что же ты плачешь? — спросил Митя, и грустным недоумением томилось его сердце.

— Она была прекрасная, — тихо, едва двигая губами, словно в бреду, говорила Дуня, — и душа у нее, как у ангела. Ее запихали в нору, так она там и погибла, ровно крыса в мышеловке. Какие люди! Пожалеешь о том, что родился на этой земле!

— Что же есть хорошего на земле? — спросил Митя.

Дуня помолчала, и слезы ее иссякли, — потом она поднялась с места и сказала:

— Помолимся, Митя, вместе.

В углу, перед образом, они стали рядом на колени, на пыльный и сорный пол. Дуня читала вслух молитвы, Митя шепотом повторял иные слова, не связывая с ними никакого смысла, и тупо улыбался. Его худое лицо с длинным носом казалось насмешливым. Дуня умиленно плакала, и Митя, сквозь муки своей головной боли, не мог понять, о чем эти слезы, и дивился.

Ему чудилось, что там, на стуле у окна, позади молящихся детей, сидела Рая и белые руки ее двигались неспешно и мотали длинные и тон-

кие нити. Два прозрачные облачка трепетали над ее плечами. Она спрашивала старуху:

— О чем же ты плачешь?

— Подохнешь с голоду, — да хоть бы я одна, — Дуньку жалко, — отвечала старая, плача.

Рая светло улыбалась и неспешно мотала длинные нити.

## XV

Митя сидел в классе. Был урок истории, и учитель Конопатин спрашивал заданное.

Конопатин был толстый, короткий, быстрый да бранчивый, с пробритым подбородком и длинными седыми баками. У него было как бы два лица: сладко-хитрое для сослуживцев и суровое для учеников. Митя боялся его больше прочих учителей, особенно с тех пор, как он сделался инспектором училища.

Теперь Мите было и страшно, — как бы не спросили, — и скучно, что надо сидеть, молчать и слушать неинтересное. Это утомляло, усыпляло, и уже как будто бы совсем не оставалось своей воли. Мечты роились, — и ничем их было не отогнать.

Что-то бойко рассказывает маленький, рыженький Захаров. Громко сыплет слова, нижнюю губу выставляет вперед, как загородочку, чтобы слова через нее прыгали, а правую руку за пояс засунул. Смешной...

Полупрозрачная, легкая, видится Рая. Томный взор ее спокоен. Митя улыбнулся ей, — и лицо у него становится неожиданно-радостным...

Потом смуглый, длинный Водокрасов вышел говорить, — и плохо знает, а хочеть припомнить. Ему подсказывают и стараются, чтобы учитель не заметил этого.

Митя улыбается Рае и шепчет:

— Отчего ты далекая? Приди поближе.

Конопатин услышал подсказывание и увидел, что Митины губы шевелятся. Он подумал, что подсказывает Митя.

— Дармостук, ты подсказывать! — закричал он гневно, — давай дневник.

Митя вздрогнул, схватил свой дневник и понес его учителю. Но уже когда дневник был в учителевых руках, Митя вспомнил, что оставил там вместе с подделанным листом и лист своего дневника за ту же неделю. Митя испугался и схватился было опять за дневник,— но уже было поздно. По испуганному Митиному движению и по его виноватому лицу Конопатин понял, что дело неладно, и принялся рассматривать дневник. Два листа на одну неделю, и один из них не вшитый, — и ослабленные нитки, — и разрывы в каждом листе для удобства при вкладывании — все сразу бросилось в глаза.

— Те-те-те! — протяжно заговорил Конопатин, — духи малиновые! Это что такое? Ах ты, животное! Дневник подделывать!

И поток бранных слов обрушился на Митю.

## XVI

О Митином проступке послали матери письмо. Оно пришло на другое утро, еще пока Митя был в школе.

Митя вернулся, — мать встретила его бранью и колотушками. Барыня, заслышав отчаянные Аксиньины крики, налетела коршуном в кухню.

— Да как ты смел? — кричала она, подступая к оторопелому Мите и тряся его за плечо. — Нет, говори, как ты смел прогуливать! Говори, говори сейчас!

Митя не знал, что сказать, и дрожал от страха.

— Неслуш негодный! — вопила Аксинья, — ты вовсе палец о палец не хочешь делать, а мать из-за тебя из жил тянется. Ты ведь видишь, ты очень хорошо видишь!

— Надо же стараться, ведь ты не маленький, — говорила и Дарья. — Ведь ты хуже всякого животного!

Так они стояли трое против одного, бранили и стыдили его. Лица у них были злые и казались Мите ужасными и отвратительными.

— Выгонят тебя, мерзавца! — голосила мать, — что я с тобою делать буду, с негодяем этаким? Куда ты денешься, образина твоя носастая?

«Умру, как Рая», — подумал Митя. Он молчал и плакал, пожима-

ясь плечами, как от холода. Из дверей выглядывали, толкаясь, Отя и Лидия, пересмеивались, делали Мите гримасы, — он не замечал их. Отя дразнил его громким шепотом:

— Гуляка-фонарщик! Гуль-гуль-гуль! Гулька! Гульфик! Гуливер! Проходимец!

Урутина услышала и самодовольно усмехнулась: она гордилась Отиным остроумием.

— Я сама пойду завтра в училище, — торжественно объявила она и важно ушла из кухни.

Барынины эти слова произвели большое впечатление. Аксинья, подавленная барыниным великодушием и сыновним негодяйством, тяжко вздыхала. Дарья говорила с негодованием и укоризною:

— Сама барыня! Из-за этакаго, с позволения сказать, ошмётья!

Митя сидел перед учебниками и горько плакал.

«Не сон ли это, — думал он, — и школа, и барыня, и вся эта грубая жизнь?»

Он вспомнил, что надо сделать, чтобы проснуться, и с отчаянием ожесточенно принялся щипать себе ноги. Резкое ощущение боли не разбудило его. Он понял, что все это, ужасное, надо пережить. Голова так сильно болела весь день, — хоть бы на миг полегче!

Рая утешила. Уже когда свечерело, но еще не зажигали огня, в неверном и таинственном озарении от последних лучей, она пришла, поступью легкою и воздушною, незримая ни для кого, кроме одного только Мити. Полупрозрачная, мерцая, она едва застеняла предметы, как застеняют их легкие слезы, сквозь которые трепещет и колеблется мир. Как юная царевна, в одежде белой и торжественной, низанной жемчугами, и в жемчужном кокошнике, с жемчужными подвесками, которые качались под ее ушами и шелестели на плечах о жемчуг на ожерелье, — она стояла перед Митею и глубоким и строгим взором утешала его. Тусклым блеском светились жемчуги и, бледно-желтые, розовели, как белые тучи в небесной высоте при последнем догорании заката.

«Жемчуг — слезы», — робко думал Митя.

— Слезы мои сладкие, — беззвучно ответила Рая.

— Дай мне, Рая, поцеловать твою белую руку, — шепнул Митя.

— Теперь нельзя, мы разные, — нежным голосом сказала Рая, качая головою.

Закачались, зашелестели жемчужные подвески, закачались жемчужные вязи под кокошником, и Рая отошла. Митя увидел, что она не такая, как он. Она — светлая и сильная, он — темный и слабый; он словно заключен в труп, она — вся живая, и вся переливается огнями и светами, и красота ее несказанная смиряет несмолкаемую боль в его бедной голове.

— Останься со мною, не уходи, Рая! — шептал Митя.

— Не бойся, — нежно отвечала Рая, — я буду с тобою, я приду, когда настанет время. И тогда иди за мною.

— Страшно!

— Не бойся, — утешала Рая. — Подумай, — ничего этого не будет. Как легко! И новое небо откроется.

— А Дуня? А мама? — робко спрашивал Митя.

Рая радостно смеялась и озарялась, и жемчуга ее тускло блестели и шелестели. Глубокий взор ее говорил Мите, что надо верить, и не бояться, и ждать, что будет, и послушно идти за нею по этой длинной лестнице.

Лестница белая и широкая. Ступени покрыты багряным ковром, на площадках зеркала и пальмы. Рая идет все выше и не оглядывается. Белые башмаки ее неторопливо касаются красных ступеней. Вот окно, и за ним светлая дорога, огни, звезды. У Мити крылья, он летит, и тонет в воздухе, и погружается в сладостное забвение.

Вдруг раздался грубый материн голос.

— Дрыхни, сокровище! — кричит она, — дрыхни больше: нагулялся за день.

Толчки, пробуждение, испуг и тоска. Желтые стены, тусклый свет от лампы, ситцевая занавеска, сундуки, самовар. Митино сердце отяжелело.

## XVII

Печально-ясный длился день. Митя вернулся из училища. Мать молчала и угрюмо возилась у печки. Дарья с таинственным и злым видом ушла зачем-то. Скоро она вернулась. За нею в кухню вдвинул-

ся угрюмый дворник Дементий, рыжий, с неподвижными глазами и широкими сросшимися бровями. Он стал у входной двери, точно прирос. Барыня прошла к нему из коридора мимо Митиной каморки, не взглянув на Митю. Дементий поклонился.

— Здравствуй, голубчик Дементий, — сказала барыня томным голосом. — А где Димитрий? — спросила она, обращаясь к Аксинье и Дарье, которые стояли рядом, словно ожидая чего-то. — Позовите Димитрия! — приказала барыня.

Митя сам вышел из-за перегородки. Все посмотрели на него враждебно, и от этого ему стало страшно.

— Вот, голубчик Дементий, — сказала барыня, показывая на Митю, — возьми ты этого негодяя...

— Слушаю, — с готовностью сказал Дементий и двинулся к Мите.

— Отведи ты его в дворницкую, — продолжала барыня.

— Слушаю, сударыня, — повторила Дементий.

— И накажи его там розгами, да хорошенько. Здесь, при мне, я не могу слышать, у меня нервы, ты сам понимаешь, я — барыня.

Барыня обнаружила признаки волнения и раздражения.

— Слушаю, сударыня, не извольте беспокоиться, — почтительно говорил Дементий.

— Я тебе дам на чай, — сказала барыня и вздохнула.

— Покорнейше благодарю! — радостно воскликнул Дементий, — не извольте беспокоиться, то есть в лучшем виде.

Он взял Митю за локоть. Митя стоял бледный, дрожал и не ясно понимал, что делается. Ужас вдруг охватил его, — словно готовилось что-то невозможное.

— Ну, пойдем, молодчик, — сказал Дементий.

Митя бросился к барыне.

— Барыня, голубушка, миленькая, ради Христа, не надо, — лепетал он, сгибаясь и подымая к барыне полные слезами глаза.

— Иди, иди! — отмахиваясь от него, сказала барыня, — я не могу, у меня нервы. Я барыня, о тебе забочусь, а ты что? Нельзя, иди!

Аксинья стояла, пригорюнившись, вздыхала часто и шумно, и в ее глазах было такое выражение, как у человека, навеки лишенного сча-

стья и надежды. Дарья искоса посматривала на Митю и слегка улыбалась, лукаво и радостно. Митя порывисто стал на колени, кланялся барыне в ноги, целовал ее башмаки, от которых, как и от всей барыни, пахло нежно и сладко, и повторял отчаянные, несвязные слова.

— Возьмите его, я не могу! — воскликнула барыня, не уходя, однако, из кухни и не отымая своих ног.

Она не помнила, чтобы ей так поклонялись; хоть это был только жалкий мальчишка, а все же ей было приятно.

Аксинья и Дементий с ожесточением бросились оттаскивать Митю от барыни. Митя, рыдая и умоляя барыню, упирался и хватался за подоконники, за двери, но Дементий быстро вытолкнул его на лестницу.

Митя почувствовал, что стыдно плакать и сопротивляться: увидят, услышат чужие. Он сказал Дементию:

— Ты хоть не говори, Дементий, никому.

— Ладно, чего мне говорить, — с усмешкою отвечал Дементий. — Ты только не барахтайся, — сам знаешь, надо, — так у меня чтоб без скандала, благородным манером.

Митя старался удержать слезы и принять равнодушный вид. Дементий придерживал его за локоть.

— Голубчик Дементий, — шептал Митя, — иди отдельно, хоть сзади, я сам приду.

— Убежишь? — спросил Дементий.

— Куда бежать-то? В воду, что ли? — с досадою сказал Митя.

Дементий участливо посмотрел на него и покачал головою.

— Эх ты, малый, — сказал он, — раньше надо было думать.

Он немного отстал, однако не спускал с Мити глаз. Когда Митя шел по двору, Аксинья и Дарья смотрели на него из кухни в окно. Митя поднял глаза и встретил их неподвижные, враждебные взоры. Он пошел поскорее. «Хорошо, что близко», — смутно думал он; от угловой лестницы надо было пройти несколько шагов вдоль переднего флигеля по плитяной дорожке и под ворота...

Вход в дворницкую был из-под ворот. Перед узкою лестницею вниз, в дворницкую, на Митю напал внезапный ужас. Там, за этою дверью, — неужели он сам пойдет туда?

Он метнулся назад, но тотчас попался Дементию.

— Куда? — крикнул Дементий.

Его глаза чаровали Митю, — неподвижные, из-под рыжих, сросшихся, прямых бровей. Дементий захватил Митю в охапку, да так и снес, по нескольким ступенькам, в дворницкую.

Там охватил Митю кислый запах от овчины и от щей из громадной русской печки. Было тесно и грязно. Большая гармоника красовалась на видном месте. Молодой, недавно нанятый из деревни дворник Василий стоял у окна и снимал кафтан. Его красная рубаха, дюжие руки, румяные щеки, широкие скулы, глупые глаза, — все казалось Мите страшным, как у палача. Баба, Дементьева жена, уныло возилась у печки, держа на руках крохотного ребенка, смирного и желтого, как восковая кукла, с неподвижными, как у отца, синими глазами. Дементий поставил Митю на пол. Митя дышал тяжело и боязливо озирался. Подвал, с низким потолком, кирпичным полом, небольшими окнами, громадною печью и грубыми запахами, казался Мите норою, где живут домовые. Баба невесело поглядела на мужа.

— Барыня из пятого номера мальчонку велела выдрать, — сказал Дементий.

Василий словно обрадовался и оскалил белые, крепкие зубы.

— Что ты? Вот этого? Носастого? — спросил он.

— Этого, — подтвердил Дементий.

— Ай нашкодил? — крикнула любопытная баба.

Она сделалась веселою и зарумянилась. Глаза у нее заблестели. Вплотную подошла она к Мите и весело спросила, обдавая его жарким дыханием:

— Да за что это тебя, парень, а?

Митя молчал. Жалость к себе ужалила его.

— Надо быть, не даром, — угрюмо ответил за него Дементий.

— Что ж, разуважим парнишку, — со смехом говорил Василий.

— Посиди пока, паренек, на лавочке, — сказал Дементий Мите, — подожди.

Митя растерянно сел на лавку. Стало невыносимо стыдно. Что-то говорили, двигали какие-то метлы, — прутья шелестели. Дворничи-

ха присела рядом и посмеивалась, заглядывая Мите в лицо. Митя низко наклонял голову и перебирал дрожащими пальцами пуговки у своей блузы. Он чувствовал, что лицо у него красное, и от этого жжет в глазах, красный туман застилает глаза и не дает ничего видеть, и жилы на шее мучительно бьются.

Дементий подошел к Мите...

## XVIII

Дома Аксинья встретила Митю грубым смехом и бранью.

— Имею честь проздравить, — злобно сказала она, — с новой баней, с легким паром. Ах ты, скотина долгоносая! Весь-то ты в отца твоего в пьяного. Мало я с одним маялась, другое мне на шею сокровище навязалося.

Злое лицо было у нее и страшное. Пришла и Дарья, смеяться и дразнить.

— Проздравляю вашу милость. Удостоились, нечего сказать. Дурачок, чего ты стоишь? Ай боишься голову на полу потерять, — матери-то чего ж не кланяешься, говорю?

У Мити опять заболела голова, в глазах темнело и кружило.

— Кланяйся, идол, — неистово закричала Аксинья, наскакивая на сына с кулаками.

Митя поспешно поклонился матери в ноги и, припав лбом к полу, тихонько завыл от боли.

Потом повели Митю к барыне. Она сидела в гостиной на диване и раскладывала пасьянс. Заставили кланяться в ноги и ей, но она сказала, что не надо, и сделала ему длинный выговор.

Прибежали барчата, веселые и румяные. Они знали, что сделали с Митею. Барышня думала, что Мите нипочем. Но увидя, что он плачет, и что вообще он жалкий, словно затравленный, она перестала улыбаться и поглядывала на него сострадательно, — ей стало жаль его.

— Так ему и надо, — строго сказал Отя, — хамчик простеганный!

Лидия рассердилась.

— Ты — злой дурак! — сказала она брату.

Он показал ей сразу два кулака и принялся шептать, дразня Митю:

— Насекомый! Березайка! Дрань! Сечка!

Так как барышня пожалела Митю, то Аксинья заставила его и барышне целовать ручки. Барышня была довольна и чувствовала себя очень доброю: вот, мол, я какая, — даже скверного кухаркина сына пожалела!..

«Проклятые, проклятые! — повторял Митя про себя. — Никогда не буду с вами, ничего не сделаю по-вашему».

## XIX

Вечерело. Митя сидел на своем обычном месте у окна, глядел в раскрытый учебник и не видел его. Голова страшно болела и кружилась. Предметы, как призраки, то являлись, то снова потухали. Чудилось, что все шатается, все неустойчиво, — и когда красная ситцевая занавеска перед материною кроватью колыхалась, то Митя ждал, что вот сейчас все обрушится и погибнет. Безликие чудища носились над Митею, издевались, и голоса их гудели. Митя заливался горькими слезами.

Вдруг услышал он тихий зов:

— Митя!

Он поднял глаза, — Рая стояла перед ним, белая, светлая и торжественная. Алмазы в ее венце сверкали дивными огнями, багряница была длинная, смарагды и лалы горели на бармах. Яркий луч сиял в Раиной руке. Бледное лицо было торжественно-спокойно и светло. Нежное Раино дыхание колыхало воздух сладостною отрадою. Близко стояла Рая, едва не касаясь Митиных колен. Удивительные слова нежно звучали на ее бледных губах. Она говорила о новых небесах, — там, за этими истлевающими, страшными.

Митя встал и коснулся губами ее лба, — над глазами, повыше бровей.

Рая отошла. Митя сделал было шаг за нею, но наткнулся на сундук и ушиб ногу.

Как здесь тесно! Какая бедная жизнь!..

И понял Митя, что Раи с ним нет, — и никогда не будет...

## XX

На другой день был праздник. Митя пел.

Толкались певчие, ходил угрюмый дьякон, синий дым от горящего ладана плыл. Рая проходила по солее, и глаза ее горели. Образа глядели строго. Утренний свет из широких и высоких окон лился томительно-ярко. О каменные плиты на церковном полу стучали каблуки, шаркали подошвы.

Рая вся пламенела тлеющим белым пламенем. Вечерним светом озаряла она предметы и нездешним, — грубые солнечные лучи не смели спорить с ее кротким сиянием. За ее пламенеющими ризами исчезали предметы.

Головная боль усиливалась и томила Митю.

Раины ризы развевались, колеблемые неземными веяниями. Легкие, прозрачные крылья трепетали за ее плечами. Она была вся ясная, как заря на закате. Ее волосы, сложенные на голове, светлы и пламенны. Нежно говорила она:

— Теперь уже скоро.

Она распростерла крылья и тихо приближалась к Мите. Митя ждал ее, — и вот, она приникла и вошла в него. Сердце его горело...

Церковные песни звали из ненужного, и тесного, и страшного мира. Митя пел, и, как чужой, звучал ему его голос. Звуки уносились к церковным сводам и там откликались и звали.

Как призраки, двигались люди по каменным плитам. Барыня стояла близ клироса. Она пришла в церковь поздно, — нарочно пришла в эту церковь, последить, чтобы Митя не прогуливал после обедни. Она стояла важная и гордая тем, что так великодушно заботится об этом мальчике, — и все время не спускала с Мити строгих и тупых глаз. Митя подумал, что вот и сегодня опять нельзя идти к Дуне. Ему стало страшно: может быть, в это время Дуню прогонят с чердака или вовсе погубят, а он никогда ее не увидит.

«Какая злая барыня! — думал он. — Все злые!»

Все предметы хмурились и грозили...

От алтаря, как горний вестник, приближалась Рая, трепеща и сияя дивными крыльями, — яркие, горели ее взоры, — и снова почудилось Мите, что она приникла и вошла в него, — и пламенело его сердце.

Бряцала кадильная цепь, и дым подымался, пахучий и синий...

## XXI

На большой перемене Митя грустно стоял в зале у дверей. На солнце набегали тучи, день хмурился. Все утро Митю томила головная боль. От многолюдства и толкотни она грозно возрастала.

Краснощекий Карганов подошел к Мите и хлопнул его по плечу, как большой, хотя сам не дорос до Мити на полголовы.

— Что, брат, невесел, голову повесил? — спросил он, улыбаясь, причем углы у его губ некрасиво оттягивались вниз и зубы жадно обнаружились, — выстегали небось? Не беда, заживет до свадьбы! Мне тоже на днях славную баню отец задал, да мне нипочем.

Митя внимательно посмотрел на Карганова: казалось, что на его красных щеках еще слабо синеют полоски, следы от отцовых пощечин. Эти красные щеки, угловатые, полные губы и дерзкие, но беспокойные, словно запуганные глаза наводили почему-то Митю на мысли о том, как должен был вопить и рыдать Карганов, когда отец его бил. Мите жаль стало Карганова и захотелось утешить.

— Что я тебе расскажу, — ты не разболтаешь? — тихонько спросил Митя.

Карганов так и воткнул в него жадные взоры и принялся уверять:

— Вот, чего мне болтать! Не бойся, рассказывай.

Они сели рядом на скамье. Митя шепотом рассказал, как его наказывали. Карганов слушал с участием.

— Ишь ведь как, в дворницкой, — важно, — сказал он потом и засмеялся.

Он отошел, и Мите вдруг досадно стало на себя: зачем проговорился? Он вспомнил, что Карганов не может не рассказать по всему училищу, и догадывался, что станут дразнить.

Так и случилось. Карганов подходил то к одному, то к другому и с радостным хохотом сообщал:

— Дармостука-то третьего дня в дворницкой пороли.

— Что ты? — с веселым оживлением спрашивали его.

— Ей-Богу, он сам рассказал, — подтверждал Карганов.

Мальчишки радовались, лица у всех оживились, — и маленькие, и большие говорили тем, кто еще не знал:

— Слышал, Дармостука в дворницкой пороли!

Новость разнеслась быстро между школьниками. Мальчишки бодро оправляли пояса и кричали:

— Пойдем дразнить Дармостука!

Они бежали к Мите радостные, оживленные, с торжеством и гамом и толпились вокруг него. Беленький Душицын засматривал снизу в Митины глаза ласковыми серыми глазками, упираясь руками в колени, кротко улыбался и нежным голосом говорил грубые и неприличные слова, все разные, словно он знал неистощимое множество непристойных речений, относящихся к розгам.

Румяные лица, оживленные искренним весельем, теснились к Мите, а беспощадные глаза жадно всматривались в него. Иные из школьников плясали от радости; иные схватывались по двое руками, бегали вокруг толпы, окружившей Митю, и кричали:

— В дворницкой! Потеха!

Митя порывисто кидался то в одну сторону, то в другую, молча, опустив глаза и виновато улыбаясь. Но маленькие негодяи плотно сгрудились. Увидев, что из этого тесного кольца не выбраться, Митя перестал метаться и стоял, бледный и растерявшийся, с потупленными глазами; он казался преступником, отданным на поругание черни. Наконец уже восторг дошел до такого напряжения, что кто-то крикнул:

— Дармостук, ура!

И все мальчишки звонкими и громкими голосами закричали:

—Ура! ура! Ура-а-а-а!

По всему училищному дому и на улицу понеслись отголоски звонкого детского веселья. Из учительской выскочил на шум Конопатин.

Навстречу ему побежали несколько школьников и радостно докладывали наперебой:

— Дармостука в дворницкой пороли. Там его дразнят, а он стоит, как филин, глазами хлопает.

Жирное учителево лицо засияло блаженством, широкая улыбка расползлась на его чувственных губах.

— Духи малиновые! — воскликнул он смеющимся голосом, — где же он, покажите, покажите мне его.

Школьники повели Конопатина к толпе, которая расступилась перед ним. Блаженно улыбаясь, Конопатин взял Митю за плечо и повел в учительскую. Мальчишки толпою бежали сзади. Они уже не смели кричать так громко и дразнили Митю вполголоса, — веселые, румяные.

Учителя обрадовались почти так же, как и школьники, — и тоже издевались...

## XXII

На другой день Митя ушел с книгами в обычное время и весь день бродил по улицам, медленно и вяло. Все казалось ему тусклым и страшным. В тягостное самозабвение погружала его все возраставшая головная боль.

Позже обыкновенного, незадолго до заката, пришел он к Власовым. Только взобравшись наверх и перелезая через высокую балку, заметил он, как ноют от усталости ноги и как томительно хочется поскорее сесть.

Власовы радостно суетились, сбирая свои жалкие пожитки: старуха нашла наконец место. От радости руки у обеих дрожали, и улыбки были робкие, словно они еще не совсем смели верить своему счастью.

Митино сердце похолодело от испуга. Они что-то говорили Мите, но он никак не мог связать и понять их слова. Ему казалось, что их гонят с чердака. Отчего же они улыбаются, как безумные, если надо идти на улицу, на жесткие камни?

Дуне жаль было чердака. Она тихо сказала:

— Все лето здесь прожили, все одни. Хоть и впроголодь, зато одни. А как-то теперь Бог приведет жить в людях!

Такая острая жалость пронизала Митино сердце, что он заплакал. Дуня утешала:

— Полно, милый, — даст Бог, увидимся. Приходи к нам, коли пустят. О чем плакать, глупый мальчик?

Она записала карандашом на бумажке свой адрес и дала его Мите. Митя взял бумажку и вертел ее в руках. Так сильно болела голова, что он ничего не мог сообразить. Дуня сказала с ласковою усмешкою:

— Да ты бы в карман положил, — неравно потеряешь.

Митя сунул адрес в карман и тотчас же забыл о нем...

Поздно вернулся он домой. Мать сидела среди кухни на табурете, суровая и печальная, и плакала, вытирая глаза передником. Мите она показалась уродливою и страшною. Она принялась бранить его и бить, и Митя не понимал, за что. Он упорно молчал.

Маленькая лампа тускло светила. Пахло чадом и керосином. Барыня пришла кричать да издеваться. От ее крика звенело в ушах, и точно тяжелые молоты били в голову. Барчата выглядывали из-за двери, Отя гримасничал и дразнился. Дарья протяжно выговаривала укоризненные слова. Тени шмыгали по стенам, — стены, казалось Мите, колебались, потолок нависал и казался близким. Все было как в бреду.

«Как же и зачем же стоять миру, — думал Митя, — если и Дуня погибает!»

## XXIII

Утром мать отвела Митю в училище. Дорогою она и плакала, и ругалась, и порою колотила Митю по затылку. От этого Митя наклонялся и спотыкался. Он почти не замечал предметов, погруженный в тупые ощущения невыносимой головной боли. Проблески сознания были мучительны, и тянуло тогда вниз, головою к этим жестким камням, чтобы разбить жестокую боль.

В училище Митя тупо принимал издевки товарищей и учителей. Он был мрачен, как этот день, пасмурный и дождливый. Беду предчувствовал он. Дуня порою печально вспоминалась ему. Уже забыл он, что она оставила чердак, и боялся, что она там умрет с холода и голода.

За час до конца уроков, с большой перемены Митя незаметно убежал из училища, бросив там свои книги. Едва ли сознаваемое им желание укрыться от преследований и поисков влекло его на далекие от училища улицы. Там он долго блуждал, не уставая, не отдыхая. Он заходил во дворы, в сады, в церковь забрел, когда служили вечерню, бежал за шарманщиком, смотрел на марширующих солдат, разговаривал с дворниками, с городовыми, — и все тотчас же забывал.

По временам шел дождь, мелкий, словно просеянный. С деревьев летели мокрые желтые листья.

Уже бред распространился на всю природу, — и все стало сказочным и мгновенным, — вдруг возникали предметы и вдруг умирали. Яркий Раин взор загорался и потухал...

Наконец Митя пришел туда, где жили Власовы. У чердака внезапный ужас охватил его: чердак был под замком. Митя остановился на последней ступеньке и с отчаянием смотрел на замок. Потом принялся стучать в дверь кулаками. В это время из верхней квартиры вышел дворник, чернобородый угрюмый мужик с ленивыми движениями.

— Чего тебе тут? — спросил он Митю, подозрительно глядя на него. — Чего по чужим лестницам шаришь?

— Тут Власовы жили, — робко сказал Митя, — я к Власовым пришел.

— Никто тут не жил, — ответил дворник, — тут нельзя жить, — тут чердак.

Митя стал спускаться, неловко хватаясь руками за тонкую железную решетку. Дворник внимательно осматривал его, стоя на площадке, и ворчал. Мите было тягостно чувствовать на своем лице и потом на спине его пристальный, черный взгляд.

Митя не мог поверить, что Власовых здесь нет. «Куда же им деться? — думал он. — Конечно, они погибли на чердаке. Домовые замучили их, этот черный повесил замок и стережет их».

Когда Митя опять шел по улицам, чердак представился ему, — отчетливо, как бы въявь, — и какое-то слабое хрипение послышалось ему. И они представились ему, — на тех же местах, где и раньше сидели. Митя видел, как Дуня умирала, изголодавшаяся, холодная, — мать сидела против нее, закинув кверху цепенеющее, незрячее лицо и протянувши вперед сжатые руки, — обе они умирали и холодели...

И вот они умерли. Неподвижные, холодные, сидят они одна против другой. Ветер из слухового окна струится у желтого старухина лба и колеблет седые, тонкие волоски, выбившиеся из-под платка.

Митя заплакал, — медленные и холодные были слезы. Голод приступами начинал томить его.

## XXIV

Митя стоял на берегу над узкою и мутною речкою, опирался локтями о деревянную изгородь и глядел перед собою равнодушными глазами. Вдруг знакомое что-то приковало его внимание. Он увидел вдали, по ту сторону, мать. Она появилась из переулка и шла к мосту, — сейчас будет переходить сюда, где Митя. Она не дождалась сына, испугалась, побежала в училище. Там сказали, что его нет, что он убежал до конца уроков. Тогда она принялась обходить своих знакомых, — не зашел ли к кому.

Митя перебежал через дорогу и укрылся от матери в отворенную калитку, за деревянными воротами. Он прильнул к щели в воротах и тупо ждал. Мать прошла мимо. На ней серый большой платок, старенькая кацавейка. Ее морщинистое лицо, полусклоненное к земле, неподвижно и скорбно...

Жалость к матери томила Митю. Но что же он мог делать, как не таиться?

Она шла быстро, угрюмая и скорбная, и неподвижно смотрела перед собою. Митя высунулся из калитки, смотрел за матерью и глупо улыбался. Не оборачивалась она и уходила в туманную от мелкого дождя даль. Когда она скрылась в далекой влажной мгле, Митя пере-

стал думать о ней и забыл ее. Только жгучая боль от жалости горела в его сердце.

И опять печальные мечтания овладели им. Там, где было так мирно и тихо, где теперь и темно и холодно, они сидят мертвые одна против другой. Дуня держит руки на коленях и смотрит белыми, незрячими глазами, — тонкие веки не замкнули глаз, так она исхудала. Она мертвая. Лампада перед образом погасла. Тишина, холод, мрак на чердаке...

## XXV

Всю ночь Митя провел на улицах. Было безлюдно. Кое-где у ворот спал дворник, да изредка извозчик дремал на козлах. Сперва горели фонари. Потом пришел фонарщик и потушил их. Темно и страшно стало. И не найти было ни одного убежища — от жизни, от дождя, от холода, от великой усталости. В сторону от сквозных улиц отходили безнадежные тупики, и трудно было выбираться из них. Митя подходил ко всем воротам и дверям и осторожно пытался открыть их. Напрасно, — люди везде все позаперли. В городе, где не таились ни тигры, ни змеи, люди боялись спать, не оградившись от людей.

Шел дождь, иногда мелкий моросил, иногда польется проливень. Тогда Митя укрывался где-нибудь под навесом, у подъезда. Изредка люди спрашивали Митю, дивясь, что он блуждает в эту пору, и он отвечал почти бессознательно, но подходящими словами. Ему верили, потому что он лгал.

Перед подъездом, где стоял Митя, остановились дрожки. Барин и барыня вышли, позвонили, швейцар их впустил. Он был молодой и любопытный. Зевая, он спросил:

— Чего ты стоишь, мальчик?

— Дождь пережидаю, — ответил Митя, не глядя на него.

— Да куда идешь-то?

— За бабкой послали.

— За бабкой послали, так беги, дура-голова, — озабоченно сказал швейцар, — такое дело не ждет.

— Да я уж назад иду, — спокойно сказал Митя.

— Ну, а бабка? — с удивлением спросил швейцар.

— На извозчике поехала.

— А тебя не взяла?

— Нет, не взяла.

— Тоже, и бабка дура, — решил швейцар. — Ну уж и бабка!

— Сама села, — рассказывал Митя, — а мне говорит: ты, говорит, и так добежишь.

— Ишь ты, тесно ей, что ли?

— Видно, что тесно.

— Спать, поди, хочешь, мальчик? — участливо спросил швейцар и сладко зевнул.

— Да вот скоро лягу, — сказал Митя, улыбаясь.

Митя побежал по дождю, перепрыгивая через лужи. Он дрожал от холода и от усталости...

## XXVI

К рассвету рассеялись тучи. Медленно восходило солнце из-за далекого синего леса за Сновом. Было тихо. Над рекою колыхался туман. Слободы за рекою, нежные и молчаливые, почивали в золотисто-лиловых грезах.

Усталый, бледный Митя стоял на набережной, опершись руками об ее решетку, и радовался тому, что ночь минула, что солнце встало, что над рекою свежесть и туман. И ночь, и все, что было с нею, — ничего не помнил усталый мальчик, радовался, и улыбался, и любил каких-то добрых людей, которые там, за рекою, в золотисто-лиловых грезах. Холодно и томно было ему, а в теле разливалась свежая бодрость, — от этой воды, и солнца, и светлого неба, и всей широты поднебесной...

Где-то далеко задребезжали колеса по камням. Эти звуки разбудили все темное в сознании и страшную головную боль. Злые воспоминания заклубились томительным туманом на холодных и влажных камнях. Митя задрожал.

«Надо же найти ворота, — подумал он, — лестницу, окно, где была Рая. И отчего нет Раи? И я один на этих жестких камнях!»

С отчаянным и бледным лицом побежал он по улицам, — и они умирали за ним. Крупный пот струился по его холодному лицу, и сердце горело и стучало от быстрого бега, и это мучительно отдавалось в голове. Гулкие плиты жестко звучали под ногами.

Наконец, изнемогая, он остановился и оперся плечом о фонарный столб. Не сразу признал он местность, — а когда узнал, то обрадовался.

Вот это — тот самый проходной двор. Заспанный молодой дворник, гремя ключами, отворил калитку, вышел на мостовую и стоял спиною к дому, громко зевая и щурясь на солнце. Митя осторожно пробрался на двор.

И вот наконец Раина лестница, — и Рая стоит на ней и ждет Митю. Охваченный мгновенною радостью, Митя вошел на лестницу. Полусвет на черной лестнице озарялся сверху отблесками от Раиных светлых риз. Рая тихо шла перед Митею. Белые ризы цвели алыми розами, и косы ее рассыпались, как легчайшие пламенные струйки. Она не оборачивалась, шла впереди, и на лестничных поворотах Митя видел ее склоненное лицо. От ее прекрасного лица изливался в полусумрак таинственный и нежный свет, и глаза ее в этом свете сияли, как два вечереющие светила. Розы падали с ее риз и пламенели, и Митя благоговейно ступал между ними. И розы пламенели вокруг его головы, и неугасаемое пламя сожигало его мозг...

...Бледный, усталый мальчик, боязливо озираясь, словно крадучись, подымался по черной лестнице, мимо запертых дверей. На лице его изображались отчаяние и смертельная истома, взор его блуждал и, казалось, не различал предметов, и грудь вздымалась тяжело и неровно. Он покачивался, спотыкался иногда и беспомощно и неловко хватался рукою за скользкие от сырости стены. Но в помраченном сознании его вырастали из его томления дивные грезы...

...Страшный шум подымался за Митею, и топот, и хохот чудились ему снизу лестницы, как от многих бегущих людей: то — разъярен-

ные учителя и школьники гнались за Митею. Все они страшно кричали, кривлялись, высовывали острые языки и протягивали красные, уродливые руки. Митя в ужасе бросился бежать от них. Ноги его тяжелели. Уже когда настигали его и Митя чувствовал за собою злое людское дыхание, Рая остановилась, повернулась к Мите, вся занялась пламенем и сказала:

— Не бойся!

Грозный для мира, голос ее был словно гром, рожденный со страшною болью и великим восторгом, как бы в самой Митиной голове. Рая взяла Митю за руку и через тесную дверь вывела его на светлую дорогу, где пламенели дивные розы...

...Бледный мальчик с усилием влез на подоконник в четвертом этаже. Окно было открыто. Цепляясь руками за верхнюю перекладину в раме, он повернулся лицом к лестнице и спиною наружу начал вылезать из окна. Ноги его скользнули по узкой железной полоске и сорвались. Мгновенный, последний ужас охватил его, и он сделал бесполезное усилие удержаться руками за раму. Начиная падать, уже он почувствовал облегчение. Сладкая жуткость под сердцем, быстро возрастая, погасила сознание прежде, чем он коснулся камней. Падая, он крикнул:

— Мама!

Но горло захватило, крик прозвучал коротко, слабо и резко, — и вслед за ним на пустом и безмолвном дворе тихо, но явственно раздался треск от разбитых о камни Митиных костей.

## *Обруч*

### I

Поутру пустынною улицею на городской окраине шли дама да мальчик лет четырех, — дама нарядная, молодая, мальчик с нею веселый да румяный. Дама улыбалась и, счастливая, заботливо смотрела на сына. Мальчик катил обруч, большой, новый, ярко-желтый. Еще не-

ловкими движениями подгонял мальчик свой обруч, смеялся, радовался, топотал пухлыми ножонками с голыми коленками и взмахивал палочкою. Даже и не надо бы так высоко поднимать палочку над головою, — да уж где тут!

Радость-то какая! Обруча этого раньше не было, а теперь он так бойко бежит! И все так весело!

И ничего ведь раньше не было, — для мальчика, — все это вновь, — и утренние улицы, и веселое солнце, и далекие городские шумы. Все мальчику ново, чисто и радостно.

Да, все чисто: дети сами не видят грязной стороны в предметах, пока взрослые не покажут.

## II

Бедно одетый старик с грубыми руками остановился на перекрестке, — прижался к забору и пропустил даму с мальчиком. Старик смотрел на мальчика тусклыми глазами и тупо усмехался. Неясные, медленные мысли ползли в его лысой голове.

— Барчонок, — думал он, — дите малое. Ишь ведь как заливается! Дите, а барское дите, — поди ж ты!

Он не понимал чего-то, что-то было ему странно.

Дитя, — детей за вихор треплют? Игра — баловство, поди? Ребята, известно, баловники.

А мать — ничего, не унимает, не кричит, не грозит. Нарядная да светлая. Чего ей? живут, видно, в тепле да в холе.

Вот когда он, старик, был мальчишкою, — то-то по-собачьи жилось! Не сладко и теперь, — да хоть не бьют и все-таки сыт. А тогда — голод, холод, потасовки. Такого баловства и не бывало, чтобы обручем или там другие барские игрушки. Так и вся жизнь прошла, — в нищете, заботе, озлоблении. И вспомнить нечего, — ни одной радости.

Улыбаясь на мальчика беззубым ртом, он завидовал. Он думал:

— Вот глупым забавляется.

А зависть томила.

Он пошел на работу, — на фабрику, где работал с детства, где состарился. И весь день думал он о мальчике.

Неподвижные мысли, — так, просто, вспоминался мальчик, — бежит, смеется, ногами топочет, обруч гонит. А ножки-то пухленькие, а коленки-то голенькие...

Весь день в шуме от фабричных колес мальчик с обручем вспоминался ему. А ночью он видел мальчика во сне.

## III

На другое утро мечты опять одолели старика.

Стучат машины, однообразен труд, думать не надо. Руки делают привычное дело, беззубый рот усмехается забавной мечте. От пыли туманится воздух вверху, под высоким потолком, там, где с быстрым свистом скользят с колеса на колесо бесконечные ремни. Далекие углы закутаны шумною мглою. Как призраки снуют люди, — и не слышна человеческая речь под гулким пеньем машин.

И мерещится старику, — вот он маленький, вот мама у него барыня, и есть у него обруч да палочка, и он играет, — палочкою обруч гонит. Наряд на нем беленький, ножки у него пухленькие, коленки голенькие...

День за днем, тот же труд, и мечта все та же.

## IV

Раз, возвращаясь домой под вечер, увидел старик на дворе обруч от старой бочки, — черный, шершавый обод. Старик задрожал от радости, и слезы выступили на его тусклых глазах. Быстрое, почти бессознательное желание мелькнуло в его душе.

Старик опасливо огляделся, наклонился, трепетными руками ухватил обруч и понес домой, стыдливо улыбаясь.

Никто не заметил, не спросил. Да и кому какое дело? Старикашка в лохмотьях несет старую, ломаную, никому не нужную вещь, — кому на него смотреть!

А он-то нес крадучись, боялся, — засмеют. Для чего взял, зачем понес, — и сам не знал. Так, похож на тот, что был у мальчика, — ну и взял. Что ж такое, пусть полежит.

Посмотреть, потрогать, — живее мечты, тусклее фабричные гудки да шумы, туманнее шумная мгла...

Несколько дней обруч лежал у старика под кроватью, в его бедном, тесном углу. Иногда старик вынимал обруч, смотрел на него, — этот грязный и серый обруч тешил старого, — и живее являлась неподвижная мечта о счастливом мальчике.

## V

Однажды в ясное, теплое утро, когда птицы гомозились в чахлых городских деревьях веселее вчерашнего, встал старик пораньше, взял свой обруч и пошел за город, подальше.

Покашливая, пробирался он в лесу между старыми деревьями да цепкими кустами. Непонятно ему было молчание сумрачных деревьев, покрытых сухою, темною, растрескавшеюся корою. И запахи были странны, и мухи дивили, и папоротник рос, как сказочный. Не было пыли и шума, и нежная, дивная мгла лежала позади деревьев. Старые ноги скользили по настилу хвои, спотыкались о вековые корни.

Старик сломал сухую ветку и надел на нее обруч.

Лужайка лежала перед ним, светлая, тихая. Многоцветные, бесчисленные росинки искрились на зеленых былинках недавно скошенной травы.

И вдруг скинул старик с палки обруч, ударил палкою по обручу, — тихо покатился обруч по лужайке. Старик засмеялся, засиял, побежал за обручем, как тот мальчик. Он вскидывал ногами и палочкою подгонял обруч, и так же высоко над головою, как тот мальчик, подымал руку с палочкою.

Чудилось ему, что он мал, нежен да весел. Чудилось ему, что за ним идет мама, смотрит на него да улыбается. Как ребенку, первоначально, свежо стало ему в сумрачном лесу на веселой траве, на тихих мхах.

Козлиная, пыльно-серая борода на ослабленном лице тряслась, и смех с кашлем дребезжащими звуками вылетал из беззубого рта.

VI

И полюбил старик по утрам приходить в лес, играть обручем на этой прогалинке.

Иногда подумает, что могут увидеть, осмеять, — и от этой мысли становилось вдруг нестерпимо стыдно. И стыд был похож на страх: так же обессиливал, подкашивал ноги. Пугливо, стыдливо озирался старик.

Да нет, — никого не видно, не слышно...

И, поиграв довольно, он мирно уходил в город, легко и радостно улыбаясь.

VII

Так никто его и не увидел. И ничего больше не случилось. Мирно поиграл старик несколько дней, — и в одно слишком росистое утро простудился. Слег, — и скоро умер. Умирая в фабричной больнице, среди чужих, равнодушных людей, он ясно улыбался.

И его утешали воспоминания, — и он тоже был ребенком, и смеялся, и бегал по свежей траве, под сумрачными деревьями, — и за ним смотрела милая мама.

## *Жало смерти*
## *Рассказ о двух отроках*

Жало смерти — грех.
*(I Коринф., 15, 56)*

I

Два дачные мальчика забрались в глухой лесной уголок на берег реки и ловили рыбу на удочку. Речка обмелела, журчала по камням, так что во многих местах ребятишки легко переходили ее вброд. Дно было песочное и ясное.

Один из маленьких дачников удил внимательно, другой — рассеянно, словно между прочим. Один, Ваня Зеленев, производил с первого же взгляда впечатление урода, хотя трудно было сказать, что в нем особенно дурно: зеленоватый ли цвет лица? несимметричность ли его? большие ли и тонкие оттопыренные уши? слишком ли толстые и черные брови? или этот растущий над правою бровью кустик черных волос, за что Ваню дразнили иногда трехбровым? Все бы не беда, — но что-то искаженное чудилось в этом лице, — придавленное, злое. Держался он сутуловато, любил гримасничать и кривляться, — и так это вошло в его природу, что многие считали его горбатым. Но он был совсем прямой, сильный, ловкий и смелый, даже дерзкий иногда. Он любил лазать на деревья, разорять птичьи гнезда и при случае охотно поколачивал маленьких. Одежда на нем была старая и заплатанная.

Другой, Коля Глебов, сразу казался красивым, хотя тоже, если разобрать, ни строгой правильности, ни особой тонкости выражения не являли его черты. Он был беленький и веселый. Когда он смеялся, под его подбордком вспухал бугорок, — и это было очень мило. Мама именно в это местечко любила целовать его. Одет он был чистенько и красиво: матросская курточка, коротенькие панталоны, черные чулки, желтые башмаки. Он был сын морского офицера, плававшего ныне за границею. Жил Коля здесь на даче вместе с мамою.

Возле мальчиков стояли две жестянки с водою. Туда мальчики бросали выловленных рыбок. Но плохо ловилась рыба...

— Красивое местечко, — нежно звенящим голоском сказал Коля.

— Что красивого? — хриплым детским баском возразил Ваня, странно дергаясь плечьми.

— Обрыв-то какой, высокий, страсть, — сказал Коля, показывая движением подбородка через реку на высокий противоположный берег, — а там березки лепятся. И как они только стоят!

— Вода подмоет, — пробасил Ваня, — обрыв обвалится.

— Ну! — недоверчиво сказал Коля и посмотрел на Ваню так, словно просил не делать этого.

— Да уж верно, — со злою усмешкою сказал Ваня.

Коля грустно посмотрел на обрыв: плотные, красные пласты глины высоко громоздились один на другой, точно гладко срезанные громадною лопатою. Кое-где еле заметные трещины отделяли один пласт от другого. В иных местах, ближе к воде, виднелись небольшие углубления, словно промытые водою. Вода бежала такая жидкая, прозрачная, и так нежно плескалась о могучий обрыв.

Она хитрая, — подумал Коля, — слизывает помаленечку. Подумать только, вся эта громадная стена, со всеми веселыми березками на ней, вдруг сползет в реку!

— Ну, это еще не скоро будет, — сказал он вслух.

Помолчали мальчики. И опять, нежный и ласковый, зазвенел Колин голос:

— А в лесу-то как славно! Смолой пахнет.

— Шкипидаром, — вставил Ваня.

— Нет, хорошо пахнет, — радостно говорил Коля. — Утром я белку видел. По земле бежала, а потом на сосну, так ловко вскарабкалась, только хвостик мелькает.

— А я дохлую ворону под кустом видел, — объявил Ваня. — Вон там, — сказал он, показывая в сторону головою и плечьми и весь корчась при этом. — Я заметил место.

— Зачем? — с удивлением спросил Коля.

— Домой приволоку, — объяснил Ваня. — Положу Марфе на кровать.

— Ведь она испугается, — опасливо сказал Коля.

— Ворона-то? Ау, брат, мертвая, — сказал Ваня таким злорадным голосом, точно ему очень нравилось, что ворона мертвая.

— Не ворона, а Марфа, — сказал Коля, слегка улыбаясь и немножко щуря веселые глаза, отчего нежное лицо его стало кисленьким, как барбарис.

— А! — протянул Ваня. — Я думал, ты говоришь, ворона Марфы испугается. Она у нас безобразная, как смертный грех. Мать красивых не держит, — отца ревнует.

— О, ревнует!

Коля протянул не вполне понятное ему слово, точно вслушивался в его звук.

— Боится, что влюбится, — пояснил Ваня и засмеялся. — Точно он на стороне не может, — злорадно сказал он.

Помолчали опять. И снова Коля сказал, но уже неуверенным голосом:

— А там какой луг красивый, вон направо! Цветочков много, все разные, — так весь луг и пестреет. И некоторые пахнут так хорошо.

Ваня глянул на него досадливо и проворчал:

— И коровы нагадили.

— Ну, на тебя не угодишь, — сказал Коля и опять улыбнулся так, что лицо у него стало кисленькое.

— Я телячьих нежностей не люблю, — сказал Ваня. — Я люблю выпить и покурить.

— Выпить? — с удивлением и ужасом спросил Коля.

— Ну да, вина или водки, — с искусственным спокойствием сказал Ваня, искоса посмотрел на Колю и сделал очень свирепую гримасу.

— Нельзя же нам пить вино, — сказал Коля, и ужас послышался в его голосе. — Это большим только можно, да и то нехорошо.

— Все это выдумки, — решительно ответил Ваня.— Навыдумывали разных правил, чтобы нами помыкать. Родители воображают, что мы их собственность. Что хотят, то с нами и делают.

— Так ведь это вредно — пить, можно заболеть, — сказал Коля.

Ваня посмотрел на него странным, смущающим взором. В его слишком светлых, словно прозрачных глазах вспыхивали янтарные искорки.

— Что? — спросил он, улыбаясь и гримасничая.

Коля засмотрелся в его глаза и забыл, что хотел сказать. Ванины глаза его смущали, и прозрачный блеск их словно затемнял его память.

Припоминая с усилием, он сказал наконец:

— Мамочка рассердится.

— Мамочка! — презрительно сказал Ваня.

— Да ведь как же не слушаться мамочки-то? — нерешительно спросил Коля.

Ваня опять посмотрел на Колю. Прозрачно-светлые Ванины глаза показались Коле странными, скверными, — и Коле стало страшно. Ваня сказал, пренебрежительно произнося ласкательные слова:

— Ну допустим, что мамочка тебя любит, — ну что ж, ты все и будешь мамочкиной лялькою? А вот я люблю все по-своему делать. То ли дело, брат, свобода, — это не то что цветочки нюхать да мамочке букетики собирать. Да и что, — ну вот, тебе тут нравится, — ведь нравится?

— Очень нравится, как же! — сказал Коля с тихою радостью в звуке голоса.

— Ну что ж, а долго ли тут побыть, — оживленно говорил Ваня, дергаясь худенькими плечиками, — хорошо не хорошо, — поиграем, да и в город, пыль глотать.

Коля молчал, и мысли его обратились к мамочке.

Мамочка любит Колю. Она — ласковая и веселая. Но у нее своя жизнь. Она любит быть с веселыми молодыми людьми, которые приходят часто, смеются, разговаривают бойко и шутливо, ласкают Колю, иногда подшучивают над ним, — побыть с ними Коле не скучно, он же и сам веселый, разговорчивый и доверчивый, — но они — чужие, далекие и словно заслоняют мамочку от Коли.

— Однако не ловится, — сказал Ваня. — Да и домой пора. Приходи к вечеру на опушку.

— Ладно, — сказал Коля.

## II

Мальчики понесли ведерки и удочки домой.

Они проходили по деревенской улице. Дома стояли тесно и казались бедными и неряшливыми. За ними шумела река. Крестьянские ребятишки, грязные и лохматые, играли у домов, ругались грубыми и страшными словами и плакали. Столь красивые почти у всех детей руки и ноги были так у них грязны, что жалко и противно было на них смотреть.

У одной из дачек на скамеечке сидел любопытный господин в синей рубашке под сюртуком и в высоких сапогах. Он расспрашивал всех прохожих.

— Много наловили? — спросил он у Коли.

Коля доверчиво показал ему свою жестянку с рыбками.

— Не много, — сказал господин. — А вы где живете?

— А вон там, на горе, дача Ефима Горбачева, — сказал Коля.

— А, это Уфишка Горбачек, — сказал господин.

Коля засмеялся.

— Вы с отцом живете? — спрашивал любопытный господин.

— Нет, с мамочкой, — ответил Коля, — папа у меня в плаванье. Он — флотский офицер.

— А ваша мама скучает? — спросил любопытный.

Коля посмотрел на него с удивлением, подумал.

— Мамочка? — сказал он медленно. — Нет, она играет. Вот скоро здесь будет любительский спектакль, так она будет играть роль.

Тем временем Ваня прошел несколько дальше, потом вернулся.

— Ну, пойдем, что ли, — сказал он Коле, сердито поглядывая на любопытного господина.

Мальчики отошли. Ваня сказал, странным движением плеч и локтей показывая назад, на любопытного барина:

— Этот барин всех расспрашивает, — сволочь ужасная. О родителях, обо всем, — должно быть, в газетах пишет. Я ему здорово наврал.

В прозрачных, острых Ваниных глазах опять загорелись янтарные искорки.

— Ну? — смешливо протянул Коля.

— Я ему сказал, что мой отец в сыскной полиции служит, — рассказал Ваня, — он меня теперь страх как боится.

— Почему? — спросил Коля.

— Я ему сказал, что отец одного мошенника здесь высматривает, ну, он и боится.

— Да разве он мошенник? — смешливо спросил Коля.

— А я ему приметы такие сказал, на него похожие, — объяснил Ваня, — ну, он и боится.

Мальчики смеялись.

Дошли до Ваниной дачи и стали прощаться.

Ванина мать стояла в саду и курила, подбочась. Она была высокая, толстая, красная, и на лице ее лежало тупое и важное выражение, какое часто бывает у привычных курильщиков. Коля боялся Ваниной матери.

Она строго посмотрела на Колю, и Коле стало неловко.

— Так приходи, — сказал Ваня.

Коля проворно побежал домой.

— Приятели, — сердито сказала Ванина мать, — обоих бы вас...

Не было никакой причины сердиться, но уже она привыкла сердиться и браниться.

## III

Поели обеда мальчики опять сошлись на большой дороге, там, где она входит в лес.

— А знаешь что, — сказал Ваня, — надо тебе показать одно местечко.

Доверчивые Колины глаза вдруг засветились любопытством.

— Покажи, — с восторгом промолвил он, заранее чувствуя радость чего-то таинственного и необычайного.

— Я знаю такое место, где нас никто не найдет, — сказал Ваня.

— А мы не заблудимся? — спросил Коля.

Ваня посмотрел на него презрительно.

— Боишься, — не ходи, — пренебрежительно сказал он.

Коля покраснел.

— Я не боюсь, — сказал он обидчиво, — а только, если мы долго проходим, так животы подведет.

— Не подведет, это недалече, — уверенно сказал Ваня.

Мальчики побежали в лесную чащу.

Место быстро становилось темным и диким. Стало тихо, — и страшно...

Вот и берег широкого и глубокого оврага. Слышалось, как звучал внизу ручей, но ручья сверху из-за чащи было не видать, и казалось, что туда никак нельзя пробраться. Но мальчики полезли вниз к ручью. Спускались, цепляясь за ветки, порой скатываясь по крутому от-

косу. Ветки задевали, били по лицу. Густые, цепкие кусты приходилось с усилием разбирать руками. Много было веток сухих и колючих, и, опускаясь, трудно было оберечься, чтобы не расцарапать лицо или руки. Неприятная иногда липла паутина, густая и удивительно клейкая.

— Того и гляди разорвешься, — сказал Коля опасливо.

— Ничего, — крикнул Ваня, — не беда.

Он был далеко впереди, а Коля еле сползал.

Чем ниже спускались, тем становилось сырее. Коле было досадно и жалко, что его желтые башмачки в мокрой глине и руки испачканы глиною.

Наконец спустились в узкую, темную котловину. Ручей плескался о камни и звенел тихою, воркующею музыкою. Было сыро, но мило. Казалось, что и люди, и небо, — все высоко-высоко, а сюда никто не придет, не увидит...

Коля с огорченным лицом оглядывал, изогнувшись назад, свои штанишки. Оказалось, что они разорваны. Коле стало досадно.

«Что скажет мама?» — озабоченно думал он.

— Не велика беда, — сказал Ваня.

— Да панталоны новые, — жалобно сказал Коля.

Ваня засмеялся.

— А у меня так вся одежа в заплатах, — сказал он. — Мне здесь хорошего не дают носить. Лес — не гостиная, — сюда нечего, брат, новенькое надевать.

Коля вздохнул и подумал: хоть руки помыть.

Но сколько он ни плескал на них холодной воды, они оставались красноватыми от глины.

— Липкая здесь она, глина-то эта, — беззаботно сказал Ваня.

Он снял сапоги, сел на камень и болтал в воде ногами.

— Разорвал одежду, испачкался, руки, ноги исцарапал, — говорил Ваня, — все, брат, это не беда. Зато ты не по указке, а что хочешь, то и делаешь.

И, помолчав, он вдруг сказал, улыбаясь:

— Сюда бы на крыльях слетать, ловко было бы.

— Жаль, что мы не скворцы, — весело сказал Коля.

— Еще мы полетаем, — странно уверенным голосом сказал Ваня.

— Ну да, как же! — недоверчиво возразил Коля.

— Я нынче каждую ночь летаю, — рассказывал Ваня, — почти каждую ночь. Как лягу, так и полечу. А днем еще не могу. Страшно, что ли? Не пойму.

Он задумался.

— У нас крыльев нет, — сказал Коля.

— Что крылья! Не в крыльях тут дело, — задумчиво ответил Ваня, пристально глядя в струящуюся у его ног воду.

— А в чем же? — спросил Коля.

Ваня посмотрел на Колю долгим, злым и прозрачным взором, сказал тихо:

— Еще ты этого не поймешь.

Захохотал звонко, по-русалочьи, и принялся гримасничать и кривляться.

— Что ты так гримасничаешь? — робко спросил Коля.

— А что? Нешто худо? — беспечно возразил Ваня, продолжая гримасничать.

— Даже страшно, — с кисленькою улыбкою сказал Коля.

Ваня перестал гримасничать, сел смирно и задумчиво посмотрел на лес, на воду, на небо.

— Ничего нет страшного, — сказал он тихо. — Прежде в чертей верили, в леших. А теперь, ау, брат, ничего такого нет. Ничего нет страшного, — тихо повторил он и еще сказал еле слышным шепотом: — Кроме человека. Человек человеку волк, — прошептал он часто слышанное им от отца изречение.

## IV

Ваня, посмеиваясь, вытащил из кармана начатую пачку папирос.

— Давай покурим, — сказал он.

— Ай, нет, как можно, — с ужасом сказал Коля.

Ваня вздохнул и сказал:

— Уж слишком все мы, дети, привыкли слушаться, — от отцов переняли. Взрослые страх какие послушные, — что им начальник велит, то и делают. Вот бабье, — те самовольнее.

И, помолчав, он сказал насмешливым и убеждающим гососом:

— Эх ты, от табаку отказываешься! Цветочки, травку, листики любишь? — спросил Ваня.

— Люблю, — нерешительно сказал Коля.

— Табак-то, — ведь он тоже трава.

Ваня посмотрел на Колю прозрачными, русалочьими глазами и, посмеиваясь, опять протянул ему папиросу.

— Возьми, — сказал он.

Очарованный прозрачным блеском Ваниных светлых глаз, Коля нерешительно потянулся за папиросою.

— То-то, — поощрительно сказал Ваня. — Ты только попробуй, потом сам увидишь, как хорошо.

Он раскурил и свою, и Колину папироску: спички нашлись в одном из его глубоких карманов, среди всякой мелочи и дряни. Мальчики принялись курить, — Ваня — как привычный курильщик, Коля — с озабоченным лицом. И он сейчас же, от первой затяжки, поперхнулся. Огненная туча рассыпалась в горле и груди, и в дыму огненные искры закружились в глазах. Он выронил папироску.

— Ну, что же ты? — спросил Ваня.

— Горько, — шепотом, растерянно сказал Коля, — не могу.

— Эх ты, неженка, — презрительно сказал Ваня. — Ты хоть одну папиросочку выкури. Кури понемножку, не затягивайся глубоко, — потом привыкнешь.

Коля мимовольно, как неживой, всунул папироску в рот. Он сидел на земле, прислонясь к дереву спиною, бледный, со слезами на глазах, курил и покачивался. Едва докурил. Голова разболелась, тошно стало. Он лег на землю, — и деревья медленно и плавно поплыли над ним в круговом, томительном движении...

Ваня говорил что-то. Его слова едва доходили до затемненного Колина сознания.

— Когда бываешь один, — сказал Ваня, — можно сделать так, что станет ужасно приятно.

— Как же? — спросил Коля вялым голосом.

— Начнешь мечтать... Ну, да ты этого не поймешь... После расскажу... Вот, сюда ты ко мне и ходи. Право, давай здесь собираться, — просил Ваня.

Коля хотел отказаться, но не мог.

— Ладно, — сказал он вяло.

## V

Дома Коля озабоченно показал маме свои разорванные штанишки. Мама засмеялась, глядя на его опечаленное лицо: она была сегодня хорошо настроена, — ей дали ту именно роль на любительском спектакле, которую она мечтала сыграть.

— А ты вперед осторожнее, — сказала она Коле. — Вот тебе и обновка.

Коля улыбнулся виноватою улыбкою, — и мама сразу догадалась, что на его совести есть еще что-то. Мама взяла его за подбородок, подняла его голову.

— Да что ты бледный? — спросила она.

Коля вспыхнул и опустил голову, с усилием освободясь от маминой руки.

— Это еще что такое? — строго сказала мама и нагнулась к нему.

От Коли пахло табаком.

— Коля! — сердито крикнула мама. — Что же это, от тебя табачком пахнет! Рано, голубчик!

Коля заплакал.

— Я только одну папироску, — виноватым, тоненьким голосом признался он.

Маме было смешно и досадно.

— Зачем ты водишься с этим скверным Ванюшкой? Противный, лягушка зеленая, — досадливо говорила мама.

— Я не буду больше курить, — плача говорил Коля, — а ему отец позволяет.

— То-то и хорошо, — с негодованием сказала мама.

— Он хороший, право, а что ж, коли ему позволяют, — убеждал Коля.

— Ах ты, курильщик! — сказала мама. — Чтоб никогда этого больше не было, слышишь?

## VI

В эту ночь ворона приснилась Коле. Противная и страшная. Коля проснулся. Была еще ночь, — полусветлая северная ночь.

Потом Коля видел во сне Ваню с его ясными глазами. Ваня посмотрел пристально, сказал что-то невнятное, — и у Коли сильно забилось сердце, и он проснулся.

Потом Коле снилось, что он поднялся с постели и летит под потолком. Сердце замирало. Было жутко и радостно. Тело неслось без усилий. Страшно было, что толкнешься в стену над дверью. Но это обходилось благополучно, — Коля опускался, где надо, и в другой горнице опять всплывал под темный, сумеречный потолок. Много было покоев, и один за другим являлись они все более высокие, и полет в них все более жуткий и быстрый. Наконец из высокого, темного окна, которое бесшумно распахнулось перед ним, вылетел он на свободу, поднялся высоко под небо и, закружившись томно и сладко в его глубокой вышине, пронизанной солнцем, оборвался, упал и проснулся.

## VII

На другой день Коля как-то мимовольно очутился в том же овраге. Не хотел идти. Но пошел, словно по привычке.

И там, далекие от людей, говорили они...

— Ты рассказывал вчера, — нерешительно начал Коля.

— Ну? — сердито спросил Ваня и весь передернулся.

— Вот, что ты мечтаешь, — робко сказал Коля.

— А, вот что! — протянул Ваня.

Он сел смирно на камень, охватил колени руками и уставился неподвижным взором куда-то вдаль. И Коля опять спросил его:

— О чем же ты мечтаешь?

Ваня помолчал, вздохнул, повернулся к Коле, оглядел его со страннюю улыбкою и сказал:

— Ну, о разном. Самое лучшее, о чем-нибудь стыдном. Как тебя ни обидят, — сказал Ваня, — как ты ни зол, а только заведешь шарманку, все зло забудешь.

— Шарманку? — переспросил Коля.

— Я это называю завести шарманку, — объяснил Ваня. — Только жаль, что она не очень долго играет.

— Недолго? — с жалостливым любопытством переспросил опять Коля.

— Устаешь скоро, — сказал Ваня.

Он как-то вдруг опустился и усталыми, сонными глазами смотрел перед собою.

— Ну, а все-таки, о чем же ты мечтаешь? — настаивал Коля.

Ваня усмехнулся криво, передернул плечами...

И так, далекие от людей, говорили они о странных мечтаниях, о жестоком, о знойном...

И лица их пламенели...

Ваня помолчал и заговорил о другом.

— Я один раз целых три дня ничего не ел, — сказал он. — Меня отец ни за что отдул, а я страх как озлился. Подождите, думаю, я вас напугаю. Ну и не ел.

— Да что ты? — широко раскрыв доверчивые глаза, спросил Коля. — Ну и как же ты?

— Кишки от голоду выворачивало, — рассказывал Ваня. — Перепугались дома. Опять пороть принялись.

— Ну и что же? — спросил Коля.

Ваня нахмурился и сжал кулаки.

— Не выдержал, — хмуро сказал он, — наелся. Уж очень ослабел с голоду. Так напустился на еду... Говорят, можно три недели прожить, если не есть, только пить. А вот без воды живо подохнешь. Знаешь что, — давай завтра не есть, — быстро сказал Ваня.

И он пристально смотрел на Колю прозрачными, ясными глазами.

— Давай, — вяло сказал Коля, словно чужим голосом.

— Смотри, не надуй.

— Ну вот еще.

Тепло пахло мхом, и папоротником, и смолистою хвоею. Колина голова слегка кружилась, и томительное безволие овладевало им. Мама вдруг припомнилась, но какая-то словно далекая, — и равнодушно подумал о ней Коля, без того прилива нежных чувств, который всегда возбуждался в нем думами о маме.

— Мать разозлится, аж побагровеет, — сказал Ваня спокойно, — но только если очень расходится, то я в лес убегу.

И вдруг совсем другим, оживленным и веселым голосом он сказал:

— Перейдем-ка здесь вброд. Вода холодненькая.

## VIII

Ванин отец, Иван Петрович Зеленев, юрист по образованию и свинья по природе, служил в министерстве, каждый день ездил на службу на утреннем поезде и возвращался к вечеру, часто под хмельком. Это был рыжий, плотный, веселый и ничтожный человек. И мысли, и слова его были в высшей степени пошлы, — как будто у него не было никакого облика и как будто он не имел ничего настоящего и верного в себе. Разговаривая, он подмигивал зачем-то собеседнику зачастую в самых невыразительных местах. Фальшивым голосом напевал он модные песенки из опер. Носил перстень с фальшивым камнем и галстук, зашпиленный булавкою со стразом. На словах был свободолюбив, любил повторять громкие слова и осуждать правителей. На службе же был усерден, искателен и даже подловат.

Обедали поздно. За обедом Зеленев пил пиво. Дал и Ване. Ваня пил, как взрослый. Отец спросил:

— Ты, Ванька, для чего связался с этим дохлым чистоплюйчиком?

— Что ж такое! — грубо ответил Ваня, — уж и знакомиться нельзя. Новости какие!

Ванина грубость нисколько не смутила ни отца, ни мать. Они ее даже не заметили. Привыкли. Да и сами были грубы.

— Жалоб не оберешься, — объяснил отец. — Чего ему папиросы даешь? Его мать жалуется. Да и мне, брат, накладно: на всех здешних мальчишек папирос не накупишься.

— И он совсем не дохлый, — сказал Ваня, — так только, что манеженный. А выходить он много места может, ничего. И главное, что мне в нем нравится, что он послушный.

— Ты-то у меня боец, — с гордостью сказал отец. — Так и надо, брат, — всегда старайся верх забрать. Люди, брат, большие скоты, — говорил со странным самодовольством Зеленев. — С ними нечего церемониться. Там все эти миндальности если разводить, — загрызут живым манером.

— Само собой, — сказала мать.

— Кто сильнее, тот и прав, — продолжал отец наставительно. — Борьба за существование. Это, скажу тебе, брат, великий закон.

Зеленев закурил и для чего-то подмигнул Ване. Так, по привычке. Он не думал в это время ничего такого, что вызывало бы надобность в таком подмигиванье. Ваня попросил:

— Дай папироску.

Отец дал. Ваня закурил с тем же спокойно-важным выражением, с каким он незадолго пил пиво. Мать сердито заворчала:

— Ну, оба задымили.

— Пойдем, брат, в садик, — сказал отец.

## IX

Ночью Коля нескоро заснул. Странные волнения томили его. Он вспомнил, что рассказал ему Ваня о своих мечтах, — и Ванины мечты соблазнили его помечтать о том же. Как это может быть?..

Утром Коля попросил у мамочки позволения ничего не есть сегодня. Сначала мамочка обеспокоилась.

— Что у тебя болит? — спросила она.

Но потом, когда узнала, что ничего не болит, что Коля только хочеть поголодать, мамочка рассердилась и не позволила.

— Ванькины затеи, — сказала она. — Уж от этого сорванца добра не ждать.

Коля признался, что они с Ванею условились сегодня целый день не есть ничего.

— Как же вдруг я наемся, а он голодный, — смущенно говорил Коля.

Но мама решительно сказала:

— И думать не смей.

Коля был очень смущен. Попытался все-таки не есть, но мамочка так строго приказала, что поневоле пришлось послушаться. Коля ел, как виноватый. Мамочка и хмурилась, и улыбалась.

А Ваня точно голодал весь день. Мать сказала ему спокойно:

— Не хочешь жрать, и не жри. Поголодаешь, — не сдохнешь. А и сдох бы, не убыток.

К вечеру мальчики сошлись в овраге. Колю поразил голодный блеск в Ваниных глазах и его осунувшееся лицо. С нежною жалостью смотрел он на Ваню, — и с почтительным уважением. И с этого часа как рабом стал он Ване.

— Жрал? — спросил его Ваня.

Коля сделал виноватое и кисленькое лицо.

— Накормили, — робко сказал он.

— Эх ты! — презрительно промолвил Ваня.

## X

Если бы Колина мама не была так занята репетициями к назначенному на днях представлению, то она, конечно, давно бы заметила и обеспокоилась бы тем, что Коля странно изменился. Веселый и ласковый прежде мальчик стал совсем другим.

Неведомые раньше Коле тоскливые настроения все чаще обнимали его, — и Ваня их поддерживал. Точно он знал какие-то гибельные и неотразимые чары. Он заманивал Колю в лес и чаровал под сумрачными

лесными сенями. Порочные глаза его наводили забвение на Колю, — забвение столь глубокое, что иногда Коля смотрел вокруг себя не узнающими и не понимающими ничего глазами. То, что прежде было радостно и живо, казалось новым, чужим и враждебным. И даже сама мама уходила иногда в неясный сумрак далеких воспоминаний: Коля, когда захочет иной раз сказать что-нибудь о мамочке, как раньше, — вдруг чувствовал, что нет у него ни слов, ни даже мыслей о мамочке.

И природа в Колиных глазах странно и печально тускнела. Очертания ее словно смывались. И уже нелюбопытна она становилась для Коли, — и не нужна.

Соблазняясь Ваниными соблазнами, Коля иногда курил. Не больше как по одной папироске зараз. И Ваня каждый раз давал ему заедать табачный запах мятными лепешками. Теперь табак уже не кружил Колину голову, как вначале. Но действие его стало еще пагубнее: каждый раз после курения Коля ощущал необычайную пустоту в душе и равнодушие. Словно кто-то тихими, воровскими руками вынимал из него душу и заменял ее холодною и свободною стихийною русалочьею душою, — дыханием бездушным и навеки спокойным. От этого он казался себе смелее и свободнее. И как-то не хотелось ни о ком и ни о чем думать.

И от куренья, и от ночных мечтаний у Коли появились под глазами синие круги. И мама заметила, обеспокоилась, стала было наблюдать за Колею, — но как-то скоро отвлеклась к другим своим веселым и праздничным заботам.

## XI

Было жарко даже и в овраге. И тихо. Коля пришел в лес раньше Вани.

Сосны и ели распространяли смолистый запах, — и он слабо и ненадолго порадовал Колю. Ненадолго. Как бы привычным движением душа ответила радостью на привет природы, вечно родной и только обманчиво равнодушной, — обрадовалась вдруг, — и вдруг забыла свою радость, и словно забыла даже, что есть на свете радость...

Чуть плескался ручей, с недоумевающим, вопрошающим ропотом. В лесу раздавались порою тихие шорохи. Робко таясь и тая неуклонные стремления, жила своею неведомою и родною нам жизнью природа...

Коля ждал. Тоскливая скука томила его. Так много было вокруг всяких милых прежде предметов, — деревьев, трав, — и звуков, и движений, — но все это казалось словно пустым. И далеким.

Послышался шорох, далекий, — но уже Коля сразу признал, что это приближается Ваня. И Коле стало весело. Точно он был потерян и один в чужом и страшном месте, где обитает тоска, и его нашли и спасли от ее темных обаяний.

Зашевелились ветки, упруго и упрямо уступая чьему-то насилию, чтобы потом опять сейчас же забыть о нем и быть по-своему, — и из зеленой чащи выглянуло, гримасничая, Ванино лицо.

— Ждешь? — крикнул он. — А у меня-то что!

Плечом раздвинул он ветки и вышел к ручью, радостный, потный, босой. В руке у него была бутылка. Коля смотрел на него с удивлением.

— Мадера, — сказал Ваня, показывая бутылку. — Спер!

Он был радостно взволнован, и лицо его более обыкновенного подергивалось гримасами. Он говорил прерывистым шепотом:

— Отец у меня любит куликнуть. Авось не заметит, что бутылка пропала. А если, грехом, хватится, то подумает, что сам выпил. Или на прислугу.

Мальчики присели у ручья на корточки и с немым восторгом смотрели на бутылку.

Коля спросил:

— А как откроешь?

— Ну вот, — важно ответил Ваня. — А штопор на что?

Ваня запустил руку в карман, пошарил там и вытащил нож со штопором.

— Видишь, — сказал он, показывая нож Коле, — у меня такой нож, — тут два лезвия, а на спинке штопор.

— На спинке, — смешливо повторил Коля.

Медленно, с трудом, и радуясь этому труду, откупорили вино. Ваня отдал Коле бутылку и сказал:

— Пей.

Коля покраснел, хихикнул, сделал гримаску, поднес бутылку к губам и отхлебнул чуть-чуть. Сладко и горько. И легкая струйка лихорадочно-веселого возбуждения пробежала по Коле. Со стыдливым смешком передал он бутылку Ване. Ваня торопливо поднес бутылку к губам и сразу отпил много. Глаза у него заблестели.

— Что ты помаленьку, — сказал он, передавая Коле вино, — ты сразу побольше хвати, увидишь, как хорошо.

Коля уже смелее выпил, сколько мог больше сразу. Но уж слишком много, так что закашлялся. Стало вдруг страшно и жутко. Лес плавно и медленно поплыл перед его глазами. Потом сразу стало весело.

Передавая вино один другому, они пили по очереди, то большими, то маленькими глотками. И оба скоро опьянели. Ваня усиленно гримасничал. Мальчики громко хохотали. Коля закричал с диким хохотом:

— Лес пляшет!

— Пляшет, пляшет! — вторил ему Ваня.

— Смотри, какая смешная птица! — кричал Коля.

И все, что они видели, возбуждало их веселость и казалось им смешным. Они возились, плясали. Дикие шалости внушала им их буйная веселость. Они ломали деревца, царапали друг друга, и все их движения были неожиданны и нелепы, и в глазах у них все было туманно, несвязно и смешно.

Бутылку они куда-то бросили. Потом вспомнили о ней, стали искать, да так и не нашли. Ваня говорил:

— Там еще было вино. Жаль, что потеряли.

— Будет, и то опьянели, — сказал Коля, хохоча.

Ваня присмирел. Буйная веселость упала. И его изменившееся настроение тотчас же передалось Коле. Ваня сказал расслабленно-пьяным, жалующимся голосом:

— Завтра выпили бы. Башка трещит.

Коля лег под деревом на траву. Лицо у него побледнело. Казалось ему, что что-то внутри его поднимает его, вертит, несет... куда?

— Давай купаться, — сказал Ваня. — Вода освежит, хмель соскочит.

Мальчики разделись, вошли в воду и чуть не утонули в ручье. Вода все толкала их под колени. Они хохотали, падали на четвереньки и глотали воду. Вода попадала и в нос, и в горло. Было страшно и смешно. Наконец кое-как они выбрались и с неистовым хохотом повалились на траву.

Принялись одеваться. Ваня спросил:

— Хочешь, я два кораблика спущу?

— Ну спусти, — сказал Коля. — А где кораблики?

— Да уж найду, — ухмыляясь, ответил Ваня.

Он вдруг схватил Колины желтые башмаки и бросил их в ручей.

— Смотри-ка, два кораблика, — закричал он с громким хохотом.

Башмаки, прыгая через камешки, стремительно уносились. Коля взвизгнул и побежал за ними, но видно стало сразу, что не догнать, — да и кусты мешали, и ноги не служили. Коля сел на землю и заплакал.

— Зачем ты их бросил? — упрекал он Ваню.

— Ну вот, сам же сказал: пускай, — со злою усмешкою оправдывался Ваня.

— Как же я теперь пойду домой? — горестно спрашивал Коля.

— А вот так же, как и я, — ответил, посмеиваясь, Ваня.

Его прозрачно-светлые глаза щурились и смеялись. Он сделал Коле гримасу и побежал вверх по склону, быстро, карабкаясь, словно кошка. Коля поспешал кое-как за ним, плача и царапая ноги.

«Домой бы поскорее добраться», — горестно и стыдливо думал он.

Но, едва выбрались они на дорогу, опять стало ему весело, и все приключение с вином, купаньем, башмаками казалось ему забавным.

## XII

Вечерело, а Коли все еще не было. Уже Колина мама начала беспокоиться. Послала служанку к соседям. Служанка вернулась и сказала:

— И Ванюшки еще у Зеленевых нет.

— Вместе шляются. Вот я ему задам, — сердито сказала Колина мама.

А сама была испугана. Мало ли что могло случиться! Воображение рисовало ей страшные картины Колиной гибели.

Она стояла у калитки и озабоченно смотрела на дорогу. Сзади послышался быстрый и тихий топот чьих-то ног. Мама обернулась. Это был Коля: он прибежал задворками. Мама ахнула.

— Коля, в каком ты виде! Рукав у курточки оборван. Башмаки где?

Коля весело засмеялся, махнул рукою и сказал:

— Башмаки уплыли... далеко.

И неверный, хриплый звук его голоса ужаснул маму. Коля еле ворочал языком, был бледный, но очень веселый, и принялся быстро, но сбивчиво и неясно рассказывать свои приключения. И ему было так странно, что мама не смеется его веселому рассказу.

— От тебя вином пахнет! — горестно воскликнула мама.

Ее пьяный мальчик казался ей столь страшным, что ей как-то не верилось. А Коля радостно рассказывал:

— Мы, мамочка, мадеру пили, в овраге, страсть вкусно. И кораблики спускали, — целых два кораблика. Как весело-то было, — прелесть что такое!

Мама была в ужасе, а Коля болтал неудержимо.

Наконец мама кое-как уложила Колю спать. Он скоро заснул. Мама пошла к Зеленевым.

## XIII

Когда Александра Дмитриевна пришла к Зеленевым, глава дома сказал своей жене:

— Разбирайтесь сами, как знаете.

И ушел на мезонин.

— Ваш Ваня дома? — спросила Александра Дмитриевна, задыхаясь от волнения. — Он напоил моего сына.

Зеленева покраснела, подбоченилась, злобно засмеялась и сказала:

— Как же, дома. Дрыхнет. С вашим сынком, видно, они здорово выпили, — винищем так и разит. А что напоил, так это еще кто кого.

Худ-худ, а только таких дел за ним пока еще не было до приятного знакомства с вашим сынком.

Обе женщины принялись осыпать одна другую упреками и бранными словами. Глебова говорила:

— Ваш сын — самый отчаянный сорванец из всех дачных мальчиков. Нельзя так распускать мальчика.

— Чего вы лаетесь! — грубо ответила Зеленева. — Ваш соколик тоже, видно, хорош, что и говорить. Сапоги сегодня пропил, — чего уж тут. Хорош мальчик.

— Как пропил! — с негодованием вскрикнула Глебова. — Ваш Ваня их в ручей бросил.

Зеленева злорадно засмеялась.

— Эка беда! — сказала она, — напились! Не каждый день случается, слава Богу. Ваш Коля, авось, не размокнет. Проспится, — очухается.

Александра Дмитриевна заплакала. Зеленева посмотрела на нее с презрительным сожалением.

— Да вы не сердитесь, — сказала она примирительно. — Мы его этому не учим. С ребятами чего не бывает, — под колпак их не посадишь, — и набедокурят иногда. Нашему Ваньке, само собой, дерка будет. А вашего болванчика вы облобызайте хорошенько, — он вам завтра ручьи слезные напустит от раскаяния. И больше нам нечего разговаривать.

Повернулась и ушла.

## XIV

На другой день, когда Ваня проспался, отец высек его. Было это рано утром, но соседи слушали с удовольствием, как Ваня ревел низким, злым голосом.

— Я его утоплю, — сказал Ваня после наказания.

Но уже его не слушали. Отец торопился на поезд. Мать провожала...

Отец уехал. Ваня долго лежал в чулане, неподвижно и молча. Потом встал и пошел из дому. Мать закричала на него:

— Ванька, не смей уходить сегодня. Сиди дома.

— Нашли дурака, — грубо ответил Ваня. — Стану я сидеть.

Он открыл калитку и побежал по улице. Мать погналась было за ним, но сразу видно было, что не догнать.

— Марфа, — закричала она служанке, которая, весело ухмыляясь, выглядывала из кухни, — забеги проулком, подержи его.

— Подрал, где его догонишь, — ответила Марфа и захохотала.

Бессильная хозяйкина ярость потешала ее.

— Вернись ты у меня, мерзкий мальчишка, — кричала Зеленева вдогонку сыну.

## XV

Ваня сидел на берегу лесного ручья, мрачно смотрел на воду и думал злые и жестокие мысли. Он шептал порою:

— Камень на шею, в мешок да в воду.

Вся его злоба и ненависть сосредоточились на Коле.

Желание Колиной смерти томило и радовало его.

Утопить! А как его засунешь в воду?

Да и зачем? Лучше бы так сделать, чтобы он сам утонул. Он послушается. Его можно заставить, заговорить, заворожить.

Злая улыбка жестокою гримасою исказила Ванино лицо. Он побежал в лес и закричал громко:

— Ау, ау!

Никто не отозвался.

«Это пусть будет ночью, — подумал Ваня. — Он утонет, а я скажу, что спал в это время».

И радостно стало Ване.

«Из дому тишком уйду», — думал он.

## XVI

Коля, выспавшись, со стыдом и ужасом вспомнил вчерашнее. Долго плакал он в мамочкиных объятиях, раскаиваясь и давая обещания

никогда больше не делать ничего такого. И мамочка успокоилась. Она очень была занята своими репетициями.

А Колю опять тянуло в лес. Он улучил время, убежал и пробрался к оврагу.

Ваня встретил Колю злым, мстительным взглядом.

«В мешок бы тебя да в воду», — опять подумал он.

Но он скрыл свою злобу и принялся рассказывать Коле, как его наказали. Коля слушал его с нежною и робкою жалостью. Заметив это, Ваня засмеялся и сказал:

— Мне нипочем. Со мною что хотят пусть делают, — вот-то ничуть не боюсь. Да ведь и за дело выдрали. Воровать не велят. Берегут людишки свое добро. А хочешь воровать, — не попадайся.

Мальчики сидели на корточках на берегу реки и задумчиво смотрели в воду. Плескалась рыба, словно тесно было ей там, в прохладной и прозрачной воде. Вились над водою мошки. Все было, как всегда, равнодушно, красиво в общем, однообразно в подробностях и не весело.

Ваня притих. Печально шептал он:

— Знаешь, что я тебе скажу, — я не хочу жить.

Коля с удивлением посмотрел на него широко раскрытыми глазами.

— А как же? — спросил он.

— Так же, — спокойно и словно насмешливо ответил Ваня. — Умру, да и вся недолга. Утоплюсь.

— Да ведь страшно? — испуганно спросил Коля.

— Ну вот, страшно. Ничего не страшно. А что и жить! — говорил Ваня, устремляя на Колю неотразимо-прозрачный взор своих чарующих глаз. — Подло здесь жить, на этой проклятой земле. Человек человеку волк здесь, на этой постылой земле. И что страшно? Захлебнуться недолго, — и живо очутишься на том свете. А там все по-другому.

— По-другому? — робко и доверчиво спросил Коля.

— Совсем по-другому. Подумай только, — убежденно говорил Ваня, — вот, если ты любишь путешествовать...

— Люблю, — сказал Коля.

— Так вот, — продолжал Ваня, — куда ни придешь ты на земле, — все реки, деревья, трава; — все, все, брат, одно и то же. А там, за гробом, совсем, совсем не похожее. Что там, я не знаю, и никто не знает, — но разве тебе здесь нравится?

Коля молча покачал отрицательно головою.

— Да, здесь гадко жить, — продолжал Ваня. — Что, тебе страшно умереть? Смерти боишься? Это у нас, на земле только смерть, мы все умираем, — там нет смерти. Здесь не пожуешь долго, так и умрешь, — от кусков каких-то глупых, и от тех зависишь, — а там свобода. Вот у тебя теперь тело. От него муки сколько. Обрежешь, — больно. А там ничего этого не будет. Тело сгниет, — на что оно? Будешь свободный, — и никто тебя не возьмет.

— А мама как же? — спросил Коля.

— Какая мама? — убеждающим голосом отвечал Ваня. — Она тебе приснилась, может быть. У тебя мамы нет. Все это только кажется, а на самом деле ничего нет, обман один. Подумай сам, если бы все это было на самом деле, так разве люди умирали бы? Разве можно было бы умереть? Все здесь уходит, исчезает, как привидение.

Коля отвел глаза от Ваниных холодных и прозрачных глаз и с недоумением посмотрел на свое тело.

— Как же? — сказал он, — все-таки тело.

— Ну, что тело! — возразил Ваня. — Над ним смеются, — чуть где если волос не там вырос, или бородавка, или глаза косят, — все смеются. И бьют, — больно бьют. Ты думаешь, часто бьют, так привык? Нельзя привыкнуть. Что больно, это вздор. А к обидам не привыкнешь. А там тебя никто не обидит. Никто тебе не велит, не забранит, не упрекнет. Что хочешь делай. Все можно. Это здесь на земле все так, — лишний шаг сделаешь, бутылку с места на место перенесешь, — уж ты и вор, позорят тебя.

Ваня говорил, а Коля смотрел на него доверчивыми, покорными глазами. И обиды, о которых говорил Ваня, больно мучили его, — больнее, чем если бы это были его собственные обиды. И не все ли равно, чьи обиды!

Какая-то черная птица пролетела над детьми, и ее широкие крылья двигались быстро, бесшумно. Ваня говорил печальным и тихим, но неотразимо-убеждающим голосом:

— Какую-нибудь жидкость проглотишь, — уж ты точно другой стал. Там ничего этого нет. Ни ты ничему, ни тебе ничто не повредит. Хорошо там. Здесь на людей смотришь, — одному завидуешь, другого жалеешь, — все сердце в занозах. Там ничего этого нет.

И долго говорил так Ваня, — и Коля все более очаровывался печальным звуком Ванина голоса и скорбною прелестью его наговоров.

Ваня замолчал, — чары его голоса, как легкий дым из потухшего кадила, казалось, расточились в смолистых лесных ароматах. Он смотрел куда-то далеко, усталый и безмолвный, и Коле захотелось вдруг возразить ему так, чтобы это было последнее и сильное слово. Вечно-радостное и успокоительное чувство осенило его. Он поднял на Ваню повеселелые глаза и сказал нежно-звенящим голосом:

— А Бог?

Ваня повернулся к нему, усмехнулся, — и Коле опять стало страшно. Прозрачные Ванины глаза зажглись недетскою злобою. Он сказал тихо и угрюмо:

— А Бога нет. А и есть, — нужен ты ему очень. Упадешь нечаянно в воду, — Бог и не подумает спасти.

Коля, бледный, слушал его в ужасе.

## XVII

Деревенские ребятишки вздумали подразнить Ваню. Они кричали друг другу:

— Ребята, вон трехбровый идет, — его драли сегодня.

— Сняли штанцы, дали дранцы.

На Ваню посыпались грубые и обидные слова. Ваня остановился. Он смотрел молча на ребятишек ясными, словно змеиными глазами, неподвижными, круглыми. Дети примолкли и боязливо таращили на него глупые, непонимающие глаза. Откуда-то из-за угла стремитель-

но выбежала баба. Она схватила ребят, как-то всех сразу, в охапку и, сердито бормоча что-то, потащила прочь.

— Еще сглазит, проклятый, — ворчала она.

— Что ты, тетка? — спросила соседка.

— Глаз у него нехороший, — шепотом объяснила баба.

Ваня слышал. Он усмехнулся невесело и пошел дальше.

Был уже вечер, и отец спал после обеда, когда Ваня вернулся домой. Он принес матери корзинку с земляникою.

— Я тебе задам дерку, — свирепо говорила мать, — верно, утренней мало.

— Ягодки не съел, все тебе сберег, — жалким голосом тянул Ваня.

— Где корзину взял? — спросила мать сердито, но уже менее свирепо.

— Нешто бить будешь? — плаксиво спросил Ваня. — Я-то старался.

— А как смел уйти! — крикнула мать.

— А коли меня в лес тянуло, — жалобно говорил Ваня.

— Ужо вот отцу скажу, — довольно уже спокойно сказала мать. — Садись, ешь, коли хочешь.

— А отец спит? — с понимающею усмешкою спросил Ваня.

Он уселся за стол и принялся есть с жадностью.

«Проголодался», — с жалостью подумала мать.

— Пообедал! завалился до чаю, — сказала она. — Пьяненький вернулся. Не плоше, как и ты вчера. В папеньку сыночек.

Она курила, подбочась, и глядела на сына с нежностью, смешною и как бы неуместною на ее грубом и красном лице. Ей стало жалко, что его сегодня прибили из-за того «дохлого».

«И так — зеленый, — думала она. — Да он у нас — молодец, — утешила она себя, — на воздухе живо поправится».

— Подпоили? — спросил Ваня и подмигнул матери на соседнюю комнату, откуда слышалось тяжелое дыхание спящего.

— Не иначе как Стрекалов затянул, — отвечала мать. — Уж это такие подлые людишки.

Она говорила с сыном совсем запросто, на равных правах, не стесняясь.

## XVIII

Теперь каждый раз, как мальчики сходились, у них начинался разговор о смерти. Ваня хвалил и смерть, и загробную жизнь. Коля слушал и верил. И все забвеннее становилась для него природа, и все желаннее и милее смерть, утешительная, спокойная, смиряющая всякую земную печаль и тревогу. Она освобождает, и обещания ее навеки неизменны. Нет на земле подруги более верной и нежной, чем смерть. И если страшно людям имя смерти, то не знают они, что она-то и есть истинная и вечная, навеки неизменная жизнь. Иной образ бытия обещает она — и не обманет. Уж она-то не обманет.

И мечтать о ней сладостно. И кто сказал, что мечтания о ней жестоки? Сладостно мечтать о ней, подруге верной, далекой, но всегда близкой.

И обо всем начал забывать Коля. От всех привязанностей отрешалось его сердце. И мама, прежде милая мама, — что она? И есть ли она? И не все ли на этой земле равно неверно и призрачно? Ничего нет здесь истинного, только мгновенные тени населяют этот изменчивый и быстро исчезающий в безбрежном забвении мир.

Очарование Ваниных взоров, одно глубоко внедрившееся в Колину душу, каждый день влекло его в лес, в овраг, где журчит ручей о том же, о чем говорят ему Ванины прозрачно-светлые глаза, наводящие забвение.

И глубже, и глубже забвение, и сладостнее оно.

И когда Ваня долго смотрел на Колю глазами ясными и неподвижными, — под этим беспощадным взглядом так обо всем забывал Коля, как забывают обо всем в объятиях самого утешительного из ангелов, — в объятиях ангела смерти.

А Колин ангел смерти гримасничал и таил злые мысли. Порочны и жестоки были его мечты и прежде, — но теперь они приобрели особую остроту. Он мечтал о смерти, — о Колиной смерти, а потом и о своей. И в безумных мечтаниях, воображая жесточайшие предсмертные мучения, проводил он томительные ночи.

Соблазняя, соблазнил он и себя самого смертным соблазном, — своим ядом отравленный отравитель.

Вначале он хотел отравить Колю и уйти. Потом уже он не думал о том, что уйдет. Пленили его мечты о смерти.

И Колины мечты и сны стали столь же безумны. Как будто бы одни и те же, переходили они от одного к другому.

## XIX

Однажды днем встретились они у лесной опушки. Лицо у Вани было бледное, с отеками.

— Что ты бледный? — спросил Коля.

— Я нынче много мечтал, — рассказал Ваня.

Помолчали мальчики. Ваня огляделся кругом, — не видать ли кого, — и сказал:

— Я знаю глубокое место. Как упадешь, так сразу и утонешь.

— А где оно? — спросил Коля.

Ваня засмеялся и показал Коле язык.

— Нет, — сказал он, — я тебе не покажу раньше, а то ты один уйдешь. А я хочу вместе с тобою.

Ваня обнял Колю и сказал злым и тихим голосом:

— Вместе с тобою, миленький.

Близко-близко от себя увидел Коля ясные, бессмысленные глаза, — и, как всегда, от этих глаз темное забвение окутало его. Все забылось, ни о чем не хотелось думать, — бездна в глазах...

Мальчики условились, — уйти сегодня ночью и умереть.

— Сегодня мама играет, — сказал Коля.

— Вот и хорошо, — ответил Ваня.

И слова о маме не пробудили в Коле никакого чувства.

Ваня усмехнулся и сказал Коле:

— Только ты, как пойдешь, так крест дома оставь, — не надо его.

Ваня ушел. Коля остался один. Он не думал о Ваниных словах. Не то чтобы забыл. Тоска от этих слов осталась, и в глубине души затаились ядовитые слова.

Они жили и возрастали сами, а Коля жил, как всегда, обычными впечатлениями: мама, поиграть, качели, к речке сбегать, на улице мальчики, — все прежнее.

Но только все прежнее было страх как незанимательно. Скучно. Только надо, чтобы мама не видела, что скучно.

И кисленькая улыбочка, прежняя, привычная, всегда была у Коли навстречу маме.

## XX

Настала ночь. И она была печальная, тихая, темная, длинная, как последняя ночь.

Мама сегодня играла в театре. Ее любимая роль досталась ей, и это было первое представление. Мама была так рада. Она ушла сразу после обеда и не вернется: после представления — танцы до четырех часов. Коля будет уже спать, когда мама вернется.

Служанка напоила Колю чаем, уложила его, замкнула двери и ушла гулять. Коля остался один. Не в первый раз. Он не боялся.

Но когда звук замкнутой двери, легкий металлический звук, достиг его уха, чувство холодного отчуждения охватило его.

Он полежал в постели, на спине, глядя в темный потолок темными глазами.

«А мама?» — отрывочно подумал он.

«А мамы нет», — не то сказал кто-то, не то припомнились чьи-то слова.

Коля усмехнулся, тихо слез с кровати и начал одеваться. Он взял было башмаки, но припомнил, что земля теперь влажная, прохладная, — она обласкает ноги мягкими прикосновениями.

Мать сыра земля!

Коля бросил башмаки под кровать и подошел к окну. Полная луна, светло-зеленая и некрасивая, стояла на небе. Казалось, что она прячется за вершинами деревьев и подсматривает. Ее свет был тихий, неживой и сквозь ветки проникал ворожащими и робкими лучами...

Ваня задворками прошел в сад Колиной дачи. В окнах везде было темно. Ваня тихонько стукнул в Колино окно. Оно открылось. Коля выглянул, — и он был бледный, и улыбался кисленькою улыбкою. Лунный свет падал прямо на Ванино лицо.

— Ты — зеленый, — сказал Коля.

— Уж какой есть, — отвечал Ваня.

Лицо его было спокойно и безвыразительно, словно неживое. Только жили глаза и блестели жидким, прозрачным блеском.

— Пойдем, что ли, — сказал он, — пора.

Коля, неловко цепляясь белыми маленькими руками за подоконник, вылез из окна. Ваня помог ему, — поддержал.

— Обулся бы, холодно, — сказал Ваня.

— А ты-то как же? — возразил Коля.

— Я-то ничего. Я не боюсь, — сказал Ваня и усмехнулся невесело.

— Ну и я тоже, — тихо сказал Коля.

Мальчики вышли из сада и пошли полем, узкою межою, к темневшему невдали лесу. Ваня шептал:

— Видишь, луна какая ясная. Там тоже люди были, да все умерли. Еще когда земля солнцем была. На луне тепло было, и воздух, и вода, дни и ночи сменялись, трава росла, а по траве-то, по росе, бегали веселые, босые мальчики. Ау, брат, все умерли, застыли, — кто их пожалеет!

Коля повернул к Ване лицо с кисленькою, — грустною, — улыбкою и шепнул:

— Вот и мы умрем.

— Только ты не кисни, — хмуро сказал Ваня. — Еще заплачешь. Тебе холодно?

— Ничего, — тихо ответил Коля. — Скоро придем? — спросил он.

— Сейчас.

Мальчики сошли к реке. Здесь она теснилась между берегами: там — стена обрыва, этот берег опускался к воде крутым склоном. Несколько больших камней лежали на берегу и в воде у берега. Было тихо. Луна, ясная и холодная, висела над обрывом, смотрела пристально и ждала. Вода казалась неподвижною и темною. Деревья и кусты

застыли в молчании. В траве виднелись мелкие, некрасивые цветы, зловещие и белые.

Ваня пошарил около одного из береговых камней и достал два сачка с обломанными ручками. Он привязал к их краям по бечевочке, — вышло как две сумочки, — и положил в них по камню.

— Две торбочки, — тихо сказал он.

На широком и низком прибрежном камне, похожем на могильную плиту, стояли рядом два мальчика, и оба с равным страхом глядели на темную воду. Завороженные, стояли они, и уже не было им дороги назад. И у каждого на груди, надавливая бечевкою шею, висело по сумочке с камнем.

— Иди, — сказал Ваня, — сначала ты, потом я.

— Лучше вместе, — робко-звенящим голосом ответил Коля.

— Вместе так вместе, — решительно сказал Ваня и усмехнулся.

Ванино лицо разом осунулось и потемнело. Холодное предсмертное безволие отяготело над ним...

Коля хотел перекреститься. Ваня схватил его руку.

— Что ты, нельзя, — сердито сказал он. — Ты все еще веришь? Ну вот, если Он тебя спасти хочет, пусть эти камни в торбочке сделаются хлебом.

Коля поднял глаза к небу. Мертвая луна тупо глядела на него. В бессильной душе не было молитвы. Камень остался камнем...

Коля заметил над собою тонкую ветку с маленькими листочками. Она выделялась на синем небе черным, очень изящным рисунком.

«Красиво», — подумал Коля.

Кто-то шепотом позвал сзади, — словно мамин голос:

— Коля!

Но уже некогда было. Уже тело его наклонялось к воде, все быстрее падало.

Коля упал. Раздался тяжелый плеск. Брызги, холодные и тяжелые, осыпали Ванино лицо.

Коля утонул разом. Холодная тоска охватила Ваню. Неодолимо потянуло его вперед, за Колею. Лицо его исказилось жалкими гримасами. Странные судороги пробежали вдруг по его телу. Он весь изо-

гнулся, словно вырываясь от кого-то, кто держал его и толкал вперед. И вдруг он вытянул руки, жалобно крикнул и упал в воду. Вода раздалась и плеснула, брызги взлетели, темные круги пробежали по воде, умирая. И стало снова тихо.

Мертвая луна, ясная и холодная, висела над темным обрывом.

## *В плену*

### I

Пака сидел в высокой беседке у забора своей дачи и смотрел в поле. Случилось, что он остался один. А случалось это не часто. У Паки была гувернантка, был студент, который учил его кое-чему первоначальному, да и Пакина мама, хотя и не пребывала в его детской неотлучно, — у нее же ведь было так много этих несносных светских обязанностей, отношений, — но все же очень заботилась о Паке, — был бы Пака весел, мил, любезен, не подходил к опасностям и к чужим нехорошим мальчишкам и знался только с детьми семей из их круга. И потому Пака почти постоянно был под надзором. Уже и привык к этому, и не делал попыток освободиться. Да еще он был так мал: ему шел только восьмой год.

Иногда утром или днем, когда еще мама спала или уже не было ее дома, гувернантка и студент находили вдруг какие-то неотложные темы для разговора наедине. Вот в такие-то минуты Пака и оставался один. Был такой тихий и послушный, что совсем не опасались оставлять его одного: никуда же не уйдет и уже наверное ничего недолжного не сделает. Сядет и займется чем-нибудь. Очень удобный мальчик.

Пака, не развлекаемый своими наставниками, стал задумываться и сравнивать. Бес сравнения — бес очень мелкий, но один из самых опасных. Не вяжется к сильным, — там ему не будет поживы, — а маленьких любить соблазнять. И соблазны его для маленьких и слабых неотразимы.

Сегодня, в знойный летний день, Пака почувствовал новую для него досаду. Новые желания томили его. Знал, что эти желания неисполнимы. Чувствовал себя несчастным и обиженным.

Хотелось уйти из этого чинного дома в широкое вольное поле и там играть с ребятишками. Быть на реке, войти в воду.

Вон там, внизу, у речки, какие-то мальчики, — ловят рыбу, кричат что-то радостное. Право, лучше им живется, чем Паке. И почему доля его столь отлична от доли этих вольных и веселых детей? Неужели милая мама хочет, чтобы он здесь тосковал и печалился? Не может этого быть.

Горячее солнце обдавало его зноем и туманило мысли. Странные мечты роились в Пакиной голове...

Милая мама далеко-далеко, в иной стороне. Пака в плену. Он принц, лишенный наследства. Злой волшебник отнял его корону, воцарился в его королевстве, а Паку заточил под надзор чародейки. И злая фея приняла образ его милой мамочки.

Странно, как Пака раньше не догадался и не понял, что это не мама, а злая фея. Разве такая была его милая мама прежде, в счастливые годы, когда жили они в замке гордых предков?

Далеко-далеко!

Грустные Пакины глаза тоскливо смотрели на дорогу.

Мимо проходили мальчики. Их было трое. Те самые, что были сейчас на речке. Один был в белой блузе, другие два в синих матросках и в коротких панталонах. За плечьми у них виднелись теперь луки и колчаны с стрелами.

Счастливые мальчики! — подумал Пака. — Сильные, смелые. Ноги у них босые, загорелые. Должно быть, они простые мальчики. Но все-таки счастливые. Уж лучше быть простым мальчиком на воле, чем принцем в плену.

Но вот Пака увидел у старшего на фуражке гимназический значок и удивился.

Мальчики подходили близко. Пака робко сказал им:

— Здравствуйте.

Мальчики подняли на него глаза и рассмеялись чему-то. Старший из них, который был со значком и в белой блузе, сказал:

— Здравствуй, комар, как поживаешь?

Пака улыбнулся легонечко и сказал:

— Я не комар.

— А кто же ты? — спросил гимназист.

— Я — пленный принц, — доверчиво признался Пака.

Мальчуганы с удивлением уставились на Паку.

— Зачем вы так вооружены? — спросил Пака.

— Мы — вольные охотники, — с гордостью сказал второй из мальчиков.

— Краснокожие? — спросил Пака.

— А ты откуда это узнал? — с удивлением спросил самый маленький из босых мальчуганов.

Пака улыбнулся.

— Да уж так, — сказал он. — У вас и отец — краснокожий?

— Нет, у нас отец — капитан, — ответил старший.

— Плохие же вы краснокожие. А как вас зовут? — продолжал спрашивать Пака с любезностью благовоспитанного мальчика, привыкшего поддерживать разговор.

— Я — Левка, — сказал гимназист, — а это — мои братья Антошка и Лешка.

— А я — Пака, — сказал пленник и протянул братьям вниз руку, маленькую и беленькую.

Они пожали его руку и опять засмеялись.

— Вы что же все смеетесь? — спросил Пака.

— А то разве плакать? — ответил вопросом Антошка.

— А что это значит — Пака? что за имя? — спросил маленький Лешка.

— Я — принц, — повторил Пака, — если бы я был простой мальчик, то меня звали бы Павлом.

— Вот оно что! — протянул Лешка.

Мальчики замолчали и глядели друг на друга. Пака рассматривал их с любопытством и завистью.

Левка — мальчик лет двенадцати, рыжеватый, коротко остриженный, с веселыми и добрыми глазами и мягкими губами. Лицо кое-где в веснушках. Нос широковатый и слегка вздернутый. Милый малый.

Антошка лет десяти и Лешка лет девяти повторяли старшего брата довольно близко, только были еще понежнее и подобрее на вид. Антошка, улыбаясь, легонечко щурился и смотрел очень внимательно на собеседника. У Лешки глаза были широко открытые, с привычным выражением удивления и любопытства. Все они старались казаться молодцами и для того летом постоянно ходили босые, устроили в лесу нору и там варили и пекли себе пищу.

Пака вздохнул легонечко и тихонько сказал:

— Счастливые вы. Ходите на свободе. А я-то сижу в плену.

— Как же ты в плен попал? — спросил Лешка, любопытными и широкими глазами глядя на Паку.

— Да уж и сам не знаю, — отвечал Пака. — Мы раньше с мамочкой жили в замке. Было очень весело. Но злая фея, наша дальняя родственница, рассердилась на мамочку за то, что мамочка не пригласила ее на мои крестины, — и вот однажды ночью унесла меня на ковре-самолете, когда я спал, и потом сама обернулась мамочкой. Но она не мамочка. А я в плену.

— Ишь ты, какая злая ведьма, — сказал Антошка. — Она тебя бьет?

Пака покраснел.

— О нет, — сказал он, — как можно! И она не ведьма, а злая фея. Но только она очень воспитанная фея и никогда не забывается. Нет, меня не бьют, — как можно! — повторил Пака, вздрагивая худенькими плечиками при мысли о том, что его могли бы побить. — Но только меня стерегут, mademoiselle и студент.

— Аргусы? — спросил Левка.

— Да, аргусы, — повторил Пака. — Два аргуса, — повторил он еще раз, улыбаясь, потому что ему понравилось это слово, и он мог теперь объединить им и mademoiselle, и студента.

— И не пускают никогда в поле? — спросил Лешка и с горестным сочувствием смотрел на Паку.

— Нет, одного не пускают, — сказал Пака.

— А ты бы сам вырвался, да и махни-драла, — посоветовал Антошка.

— Нет, — сказал Пака, — нельзя мне махни-драла, — аргусы сейчас увидят и воротят.

— Плохо твое дело, — молвил Левка. — Да мы тебя освободим.

— О! — с недоверием и восторгом воскликнул Пака, складывая молитвенно руки.

— Ей-Богу, освободим, — повторил Антошка.

— А пока прощай, нам некогда, — сказал Левка.

И мальчики простились с Пакою и ушли, — побежали, — быстро-быстро, по узкой дорожке, — скрылись за кустами. Пака смотрел за ними, и неясные надежды волновали его, и мечты о далекой мамочке, которая ищет Паку и не может найти, и плачет неутешно, потому что нет с нею милого Пакочки.

## II

Братья, уходя, говорили о Паке.

— Посмотреть бы на эту злую фею, — сказал Лешка, — какая она такая.

— Фея! Просто ведьма, — поправил Антошка.

— Конечно, ведьма, — подтвердил и Левка.

— Как же его освободить? — спросил Лешка.

Маленькому любопытному Лешке весь мир представлялся с вопросительной стороны. Лешка обо всем любопытствовал, ко всем приставал с вопросами и всякому ответу простодушно верил. Антошка любил фантазировать и сочинять более или менее смелые проекты. А Левка как старший одобрял или отвергал эти предположения, и братья беспрекословно подчинялись его решениям.

Антошка сказал:

— Против ведьмы слово надо знать.

— А какое слово? — быстро спросил Лешка.

Мальчики призадумались и несколько минут шагали молча. Вдруг Антошка крикнул:

— А я знаю.

— Ну? — спросил Левка и недоверчиво глянул на Антошку.

Антошка, слегка смущаясь под уставленными на него взорами обоих братьев, сказал:

— Я думаю, мужики это слово знают. У них в деревнях много колдунов. И они все, деревенские мужики и бабы, друг на друга часто сердятся, портят один другого, а чтобы их самих порча не брала, так они очень часто такие слова непонятные говорят, — про мать вспомнит и такое слово произнесет.

Левка подумал немного и сказал:

— Пожалуй, что и так. Это у них крылатые слова.

## III

На другое утро три мальчика, возясь у речки, все посматривали на забор Пакиной дачи. Когда белокурая Пакина голова показалась над забором, — и видно было, что мальчик опять один на своей вышке, — мальчуганы забрали удочки и побежали вверх по дорожке.

— Здравствуй, пленник, — сказал Лешка.

— Пленный принц, — поправил Антошка.

— Принц Пака, маленький зевака, — сказал Левка.

Пака, сдержанно улыбаясь, пожимал их руки.

— Отчего же вы, краснокожие охотники, не наденете мокасины? — спросил он.

Мальчики засмеялись. Антошка сказал:

— А эти скороходы чем не хороши? Из собственной кожи. У нас на даче такое правило есть, чтобы диваны сапогами не пачкать, — так вот мы сапог и не надеваем.

— А мне бы не пройти босиком по песку, — сказал Пака.

— Где тебе! — молвил Левка. — У тебя скорлупа тоньше папиросной бумаги. Да мы к тебе по делу зашли. Мы хотим тебя освободить от злой феи. Понимаешь, разворожить. Ты скажи, когда это удобнее сделать.

Пака недоверчиво улыбнулся. Вчера, после первой радости надежд, когда вернулись к нему mademoiselle и студент, и потом мама — злая фея, и весь домашний обиход надвинулся с его несокрушимым порядком, замок злой феи показался плененному Паке таким прочным, та-

ким незыблемым, что сердце его тоскливо сжалось, и милая радостная надежда побледнела и тихо растаяла, как туман над ободнявшею долиною. И он сказал братьям:

— Да вы не сумеете.

— Нет, сумеем, — горячо ответил Лешка.

И Левка рассказал:

— Мы такие слова выучили. Нарочно в деревню сходили, самого старого колдуна отыскали, заплатили ему за науку и твердо выучили все слова, какие надо говорить.

— А какие это слова? — спросил Пака.

Левка свистнул. Антошка сказал:

— Тебе еще нельзя такие слова знать.

— Ты еще мал для этого, — сказал Лешка.

Левка сказал Паке:

— Ты нам расскажи, когда твоя ведьма будет дома, — ну, понимаешь, эта фея, у которой ты в плену, — поправился он, заметив недовольную при словах «ведьма» гримасу на Пакином лице. — Мы подойдем под окно, — продолжал Левка, — и скажем крылатые слова, — и сейчас все колдовство пропадет, и ты освободишься.

— И мама вернется? — спросил Пака.

— Ну, уж там видно будет, — ответил Левка. — Конечно, если все ее колдовство пропадет, то, значит, ты опять будешь там, где она тебя взяла.

Пака помолчал и сказал:

— Мы обедаем в семь часов.

И ему стало вдруг жутко, — и страшно, и радостно,

— Так в семь часов приходить? — спросил Лешка.

— Нет, — сказал Пака, лукаво и застенчиво улыбаясь, — лучше попозже, часов в восемь, вообще после сладкого, а то у мамы, может быть, обед уже съеден будет, так я без сладкого останусь.

Босые мальчуганы засмеялись.

— Эх ты, принц Пашка-лизашка, — сказал Антошка, — сладенькое любишь.

— Люблю, — признался Пака.

Мальчики распрощались и ушли.

## IV

У себя дома, — не на даче дома, а в их собственном помещении в лесу, в овраге, в норе под корнями сваленного бурею дерева, — дома они совещались, как исполнить замышленное предприятие. Откладывать не было никакого смысла, — решили сделать это сегодня же.

Антошка придумал, что для большей крепости надо слова не только сказать, но и написать на стрелах и пустить эти стрелы в окна ведьминой дачи.

Левка распределил роли:

— Мы подкрадемся под окна и будем ждать. Когда будет видно, что Пака съел свое сладкое, мы и закричим.

— Все сразу? — спросил Лешка.

— Нет, зачем, — надо, чтобы они все хорошенько их разобрали. Сначала я скажу в прошедшем времени, потому что я уже был таким малышом, как вы. Потом ты, Антошка, крикнешь настоящее время, — ты теперь малыш, а потом и ты, Лешка, кричи будущее время, — ты еще будешь таким большим, как я. И эти же слова каждый из нас на своей стреле напишет.

— Стрелы надо черные сделать, — сказал Антошка.

— Само собою, — согласился Левка.

— Писать своею кровью, — продолжал Антошка.

Левка и это одобрил.

— Ну, понятно, — сказал он. — Не чернилами же такие слова писать.

## V

Пака очень волновался. Вся его судьба переменится в этот день. Он вернется к мамочке. Какая мамочка? Злая фея приняла вид мамочки. Значит, мамочка такая же. Только добрая-добрая, все будет играть со своим мальчиком, а когда мальчик захочет к речке, то будет пускать его к другим веселым, загорелым мальчуганам.

Но только Пака должен был сознаться, что злая фея, хотя и злая, все же была с ним всегда любезна. Держала в плену, но, видно, помнила, что он принц. Даже иногда целовала и ласкала его. Должно быть, привыкла к нему. Когда Пака освободится от нее, злая фея очень рассердится. Или опечалится? Может быть, будет скучать о Паке? Плакать?

Паке стало тоскливо. Нельзя ли устроить дело миром? Чтобы злая фея помирилась с мамочкою, отказалась бы от своего колдовства, — и тогда она могла бы даже вместе с ними жить. Надо поговорить со злою феею, предупредить ее, — может быть, она и сама раскается.

И когда студент, кончив с ним задачу, позвал его в сад, Пака заявил, что ему надо идти к маме. И отправился, — к злой фее.

Злая фея была одна. Она ждала гостей к обеду, лежала на очень красивом и очень мягком ложе и читала книжку в желтой обложке. Она была молодая, красивая. Темные волосы, томные движения. Жгучий взор черных глаз. Полные, полуоткрытые, очень красивые руки. Одета всегда к лицу.

— А, маленький, — сказала она, неохотно отрываясь от книжки. — Что тебе?

Пака поцеловал ее руку, посмотрел на нее нерешительно и молвил:

— Мне надо с вами поговорить.

Злая фея засмеялась.

— Поговорить с нами? — переспросила она. — С кем это с нами?

Пака покраснел.

— Ну, с тобою. Мне очень надо.

Смеясь, щуря блестящие глаза и закрывая смеющийся рот книжкою, злая фея сказала:

— Садись и поговори, маленький. А что ты сейчас делал?

— Мы с ним решали задачу, — ответил Пака.

— А, с ним!

Злая фея хотела сказать, что так невежливо, что надо назвать студента по имени, — но уже ей стало скучно, и она сказала:

— Ну, Пака, говори, что тебе надо.

Пака сильно покраснел и, нервно поламывая пальцы, сказал:

— Я все знаю.

Злая фея весело и неудержимо-звонко засмеялась.

— О, неужели! — воскликнула она. — Уже так рано, и все знаешь. Ты, Пака, феномен, если это правда.

— Нет, мама, — кротко возразил Пака, — я не феномен, я только принц, взятый вами в плен.

— О! — воскликнула злая фея, перестала смеяться и с удивлением смотрела на Паку. — У нас фантазии! — с удивлением сказала она.

Пака так же кротко продолжал:

— Я еще знаю, милая фея, что вы не мама, а злая фея. Вы очень любезная особа, но, пожалуйста, не сердитесь, я все-таки знаю, что вы злая фея.

— Боже мой! — воскликнула злая фея, — от кого ты наслушался таких чудесных сказок. Поди сюда поближе, маленький.

Пака опасливо приблизился, и злая фея пощупала его голову, руки.

— Ты не болен? — спросила она.

— Нет, милая фея, — ласково сказал Пака, целуя маленькие, белые и нежные руки злой феи, — но, пожалуйста, отпустите меня на волю.

— На волю? — переспросила фея.

— Да, — продолжал Пака, — я хочу махни-драла к речке.

— О! махни-драла! — в ужасе повторила фея. — Ради Бога, Пака, разве можно такие слова говорить!

Но Пака, не слушая, продолжал:

— С мальчиками поиграть. Там есть славные мальчуганы. Но только, пожалуйста, без аргусов.

— Без аргусов? — переспросила злая фея и опять засмеялась. — О, маленький фантазер! Нам дали слишком много волшебных сказок, маленький Пака, и у нас в голове все перемешалось. Но аргусы, — это, правда, мне нравится. Позови ко мне своих аргусов, — это надо как-нибудь успокоить.

Пака вышел.

«Хитрая! — думал он, — не сердится, но видно, что не отпустит на волю. Много сказок дали читать! А сама зачем постоянно читает такие длинные сказки на французском языке в этих желтых книжках! Видно, и в сказках не все сказка, а есть и правда, если и взрослые любят читать сказки».

## VI

И вот уже был вечер, и начинало темнеть. Были зажжены веселые лампы, обед приближался к концу, к самому интересному месту, — подавали сладкое, — воздушный пирог с земляникою и сливками. Были гости, мужчины и дамы, человек десять, но так как все это были или родственники, — Пакин дядя с дочерьми, еще другие кузины, — или собирающиеся породниться, близкие и хорошие знакомые, то стол был накрыт по-семейному, и Пака сидел тут же, на конце стола, против злой феи, между своими аргусами.

Злая фея рассказала гостям про Пакочкины фантазии, и над Пакою и его аргусами подшучивали. Пака улыбался: он знал, что он прав, и он любил этот воздушный пирог. А вот аргусам было очень неловко, и хотя они улыбались и даже иногда отшучивались, но у mademoiselle уши горели, а в голосе студента иногда звучали досадливые нотки. Перед обедом злая фея поговорила с ними очень мило и весело о их недосмотре: Пакины фантазии, ужасное выражение «махни-драла», — откуда это? — удивлялась злая фея. Она была очень любезна, но как-то так вышло, что аргусы вышли от нее с ощущением жестокого нагоняя.

И вот, едва Пака успел кончить свое сладкое, в открытое окно столовой с легким шелестом и свистом влетела и упала на белую скатерть черная деревянная стрела со слабо краснеющею на ней надписью. И в то же время за окном детский голос выкрикнул площадную брань.

«Началось!» — подумал Пака.

Он вскочил, дрожа всем телом, и с боязливым нетерпением смотрел на злую фею. А злая фея, как и другие дамы и девицы, была испугана неожиданностью. Раздались восклицания обедающих, но прежде, чем кто-нибудь догадался подойти к окну, влетела вторая стрела, вонзилась в букет цветов на столе, и послышался другой детский голос, выкрикнувший гадость. Третья стрела попала в мундир студента, третий голос звонко выкрикнул безобразные слова, и потом в саду послышался смех, шелест удаляющихся шагов, крики прислуги, — кто-то убегал, кого-то догоняли.

И все это взяло времени меньше минуты. Когда мужчины наконец бросились к окнам, то в легком полусвете вечерней зари уже за оградою сада увидели они проворно убегающих трех мальчишек.

— Не догнать, — сказал Пакин дядя. — Вот вам наглядное объяснение выражения «махни-драла».

И все смотрели на Паку. А он стоял, смотрел вокруг и дивился. Все осталось на месте, обманули его глупые мальчишки, не сумели освободить его из плена.

— Говорил я им, что не сумеют! — горестно воскликнул Пака и залился горькими слезами.

Расспрашивали. Волновались. Смеялись. Было шумно, не то весело, не то досадно. Злая фея восклицала:

— Как это кстати, что мы на днях уедем! Какие невозможные мальчишки!

— Но их накажут! — успокаивал ее Пакин дядя.

— О, какое мне дело! — говорила злая фея и притворялась, что плачет. — Пака такой впечатлительный. Боже мой, два аргуса недосмотрели.

Плакала и смеялась. Смеялись и утешали. Паку увели. Пака плакал. Аргусы ворчали.

Да, в Пакиной жизни бывали тяжелые минуты. Это был скучный, противный вечер. Хорошо, что была потом ночь и можно было заснуть.

## VII

Наутро босым мальчикам пришлось объясняться с отцом. Капитан хмуро смотрел на своих сыновей. Они стояли рядышком, плакали и каялись. Левка рассказывал:

— Мы ему поверили, что он пленный принц, и захотели его освободить от злой феи. Мы думали, что для этого надо сказать волшебные слова.

— Какие слова? — хмуро спросил капитан.

Он хмурился усиленно, чтобы не засмеяться.

— Крылатые слова, — сказал Левка, плаксиво растягивая окончания слов.

— Какие крылатые? — опять спросил капитан. — Ведь вы их знаете?

Левка молча кивнул головой.

— Ну, скажите, какие же это слова, — приказал капитан.

Мальчишки повторили. Капитан гневно покраснел.

— Вырастил дураков, — сердито проворчал он. — Не сметь вперед говорить этого! Это гадость, — крикнул он на сыновей. — Откуда вы научились?

Левка рассказывал, рыдая:

— Мы думали, что мужики знают всякие крылатые слова, какие нужно. Мы и пошли в деревню. К самому старому пришли. Он пил водку и произносил слова. Мы дали ему сорок копеек, больше не было. Он нас и научил этим словам. Мы просили еще. А он сказал: «За сорок копеек многому не научишься». И то, говорит, против таких слов ни одна ведьма не устоит.

— Молодцы ребята, — сказал капитан. — И с такими-то словами вы под чужие окна пошли. Ах вы, негодяи! Что мне теперь с вами делать?

## VIII

Мальчуганы знали, что Паку сегодня утром увезут. Злая фея едет за границу и везет за собою Паку с его аргусами. Мальчики вышли на полотно железной дороги, там, где она подходит к их оврагу, и ждали. И вот от станции показался быстро приближающийся поезд.

Пака смотрел в окно затуманенными глазами. Везут, — и аргусы опять с ним, и злая фея, — любезная, ласковая, но все не мама, а злая фея, — и тот же все плен!

И вдруг Пака увидел трех босых мальчиков. Безумная, отчаянная надежда мелькнула в его душе. Может быть, они узнали новые слова? Настоящие? И вдруг совершится радостное чудо?

И Пака в восторге высунулся из окна и замахал платком.

И мальчуганы радостно побежали по откосу пути, ближе к поезду. Пакин вагон подходил быстро. Лицо злой феи показалось над Пакиным лицом, равнодушно-любезное лицо красивой дамы, — и вдруг исказилось выражением жестокой тревоги.

И в радостном ожидании мальчуганы, один за другим, прокричали еще новые, только что разученные ими крылатые слова и замахали шапками.

— Опять эти ужасные мальчики! — воскликнула злая фея. — Пака, не смотри пока, маленький, в окно.

Но уже все равно, поезд промчался мимо мальчуганов, — и они опять остались бессильные, разочарованные в их страстном ожидании радостного события.

— Увезла! проклятая ведьма! — горестно крикнул Антошка.

Мальчуганы повалились в траву и горько плакали.

И в быстро улетающем вагоне Пака плакал, злая фея смеялась, аргусы старались развлечь Паку чем-нибудь.

Бессильные, бедные слова! Нерасторжимый плен! Горькие детские слезы!

Глупые, бедные, — о, если бы знали! Фея, похищающая на ковре-самолете спящих детей, как прочно, нерушимо ее владычество! и никому не дано сорвать с нее личины. И аргусы ничего не видят, но не выпустят из ограды. И не уйти из плена. И вольные охотники напрасно ищут мудрых и знающих.

Все на месте, все сковано, звено к звену, навек зачаровано, в плену, в плену...

## *Маленький человек*

### I

Якову Алексеевичу Саранину немного недоставало до среднего роста; жена его, Аглая Никифоровна, из купчих, была высока и объемиста. Уже и теперь, на первом году после свадьбы, двадцатилетняя

женщина была дородна так, что рядом с маленьким и тощим мужем казалась исполиншею.

«А если еще раздобреет?» — думал Яков Алексеевич.

Думал, хотя женился по любви, — к ней и к приданому.

Разница в росте супругов нередко вызывала насмешливые замечания знакомых. Эти легкомысленные шутки отравляли спокойствие Саранина и смешили Аглаю Никифоровну.

Однажды, после вечера у сослуживцев, где пришлось выслушать немало колкостей, Саранин вернулся домой совсем расстроенный.

Лежа в постели рядом с Аглаею, ворчал и придирался к жене. Аглая лениво и нехотя возражала сонным голосом:

— Что же мне делать? Я не виновата.

Она была очень покойного и мирного нрава.

Саранин ворчал:

— Не обжирайся мясом, не трескай так много мучного; целый день конфеты лопаешь.

— Не могу же я ничего не кушать, коли у меня хороший аппетит, — сказала Аглая. — Когда я была в барышнях, у меня еще лучше был аппетит.

— Воображаю! Что ж ты, по быку сразу съедала?

— Быка сразу съесть невозможно, — спокойно возразила Аглая.

Скоро заснула, а Саранин заснуть не мог в эту странную осеннюю ночь.

Долго ворочался с боку на бок.

Когда русскому человеку не спится, он раздумывает. И Саранин предался этому занятию, столь мало ему свойственному в другое время. Он же был чиновник, — много думать было не о чем и не к чему.

«Должны же быть какие-нибудь средства, — размышлял Саранин. — Наука с каждым днем совершает удивительные открытия; в Америке делают людям носы какой угодно формы, наращивают на лицо новую кожу. Операции какие делают, — череп продырявливают, кишки, сердце режут и зашивают. Неужели же нет средства или мне вырасти, или Аглае телес посбавить? Какое-нибудь секретное бы средство? Да как его найти? Как? Да, вот если лежать, то не

найдешь. Под лежачий камень и вода не бежит. А поискать... Секретное средство! Может быть, он, изобретатель, просто ходит по улицам да ищет покупателя. Ведь как же иначе? Не может же он публиковать в газетах... А по улицам — вразнос, из-под полы продать что угодно, — это очень возможно. Ходит, предлагает по секрету. Кому нужно секретное средство, тот не станет валяться в постели».

Так поразмыслив, Саранин стал проворно одеваться, мурлыча себе под нос:

— В двенадцать часов по ночам...

Не боялся разбудить жену. Знал, что Аглая спит крепко.

— По-купечески, — говорил вслух; «по-мужицки», — думал про себя.

Оделся и вышел на улицу. Спать совсем не хотелось. На душе было легко, и настроение было такое, как у привычного искателя приключений перед новым интересным событием.

Мирный чиновник, проживший тихо и бесцветно треть века, ощутил вдруг в себе душу предприимчивого и свободного охотника диких пустынь, — героя Купера или Майн Рида.

Но, пройдя несколько шагов привычною дорогою, — к департаменту, — остановился, призадумался. Куда же, однако, идти? Все было тихо и спокойно, так спокойно, что улица казалась коридором громадного здания, обычным, безопасным, замкнутым от всего внешнего и внезапного. У ворот дремали дворники. На перекрестке виднелся городовой. Фонари горели. Плиты тротуара и камни мостовой слабо мерцали сыростью недавно прошедшего дождя.

Саранин подумал и в тихом недоумении пошел прямо вперед, повернул направо.

## II

На перекрестке двух улиц при свете фонарей он увидел идущего к нему человека, и сердце его сжалось радостным предчувствием.

То была странная фигура.

Халат ярких цветов, с широким поясом. Высокая шапка, остроконечная, с черными узорами. Шафраном окрашенная бородка, длин-

ная и узкая. Белые, блестящие зубы. Черные, жгучие глаза. Ноги в туфлях.

«Армянин!» — подумал почему-то Саранин.

Армянин подошел к нему, сказал:

— Душа моя, чего ты ищешь по ночам? Шел бы спать или к красавицам. Хочешь, провожу?

— Нет, мне и моей красавицы слишком довольно, — сказал Саранин.

И доверчиво поведал армянину свое горе.

Армянин оскалил зубы, заржал.

— Жена большая, муж маленький, — целовать, лестницу ставь. Вай, нехорошо!

— Что уж тут хорошего!

— Иди за мной, помогу хорошему человеку.

Долго шли они по тихим коридорообразным улицам, армянин впереди, Саранин сзади.

От фонаря до фонаря странное превращение совершалось с армянином. В темноте он вырастал, и чем дальше отходил от фонаря, тем громаднее становился. Иногда казалось, что острый верх его шапки поднимался выше домов, в облачное небо. Потом, подходя к свету, он становился меньше, и у фонаря принимал прежние размеры, и казался простым и обыкновенным халатником-торгашом. И, странное дело, Саранина не удивляло это явление. Он был настроен так доверчиво, что и самые яркие чудеса арабских сказок показались бы ему привычными, как и скучные переживания серенькой обычности.

У ворот одного дома, самой обычной постройки, пятиэтажного и желтого, они остановились. Фонарь у ворот ясно вырисовывал свои тихие знаки. Саранин заметил:

— № 41.

Вошли во двор. На лестницу заднего флигеля. Лестница полутемная. Но на дверь, перед которою остановился армянин, падал свет тусклой лампочки, — и Саранин различил цифры:

— № 43.

Армянин сунул руку в карман, вытащил оттуда маленький колокольчик, такой, каким звонят, призывая прислугу, на дачах, — и позвонил. Чисто, серебристо звякнул колокольчик.

Дверь тотчас же открылась. За дверью стоял босой мальчишка, красивый, смуглый, с очень яркими губами. Белые зубы блестели, потому что он улыбался, не то радостно, не то насмешливо. И казалось, что всегда улыбался. Зеленоватым блеском горели глаза смазливого мальчишки. Весь был гибкий, как кошка, и зыбкий, как призрак тихого кошмара. Смотрел на Саранина, улыбался. Саранину стало жутко.

Вошли. Мальчик закрыл дверь, изогнувшись гибко и ловко, и пошел перед ними по коридору, неся в руке фонарь. Открыл дверь, и опять зыбкое движение и смех.

Страшная, темная, узкая комната, уставленная по стенам шкапами с какими-то пузырьками, бутылочками. Пахло странно, раздражающим и непонятным запахом.

Армянин зажег лампу, открыл шкап, порылся там и достал пузырек с зеленоватою жидкостью.

— Хорошие капли, — сказал он, — одну каплю на стакан воды дашь, заснет тихонько и не проснется.

— Нет, мне это не надо, — досадливо сказал Саранин, — разве я за этим пришел!

— Душа моя, — убеждающим голосом сказал армянин, — другую жену возьмешь, себе по росту, — самое простое дело.

— Не надо! — закричал Саранин.

— Ну, не кричи, — остановил армянин. — Зачем сердишься, душа моя, себя даром расстраиваешь. Не надо, и не бери. Я тебе других дам. Но те дорогие, вай-вай, дорогие.

Армянин, присев на корточки, отчего его длинная фигура казалась смешною, достал четырехугольную бутылку. В ней блестела прозрачная жидкость. Армянин сказал тихо, с таинственным видом:

— Каплю выпьешь — фунт убудет; сорок капель выпьешь — пуд веса убудет. Капля — фунт. Капля — руб. Считай капли, давай рубли.

Саранин зажегся радостью.

«Сколько же надо? — подумал Саранин. — В ней пудов пять наверняка будет. Сбавить три пуда, останется малюсенькая женка. Это будет хорошо».

— Давай сто двадцать капель.

Армянин покачал головою.

— Много хочешь, худо будет.

Саранин вспыхнул.

— Ну, это уж мое дело.

Армянин посмотрел на него пытливо.

— Считай деньги.

Саранин вынул бумажник.

«Весь сегодняшний выигрыш, да своих прибавить надо», — подумал он.

Армянин тем временем достал граненый флакончик и стал капать.

Внезапное сомнение зажглось в душе Саранина.

Сто двадцать рублей — деньги немалые. А вдруг обманет?

— А верно ли они действуют? — спросил он нерешительно.

— Товар лицом продаем, — сказал хозяин. — Сейчас покажу действие. Гаспар, — крикнул он.

Вошел тот же босой мальчик. На нем была красная куртка и короткие синие панталоны. Смуглые ноги были открыты выше колен. Они были стройные, красивые и двигались ловко и быстро.

Армянин махнул рукой. Гаспар проворно сбросил одежду. Подошел к столу.

Свечи тускло озаряли его желтое тело, стройное, сильное, красивое. Послушную, порочную улыбку. Черные глаза и синеву под ними.

Армянин говорил:

— Чистые капли пить, — сразу действовать будет. Размешать в воде или вине, — медленно, на глазах не заметишь. Плохо смешаешь, — скачками пойдет, некрасиво.

Взял узкий стакан с делениями, налил жидкости, дал Гаспару. Гаспар с ужимкою избалованного ребенка, которому дали сладкое, выпил жидкость до дна, запрокинул голову назад, вылизал последние сладкие капли длинным и острым языком, похожим на змеиное жало, — и тот-

час же, на глазах у Саранина, начал уменьшаться. Стоял прямо, смотрел на Саранина, смеялся и изменялся, как купленная на вербе кукла, которая спадается, когда из нее выпускают воздух.

Армянин взял его за локоть и поставил на стол. Мальчик был величиною со свечку. Плясал и кривлялся.

— Как же он теперь будет? — спросил Саранин.

— Душа моя, мы его вырастим, — ответил армянин.

Открыл шкап и с верхней полки достал другой сосуд столь же странной формы. Жидкость в нем была зеленая. В маленький бокал величиною с наперсток налил армянин немного жидкости. Отдал ее Гаспару.

Опять Гаспар выпил, как первый раз.

С неуклонною медленностью, подобно тому, как прибывает вода в ванне, голый мальчик становился больше и больше. Наконец вернулся к прежним размерам.

Армянин сказал:

— Пей с вином, с водой, с молоком, с чем хочешь пей, только с русским квасом не пей, — сильно линять станешь.

## III

Прошло несколько дней.

Саранин сиял радостью. Загадочно улыбался.

Ждал случая.

Дождался.

Аглая жаловалась на головную боль.

— У меня есть средство, — сказал Саранин, — отлично помогает.

— Никакие средства не помогут, — с кислою гримасою сказала Аглая.

— Нет, это поможет. Это я от одного армянина достал.

Сказал так уверенно, что Аглая поверила в действительность средства от армянина.

— Ну уж ладно, дай.

Принес флакончик.

— Гадость? — спросила Аглая.

— Прелестная штука на вкус и помогает отлично. Только немного прослабит.

Аглая сделала гримаску.

— Пей, пей.

— А в мадере можно?

— Можно.

— И ты выпей со мною мадеры, — капризно сказала Аглая.

Саранин налил два стакана мадеры и в женин стакан вылил снадобье.

— Мне что-то холодно, — тихонько и лениво сказала Аглая, — хоть бы платок.

Саранин побежал за платком. Когда он вернулся, стаканы стояли, как прежде. Аглая сидела и улыбалась.

Закутал ее в платок.

— Мне как будто бы лучше, — сказала она, — пить ли?

— Пей, пей! — закричал Саранин. — За твое здоровье.

Он схватил свой стакан. Выпили.

Она хохотала.

— Что? — спросил Саранин.

— Я переменила стаканы. Тебя прослабит, — а не меня.

Вздрогнул. Побледнел.

— Что ты наделала? — воскликнул он в отчаянии.

Аглая хохотала. Смех ее казался Саранину гнусным и жестоким.

Вдруг он вспомнил, что у армянина есть восстановитель. Побежал к армянину.

«Дорого сдерет! — опасливо думал он. — Да что деньги! Пусть все берет, лишь бы спастись от ужасного действия этого снадобья».

## IV

Но злой рок обрушился, очевидно, на Саранина.

На дверях квартиры, где жил армянин, висел замок. Саранин в отчаянии хватился за звонок. Дикая надежда одушевила его. Звонил отчаянно.

За дверью громко, отчетливо, ясно звенел колокольчик, — с тою неумолимою ясностью, как звонят колокольчики только в пустых квартирах.

Саранин побежал к дворнику. Был бледен. Мелкие капельки пота, совсем мелкие, как роса на холодном камне, выступили на его лице и особенно на носу.

Стремительно вбежал в дворницкую, крикнул:

— Где Халатьянц?

Апатичный чернобородый мужик, старший дворник, пил чай с блюдечка. Покосился на Саранина. Спросил невозмутимо:

— А вам что от него требуется?

Саранин тупо глядел на дворника и не знал, что сказать.

— Ежели у вас какие с ним дела, — говорил дворник, подозрительно глядя на Саранина, — то вы, господин, лучше уходите. Потому как он армянин, так как бы от полиции не влетело.

— Да где же проклятый армянин? — закричал с отчаянием Саранин. — Из 43 номера.

— Нет армянина, — отвечал дворник. — Был, это точно, это скрывать не стану, а только что теперь нет.

— Да где же он?

— Уехал.

— Куда? — крикнул Саранин.

— Кто его знает, — равнодушно ответил дворник. — Выправил заграничный паспорт и уехал за границу.

Саранин побледнел.

— Пойми, — сказал он дрожащим голосом, — он мне до зарезу нужен.

Заплакал.

Дворник участливо посмотрел на него. Сказал:

— Да вы, барин, не убивайтесь. Уж коли у вас такая нужда есть до проклятого армянина, то вы поезжайте сами за границу, сходите там в адресный стол и найдете по адресу.

Саранин не сообразил нелепости того, что говорил дворник. Обрадовался.

Сейчас же побежал домой, влетел ураганом в домовую контору и потребовал от старшего дворника, чтобы тот немедленно выправил ему заграничный паспорт. Но вдруг вспомнил.

— Да куда же ехать?

## V

Проклятое снадобье делало свое злое дело с роковою медлительностью, но неуклонно. Саранин с каждым днем становился меньше и меньше. Платье сидело мешком.

Знакомые удивлялись. Говорили:

— Что, вы поменьше как будто? Каблуки перестали носить?

— Да и похудели.

— Много занимаетесь.

— Охота себя изводить.

Наконец при встречах с ним стали ахать:

— Да что это с вами?

За глаза знакомые начали насмехаться над Саранйным.

— Вниз растет.

— Стремится к минимуму.

Жена заметила несколько позже. Все на глазах, постепенно мельчал, — было ни к чему. Заметила по мешковатому виду одежды.

Сначала хохотала над странным уменьшением роста своего мужа. Потом стала сердиться.

— Это даже странно и неприлично, — говорила она, — неужели я вышла б замуж за такого лилипута!

Скоро пришлось перешивать всю одежду, — все старое валилось с Саранина, — брюки доходили до ушей, а цилиндр падал на плечи.

Старший дворник как-то зашел в кухню.

— Что же это у вас? — строго спросил он кухарку.

— Нешто это мое дело, — запальчиво закричала было толстая и красная Матрена, но тотчас же спохватилась и сказала: — У нас, кажется, ничего такого нет! Все как обыкновенно.

— А вот барин у вас поступки начал обнаруживать, так это разве можно? По-настоящему, его бы надо в участок представить, — очень строго говорил дворник.

Цепочка на его брюхе качалась сердито.

Матрена внезапно села на сундук и заплакала.

— Уж и не говорите, Сидор Павлович, — заговорила она, — просто мы с барыней диву дались, что это с ним, — ума не приложим.

— По какой причине? И на каком основании? — сердито восклицал дворник. — Так разве можно?

— Только-то и утешно, — всхлипывая, говорила кухарка, — корму меньше берет.

Дальше — меньше.

И прислуга, и портные, и все, с кем приходилось сталкиваться Саранину, начали относиться к нему с нескрываемым презрением. Бежит, бывало, на службу, маленький, еле тащит обеими руками громадный портфелище, — и слышит за собою злорадный смех швейцара, дворника, извозчиков, мальчишек.

— Баринок, — говорил старший дворник.

Много испытал Саранин горького. Потерял обручальное кольцо. Жена сделала ему сцену. Написала родителям в Москву.

«Проклятый армянин!» — думал Саранин.

Вспоминалось часто: армянин, отсчитывая капли, перелил.

— Ух! — крикнул Саранин.

— Ничего, душа моя, это моя ошибка, я за это ничего не возьму.

Сходил Саранин и к врачу, — тот осмотрел его с игривыми замечаниями. Нашел, что все в порядке.

Придет, бывало, Саранин к кому-нибудь, — швейцар не сразу впустит.

— Вы кто же такой будете?

Саранин скажет.

— Не знаю, — говорит швейцар, — наши господа таких не принимают.

## VI

На службе в департаменте сначала косились, смеялись. Особенно молодежь. Традиции сослуживцев Акакия Акакиевича Башмачкина живучи.

Потом стали ворчать. Выговаривать.

Швейцар уже стал снимать с него пальто с видимою неохотою.

— Тоже чиновник пошел, — ворчал он, — мелюзга. Что с такого получишь в праздник?

И для поддержания престижа Саранину приходилось давать на чай чаще и больше прежнего. Но это мало помогало. Швейцары брали деньги, но на Саранина смотрели подозрительно.

Саранин проговорился кое-кому из товарищей, что это армянин нагадил. Слух об армянской интриге быстро разошелся по департаменту. Дошел и до иных департаментов...

Директор департамента однажды встретил в коридоре маленького чиновника. Осмотрел удивленно. Ничего не сказал. Ушел к себе.

Тогда сочли необходимым доложить. Директор спросил:

— Давно ли это?

Вице-директор замялся.

— Жаль, что вы не заметили своевременно, — кисло сказал директор, не дожидаясь ответа. — Странно, что я этого не знал. Очень жалею.

Потребовал Саранина.

Когда Саранин шел в кабинет директора, все чиновники смотрели на него с суровым осуждением.

С трепетным сердцем вошел Саранин в кабинет начальника. Слабая надежда еще не покидала его, надежда, что его превосходительство намерен дать ему весьма лестное поручение, пользуясь малостью его роста: командировать на всемирную выставку или по какому-нибудь секретному поручению. Но при первых же звуках кислого директорски-департаментского голоса эта надежда рассеялась как дым.

— Сядьте здесь, — сказал его превосходительство, показывая на стул.

Саранин взобрался кое-как. Директор сердито посмотрел на болтнувшиеся в воздухе ноги чиновника. Спросил:

— Господин Саранин, известны ли вам законы о службе гражданской по назначению от правительства?

— Ваше превосходительство, — залепетал Саранин и молебно сложил ручонки на груди.

— Как осмелились вы столь дерзко идти против видов правительства?

— Поверьте, ваше превосходительство...

— Зачем вы это сделали? — спросил директор.

И уже не мог ничего сказать Саранин. Заплакал. Очень стал слезлив за последнее время.

Директор посмотрел на него. Покачал головою. Заговорил очень строго:

— Господин Саранин, я пригласил вас, чтобы объявить вам, что ваше необъяснимое поведение становится совершенно нетерпимым.

— Но, ваше превосходительство, я, кажется, все исправно, — лепетал Саранин, — что же касается роста...

— Да вот именно.

— Но это несчастие не от меня зависит.

— Не могу судить, насколько это странное и неприличное происшествие является для вас несчастием и насколько оно от вас не зависит, но должен вам сказать, что для вверенного мне департамента ваше удивительное умаление становится положительно скандальным: уже ходят в городе соблазнительные слухи. Не могу судить об их справедливости, но знаю, что эти слухи объясняют ваше поведение в связи с агитацией армянского сепаратизма. Согласитесь, департамент не может быть местом развития армянской интриги, направленной к умалению русской государственности. Мы не можем держать чиновников, которые ведут себя так странно.

Саранин соскочил со стула, дрожал, пищал:

— Игра природы, ваше превосходительство.

— Странно, но служба...

И опять повторил тот же вопрос:

— Зачем вы это сделали?

— Ваше превосходительство, я сам не знаю, как это произошло.

— Что за инстинкты! Пользуясь малостью вашего роста, вы можете легко укрыться под всякою дамской, с позволения сказать, юбкой. Это не может быть терпимо.

— Я никогда этого не делал, — завопил Саранин.

Но директор не слушал. Продолжал:

— Я даже слышал, что вы это делаете из сочувствия к японцам. Но надо же знать во всем границу.

— Как же я могу это делать, ваше превосходительство?

— Не знаю-с. Но прошу прекратить. Оставить вас на службе можно, но только в провинции, и чтобы это было немедленно же прекращено, чтобы вы вернулись к вашим обычным размерам. Для поправления вашего здоровья вам дается четырехмесячный отпуск. В департамент прошу вас более не являться. Необходимые для вас бумаги будут вам присланы на дом. Мое почтение.

— Ваше превосходительство, я могу заниматься. Зачем же отпуск!

— Возьмете по болезни.

— Но я здоров, ваше превосходительство.

— Нет уж, пожалуйста.

Саранину дали отпуск на четыре месяца.

## VII

Скоро Аглаины родители приехали. Было это после обеда. Аглая за обедом долго издевалась над мужем. Ушла к себе.

Он робко прошел в свой кабинет, — такой теперь для него огромный, — вскарабкался на диван, приник к уголку, заплакал. Тягостное недоумение томило его.

Почему именно на него обрушилось такое несчастие? Ужасное, неслыханное.

Какое легкомыслие!

Он всхлипывал и шептал отчаянно:

— Зачем, зачем я это сделал?

Вдруг услышал в передней знакомые голоса. Задрожал от страха. На цыпочках прокрался к умывальнику, — не заметили бы заплаканных глаз. И умыться-то было трудно, — пришлось подставлять стул.

Уже гости входили в залу. Саранин встретил их. Раскланивался и пищал что-то неразборчивое. Аглаин отец тупо смотрел на него вытаращенными глазами. Большой, толстый, с бычьею шеею и красным лицом. Аглая в него.

Постояв перед зятем, широко расставив ноги, он осмотрелся осторожно, бережно взял руку Саранина, принагнулся и сказал, понижая голос:

— Мы к вам, зятек, приехали повидаться.

Видно было, что он намерен вести себя политично. Нащупывал почву.

Из-за его спины выдвинулась Аглаина мать, особа тощая и злобная. Она закричала визгливо:

— Где он? где? покажи мне его, Аглая, покажи мне этого Пигмалиона.

Она смотрела поверх Саранина. Нарочно не замечала. Цветы на ее шляпе странно колыхались. Она шла прямо на Саранина. Он пискнул и отскочил в сторону.

Аглая заплакала и сказала:

— Вот он, маменька.

— Я здесь, маменька, — пискнул Саранин и шаркнул ногою.

— Злодей, да что ты с собой сделал? Зачем ты так окорнался?

Горничная фыркала.

— А ты, матушка, на господ не фыркай.

Аглая покраснела.

— Маменька, пойдемте в гостиную.

— Нет, ты скажи, злодей, на какой конец ты этак малявишься?

— Ну, ты, мать, погоди, — остановил ее отец.

Она и на мужа вскинулась.

— Ведь говорила я тебе, не выдавай за безбородого. Вот, по-моему и вышло.

Отец осторожно поглядывал на Саранина и все пытался перевести разговор на политику.

— Японцы, — говорил он, — приблизительно невысокого роста, а по-видимому, мозговатый народ, и даже, между прочим, оборотистый.

## VIII

И стал Саранин маленький-маленький. Уж он свободно ходил под столом. И с каждым днем становился все мельче. Отпуском он еще

не воспользовался вполне. Только что на службу не ходил. А ехать куда-нибудь еще не собрались.

Аглая то издевалась над ним, то плакала и говорила:

— Куда я тебя такого повезу? Стыд и срам.

Пройтись из кабинета в столовую — стало путем весьма солидных размеров. Да еще на стул взлезть...

Впрочем, усталость была сама по себе приятна. От нее аппетит являлся и надежда вырасти. Саранин набрасывался на пищу. Пожирал ее непропорционально своим миниатюрным размерам. Но не рос. Напротив — все мельчал и мельчал. Хуже всего, что уменьшение роста иногда происходило скачками, в самое неудобное время. Словно фокусы показывал.

Аглая подумывала было выдавать его за мальчика, определить в гимназию. Отправилась в ближайшую. Но разговор с директором обескуражил ее.

Потребовались документы. Оказалось, что план неосуществим.

С видом крайнего недоумения директор говорил Аглае:

— Мы не можем принять надворного советника. Как же мы с ним будем? Ему учитель велит в угол идти, а он скажет: я — кавалер святой Анны. Это очень неудобно.

Аглая сделала просящее лицо и принялась было упрашивать.

— Нельзя ли как-нибудь устроить? Он не посмеет дерзить, — уж я об этом позабочусь.

Директор остался непреклонен.

— Нет, — говорил он упрямо, — нельзя чиновника принять в гимназию. Нигде, ни одним циркуляром не предусмотрено. И входить к начальству с таким представлением совершенно неудобно. Как еще там посмотрят. Могут выйти большие неприятности. Нет, никак нельзя. Обратитесь, если желаете, к попечителю.

Но Аглая уже не решилась ехать к начальству.

## IX

Однажды к Аглае пришел молодой человек, очень гладко, до блеску, причесанный. Расшаркался весьма галантно. Отрекомендовался:

— Представитель фирмы Стригаль и К°. Первоклассный магазин в самом бойком центре столичного аристократического движения. Имеем массу заказчиков в самом лучшем и высшем обществе.

Аглая на всякий случай сделала глазки представителю знаменитой фирмы. Томным движением дебелой руки указала ему на стул. Села спиною к свету. Склонила голову набок. Приготовилась слушать.

Блистательно причесанный молодой человек продолжал:

— Мы узнали, что ваш супруг изволил предпочесть оригинально миниатюрный рост. Поэтому фирма, идя навстречу самоновейшим влияниям в области дамских и мужских мод, имеет честь предложить вам, сударыня, в видах рекламы, бесплатно шить господину костюмы по самому лучшему парижскому журналу.

— Даром? — лениво спросила Аглая.

— Не только даром, сударыня, но даже с приплатой в вашу собственно пользу, но с одним маленьким и легко выполнимым условием.

Меж тем Саранин, прослыша, что речь о нем, пробрался в гостиную. Расхаживал около молодого человека с блистательною прическою. Покашливал, постукивал каблучками. Очень досадовал, что представитель фирмы Стригаль и К° не обращает на него ни малейшего внимания.

Наконец он подбежал к молодому человеку. Громко пискнул:

— Разве вам не сказали, что я дома?

Представитель знаменитой фирмы встал. Галантно шаркнул. Сел. Обратился к Аглае:

— Одно только маленькое условие.

Саранин презрительно фыркнул. Аглая засмеялась. Сказала, блистая любопытными глазами:

— Ну, говорите, какое условие.

— Условие наше в том, чтобы господин изволил сидеть за окном нашего магазина в качестве живой рекламы.

Аглая злорадно захохотала.

— Отлично. Хоть бы с глаз его долой.

— Я не согласен, — пронзительным голосом запищал Саранин. — Я не могу пойти на это. Я — надворный советник и кавалер. Сидеть в окне магазина для рекламы — это мне даже смешно.

— Замолчи, — крикнула Аглая, — тебя не спрашивают.

— Как не спрашивают? — завопил Саранин. — Долго ли я буду терпеть от инородцев!

— Ну, и господин ошибается! — любезно возразил молодой человек. — Наша фирма не имеет ничего общего с инородческими элементами. У нас служат все православные и лютеране из Риги. И у нас нет евреев.

— Я не хочу сидеть в окне! — кричал Саранин.

Топал ногами. Аглая схватила его за руку. Повлекла в спальню.

— Куда ты меня тащишь? — кричал Саранин, — я не хочу, отпусти.

— Я тебя усмирю, — крикнула Аглая.

Замкнула дверь.

— Изобью! — сказала она сквозь зубы.

Принялась колотить. Бессильно барахтался в ее могучих руках.

— Ты, пигмей, в моей власти. Что захочу, то и сделаю. Я тебя в карман могу засунуть, — как же ты смеешь мне противиться! Я не посмотрю на твои чины, я тебя так взбучу, что тебе небо с овчинку покажется.

— Я буду жаловаться! — пищал Саранин.

Но скоро понял бесполезность сопротивления. Был слишком мал, — и Аглая, очевидно, решила пустить в дело всю свою силу.

— Будет, будет, — завопил он, — иду в стригальское окно. Буду там сидеть, — тебе же срам. Надену все свои регалии.

Аглая захохотала.

— Ты наденешь то, что тебе Стригаль даст, — крикнула она.

Выволокла мужа в гостиную. Бросила его приказчику. Крикнула:

— Берите! сейчас же возьмите его! И деньги вперед! Каждый месяц!

Ее слова были истеричными вскриками.

Молодой человек вытащил бумажник. Отсчитал двести рублей.

— Мало! — крикнула Аглая.

Молодой человек улыбнулся. Достал еще сторублевку.

— Больше-с не уполномочен, — любезно сказал он. — Через месяц изволите получить следующий взнос.

Саранин бегал по комнате.

— В окно! в окно! — выкрикивал он. — Проклятый армянин, что ты со мной сделал?

А сам вдруг еще вершка на два осел.

## X

Бессильные слезы, тоска Саранина, — что до этого Стригалю и его компаньонам?

Они заплатили. Они осуществляют свое право. Жестокое право капитала.

Под властью капитала сам надворный советник и кавалер занимает положение, вполне соответствующее его точным размерам и нисколько не отвечающее его гордости. По последней моде одетый лилипут бегает в окне модного магазина, — то засмотрится на красавиц, — таких колоссальных! — то злобно грозит кулачками смеющимся ребятам.

У окон Стригаля и К° толпа.

В магазине Стригаля и К° приказчики сбились с ног.

Мастерская Стригаля и К° завалена заказами.

Стригаль и К° в славе.

Стригаль и К° расширяют мастерские.

Стригаль и К° богаты.

Стригаль и К° покупают дома.

Стригаль и К° великодушны: они кормят Саранина по-царски, они не жалеют денег для его жены.

Аглая получает уже по тысяче в месяц.

У Аглаи завелись и еще доходы.

И знакомства.

И любовники.

И бриллианты.

И экипажи.

И дом.

Аглая весела и довольна. Она раздобрела еще больше. Носит башмаки на высоких каблуках. Выбирает шляпки гигантских размеров.

Посещая мужа, она ласкает его и кормит, как птицу, с пальца. Саранин во фраке с куцыми фалдочками дробными шагами бегает перед нею по столу и пищит что-то. Голос его пронзителен, как комариный писк. Но слова не слышны.

Маленькие людишки могут говорить, — но их писк не слышен людям больших размеров, ни Аглае, ни Стригалю, ни всей компании. Аглая, окруженная приказчиками, слушает визг и писк человека. Хохочет. Уходит.

Саранина несут на окно, где в гнезде мягких материй ему устроена целая квартира, обращенная к публике открытою стороною.

Уличные мальчишки видят, как человечишка садится к столу и принимается писать прошения. Крохотные прошеньица о восстановлении своих нарушенных Аглаею, Стригалем и К° прав.

Пишет. Сует в конвертик. Мальчишки хохочут.

Между тем Аглая садится в свой блистательный экипаж. Едет покататься перед обедом.

## XI

Ни Аглая, ни Стригаль и К° не думали о том, чем все кончится. Они довольны были настоящим. Казалось, что и конца не будет золотому дождю, льющемуся на них. Но конец наступил. Самый обыкновенный. Какого и следовало ждать.

Саранин все меньшал. Каждый день ему шили по несколько новых костюмов, — все меньше.

И вдруг он, на глазах удивленных приказчиков, только что надев новые брючки, стал совсем крохотным. Вывалился из брючек. И уже стал, как булавочная головка.

Подул легкий сквознячок. Саранин, крохотный, как пылинка, поднялся в воздух. Закружился. Смешался с тучею пляшущих в солнечном луче пылинок.

Исчез.

Все поиски были напрасны. Не нашелся нигде Саранин.

Аглая, Стригаль и К°, полиция, духовенство, начальство, — все были в большом недоумении.

Как оформить исчезновение Саранина?

Наконец, по сношению с Академиею наук, решили считать его посланным в командировку с научною целью.

Потом о нем забыли.

Саранин кончился.

## *Рождественский мальчик*

Пусторослев наконец остался один.

Столько усталости! Целый день встреч и разговоров. Жгучие, волнующие темы. Заботы и хлопоты о деле, которое так взяло все время.

Так взяло все время, что теперь, в минуту отдыха, вдруг не хочется думать о нем. Усталость обволакивает все чувства липкою пеленою. Глаза не хотят глядеть.

Прилег на диван. На письменном столе стынет недопитый стакан чаю. Бледное, нервное лицо склонилось. На темно-красной подушке оно кажется особенно бледным и худым.

Припомнилась далекая Сибирь. Подневольное житье в ней. Лютые морозы. Земля, которая и летом не оттаивала глубоко. Товарищи суровой ссылки. Долгие, долгие ночи. И такой мрак, и такой холод!

Захотелось безопасности, уюта, семьи. Услышать детский лепет в этой квартире, слишком большой и слишком богатой для одного, — и робкие упражнения на рояли, — и внезапный смех.

Подумал: «Разве с меня не довольно? Пусть работают другие».

И улыбка. Конечно, пусть другие.

И сразу же знал, что это — так только.

Нет, уже не оторваться от дела...

Опять тонкая дремота.

И вдруг легкие шаги.

Встрепенулся. Открыл глаза.

Никого нет.

Странно, — в последнее время Пустарослев не раз замечал в минуты усталости и отдыха, что он не один. Чьи-то легкие шаги шуршали по полу недалеко от него, — словно кто-то маленький тихонько проходил мимо него, осторожно, босыми ногами. Маленький, едва достигавший головою до дивана. Подходил, всматривался, поднимая прекрасное нездешнее лицо. Прислушивался. Говорил что-то тихое и странно внятное. Звал куда-то.

Но стоило открыть глаза, — и странный посетитель с легким шорохом скрывался. И уже казалось, что и не было его.

Сначала Пусторослев не думал об этих посещениях. Мало ли что приснится или покажется в минуты тоски и усталости.

Но вот уже несколько дней подряд маленький гость стал занимать внимание Пусторослева.

Прежде он приходил изредка. Теперь — каждый вечер. И Пусторослев уже начал ждать его.

В неверном, мертвом и неподвижном свете электрической лампы он приходил, легкий, маленький. И шаги его становились слышнее, — словно он уже вырос, стал смелее и решительнее.

Прежде он подкрадывался на цыпочках, — а откроешь глаза, — он укатывался куда-то дробными шагами, как испуганный мышонок, и не разобрать было, куда он убежал.

Теперь он приходил неторопливо, и слышно было, как легко, спокойно и уверенно ступают на паркете его ноги. И Пусторослев не решался еще очень быстро открыть глаза. Тот, ночной, уходил не торопясь, и Пусторослев наконец приметил, куда он уходит.

Это было место на стене. Самое обыкновенное на невнимательный взгляд. Немного ниже и наискось того места, где в черной раме висела гравюра, Мона Лиза. Между двух стульев. Узор обоев ничем, по-видимому, не отличался. Но было какое-то странное и значительное выражение в этих зеленоватых странных цветах.

И когда Пусторослев долго всматривался в узор, ему вдруг начинало казаться, что это место на стене чем-то обведено, словно за ним скрывается тайная дверь.

Лежал, закрыв глаза. От лампы на столе поодаль падали неподвижные пятна света на тонкое лицо. Услышал легкие шаги. Маленький посетитель подошел, всматривался и чего-то ждал. И в этом ожидающем стоянии неизвестного посетителя было что-то жуткое, тоскливое, вынуждающее к чему-то.

«Что-то надо сказать или сделать», — подумал Пусторослев.

Он слегка приоткрыл глаза, — и замер от жуткого и сладкого ужаса. Перед ним стоял мальчик, лет десяти на вид, весь белый, тонкий и сияющий. На бледном, точно неживом лице жутко мерцали черные, страшно глубокие глаза. Одежда странного покроя, вся белая, открывала тонкую, длинную шею, и открыты были выше колен стройные, тонкие ноги. И весь он был спокойный и словно неживой, и только черные на бледном лице глаза жили и настойчиво вопрошали.

Миг один длилось видение, — и скрылось. Пусторослев открыл глаза, быстро встал, двинулся к мальчику, протянул руки, — но мальчика уже не было.

— Милый! кто же ты? где же ты? — воскликнул Пусторослев.

Стало тихо. Ожиданием была растворена тишина.

И вдруг, — тихий, сладкий и звонкий раздался смех. Пронесся в зыбкой тишине, — и замер.

И Пусторослев вдруг почувствовал, что он остался один.

Один! Никогда еще с такою значительностью не представало пред ним это столь страшное, столь великое, столь не понятое людьми слово.

Одиночество, сладостное и несравненное, великий праздник для великой и надменной души, великое томление для вопрошающего человека!

И в этот миг больно почувствовал Пусторослев, что он только человек, вопрошающий о неизвестном. В странном порыве тоски подошел он к тому месту на стене, где под холодною и таинственною улыбкою Джиоконды таилась дивная дверь, — и странные слова как бы сами собою родились на его устах:

— И ты хочешь быть человеком? Зачем? Что тебе в нашем бедном существовании?

И тихий голос ответил почти беззвучно, но странно внятно:

— Я хочу.

«Бедные, расстроенные нервы, — думал на другое утро Пусторослев. — Надо уехать из этого жуткого и жестокого города».

Но когда он одевался, в неверном и слабом свете северного раннего утра прошел мимо него тихими и легкими шагами белый, весь белый и спокойный мальчик и сказал тихонько старые, странно земные и трогательные слова:

— Голодные. Дети. Трупики.

— Что? — в ужасе спросил Пусторослев.

И в тишине послышались еще более простые и земные слова:

— На гривенник молока.

Кратко и жутко промелькнул, едва возник и уже клонился к закату морозный день. На Невском зажигались фонари. Украдкой. Никто не видел, как они вспыхнули. И свет их был ясный и беспокойный.

На перекрестке двух шумных улиц, остановившись на минуту пережидать толчею экипажей, Пусторослев увидел поэта-декадента, Приклонского. Медленною, развинченною походкою Приклонский подошел к Пусторослеву и молча пожал ему руку.

Пусторослев не любил Приклонского. Считал его шарлатаном. В этом смысле высказывался кое-где. До Приклонского, очевидно, дошли резкие отзывы Пусторослева. Как-то, встретясь на одном из тех вечеров, где все бывают и где всем бывает скучно, Приклонский подошел к Пусторослеву и без всякого повода начал рассказывать, по обычаю своему, очень парадоксально, что все писатели разделяются на два разряда: дилетанты и шарлатаны. Пусторослеву стало неловко. С тех пор чувство неловкости всегда охватывало Пусторослева, когда он встречался с Приклонским. Странные, опьяненно-веселые и невнимательные глаза Приклонского наводили на Пусторослева тоску.

Но теперь Пусторослев обрадовался этой встрече.

— Приключение по вашей части, — сказал он, стараясь говорить иронично и вдруг чувствуя с досадою, что это ему не удается.

И он рассказал о белом мальчике. Досадно было, что рассказ выходит в сбивающемся тоне.

— Призраки держат себя странно, — закончил он, — вместо откровений о загробном мире какой-то детский и совершенно земной лепет.

Приклонский выслушал так спокойно, как рассказ о самом обыкновенном событии.

— Что вас удивляет? — спросил он. — Земное не ниже и не хуже небесного. Между этим и тем миром не такое соотношение, что одно хуже, а другое лучше. Плоть так же свята, как и дух.

— Но «на гривенник молока», — это все же слишком прозаично, — возразил Пусторослев.

Приклонский помолчал, спокойно посмотрел на него и заговорил, как бы отвечая на какие-то другие, более интересные слова:

— Мы живем среди природы, которая вся насквозь проникнута стремлением к жизни. Тысячелетия тому назад волевая энергия природы была так велика, что возникли бесчисленные разновидности жизни на земле. Теперь энергия природы принимает иной характер: природа стремится не только к бытию, — она стремится к тому, чтобы осознать себя. Нас окружает страстное желание не только быть, но быть самым сознательным, — быть человеком, и более, чем человеком. Те домашние маленькие нежити, которых вы давно чувствовали вокруг себя, настойчиво стучались в двери вашего сознания. Вам надлежит теперь отдаться с доверчивостью тому приключению, которое вас ожидает. Они вас не обманут. По крайней мере, смело можно утверждать, что они не сделают с вами ничего такого, возможности чего не заложены в вас самих.

По-видимому, Приклонский собирался говорить еще долго. Но в легком дрожании его губ, которое придавало его некрасивому, преждевременно увядшему лицу ироническое выражение, Пусторослеву почудилось желание мистифицировать его. Он начал слушать рассеянно и наконец сказал:

— Просто нервы у меня не в порядке.

— Просто, — неопределенным тоном повторил Приклонский.

Опять длился вечер, холодный, скучный, одинокий, — и он казался нескончаемым и ненужным. Никуда не пошел Пусторослев, хотя его

ждали в одном месте, и сам он в другое время охотно поехал бы туда. В другое время. Но теперь что-то удерживало Пустораслева, и странное ожидание томило его больно и жутко.

Длился, томительно длился вечер, — и все было обычно, и скучно, и буднично, как всегда, — и уже казалось, что ничего нет и не будет, кроме того, что бывает обыкновенно. Ни чуда, ни явлений из иного мира, близкого и вечно загадочного, страшного и желанного.

И опять усталость одолела Пустораслева. Он лег, взял книгу, чтобы скоротать время до того часа, когда можно лечь в постель.

Опустил книгу, докучную, ненужную. Закрыл глаза...

И как он мог не заметить раньше? Всегда здесь с ним кто-то, вопрошающий, неотступный. Чего он хочет?

Пустораслев сказал тихо, не открывая глаз:

— Скажи мне, чего ты хочешь, и где ты, и кто ты. Скажи мне о себе, — и я сделаю все, чего ты хочешь, и пойду за тобою.

Легкие шаги послышались. Таинственный гость подошел и стал у изголовья сзади. Так близко, — протянуть только руку, и коснешься его. Так близко, — и так далеко.

Пустораслев повернулся набок, двинул руку туда, к изголовью, — и вдруг услышал тихие, тревожные слова:

— Не гляди. Не тронь. Рано.

Пустораслев опять лег спокойно, на спину, закрыл глаза и слушал.

Послышался нежный голос белого мальчика:

— Если бы я жил!

И в этом кратком восклицании было столько призывной тоски, такая жажда жизни достойной и доблестной, такой порыв наполнить огнем святой борьбы минуты жизни, что Пустораслев почувствовал, как душа его зажглась давно уже не испытанным восторгом.

Он встал. Быстро подошел к тому месту, где чудилась ему в стене дивная дверь. Не думал о ней, — как-то мимовольно подошел именно к ней. Остановился. Ждал. И весь дрожал.

Как тихое дуновение легкого ветра, мимо него прошел белый мальчик, зыбкий, едва видимый. Открылась тайная в стене дверь. За нею —

узкий, темный проход. И Пустарослев без колебания пошел за мальчиком в неизвестный путь...

Были тогда беспокойные дни. Рабочие голодали, не шли на работы. Было много солдат и казаков. Иногда на улицах убивали.

Долог был путь; но как-то странно Пустарослев не замечал его. Наконец он увидел, что стоит на дворе деревянного старого дома. Под воротами горел фонарь, и если глядеть в ту сторону долго, то после на дворе казалось еще темнее и холоднее. Пустарослев был один. Ждал. Кто-то тихий и легкий промелькнул мимо него и скрылся.

— Куда же идти? — спросил Пустарослев.

И уже после того он увидел дворника. Молодой, длинный и тощий парень с рыжими, жесткими волосами, которых было так много, что они, казалось, приподнимали шапку-блин.

— Да вам кого? — спросил он простуженным и ленивым голосом.

Пустарослев сказал фамилию, — казалось ему, что она случайно пришла ему в голову:

— Елизаров здесь?

— А вон по той лестнице, в четвертый этаж, — ответил дворник.

Как во сне, прошли перед Пустарослевым жуткие впечатления: смрадная квартира; много угрюмых, словно голодных людей. Под образами — мертвая женщина. Мальчик, сын мертвой. Тощий, грязный, уродливый и страшно и странно похожий на того мальчика, который приходил к Пустарослеву по вечерам.

Мальчик остался один. Родных не было. Пустарослев взял его. Жадные, голодные глаза глядели за ним, когда он уводил ребенка.

И все это промелькнуло так быстро, и все это казалось Пустарослеву сном до тех пор, пока он не очутился дома.

Наташа, его чинная и строгая служанка, сердито поморщилась, когда Пустарослев объявил ей, что ребенка он взял и что его надо устроить.

— За два часа не отмоешь, — ворчала она.

На другое утро Пустарослев заказал мальчику белую одежду того покроя, который он видел на своем таинственном посетителе. Запла-

тил, не торгуясь, так щедро, что, несмотря на предпраздничную спешку, одежда к вечеру была готова.

И когда вечером, тщательно вымытый, выстриженный, тонкий, белый, с горящими черными глазами, в короткой белой одежде, оставляющей ноги голыми, необутый мальчик тихо подошел к Пустораслеву, стало Пустораслеву жутко, — так похож был этот мальчуган на того, вечернего и таинственного.

— Ты откуда, Гриша? — спросил Пустораслев.

Мальчик неловко дернул плечом, потеребил тонкими пальчиками складки своего наряда и ответил:

— Из фабричных.

Помолчал. Потом сказал по-ребячески плаксиво:

— Утром с Наташей ездили, маму хоронили. Отец летом помер, теперь мама померла, — просто хоть ложись да помирай.

— Теперь ты мой будешь, — сказал Пустораслев.

Мальчик помолчал, потупился, шепнул тихонько:

— Спасибо.

Мальчик был тихий, но не робкий. Он дичился посторонних, старался уйти, когда кто-нибудь приходил, но уж если его останавливали, то он отвечал на вопросы прямо и просто, с эпическим спокойствием первобытного существа.

Наступали праздники. Пустораслев сделал для Гриши елку. Позвал детей. Было человек десять маленьких гостей, бедные и богатые. Было весело и шумно. Пустораслева радовал Гришин смех, но ему жутко было глядеть в его внимательные, слишком черные, слишком глубокие глаза.

Наутро он спросил:

— Гриша, скажи, понравилась тебе вчера елка?

Гриша, по своей привычке, помолчал немного, теребя складки своего наряда и потом сказал странно спокойным голосом:

— Елка — очень хорошо. Славно. А ребятишки у вас скверные были.

— Чем скверные? — с удивлением спросил Пустораслев.

Гриша заговорил поживее:

— А как же, — они себя различают. Которые богатые считаются, те так свысока, а которые бедные, то такие завидущие, и все они завидуют, и так у них на все глаза и горят. Все бы им отдать, да и то бы им мало было. Право слово, завидущие.

Часто разговаривали Пусторослев с Гришею. Каждый вечер. И каждый раз Пусторослев звал к себе Гришу с таким жутким чувством, как будто бы он и ждал от него, и боялся каких-то странных и страшных слов.

«Знает ли Гриша того, ночного? — думал иногда Пусторослев. — Не спросить ли его? Но как спросить?»

И наконец спросил:

— Гриша, ты у меня был раньше?

Мальчик побледнел еще больше, и казалось, что он вдруг испугался. Робко шепнул он:

— А ты почем знаешь?

Пусторослев закрыл глаза. Голова его кружилась жутко и томно.

А Гриша говорил:

— Я-то у тебя был. Во сне. Вижу я, сидит такой барин за столом и крепко думает. А лица не видно. И так показывает, будто и вовсе лица нет. Но только это неверно. Теперь-то я узнал, — все как у тебя, и стол, и лампа, все, как есть.

— Гриша, зачем же ты ко мне приходил?

Гриша вздохнул.

— Ну вот, — рассказывал он, — вижу, сидит будто барин, а лица не видно. А я и говорю: барин, а барин, нешто нам весь век голодать одним. Пойдем помирать вместе. А барин ничего не говорит. Все думает. Ну, я и уйду. А после того мама захворала. Померла. А после того и ты меня взял.

— Гриша, зачем ты меня звал? — с тоскою спросил Пусторослев.

Гриша засмеялся. Как тот, ночной. Такой же зыбкий и быстрый смех. Точно быстрый плач. Такой ясный смех и такой невеселый.

— А как же? — страстно заговорил Гриша, — отчего так? Почему, скажи, за что нам такое житье собачье? Разве для того мы на

земле живем, чтобы друг друга поедом есть? За что? И если он насильничает, так все и терпеть без конца?

Пусторослев глядел на черные, пламенные Гришины глаза, на его бледное, худое и такое прекрасное лицо. Жутко было ему. А Гриша говорил:

— Пойти бы всем вместе, дошли бы до такого места, где земля новая, и небо новое, и лев свирепый не кусает, и змейка-скоропейка не жалит. Да нет нам свободы, никуда не пойдешь.

— Гриша, откуда ты набрался слов? — спросил Пусторослев.

Ему хотелось разрушить это темное очарование, которое так долго держало его в своей власти.

Гриша слегка покраснел.

— Может быть, я глупости говорю. Не знаю. Что от людей услышишь, что сам придумаешь. Ты думаешь, что ты барин, так ты один думаешь? Я тоже люблю думать. Только что я тебе скажу.

Гриша приумолк.

— Скажи, Гриша.

— Если бы я все это дело знал, ни за что бы я не захотел быть человеком.

Были не раз такие странные и не совсем детские разговоры. Наутро Пусторослеву казалось, что этого Гриша не говорил, что все эти слова ему пригрезились в дремоте позднего вечера, в усталой дремоте вопрошающего и не находящего ответа человека.

И сам Гриша днем бывал совсем простым и обыкновенным мальчиком, с самыми простыми мальчишескими затеями и интересами. Только тихий очень и скромный, и очень худенький. И когда вспоминал покойных родителей, то иногда поплачет. А когда говорили при нем о фабричных рабочих, он делался печальным и хмурым, и начинал дрожать, и тихо уходил.

Там, у гроба матери, он казался лохматым, взъерошенным и уродливым. Но на самом деле он был скорее красив. Только очень уж худ.

И хорошо было то, что у него не много было неприятных привычек. Или, может быть, он был такой тихий и внимательный, что сам скоро замечал, чего здесь не следует делать.

Приближались великие дни. Сладостное веяние свободы носилось над городами и темными селениями нашей родины. Со-

зрело негодование, и в его бурном дыхании отогрелась нежная надежда, так долго таившаяся под равнодушным и беспощадным снегом.

Гриша пришел вечером к Пусторослеву. Видно было, что он хочет что-то сказать.

— Гриша, что ты? — спросил Пусторослев.

Гриша помолчал. Покраснел.

Так покраснел, как никогда еще не видел у него Пусторослев. Сказал звенящим и решительным голосом:

— Наши завтра пойдут. И я пойду.

Пусторослев испугался.

— Гриша, куда ты пойдешь? Что за глупости! — досадливо крикнул он. — Что тебе там делать, такому маленькому?

Гришины глаза горели, и щеки багряно пылали.

— Пойду, — тихо, но решительно сказал он.

Пустрослев понял, что не надо спорить.

— Гриша, — сказал он успокоительно, — утро вечера мудренее. Мы об этом лучше завтра поговорим с тобою, — а теперь не пора ли нам спатиньки?

Гриша стыдливо улыбнулся.

— Спатиньки придут сами, — сказал он, — а только какие спатиньки? Белые далеко, зеленым рано, серых не хочу, черных ты не пустишь, — какие же спатиньки! разве только красные.

День страшный и беспощадный поднялся над морозным жутким городом. Была безоружная толпа, и вооруженные люди убивали. И ужас витал над столицею.

Пустрослев рано вышел из дому. Забыл о Грише. Встречи и заботы захватили его.

И вдруг в говоре толпы мимолетные слова:

— Много мальчишек...

Разом вспомнил. Стало страшно. Поехал домой. Очень торопил извозчика. И так было страшно и тоскливо, словно непоправимое совершалось несчастие.

Дома — расстроенное Наташино лицо, ее убегающий взор, ненужные слова:

— Ах, Андрей Павлович, на улицах-то что делается.

— Гриша где? — крикнул Пусторослев.

Наташа смутилась. Покраснела. Заплакала.

— Как сказали с вечера шубку спрятать и сапожки, все спрятала в шкап. Да уж как он ключ нашел, ума не приложу. И такой был тихий, и такой тихий. На минутку вышла, вернулась, нет Гриши. Оделся и уж как пробежал? Ума не приложу.

Пусторослев вышел опять на улицу. Остановился у подъезда. Куда идти?

Шли все в одну сторону. Поспешно, словно спасаясь. Молодой человек с рыжею бородкою, по одежде рабочий, в очках, говорил:

— Вот он чем нас встретил! штыками да пулями.

В толпе дворников и лавочников слышался злой говор:

— Студент. Переоделся.

Какой-то паренек в барашковой шапке быстро пробежал, крича:

— Товарищи, обходят!

Побежали.

Показались всадники. Они ехали медленно. На перекрестке собралась толпа рабочих. Слышались крики. Полетела в солдат пустая бутылка. Двое всадников отделились от строя. Нелепо махали шашками. Толпа разбежалась.

Пусторослев свернул в переулок. Шел куда-то. Шел поспешно, пробираясь наудачу к центру города. Не везде можно было пройти, — стояли цепи солдат, не пускали.

Шум, толпа, казаки, окрики часовых, — все это скользило мимо сознания. Пусторослев забыл, что его ждали, забыл о своем деле, — только мысль о Грише повторялась настойчиво и больно. И вдруг увидел Гришу. Мальчик пробежал мимо, странно бледный на морозе. Крикнул Пусторослеву:

— Иди, иди за мною.

Черные на бледном лице глаза мгновенною молниею блеснули перед усталым взором Пусторослева. И в то же мгновение резкий звук рожка пронизал все уличные шумы.

— Гриша, вернись! — крикнул Пусторослев.

Бежали мимо, кричали. Было видно много искаженных ужасом лиц. Улица пустела.

И опять Гриша. Подошел к Пусторослеву.

— Зачем они бегут? Чего они боятся? — спрашивал он, и голос его звенел и дрожал.

Такой бледный, и глаза так горят.

Пусторослев взял его за плечо и сказал:

— Милый, вернемся домой. Здесь не надо стоять. Они убивают.

Гриша засмеялся, — совсем как тот, ночной мальчик.

Пусторослев смотрел на Гришу с недоумением и тоскою. Белый и сияющий, как тот, ночной посетитель, мальчик говорил:

— И пусть убьют. Разве ты боишься? Умрем вместе. Не стоит жить с этими злыми людьми. Не хочу быть с ними.

Вдруг где-то странно близко послышался тупой гул и топот множества коней. Всадники приближались медленно и неуклонно. Лошадиные в пене морды были близки и странно добродушны и покорны, как всегда, — а над ними колыхались красные, свирепые и тупые лица.

И над гулом и топотом стройного воинства пронесся внезапный звонкий крик:

— Палачи!

Гриша оттолкнул руку Пусторослева и, звонко крича, побежал навстречу всадникам. Сверкнула белая, беспощадная улыбка, мелькнула в воздухе длинная стальная полоса, — офицер ударил Гришу.

Над детским трупом быстро мчались всадники.

Маленький изуродованный труп схоронили. Пусторослев остался жить, — усталый, безрадостный, втянутый в суету ежедневной работы для дела, — труд до подвига, но все еще без восторга.

Но длится время, и он ждет. Наступают великие дни. Опять придет сияющий рождественский мальчик.

Уже он приходит, приходит снова, тихий, вопрошающий, озаренный темною улыбкою, — подходит в тишине одинокого вечера и заглядывает в усталое лицо Пусторослева.

И опять слышит Пусторослев его тихий и настойчивый шепот:

— Я хочу. Я пойду с ними, — и ты пойдешь со мною, в новый мир, через эту дверь, темную, но верную.

И знает Пусторослев, что теперь он не оставит Гришу одного, — пойдет с ним, за ним. И шепчет:

— Милый! где ты? кто ты?

И слышит:

— Приду. Вместе пойдем.

И повторяет:

— Вместе умрем.



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

## ИСТЛЕВАЮЩИЕ ЛИЧИНЫ

Федор Сологуб — один из первых стилистов нашего времени. Его яркий, отточенный, жалящий слог, сочетающий простоту и изысканность, холод и огонь, нежность и суровость, все становится гибче и гибче. Его тоскующая мысль все с большей и большей убедительностью приподымает покров очарования, которым оказывается вся действительность. Он певец смерти: но он воспевает смерть всею нежностью молитвы, всем жаром страсти; он говорит о смерти, как страстно влюбленный о возлюбленной. И в то же время его нельзя назвать демонистом, потому что в нем грусть примирения со смертью; мудрым шепотом своим он точно повествует о всепрощении и смирении перед тайной небытия, перед ее алтарем возжигает красный огонь свободы. И в раскаленном зное любострастных терзаний, и в детском лепете, и в колыхании ветерка умеет он слышать голос безмолвий. Сологуб — чисто русский писатель. В его творчестве отразилось и очарование безысходных просторов земли русской, и вечный сон обывателя глухой русской провинции. Но что-то буддийское есть в природе русской: и оскал оврагов, и грустно зыблемая нива, разве не говорит все это о Нирване? В русской природе сумел разглядеть Сологуб строгость буддизма, а в сонном обывателе — изображение застывшего болванчика Будды. И вот постепенно срывает он покров за покровом с очарованных сном; и они пробуждаются к смерти, но им кажется, что действительность наполняется ведовскими силами. *«Недотыкомка» «шелестинным»* голосом своим начинает шептать из угла, где сгустились тени: это не тени, это ткань бытия разорвалась, и в лицо веет холодом смерти. Все творчество Сологуба планомерно развивает и углубляет основную идею свою — приближение смерти. Сначала он превращает жизнь обывателя в сон, и сон оковывает жизнь, и болванчик Передонов вырастает над жизнью тяжелым роком (роман «Мелкий бес»). Но Передонов — только призрак небытия. И вот в дальнейшей стадии развития творчество Сологуба снимает маску обывателя Передонова со смерти, и жало смерти вонзается в душу пробуж-

денного (сборник «Жало смерти» по времени позднее «Мелкого беса», хотя и появился в печати ранее). В своих «сказочках» Сологуб превращает действительность в призрак, и неведомое врывается в нашу жизнь тучами страшных химер. Наконец, в «Истлевающих личинах» эти химеры воплощаются в жизнь: они нас стерегут, они вырастают у нас за плечами. Образ рока превращается в хищного зверя, нападающего на простых, диких людей, поклоняющихся ему, как богу. Дикий зверь сумел найти нас и теперь, проходя сквозь стены, сооруженные культурой, в виде наследственного безумия. И интеллигент Гуров начинает бредить, а *«стена прямо против того места, где лежал Гуров, разверзлась, и вышел свирепый, громадный, уродливый зверь. Со свирепым рычанием подошел он к Гурову, тяжелую на его грудь положил лапу»* («Призывающий зверя»). И если «Жало смерти» вскрывает покой небытия под личиной обыденности, в разбираемой книге эти личины истлевают, смерть вступает в свои права; от ее поцелуя разлагается жизнь: безумие, утонченность, психопатизм — все это только слова, все это — условные знаки, сигналы того, что близка победа смерти. Там, на грани между жизнью и смертью, обыденность перестает быть обыденностью, но еще и смерть: все двоится, сознание запутывается, образы мешаются: вырастают чудовищные сфинксы безумия. И эти сфинксы ужаса, которые хоть бы отчасти ведомы всякому, кто раз приближался к смерти, глядя ей прямо в глаза, — эти сфинксы правдиво олицетворены Сологубом в «Истлевающих личинах». Это, пожалуй, лучшая книга Сологуба. Она верный признак того, что писатель растет, талант его становится и тоньше, и устойчивее. Мы вправе ждать от него новых творческих воплощений, новых отравленных смертью слов.



# ПРИМЕЧАНИЯ

В наши дни издание многотомника Федора Сологуба осуществляется впервые. Признанный уже с дебютных своих книг одним из авторитетнейших вождей русского литературного модерна, самый издаваемый, удостоенный при жизни (редкий случай!) трех собраний сочинений, в посмертной судьбе наш выдающийся прозаик, поэт и драматург оказался в крамольном списке несправедливо преданных забвению. Только одному его роману из семи была оказана честь представлять потомкам новаторское творчество некогда знаменитого властителя дум начала XX века. Сологубовский «Мелкий бес» с антигероем Передоновым стал хрестоматийной книгой о провинциальном мракобесии: явление «передоновщины» пополнило классический ряд таких образов-символов, как «обломовщина», «чичиковщина», «карамазовщина» и т.п.

«С Сологуба начинается новая глава русской прозы», — так обозначил в 1924 г. Е.И. Замятин место и значение новаторского творчества Сологуба в истории русской литературы. Как известно, на рубеже XIX и XX веков в нашей культуре свершилась масштабная эстетическая революция, в ходе которой сменились каноны поэтики. Широко развернувшееся формотворческое экспериментаторство вооружило литературу сильными экспрессивно-изобразительными средствами, обновило лексику и стилистику произведений, а также благотворно воздействовало на художественные вкусы публики.

Сологуб в числе первых вошел в когорту самых изобретательных созидателей русского модерна и в прозе, и в поэзии. «Символистом он словно с неба упал», — так определил его мессианский приход в литературу один из сподвижников. «Я — бог таинственного мира», — заявил о себе и он сам как раз тогда, когда современники, шумно споря, читали его первый роман «Тяжелые сны» и давали ему диаметрально противоположные оценки (не это ли первый

признак незаурядности произведения?). «Декадентский бред», — заявляли одни (рецензент журнала «Русская мысль» и иже с ним). «В России народилась, по-видимому, новая литературная сила», — восторгались другие (Алекс Браун, австрийский переводчик романа). Только к четвертому изданию (1909) «Тяжелые сны» завоевали сердца и умы, и писатель, одиннадцать лет создававший эту книгу, наконец мог самонадеянно сказать: «Много лет работать над романом — а всякий роман не более как книга для легкого чтения — можно лишь тогда, когда есть надменная и твердая уверенность в значительности труда». О значительности романа вскоре было написано немало статей, и среди рецензентов встречаем таких мастеров и знатоков слова, как В.В. Розанов, А.А. Блок, В.Ф. Ходасевич...

Своеобразный итог шумным спорам о Сологубе — «тайновидце» (Вяч. Иванов) и «дьяволоподобном схимнике» (К. Бальмонт) — подвел Андрей Белый (его глубокая аналитическая статья публикуется в приложении к одному из томов настоящего издания). «Нет, не стряхнешь Сологуба с действительности русской, — взволнованно пишет выдающийся теоретик символизма. — Плотью он связан с ней и кровью. В Чехове начался, в Сологубе заканчивается реализм нашей литературы. Гоголь из глубин символизма вычертил формулу реализма: он — альфа его. Из глубин реализма Сологуб вычертил формулы своей фантастики: недотыкомку, ёлкича и др.; он — омега реализма. Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом. Сологуб поднял знамя открытого восстания в недрах реализма. Как-то странно соприкоснулся он тут с великим Гоголем, начиная с жуткого смеха, которым обхохотал Россию от древнего города Мстиславля до стен Петрограда и далее — до богоспасаемого Сапожка. Сологуб <...> доказал, что сумма городов Российской империи равняется сумме Сапожков. В этом смысле и пространства великой страны нашей суть огромнейший Сапожок. Так соприкоснулся с Гоголем этот своеобразный антипод Гоголя» (Белый А. Далай-лама из Сапожка. О творчестве Сологуба. Весы. 1908. № 3. С. 63). А позже эти суждения А. Белого разделил А. Блок. Отбросив кривотолки некоторых недальновидных критиков, он решительно заявил: «Сологуб давно уже стал художником совершенным и, может быть, не имеющим себе равного в современности» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 160).

В новом Собрании сочинений Федора Сологуба представлено все многообразие его творческого наследия, из которого значительная часть остается неизвестной современному читателю. В издание включены семь романов, большинство рассказов и пьес, а также том стихотворений из двадцати сборников, включая и те, что не увидели света при жизни писателя. Отдельные разделы Собрания занимают публицистика Сологуба и воспоминания о нем

современников. В приложениях публикуются лучшие литературно-критические работы о творчестве писателя. За основу составления томов принята концепция автора, осуществленная им в Собраниях, которые он готовил при участии жены, талантливой переводчицы и критика Анастасии Николаевны Чеботаревской (1876—1921).

Во всех текстах Собрания сохранены орфографические и пунктуационные особенности языка и стиля писателя (в частности его интонационные, акцентные знаки препинания, не соответствующие нормам современного русского языка).

## Тяжелые сны

Впервые — в журнале «Северный вестник». 1895. № 7 — 12. Свой первый роман Сологуб издавал еще четырежды в трех вариантах. Журнальный текст подвергся серьезным цензорским и редакторским искажениям. Автору частично удалось устранить эту правку в первом книжном издании (1896); кроме того, он внес в роман некоторые композиционные и стилистические изменения. Особенно серьезную работу над текстом писатель проделал, готовя «Тяжелые сны» к публикации в собрании сочинений в 12 т. (СПб.: Шиповник, 1909; см. об этом публикуемые нами предисловия к 3 и 4 изд.). Второе предисловие является ответом писателя на резко критическую рецензию А. Редько «Федор Сологуб в бытовых произведениях и в «творимых легендах» (Русское богатство. 1909. № 2). Рецензент, сопоставив первую и третью редакции романа, пришел к несправедливому выводу о том, что автор ухудшил свое произведение.

«Милая спутница, изнемогая в томлениях суровой жизни, погибнет, и кто оценит ее тихую жертву? Посвящаю книгу ей, но имени не назову», — пишет Сологуб, завершая одно из предисловий. «Милой спутницей», удостоившейся этого поэтичного посвящения, была сестра и помощница писателя Ольга Кузьминична Тетерникова (1865—1907), скончавшаяся от чахотки в разгар его работы над романом для третьего издания. Пятым изданием писатель включил его во второй том своего двадцатитомного Собрания сочинений (СПб.: Сирин, 1913—1914), по которому текст воспроизводится и нами.

С. **68.** ...*мелькнет пред нами святыня любви, недостижимого мэона...* — Понятие «меон» (греч.: несуществующее) ввел в философию Платон (428 или 427—348 или 347 до н.э.). Меонизмом («религией небытия») назвал свое учение Николай Максимович Минский (наст. фам. Виленкин; 1855—1937). Сологуб с карандашом в руках читал его книгу «При свете совести. Мысли и мечты

о цели жизни» (СПб., 1890, 1897), подаренную ему автором. В ней есть строки, прозрачно перекликающиеся с мечтательными размышлениями героя романа: «...по мере того, как душа убеждается, что все ее желания себялюбивы и недостижимы, — в ней воздвигается понятие о какой-то чудной, недостижимой, чистой любви, всеобъемлющей и невожделеющей, о бескорыстной жертве ради того, что мне абсолютно не нужно. Это понятие есть мэон».

С. **78.** *Комплот* (от *фр.* complot) — заговор (устаревшее).

С. **96.** *...Хотин — один из «шлемилей»...* — Шлемиль — персонаж повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814) немецкого прозаика и натуралиста Адельберта фон Шамиссо (1781—1838), в которой рассказывается о человеке, продавшем свою тень черту. Имя Шлемиля стало нарицательным.

С. **105.** *Против Льва Толстого и атеизма вообще.* — В 80-е гг. Л.Н. Толстой, пережив острый духовный кризис, пишет произведения, в которых выражает свои религиозно-нравственные искания: «Исповедь» (1879—1880), «В чем моя вера?» (1882—1884), «Исследование догматического богословия» (1879—1880), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880—1881).

*Сокрушу вдребезги, как Данилевский Дарвина.* — Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885) — философ, естествоиспытатель, публицист; идеолог панславизма. Автор книг «Россия и Европа» (1869), в которой изложена теория обособленных культурно-исторических типов, развивающихся подобно биологическим организмам, и «Дарвинизм. Критические исследования» (1885).

С. **106.** *А по Домострою, так крепче было бы.* — «Домострой» — памятник русской литературы XVI в., в котором представлен патриархальный свод житейских правил, основанных на беспрекословном повиновении главе семьи.

С. **108.** *Калужница* — травянистое растение из семейства лютиковых.

*Разумную жизнь в Глупове!* — Город Глупов создан сатирической фантазией М.Е. Салтыкова-Щедрина в одной из его книг — в «Истории одного города» (1870). Глупов стал символом духовного оскудения и людского омерзения, где градоначальники Прыщ, Грустилов, Угрюм-Бурчеев правят с помощью двух зычных команд: «Разорю!» и «Не потерплю!»

*...«Через сто лет» Беллами.* — Роман-утопия американского писателя Эдуарда Беллами (1850—1898) был известен русскому читателю в трех переводах: «В 2000 году» (1889), «Будущий век» (1899) и «Золотой век» (1905). В 1927 г. Сологуб делал наброски-заготовки для своего нового романа «Индукция» по мотивам книги Беллами.

С. **110.** *Лупётка* — крупная, плотная рожица (В.И. Даль).

С. **112.** *...да они не читают газет, а взять хоть бы «Сын отечества»...* — «Сын отечества» — ежедневная петербургская газета, реорганизованная в 1862 г. из «политического, ученого и литературного» еженедельника; закрыта в декабре 1905 г.

С. **123.** *Спрыснутый духами иланж-илан...* — Иланж-илан (иланг-иланг) — модные на рубеже XIX—XX вв. духи на основе аромата одноименного тропического растения.

С. **128.** *Фофан* — простак, простофиля, дурак, глупец (В.И. Даль).

С. **134.** *«Чужды нравственности узкой...»* — Из поэмы Н.А. Некрасова «Современники» (1876).

С. **144.** *...по навету подкупленной волочаги!* — Волочага — волокита.

С. **149.** *Нимфоманка* — женщина с болезненным половым влечением, граничащим с психическим расстройством.

С. **151.** *Берта* — род дамской пелерины.

*Шу* — дамское украшение из ленты, скрученной в форме цветка.

С. **154.** *Стуколка* (стукалка) — карточная азартная игра.

С. **155.** *Гаер* — шут.

С. **171.** *Ему бы Панаму воровать...* — Выражение, вошедшее в оборот после 1888 г., когда была раскрыта жульническая афера французской компании «Панама», созданной для возведения Панамского канала. Крах компании разорил десятки тысяч акционеров.

С. **172.** *Раять* — звучать, зычать, раздаваться, отдаваться гулом, отголашивая (В.И. Даль).

С. **183.** *Гмыра* (обл.) — хворый, угрюмый, вялый.

С. **189.** *Блыкаться* (обл.) — блукать, шататься, бродяжить (В.И. Даль).

С. **191.** *Они поженились... на Красной Горке.* — Красной Горкой называют Фомино воскресенье (первое после Пасхи). В этот день читается Евангелие, «благая весть» о том, как сомневающийся апостол Фома уверовал в воскресение Христа. Кроме того, в день Красной Горки принято было встречать на каком-либо холме восход солнца и играть свадьбы.

С. **193.** *Воркуны надоедали своим однозвучным брекотком.* — Воркуны (обл.) — «болкуны, большие бубенчики» (В.И. Даль). Брекоток — звонкое постукивание бренчание.

С. **194.** *...закусывая верещагою водку.* — Верещага (обл.) — яичница со свининой или глазунья, «которая верещит, шипит на сковороде» (В.И. Даль).

С. **197.** *...пересматривал берендейки на письменном столе.* — Берендейки — резные или точеные фигурки из дерева (по названию подмосковного села Берендеево, где был развит этот промысел).

С. **199.** *Скиксовать* — сплоховать, дать промах.

С. **201.** *...в поярковых шляпах...* — Поярковый — сделанный из поярка, т.е. из шерсти первой стрижки молодой овцы.

С. **202.** *...платье из полосатой вигони.* — Вигонь — вид шерстяной ткани.

*...розоватым налетом, нежным, как цветень.* — Цветень — цветочная пыльца, перга.

С. **205.** *Великий Пан умер.* — В греч. мифологии Пан (у римлян Фавн) — бог стад, лесов и полей, а также судья пастушеских состязаний в игре на свирели. Плутарх увидел в смерти Пана символ гибели античного мира.

*...Прометей освобождается.* — Начиная с эпохи Ренессанса, греческий миф об освобождении прикованного Прометея, похитившего у богов Олимпа огонь и принесшего его людям, стал символом человеческого прогресса. В многочисленных произведениях, посвященных Прометею, его подвиг толкуется как восстание против тирании богов («Пандора» Вольтера), мятеж во имя достижения светлого будущего (лирическая драма «Освобожденный Прометей» П.Б. Шелли), торжество нового знания о мире (драма Кальдерона), пример мужества и стойкости (Байрон), воплощение творческого, созидательного начала (Гете).

С. **208.** *...мальчик в ... пестрядинной рубахе с балаболами и помятыми кузиками.* — Пестрядинная рубаха — т.е. из грубой бумажной ткани пестрой окраски. Балаболы — бахрома. Кузики — рукава.

*...маленький бурак из сосновой драни.* — Бурак — кузовок, корзинка.

С. **220.** *Оброснуть* — оборвать с прута листья.

С. **223.** *Варя* — варево, варка, в знач. похлебка (В.И. Даль).

С. **227.** *Илим* (ильм) — лесное дерево, род вяза.

С. **229.** *Надо вас... вицей хорошенько.* — Вица — хворостинка, прут, розга, хлыст (В.И. Даль).

С. **230.** *Фальстаф* — комический персонаж из пьес Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские кумушки».

С. **232.** *...есть еще очень хороший поэт, господин Фофанов...* — Константин Михайлович Фофанов (1862—1911) — поэт-лирик, предтеча символистов; пик его славы пришелся на 80—90-е гг., когда в русской литературе уже зарождался модерн.

С. **233.** *Струи Мэота...* — Мэот (Меот, Меат, Меатида) — так на картах французских мореплавателей (VII в. до н.э.) называлось Азовское море.

С. **235.** *Царский день* — праздник в дореволюционной России, приуроченный к дню коронации императора, а также дни рождения императрицы, наследника и великих князей, отмечаемые ритуальной службой в храмах.

С. **239.** ...*Он вам всучит щетинку* — выражение означает угрозу.

С. **240.** *Отерхотник* — оборванец, лохмотник (В.И. Даль).

С. **248.** *Сбердить* — спятить, сойти с ума.

С. **264.** ...*учительницы из прогимназии.* — В России с 1864 по 1917 г. прогимназиями назывались начальные школы, мужские и женские четырехклассные учебные заведения, соответствовавшие четырем младшим классам гимназий.

С. **267.** *Морока* — марево, мгла, сухой туман (В.И. Даль).

С. **272.** Тартюф — герой комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664, 1667, 1669) — ханжа, лицемер.

С. **287.** *Кутафья* — неуклюже, безобразно одетая женщина (В.И. Даль).

С. **310.** *Обоконье* — оконные косяки, подоконник.

С. **322.** *Обакулить* — обмануть краснобайством, надуть россказнями (В.И. Даль).

С. **325.** *Сиволдай* — сивуха, простак, полугар, хлебное, жидкое, дурное вино, с пригарью, брандахлыст (В.И. Даль).

С. **336.** *Не дворит тебе у нас...* — Т.е. не ко двору пришелся.

## Земные дети

Рассказы цикла печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 3. Земные дети. СПб.: Сирин, 1913.

О Сологубе — талантливом новеллисте — критика заговорила с самых первых его публикаций в газетах «Иллюстрированный мир», «Южное обозрение», «Север», журнале «Северный вестник» и других изданиях. Из них впоследствии сложились сборники «Тени» (1896), «Жало смерти» (1904), «Истлевающие личины» (1907), «Книга разлук» (1908), «Книга очарований» (1909) и др., ставшие приметным явлением в прозе Серебряного века. «Книга рассказов Ф. Сологуба, — писал Вяч. Иванов, рецензируя «Жало смерти», — русская по обаятельной прелести и живой силе языка, зачерпнутого из глубин стихии народной, русская по вещему проникновению в душу родной природы, — кажется французскою книгой по ее, новой у нас, утонченности, по мастерству ее изысканной, в своей художественной простоте, формы» (Иванов Вяч. Рассказы тайновидца. Весы. 1904. № 8). «Федор Сологуб — один из первых стилистов нашего времени», — так начинает свои размышления о сборнике «Истлевающие личины»

А. Белый и далее убедительно доказывает это (см. его статью в Приложении). Критик А. Измайлов обратил внимание на то, что «новеллы Сологуба чрезвычайно характерны для современного века — не потому, что на их внешности лежит след тех литературных новшеств, какие заявили себя в последнее время и далеко не всегда красивы, но потому, что в их философской подкладке сквозит именно современная душа, современный ум, протестующий против былых идейных предрассудков и предубеждений» (Измайлов А. Чарования красных вымыслов. В кн.: О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. СПб., 1911. С. 302).

В настоящем издании публикуются циклы рассказов, составленные писателем для двадцатитомника издательства «Сирин».

### *Свет и тени*

Северный вестник. 1894. № 12 (под названием «Тени») и в сб. «Тени». СПб., 1896.

### *Червяк*

Северный вестник. 1896. № 6 и в сб. «Тени».

### *К звездам*

Северный вестник. 1896. № 9 и в сб. «Тени».

### *Улыбка*

Журнал «Север». 1897. 16 ноября. № 46 и в сб. «Книга очарований. Новеллы и легенды». СПб.: Шиповник, 1909.

### *Прятки*

Север. 1898. 4 января. № 1 и в сб. «Книга очарований».

### *Белая мама*

Север. 1898. 5 апреля. № 14 и в сб. «Книга очарований».

### *Земле земное*

Север. 1898. 24, 31 мая, 7, 14 июня. № 21 — 24 и в сб. «Жало смерти». СПб.: Скорпион, 1904.

С. **464.** *Лютое солнце стояло в самом притине.* — Притин — зенит.

*Пренька* — флюгер.

С. **475.** *Мережить* — пестреть, рябить (В.И. Даль).

С. **481.** *Шишига* — сатана, бес, нечистая сила.

С. **486.** *Рюхи* — игра в чурки, городки.

### *Баранчик*

Север. 1898. 1 ноября. № 44 и в сб. «Жало смерти».

### *Лелька*

Газета «Южное обозрение». 1897. 16 ноября. № 305.

С. **491.** *Не знаю отчего, но на груди природы...* — Начальные строки стихотворения без названия (1884) Семена Яковлевича Надсона (1862—1887), кумира молодежи 80—90-х гг.

## Недобрая госпожа

Рассказы цикла печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 4. Недобрая госпожа. СПб.: Сирин, 1913.

### *Красота*

Север. 1899. 3 января. № 1.

### *Утешение*

Сб. «Жало смерти».

С. **514.** *Окарачь* — на карачках, на четвереньках (В.И. Даль).

С. **552.** *Солея* — возвышение, середа, ступень под клиросами перед алтарем (В.И. Даль).

### *Обруч*

Сб. «Жало смерти».

### *Жало смерти. Рассказ о двух отроках*

Журнал «Новый путь». 1903. № 9 и в сб. «Жало смерти».

### *В плену*

Северные цветы. Ассирийский альманах IV. М.: Скорпион, 1905.

С. **601.** *Аргус* — в древнегреческой мифологии многоглазый всевидящий великан.

### *Маленький человек*

Сб. «Истлевающие личины». М.: Гриф, 1907.

### *Рождественский мальчик*

Газета «Биржевые ведомости». 1905. 26, 27 декабря.

*Андрей Белый*

## Истлевающие личины

Журнал «Критическое обозрение». 1907. «Истлевающие личины» — рассказ Сологуба, давший название его сборнику (М.: Гриф, 1907).

С. **647.** *...разве не говорит все это о Нирване?* — Нирвана (санскрит — «угасание») — центральное понятие в религии буддизма, означающее состояние высшего блаженства, к которому должен стремиться человек, полностью отрешаясь от внешнего мира.

*«Недотыкомка» «шелестинным» голосом своим начинает шептать...* — Недотыкомка (диал.) — недоруха, незамайка, кого или чего нельзя дотронуться (В.И. Даль); образ, мучающий расстроенное сознание Передонова, героя романа Сологуба «Мелкий бес»: «И вот живет она, ему на страх и на погибель, волшебная, многовидная, — следит за ним, обманывает, смеется... и везде ползет и бежит за Передоновым, — измаяла, истомила его зыбкою своею пляскою». Этому демоническому образу, к которому Сологуб и его герои постоянно возвращаются, он посвятил также стихотворение без названия (1899):

Недотыкомка серая
Все вокруг меня вьется да вертится, —
То не лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?

Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мне, таинственный друг!

Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,

Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.

Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим

Говоря о «шелестинном» голосе недотыкомки, Белый имеет в виду новеллу Сологуба «Призывающий зверя»: «Маленькие нежити, зыбкие, серенькие, плясали вокруг маленькой книги с мертвенно-белыми страницами и шелестинными голосочками повторяли:

— Наши стены крепки. Мы в стенах. Не придет к нам внешний страх».

# СОДЕРЖАНИЕ

*Светлана Соложенкина.* Живая и мертвая вода. Вехи судьбы Федора Сологуба ........ 5 —

**ТЯЖЕЛЫЕ СНЫ.** *Роман* ........ 25 653
Предисловие автора к третьему изданию ........ 27 —
От автора. К четвертому изданию ........ 28 —

**ЗЕМНЫЕ ДЕТИ.** *Рассказы* ........ 359 657
Свет и тени ........ 361 658
Червяк ........ 384 658
К звездам ........ 407 658
Улыбка ........ 427 658
Прятки ........ 438 658
Белая мама ........ 449 658
Земле земное ........ 459 658
Баранчик ........ 488 659
Лелька ........ 490 659

**НЕДОБРАЯ ГОСПОЖА.** *Рассказы* ........ 497 659
Красота ........ 499 659
Утешение ........ 509 659
Обруч ........ 562 659
Жало смерти. Рассказ о двух отроках ........ 566 659
В плену ........ 598 659
Маленький человек ........ 611 660
Рождественский мальчик ........ 631 660

**ПРИЛОЖЕНИЕ** ........ 645 —
*Андрей Белый. Истлевающие личины* ........ 647 660

**ПРИМЕЧАНИЯ** ........ 649 —

**Сологуб Ф.**
**С 60** Собр соч.. В 6 т Т. 1 Тяжелые сны Роман Рассказы / Сост, примеч ТФ Прокопова. Вступ статья С Л Соложенкиной — М НПК «Интелвак», 2000 — 664 с

ISBN 5-93264-023-5 (т 1)

Впервые осуществляется издание Собрания сочинений Федора Сологуба (наст фам и нмя Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927), в котором с наибольшей полнотой представлено наследие одного нз вождей русского литературного модерна, выдающегося прозаика, поэта и драматурга Серебряного века

В первом томе публикуются роман «Тяжелые сны» (1895) и два цикла рассказов — «Земные дети» (1894–1898) и «Недобрая госпожа» (1899–1907)

**УДК 882 Сологуб 2**
**ББК 84 (2Рос=Рус)1**

**Сологуб Федор**
**(Тетерников Федор Кузьмич)**

**Собрание сочинений**
**в шести томах**

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 3 10 2000 Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл -печ л 38,6 Уч -изд. л 38
Тираж 3000 экз. Заказ № 3350.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный пр , 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail iv@deltacom ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-023-5

